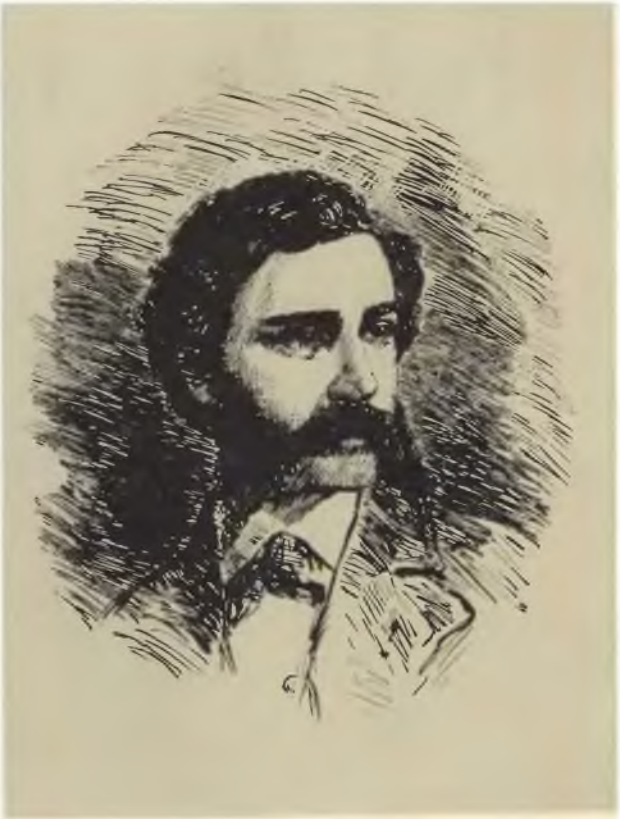
БРЕСТ

БРЕСТ

1

БРЕСТ
БРЕСТ



Bret Harte

Бret Гарт

собрание сочинений
в шести томах

том 1

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
Москва 1966

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
А. Старцева

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича

БРЕТ ГАРТ
И КАЛИФОРНИЙСКИЕ ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ

1

Американский писатель Брет Гарт знаменит своими рассказами из жизни золотоискателей в Калифорнии. События, связанные с открытием и эксплуатацией калифорнийского золота, образуют содержательный и необыкновенно колоритный эпизод в истории Соединенных Штатов, да, пожалуй, и вообще в истории XIX столетия. В художественном отношении этот материал должен был представить для писателя-современника увлекательные и благодарные возможности, тоже своего рода золотую россыпь.

Действительно, когда Брет Гарт создал в конце 60-х годов прошлого века свои первые рассказы золотоискательского цикла, «Счастье Ревущего Стана» и другие, он сразу получил громкую известность.

В «Жизни Чарлза Диккенса», принадлежащей его близкому другу и биографу Джону Фостеру, читаем:

«За несколько месяцев до смерти мой друг (то есть Диккенс.— *А. С.*) прислал мне два номера «Оверленд Монсли» с двумя рассказами молодого американского писателя из далекой Калифорнии, «Счастье Ревущего Стана» и «Изгнанники Покер-Флета», в которых он нашел такую проникновенность в изображении характера, какую ему уже давно не приходилось встречать. Манера автора напоминала его собственную, но материал отличался поразившей его исключительной новизной. Изображение было во всех отношениях мастерским. Из дикой, грубой жизни было рождено правдивое художественное создание».

В России несколько позже рассказы Гарта попали к томившемуся в сибирской ссылке Чернышевскому, который отнесся к ним с живым интересом. Он перевел один из рассказов Гарта («Мигглс») и, отсылая его жене, дал высокую оценку таланту автора.

«Сила Брет Гарта в том,— писал Чернышевский,— что он, при всех своих недостатках, человек с очень могущественным природным умом, человек необыкновенно благородной души и — насколько, при недостаточности запаса своих впечатлений и размышлений, понимает вещи,— выработал себе очень благородные понятия о вещах» [1].

Рассказы Гарта рисуют с самых разных сторон жизнь старателей и пестрого люда, населявшего Калифорнию в пору золотой лихорадки. Как справедливо отметил Диккенс, писатель имел дело с совершенно новым, до него никому не ведомым материалом,— он открывал для читателя новые типы людей, новые страницы быта, новые пейзажи, еще никем до того не занесенные на бумагу.

Однако отнюдь не золото поразило воображение художника в золотой Калифорнии. Американские и европейские буржуа культивировали взгляд на калифорнийских старателей как на свирепых и алчных авантюристов, одержимых одной лишь всепоглощающей страстью к наживе. Брет Гарт же разглядел в золотоискательской эпопее некоторые существенные черты народной жизни и воплотил их в образах бесспорного художественного значения. Именно эту сторону творчества Гарта имеет в виду Чернышевский, когда говорит о «могущественном уме» и «благородных понятиях» писателя.

Произведения Гарта были приняты в Европе как новое слово американской национальной словесности и ценный вклад американского народа в сокровищницу мировой литературы.

Однако на родине писателя, в США, укоренилось подчеркнуто сдержанное, а подчас и пренебрежительное отношение и к литературному наследию писателя и к нему самому.

Американские литературоведы — в тех случаях, когда они вообще упоминают о Гарте,— стремятся отделить его от американской классики. Они связывают его с более узкими и периферийными явлениями американского литературного развития, именно с так называемой *региональной*, или областнической, литературой, получившей распространение в США во второй половине XIX века и отразившей неравномерность и разнохарактерность в развитии страны. Писатели-областники были патриотами своих местных особенностей и певцами местного колорита (couleur locale), как правило, ограниченными своей темой.

Верно, что Брет Гарт первым или одним из первых открыл на калифорнийском материале неизведанные возможности областнической литературы и в этом смысле может считаться родоначальником американских областников. Но творчество Гарта никак не связано областничеством, не связано в том смысле, в каком большая литература никогда не бывает ограничена межами и околицами, ибо имеет в виду

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XV, М, 1950, стр. 240.

общее и существенное. Брет Гарт выдвинул захолустный американский штат на авансцену мировой литературы.

Брет Гарт был непровинциален даже в большей мере, чем ему «полагалось» как представителю американской культуры и литературы своего времени. В 60-х годах XIX века, в условиях отсталой американской духовной жизни, он выступил сразу на уровне одного из важнейших направлений европейской критико-реалистической школы — как последователь *диккенсовского* реализма.

Близость Гарта к современному европейскому литературному развитию отчасти объясняет быстрый успех и прочную популярность его в странах Европы. Та же причина частично объясняет, почему он пришелся «не ко двору» в США, оказался «дурным американцем» в глазах своих чрезмерно *американистски* настроенных соотечественников. Подробнее об этом будет сказано ниже.

Личная судьба Гарта сложилась несчастливо. После первых литературных успехов, в расцвете творческих сил он был вовлечен в конфликт с американским буржуазным обществом. Под гнетом материальных трудностей, преследуемый прессой, он покинул родину и прожил добровольным изгнанником в Европе до самой смерти.

Хотя никаких серьезных обвинений против Гарта, кроме того, что он жил и думал «не в тон» с господствующим общественным мнением в США, выдвинуто не было, американские критики по сей день продолжают чернить Гарта. Они охотно используют высказывания Марка Твена, который после многолетнего знакомства с Гартом поссорился с ним и в посмертной «Автобиографии» оставил желчную и несправедливую характеристику своего бывшего друга. Однако они забывают, что даже в своей запальчивости Твен пишет, что Брет Гарт был не только «одним из самых неприятных людей, каких он знал», но и «одним из самых приятных, каких он знал». Раздраженно критикуя некоторые стороны творчества Гарта, Твен в то же время продолжает многим у него восхищаться и в разгар ссоры задумывает писать в похвалу ему статью «Брет Гарт как художник».

Систематически замалчивается в США и литературное наследие Гарта. На фоне «литературоведческой инфляции» последних десятилетий в США это особенно заметно. Три имеющиеся американские работы о Гарте отделены одна от другой паузами по двадцать и даже по тридцать лет. За вычетом двух-трех хрестоматийных рассказов произведения Гарта не попадают ни в массовые, ни в комментированные издания американских классиков. Его имени нет в сериях критических монографий и брошюр, куда включены даже третьестепенные американские беллетристы. Брет Гарт — забытый писатель в США.

2

Творчество Гарта тесно связано с Калифорнией. Полезно осветить исторический и социальный фон, на котором развертывается действие калифорнийских произведений писателя.

Изначальными владельцами нынешней американской Калифорнии были индейские племена (алгонкины, шошоны и др.), павшие жертвой европейских колонизаторов. Испанские завоеватели еще в XVII веке формально включали территорию Калифорнии в состав испанской колониальной империи, однако стали заселять ее только во второй половине XVIII века; в этот период в Калифорнии были созданы *пресидио*, форты с воинскими гарнизонами, и *миссии*, церковные и монастырские поселения католического духовенства, насильственно обращавшего в христианство индейские племена. Испанские помещики захватили огромные земельные угодья, которые использовали главным образом для скотоводства. В дальнейшем страна заселялась говорившими на испанском языке креолами смешанного испано-индейского происхождения, приобретавшими все большее влияние в жизни испанских колоний.

В результате войны за независимость испанских колоний в Америке в 10—20-х годах XIX века испанские войска были изгнаны из Калифорнии. Она вошла в состав Мексиканской империи, а затем — в 1824 году — независимой республики Мексики. Однако ненадолго. После американо-мексиканской войны 1846—1848 годов Калифорния была захвачена Соединенными Штатами.

Надо заметить, что когда американское правительство президента Полка аннексировало Калифорнию, оно еще не знало, что приобретает «новое Эльдорадо», золотоносную страну. Даты событий показывают прихотливую игру случая. Мирный договор Гуадалупе — Идальго, оформивший территориальные захваты США, был подписан 2 февраля 1848 года. Золото было открыто за неделю до того, 24 января. В обстановке едва закончившейся войны и при отсутствии налаженных средств связи новость распространялась медленно. Только через несколько месяцев обе стороны, побежденная и победившая, поняли истинные размеры выигрыша и потери.

Случись открытие на месяц или даже на год раньше, это мало что изменило бы в ходе событий, однако если бы оно произошло на двадцать — тридцать лет раньше, американцам было бы гораздо труднее завладеть калифорнийским золотом. Помимо Испании, на тихоокеанском побережье американского материка имели опорные пункты другие европейские державы. Англичане владели соседним Орегоном. Русские располагались неподалеку от будущего Сан-Франциско.

Несколько слов о русских в Калифорнии.

В 1741 году русские экспедиции Беринга и Чирикова, идя

путем русских мореходов XVII века, открыли Аляску. В 80-х годах XVIII века создаются первые русские фактории на северо-западном побережье американского материка.

В 1799 году, утверждая Российско-американскую компанию, русское правительство дает указание «распространять русские владения на северо-западном берегу Америки не только к северу от 55° широты, но и к югу, насколько это будет полезно и возможно...»

Русские промышленники и поселенцы жестоко страдали от нерегулярного подвоза продуктов; в Аляске земледелие и скотоводство было невозможным. В 1806 году, после очередной зимней голодовки и цинги, русский корабль «Юнона», имевший на борту прибывшего для инспекции поселений видного деятеля русской колониальной политики Н. П. Резанова, направился из Новоархангельска в бухту Сан-Франциско. Резанов поборол подозрения испанских властей, получил необходимый провиант и прогостил шесть недель в Сан-Франциско. Красота и богатство Калифорнии составляли резкий контраст с суровой природой русских колоний на Севере. Двое матросов с «Юноны» бежали, четырех других, замышлявших побег, пришлось держать в кандалах.

Интересно, что молодой Брет Гарт, искавший романтические мотивы в доамериканском прошлом Калифорнии, избрал приезд Резанова в Сан-Франциско темой одной из известнейших своих баллад. В «Консепсьон де Аргельо» рассказано, как «граф Резанов», русский посол, прибыл в *пресидио* Сан-Франциско для важных государственных переговоров с испанскими властями и полюбил дочь коменданта крепости, юную Кончиту. Завершив переговоры, Резанов уезжает в Россию, чтобы вернуться с подписанным царем договором и обвенчаться с дочерью коменданта.

Обрученные простились на рассвете у скалы,
В путь чрез океан пустились смело русские орлы...

Но русский посол не вернулся. Через сорок лет после рокового дня, когда русские флаги скрылись в океане, ушедшая в монастырь Кончита узнает от заезжего путешественника, что Резанов не изменил ей, а погиб на обратном пути в Россию.

Не все в балладе Гарта согласно с историей, но «Консепсьон де Аргельо», как и Русская река к северу от залива Бодега и Русский холм в современном Сан-Франциско, остаются памятниками участия русских в освоении Калифорнии.

Образованный и дальновидный Резанов по достоинству оценил географическое положение и экономическое значение Калифорнии. Он с горечью писал в донесении министру коммерции:

«Ежели бы ранее мыслило правительство о сей части света,... ежели б беспрерывно следовало прозорливым видам Петра Великого, при малых тогдашних способах Берингову экспедицию для чего-нибудь начертавшего, то утвердитель-

но сказать можно, что новая Калифорния никогда б не была Гишпанскою принадлежностью, ибо с 1760 года только они обратили внимание свое и предприимчивостию одних миссионеров сей лутчей кряж земли навсегда себе упрочили».

В осуществление планов Резанова русские колонисты начинают тайно зарывать на калифорнийском побережье медные доски с государственным гербом и надписью: «Земля российского владения». В 1811 году Кусков, помощник главного правителя русских колоний, несмотря на возражения калифорнийских властей, захватил («купил» у местных индейцев) участок земли поблизости от залива Бодега, наименованного заливом Румянцева, и основал там «укрепленное заселение», форт Росс, вокруг которого развернул земледельческое и скотоводческое хозяйство для снабжения северных колоний. Русские ловили рыбу и били зверя в окрестностях нынешнего Сан-Франциско. Отношения русской колониальной администрации с русскими поселенцами и местным населением отражали крепостнические отношения в России. В 1825 году одно из восстаний калифорнийских индейцев против колонизаторов возглавил беглый русский промышленник Прохор Егоров.

Дальнейшего развития, однако, русские поселения в Калифорнии не получили из-за возраставших экономических и политических осложнений. С начала 1842 года колония Росс была упразднена. В официальном документе об этом говорится так: «С переменой правления в Калифорнии, то-есть со времени объявления независимости Мексики, отношения наши с новым правительством делались более и более натянутыми, и, наконец, компания принуждена была уступить почти за бесценок свои фактории мексиканскому подданному Суттеру» [1].

Джон Саттер (или Суттер), энергичный авантюрист немецко-швейцарского происхождения, обосновался в Калифорнии с конца 30-х годов и сосредоточил в своих руках крупные земельные владения. Его поместье «Новая Гельвеция» послужило важным опорным пунктом для американской колонизации.

Когда позднее на земле Саттера было найдено золото, его состояние развеялось как дым: земли его были захвачены старателями, работники, зараженные «золотой лихорадкой», покинули его, стада и насаждения погибли. Безрезультатные хлопоты Саттера, до самой смерти искавшего у американского правительства возмещения понесенных убытков, входят в состав калифорнийской золотой эпопеи.

Все усиливавшееся с начала XIX века продвижение американских поселенцев к западу от реки Миссисипи должно было в конечном счете вывести их на тихоокеанское побережье.

---

[1] Подробнее о русских колониях в Америке см. С. Окунь «Российско-американская компания», М.-Л., 1939.

Ранее американцы подходили к Калифорнии морем. Резанов в донесении рассказывает, что «губернатор обеих Калифорний» дон Хосе-де-Арилаго горько сетовал ему на «наглость бостонцев», то есть мореходов с атлантического побережья США. «Суда Американских Штатов,— жаловался Резанову испанский губернатор,— беспрестанно смуглируют по берегам нашим и потаенную торговлю производят, но этого еще мало, они оставляют нам иногда человек по десяти и пятнадцати совершенных разбойников... всеми наглостями ищут средств у нас водвориться».

В одной из своих испано-американских легенд, «Правый глаз коменданта», Брет Гарт с большим юмором рисует вторжение хитроумного капитана-янки в патриархальный мир испанской Калифорнии и дает почувствовать историческую обреченность старого порядка жизни.

В 30-х годах трапперы и торговцы принесли на восток США весть о благодатном климате, обширных пастбищах и плодородных землях тихоокеанского побережья; с начала 40-х годов американцы начинают протаптывать дорогу в Калифорнию. В 1841 году партия Джона Бидвелла, знаменитого водителя поселенцев, с огромными трудностями прошла путь от Миссури до бухты Сан-Франциско. «Единственное, что мы знали о пути,— писал Бидвелл,— что Калифорния лежит в западном направлении». За следующие три года еще несколько переселенческих партий перевалили Сьерра-Неваду.

40-е годы ознаменовались активизацией экспансионистской политики США, направленной в первую очередь на захват мексиканских земель. В 1845 году американцы захватили Техас и ультимативно предложили мексиканскому правительству «продать» им новые обширные земли, включая Калифорнию. Американский консул Ларкин в главном городе Калифорнии Монтерее, коммодор Скот на военном американском корабле и исследовавший Калифорнию во главе хорошо вооруженного отряда путешественник и офицер американской службы Фремонт составили действенный треугольник американской политики в Калифорнии. В июне 1846 года американские поселенцы подняли восстание против мексиканских властей и провозгласили независимую республику, сохранившуюся в истории под именем «Республики Звезды и Медведя» (эта эмблема была изображена на ее флаге). Через месяц, как только пришла весть о начавшейся американо-мексиканской войне, Калифорния была оккупирована американцами, а через полтора года, после окончания войны, формально присоединена к США. В составе США Калифорнии предстояло неспешное экономическое развитие в основном скотоводческого штата с ограниченными возможностями земледелия.

Новейший американский историк перечисляет пять «исторических заслуг» Калифорнии:

Калифорния явилась первым штатом в западной половине страны; она дала большинство нерабовладельческим

штатам в Конгрессе; она вызвала невиданное передвижение населения на запад; она дала финансовую базу для ведения гражданской войны с Югом; она сыграла, наконец, выдающуюся роль в промышленном развитии США в период после гражданской войны.

Без сомнения, из этих пяти заслуг только первая могла бы принадлежать Калифорнии, если бы открытие золота не повернуло круто ее судьбу.

Золото было открыто на земле Саттера, в сорока пяти милях от форта Росс, купленного им у Российско-американской компании. Его открыл служащий Саттера, американский поселенец Джемс Маршал, строивший для Саттера лесопильню. Он наткнулся на золото, когда углублял русло реки для свободного движения колеса. Вместе с Саттером он исследовал загадочные желтые крупинки, определяя их удельный вес и травя азотной кислотой. Это было чистое золото. Джемс Маршал разделил судьбу Саттера и умер нищим. Теперь на месте открытия калифорнийского золота ему поставлен памятник.

Как только слух об открытии золота достиг близлежащих поселений, Калифорния была потрясена приступом «золотой лихорадки». Течение жизни переменилось.

«Ремесленники бросили свои инструменты, фермеры оставили урожай гнить на полях, а скот подыхать с голоду, учителя забыли свои учебники, адвокаты покинули клиентов, служители церкви сбросили священнические облачения, матросы дезертировали с кораблей — все устремились в едином порыве к месту золотых приисков. Деловая жизнь в городах замерла, покинутые дома и магазины ветшали и приходили в упадок. Золотоискатели шли, как саранча, в районы, граничившие с лесопильней Саттера, с кирками, лопатами и ковшами для промывки золота».

Это яркое описание, принадлежащее американскому историку Чарлзу Бирду, нисколько не преувеличено. Оно многократно подтверждается документальными материалами. Ричард Мэзон — первый американский губернатор Калифорнии, прибывший в Сан-Франциско в июне 1848 года, через месяц после начала «золотой лихорадки», нашел покинутый населением, мертвый город. Уже в мае прекратился выход издававшейся в Сан-Франциско газеты «Калифорниен» («которая могла бы стать неоценимым источником для историка»,— с грустью замечает один исследователь); газету, как видно, некому было читать и некому печатать. Англичанин Тирвейт Брукс, оказавшийся случайно захваченным первой волной золотоискателей, записывает в дневнике под датой 18 июня 1848 года: «В четверг посетил нас Г. Ларкен, посланный с казенным поручением из Вашингтона; от него узнали мы, что в Сан-Франциско более двух третей домов опустело и что большая часть экипажа дезертировала с кораблей, стоявших в бухте... Г. Ларкен обогнал на дороге капитана, отправлявшегося сюда со всем

своим экипажем, и на выговор Ларкена за этот странный и непростительный поступок капитан ответил: «Я вас уверяю, что цепи и якори очень крепки, корабль не уйдет до нашего возвращения» [1].

Вскоре армия золотоискателей пополнилась пришельцами из соседнего Орегона; с юга пришли мексиканцы. К концу 1848 года старателей было около десяти тысяч. Однако это было только началом. Знаменитый золотой поход «людей 49-го» (forty-niners) еще не начался.

К осени газеты восточных штатов стали будоражить читателей слухами о невиданно богатых золотых приисках в Калифорнии. Когда президент США Полк объявил об открытии калифорнийского золота с трибуны Конгресса, «золотая лихорадка» охватила всю страну с такой же беспримерной силой, с какой недавно потрясла Калифорнию. Десятки тысяч людей различных социальных слоев и профессий приняли решение отправиться за золотом. Они обзаводились инвентарем и запасом продовольствия, объединялись в группы и землячества и готовились к дальнему путешествию.

Пресса продолжала вести кампанию, передавая рассказы, один другого заманчивее и чудеснее. Предприимчивые торговцы продавали в огромном количестве путеводители и карты, руководства по горному делу, испанские грамматики, лопаты, палатки, высокие сапоги и охотничьи ножи. Путешественники уезжали, полные радужных надежд, распевая новую песню «золотого похода»:

Из города Салема
С киркою и ковшом
Я еду в Калифорнию
За золотым песком.
О Калифорния, страна моя!
Я еду к реке Сакраменто,
Со мною ковш и кирка.

В редкой американской семье не было родственника или знакомого, которого нужно было провожать. В декабре 1848

---

[1] «Четыре месяца в обществе золотопромышленников Верхней Калифорнии». Дневник путешественника Тирвейта Брукса, «Современник», 1849, апрель. Этот калифорнийский дневник англичанина-врача представляет интерес для характеристики самого раннего периода золотоискательства, то есть второй половины 1848 года. Брукс, дневник которого был приведен в «Современнике» в выдержках, наблюдал разгром поместья Саттера «бродягами, бивакировавшими в садах и дворах капитана», и встречал лично Маршала. Для характеристики следующего, более длительного периода, связанного с появлением «людей 49-го», весьма интересны письма и дневники американца Иноса Кристмена (One Man's Gold. The Letters and Journals of a Forty-niner Enos Christman. New York, 1930), начинающего журналиста, выехавшего «с киркою и ковшом» из своего родного городка в Пенсильвании в июне 1849 года. Наблюдения Кристмена отличаются остротой и содержательностью. Их интересно читать в сопоставлении с рассказами Гарта. Нужно заметить, что мемуарная литература, посвященная калифорнийскому золоту, весьма обширна.

года нью-йоркская газета писала: «Вся Новая Англия на ногах и направляется в порты или же готовится пересечь материк; мы не беремся сосчитать суда и караваны».

Новым аргонавтам предстояли тяжелые испытания. Было три пути. Сравнительным удобством отличался морской путь вдоль берегов Америки, вокруг мыса Горна; однако он занимал от 6 до 9 месяцев и был дорог. Более коротким был комбинированный маршрут — морем до Панамского перешейка, посуху через перешеек и снова морем до Сан-Франциско. Однако и панамский маршрут требовал средств. Основная же масса путешественников имела деньги лишь на необходимое обзаведение.

Эти люди двинулись в Калифорнию через материк, по путям, проложенным первыми переселенцами, от атлантического побережья к тихоокеанскому. Они шли партиями, по десять — двенадцать фургонов, с выбранными из своей среды начальниками; каждый фургон везла дюжина быков или мулов. За фортом Кирни, лежавшим примерно посередине пути, путешественники вступали в опасную зону. Им грозили безводные пустыни и тяжелые переправы; их подстерегали индейцы. Брет Гарт описал такую переселенческую партию в «Степном найденыше».

Чтобы достигнуть долины Сакраменто, нужно было уже на ближних подступах к Калифорнии перевалить Сьерру. Это требовалось сделать до наступления снегов. Потому пересекавшие материк спешили выехать ранней весной, как только начнет пробиваться трава, необходимая для прокорма скота; страх гнал их в пути. Все знали о судьбе партии Доннера из Миссури, застрявшей в снегах Сьерра-Невады и доведенной до людоедства (судьба партии Доннера дала Гарту материал для первой части «Гэбриеля Конроя»).

Нужно иметь в виду, что путешествие золотоискателей отличалось от обычного хода поселенцев своим импровизированным характером. В нем участвовали люди, не имевшие часто ни физических сил, ни необходимых навыков для подобного рода испытаний. Многие караваны были дурно экипированы, малодисциплинированы, не обеспечены медицинской помощью. Трудные участки дороги были обозначены белеющими костями животных и холмиками, увенчанными крестами.

«По всем дорогам жажда, голод, песчаные бури, индейцы и эпидемии шли по следам путешественников. От границы населенных мест до тихоокеанского побережья, от Соленого озера до Сакраменто, полторы тысячи безмолвных могил указывают путь искателей золота»,— пишет Бирд.

И все же, несмотря на все тяготы и препятствия, оставляя за собой ослабевших и мертвых, сто тысяч человек, пресловутых «людей 49-го», прорвались в этот год в золотую Калифорнию. В это число вошли европейцы, а также китайцы — о калифорнийском золоте знал уже весь мир,— но главное ядро составляли «янки», американцы из атлантиче-

ских и средних штатов, и бо́льшая часть их пересекла материк.

В последующие годы эмиграция постепенно слабела. Тем не менее через десять лет население Калифорнии достигло четырехсот тысяч человек, выросши, таким образом, с 1848 года в сорок раз. Золотодобыча США, оцениваемая к моменту открытия калифорнийского золота в десять миллионов долларов, перевалила к 1860 году за полмиллиарда долларов, составив огромное золотое накопление в руках северного предпринимательского капитала и федерального правительства.

В одной из испано-американских легенд Гарта испанский миссионер, едущий на своем смиренном муле из миссии Долорес, высящейся над пустынной бухтой Сан-Франциско, становится жертвой бесовских видений. Ему чудится в тумане огромный, сияющий огнями, многолюдный город. Действительно, Сан-Франциско, в канун открытия золота «городок, состоящий из одного монастыря и не более как двадцати низеньких, обмазанных белой глиною домов, расположенных в разных направлениях» [1], за самое короткое время вырос в крупнейший финансово-промышленный и культурный центр на тихоокеанском побережье США.

Популярной эмблемой Калифорнии был гигантский медведь гризли; это изображение возникло из господствовавшего взгляда на Калифорнию как на край дикой, девственной природы. Когда в 1868 году — через двадцать лет после начала «золотой лихорадки» — в Сан-Франциско вышел первый номер ежемесячного литературно-художественного журнала «Оверленд Монсли», редактором которого был молодой Брет Гарт, читатели увидели на обложке журнала все того же хорошо известного им медведя. Но Брет Гарт, очень чутко воспринимавший противоречия калифорнийской жизни, ввел в эмблему характерное изменение: медведь стоял, недоуменно озираясь, *на железнодорожном полотне*.

3

Старательская Калифорния уходила в прошлое, когда Брет Гарт напечатал в «Оверленд Монсли» свои первые старательские рассказы. Эти знаменитые рассказы вместе с мемуарами современников и другими материалами эпохи рисуют жизнь необыкновенную, в своем роде неповторимую и вместе с тем помогают понять, почему она оказалась недолговечной.

Первое время золотоискатели были безраздельными хозяевами земли. Государственная власть фактически отсутствовала, и каждый был волен поступать с землей и скрытыми в ней богатствами как заблагорассудится, на собствен-

---

[1] Ал. Марков. «Русские на Восточном океане», М., 1849, стр. 82.

ный страх и риск. Историки зарегистрировали образцы первоначальных старательских заявок: «Я, Джон Смит из Миссури, владею этим участком. Захватчика пристрелю на месте!» В дальнейшем были заложены основы «старательской демократии», самоуправления поселенцев, продержавшегося первые бурные годы «золотой лихорадки».

В согласии с демократической традицией американских поселенцев-скваттеров, занимавших и запахивавших «свободные земли» на неосвоенных территориях США, первые калифорнийские старатели выработали трудовой кодекс владения и пользования приисками. Через несколько дней после заявки участок должен был уже носить следы произведенных работ, иначе права заявщика аннулировались. Размер предоставляемых участков ограничивался в зависимости от содержания золота в почве. Перепродажа участков затруднялась различными формальностями. Старательские кодексы недружелюбно относились к применению наемного труда, предоставлявшего преимущество богатому человеку, и воспрещали применять на разработках рабский труд или брать заявку на имя раба.

Другим актом самоуправления была охрана личной безопасности старателя. Среди хлынувших в страну поселенцев было немало преступных элементов. С первых же месяцев массовой иммиграции в старательской Калифорнии начались грабежи и убийства.

Тирвейт Брукс в своем калифорнийском дневнике рассказывает о действиях бандитской шайки, жертвой которой стал его товарищ. Инос Кристмен с содроганием записывает в первый же день по прибытии: «Рано утром возле нашей палатки обнаружили труп. Это не считается здесь поразительным...» — и немного дальше: «Вчера американец застрелил на улице другого американца, и это привлекло не более внимания, чем собачья драка».

Следует заметить, что в мужской компании старательских общин процветали буйные нравы. Каждый был вооружен, и человеческая жизнь недорого стоила. Игра и попойка нередко кончались стрельбой и поножовщиной. Повздорив, противники уславливались стрелять «при первой встрече»— практикуемая форма старательской дуэли.

Однако грабеж, конокрадство и «нечестное» убийство преследовались и карались старателями. На террор преступных элементов старательские общины ответили созданием чрезвычайных «комитетов бдительности» (vigilance committee). Эти полулегальные организации опирались на общественное мнение и хотя порой расправлялись с невинными или кому-нибудь нежелательными людьми, сыграли известную роль в борьбе с преступностью.

Позже, когда старательские общины попали в зависимость от банков и капиталистов, «комитеты бдительности» выродились в суды Линча, действовавшие в обход закона, по

указке предпринимателей и реакционных политических воротил.

Более регулярным органом управления и правосудия на первых порах, до введения государственных судебных учреждений, было общее собрание старательского стана или поселка. При разношерстности старателей в каждом поселке находился человек с юридическими познаниями, и процедура судебного процесса соблюдалась в возможно полной мере, хотя и с гротескными отклонениями, о которых не раз с юмором повествует Брет Гарт.

Выдающимся политическим достижением «старательской демократии» было самоопределение Калифорнии в качестве нерабовладельческого штата. Пока южные плантаторы старались захватить Калифорнию в свои руки путем политических интриг в Конгрессе, калифорнийцы собрали конвенцию (съезд) в Монтерее, высказались против рабовладения и поставили плантаторскую партию перед фактом существования нового штата, запретившего рабство на своей территории.

В общегосударственном масштабе это не имело решающего значения. За допущение Калифорнии в союз в качестве нерабовладельческого штата правительство уплатило плантаторам новыми уступками. Следует добавить, что тот же съезд в Монтерее утвердил расовые ограничения в конституции Калифорнии. Избирательное право предоставлялось лишь белым поселенцам. Расовые предрассудки, преследование и истребление индейцев, дискриминация китайских иммигрантов и китайские погромы — эти грязные стороны «старательской демократии» позорят ее в глазах Гарта, и он не скрывает своего возмущения и протеста.

Прежде чем сказать об исчезновении «старательской демократии» под напором крупного предпринимательского капитала, следует коснуться своеобразного общественного и частного быта этих лет, так ярко отраженного в рассказах Гарта.

Старательские станы и городки возникали на месте приисков и рудных месторождений. Их стабильность и благосостояние целиком зависели от содержания золота или серебра в почве. Никто не мог поручиться, что в одну прекрасную ночь при известии о новой богатой находке весь поселок не снимется и не перекочует на двадцать миль в сторону. Старатели группировались главным образом в горных районах к северу от Сан-Франциско — в бассейне реки Сакраменто, и к юго-востоку от Сан-Франциско — в округах Калаверас и Туолумна, не раз упоминаемых у Гарта. Старатели изощряли свое остроумие, изобретая лихие названия для своих поселков. Гоморра, Делириум Тременс, Держу Пари, Ослиная Лощина, Висельный Город — таковы эти городки и поселки. У Гарта действие происходит в Ревущем Стане, Гнилой Лощине, Рыжей Собаке, Покер-Флете, Монте-Флете (*покер* и *монте* — названия азартных карточных игр). Са-

ми обитатели Ослиных Лощин тоже часто носили необыкновенные прозвища, данные шутки ради их собственными товарищами, или звались по имени города или штата, откуда прибыли: Теннесси, Кентукки, Алабама, Арканзас.

Повседневная жизнь старателя была сурова и требовала энергии и физической выдержки. Люди ютились в палатках, землянках, убогих хижинах. Старые ящики заменяли мебель. Одежда старателя — фланелевая или парусиновая рубаха и штаны, высокие сапоги, куртка, шейный платок и широкополая шляпа — служила ему во всякую погоду и чинилась собственными силами. Пищу старатели готовили себе сами; она была грубой и однообразной. Медицинская помощь в большинстве случаев отсутствовала, и смертность была высока.

Работа старателя на участке шла с утра до позднего вечера. В воскресенье старатель отдыхал, с утра стирал рубаху и одевался возможно щеголеватее. Затем он шел развлекаться, пил виски, играл в карты или в кости. Если была возможность потанцевать, шел танцевать, хотя бы за несколько миль, или же сидел в салуне, жевал табак и пел песни. Иногда приезжал бродячий театр или в соседнем городке, если дело происходило в мексиканском районе, устраивался бой быков, или ослепительный *фанданго*. Инос Кристмен описывает бой быков, в котором сперва матадор-сеньорита убила быка — старательская аудитория приветствовала ее дождем серебряных долларов,— а потом было устроено единоборство громадного быка с медведем гризли.

Характерной чертой быта в первые годы старательства было почти полное отсутствие женщин. Это обстоятельство использовано Гартом для фабулы «Счастья Ревущего Стана». Из небольшого числа женщин, прибывших с потоком старателей, значительный процент составляли проститутки. Они приехали, чтобы обогатиться за счет старателей, однако в исключительных бытовых условиях старательского поселка, в общине, где не было женщин, случалось, что проститутка не только паразитировала, но и ухаживала за больными, обшивала старателей и т. п. С ней не стыдились пройтись по главной улице, дружески поболтать, что земляки старателей в старых атлантических штатах сочли бы, несомненно, потрясением моральных основ.

Во всяком случае, вызывавшая не раз нарекания буржуазной критики «еретическая» трактовка проститутки у Гарта объяснялась не только общими идеологическими мотивами его творчества, но и основывалась на фактах изображаемой жизни.

Религия и ее служители не пользовались у старателей популярностью; проповеди посещались чаще всего для развлечения. Инос Кристмен описывает одну такую проповедь заезжего методистского проповедника. Он отмечает, что служба происходила в игорном помещении, где стояли сто-

лы для *монте*. Изображение конгрегации не лишено интереса: «Иные бородатые парни грубой внешности зашли просто из любопытства; другие, аккуратнее одетые и благообразные,— послушать молитву. Одни были в белых сорочках, другие во фланелевых рубахах; но все лица носили независимое и гордое выражение, и у всех на поясе были револьверы и длинные ножи».

Значительно большей популярностью пользовались профессиональные игроки, которых в старательском поселке объединяла со служителями религии странная привилегия ношения цилиндра. Помимо изысканного головного убора, они носили лакированные туфли и белоснежное белье — то была профессиональная внешность. Окхерстов и Гемлинов знали обитатели всех поселков, и хотя изредка на них обрушивалось негодование «выпотрошенных» ими старателей, самая деятельность игрока не считалась предосудительной. Игорные дома вместе с салунами и барами поглощали значительную долю заработков старателя. Сверкающие огнями и убранством, они были неотразимо притягательны. У Иноса Кристмена есть описание большого игорного дома:

«Мы входим в «Эмпайр Салун». Направо, за длинной стойкой, четверо служителей наливают виски и взвешивают золотой песок, по две щепотки за стаканчик. Дальше, за другим прилавком, стоит сеньорита; возле нее леденцы и громадная ваза с горячим кофе. Отмериваем по четыре щепотки и переходим в другой конец зала, где на специально устроенной галерее оркестр исполняет приятные мелодии.

Стены увешаны картинами любовного содержания. Посреди зала стоят восемь или десять столов, заваленных грудами серебряных монет и объемистыми мешочками с золотым песком и окруженных толпою людей. Играют в рулетку, *монте* и *фараон*. Позднее, ночью, когда игроками овладевает азарт, увидишь, как на одну карту ставятся тысячные суммы».

Деньги не задерживались у старателей. Обычным средством коммерческого расчета служил золотой песок; покупатель носил его с собой в кожаном мешочке; у каждого торговца имелись специальные весы. Золото было дешево. Инос Кристмен, купив вскоре по приезде одну картофелину за полдоллара, взволнованно записал в дневнике: «То, что дома мы сочли бы состоянием, здесь идет за карманные деньги». Самой мелкой денежной единицей был «дайм» (десять центов). Марк Твен, описывая в «Закаленных» свой приезд из Миссури на Запад, юмористически зарисовал столкновение, происшедшее у него с местным чистильщиком сапог:

«Я дал ему серебряную монету в пять центов с благодушным видом человека, изливающего богатство и счастье на нужду и страдания. Желтая куртка взял деньги с выражением лица, которое я принял за подавленное волнение, и бережно положил монетку на середину своей широкой ладо-

ни. Он долго смотрел на нее, как ученый, созерцающий ухо комара в широком поле микроскопа. Подошли курьеры, возчики, почтовые кучера...»

Первоначально приехавшие в Калифорнию старатели в большинстве своем хотели скопить некоторую сумму денег и вернуться домой. В старательских поселках пели песню:

В Делби-Флете мы славно живем,
Мы золото ищем и скоро найдем,
Мы скоро найдем, карманы набьем,
А тогда прощай, Калифорния!

Однако практически судьба старателей складывалась иначе. Скопить нужную сумму оказывалось не так легко. Кроме того, старательство и связанный с ним порядок жизни привлекали многих. В старательской Калифорнии дышалось свободнее, чем в старых штатах. Окруженный известным уважением, хотя бы и не добившийся материального успеха, «человек 49-го» с неохотой думал о возвращении «на Восток», где он занимал обычно незавидное положение. Отъезд бесконечно откладывался, отношения со «Штатами» приобретали все более запутанный характер. Брет Гарт отобразил этот характерный личный момент в жизни старателя в «Монте-флетской пасторали» и других рассказах.

Историки, подводя итоги старательского периода в освоении и развитии Калифорнии, приходят к выводу, что вопреки полуфантастическим легендам старателей и рекламным заверениям американской буржуазной печати из трудового люда разбогатели в годы «золотой лихорадки» лишь считанные единицы. Неслыханные цены на предметы первой необходимости быстро съедали намытый старателями золотой песок. Бары и игорные дома брали свою дань со счастливчиков. За счастливой находкой шли недели и месяцы неудач. Сколь ни парадоксально это звучит, тысячные состояния тех лет в Калифорнии были нажиты вовсе не на добыче золота, а главным образом на спекуляции земельной собственностью и продовольствием.

Миллионные состояния калифорнийских золотопромышленников возникают позже, когда добыча золота полностью или почти полностью переходит из рук старателей в руки предпринимательского капитала. Это было неизбежным следствием развития производительных сил страны в условиях капиталистических отношений.

Старательские методы добычи драгоценных металлов были примитивны. Золото в Калифорнии находили в самородках, в виде золотого песка в руслах бегущих или высохших потоков и, наконец, в породе. Первые старатели мыли золотоносную землю в тазах и в лотках. Следующим этапом в технике старателей, связанным уже с артельной разработкой, была люлька, деревянные ясли с просеивающим приспособлением и системой водоносных желобов. Правда, к 1852 году с помощью люлек старатели добыли золота более

чем на восемьдесят миллионов, но начиная с этого года при тех же и даже бо́льших трудовых затратах добыча начинает неуклонно снижаться. Огромные потери при старательских методах добычи не позволяли использовать полностью даже поверхностные залежи золота. Для разработки золота в горной породе они вообще были непригодны.

Интересно, что Инос Кристмен, ставший в 1852 году совладельцем газеты в небольшом центре золотоискательского района и получивший, таким образом, широкие возможности для наблюдений, записывает в этот период в своем дневнике: «Старательство, как мне кажется, идет к концу. В дальнейшем разработка золота будет производиться компаниями с солидным капиталом при помощи механического оборудования».

Для 1852 года это было неверно: старательство еще не исчерпало своих возможностей,— но как прогноз было справедливо. К концу 50-х годов крупный акционерный капитал, пользуясь новейшими, усовершенствованными методами добычи и обогащения руды, завладевает всеми основными калифорнийскими разработками и оттесняет старателя. Старатель занимает теперь второстепенное и подчиненное положение; он либо идет на работу к предпринимателю, либо, сохраняя формальную самостоятельность, вынужден довольствоваться скромным заработком, не превышающим той платы, которую он может получить как рабочий по найму.

Нервный центр золотой промышленности перемещается из старательского поселка в банкирские конторы Сан-Франциско и даже Нью-Йорка.

Брет Гарт не мог пройти мимо этих коренных перемен в калифорнийской жизни. Он зорко подмечает кризис старательского поселка. Нужно сказать, что старательский поселок Гарта — это чаще всего поселок второй половины 50-х годов, даже в тех случаях, когда автор искусственно относит действие к более раннему периоду.

Поэтому мы постоянно читаем в рассказах Гарта об оставленных штольнях, покинутых приисках, полуразрушенных хижинах, заброшенном и гниющем старательском оборудовании. Потому и об удачах старателей Брет Гарт рассказывает чаще всего в прошедшем времени.

«Старательская демократия» в Калифорнии при всем своем своеобразии была неотъемлемой частью общеамериканской буржуазной демократии и была подчинена общим законам ее развития. Поступательный ход капиталистических отношений неминуемо приближает конец экономической независимости мелких собственников. В золотой Калифорнии этот процесс имел в некотором смысле показательные особенности. Добывая из земли золото, калифорнийские старатели развязывали производительные силы капитализма с такой непостижимой быстротой, что не успели даже опомниться, как стали рабами капитала.

«Нигде еще переворот, вызванный капиталистической централизацией, не совершался так беззастенчиво и с такой поспешностью, как там»,— писал позже Маркс об экономическом развитии Калифорнии [1].

4

Изложив историю материала, следует обратиться к истории автора, введшего калифорнийских золотоискателей в американскую и мировую литературу [2].

Когда Брет Гарт в зените славы приехал из Калифорнии в Бостон, иные из поклонников его рассказов ждали бородатого старателя в красной фланелевой рубахе, с револьвером у пояса. Они были удивлены, отчасти разочарованы, увидев, что автор «Счастья Ревущего Стана» и «Компаньона Теннесси» ничем не походит на своих персонажей. «Один бог знает, кого они рассчитывали увидеть в моем лице»,— досадовал позже Брет Гарт, когда то же разочарование выказали слушатели его публичных чтений на Востоке и на Юге США.

До конца жизни Гарту сопутствовали биографические легенды, в которых он выступал старателем, лихим калифорнийским ковбоем и даже профессиональным игроком.

Фрэнсис Брет Гарт родился в 1836 году в городе Олбани, штат Нью-Йорк. Он был смешанного происхождения: англо-еврейского по отцу и англо-голландского со стороны матери. Гарт-отец, образованный человек, преподаватель древних языков, отличался «непрактичностью», то есть в условиях американской жизни 30—40-х годов XIX века был безнадежным неудачником. Когда он умер, семья осталась необеспеченной; тринадцатилетний Фрэнк вынужден был бросить школу и стал конторщиком. Это был болезненный, мечтательный маленький горожанин, с детства писавший стихи, неутомимый читатель Диккенса и Дюма.

«Золотая лихорадка» 1849 года увлекла на Запад старшего брата Гарта. Немного позже уехала в Калифорнию его мать, вышедшая вторично замуж за старого друга семьи, обосновавшегося неподалеку от Сан-Франциско (этот южный джентльмен послужил позднее своему пасынку прототипом для полковника Старботтла). В 1854 году семнадцатилетний Фрэнк, оставшийся один в Нью-Йорке и не имевший никаких определенных жизненных планов, последовал за семьей.

---

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 27, М., 1935, стр. 100. (Письмо Маркса к Ф. Зорге от 5.XI.1880).

[2] Английская биография Гарта, принадлежащая его другу Пембертону (E. T. Pemberton. The Life of Bret Harte, 1903), узка по привлеченному материалу и апологетична. Значительно устарела и американская работа Мервина (H. Ch. Merwin. The Life of Bret Harte, 1911). Наиболее основательна книга Стюарта (G. R. Stewart. Bret Harte, Argonaut and Exile, 1931). Новейшая работа Маргарет Дакетт (Margaret Duckett. Mark Twain and Bret Harte, 1964), специально посвященная взаимоотношениям Твена и Гарта, содержит некоторый новый биографический материал.

Жизнь и деятельность Гарта в Калифорнии можно условно разделить на три периода. Первый приходится на 50-е годы и может быть охарактеризован как ученичество. Второй связан с профессиональной журналистикой в Сан-Франциско. Третий, открывающийся созданием «Счастья Ревущего Стана»,— это творческий взлет Гарта.

Интерес раннего периода состоит в том, что в эти годы молодой Гарт почерпнул свои главные калифорнийские впечатления, которые послужили позже материалом для его важнейших вещей. В противоположность упоминавшейся выше легенде о Гарте, «человеке дикого Запада», в литературе составилось столь же неосновательное мнение, будто Брет Гарт вовсе не знал жизни, которую описывал, будто его рассказы — кабинетное творчество. Новейшие биографы устанавливают точные факты, показывающие, что хотя писатель не был глубоко связан с изображаемой им жизнью, он, во всяком случае, имел обширные возможности для наблюдений.

Шесть лет, с 1854 по 1860 год, Гарт провел в калифорнийских городках и поселках, повседневно общался с тем пестрым людом, который вывел позднее в своих произведениях.

Сразу по приезде он поселился у своего отчима в городке Окленде, к югу от Сан-Франциско, и близко соприкоснулся с мексикано-испанскими элементами калифорнийской жизни. Неподалеку от Окленда доживала свой век старая *миссия* Сан-Хосе, где молодой Гарт брал уроки испанского языка у католического «падре», будущего отца Фелипе в «Гэбриеле Конрое».

Далее Гарт учительствовал некоторое время в старательском поселке, в самом центре золотоискательского округа Туолумна. Автобиографическая основа «Млисс», одного из начальных калифорнийских рассказов, в котором выступает молодой учитель, не вызывает сомнений. В дальнейшем Брет Гарт еще не раз возвращался к воспоминаниям тех лет; наиболее лирические страницы его поздней повести «Кресси» посвящены как раз этой весьма своеобразной калифорнийской школе 50-х годов.

Далее следует краткий период, в течение которого молодой Гарт получил наиболее красочные из своих калифорнийских впечатлений: он был золотоискателем и курьером почтового дилижанса. Золотоискательство было недолгим. В автобиографическом очерке «Как я попал на прииски» сам Гарт говорит о трех неделях. Важно, однако, то, что будущий писатель, хотя и короткое время, отожествлял свои надежды и помыслы с надеждами и помыслами старателей, мыл золотоносную землю, пережил иллюзию успеха и горечь разочарования. Без этого он, вероятно, не смог бы создать свою галерею золотоискателей. Совсем мало известно о службе Гарта в должности почтового курьера, окруженной ореолом калифорнийской романтики и молодечества. Однако этому опыту американская литература обязана появле-

нием Юбы Билла, кучера калифорнийских почтовых дилижансов, одного из излюбленных героев Гарта, всем обликом тесно связанного с американской народной традицией.

Второго своего популярного героя, игрока и бретера (и в то же время защитника слабых и обиженных) молодой Гарт открыл несколько позднее, как сам он вспоминает о том в другом автобиографическом очерке «Моя юность в Сан-Франциско». Точнее, Гарт приметил лишь «оболочку» героя; тот с беззаботной улыбкой простился с ним, отправляясь на дуэль, с которой уже не вернулся. Позднее воображение Гарта домыслило в элегантном игроке душу Гемлина и Окхерста.

Касаясь достоверности обоих названных автобиографических очерков, следует заметить, что, хотя они, возможно, и являются позднейшей реконструкцией ранних лет в жизни писателя, ничего чрезмерного или исключительного на фоне современных калифорнийских мемуаров они не содержат.

Заключительная глава жизненного ученичества Гарта и начало литературного ученичества — это почти полуторагодичная работа наборщиком и журналистом в еженедельной газете «Норзерн Калифорниен», в приисковом городке Юнионтауне. Все позднейшие рассказы Гарта, в которых фигурирует газетная редакция в калифорнийской глуши, восходят к этим страницам его жизни. Хотя и ранее, между делом, он печатал в местной прессе стихи и случайные корреспонденции, здесь журналистика впервые стала его повседневным занятием. Здесь Брет Гарт встретил и первое серьезное жизненное испытание, из которого вышел с честью.

В феврале 1860 года группа граждан Юнионтауна, побуждаемая темными элементами, учинила кровавое избиение мирных индейцев, в большинстве своем женщин и детей. Как уже сказано, индейцев не считали в Калифорнии людьми; те из жителей городка, кто не разделял этого людоедского мнения, были запуганы и молчали. Тогда Брет Гарт, замещавший уехавшего на время редактора «Норзерн Калифорниен», написал, собственноручно набрал и напечатал крупными литерами на первой полосе газеты статью, в которой разоблачил преступление и заклеймил убийц. Оставаться в Юнионтауне после этого он уже не мог; он стал «нежелательным гражданином», жизни его грозила опасность. Гарт уехал в Сан-Франциско.

В Сан-Франциско Гарт поступил наборщиком в самую крупную газету тихоокеанского побережья «Голден Ира» («Золотая эра»). Одновременно с работой в типографии он стал сотрудничать в газете, подписывая свои статьи и стихи «Брет». Уже в октябре того же 1860 года он напечатал в «Голден Ира» первые произведения, построенные на характерно-калифорнийском материале и содержащие довольно четкие признаки его будущей творческой манеры,— «Не-

стоящего человека» и «Работу на Красной горе» (позднее переименованную в «Млисс»).

В этот переломный момент своей жизни Гарту посчастливилось найти друга и покровителя в лице Джесси Фремонт, хозяйки крупнейшего политического и литературного салона в Сан-Франциско. Джесси Фремонт была женой известного своими резко антирабовладельческими взглядами сенатора от Калифорнии Джона Фремонта и дочерью крупного американского политического деятеля, сенатора от Миссури Томаса Бентона; она по праву считалась одной из наиболее образованных и влиятельных женщин в США. В салоне Фремонтов молодой Гарт расширяет свой художественный и политический кругозор и встречается с видными деятелями эпохи, радикалами и аболиционистами. Вместе с ними он принимает участие в текущих политических кампаниях в Сан-Франциско, сперва за избрание Линкольна президентом, затем за поддержку правительства Линкольна против мятежного рабовладельческого Юга. Плантаторская партия в Калифорнии плела заговоры и одно время угрожала единству штата. Считается, что стихи Гарта в поддержку Севера сыграли немаловажную роль в мобилизации общественного мнения в Калифорнии против мятежников.

В середине 60-х годов Гарт — заметная фигура в литературном мире Сан-Франциско. Влиятельные друзья помогают ему оставить ремесло наборщика. Сперва он служит клерком в Межевом управлении, потом получает хорошо оплачиваемую должность секретаря в калифорнийском филиале Государственного монетного двора. Он считает себя материально обеспеченным, женится, посвящает все больше времени литературной работе. Он хорошо известен теперь под своим литературным именем: Брет Гарт. Вокруг Гарта группируется компания литературной и артистической молодежи, органом которой скоро становится журнал «Калифорниен», лучшее из существовавших до той поры в Сан-Франциско литературных изданий. Гарт привлекает к сотрудничеству молодого Твена, еще только начинающего свою писательскую карьеру, покровительствует ему. Гарт, Твен и их друзья формируют литературную жизнь тихоокеанского побережья США.

Следует заметить, что Гарт в эти годы как бы прерывает на время разработку своей, уже намеченной в первых рассказах старательской темы. Его знаменитый старательский цикл, открывшийся «Счастьем Ревущего Стана», появляется лишь в самом конце 60-х годов, когда на месте «Калифорниена» вырастает толстый журнал «Оверленд Монсли», во главе которого становится он сам. Пока же, в период «Калифорниена», литературная репутация Гарта зиждется на небольшом числе очерковых и пародийных произведений и признанных личных качествах стилиста и остроумца.

Брет Гарт печатает серию блестящих для своего времени пародий на корифеев современной ему европейской и отчасти американской литературы, включая Диккенса, Дизра-

эли, Бульвер-Литтона, Шарлотту Бронте, Дюма-отца, Виктора Гюго, Фенимора Купера и других. Эти «Романы в сжатом изложении» отнюдь не сводятся к огульному отрицанию европейской традиции как устарелой и антидемократической, что было принято и модно в те годы в США. Брет Гарт весьма язвительно подмечает такого рода недостатки в пародируемых им произведениях, но одновременно обнаруживает глубокую начитанность в европейской литературе и точное, «писательское» ее понимание. Будучи во многом учеником Диккенса, Гарт тем не менее критикует своего учителя за «архаическую» в его творчестве приверженность к патетике и внешнеромантическим атрибутам. В пародирующем Диккенса «Человеке, преследуемом призраками» усердный читатель английского романиста вступает в беседу с призраком автора, сошедшим со страниц своего нового романа.

«— Ты снова здесь? — спросил человек, преследуемый призраками.

— Я снова здесь,— прошептал призрак.

— Опять роман?

— Опять роман.

— Все то же?

— Все то же.

— Я вижу ребенка,— сказал человек, преследуемый призраками.— Это необычайно странный ребенок, в своем роде образцовый ребенок. Он рано созрел; он философ. Он умирает в бедности, под тихую музыку. Он умирает в роскоши, под тихую музыку... Перед тем как умереть, он составляет завещание, он читает молитву, он целует свою няню. Этот ребенок...

— Мой! — сказал призрак.

— Я вижу очаровательную женщину небольшого роста. Я вижу нескольких прелестных женщин, но все они небольшого роста. Все они слабоумны, почти идиотки, но все очаровательны и небольшого роста. На них кокетливые чепчики и фартуки. Я убеждаюсь, что добродетель доступна лишь женщинам ниже среднего роста, простодушным и инфантильным. Эти женщины...

— Мои! — сказал призрак.

— Я вижу надменную, злую и гордую леди. Она высокого роста, с царственной осанкой. Я замечаю, что все гордые и злые леди — высокого роста и с царственной осанкой. Эти леди...

— Мои! — сказал призрак, заламывая руки.

— Я вижу, как события постоянно нависают. Я замечаю, что если суждено случиться несчастью или убийству, если кто-нибудь должен умереть, то в расстановке мебели, в пейзаже, в общей атмосфере всегда проявляется нечто предвещающее эти события за несколько лет вперед. Не скажу, чтобы мне хоть раз довелось увидеть что-либо подобное в действительности... Честь этого поразительного открытия принадлежит...

— Мне! — сказал призрак».

Работа над «Романами в сжатом изложении» была для Гарта итогом литературного ученичества и школой мастерства. Хотя молодой писатель сам был далеко не свободен от многих недостатков, которые столь дерзко критиковал у старших собратьев по перу, он быстро проявил себя как искатель и новатор. В сатирическом очерке «Развалины Сан-Франциско», напечатанном в «Калифорниене» в 1865 году от имени человека 2435 года, мы слышим ту характерную интонацию повествователя из будущих времен, которую тремя десятилетиями позже сделал столь популярной в своих научно-фантастических произведениях молодой Уэллс. Бесспорно также, что приписываемое обычно Киплингу обновление английской баллады (сочетание балладного стиха с тематикой и лексикой сегодняшнего дня) было впервые осуществлено Гартом в его калифорнийских песнях и балладах конца 60-х годов.

Биограф Гарта, Стюарт, считает нужным отметить, что в годы сотрудничества Гарта в «Калифорниене» писатель находится как бы в оппозиции к тематике и социальным и художественным принципам, которые составляют сущность его позднейших произведений. Стюарт пишет, что Брет Гарт высмеивает попытки калифорнийской прессы возвеличить «честного работягу»-старателя и представить «золотой поход» как тему для героического повествования. (В ответ на последнее предложение Гарт насмешливо писал: «Чем меньше будет сказано о мотивах приезда кое-кого из пионеров, тем будет лучше, ибо слишком многие из них были более озабочены скорейшим отбытием из пункта отъезда, нежели выбором места назначения».)

Чтобы правильно понять позицию Гарта, надо помнить, что к этому времени восхваления старателя в Калифорнии имели в подавляющем большинстве случаев рекламный и демагогический характер. Приукрашенная до неправдоподобия фигура «честного работяги», фактически уже давно оттесненного с авансцены калифорнийской жизни, служила чем-то вроде торговой марки Калифорнии и, как остроумно показал повднее Гарт в «Гэбриеле Конрое», должна была привлекать в страну свободный капитал. По поводу навязчивого использования этой тематики для пропаганды буржуазного преуспеяния Брет Гарт писал в 1869 году: «Как ранний образчик морализирования в Калифорнии, припоминаю серию рисунков, навеянных, я думаю, известными сатирическими сериями Хогарта, посвященными прилежному и ленивому подмастерью. На наших рисунках соответственно были изображены образцовый старатель и беспутный старатель. Беспутный, сколько я помню, шел от неряшливости и пьянства к болезням и преждевременной кончине; образцовый — воспарял к зажиточности и к сорочке с крахмальным пластроном. Каковы бы ни были художественные качества этих рисунков, мораль их была совершенно ясной. То, что они не произвели желаемого эффекта на старательские

общины, объясняется в числе прочего тем, что рядовой старатель не признавал себя ни в одном из выведенных типов».

Певцом «золотого похода» и капиталистического развития Калифорнии Брет Гарт не намерен был становиться. Вынашиваемая им задача была иной. Он намеревался показать эту жизнь в кипении страстей. За живописными контрастами он хотел раскрыть ее подлинные противоречия. Следует напомнить, что уже после того, как старательские рассказы Гарта получили успех во всем мире, в Калифорнии они еще долгое время продолжали считаться чем-то вроде поклепа на калифорнийскую действительность.

Старательские рассказы стали появляться в «Оверленде» один за другим, с небольшими паузами, но регулярно, словно Брет Гарт задолго готовился к этому решающему шагу.

В конце 1868 года, во втором номере журнала, он напечатал «Счастье Ревущего Стана»; в 1869 году появились «Изгнанники Покер-Флета», «Миггдс», «Компаньон Теннесси» и «Идиллия Красного Ущелья»; в 1870 году — «Браун из Калавераса», «Блудный сын мистера Томсона» и «Илиада Сэнди-Бара». Вместе с «Нестóящим человеком» и «Млисс», напечатанными в 1860 году, это были те десять старательских рассказов Гарта, которые заложили основу всего его дальнейшего творчества. К ним можно добавить смежные по тематике и общему колориту старательские баллады, напечатанные в то же время: «В забое», «Ее письмо», «Чикита», «Диккенс на прииске» и другие.

5

Рассказы Гарта обычно считаются парадоксальными, то есть основанными на странности или преувеличении. Известная характеристика старателей в рассказе «Счастье Ревущего Стана» строится таким образом:

«У самого отъявленного мошенника был рафаэлевский лик с копной белокурых волос. Игрок Окхерст меланхолическим видом и отрешенностью от всего земного походил на Гамлета; самый хладнокровный и храбрый из них был не выше пяти футов ростом, говорил тихим голосом и держался скромно и застенчиво».

На основании этого и многих других примеров Гарта не раз упрекали в любви к преувеличениям, хотя можно указать, что бросающиеся в глаза противоречия и контрасты составляли неотъемлемую черту жизни, изображенной в рассказах Гарта. В уже знакомом нам дневнике Иноса Кристмена записан такой эпизод:

«Понедельник. 5-е марта 1851 г. Сегодня прибыла почта. Громадная толпа, волнуясь, ожидала. Когда стали выдавать письма, из толпы выступил колосс. Борода, закрывавшая лицо, и громадный револьвер, торчавший у пояса, придавали ему вид совершеннейшего головореза. Когда он назвал свое имя, ему выдали изящный конверт, и он, отвесив

причитающиеся два доллара, отошел в сторону и вскрыл письмо. Через несколько минут я обернулся и увидел свирепого великана в слезах...

В той же толпе я приметил другого человека, юношу с бледным лицом. Он назвал себя и узнал, что ему нет письма. Грустно было наблюдать, как юноша разразился богохульствами и проклятиями по адресу забывших его друзей. Он тут же пригласил нескольких человек в бар, и оттуда понеслись крики пьяного разгула».

Инос Кристмен не имел склонности к преувеличениям и писал не для публики. Тем не менее приведенное описание, не лишенное элементарной художественной обобщенности, построено на характерном парадоксе и могло бы по праву фигурировать в одном из рассказов Гарта.

Биограф Гарта, его личный друг Пембертон, указывает, ссылаясь на беседы с писателем, что Брет Гарт избегал вымысла и строил свои сюжеты на известном ему фактическом материале. Английская актриса Фэнни Кэмбл в 1875 году записала со слов Гарта случай, происшедший с ним в молодые годы в Калифорнии. Запись ее почти во всех деталях совпадает с сюжетом написанного позднее рассказа Гарта «Кто был мой спокойный друг», построенного на характерном калифорнийском парадоксе.

При всем том писатель не ограничивается фактическими парадоксами калифорнийской жизни, а намеренно обостряет их. Так, свое приведенное выше описание противоречивых качеств обитателей Ревущего Стана он доводит до самой грани неправдоподобия.

«У местного силача на правой руке насчитывалось всего три пальца; у самого меткого стрелка не хватало одного глаза»,— пишет Брет Гарт.

Что же хочет сказать Брет Гарт своими странностями и парадоксами? Почему он так щедр на них?

Он хочет подвести читателя к мысли, что внешние черты изображаемой им жизни или поспешное и поверхностное представление о ней могут находиться в противоречии с ее истинным содержанием. Действительно, главный «парадокс» Гарта заключается в том, что, изображая золотоискателей, людей, посвятивших себя, по общепринятому мнению, личным и эгоистическим целям, он ставит перед собой задачу оспорить и разбить это общепринятое мнение.

В «Счастье Ревущего Стана» разгульный и пьяный старательский поселок с материнской нежностью воспитывает осиротевшего младенца. В «Миггле» — «гулящая девушка» с приисков показывает пример душевной чистоты и морального героизма. В «Брауне из Калавераса» бесшабашный игрок — еще одна характерная фигура старательского мира— отказывается от любимой женщины, чтобы уберечь семейное счастье доверившегося ему приятеля.

Один из наиболее замечательных в этом отношении рассказов из того же цикла, «Компаньон Теннесси», посвящен беззаветной, «до гроба» дружбе старателей. Мотив взаимной

преданности компаньонов («pardners»), старателей, объединившихся для совместной работы, затрагивается не раз у Гарта. В известной его балладе «В забое» рассказчик-старатель вспоминает, как «Флин из Вирджинии», его холостой компаньон, спас его, семейного человека, ценою собственной жизни.

...Здесь, в забое,
Сгорбясь, сидели
Я и Том Флин.
Киркой рубили,
Руду дробили
Среди теснин...

Где теперь Флин?
Эхо долин
Скажет, где он,
Друг мой Том Флин,
Том весельчак,
Храбрец, добряк,
Мой компаньон.

На месте том,
Там, где обвал,
Крепленье Том
Спиной держал
И вдруг из мрака
Мне закричал:

«Спасайся скорей,
Ради детей,
Не жди меня, Джек!»

И в миг один
Средь скал навек
Пропал Том Флин...

...Вот весь рассказ
О том, как спас
Меня Том Флин,
Флин из Вирджинии.
Я плачу... Нет,
То не слеза...
То лампы свет
Слепит глаза [1].

Компаньон Теннесси не совершает подобного героического поступка, хотя, без сомнения, мог бы совершить. Этот ничем не примечательный старатель предан своему другу или компаньону, беспутному Теннесси настолько, что изве-

[1] Перевод М. Зенкевича.

стен окружающим лишь по этому отличительному признаку. Пронося свою бесконечную заботу о друге через все испытания до самой могилы, скромный герой Гарта обнаруживает такие золотые россыпи душевного благородства, перед которыми меркнет все золото, добываемое из калифорнийской земли.

Из сказанного ранее о калифорнийских старателях уже известно, что золотоискательство имело для большинства из них не столько имущественное, сколько бытовое значение. Брет Гарт с полным правом видел в них народ, трудящихся; он искал в их среде положительные человеческие черты: честность, душевное благородство, бескорыстную любовь, способность к самопожертвованию; противопоставлял эти черты стяжательству, эгоизму и пошлости как социальным порокам имущих классов.

Весьма интересен с этой точки зрения разбор рассказа Гарта «Миггдс», произведенный Чернышевским в упомянутом выше письме о Гарте, присланном в 1878 году из ссылки.

В «Миггдс», одном из наиболее замечательных «оверлендовских» рассказов Гарта, изображена молодая женщина, которая уединенно живет в глуши, посвятив себя заботам о парализованном, слабоумном человеке, с которым она делит лесную сторожку. Группа застигнутых непогодой обывателей-горожан заезжает в это глухое местечко в поисках ночлега. Тут выясняется, что Миггдс — недавно еще известная всей округе «веселая девушка» с золотых приисков, а больной Джим, которого она опекает, не отец ей, не брат и не муж, а один из ее прежних любовников. В свое время, влюбившись в Миггдс, он потратил на нее все деньги; когда она вновь встретила его на своем пути, обнищавшего и неизлечимо больного, она посвятила ему свою жизнь.

Обыватели, в особенности дамы, шокированы соприкосновением с «миром разврата». Некоторые эпизоды «Миггдс» предвосхищают атмосферу другого, более знаменитого рассказа, мопассановской «Пышки». Брет Гарт с несомненной для Америки 60—70-х годов художественной смелостью героизирует Миггдс и рисует характер благородный, пылкий и прямой, обаяние которого не проходит бесследно даже для заскорузлых буржуа-обывателей.

Известно, какое видное место занимал в общественных воззрениях Чернышевского вопрос о женском равноправии и борьбе с собственническим и эксплуататорским отношением к женщине. Смелая характеристика Миггдс у Гарта, заставляющая читателя остро почувствовать ложность господствующих моральных норм, не могла не встретить у Чернышевского горячего отклика. «Миггдс» — рассказ очаровательный своей гуманностью»,— пишет он. Касаясь основного конфликта в рассказе Гарта, Чернышевский решительно раскрывает его в свете социальной морали.

«У Миггдс не было в жизни ничего нуждающегося в оправдании,— пишет Чернышевский.— Она, когда веселилась, не делала ничего дурного. Конечно, жаль, что она не роди-

лась барышнею, и осталась сиротою, и должна была держать харчевню, а не разъезжать с маменькою по балам. Но в этом и весь ее «грех», что она не могла разъезжать по балам».

Дальше, рассуждая о браках между людьми разного общественного положения и воспитания, Чернышевский спрашивает: «Годилась ли бы Миггле стать светскою дамою?» И отвечает, что «это — дело мудреное». Мудреное же оно не потому, что Миггле нарушила требования морали, господствующие в обществе, в котором она живет, а потому, что она «простолюдинка», которой в этом обществе ничего не прощается.

Уже в самом начале своего разбора «Миггле» Чернышевский пишет, что самый умный и «один истинно благородный человек» в заехавшей к Миггле компании — это «простяк Билль с Юбы», тоже простолюдин, как и Миггле. О дамах, выступающих в качестве блюстительниц общественной нравственности, Чернышевский пишет: «Они даже лучше мужчин, госпожи «нравственные» женщины. Что это за сволочь, обе «леди-проезжие»! — Нестерпимая сволочь».

«Дело не о «непорочности» тела ли, или сердца,— резюмирует Чернышевский моральный конфликт в рассказе американского писателя. — Дело лишь о сословии...»

Чернышевский здесь с большой проницательностью выявляет демократическую и гуманную тенденцию Гарта, договаривая в некоторых случаях то, на что Брет Гарт лишь намекает.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что Брет Гарт, избравший калифорнийскую «старательскую демократию» для изображения положительного в человеке, не был искателем моральных парадоксов и живописных эффектов, а примыкал к той мощной школе демократов-гуманистов, которые произвели в середине прошлого века переворот в мировой литературе, заявив во всеуслышание, что «добродетель покинула дворцы богачей и живет в лачугах трудящихся».

Замысел Гарта не имел в себе ничего исключительного, если оценивать его с точки зрения основных тенденций современной ему европейской литературы. Однако для США конца 60-х — начала 70-х годов занятая им позиция была трудной и открытой для нападок.

В силу ряда причин, связанных с особенностями развития буржуазной демократии в США, критика буржуазно-капиталистического порядка развивалась там с сильным запозданием, что не могло не наложить характерного отпечатка на всю сферу американской духовной жизни.

Воспевать самопожертвование в среде золотоискателей в стране, где каждый пятый намеревался стать миллионером и стяжательский эгоизм почитался в широких кругах общества нормальным нравственным состоянием, значило быть смешным или же, того хуже, прослыть «дурным американцем».

Американская литература в эту пору весьма неохотно

выделяет бедняка или отверженного как объект социального сочувствия и не противопоставляет его капиталисту, богачу, имущим классам. Напротив, подобная проблематика считается характерно европейской, чуждой американской действительности. Этим заблуждениям американской общественной мысли и литературы платили дань в начале своей деятельности даже такие выдающиеся американские писатели XIX века, как Марк Твен и Уолт Уитмен. Брет Гарт не был гениальным певцом американского народа, подобно Твену и Уитмену. Он не вышел из народной гущи и в гораздо меньшей степени отразил в своем творчестве знаменательные черты в развитии американского народного самосознания. Однако нужно признать, что он и в меньшей степени был подвержен специфическим предрассудкам, которые американская буржуазия навязала американскому народу. Брет Гарт, американский интеллигент 60-х годов, видел многое, что ускользало от взглядов молодого Твена. Тяготея к социальному направлению, представленному в современном ему западноевропейском романе демократическим гуманизмом Диккенса, он глядел на многие факты американской жизни глазами европейского писателя-демократа, что означало подчас — глазами американского писателя-демократа, заглянувшего на двадцать лет вперед.

Очень характерным образом позиция Гарта проявляется в его юморе, неотъемлемом и весьма замечательном элементе всего его творчества.

Английский писатель Г. К. Честертон, высоко ценивший творчество Гарта, однажды написал, что Брет Гарт — «настоящий американец и настоящий юморист, но не американский юморист». Поясняя свою формулу, Честертон добавляет, что американский юмор прежде всего насмешлив, а юмор Гарта «анализирующий и сочувственный». Замечание Честертона справедливо не полностью, но основания для него имеются. Это легко установить, сравнив юмористические мотивы у Гарта с господствующей американской юмористикой 60—70-х годов XIX века, скажем, с рассказами молодого Твена.

Брет Гарт — законный представитель американской юмористической школы. Рецензируя в «Оверленде» книгу Твена «Простаки за границей», являвшуюся чем-то вроде манифеста американской юмористики 60-х годов, он расхвалил и поддержал ее. В ряде пародийно-юмористических мотивов он непосредственно примыкает к традиции американского юмора. Он широко черпает из того же источника в построении характера. Образ Юбы Билла, одного из наиболее замечательных героев в калифорнийской галерее Гарта, мог быть создан лишь художником, органически воспринявшим народную традицию американского юмора. Поражающая и неудержимо притягивающая читателя, невозмутимая, несколько мрачноватая манера Юбы Билла — традиционная маска рассказчика-юмориста в американском фольклоре. Брет Гарт мог смеяться вместе со старателями.

Однако были вещи, над которыми могли смеяться старатели и смеялся молодой Твен, но Брет Гарт смеяться не мог. Ему чужда столь важная для понимания ранней юмористики Твена характерно американская традиция «жестокого юмора». Юмор Гарта всегда психологичен и гуманен; изображая столь распространенную забаву старателей, как «практическая шутка», он неизменно воспринимает ее с точки зрения жертвы; он неспособен увидеть «забавную» сторону страдания или убийства.

«Я раскроил ему череп и похоронил за свой счет» — такова известная концовка одного из самых веселых рассказов молодого Твена, двухмерного по построению, основанного на комической ситуации. Изображая в «Компаньоне Теннесси» суд Линча, Гарт теряет ироническую усмешку и говорит: «Жалкое и безумное деяние...»

Брет Гарт был, конечно, американским юмористом, но с характерной уже упомянутой хронологической поправкой: в 60-х годах он был собратом Твена 80-х годов, то есть Твена, автора проникнутых сочувственным вниманием к человеку «Приключений Гекльберри Финна».

6

Рассказы в «Оверленде» утвердили славу Гарта. Они перепечатывались в газетах и журналах по всей стране. В 1870 году рассказы вышли отдельной книгой в Бостоне, в известном американском издательстве «Филдс и Осгуд». Слава понеслась в Европу. Диккенс, кумир Гарта с юных лет, прочитавший первые два рассказа в «Оверленде», послал Гарту личное письмо с просьбой посетить его в Англии и принять участие в издаваемом им журнале «Круглый год». Это была высокая честь, но ранее письма пришло известие о скоропостижной кончине Диккенса, и Брет Гарт откликнулся на смерть учителя известным стихотворением «Диккенс на прииске». Вслед за английскими изданиями старательские рассказы Гарта появились в немецких, французских и русских переводах. Фрейлиграт в Германии перевел старательские баллады Гарта. Все сходились на том, что на американском литературном горизонте взошла звезда первой величины.

Получив лестные и выгодные предложения от журнальных редакций и издательств, Брет Гарт решил покинуть Сан-Франциско и в начале 1871 года уехал с семьей на Восток, к центрам американской общественной жизни и культуры.

Первые два года в Бостоне и в Нью-Йорке были благоприятным временем для Гарта. Престарелые классики американской словесности Эмерсон, Лонгфелло, Уитьер, Холмс ласково приняли его. Он возобновил старинную дружбу с Марком Твеном, обосновавшимся близ Бостона и уже завоевавшим прочный литературный успех. Он близко сошелся

также с Гоуэллсом, редактором «Атлантик Монсли», наиболее солидного американского литературно-художественного ежемесячника, и издатели «Атлантик Монсли» заключили с Гартом годичный контракт на самых выгодных условиях. Однако Гарту не удалось закрепить успех, и последующие пять лет принадлежат к самым тяжким в его жизни.

Началось с того, что рассказы, написанные Гартом для «Атлантик Монсли»,— хотя среди них были такие бесспорно сильные вещи, как «Случай из жизни мистера Джона Окхерста» и «Как Санта Клаус пришел в Симпсон-Бар»,— были встречены критикой значительно холоднее, чем рассказы в «Оверленде», и «Атлантик» не возобновил контракта с писателем.

Тогда Брет Гарт обратился к «лекциям», разъездным выступлениям, которые со времени знаменитых публичных чтений Диккенса в США сделались источником подсобного дохода для американских литераторов.

Брет Гарт был известен как блестящий, остроумный собеседник, но притом не имел ни ораторских, ни актерских данных и чуждался публичных выступлений. Выбора, однако, не было, его преследовали кредиторы; на первой же лекции за кулисами сидел судебный пристав с исполнительным листом. В течение трех лет Брет Гарт разъезжал по восточным и среднезападным штатам, рассказывая провинциальным слушателям о калифорнийских золотоискателях. Он побывал также в южных штатах и в Канаде. Его письма этих лет полны жалоб на опаздывающие поезда, дурные гостиницы, отсутствие контакта с аудиторией. Его терзает безденежье и тревога за семью (у Гарта к тому времени было четверо детей). «Вообрази себе бесконечно расстроенного, взбешенного, полубольного человека, злобно ощерившегося из-за пюпитра на своих слушателей и клянущего их в душе»,— пишет Брет Гарт жене[1]. В другом письме он рассказывает, как почерпнул запас бодрости в беседе со старой негритянкой, уборщицей в гостинице. «Она болтала и смеялась у меня за дверью,— пишет Брет Гарт,— и смех ее был так музыкален, в нем было столько душевности и доброты, что я вышел из номера и проболтал с ней все время, пока она мыла лестницу... Это было перед лекцией, когда меня особенно мучает тоска и упадок духа».

Неуспех лекционных турне осложнялся еще тем, что Гарт, устававший от поездок, почти не находил времени писать. В 1874 году он бросает лекции и принимается за роман из калифорнийской жизни.

Несмотря на неудачи, он еще полон сил и веры в себя. Английская актриса Фэнни Кэмбл, познакомившаяся с Гартом в 1875 году в отеле под Нью-Йорком, где он жил с семьей, оставила в письме к родным беглый, но интересный его

---

[1] Письма Гарта приводятся по однотомнику, изданному его внуком (The Letters of Bret Harte. Assembled and edited by Geoffrey Bret Harte. New York, 1926).

портрет: «Он сильно напомнил мне нашего старого друга, этого пирата и душегуба Трелоуни, хоть и надо заметить, что Трелоуни почти по-восточному смугл, а мистер Брет Гарт довольно белокож. Оба высокого роста, отлично сложены, хороши собой и с тем особенным выражением лица, не предвещающим успеха никому, кто вздумал бы затеять с ними ссору».

Чтобы оценить это сравнение, надо помнить, что живописный Трелоуни, на несколько десятков лет переживший своих друзей Байрона и Шелли, был в Англии живым памятником минувшей романтической эпохи и «букой» в глазах добропорядочных викторианских буржуа. Марк Твен, говоря о внешности Гарта, вспоминает о его особенном щегольстве, которое выделяло Гарта «из любой толпы сверхмодников»: «Иногда галстук у него бывал алый, точно вспышка пламени под подбородком, иногда цвета индиго, такого теплого и живого, точно на грудь ему села блестящая и пышная бразильская бабочка».

Положение Гарта между тем не улучшалось.

В «Гэбриеле Конрое», вышедшем в 1876 году, писатель попытался свести воедино многоразличные мотивы своих калифорнийских рассказов. При этом он понес известные потери; повторить с прежним жаром «первооткрытия» ранних лет, равно как и воспроизвести в романе острые, лаконичные характеристики и драматические коллизии первых рассказов, оказалось невозможным. Зато новым достижением Гарта стала широта нарисованной картины, более проницательный взгляд на американскую жизнь.

Роман был встречен ледяным молчанием критики. Он не упрочил положения Гарта и не дал ему денег. Это был тяжелый удар.

Гарт обратился к драматургии. Пьеса из старательской жизни «Двое из Сэнди-Бара», в которой он вывел уже знакомых публике героев своих рассказов, не имела успеха и довольно скоро сошла со сцены. Тогда Брет Гарт в сотрудничестве с Марком Твеном написал вторую пьесу, «А Син», тоже из калифорнийской жизни. Несмотря на усилия обоих авторов, пьеса провалилась. Неудачное соавторство и денежные расчеты осложнили отношения Гарта с Марком Твеном. Друзья поссорились на всю жизнь.

Брет Гарт впал в глубокую нужду.

Тут вступил в действие один из мрачных законов буржуазной общественной жизни США, в особенности проявляющийся в поведении прессы. Если удачнику непомерно льстят, то неудачника злобно преследуют.

В январе 1877 года влиятельный журнал напечатал статью, подвергшую творчество Гарта резкой и враждебной критике, а бульварная пресса перешла к оскорбительным личным нападкам на писателя.

Сейчас трудно с точностью установить, что именно в поступках и высказываниях Гарта вызвало такой стойкий антагонизм у его буржуазных соотечественников и дало по-

вод на долгие годы для пересудов о нем. Черты богемного индивидуализма у Гарта, несомненно, раздражали филистеров. Не последнюю роль сыграло и нежелание Гарта платить хотя бы формальную дань почтения такой могучей силе в американской частной и общественной жизни XIX века, как церковь и связанная с ней религиозная мораль.

Известно, например, что в разговоре с Эмерсоном, оспаривая его тезис о культуртрегерской роли церкви в США, Гарт резко возразил, что, по его наблюдениям, в Калифорнии игрок и проститутка были лучшими культуртрегерами, чем священнослужители. В письме к издательнице детского журнала «Сэнт-Николас», отказываясь от предложенных замен и поправок в его рассказе «Малыш Сильвестра», Гарт написал, что дети, по его мнению, отлично воспринимают все, «кроме чувствительности и богословия, которыми, к великому сожалению, их так усердно пичкают».

Живучесть нападок на Гарта отчасти объясняется и тем, что Гарт отказывался на них отвечать.

Летом 1877 года, оставив семью под Нью-Йорком, Брет Гарт поехал в Вашингтон. Поселившись в дешевом вашингтонском отеле, он начинает трудные и неприятные хлопоты, добиваясь для себя какой-нибудь оплачиваемой государственной должности. Одновременно он работает над новой повестью, «История одного рудника», тоже из калифорнийской жизни.

«С самого момента, что я приехал сюда, я без гроша,— пишет он жене,—но все это пустяки по сравнению с мыслью, что ты там одна, без денег...» И в другом письме в начале следующего, 1878 года: «Меня поливают грязью в газетах...»

Эти мучительные месяцы в Вашингтоне положили начало душевной надломленности Гарта, омрачившей последующие годы его жизни. «Счастливый Брет Гарт, довольный Брет Гарт, честолюбивый Брет Гарт, веселый и хохочущий Брет Гарт, для которого жизнь была огромным, безмерным наслаждением» (слова Твена), уступает место сдержанному, постоянно замкнутому человеку, исполненному тщательно скрываемых забот и тревог.

Оставшиеся друзья помогли Гарту в его хлопотах; речь шла о получении должности за границей. Интересно отметить, что в какой-то момент обсуждался вопрос о назначении Гарта на должность секретаря американского посольства в Петербурге. Он сам отверг это предложение, так как был слишком нищ для такого поста. В конце концов ему предложили место консула, точнее, коммерческого агента, в захолустном немецком городке Крефельде с жалованьем в 2 500 долларов в год. Это было меньше, чем Брет Гарт получал, служа в Монетном дворе в Сан-Франциско до того, как стал «великим американским писателем». Но сейчас это казалось спасением. «Конечно, у меня хватило осторожности скрыть свою радость,— писал он жене, сообщая об аудиенции в Государственном департаменте,— но ты легко можешь

представить, что после всех наших бед это было форменное видение рая». В последний момент поступил донос, что Гарт, как человек, обремененный долгами и склонный к беспорядочной жизни, недостоин государственного поста. Гарт отбился, представив справки о безупречной службе в Сан-Франциско. В июне 1878 года, больной и усталый, он уехал в Европу, к месту службы. Больше на родину он не вернулся.

Анализируя творчество Гарта в эти тяжелые для него годы — во второй американский период,— важно указать, что наряду с творческими неудачами у него имеются и серьезные достижения, по сей день игнорируемые американской буржуазной критикой. И в «Гэбриеле Конрое» и в «Истории одного рудника» Брет Гарт видит американскую социальную действительность шире и глубже, чем в начале своего пути.

Антикапиталистическую направленность у Гарта можно проследить с самого начала его творчества, причем не только в общем направлении его моральных интересов, но и в конкретных социальных мотивах, почерпнутых из окружающей жизни. Уже в очерке-притче «Черт и маклер», напечатанном в 1864 году в «Калифорниене», молодой Брет Гарт высмеял азарт капиталистической наживы. Он достаточно трезв, чтобы видеть зарождение и формирование осуждаемых им социальных явлений еще в недрах симпатичной ему «старательской демократии». В остросатирическом «Человеке из Солано» Гарт показал «малого хищника» из Калифорнии, напористого, грубого, беззастенчивого, быстро вырастающего на востоке в сущую акулу, опасную даже для многоопытных нью-йоркских дельцов. В концовке рассказа автор-рассказчик как бы направляет острие критики против самого себя:

«— Скажите по совести, чем занимался этот ваш приятель в Калифорнии?

— Он был пастухом.

— Кем?

— Пастухом. Пас овец на медвяных лугах Солано.

— Ну, доложу я вам, черт бы побрал эти ваши калифорнийские пасторали!»

Гнилая Лощина в «Гэбриеле Конрое» написана без прикрас. Конечно, и здесь рядовые старатели остаются все теми же трудовыми людьми, ищущими золото, чтобы прокормиться; но весь поселок уже на откупе у сан-францисского банкира, ловит каждое его слово, добивается его милостей. Банк Питера Дамфи полностью контролирует Гнилую Лощину, причем не только экономически, но и во всех прочих сферах жизни и деятельности. Даже показанный в романе суд Линча, выдаваемый прессой Гнилой Лощины за «стихийное проявление народного гнева», свершается по приказу того же банкира, на специально ассигнованные им деньги.

В раннем цикле золотоискательских рассказов взгляд Гарта большей частью обращен в прошлое. Писатель был склонен к идеализации старательской Калифорнии. Социальным порокам и невзгодам настоящего он противопоставлял те времена, когда старательская вольница трудилась и бушевала в Ревущих Станах, не зная над собой ярма капитала. Усиление критического начала в «Гэбриеле Конрое» приводит к некоторому оттеснению уже традиционных для Гарта героико-романтических мотивов. «Гэбриель Конрой» — роман без героя.

Сам Конрой, по имени которого назван роман, хотя он и стоит в самом центре развертывающихся драматических событий и, бесспорно, руководится во всех своих поступках добрыми побуждениями,— фигура не героическая. Он слишком прост, наивен в своей простоте, плохо ориентируется в истинном смысле происходящего. Гэбриель силен и мужествен; он может преодолеть разбушевавшийся горный поток и спасти человека, рискуя собственной жизнью, но бурному потоку жизни он противостоять не в силах и в конечном счете оказывается овцой среди волков, легкой добычей окружающих его хищников.

Г. Ч. Мервин, автор уже упоминавшейся американской работы, посвященной творчеству Гарта, удивляется развязке «Гэбриеля Конроя» и называет ее «непонятной». Между тем этот конец романа, в котором все овцы оказываются «пожраны» волками, добродетель не вознаграждается и порок не наказуется, есть не более чем логический вывод из рисуемой Гартом картины общественных нравов. Поскольку главные действующие лица романа правдой или неправдой превращаются в процветающих собственников, вопрос об их намерениях и о средствах, которые они использовали для этой цели, как бы снимается автором с рассмотрения. Добродетельные Гэбриель Конрой и его сестра Грейс «уравниваются» с авантюристами Артуром Пуанзетом и госпожой Деварджес, руководству которых они всецело отдаются. Автор нисколько не скрывает своего сатирического замысла. Ведь не только эти ловкачи и мошенники, но и прямой преступник, банкир Дамфи, прекрасно умеет обойти формальный закон и остается почтенным членом общества, в котором единственным подлинным законодателем и властителем является доллар.

Повесть 1878 года «История одного рудника» представляет также бесспорный интерес как новая попытка Гарта расширить сферу своих социальных и политических наблюдений.

Описанные в повести махинации, преступления и тяжбы, связанные с присвоением и эксплуатацией рудоносных земель в Калифорнии, были известны Гарту еще со времени его службы клерком в Межевом управлении в Сан-Франциско. Однако впервые он анализирует их и обобщает как проявление общего экономического процесса. Так, в седьмой главе повести, описав во всех перипетиях переход ртутного

рудника от первоначальных заявщиков в руки крупного капиталиста, Брет Гарт пишет:

«Боюсь, что я утомил читателя столь подробным описанием довольно нудных деталей этого чисто американского времяпрепровождения, которое мои соотечественники со свойственным им эпиграмматическим лаконизмом именуют «процессом вытеснения мелкого акционера».

Брет Гарт расширяет свою критику социальных и политических пороков американской жизни. Он не ограничивает себя более рамками Калифорнии и прослеживает нити калифорнийских бед и преступлений вплоть до самого Вашингтона.

В вашингтонских главах повести он выводит невежд и мошенников, выступающих в роли конгрессменов, обличает коррупцию и преступную возню вашингтонских кулуарных клик. В целом его взгляд на американскую политическую систему проникнут глубоким скептицизмом:

«Закрытие LXIX Конгресса ничем не отличалось от закрытия нескольких предшествующих Конгрессов... Требования мошенников спешно удовлетворялись; справедливые законные требования откладывались под сукно... Некоторые заключительные сцены были таковы, что только чувство американского юмора спасло их от совершенной гнусности... И никому ни на минуту не приходило в голову, что все это могло бы быть иначе».

Сохраняет ли панорама американской жизни в «Гэбриеле Конрое» историческую ценность для современного читателя? Бесспорно, да. Излюбленные Гартом «приключенческие» элементы сюжета не мешают ему зорко вглядываться в изображаемую действительность. Те главы романа, где рассказывается, как захудалый старательский поселок по мановению руки сан-францисских капиталистов вырастает в процветающий Среброполис, делают честь Гарту как социальному историку. Быт и нравы Гнилой Лощины, банкирская контора в Сан-Франциско, самосуд над Конроем и его судебный процесс написаны с глубоким знанием материала и с несомненным сатирическим блеском.

Менее содержательны сцены в испанской Калифорнии, хотя воспроизведенный в испанских главах «Гэбриеля Конроя» в высшей степени своеобразный местный колорит свидетельствует о выдающейся наблюдательности художника. Брет Гарт почти не пытается анализировать социальную обстановку и быт на старых испано-мексиканских латифундиях, где американские капиталисты застали еще не умершие полуфеодальные порядки. Он ограничивается общим противопоставлением патриархальной традиции «асьенды» и новых, капиталистических отношений, принесенных захватчиками-американцами — по большей части в укор захватчикам. Особо следует подчеркнуть, что Брет Гарт совершенно чужд экспансионистских иллюзий своего времени, достаточно ясно понимает, что территориальные захваты США на американском материке — в данном случае в Мексике —

диктуются отнюдь не освободительной миссией, о которой трубят официальные идеологи и пресса, а волей американского капитала к приобретению новых богатств.

Несмотря на эскизность сюжета и характеров, «История одного рудника» также сохраняет несомненный исторический интерес. Можно предполагать, что вашингтонские впечатления Гарта диктовали ему более широкий замысел. Трагически раздавленный вашингтонской бюрократической машиной мелкий чиновник Доббс в одном из рассказов этих лет, «Искатель должности», и Доббс, секретарь члена конгресса в «Истории одного рудника»,— несомненные двойники. Горестная судьба американского Акакия Акакиевича, как видно, захватила писателя. При благоприятных условиях творческого развития эта новая для Гарта социальная тема могла бы послужить для расширения его кругозора, для нового плодотворного подхода к судьбам человека в американской буржуазной демократии.

Уже указывалось, что Брет Гарт резко отрицательно оценивает моральный облик буржуа. Также говорилось, что он искал и находил добродетель в народной среде, в простом человеке, в трудящемся. Однако в условиях процветающей буржуазной демократии в США 60—70-х годов, где каждый мелкий собственник стремился стать крупным собственником, а социалистический идеал пролетариата не завоевал еще общественного внимания, нелегко было найти точку опоры для стойкого антибуржуазного протеста.

Брет Гарт не верит в «добрых капиталистов» Диккенса. Разбогатевший калифорнийский старатель лишается в его глазах своих положительных качеств. Проблема положительного социального героя становится в американской литературе этих лет необычайно трудной.

В этой связи должен привлечь внимание такой примечательный персонаж Брета Гарта, как Джек Гемлин, проходящий через всю его золотоискательскую эпопею. Уже говорилось, что у Гарта несколько «сквозных персонажей». Как правило, это вожаки и любимцы старателей, отвечающие принятым в их среде представлениям о чести и геройстве. В памятной сцене в «Гэбриеле Конрое» толпа восхищенно и почтительно затихает, когда в придорожном салуне встречаются два полубога старательского мира: кучер почтового дилижанса Юба Билл и игрок Джек Гемлин.

Джек Гемлин заслуживает особого внимания читателя как ввиду оригинальности этого создания Гарта, так и потому, что душевный мир Джека Гемлина кое-что разъясняет в позиции самого автора.

Восхищающиеся Гемлином старатели судят о своем кумире лишь по внешним проявлениям его натуры, но писатель знает о нем многое, чего не знают старатели; это наиболее близкий Гарту герой его произведений.

Будучи по уму и душевным качествам выше окружающей среды, Гемлин занимает в калифорнийском обществе

неблагоприятное и двусмысленное положение. Он профессиональный игрок. Заведомо бесчестные коммерсанты и банкиры считают себя украшением общества, но игрок Гемлин, с их точки зрения,— лицо сомнительной моральной репутации. Он также человек с примесью индейской крови («команч-Джек»), что никак не может быть ему полезным в калифорнийском обществе, да и в американском обществе вообще.

Автор ясно дает понять, что его герой не только не стремится путем каких-либо уступок или ухищрений войти в отвергающее его «респектабельное» общество, но платит за презрение еще большим презрением. Он презирает своих недоброжелателей за алчность, за глупость, за подлость. Он с иронической усмешкой опустошает их кошельки за игорным столом, но он бессребреник и готов — наподобие романтического «доброго разбойника» — немедля помочь этими деньгами нуждающемуся бедняку или другу в беде. Он охотно водит компанию с простыми людьми, однако сохраняет внутреннее одиночество и прячет за холодным сарказмом и бретерскими замашками сочувствие к людям и волю к деятельному добру.

Так, озирая современное американское буржуазное общество, Брет Гарт ищет отщепенцев, социальных изгоев, отвергнутых обществом и потому как бы неподвластных его законам, и пытается сделать их, Гемлинов и Мигглс, носителями человечности и морального идеала.

Демократический гуманизм Гарта формирует реалистическую и прогрессивную основу его творчества — это бесспорно. В то же время следует отметить, что он не дает достаточных историко-философских и социальных посылок для действенной критики буржуазного общества. Замечание Чернышевского по прочтении первых калифорнийских рассказов Гарта, что «запас впечатлений и размышлений» американского писателя «недостаточен», остается в силе. Писатель испытывает глубокое недоверие к окружающему строю жизни, но волнующие его социальные и моральные противоречия кажутся ему неразрешимыми, и протест его ограничен пессимистическим раздумьем.

7

Когда Брет Гарт в июне 1878 года прибыл в Крефельд, то написал жене: «Стараюсь не думать о том, что со мною произошло, чтобы не сойти с ума».

Должность коммерческого агента была самой низшей должностью консульской службы. Основной обязанностью Гарта было посредничество между крефельдскими мануфактурщиками (местные фабрики производили вельвет и бархат) и американскими импортерами. Брет Гарт плохо знал немецкий язык и страдал в Крефельде от одиночества. В результате пережитых невзгод здоровье его пошатнулось.

Его мучают опасения, что он не сумеет прокормить семью. «Одна-единственная мечта,— пишет он жене,— заработать достаточно денег, чтобы обрести душевный покой».

Прошло некоторое время, пока Брет Гарт вспомнил, что он не только мелкий чиновник американской консульской службы, но и писатель с европейской известностью. Он едет в Лондон и встречает там лестное внимание в литературных кругах и интерес издателей, которые ждут от него новых произведений. Брет Гарт постепенно оживает, обретает веру в себя. «Меня спрашивают: почему американское правительство направило меня в Крефельд,— пишет он жене.— Я краснею, но молчу о том, что не имел иного выбора... Упаси бог, если все станут меня ценить так низко, как американское правительство!» Через два года Джон Гэй, американский дипломат и литератор, один из немногих верных друзей Гарта, добивается для него перевода в Англию на более почетную и лучше оплачиваемую должность американского консула в Глазго. В этой должности Брет Гарт прослужил пять лет.

Он налаживает прочные связи с английскими журналами и издательствами и совмещает консульские обязанности с регулярной литературной работой. Он зарабатывает достаточно, чтобы прожить на литературный доход; жалованье он отсылает семье. Теперь главная его забота — не потерять место.

Американская печать продолжает преследовать Гарта. Уже в Германии американские туристы пытались распространять о нем компрометирующие слухи. Теперь, в ответ на успехи Гарта в Англии как писателя, газеты в США трубят, что он высокомерен, что он «светский лев», а главное, что он «дурной американец». По этой последней причине его считают непригодным для дипломатической должности. Тщетно пишет Брет Гарт друзьям в США с просьбой похлопотать за него. В 1885 году, с приходом в Белый дом нового президента Кливленда, Гарта увольняют «за халатное выполнение обязанностей».

Гарт решает остаться в Англии. Страх перед возвращением на родину не покидал его с самого отъезда. Пытаясь скрыть от самого себя это тяжкое душевное состояние, Гарт пишет жене, что страх «слишком сильное слово» для обозначения его чувств, однако другого слова не находит. «Ни за что на свете не соглашусь я снова пройти через то, что было со мною те два года в Нью-Йорке, в особенности же в последнюю зиму»,— пишет он о памятных еще обидах и унижениях. И в другом письме: «Видит бог, я не остался бы на чужбине, если б не страшился нищеты и жизненной борьбы, для которой я слишком стар...» Гарт поясняет, что нью-йоркские издатели будут знать, что он беден, будут на том играть, и он снова окажется в их власти; в Англии же издатели считают его обеспеченным человеком, и как иностранец с именем он занимает в литературном мире привилегированное положение. И еще: «Англия — единственное место,

где я могу заработать на хлеб насущный. Я люблю свою родину, но она не настолько любит меня, чтобы дать мне приют и позволить зарабатывать на жизнь своим пером». И снова: «Не знаю, как продержусь эту зиму. С каждым годом все тяжелее и мучительнее тянутся полутемные дни. Но вести из Америки — критика, советы, новости — опять показывают, сколь *чужие* мы там, и сам я и мои сочинения, как важно для меня сохранить здешние связи».

Дальнейшая жизнь Гарта заполнена напряженной литературной работой по заказам журналов. Ежегодно он выпускает небольшой томик или два с новыми произведениями. Он работает, по собственному признанию, «воскресенья и праздники», «больной или здоровый», «с настроением и без настроения». «Не вижу впереди просвета,— пишет он жене,— положительно ненавижу чернила и перо». Он постоянно в тревоге, что неверный заработок иссякнет, и вновь и вновь просит извинения, опаздывая с высылкой очередной суммы денег.

Внешне жизнь его в эти последние годы мало в чем меняется, если не считать одолевающих его болезней. Изредка Гарт появляется, седой, молчаливый, элегантный, в светских салонах и считается достопримечательностью лондонского литературного мира.

Между тем в США молодое поколение писателей 80-х и 90-х годов вспомнило о Гарте. Вышедшие в большинстве своем из народа, выросшие в глухих, захолустных штатах, они с восхищением перечитали калифорнийские рассказы Гарта и признали в нем одного из своих учителей. Вождь молодых американских писателей, автор талантливых рассказов из жизни фермеров Среднего Запада Гемлин Гарленд, побывав в 90-х годах в Лондоне, увиделся с Гартом и оставил в своих воспоминаниях интересное описание этой встречи.

«Когда я был с Зангвиллем у Джозефа Хеттона,— пишет Гарленд,— мое внимание привлек человек, внешность которого в точности напоминала английского клубмена, каким его изображают у нас на американской сцене. Он был высокого роста, седые волосы разделены посредине пробором. Серые в полоску брюки, визитка, модный жилет, на лакированных ботинках бледно-лиловые гетры. В руке у него были желтые перчатки.— Кто это? — спросил я Зангвилля.— Как, вы не знаете, кто это? — ответил Зангвилль.— Это ваш славный соотечественник, Фрэнсис Брет Гарт.— Брет Гарт? — воскликнул я в изумлении.— Как мог быть автором «Счастья Ревущего Стана» и «Двоих из Сэнди-Бара» этот денди, этот стареющий щеголь в гетрах и с моноклем в глазу!»

Гарленд был представлен, нашел Гарта холодным, замкнутым и без охоты направился к нему с визитом, чтобы передать привезенное письмо от Гоуэллса.

«Прочитав медленно письмо, Гарт несколько минут молчал. Потом, выронив монокль и потеряв сразу свое англий-

ское произношение, он сказал: «Расскажите мне о Гоуэллсе, расскажите о Томе Олдриче, обо всех остальных!»

«Я смягчился,— пишет Гарленд,— он был американцем, американцем целиком и полностью. Его акцент даже не был бостонским, он говорил, как калифорниец. Письмо Гоуэллса и что-то в моем разговоре пробудило в нем воспоминания, пробудило похороненные желания. Его взгляд стал задумчив, в голосе послышались грустные нотки. Наконец я спросил: «Когда же мы вас увидим?» — «Боюсь, что никогда. Я не могу вернуться назад».— «Калифорния устроит вам торжественную встречу»,— настаивал я. — « Я не уверен в этом,— отвечал он печально.— Моей Калифорнии уже нет. Моих друзей тоже нет. Нет, я никогда не вернусь... Иногда мне кажется, что я не должен был уезжать...»

«Он сознавал, как и я,— пишет Гарленд,— что он изгнанник, без родины, что он старый и больной, должен умереть вдали от всех. Он был беден, о нем ходили сплетни. На его книги не было спроса».

Дальше Гарленд рассказывает, как Гарт долго не отпускал его, потом проводил до самой двери. Когда Гарленд, заворачивая за угол, обернулся, Гарт стоял на пороге и глядел ему вслед.

Брет Гарт скончался в 1902 году за письменным столом, с пером в руке. Никаких сбережений у него не оказалось. Английские друзья поставили гранитную плиту на его могиле.

В свой европейский период Брет Гарт написал бо́льшую часть своих произведений. Рассказы и повести, созданные им за последние двадцать лет жизни, превосходят численно в несколько раз то, что он создал за все американские годы. Знакомство с этими произведениями рождает много проблем и в первую очередь проблему *прерванного литературного развития*.

Рассказы и повести позднего Гарта в подавляющем большинстве своем связаны с золотоискательской Калифорнией и, таким образом, как бы продолжают основную линию его творчества. Однако знаменательной чертой творчества Гарта 60-х и 70-х годов было постепенное расширение калифорнийской тематики до тематики общеамериканской, с характерным нарастанием критико-реалистических элементов и обострением социальных мотивов. Эта черта отсутствует или почти отсутствует в калифорнийских циклах его европейского периода. Они принадлежат не столько современности, сколько истории.

Было бы неверно заключить, что Брет Гарт отвернулся от современности, перестал воспринимать ее. В цикле «консульских рассказов», где повествование ведется от имени американского консула в Замтштадте (Бархатный город — так он называет Крефельд) и Сэнт-Кентигерне (так он на-

зывает Глазго), Брет Гарт не раз показывает, что сохранил свою острую наблюдательность.

Достойны внимания его наблюдения над американцами в Европе, по преимуществу отрицательные. Полнее на этот счет он высказывается в письмах к жене. «...Унизительно видеть,— пишет Брет Гарт,— что когда передовые люди в Англии с вдумчивым скептицизмом пересматривают старое и консервативное, тянутся к новому и демократическому, американское лакейство в чужих перьях и в дурно сидящем наряде с важностью становится поперек дороги». И снова в другом письме: «Нет лакея столь невообразимо раболепного и низменного, как средний американец, попавший в лондонский свет. Увы, американки еще превосходят в этом своих мужей».

Брет Гарт подчеркивает свою приверженность к демократической традиции в американской жизни и истории. В написанном в Германии «Питере Шредере» американские туристы издеваются над героем рассказа, простодушным немцем, который сражался в рядах северян в годы Гражданской войны в США и хранит как священную реликвию портрет Линкольна и старый мундир Северной армии. Богатым американцам на все это наплевать. Зато они используют демократические верования простодушного немца, чтобы вовлечь его в империалистическую авантюру где-то в Центральной Америке, где его ждет бесславная гибель.

В рассказах, действие которых происходит в Англии, Брет Гарт несколько раз касается тяжкого положения английских трудящихся. Он пишет о рабочих и работницах в Глазго, доведенных до последней степени нищеты; посещая замки своих высокопоставленных знакомых, он знакомится с английской деревней и отмечает, что контраст между жизнью землевладельца и жизнью его арендаторов таков, «словно попадаешь в другую страну».

Полностью точка зрения Гарта на социальный гнет и классовые противоречия в Англии выражена в его переписке.

В 1885 году, в письме к жене из Лондона, где он стал свидетелем бурных рабочих выступлений, Брет Гарт говорит следующее: «На сей раз я увидел, как английский господствующий класс был поколеблен в своей твердой уверенности, что он был и есть высший класс общества и пребудет таковым на века. Я увидел, как они — хоть и отгороженные зеркальным стеклом — стали лицом к лицу с погибающей с голоду, рычащей толпой, которую отцы их и сами они топтали и попирали долгие годы; я увидел, как побелели их лица, когда зеркальные стекла полетели, разбитые вдребезги. На сей раз их священная полиция не пришла к ним на помощь. На сей раз они узрели собственными глазами этих чудовищно изголодавшихся людей... вырвавшихся за назначенные им границы, требующих бог знает чего. Ты прочитаешь обо всем в газетах, но не сумеешь понять до конца, как понял я, увидевший их воочию — оба класса! — не смо-

жешь уяснить себе, сколь бездонна пропасть, разделившая их за века классового господства. Один бог знает, чьи тела заполнят вырытую пропасть, прежде чем наступит некий лучший порядок жизни. Если жребий выпадет тем беднягам, что ж, не думаю, чтобы страх остановил их. Как сказал один из их ораторов, современный английский Дантон: «Пусть они убьют нас, это лучше, чем умереть с голоду».

Двумя годами позднее, в письме к жене от 15 сентября 1887 года, описав сохранившуюся в неприкосновенности систему поместного землевладения в Англии, при которой обширные земельные пространства используются лишь как охотничьи угодья «для услаждения избранных», Брет Гарт пишет: «...Я готов понять, что́ должен чувствовать коммунист или социалист и откуда его убеждения».

Но эти контакты Гарта с окружающим миром и отзывчивость на актуальные вопросы современности не являются сколько-нибудь определяющими в его поздних калифорнийских циклах.

Однако и там он не поступается своими убеждениями и верен своей гуманной миссии, поддерживая обиженного, обманутого, угнетенного.

«Его предупреждали не раз,— писал Брет Гарт о себе в третьем лице, в предисловии 1896 года,— предупреждали благожелательно и грубо, толково и бестолково, чтобы он отказался от своей привычки нарушать общепринятые моральные каноны: извинять людей, ведущих жизнь безрассудную, подчас преступную, ссылками на какое-либо доброе начало в их характере. Ему легко было ответить, что он не пишет проповедей, не морализирует, не комментирует поступки своих персонажей, что он не защищает какой-либо веры и никому не навязывает этических суждений. Он мог бы также заявить, что в сострадательном эффекте его произведений повинна слабость читательской души, и тем самым устраниться от ответственности. Но то была бы непростительная слабость — отвернуться от своих читателей, которые должны — в сфере искусства — всегда идти с ним рука об руку. И потому он считает нужным заявить во всеуслышание, что из всех форм, в которых лицемерие и ханжество предстают перед страждущим человечеством, самая гнусная, самая нелепая, самая наглая та, что возглашает: «Слишком много на свете милосердия!» Пусть автору докажут, что когда-либо и где-либо общество было развращено, побуждено к преступлениям или ввергнуто в нищету из-за чрезмерного милосердия своих граждан... Тогда он отбросит перо и подчинится новым, драконовским законам в литературе».

В одном из самых поздних рассказов, «Трое бродяг из Тринидада», Гарт, возвращаясь к горчайшим своим калифорнийским впечатлениям, рисует гибель от руки белого «хозяина страны» безжалостно гонимых им париев калифорнийского мира — бесприютного индейца и мальчугана китайца

(третий бродяга — их верный пес; Брет Гарт всю жизнь с бережной любовью пишет о животных).

И тем не менее читатель калифорнийских повестей и рассказов Гарта 80—90-х годов вступает в особый мир, не во всем сходный с действительным, живущий по своим, особым законам. Этот мир, в некоторой мере являвшийся исторической реминисценцией уже при первом художественном воссоздании его в творчестве Гарта 60-х годов, сохранял все же достаточно крепкую связь с жизнью благодаря правильно уловленной и живо воплощенной писателем тенденции его развития. Лишенный этого жизненного нерва, остановленный в своем движении, художественный мир Гарта замыкается в себе, приобретает статичность, становится чем дальше, тем все более иллюстрацией и воспоминанием.

Американские буржуазные критики пренебрежительно трактуют позднего Гарта, оценивая его калифорнийские повести и рассказы 80-х и 90-х годов как «ремесленные поделки», повторение уже однажды сказанного, не имеющее ни исторического оправдания, ни художественного значения. Нет сомнения, что творчество позднего Гарта во многом важном и значительном уступает творчеству Гарта 60-х и 70-х годов, но вместе с тем оно сохраняет и для читателя и для историка литературы своеобразный, а кое в чем и новый художественный интерес.

К недостаткам и слабостям своего позднего творчества, а равно и к тем обстоятельствам, в которых оно протекало, сам Брет Гарт был весьма не безразличен. «Я тяну старые песни на своей старой шарманке и подбираю медяки»,—писал он жене из Крефельда, когда после перерыва обратился вновь к калифорнийской тематике. Несколько позднее он выступил с небольшим рассказом «В избранном кругу», где хозяин салона, «пожилой джентльмен в безукоризненном смокинге», развлекает космополитическое общество из титулованной знати, дипломатов и богатых американских туристов малоправдоподобными авантюрными новеллами, одна из которых начинается со слов: «Однажды, когда я был пиратом...» Эта беспощадная автосатира показывает, что писатель отлично сознавал, что когда он намеренно форсирует сюжет, нагнетает совпадения и случайности, ищет традиционный счастливый конец, он идет навстречу требованиям той журнальной литературы, пленником и данником которой он стал на долгие годы без надежды когда-либо освободиться.

Все эти обстоятельства, в которых протекала творческая жизнь позднего Гарта, следует помнить и учитывать. И все же остается неоспоримым, что он писал до конца жизни о старательской Калифорнии не только потому, что то была хорошо изученная им тема, имевшая спрос на литературном рынке, но также потому, что старательская Калифорния влекла его неудержимо и он не мог о ней не писать.

В период ранних рассказов Брет Гарт напечатал в «Оверленде» одно из самых своих известных стихотворений-мо-

нологов «Ее письмо». Героиня стихотворения, оставившая в Калифорнии любимого человека, с грустью и восхищением восстанавливает в памяти неповторимые сцены приисковой жизни. В этом стихотворении Брет Гарт как бы предвосхитил собственное ностальгическое, овеянное лирической дымкой воспоминание о Калифорнии старательских лет.

По мере того как уходили годы в прокопченном фабричным дымом Глазго и в сыром, туманном Лондоне, в беспрерывной тяжкой житейской борьбе, старательская Калифорния Гарта — та, что он впервые открыл и запечатлел в искусстве,— представала перед взором своего создателя все более блистательной и неотразимой.

Она менее походила на реальную Калифорнию, которую он знал, имела меньше черт социального быта, которыми была сильна нарисованная им ранее картина; это была полумифическая страна и полулегендарная жизнь, все более отождествляемая им теперь со всем, что ушло невозвратно,— с молодостью, удачей, незабываемо прекрасной природой, духом вольности и приключения.

Страна Брета Гарта (география старательской Калифорнии и ранее была у него частично вымышленной). Палит немилосердное калифорнийское солнце. Сверкают снежные вершины Сьерры («Милая старая Сьерра...— пишет в 1895 году Брет Гарт жене,— я никогда не представлял, как я в нее влюблен и как она держит меня в плену»). Старатели моют красную золотоносную землю. Скачет на коне дерзкий и великодушный Джек Гемлин, оглашая песней лесистые склоны. Натягивает поводья и хмуро острит Юба Билл — в который уже раз он задумал хитроумно провести подстерегающих его дилижанс грабителей. Неожиданно (даже для привыкших к неожиданностям читателей Гарта) появляется Хоакин, медвежонок, сопровождавший добрых тридцать лет назад очаровательную Миггле в ее горных прогулках («Как счастливо пришел мне на память этот медвежонок Миггле!» — делится с другом Брет Гарт, сообщая о новом рассказе).

А в темной лондонской квартире сидит старый, одинокий писатель, одолеваемый бессонницей, ревматизмом, подагрой, невралгией, бронхитом, и спешит закончить очередную рукопись по заказу воскресного журнала.

Я вновь перечитываю Брет Гарта,
и снова раскидывается предо мной
Америки старая пыльная карта
своей бесконечной степной шириной...—

писал советский поэт Николай Асеев в стихотворении «Степной найденыш», посвященном хорошо известному произведению американского писателя.

Читая Гарта, надо помнить, что многие картины калифорнийской жизни, которые сейчас могут показаться иному читателю в чем-то знакомыми и чуть ли не подражательны-

ми, были нарисованы Гартом впервые, были его открытием и основывались на вполне реальных фактах социального быта и социальных нравов Калифорнии 50-х годов. Не вина писателя, что эти элементы американской жизни, отражавшие истинное состояние общества сто лет назад, были в дальнейшем использованы как ходовой реквизит в десятках американских книг и кинофильмов о «диком Западе», полностью лишенных какой-либо социальной критики и не отмеченных даже малейшими художественными достоинствами.

Не то Брет Гарт, писатель, по праву вошедший в мировую классику.

Степные найденыши... Будет излюблен
рассказ этот в детстве намеченных лиц.
Фургон будет выслежен, смят и изрублен
и все же бессмертен на сотне страниц...

Лучшие страницы Гарта дают читателю живое ощущение истории, неповторимого, навсегда ушедшего быта, только еще осваиваемой человеком поэтичной природы, исполнены волнующего протеста художника против низости, алчности, против волчьих законов капиталистического мира.

А. Старцев

РАССКАЗЫ
1860–1874

НЕСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Его звали Фэгг, Дэвид Фэгг. Он приехал в Калифорнию вместе с нами на «Небоскребе» в 1852 году. Вряд ли его влекла туда жажда приключений. Вернее всего, просто некуда было деваться. Когда мы, молодежь, заводили рассказы о том, какие блестящие возможности остались у нас позади, какое горе причинил друзьям наш отъезд, и, показывая дагерротипы и локоны, распространялись о всяких Мэри и Сьюзен, человек, который считался в нашей компании совсем нестоящим, сидел и слушал нас с жалким, страдальческим выражением простого, некрасивого лица,— слушал и молчал.

Думаю, что ему и сказать-то было нечего. Друзей у Фэгга не водилось, разве только мы кое-когда снисходили до него; по правде говоря, он служил прекрасным объектом для шуток. Чуть только подует ветер, как его одолевает морская болезнь. Ходить по палубе во время качки он так и не научился. В жизни не забуду, как мы смеялись, когда Рэтлер угостил его кусочком свинины на ниточке и... Но все вы знаете эту убеленную сединами шутку.

Потешались мы над ним вовсю. Мисс Фэнни Туинклер видеть его не могла, а мы внушили Фэггу, что она к нему неравнодушна, и посылали ему угощение и книжки, уверяя, что все это идет из ее каюты. Надо было видеть это великолепное зрелище, когда Фэгг явился благодарить мисс Фэнни, заикаясь и еле стоя на ногах от приступов морской болезни! Ух, как она разошлась, как она его распекала с высоты собственного величия! «Что твоя Медора»,— сказал Рэтлер. Рэтлер всего Байрона знал наизусть. Бедняжку Фэгга здорово тогда подвели!

Правда, он проглотил обиду, и когда Рэтлер заболел в Вальпарайсо, наш Фэгг ухаживал за ним день и ночь. Так что, видите, человек он был добрый, но тряпка и мямля.

Фэгг ничего не смыслил в поэзии. Помню, сидит он, бывало, чурбан чурбаном и чинит одежду, в то время как Рэтлер декламирует бессмертное обращение Байрона к океану. И однажды этот чудак совершенно серьезно спросил Рэтлера, не мучился ли Байрон морской болезнью. Не помню, что именно Рэтлер ответил, но мы просто катались от хохота, да, наверное, было над чем — Рэтлер за словом в карман не лазил.

Когда «Небоскреб» пришел в Сан-Франциско, был устроен «пир». Мы решили увековечить это событие и праздновать его ежегодно. К Фэггу, конечно, это не относилось. Он ведь был палубным пассажиром, а вы сами понимаете, раз уж сошли на берег, надо каждого немножечко поставить на свое место. Но в тот день старик Фэгг, как мы его прозвали,— кстати, ему было всего-навсего двадцать пять лет — просто уморил нас. Он, видите ли, воображал, что сможет дойти пешком до Сакраменто, и отправился в поход. Мы же, остальные, прекрасно провели время, потом пожали друг другу руки и разошлись кто куда.

Боже мой! Прошло каких-нибудь восемь лет, и многие из тех, чьи руки соединялись тогда в дружеском пожатии, теперь сжимали их в кулаки или шарили украдкой друг у друга в карманах. На следующий год обеда мы не устраивали, это я знаю наверное, потому что молодой Баркер клялся, что нипочем не сядет за стол с таким подлецом, как Миксер, а Ниблс, который, бывало, занимал в Вальпарайсо деньги у молодого Стабса, работавшего тогда официантом в ресторане, теперь не желал встречаться с подобной публикой.

Купив в 1854 году несколько акций «Шахты Койот» в Маггинсвилле, я задумал съездить туда и посмотреть, что там делается. Остановился я в «Эмпайр-отеле» и, пообедав, взял лошадь, объехал весь город и отправился к месту разработок. Мне посоветовали обратиться к одному из тех молодчиков, которых газеты обычно называют «наш сведущий информатор» и которым в немноголюдных общинах по молчаливому согласию предостав-

ляется право отвечать на все вопросы. Привычка позволяла ему разговаривать во время работы без всякого ущерба как для дела, так и для беседы. Он познакомил меня с историей заявки и добавил:

— Понимаете, незнакомец (он обращался к поднимавшемуся прямо перед ним береговому откосу), золото на этой заявке мы добудем (тут его кирка поставила запятую), но прежний вла-де-лец (это слово появилось на свет божий вместе с острым концом кирки) был человек нестóящий (сильный удар киркой в знак точки). Новичок в этом деле, здешние ребята живо оттягали у него заявку.— Конец фразы был обращен к шляпе, которую он снял, чтобы вытереть свое мужественное чело красным шелковым платком.

Я спросил, кто был прежний владелец.

— Его звали Фэгг.

Я отправился к Фэггу. Он немного постарел и стал еще невзрачнее. «Пришлось здорово поработать,— говорил Фэгг,— сейчас дела идут так — ни шатко, ни валко». Он мне очень тогда понравился, и я даже отнесся к нему довольно покровительственно. Потому ли мне захотелось приласкать его, что я уже переставал доверяться таким людям, как Рэтлер и Миксер, говорить здесь, пожалуй, не стоит.

Вы помните, какой крах потерпела «Шахта Койот» и как это ударило нас, акционеров, по карману? Так вот, первые же известия, которые вскоре дошли до меня, говорили о том, что Рэтлер — раньше один из самых крупных акционеров — поступил барменом к хозяину Маггинсвиллской гостиницы и что Фэггу здорово повезло, и он не знает, куда девать деньги. Все это мне рассказал Миксер, ездивший в Маггинсвилл улаживать дела; кроме того, он говорил, будто Фэггу приглянулась дочка хозяина той самой гостиницы. Потом из разговоров и из писем я узнал, что старик Робин — хозяин гостиницы — задумал выдать дочку за Фэгга. Нелли была хорошенькая, пухленькая дурочка, готовая выйти замуж по первому слову отца. Я решил, что для Фэгга будет неплохо, если он женится и осядет на месте; что, может быть, с женатым с ним будут больше считаться. И вот в один прекрасный день я собрался в Маггинсвилл, посмотреть, как обстоят дела.

Мне было страх как приятно, когда виски подал мне Рэтлер, тот веселый, блистательный, непобедимый Рэтлер, который два года назад все норовил покрикивать на меня. Я заговорил с ним о старике Фэгге и Нелли в расчете на то, что тема эта будет для него не из приятных. Фэгга он всегда недолюбливал, и уверен — так он мне сам сказал,— что и Нелли относится к нему не лучше. А у нее есть на примете кто-нибудь другой? Рэтлер повернулся к зеркалу, висевшему за стойкой, и расчесал свою шевелюру. Я понял этого самодовольного молодчика. Надо предостеречь Фэгга и сказать, чтобы он не терял времени даром.

Мы долго говорили с ним. По всему было видно, что беднягу просто огорошили мои слова. Он вздыхал, обещал набраться храбрости и подвести дело к решительному разговору. Нелли была славная девушка, и я думаю, она даже уважала ненавязчивого Фэгга. Но ее воображение уже пленили весьма сомнительные достоинства Рэтлера, броские и не лишенные приятности. Вряд ли Нелли была намного хуже нас с вами, все мы склонны судить о своих знакомых больше по их внешним качествам, чем по внутренним достоинствам. Эдак и хлопот меньше и гораздо удобнее, если не считать тех случаев, когда нам хочется твердо верить в друга. У женщин дело осложняется еще тем, что они сразу заинтересовываются человеком, а тогда, сами знаете, о здравых суждениях не может быть и речи. Вот что следовало знать старику Фэггу, будь он человеком стóящим. Но он был человек нестóящий. И тем хуже для него.

Прошло несколько месяцев. Я сидел у себя в конторе, как вдруг появляется старик Фэгг. Меня удивило это посещение, но мы заговорили с ним о том о сем совершенно машинально, как говорят люди, у которых другое на уме, а им приходится добираться до сути дела вот с такими церемониями. После одной из пауз Фэгг сказал своим обычным тоном:

— А я собрался на родину.

— На родину?

— Да. Решил, знаете ли, съездить на Восток, к Атлантическому. А с вами я пришел повидаться, потому что у меня ведь есть кое-какая собственность здесь, я выправил вам доверенность на ведение моих дел и хо-

чу оставить у вас кое-какие бумаги. Вы согласитесь взять все это на свое попечение?

— Да,— сказал я.— А как же Нелли?

Лицо у Фэгга вытянулось. Он попытался улыбнуться, но результат этой попытки получился самый неожиданный и нелепый. Потом он сказал:

— Я не женюсь на Нелли, то есть,— Фэгг будто извинялся за столь категорический ответ,— мне, пожалуй, не стоит на ней жениться.

— Дэвид Фэгг,— сурово проговорил я,— несто́ящий вы человек!

К моему удивлению, Фэгг просветлел.

— Да,— сказал он,— совершенно верно! Я человек несто́ящий! Да ведь мне это не в новинку. Понимаете, какое дело, я думал, что Рэтлер любит эту девушку не меньше меня, а ей он нравится больше, значит, она с ним будет счастливее. А потом я узнал, что старик Робин хочет выдать ее за меня, а не за Рэтлера, потому что я побогаче, а девушка сделает, как ей велено, и вот, понимаете, показалось мне, что я тут лишний, ну, я взял да уехал. А чтобы старик примирился с Рэтлером,— продолжал Фэгг, не дав мне вставить слово,— я одолжил Рэтлеру некоторую сумму, пусть пристроится к какому-нибудь делу. Такой предприимчивый, деятельный, замечательный человек, как Рэтлер, сумеет устроиться и опять выйдет в люди, а нет, так не будем его строго судить. Всего вам хорошего!

Мне было не до любезностей,— так меня взбесило отношение Фэгга к этому Рэтлеру, но предложение его было выгодным, я пообещал заняться его делами, и он уехал. Миновало несколько недель. Пришел очередной пароход с Востока, и долгое время после этого с газетных страниц не сходили описания одного страшного кораблекрушения. Подробности этого ужасного несчастья обсуждались на все лады во всех частях штата, а те, у кого имелись близкие на том пароходе, уединялись и, затаив дыхание, читали списки погибших. И я тоже читал эти списки — читал о людях талантливых, отважных, благородных, о людях, пользующихся любовью близких, и, вероятно, мне первому пришлось прочесть среди всех этих имен имя Дэвида Фэгга. Несто́ящий человек «вернулся на родину».

МЛИСС

ГЛАВА I

Как раз в том месте, где Сьерра-Невада переходит в волнистые предгорья и реки становятся не такими быстрыми и мутными, на склоне высокой Красной горы расположился Смитов Карман. Если на закате солнца смотреть на поселок с ведущей к нему красной дороги, то в красных лучах и в красной пыли его белые домики кажутся гнездами кварца, вкрапленными в гору. Красный дилижанс с пассажирами в красных рубашках много раз пропадает из виду на извилистом спуске, неожиданно появляется вновь и совершенно исчезает из глаз в сотне шагов от поселка. Вероятно, благодаря этим неожиданным поворотам дороги прибытие нового лица в Смитов Карман обычно сопровождается странным обстоятельством. Выйдя из дилижанса на станции, самонадеянный путешественник непременно направится в сторону от поселка в полной уверенности, что идет куда следует. Рассказывают, что какой-то старатель встретил одного из таких самонадеянных пассажиров в двух милях от поселка, с ковровым саквояжем, зонтиком, журналом «Харперс» и прочими атрибутами «цивилизации и культуры», в безуспешных поисках Смитова Кармана шествующего в обратную сторону по той самой дороге, по которой он только что приехал.

Если путешественник наблюдателен, своеобразие пейзажа до некоторой степени вознаградит его. Глубо-

кие расселины в склоне горы и оползни красной глины больше напоминают первобытный хаос, чем результаты человеческих трудов; на половине спуска длинный и узкий желоб растопыривает свои уродливые лапы над пропастью, словно гигантский скелет допотопного ископаемого. На каждом шагу дорогу пересекают канавы поуже, таящие в своих желтых глубинах мутные ручьи, которые спешат тайно соединиться с желтой рекой внизу; кое-где виднеются разрушенные хижины с торчащей трубой и очагом, открытым ветру.

Своим происхождением Смитов Карман обязан некоему Смиту, обнаружившему Карман на том месте, где стоит теперь поселок. Пять тысяч долларов были выбраны из него Смитом в первые полчаса. Три тысячи долларов были истрачены Смитом и другими на сооружение желоба для промывки золота и на рытье шурфов. А потом оказалось, что участок Смита — просто карман, который легко опустошить, как и другие карманы. Хотя Смит дорылся до самых недр Красной горы, эти пять тысяч были первой и последней наградой за его труды. Гора не выдала своей золотой тайны, а желоб спустил в реку последние деньжонки Смита. Смит занялся разработкой кварцевых жил, затем дроблением кварца, затем установкой грохотов и рытьем канав, а там легко докатился и до содержания салуна. Скоро стали поговаривать, что Смит сильно пьет, потом стало известно, что он горький пьяница, потом люди, как водится, начали думать, что он сроду был такой. К счастью, поселок Смитов Карман, как и большинство таких поселков, не зависел от судьбы своего основателя, и теперь не он, а другие закладывали шурфы и находили карманы. И вот Смитов Карман превратился в городок с двумя галантерейными лавками, двумя гостиницами, конторой дилижансов и двумя первыми в поселке семействами. Время от времени единственная улица поселка, непомерно растянувшаяся в длину, благоговейно созерцала последние моды Сан-Франциско, выписанные с нарочным исключительно для двух первых семейств. Тогда поруганная природа выглядела еще более неказистой, и большинство населения, которому день субботний напоминал не о нарядах, а только о необходимости помыться и переменить белье, видело в этом

франтовстве личное оскорбление. Была в поселке и методистская церковь, а рядом с ней банк, немного дальше, на склоне горы,— кладбище, а за ним — маленькая школа.

Однажды вечером «учитель» — под этим именем его знала маленькая паства — сидел в школе, разложив перед собой открытые тетради, и старательно выводил в них крупными и твердыми буквами те прописи, в которых, как принято думать, высокое искусство чистописания сочетается с высокой назидательностью. Он уже дошел до изречения «Не все то золото, что блестит» и украшал существительное лицемерным завитком, вполне соответствовавшим характеру этой прописи, когда послышался легкий стук. На крыше целый день возились дятлы, и их стук не мешал ему работать. Но когда дверь отворилась и стук послышался уже в комнате, учитель поднял глаза. Он немного удивился, увидев перед собой девочку-подростка, неряшливо и бедно одетую. Однако большие черные глаза, жесткие, растрепанные, черные без блеска волосы, падавшие на загорелое лицо, красные руки и ноги, измазанные красной глиной, были ему знакомы. Это была Мелисса Смит, выросшая без матери дочка Смита.

«Что ей здесь понадобилось?» — подумал учитель. Все знали «Млисс», под этим именем она была известна в поселках Красной горы. Все знали, что она неисправима. Ее дикий, неукротимый нрав, сумасбродные выходки, непокорный характер вошли в поговорку так же, как и слабости ее отца, и население поселка относилось к ним не менее философски. Она ссорилась и дралась со школьниками, не уступая им в силе и превосходя их язвительностью. Она карабкалась по горным тропам с ловкостью настоящего горца, и учитель не раз встречал ее в горах, за много миль от поселка, босую, с непокрытой головой. Золотоискатели в своих лагерях кормили ее во время этих добровольных скитаний, щедро подавая милостыню. Впрочем, когда-то ей была оказана и более существенная помощь. Преподобный Джошуа Мак-Снэгли, «штатный» проповедник поселка, устроил ее служанкой в гостиницу, надеясь, что там она научится прилично вести себя, и принял ее в воскресную школу. Но она швыряла в хозяина тарелками, отвечала дер-

зостями на дешевые остроты гостей, а в воскресной школе произвела сенсацию, настолько несовместимую с благочестивой и мирной скукой этого учреждения, что почтенный проповедник, оберегая накрахмаленные платьица и совершенную непорочность двух бело-розовых девочек из первых семейств, с позором изгнал ее оттуда. Такова была история, и таков был характер девочки, стоявшей перед учителем. Этот характер угадывался по рваному платью, нечесаным волосам, расцарапанным в кровь ногам и вызывал жалость. Он сверкал в ее черных бесстрашных глазах и требовал к себе уважения.

— Я пришла сюда,— сказала она быстро и смело, устремив твердый взгляд на учителя,— потому что знала, что вы один. Если б эти девчонки были здесь, я бы не пришла. Я их ненавижу, и они меня тоже. Вот что! Вы учите в школе, да? Ну, так я хочу учиться!

Если бы к жалкой одежде и неприглядности спутанных волос и грязного лица прибавились еще смиренные слезы, учитель почувствовал бы только ни к чему не обязывающее сожаление — и ничего больше. Но тут вполне естественно, хоть и не совсем последовательно, ее смелость пробудила в нем то уважение, которое все незаурядные натуры невольно чувствуют друг к другу, на какой бы ступени общественной лестницы они ни стояли. Он внимательно смотрел на нее, а она торопилась высказать все, что нужно, держась за ручку двери и не сводя с учителя глаз:

— Меня зовут Млисс, Млисс Смит! Провалиться мне, если вру! Мой отец — старик Смит, лодырь Смит, вот в чем дело. Я Млисс Смит, и я буду ходить в школу!

— Ну так что же? — сказал учитель.

Млисс привыкла к тому, что ей всегда мешали и перечили, нередко беспричинно и жестоко, только для того, чтобы просто подразнить, и потому растерялась, видя невозмутимость учителя. Она запнулась, начала крутить в пальцах прядку волос, и жесткая линия верхней губы, закрывавшей острые зубки, смягчилась и слегка дрогнула. Потом глаза ее опустились, и что-то вроде румянца проступило на щеках сквозь многолетний загар и брызги красной глины. Вдруг девочка под-

бежала к столу и, припав к нему головой, зарыдала так, словно сердце у нее разрывалось, горестно причитая и моля бога поразить ее смертью.

Учитель тихонько приподнял ее за плечи и стал ждать, пока она успокоится. Отвернувшись в сторону и рыдая, она повторяла, в приступе детского раскаяния, что она исправится, что она не нарочно и т. д., и тут ему пришло в голову спросить, почему она бросила воскресную школу.

Почему она бросила воскресную школу? Почему? Ах, вот как! А зачем он (Мак-Снэгли) сказал, что Млисс плохая? А зачем он говорил, что бог ее не любит? Если бог ее не любит, нечего ей делать в воскресной школе. Она не желает ходить туда, где ее не любят.

— Ты так и сказала Мак-Снэгли?

— Да, так и сказала.

Учитель засмеялся. Смех был искренний, он прозвучал так странно в маленькой школе и так не вязался с шумом сосен за окном, что учитель сейчас же спохватился и вздохнул. Однако и вздох был тоже искренний; помолчав минуту, он спросил ее об отце.

Отец? Какой отец? Чей отец? Что он для нее сделал? За что девчонки ее ненавидят? Подите вы, пожалуйста! Отчего же люди говорят, когда она проходит мимо: «Дочка старого лодыря Смита»? Да, да! Уж лучше бы он помер, да и она тоже, да хоть бы и все подохли. И рыдания разразились с новой силой.

Тогда учитель, наклонившись к девочке, стал говорить, как только мог убедительнее, то, что могли бы сказать и мы с вами, услышав от ребенка такие неподходящие речи; он лучше нас с вами знал, как не идет девочке рваное платье, исцарапанные в кровь ноги и как омрачает ее жизнь тень вечно пьяного отца. Потом он помог ей встать, закутал в свой плед и, сказав, чтобы она приходила пораньше утром, проводил ее по дороге. Там он попрощался с ней. Луна ярко освещала узкую тропинку. Он долго стоял и следил, как съежившаяся маленькая фигурка, спотыкаясь, бредет по дороге, подождал, пока она миновала кладбище и поднялась на гребень холма, где обернулась и постояла минутку—пылинка человеческого горя в сиянии далеких терпеливых звезд. Потом он вернулся и снова сел за работу. Но ли-

нейки в тетрадях казались ему теперь длинными параллелями бесконечных тропинок, по которым, всхлипывая и плача, уходили в темноту детские фигурки. Школа казалась теперь еще неприютнее, и он запер дверь и ушел домой.

Наутро Млисс пришла в школу. Ее лицо было вымыто, а жесткие черные волосы носили следы недавней борьбы с гребнем, в которой пострадали, очевидно, обе стороны. Иногда ее глаза сверкали по-старому задорно, но держалась она более смирно и послушно. Начались взаимные испытания и уступки со стороны учителя и со стороны ученицы, и взаимное доверие и симпатия между ними крепли и росли. При учителе Млисс сидела смирно, зато на переменах она приходила в необузданную ярость из-за какой-нибудь воображаемой обиды, и не один юный дикарь в разорванной куртке и с царапинами на щеках, найдя в ней равного по силе противника, весь в слезах разыскивал учителя и жаловался на «эту противную Млисс». Жители поселка резко расходились во мнениях по этому поводу; одни грозили, что возьмут своих детей из такого дурного общества, другие столь же горячо поддерживали учителя, взявшего на себя задачу перевоспитания Млисс. А учитель с упорной настойчивостью, впоследствии удивлявшей его самого, вытягивал Млисс из мрака ее прошлой жизни, и она как будто сама, без чужой помощи, двигалась вперед по узкой тропе, на которую он вывел ее в ту лунную ночь. Помня опыт фанатика Мак-Снэгли, учитель старательно избегал того подводного камня, о который этот малоопытный лоцман разбил ладью ее робкой веры. И если при чтении ей попались те немногие слова, которые поставили младенцев выше взрослых людей, более опытных и благоразумных, если она узнала что-нибудь о вере, символ которой — страдание, и задорный огонек в ее глазах смягчился, то это был уже не урок. Несколько простых людей собрали небольшие деньги, чтобы оборванная Млисс могла одеться, согласно требованиям приличия и цивилизации. И нередко крепкое рукопожатие и бесхитростные слова одобрения какой-нибудь коренастой фигуры в красной рубашке заставляли молодого учителя краснеть и думать, что похвала вряд ли заслужена им.

Прошло три месяца с тех пор, как они встретились впервые. Поздно вечером учитель сидел над назидательной прописью, когда в дверь постучались и перед ним снова предстала Млисс. Она была опрятно одета и умыта, и только длинные черные косы да блестящие черные глаза напоминали учителю прежнюю Млисс.

— Вы заняты? — спросила она.— Можете пойти со мной? — И когда он изъявил полную готовность, она сказала по-прежнему своевольно:

— Ну, тогда идем скорее!

Они вместе вышли из школы на темную дорогу. Уже в городе учитель спросил, куда они идут.

— К отцу,— ответила Млисс.

В первый раз она назвала его, как подобает дочери, а не «стариком Смитом» или просто «стариком». В первый раз за все эти три месяца она заговорила о нем,— учитель знал, что Млисс решительно отдалилась от отца с тех пор, как в ее жизни произошел перелом. Понимая, что расспрашивать Млисс о цели их путешествия бесполезно, он покорно шел за ней. Вместе с нею он заходил в самые подозрительные притоны, в кабачки самого низкого пошиба, в закусочные, в бары, в игорные и танцевальные залы. Девочка стояла среди сизого дыма и громкой брани, тревожно оглядываясь и держа учителя за руку, и, по-видимому, ни о чем не думала, вся поглощенная своим поиском. Иногда гуляки, узнав Млисс, подзывали ее, чтобы она им спела и сплясала, и, верно, заставили бы ее выпить глоток-другой, если б не вмешательство учителя. Другие, узнав его, безмолвно расступались, давая дорогу. Так прошел час. Потом девочка шепнула учителю на ухо, что по ту сторону ручья, через который перекинут длинный желоб, стоит хижина и, может быть, ее отец там. Туда они и отправились. Нелегкий путь отнял полчаса, но поиски их были тщетны. Они уже возвращались домой вдоль канавы, тянувшейся мимо устоев желоба, глядя на огни поселка за ручьем, как вдруг в чистом ночном воздухе неожиданно и резко прозвучал выстрел. Эхо подхватило выстрел и понесло вокруг Красной горы, и, услышав его, собаки на приисках залаяли. На окраине поселка задвигались и заплясали огни, ручей зажурчал более внятно, два-три

камня отделились от обрыва и с плеском упали в воду, порыв ветра всколыхнул вершины траурных сосен — и после этого тишина словно сгустилась, стала еще глуше и еще мертвеннее. Учитель невольно обернулся к Млисс, словно для того, чтобы защитить ее, но девочка исчезла. Сердце у него сжалось от страха, он быстро сбежал по тропинке к ручью и, перепрыгивая с камня на камень, очутился у подножия Красной горы, где начинался поселок. На середине пути он взглянул вверх, и у него захватило дыхание: высоко над собой, на узком желобе, он заметил фигурку своей спутницы, перебегавшую по желобу в темноте.

Выбравшись на крутой берег, он пошел прямо на огоньки, которые двигались по горе вокруг одной какой-то точки, и скоро, совсем запыхавшись, очутился среди притихших и опечаленных золотоискателей.

Из толпы выступила девочка и, взяв учителя за руку, молча подвела его к пещере с обвалившимися краями. Лицо Млисс сильно побледнело, но она больше не волновалась, и ее глаза смотрели так, словно произошло наконец событие, которого она давно ожидала; в ее взгляде было что-то похожее на облегчение, как показалось растерявшемуся учителю. Стены пещеры местами были подперты полусгнившими стойками. Девочка показала на бесформенную груду, которую учитель принял было за лохмотья, оставленные в пещере ее последним жильцом. Он поднес ближе горящую сальную свечу и нагнулся над лохмотьями. Это был Смит. Уже похолодевший, с пистолетом в руке и пулей в сердце, он лежал возле своего пустого «кармана».

ГЛАВА II

Мнение, высказанное Мак-Снэгли относительно «духовного перелома», который, по его словам, переживала Млисс, нашло себе более образное выражение в шахтах и на приисках. Там говорили, что Млисс «разрабатывает новую жилу». Когда на маленьком кладбище прибавилась еще одна могила и над нею на средства учителя была поставлена небольшая надгробная плита, «Знамя Красной горы», не пожалев затрат, выпустило специ-

альный номер, который воздавал должное памяти «одного из старейших наших пионеров», осторожно намекая на «причину гибели многих благородных умов» и всячески затушевывая неблаговидное прошлое «нашего дорогого собрата».

«Его оплакивает единственная дочь,— писало «Знамя»,— которая за последнее время показала примерные успехи в науках благодаря усилиям достопочтенного мистера Мак-Снэгли». Достопочтенный Мак-Снэгли действительно много носился с идеей обращения Млисс и, косвенно обвиняя несчастного ребенка в самоубийстве отца, намекал в воскресной школе на благотворное действие «безгласной могилы». От таких утешительных речей дети замирали в страхе, а бело-розовые отпрыски самых первых семейств в городке разражались отчаянным ревом, не желая слушать никаких уговоров.

Наступило долгое засушливое лето. День за днем догорал на вершинах гор в клубах жемчужно-серого дыма, ветерок налетал и рассеивал над землей красную пыль, и зеленая волна, захлестнувшая ранней весной могилу Смита, пожелтела, завяла и высохла. Учитель, гуляя по воскресеньям на кладбище, иногда с удивлением находил цветы из влажных сосновых лесов, рассыпанные на этой могиле, а еще чаще — неуклюжие венки на маленьком сосновом кресте. Почти все венки были сплетены из душистой травы, какую дети любили держать в партах, и цветущих веток конского каштана, дикого жасмина и лесных анемонов; среди других цветов учитель заметил кое-где темно-синие клубучки ядовитого борца, или аконита. Ядовитая трава, попавшая в надгробный венок, скорее производила тяжелое впечатление, чем радовала глаз. Однажды, во время долгой прогулки, поднимаясь на лесистый горный склон, он встретил Млисс в самой глубине леса. Она сидела на поваленной сосне, косматые сухие ветви которой образовали что-то вроде фантастического трона, и, разбирая травы и шишки, лежавшие у нее на коленях, тихо напевала негритянскую песенку, которой выучилась в детстве. Узнав учителя еще издали, она подвинулась, освободив ему место рядом с собой, и гостеприимно и покровительственно, что могло бы показаться смешным, если б она вела себя не так серьезно, угостила его ore-

хами и дикими яблоками. Заметив у нее на коленях темные цветы аконита, учитель воспользовался случаем и рассказал ей о вредных, ядовитых свойствах этого растения, взяв с нее слово, что она не станет его рвать, пока учится в школе. Зная по опыту, что на честность девочки можно положиться, он поверил ей, и странное чувство, возникшее у него при виде этих цветов, мало-помалу прошло.

Из всех семей, предложивших приютить Млисс под своим кровом после того, как стало известно, что она «обратилась», учитель выбрал семью миссис Морфер, женщины добросердечной, которая была уроженкой юго-восточных штатов и в девичестве носила прозвище «Роза Прерий». Миссис Морфер была одной из тех натур, которые энергично сопротивляются собственным наклонностям, и после долгой борьбы с собой и многих жертв она подчинила наконец свой безалаберный характер идее «порядка», который считала вместе с Попом «первым законом небес». Но как бы закономерно ни было ее движение по собственной орбите, она не в состоянии была уследить за своими спутниками, и даже ее Джим подчас сталкивался с ней. Но истинный характер миссис Морфер возродился в ее детях. Ликург шарил в буфете до обеда, Аристид возвращался из школы без башмаков, сбросив эту важную часть туалета на улице ради удовольствия прогуляться босиком по канавам. Октавия и Кассандра были порядочные неряхи. И сколько Роза Прерий ни подстригала и ни холила свою зрелую красоту, ее юные отпрыски росли дико и буйно, наперекор матери, за одним-единственным исключением. Этим исключением была Клитемнестра Морфер, пятнадцати лет от роду. Чистенькая, аккуратная и скучная, она как бы воплощала собой безупречный идеал матери.

Миссис Морфер имела слабость думать, что Клити служит для Млисс утешением и примером. Повинуясь этой слабости, миссис Морфер ставила свою дочь в пример Млисс, когда та плохо себя вела, и заставляла девочку восхищаться ею в минуты раскаяния. Поэтому учитель не удивился, услышав, что Клити будет ходить в школу, очевидно, из уважения к нему и ради примера для Млисс и других, ибо Клити была уже взрослая

молодая особа. Она расцвела рано, унаследовав физические особенности своей матери и подчиняясь климатическим законам Красной горы. Местная молодежь, которой редко приходилось видеть такие пышные цветы, вздыхала по ней в апреле и томилась в мае. Ее вздыхатели слонялись возле школы в те часы, когда кончались уроки. Некоторые ревновали ее к учителю.

Может быть, именно это обстоятельство открыло учителю глаза. Он не мог не заметить романтических склонностей Клити, не мог не заметить, что в классе она то и дело требовала к себе внимания, что перья у нее всегда плохо писали и нуждались в очинке, что просьбы эти обычно сопровождались выразительными взглядами, совершенно не соответствовавшими характеру услуги, о которой она просила; что иногда она касалась полным круглым локотком руки учителя, выводившего для нее пропись; что при этом она всегда краснела и откидывала назад белокурые локоны. Не помню, говорил ли я, что учитель был молод. Впрочем, это не имеет значения; он уже прошел суровую школу, в которой Клити брала первый урок, и довольно успешно сопротивлялся полным локоткам и притворно ласковым взглядам, как оно и подобало молодому спартанцу. Быть может, такому аскетизму способствовало недостаточное питание. Обычно учитель избегал Клити, но однажды вечером, когда она вернулась в школу за какой-то забытой вещью и нашла ее не раньше того, как учитель собрался идти домой, он проводил ее и постарался быть особенно любезным, мне кажется, отчасти потому, что такое поведение наполняло горечью и без того переполненные сердца поклонников Клитемнестры.

На следующее утро после этого трогательного происшествия Млисс не пришла в школу. Наступил полдень, а Млисс все не было. Когда учитель спросил о ней Клити, оказалось, что обе они вышли из дому вместе, но упрямая Млисс пошла другой дорогой. Она не приходила весь день. Вечером он зашел к миссис Морфер, чье материнское сердце было не на шутку встревожено. Мистер Морфер провел целый вечер в поисках беглянки, но не нашел никаких следов ее местопребывания. Призвали Аристида, как возможного сообщника, но этот добродетельный младенец сумел уверить домашних в своей

невиновности. Живое воображение миссис Морфер подсказывало ей, что девочка утонула в канаве или — а это еще ужаснее — так перепачкалась, что делу нельзя будет помочь ни мылом, ни водой. С тяжелым чувством учитель вернулся в школу. Засветив лампу и усевшись за стол, он заметил перед собой письмо, написанное почерком Млисс и адресованное ему. Оно было написано на листке, вырванном из старой записной книжки, и запечатано шестью старыми облатками, чтобы ничьи дерзновенные руки не коснулись его. Учитель вскрыл его почти с нежностью и прочел:

«Милостивый государь, когда вы прочтете это, меня уже не будет здесь. И я никогда не вернусь. Никогда, никогда, никогда! Можете отдать мои бусы Мери Дженингс, а мою «Гордость Америки» (ярко раскрашенную картинку с табачной коробки) — Салли Флэндерс. Только не давайте ничего Клити Морфер. Не смейте давать! Если хотите знать, что я о ней думаю, так вот: она препротивная девчонка. Вот и все, и больше мне писать не о чем.

С уважением *Мелисса Смит*».

Учитель сидел, размышляя над этим странным посланием, до тех пор пока светлый лик луны не поднялся над дальними горами и не осветил протоптанную детскими ногами дорожку, которая вела к школе. Потом, несколько успокоившись, он разорвал письмо на клочки и разбросал их по дороге.

На следующее утро, с восходом солнца, он уже прокладывал себе путь сквозь пальмовидные папоротники и густой кустарник в сосновом лесу, спугивая по дороге зайцев и вызывая хриплый протест со стороны беспутных ворон, должно быть, прогулявших всю ночь напролет, и наконец добрался до лесистого горного склона, где когда-то повстречал Млисс. Там он разыскал поваленное дерево с косматыми ветвями, но трон пустовал. Когда он подошел ближе, сучья затрещали, словно под ногами испуганного зверька, что-то пробежало вверх среди вскинутых к небу рук павшего гиганта и затаилось в гостеприимной хвое. Добравшись до знакомого места, учитель увидел, что гнездышко еще не остыло; взглянув

вверх, он встретил среди переплетенных ветвей черные глаза беглянки Млисс. Они молча смотрели друг на друга. Млисс первая нарушила молчание.

— Что вам нужно? — резко спросила она.

Учитель заранее обдумал, как ему держаться.

— Яблок,— сказал он смиренно.

— Ничего вы не получите! Ступайте прочь. Подите попросите у Клитемне-е-стры. (Ей, казалось, доставляло удовольствие презрительно растягивать и без того длинное имя этой классической молодой особы.) Как вам не стыдно!

— Я хочу есть, Лисси. Я ничего не ел со вчерашнего обеда. Умираю с голоду!— И молодой человек в совершенном изнеможении прислонился к дереву.

Сердце Мелиссы дрогнуло. Еще с горьких дней цыганской жизни ей было знакомо чувство голода, которое так искусно имитировал учитель. Побежденная его смиренным тоном, но еще не совсем отбросив подозрения, она сказала:

— Поройтесь под деревом у корней, там их много; только не говорите никому.— У Млисс была своя кладовая, как у белок или мышей.

Учитель, конечно, не мог ничего найти; должно быть, плохо видел от голода. Наконец она лукаво взглянула на него сквозь ветви и спросила:

— Если я слезу и дам вам яблок, вы меня не тронете?

Учитель обещал.

— Скажите: «Помереть мне на этом месте».

Учитель был согласен и на это. Млисс соскользнула на землю. Несколько минут оба молча грызли орехи.

— Теперь вам лучше? — спросила она заботливо.

Учитель признался, что силы его восстанавливаются, и, серьезно поблагодарив ее, пустился в обратный путь. Как он и предвидел, Млисс окликнула его, не дав ему отойти. Он обернулся. Девочка стояла бледная, со слезами в широко раскрытых глазах. Учитель почувствовал, что наступила подходящая минута. Он подошел к ней, взял ее за руки и, заглянув ей в глаза, полные слез, сказал серьезным тоном:

— Лисси, помнишь тот вечер, когда ты пришла ко мне в первый раз?

Да, Лисси помнила этот вечер.

— Ты сказала, что хочешь учиться, хочешь исправиться, а я ответил...

— «Приходи»,— быстро докончила девочка.

— А что ты ответишь, если твой учитель скажет, что ему скучно без маленькой ученицы, и попросит тебя вернуться и помочь ему исправиться?

Девочка повесила голову и долго молчала.

Учитель терпеливо ждал. Обманутый тишиной заяц подбежал к ним и уселся, подняв бархатные передние лапки и глядя на них блестящими глазами. Белка сбежала вниз по морщинистой коре поваленного дерева и остановилась на полдороге.

— Мы ждем, Лисси,— шепотом сказал учитель, и девочка улыбнулась.

Налетевший ветерок закачал верхушки деревьев, длинный тонкий луч света прокрался сквозь спутанные ветви и осветил растерянное лицо и полную нерешимости фигурку. Вдруг Млисс со свойственной ей живостью схватила учителя за руку. Что она сказала, едва можно было расслышать, но учитель, откинув со лба Млисс черные волосы, поцеловал ее. И рука об руку они вышли из-под влажных сводов, полных лесного аромата, на открытую, освещенную солнцем дорогу.

ГЛАВА III

Млисс отчасти примирилась со всеми школьными товарищами, но по-прежнему держалась враждебно с Клитемнестрой. Быть может, ревнивое чувство не совсем уснуло в ее горячем маленьком сердечке. Быть может, круглые локотки и пышная фигура представляли более широкие возможности для щипков. Но так как эти вспышки умерялись присутствием учителя, ее вражда иногда принимала иные формы, с которыми трудно было бороться.

Учителю, когда он впервые составил суждение о характере девочки, не могло прийти в голову, что у нее есть кукла. Но он, как и другие профессиональные знатоки че-

ловеческой души, умел лучше рассуждать a posteriori[1], чем a priori[2]. У Млисс была кукла, именно такая, как следовало ожидать,— маленькая копия ее самой. Она влачила свое плачевное существование втайне до тех пор, пока ее случайно не открыла миссис Морфер. Кукла была подругой Млисс в ее прежних скитаниях, и на ней остались явные следы пережитых невзгод. Былой румянец смыло дождем и затушевало грязью из канав. Она была очень похожа на самое Млисс в прежнее время. Единственное платье из полинявшего ситца было так же грязно и оборвано, как раньше у Млисс. Девочка никогда не ласкала свою куклу, как другие дети, никогда не играла в куклы при других. Она обращалась с ней строго, укладывала ее спать в дупло дерева, неподалеку от школы, и гулять ей разрешалось только во время скитаний самой Млисс. Она относилась к кукле так же сурово, как к самой себе, и не баловала ее.

Миссис Морфер, повинуясь весьма похвальному побуждению, купила новую куклу и подарила ее Млисс. Девочка приняла подарок с достоинством и как будто заинтересовалась им. Как-то раз учителю показалось, что круглые розовые щеки и светлые голубые глаза куклы слегка напоминают Клитемнестру. Скоро выяснилось, что и сама Млисс заметила это сходство. Оставшись одна, она колотила ее восковой головкой о камни, а иногда, привязав за шею, тащила в школу на веревочке. Или, посадив куклу перед собой на парту, втыкала булавки в ее терпеливое, безответное тело. Делалось ли это в отместку за то, что добродетельную Клити, как она думала, нарочно ставили ей в пример, или она бессознательно усвоила обряды многих языческих племен и, проделывая эту церемонию над фетишем, воображала, что оригинал ее восковой модели зачахнет и в конце концов умрет,— вопрос слишком отвлеченный, и обсуждать его мы здесь не будем.

Несмотря на эти выходки, учитель не мог не заметить в ее школьных работах проблесков живого, беспокойного и сильного ума. Она не знала ни колебаний, ни сомнений, свойственных детям. Ее ответы в классе всегда от-

---

[1] Исходя из опыта *(лат.)*.
[2] До опыта *(лат.)*.

личались смелостью. Разумеется, она часто ошибалась. Но храбрость, с которой она отважно пускалась вплавь, опережая барахтавшихся рядом с ней маленьких пловцов, перевешивала в их глазах все ошибки суждения. Мне кажется, дети в этом отношении не лучше взрослых. Когда маленькая красная ручка поднималась над партой, наступало настороженное молчание, и даже учитель подчас переставал доверять собственному опыту и уму.

Однако некоторые черты ее характера, сначала забавлявшие учителя, стали вызывать у него серьезную тревогу. Он не мог не видеть, что Млисс дерзка, мстительна и упряма. В ней была одна хорошая черта, естественная в такой дикарке,—физическая выносливость и самоотверженность, и другая, не всегда свойственная дикарям,—правдивость. Млисс была бесстрашна и пряма — быть может, в применении к такой натуре оба эти слова значили одно и то же.

Учитель долго раздумывал над этим и пришел к выводу (знакомому всем, кто искренен сам с собой), что он раб собственных предрассудков. Он решил посоветоваться с преподобным Мак-Снэгли. Это решение было довольно оскорбительно для его самолюбия, потому что они с Мак-Снэгли отнюдь не были друзьями. Но он подумал о Млисс, о том вечере, когда она впервые пришла к нему, и с суеверной, но простительной мыслью, что вряд ли только случай привел упрямицу к школе, он поборол свою антипатию к Мак-Снэгли, в глубине души очень довольный собственным благородством.

Почтенный Мак-Снэгли был рад его видеть; больше того, заметил, что учитель теперь выглядит значительно лучше, и выразил надежду, что он избавился от ревматизма и невралгии. Сам Мак-Снэгли с последнего молитвенного собрания страдает ломотой в ногах. Но он выучился преодолевать болезни молитвой.

Помолчав с минуту, чтобы дать учителю возможность запечатлеть в памяти этот способ лечения болезней, мистер Мак-Снэгли перешел к расспросам о «сестре Морфер».

— Она украшение христианства, и потомство у нее растет такое же,— прибавил Мак-Снэгли,— дочка у нее

такая воспитанная, эта самая мисс Клити, так прекрасно себя ведет...

Он так восхищался совершенствами мисс Клити, что разглагольствовал о ней битых четверть часа. Учитель совсем растерялся. Во-первых, в похвалах по адресу Клити он усматривал недоброжелательство к бедной Млисс. Во-вторых, в тоне, каким Мак-Снэгли говорил о старшей дочери миссис Морфер, чувствовалась неприятная фамильярность. И учитель после нескольких бесплодных попыток сказать что-нибудь подходящее счел за лучшее вспомнить какое-то неотложное дело и ушел, так и не попросив совета. Впоследствии он не совсем справедливо обвинял преподобного Мак-Снэгли в том, что он отказался дать этот совет.

Быть может, именно эта неудача снова сблизила учителя с ученицей. Казалось, девочка заметила, что за последнее время учитель стал держаться с ней иначе, более принужденно, и во время одной из долгих послеобеденных прогулок она неожиданно остановилась, влезла на пень и посмотрела ему прямо в лицо своими большими, пытливыми глазами.

— Вы не сердитесь? — спросила она, отбросив за спину свои черные косы.

— Нет.

— И не расстроены?

— Нет.

— И не голодны? (Голод, по мнению Млисс, был такой болезнью, которая могла поразить человека в любое время.)

— Нет.

— И о ней не думаете?

— О ком, Лисси?

— Об этой белобрысой! (Последний эпитет Млисс, очень смуглая брюнетка, изобрела для обозначения Клитемнестры.)

— Нет.

— Честное слово? (Замена «помереть на этом месте», предложенная учителем.)

— Да.

— Честное-пречестное?

— Да.

Млисс стремительно поцеловала учителя и, спрыгнув на землю, бросилась бежать. Дня на два, на три она снизошла до того, что вела себя почти так же, как другие дети,— «исправилась», по ее выражению.

Прошло два года с тех пор, как учитель приехал в поселок, и он уже подумывал о перемене места, так как жалованье его было невелико, а рассчитывать на то, что Смитов Карман станет в скором времени столицей штата, не приходилось. Он намекнул школьному совету о своих намерениях, но в то время нелегко было найти образованного молодого человека с незапятнанной репутацией, и он согласился остаться до конца учебного года. Никто не знал планов учителя, кроме его единственного друга, доктора Дюшена, молодого врача-креола, которого жители Уингдэма звали Дюшени. Он не говорил о своих планах ни миссис Морфер, ни Клити, ни кому-либо из учеников. Его молчание объяснялось отчасти природной сдержанностью, отчасти желанием избежать расспросов и назойливого любопытства, отчасти же тем, что он привык не доверять самому себе, пока не выполнит задуманного.

Он старался не думать о Млисс. Повинуясь, быть может, эгоистическому инстинкту, он считал свое чувство к девочке глупым, романтическим и безрассудным. Ему казалось даже, что она будет лучше учиться под началом более пожилого и более строгого учителя. К тому же ей было около одиннадцати лет, и, по законам Красной горы, через три-четыре года она уже могла считаться взрослой девушкой. Свой долг он исполнил. После кончины Смита он написал его родственникам и получил одно письмо от тетки Млисс. Выражая благодарность учителю, она писала, что через несколько месяцев собирается переехать с мужем из восточных штатов в Калифорнию. Это несколько меняло архитектуру воздушного замка, возведенного учителем для Млисс, но все же нетрудно было себе представить, что сердечная и любящая женщина, к тому же родственница, скорее сумеет взять в руки эту своевольную натуру. Однако, когда учитель читал Млисс это письмо, девочка слушала равнодушно и не стала спорить, а потом вырезала из него несколько

фигурок, изображавших Клитемнестру, и, подписав во избежание ошибки «белобрысая», налепила их снаружи на стены школы.

Лето было на исходе, в долинах уже собрали последнюю жатву, и учитель вспомнил, что пора и ему пожинать плоды и устраивать праздник урожая, иначе говоря, экзамены. И вот ученые джентльмены и многоопытные дельцы Смитова Кармана собрались созерцать, как в силу освященного веками обычая робких детей будут запугивать, точно свидетелей на суде. Как всегда в таких случаях, почести достались тем, кто был смелее и меньше робел. Читателю нетрудно будет представить себе, что на этот раз Млисс и Клити были впереди других и привлекали внимание зрителей: Млисс — ясным и практическим умом, Клити — безмятежной самоуверенностью и благочестивой скромностью манер. Остальные дети робели и путались. Разумеется, живость и блестящие способности Млисс покорили большинство зрителей и вызвали шумное одобрение. История Млисс будила живейшее сочувствие среди тех слушателей, которые жались к стенам, подпирая их могучими плечами, и среди тех, чьи мужественные бородатые лица заглядывали с улицы в окна. Но популярность Млисс была подорвана одним непредвиденным обстоятельством.

Мак-Снэгли сам напросился на экзамены и испытывал немалое удовольствие, пугая робких школьников непонятными и двусмысленными вопросами, которые задавал устрашающим загробным голосом. Млисс отвечала по астрономии и парила за облаками под музыку сфер, рассказывая о пути земного шара в пространстве и о движении планет по орбитам, когда Мак-Снэгли внушительно поднялся с места.

— Мелисса! Ты говорила о вращении нашей земли и движении солнца, и, кажется, ты сказала, что оно не останавливалось ни разу с сотворения мира?

Млисс презрительно кивнула головой.

— Так ли это? — спросил Мак-Снэгли, скрестив руки на груди.

— Да! — ответила Млисс и крепко сжала свои красные губы.

Великолепные бородачи в окнах подались вперед; и один из них, с рафаэлевски благообразным лицом, бело-

курой бородой и кроткими синими глазами, первый бездельник на приисках, повернулся к девочке и шепнул:

— Стой на своем, Мелисса!

Почтенный Мак-Снэгли испустил глубокий вздох, сострадательно взглянул на учителя, потом на детей и, наконец, остановил свой взгляд на Клити. Молодая особа не спеша подняла полную белую руку. Обольстительная полнота ее ручки оттенялась массивным браслетом из самородного золота — подарком одного из самых смиренных поклонников, надетым по случаю экзаменов. На минуту все стихло. Круглые щечки Клити рдели таким нежным румянцем. Большие голубые глаза Клити так ярко блестели. Открытое муслиновое платье Клити так мягко облегало пышные белые плечики. Клити посмотрела на учителя, и он кивнул. Тогда Клити сказала нежным голосом:

— Иисус Навин велел солнцу остановиться, и оно повиновалось ему!

В классе послышался тихий гул одобрения, лицо Мак-Снэгли выразило торжество, лицо учителя омрачилось, а во взглядах зрителей самым забавным образом выразилось разочарование. Млисс быстро перелистала учебник астрономии и громко захлопнула книгу. Мак-Снэгли застонал, в классе изумленно ахнули, и за окном раздался вопль, когда Млисс стукнула красным кулачком по парте и торжественно объявила:

— Враки! Я этому не верю.

ГЛАВА IV

Долгий сезон дождей подходил к концу. Приближение весны было заметно по набухшим почкам и бурлящим потокам. Из сосновых лесов тянуло свежей хвоей. На азалиях уже наливались почки, и джерсейский чай готовил к весне свою лиловую ливрею. На зеленом ковре, покрывавшем южные склоны Красной горы, снова поднялись среди лапчатых листьев высокие стрелы волчьего борца и снова распустили свои темно-синие колокольчики. Над могилой Смита снова заколыхались мягкие зеленые волны, и гребни их подернулись пеной маргариток и лютиков. На маленьком кладбище за этот год появились но-

вые жильцы, и могильные холмики попарно жались к низенькой ограде, доходя почти до могилы Смита, которая была в стороне от других. Все по какому-то суеверному чувству избегали этой могилы, и место рядом с нею оставалось незанятым.

По городу были расклеены афиши, извещавшие о том, что в скором времени известной драматической труппой представлено будет несколько «уморительно веселых фарсов», а сверх того для разнообразия дана будет мелодрама и большой дивертисмент с пением, танцами и пр. Эти афиши вызвали волнение среди малышей, о них много говорили и возбужденно спорили в школе. Учитель обещал Млисс, для которой такие зрелища были в диковинку, взять ее в театр, и оба они «присутствовали» на спектакле.

Игра была скучная и посредственная: мелодрама была не так плоха, чтобы вызвать смех, и не так хороша, чтобы ее можно было смотреть с увлечением. Однако скучающий учитель, взглянув на девочку, был изумлен и даже почувствовал себя в чем-то виноватым, заметив, как действует представление на ее впечатлительную натуру. Горячая краска заливала ее щеки с каждым биением сердца. Губы слегка раскрылись, и сквозь них вырывалось учащенное дыхание. Черные брови изумленно поднялись над широко раскрытыми глазами. Она не смеялась унылым шуткам комика; Млисс вообще редко смеялась. Она не прикладывала украдкой к глазам уголок белого платочка, как чувствительная Клити, которая, беседуя со своим кавалером, в то же время нежно поглядывала на учителя. Но когда спектакль кончился и зеленый занавес опустился над маленькой сценой, Млисс вздохнула глубоким, долгим вздохом, устало потянулась и с виноватой улыбкой обратила к учителю свое серьезное лицо.

— А теперь проводите меня домой! — сказала она, закрыв черные глаза, словно для того, чтобы пережить еще раз все, что она видела на сцене.

По дороге к дому миссис Морфер учитель счел нужным высмеять представление. Неужели Млисс думает, что молодая леди, которая так прекрасно играла, в самом деле любит этого нарядного джентльмена? Если она его любит, это — сущее несчастье.

— Почему? — спросила Млисс, поднимая глаза.

— Как же, ведь он не может на свое теперешнее жалованье содержать жену и нарядно одеваться, да и платить ему станут меньше, если они поженятся. Впрочем,— прибавил учитель,— он, может быть, женат на ком-нибудь другом. По-моему, муж молодой графини проверяет билеты у входа, поднимает занавес, снимает нагар со свечей или делает еще что-нибудь столь же утонченное и изящное. Что же касается молодого человека в таком нарядном костюме,— а костюм этот и в самом деле очень наряден и стоит доллара два с половиной, а то и все три, не говоря уж о плаще из красного плиса, я такую материю покупал на занавески и знаю, сколько она стоит,— что до него, Лисси, так он действительно хороший малый, и если запивает иной раз, то нельзя же, пользуясь этим, толкать его в грязь или наставлять ему синяки. Как ты думаешь? Если бы он был мне должен два с половиной доллара, я не стал бы попрекать его при всех, как тот человек в Уингдэме.

Девочка схватила учителя за руку и пыталась заглянуть ему в лицо, но он упорно отворачивался. Млисс имела некоторое представление об иронии, она и сама не лишена была едкого юмора, который и сказывался в ее словах и поступках. Но учитель продолжал разговор в том же духе, пока они не дошли до дома Морферов, а там поручил Млисс материнским заботам миссис Морфер. Отклонив приглашение миссис Морфер отдохнуть и закусить и заслоняясь рукой от взглядов голубоглазой сирены Клити, он извинился и ушел домой.

В течение двух или трех дней после приезда драматической труппы Млисс опаздывала в школу, а в пятницу учитель, оставшись без своего опытного проводника, не смог пойти на прогулку. Складывая книги и собираясь уходить из школы, он услышал рядом с собой тоненький голосок:

— Извините, сэр!

Учитель обернулся и увидел Аристида Морфера.

— Ну, в чем дело, малыш?— сказал нетерпеливо учитель.— Говори скорей!

— Извините, сэр, мы с Кэргом думаем, что Млисс опять навострила лыжи!

— Что такое, сэр? — сказал учитель с тем несправедливым раздражением, какое у нас всегда вызывает неприятное известие.

— Да, сэр, она совсем не бывает дома, и мы видели, как она разговаривала с одним актером. Она и сейчас там, а вчера, сэр, она хвастала, будто умеет декламировать не хуже мисс Селестины Монморесси, и жарила стихи прямо наизусть.

Тут малыш замолчал, разинув рот.

— С каким актером? — спросил учитель.

— А у которого блестящая шляпа. И волосы. И золотая булавка. И золотая цепочка для часов,— отвечал правдивый Аристид, ставя точки вместо запятых, чтобы перевести дыхание.

Учитель надел шляпу и перчатки и с неприятным чувством удушья в груди вышел из школы. Аристид, стараясь не отставать, семенил за ним короткими ножками. Вдруг учитель остановился, и Аристид наскочил на него.

— Где они разговаривали? — спросил учитель, словно продолжая разговор.

— В «Аркадии»! — ответил Аристид.

Когда они вышли на главную улицу, учитель остановился.

— Беги домой,— сказал он мальчику.— Если Млисс там, ты придешь в «Аркадию» и скажешь мне. Если ее там нет, оставайся дома. Ну, беги!

Аристид рысью пустился домой на своих коротеньких ножках.

«Аркадия» была как раз через дорогу — длинное строение, в котором помещались бар, ресторан и бильярдная. Переходя через площадь, молодой человек заметил, что двое или трое прохожих обернулись и посмотрели ему вслед. Он оглядел свой костюм и, прежде чем войти в бар, достал платок и вытер лицо. Как обычно, в баре было несколько завсегдатаев, которые уставились на него, как только он вошел. Один из них смотрел так пристально и с таким странным выражением, что учитель остановился, взглянул на него еще раз и только тогда заметил, что это его собственное отражение в большом зеркале. Учитель подумал, что он взволнован, и, захватив со стола «Знамя Красной горы», пробежал столбец объявлений, чтобы дать себе успокоиться.

Потом он прошел через бар и ресторан в бильярдную. Девочки там не было. В бильярдной возле одного из столов стоял человек в блестящем цилиндре с широкими полями. Учитель узнал в нем антрепренера драматической труппы, которого невзлюбил с первой встречи за манеру как-то особенно подстригать волосы и бороду. Убедившись, что той, которую он ищет, здесь нет, учитель подошел к человеку в цилиндре. Тот заметил учителя, но попытался сделать вид, будто не замечает, что редко удается людям невоспитанным. Поигрывая кием, он притворился, что целится в шар посередине бильярда. Учитель стал против него и, когда актер поднял глаза и они встретились взглядами, подошел ближе.

Он не хотел начинать сцену или ссору, но как только заговорил, что-то клубком подкатилось у него к горлу, и он испугался собственного голоса — так глухо и отчужденно он прозвучал.

— Насколько мне известно,— начал он,— Мелисса Смит, сирота и одна из моих учениц, говорила вам, что хочет стать актрисой. Это правда?

Человек в цилиндре оперся на стол и сделал такой фантастический выпад кием, что шар завертелся и помчался вдоль борта бильярда. Обойдя кругом стола, игрок поймал шар и водворил его на место. Покончив с этим и снова нацелившись, он спросил:

— Ну так что же из этого?

Учитель снова почувствовал удушье, но сдержался и, сжимая борт бильярда рукой в перчатке, продолжал:

— Если вы джентльмен, мне довольно будет сказать вам, что я опекун Мелиссы и отвечаю за ее будущее. Вам не хуже моего известно, какую жизнь вы предлагаете ей. Первый встречный вам скажет, что мне удалось спасти ее от того, что хуже смерти,— от улицы, от грязи порока. Попытаюсь спасти ее и теперь. Поговорим, как подобает мужчинам. У нее нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер. Что вы дадите ей взамен?

Человек в цилиндре осмотрел кончик кия, потом оглянулся по сторонам, нет ли поблизости кого-нибудь, кто мог бы посмеяться вместе с ним.

— Я знаю, она странная, своевольная девочка,— продолжал учитель,—но теперь она изменилась к лучшему. Думаю, что я еще не потерял ее доверия. Надеюсь, что

вы, как джентльмен, не станете больше вмешиваться в это дело. Я согласен...

Но тут клубок снова подкатился к горлу учителя, и фраза осталась недоконченной. Человек в цилиндре, не понимая молчания учителя, поднял голову, грубо и хрипло засмеялся и громко сказал:

— Самому понадобилась, а? Этот номер не пройдет, молодой человек.

Оскорбительны были не столько слова, сколько тон, и не столько тон, сколько взгляд, и не все это вместе взятое, а скорее грубость его натуры. Такие скоты лучше всякого другого красноречия понимают красноречие удара. Учитель это почувствовал и, давая выход накопившемуся раздражению, ударил актера прямо в ухмыляющееся лицо. Цилиндр полетел в одну сторону, кий в другую, и учитель, разорвав перчатку, до крови ободрал себе руку. Рот у джентльмена в цилиндре был рассечен, и холеная борода надолго утратила свою оригинальную форму.

Послышались крики, брань, глухие удары и топот. Толпа расступилась, и один за другим резко прозвучали два выстрела. После этого толпа снова сомкнулась вокруг актера, а учитель остался один. Он помнил, что левой рукой снимал с рукава клочки дымящегося пыжа. Кто-то держал другую руку. Взглянув на эту руку, он увидел, что она вся в крови от удара, а пальцы стискивают рукоятку блестящего ножа. Он не мог понять, откуда взялся этот нож.

Оказалось, что руку его держит мистер Морфер. Он подталкивал учителя к дверям, но тот упирался и, едва шевеля пересохшими губами, что-то говорил о Млисс.

— Все в порядке, мой милый,— сказал мистер Морфер.— Она дома!

И они вместе вышли на улицу. По дороге мистер Морфер рассказал, что Млисс прибежала домой несколько минут назад и потащила его за собой, крича, что учителя убивают в «Аркадии». Учителю хотелось остаться одному, и, пообещав мистеру Морферу не разыскивать сегодня антрепренера, он простился с ним и отправился в школу. Подойдя к дому, он удивился, увидев, что дверь открыта, и еще больше удивился, увидев, что там сидит Млисс.

Мы уже говорили, что характер учителя основывался на эгоизме, как у большинства чувствительных натур.

Грубая насмешка, только что брошенная ему противником, все еще жгла его сердце. Возможно, думал он, что именно так перетолковывают его привязанность к девочке, конечно, неразумную и донкихотскую. Кроме того, разве она сама сколько-нибудь считается с его авторитетом, с его привязанностью? Что о ней говорят? Почему он один должен идти наперекор общему мнению, только для того, чтобы, наконец, молчаливо признать справедливость их предсказаний? Что он хотел доказать этой дракой в кабаке с каким-то дикарем, для чего рисковал жизнью? И что он доказал? Ровно ничего. Что скажут люди? Что скажут его друзья? Что скажет Мак-Снэгли?

В таком покаянном настроении он меньше всего хотел видеть Мелиссу. Затворив за собой дверь, он подошел к своему столу и холодно и резко сказал девочке, что хочет остаться один. Млисс встала; учитель сел на ее место, опустив голову на руки. Когда он поднял глаза, Млисс все еще стояла перед ним. Она тревожно смотрела ему в лицо.

— Вы его убили? — спросила она.

— Нет! — сказал учитель.

— Для чего же я дала вам нож? — возразила она живо.

— Ты дала мне нож? — в изумлении повторил учитель.

— Да, нож! Я сидела там под стойкой. Видела, как вы его ударили. Как вы оба упали. Он уронил нож. Я дала этот нож вам. Почему же вы его не пырнули? — быстро говорила Млисс, энергично взмахивая красной ручкой и выразительно сверкая глазами.

Учитель, онемев от изумления, взглянул на нее.

— Да,— сказала Млисс,— если б вы спросили, я бы вам сказала, что уезжаю с актерами. А почему я уезжаю с ними? Потому, что вы не хотели сказать мне, что сами уезжаете отсюда. Я это знала, я слышала, как вы говорили доктору. Я не хочу здесь оставаться одна, с этими Морферами. Лучше умереть!

Драматическим движением, которое было вполне в ее духе, она вытащила из-за пазухи горсть увядших зеленых листьев и, держа их в протянутой руке, сказала с живостью и с той странной интонацией, которая всегда проскальзывала в ее речи, когда она волновалась:

— Вот он, ядовитый корень! Вы сами сказали, что им можно отравиться. Я уеду с актерами или проглочу это и тут же умру. Мне все равно. Я здесь не останусь, все они меня презирают и ненавидят! И вы тоже, иначе вы бы меня не бросили.

Грудь Мелиссы дышала неровно, две крупные слезы повисли на ресницах, но она смахнула их уголком фартука, словно это были осы.

— Если вы засадите меня в тюрьму, чтоб я не сбежала с актерами, я отравлюсь,— в ожесточении говорила Мелисс.— Отец застрелился, почему же я не могу отравиться? Вы сказали, что от горсточки этого корня можно умереть, и я всегда ношу его с собой.— Она ударила себя в грудь сжатым кулачком.

Учитель подумал о пустующем месте рядом с могилой Смита, подумал о непокорной девочке, стоявшей перед ним. Он схватил ее за руки и, глядя прямо в ее правдивые глаза, спросил:

— Лисси, поедешь со мной?

Девочка обвила руками его шею и радостно ответила:

— Да.

— Сегодня... сейчас?

— Сейчас!

И рука об руку они вышли на дорогу, на ту узкую дорогу, которая привела когда-то ее усталые ноги к дверям учителя и на которую она больше не выйдет одна.

Звезды ярко сияли над ними. К добру или к худу, урок был окончен, и двери школы на Красной горе закрылись за ними навсегда.

СЧАСТЬЕ РЕВУЩЕГО СТАНА

В Ревущем Стане царило смятение. Его вызвала не драка, ибо в 1850 году драки вовсе не представляли собой такого уж редкостного зрелища, чтобы на них сбегался весь поселок. Обезлюдели не только заявки и канавы — пустовала даже «Бакалея Татла». Игроки покинули ее — те самые игроки, которые, как все мы помним, преспокойно продолжали игру, когда Француз Пит и канак Джо уложили друг друга наповал у самой стойки. Весь Ревущий Стан собрался перед убогой хижиной на краю расчищенного участка. Разговор велся вполголоса, и в нем часто упоминалось женское имя. Это имя — черокийка Сэл — все здесь хорошо знали.

Пожалуй, чем меньше о ней рассказывать, тем лучше. Сэл была грубая и, увы, очень грешная женщина, но других в Ревущем Стане тогда не знали. И вот сейчас эта единственная женщина в поселке находилась в том критическом положении, когда ей был особенно нужен женский уход. Беспутная, безвозвратно погрязшая в пороке, никому не нужная, она лежала в муках, трудно переносимых, даже если их облегчает женское сострадание, и вдвойне тяжких, когда возле страждущей никого нет. Расплата настигла Сэл так же, как и нашу праматерь, совсем одну, что делало кару за первородный грех еще более страшной. И, может быть, с этого и начиналось искупление ее вины, ибо в ту минуту, когда ей особенно недоставало женского сочувствия и заботы, она видела вокруг себя только полупрезрительные лица мужчин.

И все же мне думается, что кое-кого из зрителей тронули ее страдания. Сэнди Типтон сказал: «Плохо твое дело, Сэл!» — и, глядя, как она мучается, на минуту даже пренебрег тем обстоятельством, что в рукаве у него были припрятаны туз и два козыря.

Случай был действительно из ряда вон выходящий. Смерть считалась в Ревущем Стане делом самым обычным, но рождение было в новинку. Людей убирали из поселка решительно и бесповоротно, не оставляя им возможности прийти обратно, а, как говорится, ab initio [1] там еще никто и никогда не появлялся. Отсюда и всеобщее волнение.

— Зайди туда, Стампи,— сказал, обращаясь к одному из зевак, некий почтенный обитатель поселка, известный под именем Кентукки.— Зайди посмотри, может, помочь нужно. Ты ведь смыслишь в этих делах.

Такой выбор был, пожалуй, обоснован. В других палестинах Стампи считался главой сразу двух семейств, и Ревущий Стан — прибежище отверженных — был обязан обществом Стампи явной незаконности его семейного положения. Толпа одобрила эту кандидатуру, и у Стампи хватило благоразумия подчиниться воле большинства. Дверь за скороспелым хирургом и акушером закрылась, а Ревущий Стан расселся вокруг, закурил трубки и стал ждать исхода событий.

Возле хижины собралось человек сто. Один или двое из них скрывались от правосудия; имелись здесь и закоренелые преступники, и все они, вместе взятые, были народ отпетый. По внешности этих людей нельзя было догадаться ни о их прошлом, ни о их характерах. У самого отъявленного мошенника был рафаэлевский лик с копной белокурых волос. Игрок Окхерст меланхолическим видом и отрешенностью от всего земного походил на Гамлета; самый хладнокровный и храбрый из них был не выше пяти футов ростом, говорил тихим голосом и держался скромно и застенчиво. Прозвище «головорезы» служило для них скорее почетным званием, чем характеристикой.

Возможно, у Ревущего Стана был недочет в таких пустяках, как уши, пальцы на руках и ногах и тому по-

---

[1] С самого начала *(лат.)*.

добное, но эти мелкие изъяны не отражались на его коллективной мощи. У местного силача на правой руке насчитывалось всего три пальца; у самого меткого стрелка не хватало одного глаза.

Такова была внешность людей, расположившихся вокруг хижины. Поселок лежал в треугольной долине между двумя горами и рекой. Выйти из него можно было только по крутой тропе, которая взбегала на вершину горы прямо против хижины и теперь была озарена восходящей луной. Страждущая женщина, наверно, видела со своей жесткой постели эту тропу — видела, как она вьется серебряной нитью и исчезает среди звезд.

Костер из сухих сосновых веток помог людям разговориться. Мало-помалу к ним вернулось их обычное легкомыслие. Предлагались и охотно принимались пари относительно исхода событий. Три против пяти, что Сэл «выкарабкается» и что даже ребенок останется жив; заключались и дополнительные пари — относительно пола и цвета кожи ожидаемого пришельца. В разгаре оживленных споров в группе, сидевшей поближе к дверям, послышалось восклицание, остальные замолчали и насторожились. Пронзительный жалобный крик, какого в Ревущем Стане еще не слышали, прорезал стоны качающихся на ветру сосен, торопливое журчание реки и потрескивание костра. Сосны перестали стонать, река смолкла, костер затих. Словно вся природа замерла и тоже насторожилась.

Все как один вскочили на ноги. Кто-то предложил взорвать бочонок с порохом, но остальные вняли голосу благоразумия, и дело ограничилось несколькими выстрелами из револьверов, ибо вследствие ли несовершенства местной хирургии или каких-либо других причин жизнь черокийки Сэл быстро угасала. Прошел час, и она как бы поднялась по неровной тропе к звездам и навсегда покинула Ревущий Стан с его грехом и позором.

Вряд ли эта весть могла сама по себе хоть сколько-нибудь взволновать поселок, но о судьбе ребенка он задумался. «Выживет ли?» — спросили у Стампи. Ответ последовал неуверенный. Единственным в поселке существом одного пола с черокийкой Сэл, вдобавок тоже став-

шим матерью, была ослица. Кое-кто высказывал сомнения, годится ли она, но все же решили попробовать. Это было, пожалуй, вернее, чем древний опыт с Ромулом и Ремом, и, по-видимому, могло сулить не меньший успех.

После обсуждения подробностей, занявшего еще час, дверь отворилась, и любопытствующие мужчины, выстроившись в очередь, гуськом стали входить в хижину. Рядом с низкой койкой или скамьей, на которой под одеялом резко проступали очертания тела матери, стоял сосновый стол. На столе был поставлен свечной ящик, и в нем, закутанный в ярко-красную фланель, лежал новый житель Ревущего Стана. Рядом с ящиком лежала шляпа. Назначение ее скоро выяснилось.

— Джентльмены,— заявил Стампи, своеобразно сочетая в своем тоне властность и (ex officio[1]) некоторую долю учтивости,— джентльмены благоволят войти через переднюю дверь, обогнуть стол и выйти через заднюю. Кто захочет пожертвовать сколько-нибудь в пользу сироты, обратите внимание на шляпу.

Первый из очереди вошел в хижину, осмотрелся по сторонам и обнажил голову, бессознательно подав пример следующим. В подобном обществе заразительны и хорошие и дурные поступки.

По мере того как зрители гуськом входили в хижину, слышались критические замечания, обращенные больше к Стампи, как к распорядителю.

— Вот он какой!

— Мелковат!

— А смуглый-то!

— Не больше пистолета.

Дары были не менее своеобразны: серебряная табакерка, дублон, пистолет флотского образца с серебряной насечкой, золотой самородок, изящно вышитый дамский носовой платок (от игрока Окхерста), булавка с бриллиантом, бриллиантовое кольцо (последовавшее за булавкой, причем жертвователь отметил, что он видел булавку и выкладывает двумя бриллиантами больше), рогатка, Библия (кто ее положил, осталось неизвест-

[1] По должности (*лат.*).

ным), золотая шпора, серебряная чайная ложка (к сожалению, должен отметить, что монограмма на ней не соответствовала инициалам жертвователя), хирургические ножницы, ланцет, английский банкнот в пять фунтов и долларов на двести золотой и серебряной монеты.

Во время этой церемонии Стампи хранил такое же бесстрастное молчание, как и тело, лежавшее слева от него, такую же нерушимую серьезность, как и новорожденный, лежавший справа. Порядок этой странной процессии был нарушен только раз. Когда Кентукки с любопытством заглянул в свечной ящик, ребенок повернулся, судорожно схватил его за палец и секунду не выпускал из рук. Кентукки стоял с глуповатым и смущенным видом. Что-то вроде румянца появилось на его обветренных щеках.

— Ах ты, чертенок проклятый! — сказал он и высвободил палец таким нежным и осторожным движением, какого от него трудно было ожидать.

Выходя из хижины, он оттопырил этот палец и недоуменно осмотрел его со всех сторон. Осмотр вызвал тот же своеобразный комплимент по адресу ребенка. Кентукки как будто доставляло удовольствие повторять эти слова.

— Ухватил меня за палец,— сказал он Сэнди Типтону.— Ах ты, чертенок проклятый!

Только в пятом часу утра Ревущий Стан отправился на покой. В хижине, где остались бодрствовать несколько человек, горел свет. Стампи в эту ночь не ложился. Не спал и Кентукки. Он много пил и со вкусом рассказывал о происшествии, неизменно заключая свой рассказ проклятием по адресу нового обитателя Ревущего Стана. Оно как будто предохраняло его от несправедливых обвинений в чувствительности, а у Кентукки были некоторые слабости, украшающие более благородную половину рода человеческого. Когда все улеглись спать, Кентукки, задумчиво посвистывая, спустился к реке. Потом, все еще посвистывая, поднялся по ущелью мимо хижины. Дойдя до гигантской секвойи, он остановился, повернул обратно и снова прошел мимо хижины. На полпути к берегу он опять остановился, опять повернул обратно и постучал в дверь. Ему открыл Стампи.

— Ну, как дела? — спросил Кентукки, глядя мимо Стампи на свечной ящик.

— Все в порядке,— ответил тот.

— Ничего нового?

— Ничего.

Наступило молчание — довольно неловкое. Стампи по-прежнему придерживал дверь. Тогда Кентукки, решив прибегнуть к помощи все того же пальца, протянул вперед руку.

— Ведь ухватился за него, чертенок проклятый!— сказал он и пошел прочь.

На следующий день Ревущий Стан в соответствии со своими возможностями устроил черокийке Сэл скромные проводы. После того как ее тело было предано земле на склоне горы, весь поселок собрался на обсуждение вопроса, что делать с ребенком. Решение усыновить его было принято единогласно и с большим подъемом. Однако сейчас же вслед за тем разгорелись споры относительно способов и возможностей удовлетворить потребности приемыша. Интересно отметить, что в прениях совершенно не было слышно ядовитых личных намеков и грубостей, без чего раньше не обходился ни один спор в Ревущем Стане. Типтон предложил отправить ребенка в поселок Рыжая Собака — за сорок миль, где можно будет поручить его женским заботам. Но эту неудачную мысль встретили единодушным и яростным возмущением. Было ясно, что участники собрания не примут никакого плана, который грозит им разлукой с их новым приобретением.

— Не говоря уж обо всем прочем,— сказал Том Райдер,— надо и о том подумать, что этот сброд в Рыжей Собаке наверняка подменит его и потом всучит нам другого.— Неверие в порядочность соседних поселков было так же распространено в Ревущем Стане, как и в других местах.

Предложение допустить в поселок кормилицу тоже встретили неодобрительно. Кто-то из ораторов заявил, что ни одна порядочная женщина не согласится жить в Ревущем Стане, «а другого сорта нам не нужно — хватит!». Этот намек на покойницу мать, хоть и весьма язвительный, был первым порывом благопристойности — первым признаком морального возрождения Ревущего

Стана. Стампи не принимал участия в спорах. Может быть, чувство деликатности не позволяло ему вмешиваться в выборы своего преемника по должности. Но когда к нему обратились с вопросом, он решительно заявил, что они с Джинни — это было млекопитающее, о котором упоминалось выше,— как-нибудь вырастят ребенка. В этом плане были оригинальность, независимость и героизм, пленившие поселок. Стампи остался на своем посту. В Сакраменто послали за кое-какими покупками.

— Смотри,— сказал казначей, вручая посланцу мешок с золотым песком,— брать все самое лучшее, чтобы там с кружевами, с вышивкой, с рюшками — плевать на расходы!

Как ни странно, ребенок благоденствовал. Возможно, живительный горный климат возмещал ему многие лишения. Природа приняла найденыша на свою могучую грудь. В прекрасном воздухе Сьерры, воздухе, полном бальзамических ароматов, бодрящем и укрепляющем, как лечебное снадобье, он нашел для себя пищу, или, может быть, некое вещество, которое превращало молоко ослицы в известь и фосфор. Стампи склонялся к убеждению, что все дело в фосфоре и в хорошем уходе.

— Я да ослица,—говорил он,—мы для него все равно что отец с матерью! — И добавлял, обращаясь к беспомощному комочку: — Смотри, брат, не вздумай потом отречься от нас!

Когда ребенку исполнился месяц, необходимость дать ему имя стала совершенно очевидной. До сих пор его называли то «Малышом», то «приемышем Стампи», то «Койотом» (намек на его голосовые данные); применяли и ласкательное прозвище, пущенное в ход Кентукки: «Чертенок проклятый». Но все это казалось неопределенным, недостаточно выразительным и наконец было отброшено под влиянием некоторых обстоятельств.

Игроки и авантюристы — люди большей частью суеверные. В один прекрасный день Окхерст заявил, что младенец принес Ревущему Стану счастье. Действительно, за последнее время жителям его здорово везло. Решили так и назвать ребенка Счастьем, а для большего удобства присовокупили к прозвищу имя Томми.

О матери его при этом никто не упомянул, отец же был неизвестен.

— Самое верное дело — начать новый кон,— сказал Окхерст (у него был философский склад ума).— Назовем малыша Счастьем и с этим и пустим его в жизнь.

Назначили день крестин. Читатель, имеющий уже некоторое понятие о бесшабашной нечестивости Ревущего Стана, может вообразить, что должна была представлять собой эта церемония. Церемониймейстером избрали некоего Бостона, известного остряка, и все предвкушали, что на предстоящем торжестве можно будет здорово поразвлечься. Изобретательный юморист потратил два дня на подготовку пародии на церковный обряд и снабдил ее язвительными намеками на присутствующих. Обучили хор, роль крестного отца поручили Сэнди Типтону. Но, когда процессия с флажками и музыкой проследовала к роще и ребенка положили у некоего подобия алтаря, перед насторожившейся толпой вырос Стампи.

— Не в моих обычаях портить веселье, друзья,— сказал этот маленький человечек, решительно глядя прямо перед собой,—но, сдается мне, мы поступаем не по-честному. Зачем затевать комедию, когда мальчишка еще и шуток не понимает? А уж если здесь и крестный отец намечается, то хотел бы я знать, у кого на это больше прав, чем у меня! — Слова Стампи были встречены молчанием. К чести всех юмористов, надо сказать, что автор пародии первым признал справедливость этих слов, хотя они и принесли ему разочарование.— Однако,— быстро продолжал Стампи, чувствуя, что успех на его стороне,— мы собрались на крестины, и крестины состоятся. Согласно законам Соединенных Штатов и штата Калифорния и с помощью божией нарекаю тебя Томасом-Счастьем.

В первый раз имя божие произносилось в поселке без кощунства. Обряд крещения был настолько нелеп, что вряд ли даже сам юморист мог придумать что-нибудь подобное. Но, как ни странно, никто этого не замечал, никто не смеялся. Томми окрестили с полной серьезностью, точно обряд совершался под кровом церкви; он плакал, и его утешали, как полагается.

Так началось возрождение Ревущего Стана. Перемены происходили в нем почти незаметно. Прежде всего пре-

образилась хижина, отведенная Томми-Счастью, или просто Счастью, как его чаще звали. Ее тщательно вычистили и побелили. Потом настлали пол, повесили занавески, оклеили стены обоями. Колыбель палисандрового дерева, которую везли восемьдесят миль на муле, по выражению Стампи, «забила всю остальную мебель». Поэтому понадобилось поддержать честь прочей обстановки. Посетители, заходившие к Стампи справляться, «как идут дела у Счастья», относились к этим переменам одобрительно, а конкурирующее заведение, «Бакалея Татла», раскачалось и в целях самозащиты обзавелось ковром и зеркалами. Отражения, появлявшиеся в этих зеркалах, привили Ревущему Стану более строгие понятия о чистоплотности, тем паче что Стампи подвергал чему-то вроде карантина всех, кто домогался чести и привилегии подержать Счастье на руках. Лишение этой привилегии глубоко уязвило Кентукки, хотя оно было вызвано соображениями весьма разумного порядка, ибо он, со свойственной широким натурам небрежностью и в силу бродяжнических привычек, смотрел на одежду как на вторую кожу, которая, точно у змеи, должна истлеть, прежде чем человек от нее избавится. Но влияние всех этих новшеств, хоть и неуловимое, было так сильно, что впоследствии Кентукки каждый день появлялся в чистой рубашке и с лицом, лоснящимся от омовений. Не пренебрегали и моралью и другими законами общежития. Томми, вся жизнь которого, по общему мнению, протекала в непрестанных попытках отойти ко сну, должен был наслаждаться тишиной. Крики и вопли, вследствие коих поселок получил свое злосчастное прозвище, вблизи хижины запрещались. Люди говорили шепотом или с важностью индейцев покуривали трубки. По молчаливому соглашению ругань была изгнана из этих священных пределов, а такие выражения, как, например, «тут счастья днем с огнем не сыщешь» или «нет и нет счастья, пропади оно пропадом», совсем перестали употребляться в поселке, ибо в них теперь слышался намек на определенную личность. Вокальная музыка не возбранялась, поскольку ей приписывали смягчающее и успокаивающее действие, а одна песенка, которую исполнял английский моряк по кличке Джек Матрос, каторжник из австралийских колоний ее ве-

личества, пользовалась особенной популярностью в качестве колыбельной. Это была мрачная, в унылом миноре, повесть о семидесятичетырехпушечном корабле «Аретуза». Каждый куплет ее заканчивался протяжным, замирающим припевом: «На борту-у-у Арету-у-зы». Надо было видеть это зрелище, когда Джек держал Счастье на руках и, покачиваясь из стороны в сторону, будто в такт движению корабля, напевал свою матросскую песенку! То ли от мерного покачивания Джека, то ли от длины песни—в ней было девяносто куплетов, которые певец добросовестно доводил до грустного конца,— но колыбельная всегда производила желательное действие. Упиваясь этими песнопениями в мягких летних сумерках, обитатели поселка обычно лежали, растянувшись во весь рост, под деревьями и покуривали трубки. Неясное ощущение идиллического блаженства реяло над Ревущим Станом.

— Прямо как в раю,—говорил Англичанин Симмонс, задумчиво подпирая голову рукой. Это напоминало ему Гринвич.

В длинные летние дни Томми-Счастье уносили к ущелью, где Ревущий Стан пополнял свои золотые запасы. Там он лежал на одеяле, постланном поверх сосновых веток, а внизу, в канавах, шла работа. Потом кое-кто стал делать неловкие попытки убрать это уединенное местечко цветами и душистыми травами—Томми приносили азалии, дикую жимолость, тигровые лилии. Жителям поселка вдруг открылась красота и ценность этих пустяков, которые они столько лет равнодушно попирали ногами. Пластинка блестящей слюды, кусочки разноцветного кварца, яркий камешек со дна реки обрели прелесть для прояснившихся, тверже смотревших глаз и приберегались в подарок Счастью. Просто чудо, сколько сокровищ давали леса и горные склоны — сокровищ, которые были «в самый раз нашему Томми». Надо полагать, что маленький Томми, окруженный игрушками, невиданными даже в сказочной стране, не мог пожаловаться на свою жизнь. Вид у малыша был безмятежно-счастливый, хотя ребяческая важность и задумчивый взгляд его круглых серых глаз по временам тревожили Стампи. Томми был всегда послушным и тихим, но однажды с ним произошел такой случай: выбравшись за пределы своего

«корраля» — загородки из перевитых сосновых веток,— он ткнулся головой в мягкую землю и, с невозмутимой серьезностью задрав ножки кверху, пробыл в таком положении добрых пять минут. Когда его подняли, он даже не пискнул. Я не решаюсь приводить здесь многие другие доказательства ума Томми, ибо они основываются только на пристрастных свидетельствах его друзей. Кроме того, часть этих рассказов не свободна от некоторого привкуса суеверия.

— Лезу я сейчас вверх по склону,— рассказывал както Кентукки, еле переводя дух от восторга,— и — вот провалиться мне на этом месте! — сидит у него на коленях сойка, и он с ней разговаривает. Болтают за милую душу, воркуют оба, что твои херувимчики!

Как бы то ни было, но, выбирался ли Томми за ограду из сосновых веток, лежал ли безмятежно на спине, глядя на листву над головой, ему пели птицы, для него цокала белка, для него распускались цветы. Природа была его нянькой и товарищем его игр. Ему она протягивала сквозь ветви золотые солнечные стрелы — дотянись и схвати их! — ему слала легкий ветерок, приносивший с собой запах лавра и смолы; для него дружески и словно в дремоте покачивали вершинами высокие деревья, жужжали шмели, и засыпал он под карканье грачей.

Такова была золотая пора Ревущего Стана. В те горячие денечки счастье играло в руку его обитателям. Заявки давали уйму золота. Поселок ревниво оберегал свои права и подозрительно посматривал на чужаков, иммиграция не поощрялась, и, чтобы еще больше отгородиться от внешнего мира, обитатели Ревущего Стана закрепили за собой участки по обе стороны гор, стеной окружавших долину. Это обстоятельство плюс репутация, которую заслужил Ревущий Стан благодаря своему искусству обращаться с огнестрельным оружием, сохраняли нерушимость его границ. Почтальон — единственное звено, соединявшее поселок с окружающим миром,— нередко рассказывал о нем чудеса. Он говорил:

— В Ревущем провели такую улицу! Куда там Рыжей Собаке! Вокруг домов у них насажены цветы, по стенам вьется плющ, моются они по два раза на дню. Но чужаку туда лучше носа не совать. А поклоняются они индейскому мальчишке.

Вместе с процветанием появилась и потребность в дальнейших усовершенствованиях. Было предложено выстроить весной гостиницу и пригласить на постоянное жительство два-три почтенных семейства, с расчетом, что Счастью пойдет на пользу женское общество. Столь серьезную уступку, сделанную этими людьми, весьма скептически взиравшими на добродетель и полезность прекрасного пола, можно объяснить только любовью к Томми. Кое-кто восставал против такой жертвы. Но план этот нельзя было осуществить раньше чем через три месяца, и меньшинство покорилось, в надежде, что какие-нибудь непредвиденные обстоятельства помешают задуманному. Так оно и вышло.

Зима 1851 года долго будет памятна у подножия этих гор. На Сьерре выпал глубокий снег, и каждый горный ручеек превратился в реку, каждая река — в озеро. Ущелья наполнились бурными потоками, которые с корнем выдирали на своем пути громадные деревья, разносили плавник и камни по всей долине. Рыжую Собаку заливало уже дважды, и Ревущий Стан получил предостережение.

— Вода намывает золото в ущелья,— сказал Стампи.— Всегда так было, и так будет!

И в эту ночь Северный Рукав вдруг вышел из берегов и разлился по всему треугольнику Ревущего Стана.

В хаосе бурлящей воды, падающих деревьев, треска ветвей и тьмы, которая словно неслась вместе с водой и заливала прекрасную долину, трудно было отыскать жителей разрушенного поселка. Когда наступило утро, хижины Стампи, ближайшей к реке, на месте не оказалось. Выше по ущелью нашли тело ее незадачливого хозяина. Но гордость, надежда, радость, Счастье Ревущего Стана исчезло бесследно. Люди, вышедшие на его поиски, с тяжелым сердцем брели вдоль реки, как вдруг кто-то окликнул их. Окрик шел из спасательной лодки, плывшей вниз по течению. Она подобрала в двух милях отсюда мужчину и ребенка — обоих без признаков жизни. Кто-нибудь знает их? Они здешние?

Достаточно было одного взгляда, чтобы узнать Кентукки, обезображенного, искалеченного, но все еще прижимающего к груди Счастье Ревущего Стана. Склонив-

шись над этой странной парой, люди увидели, что ребенок уже похолодел и пульс у него не бьется.

— Умер,— сказал кто-то.

Кентукки открыл глаза.

— Умер? — чуть слышно проговорил он.

— Да, друг, и ты тоже умираешь.

Улыбка промелькнула в угасающих глазах Кентукки.

— Умираю,— повторил он.— Иду следом за ним. Скажите всем, что теперь Счастье всегда будет со мной.

И взрослого, сильного человека, хватающегося за хрупкое тело ребенка, как утопающий хватается за соломинку, унесла призрачная река, которая вечно катит свои волны в неведомое нам море.

ИЗГНАННИКИ ПОКЕР-ФЛЕТА

Мистер Джон Окхерст, игрок по профессии, выйдя на главную улицу Покер-Флета утром 23 ноября 1850 года, почувствовал, что со вчерашнего вечера моральная атмосфера поселка изменилась. Два-три человека, оживленно беседовавших между собой, замолчали, когда он подошел ближе, и обменялись многозначительными взглядами. В воздухе стояла воскресная тишина, не предвещавшая ничего хорошего в поселке, который до сих пор не поддавался никаким воскресным влияниям.

На красивом, спокойном лице мистера Окхерста нельзя было заметить почти никакого интереса к этим явлениям. Другой вопрос, понимал ли он, какова их причина. «Похоже, что они на кого-то ополчились,— размышлял он,— уж не на меня ли?» Он сунул в карман носовой платок, которым сбивал красную пыль Покер-Флета со своих изящных ботинок, и не стал утруждать себя дальнейшими предположениями.

В самом деле, Покер-Флет «ополчился». За последнее время он понес тяжелые утраты: потерял несколько тысяч долларов, двух породистых лошадей и одного почтенного гражданина. Теперь поселок переживал возврат к добродетели, столь же необузданный и беззаконный, как и те деяния, которые его вызвали. Тайный комитет постановил очистить поселок от всех сомнительных личностей. Были приняты решительные меры постоянного характера по отношению к двум гражданам, которые уже висели на ветвях дикой смоковницы в ущелье, и меры временного порядка: из поселка изгонялись неко-

торые другие личности предосудительного поведения. К сожалению, я не могу умолчать о том, что в числе их были дамы. Однако, отдавая должное прекрасному полу, следует сказать, что предосудительность поведения этих дам носила профессиональный характер. Покер-Флет отваживался осуждать только явные проявления порока.

Мистер Окхерст не ошибся, предполагая, что попал в категорию осужденных. Некоторые члены комитета требовали, чтобы он был повешен,— это послужило бы примером, а также верным средством извлечь из его карманов деньги, которые он у них выиграл.

— Нечестно будет, если этот молодой человек из Ревущего Стана, совсем посторонний, увезет с собой наши денежки,— говорил Джим Уилер.

Однако элементарное чувство справедливости, не чуждое сердцам людей, которым случалось иногда обыгрывать мистера Окхерста, одержало верх над этим мнением.

Мистер Окхерст отнесся к приговору с философским спокойствием, тем более что он знал о колебаниях судей. Игрок по натуре, он не мог не покориться судьбе. Жизнь для него была в лучшем случае азартной игрой, исход которой неизвестен, и он не возражал против того, что банкомет всегда пользуется некоторым преимуществом.

Отряд вооруженных людей провожал изгоняемый порок до границы поселка. Кроме мистера Окхерста, который был известен как человек хладнокровный и решительный (вооруженный конвой предназначался для его устрашения), среди изгнанников была молодая женщина, известная в своем кругу под именем Герцогини, ее подруга, носившая прозвище матушки Шиптон, и дядя Билли, явный пьяница, подозреваемый в краже золотого песка из желобов. Кавалькада не вызвала никаких толков со стороны зрителей, конвоиры тоже молчали. И только когда доехали до ущелья, служившего рубежом Покер-Флета, начальник конвоя высказался кратко и недвусмысленно. Изгнанникам было запрещено возвращаться в поселок под страхом смерти.

Когда конвоиры скрылись из виду, подавленные чувства изгнанников нашли выход в истерических слезах Герцогини, в брани матушки Шиптон и в целом потоке

ядовитых ругательств со стороны дядюшки Билли. Один философски настроенный Окхерст не проронил ни слова. Он спокойно слушал, как матушка Шиптон грозилась выцарапать кому-то глаза, Герцогиня без конца повторяла, что умрет в пути, а дядюшка Билли сыпал проклятиями, словно их вытряхивала из него неровная тропа. С непринужденной любезностью, свойственной его профессии, Окхерст настоял на том, чтобы Герцогиня пересела со своего убогого мула на его лошадь — Пятерку. Но даже это не сблизило путников. Молодая женщина с жалким кокетством поправила свой затасканный наряд. Матушка Шиптон недоброжелательно покосилась на владельца Пятерки, а дядюшка Билли предал анафеме всю компанию разом.

Путь на Сэнди-Бар, поселок, которого еще не коснулось нравственное возрождение Покер-Флета и который поэтому казался изгнанникам гостеприимнее других, проходил через отвесный горный кряж. До поселка был целый день тяжелого пути. Стояла поздняя осень, и путники скоро выбрались из влажного, умеренного климата предгорий в сухой, холодный, бодрящий воздух Сьерры. Тропа была узкая и неудобная. В полдень Герцогиня, скатившись с седла на землю, объявила, что дальше ехать не намерена, и путники остановились.

Местность была необыкновенно дикая и живописная. Лесистый амфитеатр, окруженный с трех сторон отвесными гранитными утесами, полого спускался к краю обрыва, нависшего над долиной. Без сомнения, это было самое подходящее место для лагеря, если бы время позволяло остановиться. Но мистер Окхерст знал, что они не проехали и половины пути до Сэнди-Бара, что у них нет ни запасов, ни теплой одежды и мешкать в пути нельзя. Он кратко указал на это обстоятельство своим товарищам, философически заметив при этом, что «глупо бросать карты раньше, чем кончилась игра». Но у них было виски, которое в крайнем случае могло заменить пищу, топливо, отдых и способность предвидеть будущее. Несмотря на протесты мистера Окхерста, все очень скоро оказались под влиянием винных паров. Дядюшка Билли быстро перешел от воинственного задора к отупению, Герцогиня ударилась в слезы, а матушка Шиптон захрапела. Один мистер Окхерст оставался на ногах и, при-

слонившись к скале, спокойно наблюдал за своими спутниками.

Мистер Окхерст совсем не пил. Вино помешало бы его профессиональным занятиям, которые требовали спокойствия, хладнокровия и присутствия духа; по его словам, он не мог себе позволить такой роскоши. Глядя на заснувших товарищей по изгнанию, он впервые почувствовал гнет одиночества, неразлучного с ремеслом отверженного, с укладом его жизни, с ее порочностью. Он занялся чисткой своего черного костюма, умыванием и другими делами, свидетельствовавшими о его тщательной опрятности, и на минуту забыл свою тревогу. У него не было и мысли бросить более слабых и жалких спутников. Однако он не мог не почувствовать, что ему недостает того внутреннего возбуждения, которое, как ни странно, больше всего помогало ему быть невозмутимо хладнокровным. Он посмотрел кругом, на угрюмые утесы, высившиеся над полукругом сосен отвесной стеной в тысячу футов, на зловещее, хмурое небо, на долину, в глубине которой уже сгущался мрак. Вдруг он услышал, что его окликнули по имени.

В гору медленно поднимался всадник. По свежему, открытому лицу мистер Окхерст узнал Тома Симсона из Сэнди-Бара, иначе именуемого Простаком. Несколько месяцев назад мистер Окхерст познакомился с ним за «маленькой партией» и, не моргнув глазом, выиграл у бесхитростного юнца все его состояние, достигавшее сорока долларов. Когда партия была окончена, мистер Окхерст отвел юного игрока за дверь и обратился к нему с такими словами:

— Томми, ты славный малый, но в картах ни черта не смыслишь. Лучше не садись.

Он отдал ему деньги, тихонько вытолкнул его из комнаты и приобрел в лице Тома Симсона преданного раба.

Воспоминания об этом происшествии слышались в мальчишески восторженном приветствии, обращенном к мистеру Окхерсту. По словам Тома, он направлялся в Покер-Флет искать счастья.

— Один?

Нет, не совсем один; по правде сказать (тут он хихикнул), он удрал с Пайни Вудс. Неужели мистер Окхерст

не помнит Пайни? Она прислуживала за столом в Обществе трезвости. Они давно уже обручились, только старик Вудс никак не соглашался, и потому они решили бежать в Покер-Флет и там обвенчаться — вот и все. И они совсем выбились из сил, просто счастье, что нашлось местечко, где можно отдохнуть, и подходящее общество. Все это Простак выпалил единым духом, а Пайни, пухленькая миловидная девица лет пятнадцати, вся красная от стыда, показалась из-за сосны, где она пряталась, и подъехала к своему возлюбленному.

Мистера Окхерста редко смущали сантименты, еще реже приличия, но тут он смутно почувствовал, что положение неловкое. Тем не менее он настолько сохранил присутствие духа, что пнул ногой дядюшку Билли, который собирался что-то сказать, а тот был еще настолько трезв, что признал в пинке мистера Окхерста высшую силу, которая не терпит шуток. Он безуспешно пытался уговорить Тома Симсона ехать дальше, доказывая ему, что здесь нет ни провизии, ни места для ночлега. К несчастью, Простак в ответ на это возражение показал запасного мула, нагруженного провизией, и тут же нашел грубо сколоченный бревенчатый домик недалеко от тропы.

— Пайни может побыть с миссис Окхерст,— сказал Простак, кивая на Герцогиню,— а я уж как-нибудь устроюсь.

Только предостерегающий пинок мистера Окхерста помешал дядюшке Билли разразиться хохотом. Ему пришлось пойти прогуляться вверх по ущелью, чтобы снова настроиться на серьезный лад. Там он поделился своим весельем с соснами, без конца хлопал себя по ляжке, корчил рожи от смеха и по привычке сыпал проклятиями. Когда он вернулся к своим спутникам, в воздухе сильно похолодало, а небо нахмурилось, и все сидели у костра, по-видимому, дружески беседуя. В самом деле, Пайни по-девически живо болтала с Герцогиней, которая слушала ее внимательно и с интересом, какого давно уже ни к кому не проявляла. Простак не менее оживленно беседовал с мистером Окхерстом и с матушкой Шиптон, которая оттаяла и была чуть ли не любезна.

— Это еще что за пикник? — сказал дядюшка Билли с искренним презрением, оглядывая живописную группу,

пылающий костер и стреноженных животных на переднем плане.

Вдруг в его голове, отуманенной винными парами, зашевелилась некая мысль. Как видно, эта мысль была несколько игривого характера, потому что он опять хлопнул себя по ляжке и засунул кулак в рот.

Тени медленно ползли вверх по горе, легкий ветер раскачивал верхушки сосен и стонал в их сумрачной, уходящей вдаль колоннаде. Развалившуюся сторожку кое-как привели в порядок, покрыли сосновыми ветвями и отдали дамам. При расставании влюбленные без смущения обменялись поцелуем, таким простодушным и искренним, что его можно было расслышать даже над качающимися соснами. Легкомысленная Герцогиня и ехидная матушка Шиптон, по-видимому, были настолько поражены таким простодушием, что, не сказав по этому поводу ни слова, отправились ко сну. В костер подбросили сучьев, мужчины легли перед дверью сторожки и через несколько минут заснули.

Мистер Окхерст всегда спал чутко. Под утро он проснулся, закоченев от холода. Он поправлял потухающий костер, когда ветер, подув с новой силой, принес нечто такое, что, коснувшись его лица, заставило отхлынуть от щек всю кровь,— снег!

Он вскочил на ноги, намереваясь разбудить спящих: нельзя было терять ни минуты. Но когда он повернулся к тому месту, где вчера лежал дядюшка Билли, оказалось, что тот исчез. В голове у Окхерста мелькнуло подозрение, проклятие едва не сорвалось с его губ. Он кинулся туда, где были привязаны мулы: их уже не было. Следы быстро заметало снегом.

Преодолев минутное волнение, мистер Окхерст с обычным спокойствием вернулся к костру. Он не стал будить спящих. Простак мирно покоился с улыбкой на добродушном веснушчатом лице; невинная Пайни спала рядом со своими грешными сестрами, словно под охраной ангелов небесных, и мистер Окхерст, натянув одеяло на плечи, расправил усы и стал ждать рассвета. Рассвет пришел в вихре снежных хлопьев, которые слепили и туманили глаза. Пейзаж, насколько его можно было рассмотреть, изменился, словно по волшебству. Мистер Окхерст

посмотрел в долину и подвел итог настоящему и будущему в двух словах: «Дорогу занесло!»

Точно рассчитав запасы провизии, которая, к счастью для изгнанников, была сложена в сторонке и таким образом ускользнула от воровских рук дядюшки Билли, они нашли, что при некоторой осторожности и благоразумии можно продержаться еще десять дней.

— Это в том случае, если вы согласитесь нас кормить,— вполголоса сказал мистер Окхерст Простаку.— Если нет — и, может быть, вам лучше не соглашаться,— мы подождем, пока дядюшка Билли вернется с провизией.

По какой-то непостижимой причине мистер Окхерст не решился разоблачить подлость дядюшки Билли и поэтому высказал предположение, что тот ушел в поселок и случайно спугнул мулов. Он предупредил Герцогиню и матушку Шиптон, которые, конечно, понимали, почему удрал их компаньон.

— Если они узнают об этом, так поймут, что мы за люди,— прибавил он внушительно,— а пока незачем их пугать.

Том Симсон не только предоставил все свои запасы в распоряжение мистера Окхерста, но даже радовался вынужденному уединению.

— Пробудем здесь в лагере с неделю, а потом снег растает, и мы вместе вернемся обратно.

Жизнерадостность Тома Симсона и спокойствие мистера Окхерста заразили других. Простак покрыл сосновыми сучьями стоявший без крыши сруб, а Герцогиня с таким вкусом и тактом руководила Пайни, когда они приводили в порядок хижину, что синие глаза наивной девочки раскрывались все шире и шире.

— Вы, наверно, привыкли к роскоши у себя в Покер-Флете,— заметила Пайни.

Герцогиня резко отвернулась, чтобы скрыть краску, проступившую сквозь профессиональные румяна, а матушка Шиптон попросила Пайни «не болтать зря». Мистер Окхерст, вернувшись после безуспешных поисков тропы, услышал, как горное эхо повторяло счастливый смех. Он остановился в тревоге, и мысль его, естественно, обратилась к виски, которое он из осторожности припрятал.

— Однако на виски это мало похоже,—сказал игрок. И только разглядев сквозь слепящий снежный вихрь пламя костра и людей, сидящих вокруг, он успокоился, убедившись, что «они попросту веселятся».

Спрятал ли мистер Окхерст свои карты вместе с виски как нечто запретное для данного общества, не могу сказать. Верно только то, что за весь вечер он, по словам матушки Шиптон, «ни разу не помянул про карты». К счастью, время помог скоротать аккордеон, который Том Симсон не без гордости достал из своего вьюка. Преодолев некоторые трудности в обращении с этим инструментом, Пайни Вудс ухитрилась извлечь из неподатливых клавиш кое-какие мелодии под аккомпанемент кастаньет, которыми орудовал Простак. Но венцом праздничного вечера был непритязательный гимн, который с большим воодушевлением пропела влюбленная пара, взявшись за руки. Боюсь, что не благочестие, а скорее вызов, звучавший в гимне, и пуритански суровый ритм припева заставили других быстро подхватить слова:

Я горжусь служением господу
И умру в рядах его воинства.

Сосны качались, вьюга кружилась и плясала над бедными изгнанниками, а пламя на их алтаре высоко взметалось к небу, словно подтверждая данный ими обет.

К полуночи вьюга утихла, быстро мчащиеся тучи рассеялись, и над уснувшим лагерем ярко заблистали звезды. Мистер Окхерст по роду своих занятий привык обходиться минимальными дозами сна и, деля вахту с Томом Симсоном, взял на себя львиную долю этой обязанности. В свое оправдание он сказал Простаку, что «иногда неделями не ложится спать».

— Из-за чего? — спросил Том.

— Из-за покера,— назидательно отвечал мистер Окхерст.—Когда человеку везет как утопленнику, он не чувствует усталости. Сначала уходит счастье. Странная это штука — счастье,— задумчиво продолжал игрок.— Наверняка знаешь о нем только то, что оно должно изменить. Настоящий игрок тот, кто чувствует, когда счастье уходит. Нам не везет с тех пор, как мы уехали из Покер-Флета, а тут вы подвернулись, вот и вам тоже не

повезло. Если выдержишь до конца, не бросишь карт, тогда все в порядке. Потому что,— прибавил он шутливо,—

Я горжусь служением господу
И умру в рядах его воинства.

Наступил третий день, и солнце, заглянув под белый полог, застлавший долину, увидело, что изгнанники делят на завтрак мало-помалу убывающие запасы. Одна из особенностей горного климата заключается в том, что солнечные лучи придают зимнему пейзажу мягкую теплоту, словно выражая сожаление о прошлых днях. Солнце осветило снежные сугробы, вздымавшиеся вокруг хижины,— неведомое, грозящее гибелью, непроходимое белое море расстилалось под скалистыми берегами, к которым все еще льнули потерпевшие крушение. В изумительно прозрачном воздухе много миль отсюда поднимался идиллический дымок поселка Покер-Флет. Матушка Шиптон разглядела его и с отдаленных вершин своей скалистой крепости метнула в ту сторону выразительное проклятие. Это была ее последняя попытка выбраниться, что, может быть, и придало брани возвышенный характер. После этого ей стало легче, как сообщила она по секрету Герцогине.

— Поди туда и ругнись хорошенько, сама увидишь.

Потом она взяла на себя обязанность развлекать «деточку», как им с Герцогиней нравилось называть Пайни. Пайни была отнюдь не птенчик, но это оригинальное и утешительное прозвище объясняло, почему Пайни не бранится и держится скромно.

Когда из ущелий снова подкралась ночь, у тлеющего костра раздались пронзительные звуки аккордеона, то судорожно-короткие, то долгие и постепенно замирающие. Но музыка не могла заполнить мучительную пустоту в желудке, и Пайни предложила новое развлечение — рассказывать что-нибудь. Ни у мистера Окхерста, ни у его спутниц не было охоты рассказывать о своих приключениях, и этот план тоже потерпел бы неудачу, если бы не Простак. Несколько месяцев назад ему случайно попала в руки «Илиада» в остроумном переводе Попа. Прекрасно усвоив фабулу и совершенно забыв слова, он изложил им основные события «Илиады» на ходячем жар-

гоне Сэнди-Бара. И вот в этот вечер гомеровские полубоги снова сошли на землю. Забияка-троянец и коварный грек под шум ветра снова вступили в бой, и высокие сосны ущелья, казалось, склонились перед гневом Пелеева сына. Мистер Окхерст слушал с удовольствием. Особенно заинтересовался он судьбой «Ухолеса» (так Простак упорно называл быстроногого Ахиллеса).

Так пролетела неделя над головами изгнанников: еды не хватало, зато Гомера и музыки было хоть отбавляй. Солнце опять их покинуло, и из свинцовых туч опять сеялись на землю снежные хлопья. С каждым днем все теснее смыкалось снеговое кольцо, и, наконец, выглянув из своей тюрьмы, они увидели над собой ослепительно белые стены сугробов в двадцать футов вышиной. Поддерживать огонь становилось все труднее и труднее, даже валежник поблизости теперь занесло снегом. И все же никто не жаловался. Влюбленные, не думая о печальном будущем, смотрели друг другу в глаза и были счастливы. Мистер Окхерст стоически примирился с неизбежным проигрышем. Герцогиня держалась бодрее прежнего и ухаживала за Пайни. Одна только матушка Шиптон, когда-то самая крепкая из них, слабела и таяла с каждым днем. На десятый день, в полночь, она подозвала к себе Окхерста.

— Я умираю,— сказала она ворчливым, но слабым голосом,— только не говори никому. Не буди детей. Возьми сверток у меня под головой и разверни.— Мистер Окхерст развернул. В нем были нетронутые порции матушки Шиптон за неделю.— Отдай это девочке,— сказала она, указывая на спящую Пайни.

— Вы заморили себя голодом,— сказал игрок.

— Вот именно,— ответила она ворчливо, снова легла и, повернувшись к стене, тихо скончалась.

Аккордеон и кости отложили на этот день в сторону, Гомер был забыт. Когда тело матушки Шиптон было предано снегу, мистер Окхерст отвел Простака в сторону и показал ему пару лыж, которые он смастерил из старого вьючного седла.

— Есть еще возможность ее спасти, один шанс из сотни,— сказал он, указывая на Пайни,— но этот шанс там,— прибавил он, указывая в сторону Покер-Флета.— Если тебе удастся добраться туда в два дня, она спасена.

— А вы? — спросил Том Симсон.

— Я останусь здесь,— кратко ответил игрок.

Влюбленные расстались после долгого поцелуя.

— Разве вы тоже уходите? — спросила Герцогиня, заметив, что мистер Окхерст собирается идти с Томом.

— Только до ущелья,— ответил он.

Вдруг он обернулся и поцеловал Герцогиню. Ее бледные щеки вспыхнули, а дрожащие руки опустились от изумления.

Настала ночь, а мистера Окхерста все не было. Эта ночь снова принесла с собой бурю и метель. Герцогиня, подбрасывая поленья в костер, увидела, что кто-то тайком уложил позади хижины столько дров, что их должно было хватить на несколько дней. На глазах у нее выступили слезы, но она скрыла их от Пайни.

Женщины спали мало. Утром, взглянув друг другу в лицо, они поняли, что им суждено. Обе молчали, но Пайни, взяв на себя роль более сильной, придвинулась ближе и обняла Герцогиню за талию. Так они просидели весь день. К вечеру вьюга бушевала, как никогда, и, раздвигая ограду сосен, врывалась в хижину.

К утру они были уже не в силах поддерживать огонь, и костер мало-помалу погас. Когда уголья почернели, Герцогиня крепче прижалась к Пайни и впервые нарушила молчание многих часов.

— Пайни, ты можешь молиться?

— Нет, милая,— просто ответила Пайни.

Герцогиня, сама не зная отчего, почувствовала облегчение и, положив голову на плечо Пайни, умолкла. Та, которая была моложе и чище, приютила голову грешной сестры на своей девической груди — так они и заснули.

Ветер утих, словно боясь их разбудить. Пушистые клочья, падая с длинных сосновых ветвей, слетали белокрылыми птицами и садились на спящих. Сквозь разорванные тучи луна смотрела на то, что было когда-то лагерем. Но все следы человека, все, что осталось от трудов земных, было скрыто под чистейшей пеленой, милосердно сброшенной с неба.

Они спали весь этот день и следующий, не проснувшись и тогда, когда безмолвие лагеря нарушили голоса и шаги. И когда чужие руки бережно смахнули снег с

побелевших лиц, на них застыло одинаково мирное выражение и нельзя было сказать, которая из них была грешница. Это признал даже закон Покер-Флета и не стал вмешиваться, оставив обеих женщин в объятиях друг друга.

А у входа в ущелье, на самой высокой сосне, нашли двойку треф, приколотую к коре охотничьим ножом. На ней было написано карандашом, твердым почерком:

♣

Под этим деревом
лежит тело
Джона Оккерста,
которому не повезло в игре
23 ноября 1850 года,
и он бросил карты
7 декабря 1850 года.

♣

Под снегом, бездыханный и окоченевший, с пулей в сердце и пистолетом в руке, такой же спокойный, как при жизни, лежал тот, кто был и самым сильным и самым слабым среди изгнанников Покер-Флета.

МИГГЛС

Нас было восемь человек, вместе с кучером. Последние шесть миль — считая с той минуты, как подскакиванье дилижанса на рытвинах все ухудшающейся дороги погубило очередную стихотворную цитату судьи,— никто из нас не проронил ни слова. Рослый человек, сидевший рядом с судьей, заснул, продев руку в раскачивающийся ремень и поникнув на нее головой; вся его обмякшая фигура приняла совершенно беспомощный вид, точно он повесился и веревку перерезали, когда было уже поздно. Француженка на заднем сиденье тоже дремала, но даже в полусне умудрялась сохранять изящество позы и, держа у лба носовой платок, прикрывала им лицо. Дама из Вирджиния-Сити, штат Невада, которая ехала с мужем, давно уже перестала быть сама собой, превратившись в охапку лент, вуалек, шалей и мехов. Кроме грохота колес да стука дождевых капель по крыше, ничего не было слышно. Но вот дилижанс остановился и до нас донеслись глухие звуки голосов. Наш кучер вел оживленный разговор с кем-то, кто стоял на дороге,— разговор, из которого сквозь шум бури до нас долетали такие обрывки: «мост снесло», «вода поднялась на двадцать футов», «проезда нет». Потом все стихло, и неизвестный прокричал нам свое последнее заклятие:

— Миггдс! Попытайте там!

Когда дилижанс медленно завернул, у нас перед глазами промелькнули передние лошади упряжки и всадник, сейчас же скрывшийся за дождевой завесой. И вот мы поехали к Миггдсу.

Но кто этот Миггдс и где он живет? Наш авторитет — судья — не мог припомнить такого человека, а он знал эти места вдоль и поперек. Пассажир из Невады решил, что Миггдс содержит гостиницу. Словом, нам было известно только одно: разлив преградил путь вверх и вниз по дороге, и Миггдс — сейчас наше единственное прибежище. Еще десять минут барахтанья в лужах извилистого узкого проселка, по которому дилижанс еле двигался,— и мы остановились у задвинутой на засов калитки в каменной ограде или стене футов восьми вышиной. Теперь уже не приходилось сомневаться, что Миггдс здесь и проживает и что никакой гостиницы этот Миггдс не содержит.

Кучер спрыгнул с козел и толкнул калитку. Она была заперта крепко-накрепко.

— Миггдс! Эй, Миггдс!

Молчание.

— Ми-и-ггдс! Эй ты, Миггдс! — продолжал кучер с возрастающей яростью.

— Миггдси! — воззвал и курьер.— Мигги! Мигг!

Но бесчувственный Миггдс по-прежнему не подавал голоса. Судья, ухитрившийся наконец опустить окно дилижанса, высунул голову наружу и разразился целым градом вопросов. Если бы на эти вопросы были даны ясные ответы, они, без сомнения, помогли бы разгадать тайну; однако кучер оставил их без внимания, сказав только, что если мы не хотим просидеть в дилижансе всю ночь, то надо вылезать и вместе с ним кликать Миггдса.

Мы вылезли и принялись взывать к Миггдсу, сначала хором, потом поодиночке. Когда возгласы наши смолкли, ирландец, ехавший на империале, крикнул: «Мейгелс!» — и все мы рассмеялись. Но кучер зашикал на нас.

Мы прислушались. К нашему величайшему изумлению, голоса, выкрикивавшие хором «Миггдс» и даже заключительное, сверхпрограммное «Мейгелс», повторились где-то за оградой.

— Поразительное эхо! — сказал судья.

— Поразительный прохвост, черт его побери! — рявкнул кучер.— Ну-ка, выходи, Миггдс, покажись! Чего струсил, Миггдс! — продолжал Юба Билл, приплясывая на месте от ярости.

— Миггдс! — отозвался все тот же голос из-за ограды.— Эй, Миггдс!

— Послушайте, почтеннейший! Мистер Мигейл! — крикнул судья, по мере сил сглаживая шероховатость этого имени.— Неужели вы способны отказать в гостеприимстве беззащитным женщинам, которые остались без крова в эту суровую ночь? Право же, дорогой сэр...— Но голос его потонул в криках «Миггдс, Миггдс!», завершившихся взрывом хохота.

Юба Билл решил действовать. Подняв с дороги тяжелый камень, он сбил калитку с петель и вместе с курьером прошел за ограду. Мы последовали за ними. Кругом было пусто. В сгущавшейся тьме мы разобрали, что находимся в саду,— нас обдало брызгами с залитых дождем розовых кустов перед длинной, несуразного вида деревянной постройкой.

— А вы знаете этого Миггдса? — спросил судья у Юбы Билла.

— Не знаю и знать не желаю,— отрезал Билл, считавший, что нелюбезный Миггдс наносит в его лице оскорбление компании дилижансов «Пионер».

— Однако, уважаемый...— запротестовал судья, вспомнив о наглухо запертой калитке.

— Послушайте-ка, сударь,— язвительнейшим тоном сказал Юба Билл,— может, вы вернетесь в дилижанс и посидите там, пока вас не отрекомендуют хозяину? А я войду.— И он распахнул дверь дома.

Длинная комната, освещенная из дальнего угла догорающими в широком очаге головешками; какие-то странные обои на стенах, причудливый узор их, мелькнувший в неверных отблесках огня; одинокая фигура в кресле у очага. Все это мы увидели, столпившись в дверях позади кучера и курьера.

— Здрасте! Это вы и будете Миггдс? — обратился Юба Билл к единственному обитателю комнаты.

Человек ничего не ответил, даже не шевельнулся. Разгневанный Юба Билл подошел ближе и посветил фонарем ему в лицо. Оно было преждевременно увядшее и морщинистое — лицо с большими глазами, полными той совершенно необъяснимой важности, которую мне приходилось наблюдать у сов. Взгляд этих больших глаз оста-

новился сначала на Билле, потом перешел на фонарь, и незнакомец бессмысленно уставился на его огонек.

Билл с усилием сдержал себя.

— Миггле! Вы что, оглохли? Только немым-то, сделайте одолжение, не прикидывайтесь! — И Юба Билл дернул неподвижную фигуру за плечо.

Как только он отнял руку, почтенный незнакомец, к нашему ужасу, сразу поник, став как будто вдвое меньше и превратившись в бесформенную охапку одежды.

— Вот оказия-то! — сказал Билл, смущенно поглядывая на нас и пятясь от кресла.

Тогда судья выступил вперед и с нашей помощью усадил это беспозвоночное существо в прежней позе. Мы послали Билла с фонарем на разведку около дома—должны же быть поблизости люди, которые присматривают за этим беспомощным человеком,—и столпились около очага. Тем временем судья, вновь обретший свой авторитетный тон и общительность, стал спиной к огню и обратился к нам, точно к присяжным, со следующей речью:

— Совершенно очевидно, что наш почтенный друг достиг того возраста, который Шекспир уподобляет «желтому, увядшему листу», или же он является жертвой преждевременного угасания всех своих духовных и физических сил. Если это тот самый Миггле...

Но тут его речь была прервана возгласами: «Миггле! Эй, Миггле! Миггле! Мигг!» Это имя повторялось на разные лады все тем же голосом, который мы слышали раньше.

Несколько секунд мы в тревоге смотрели друг на друга. Судья даже поспешил сойти со своего места, так как голос, казалось, шел у него из-за плеча. Однако источник этих звуков был скоро обнаружен: на полочке над очагом сидела большая сорока, погруженная теперь в гробовое молчание, что составляло странный контраст с ее недавней болтливостью. Не оставалось никаких сомнений, что ее-то голос мы и слышали на дороге. Значит, наш друг, сидевший в кресле, был неповинен в этой бесцеремонной выходке. Юба Билл, после безрезультатных поисков снова появившийся в комнате, нехотя выслушал это объяснение и по-прежнему подозрительно поглядывал на беспомощного инвалида. Биллу удалось обнаружить на дворе сарай; поставив туда лошадей, он

вернулся к нам, промокший до нитки и настроенный весьма скептически.

— Тут на десять миль вокруг ни живой души, кроме него. Он, прохвост, прекрасно это знает!

Но вскоре оказалось, что правда была на стороне большинства. Только Билл перестал ворчать, как мы услышали на крыльце быстрые шаги и шуршанье мокрой юбки. Дверь распахнулась настежь, и, сверкнув белоснежными зубами, с искоркой в карих глазах, без тени чопорности или смущения в комнату вошла молоденькая женщина. Она затворила за собой дверь и, с трудом переводя дух, прислонилась к ней спиной.

— Прошу прощения. Миггдс — это я.

Так вот кто такая Миггдс! Большеглазая молоденькая женщина с полной шейкой и стройным станом, женственность которого еще больше подчеркивало промокшее платье из грубой синей материи. Начиная с копны каштановых волос под мужской клеенчатой зюйдвесткой и кончая крохотными ножками, утопающими в тяжелых мужских сапогах,— все в ней было грациозно. Так вот кто такая Миггдс, и эта Миггдс смеется, глядя на нас, веселым, задорным, беззаботным смехом.

— Понимаете, в чем дело, друзья,— прерывающимся голосом заговорила Миггдс, прижимая к груди маленькую ручку и словно не замечая, что мы не находим слов от неожиданности, а Юба Билл, на лице которого появилось выражение ничем не объяснимого блаженства, стоит совсем обалдевший.— Понимаете, в чем дело: когда вы проезжали мимо нашего дома, я была мили за две отсюда. Думала, вы, может, завернете к нам, и всю дорогу бежала бегом — ведь, кроме Джима, здесь никого нет, и... и... ой, дышать нечем!

Сорвав с головы зюйдвестку, Миггдс словно невзначай обдала нас брызгами, поправила волосы, уронила при этом две шпильки, рассмеялась и, сев рядом с Биллом, сложила руки на коленях.

Судья первый пришел в себя и отпустил ей высокопарный комплимент.

— Будьте так добры, поднимите мои шпильки,— степенно проговорила Миггдс. Несколько пар рук с готовностью пришли в движение, и шпильки были возвращены их очаровательной владелице.

Миггдс прошла в другой конец комнаты и пристально вгляделась в лицо больного. Его глаза ответили ей таким взглядом, какого мы у него еще не примечали. Казалось, жизнь и мысль затеплились в этом изможденном лице. Миггдс опять рассмеялась — удивительно красноречив был ее смех — и снова блеснула в нашу сторону черными глазками и белоснежными зубами.

— Этот человек, пораженный тяжким недугом, это...— нерешительно начал судья.

— Это Джим,— сказала Миггдс.

— Ваш отец?

— Нет.

— Брат?

— Нет.

— Муж?

Миггдс метнула быстрый вызывающий взгляд в сторону двух наших спутниц, которые, как видно, не разделяли восторга мужчин, и повторила серьезным тоном:

— Нет, это Джим.

Наступило неловкое молчание. Наши спутницы ближе придвинулись друг к дружке, супруг невадской дамы с отсутствующим видом уставился на огонь, рослый пассажир погрузился в самосозерцание, видимо, надеясь обрести в эту трудную минуту моральную опору в глубинах собственной души. И вдруг тишину нарушил заразительный смех Миггдс.

— Слушайте! — живо сказала она.— Да вы, должно быть, проголодались! Кто мне поможет приготовить ужин?

В добровольцах недостатка не было. Не прошло и двух-трех минут, как Юба Билл, точно Калибан, уже таскал дрова для этой Миранды, курьер молол кофе на крыльце, на мою долю выпала ответственная задача нарезать копченую грудинку, а судья никого не оставлял без своих благодушных и пространных советов. И когда Миггдс с помощью того же судьи и нашего «палубного пассажира» — ирландца — накрыла на стол, пустив в дело всю посуду, какая была в доме, мы совсем развеселились наперекор дождю, стучавшему в окно, ветру, завывавшему в трубе, наперекор двум нашим дамам, которые перешептывались в углу, и сороке,

скрипучим голосом передразнивавшей их беседу. При свете яркого огня мы разглядели, что стены комнаты оклеены страницами из иллюстрированных журналов, подобранными с чисто женским вкусом и пониманием дела. Под мебель были приспособлены свечные и упаковочные ящики, покрытые веселеньким ситцем или шкурами. В качестве кресла, в котором лежал беспомощный Джим, был остроумно использован бочонок из-под муки. В убранстве этой длинной низкой комнаты чувствовались хозяйские заботы и даже любовь к прекрасному.

Ужин оказался чудом кулинарного искусства. Больше того, за столом главным образом благодаря редкому такту Миггдс не умолкал приятный разговор; взяв на себя обязанность направлять и поддерживать беседу, она сама задавала все вопросы с такой непринужденностью, что это исключало всякую возможность заподозрить ее в желании что-нибудь скрыть от нас. И мы говорили о себе, о своих намерениях, о путешествии, погоде, друг о друге — обо всем, кроме нашего хозяина и хозяйки. Надо признаться, что речь Миггдс не отличалась ни изысканностью, ни грамматической правильностью; по временам в ней проскальзывали словечки, употребление коих обычно считается привилегией нашего пола. Но когда Миггдс произносила их, ее глаза и зубы сверкали и комнату оглашал смех, ее смех — чистосердечный, простодушный, от которого словно все вокруг становилось лучше и чище.

Во время ужина за дверью вдруг послышался шорох, точно кто-то большой и неуклюжий терся о стену дома. Шорох сменили царапанье и сопение уже у самого порога.

— Это Хоакин,— сказала Миггдс в ответ на наши вопросительные взгляды.— Хотите взглянуть на него?

Не успели мы ответить, как она отворила дверь, и перед нами предстал медвежонок гризли, который немедленно поднялся на задние лапы, протянул передние, как заправский попрошайка, и, нежно поглядев на Миггдс, стал сразу похож на Юбу Билла.

— Это мой верный сторож,— пояснила Миггдс.— Да нет, он не кусается! — добавила она, видя, как обе дамы вспорхнули со своих мест.— Ведь правда, косолапый?

(Последнее относилось непосредственно к умному Хоакину.)

— Откровенно говоря, друзья,—продолжала Миггдс, накормив эту Ursa Minor[1] и закрыв за ней дверь,— вам здорово повезло, что Хоакина не было поблизости, когда вы подъезжали к дому.

— А где же он был? — спросил судья.

— При мне,— ответила Миггдс.— Он ходит за мной по пятам, все равно как человек.

Несколько минут мы молчали, прислушиваясь к завыванию ветра. Может быть, всем нам представилась одна и та же картина: Миггдс идет по лесу под дождем, а рядом с ней — ее свирепый страж. Судья, помнится, сказал что-то насчет Уны и ее льва[2]. Миггдс приняла этот комплимент, как и предыдущие, со спокойным достоинством. Не знаю, на самом ли деле она не замечала нашего восхищения, во всяком случае, обожающие взгляды Юбы Билла трудно было не заметить, но простота ее манер не допускала мысли о делении человечества на сильный и слабый пол, что чрезвычайно обижало более юных членов нашей компании.

Эпизод с медвежонком не поднял Миггдс в глазах наших дам. Больше того, лишь только ужин кончился, от них повеяло таким холодом, перед которым оказались бессильны даже сосновые ветви, возложенные Юбой Биллом на очаг, как на жертвенник. Миггдс почувствовала это и, объявив вдруг, что всем пора «на боковую», предложила проводить дам в соседнюю комнату, где для них были приготовлены постели.

— А уж вам, друзья, придется разбить лагерь здесь, у очага,— добавила она,— другой комнаты у меня нет.

Наш пол—разумеется, уважаемый сэр, я имею в виду более сильную половину рода человеческого—обычно застрахован от обвинений в любопытстве и любви к сплетням. Однако я вынужден сказать, что не успела Миггдс закрыть за собой дверь, как мы сбились в кучку и начали перешептываться, хихикать, ухмыляться, высказывать

---

[1] Малая Медведица *(лат.)*.

[2] Уна — персонаж поэмы «Королева фей» английского поэта XVI века Эдмунда Спенсера. Уну — Истину — сопровождает лев, символизирующий Рассудок.

различные подозрения, предположения и тысячи всевозможных догадок насчет нашей очаровательной хозяйки и странного хозяина. Боюсь даже, что мы потревожили несчастного паралитика, который восседал среди нас в кресле эдаким безгласным Мемноном и невозмутимо, точно дух прошлых времен, взирал своими безжизненными глазами на нашу мирскую суету. В самый разгар споров дверь открылась, и Миггдс снова вошла в комнату.

Но это была уже не та Миггдс, которая два-три часа назад ослепила нас своим появлением. С одеялом в руках, она в нерешительности остановилась на пороге, потупилась, и мы сразу почувствовали, что ее пленительная простота и смелость остались где-то там, позади. Войдя в комнату, она придвинула к креслу низкую скамейку, села, набросила одеяло на плечи и сказала:

— Если это вам не помешает, я останусь здесь, больше мне негде.— Потом взяла морщинистую руку паралитика и отвернулась к потухающему очагу. Мы почувствовали, что это—только начало откровенного разговора, и, устыдившись своего недавнего любопытства, промолчали. Дождь все еще барабанил по крыше, порывы ветра долетали в очаг, сдувая пепел с углей. Но вот, лишь только стихии на минуту умолкли, Миггдс подняла голову, откинула волосы со лба и, повернувшись к нам, спросила:

— Кто-нибудь из вас меня знает?

Ответа не последовало.

— Ну-ка, припомните! Я жила в Мэрисвилле в пятьдесят третьем году. Меня там все знали, да это и не удивительно. До того, как поселиться с Джимом, я держала салун «Полька». С тех пор прошло шесть лет. Должно быть, я порядком изменилась.

Миггдс, вероятно, смутило то, что никто ее не узнал. Она отвернулась к огню и, помолчав несколько секунд, снова заговорила, но уже гораздо торопливее:

— Я думала, кто-нибудь из вас меня вспомнит. Ну что ж, не беда! Я вот что хотела сказать: Джим,— она взяла его руку в свои,— уж он-то меня знал хорошо, он потратил на меня уйму денег. Наверно, все, какие у него только были. И вот как-то раз — этой зимой будет шесть лет с того дня — Джим пришел в мою комнату за стойкой, сел на диван, вот как он сейчас сидит в кресле, и больше без чужой помощи не шевельнулся. Расшибло

его сразу, он так и не понял, какая с ним стряслась беда. Доктора говорили: это расплата за прошлое — ведь он жил весело, себя не берег... Говорили, ему уж не поправиться и долго не протянуть, советовали отправить его в больницу во Фриско, кому, мол, такой нужен? Ведь он как малый ребенок и таким останется навсегда. А я слушала их, слушала и сказала: «Нет!» Сама не знаю почему—может, глаза Джима так на меня подействовали, а может, потому, что у меня никогда не было ребенка. В средствах я тогда не стеснялась, гостей было много — господа вроде вас ко мне захаживали. Ну, продала я свой салун, купила вот этот домишко, потому что он в стороне от дороги, и привезла своего ребенка сюда.

Рассказывая все это, Миггдс с чисто женским чутьем и тактом постепенно меняла положение, чтобы безгласная фигура паралитика оказалась между ней и слушателями, и, прячась в тени, точно выставляла напоказ немое оправдание своего поступка. И неподвижный, бесчувственный человек встал на ее защиту; жалкий, раздавленный божьим гневом, он простирал над ней невидимую руку.

Скрываясь в темноте, но все еще держа его за руку, Миггдс продолжала:

— Не сразу я здесь притерпелась, ведь раньше вокруг меня всегда было много народу, всегда было весело. Помощницу я найти не могла, а мужчинам не доверяла. Но все-таки мы с Джимом постепенно обжились на новом месте — что нужно, выписываем из Норт-Форка, а иногда здешние индейцы помогают. Изредка наезжает к нам доктор из Сакраменто. Приедет и спросит: «Ну, как наш ребенок, Миггдс?» — это он Джима так зовет,— а на прощание всегда скажет: «Молодчина вы, Миггдс, да хранит вас господь!» И после этого мне здесь не так одиноко. А последний раз он уже собрался уходить и вдруг говорит: «Знаете, Миггдс, ваш ребенок скоро вырастет, станет взрослым мужчиной, гордостью своей матери, только не здесь, Миггдс, только не здесь!» И ушел такой грустный...— Тут и голос и головка Миггдс совсем скрылись в темноте.

— Здешний народ очень добрый,— продолжала она, помолчав, и снова пододвинулась к свету.—Мужчины из Норт-Форка первое время слонялись вокруг да около, но

скоро поняли, что никому они тут не нужны, а женщины — чуткие: не показываются. Сначала мне было очень одиноко, но летом я набрела в лесу на Хоакина, еще совсем маленького, научила его служить, просить подачку. Потом у меня есть Полли—это сорока,— она знает столько всяких штучек, с ней не соскучишься по вечерам. И теперь мне не кажется, что я здесь единственное живое существо. А Джим...—Миггдс рассмеялась своим прежним смехом и еще ближе подсела к очагу.—Джим... да вы даже представить себе не можете, сколько он всего понимает,— а ведь так болен! Иной раз принесешь домой цветы, и он смотрит на них, будто и вправду знает, что это такое. А когда мы сидим одни, я читаю ему вслух вот то, что у нас на стенах. Господи боже!— Миггдс весело рассмеялась.— За эту зиму я прочитала ему целую стену сверху донизу. Такого охотника послушать чтение и не найдешь больше!

— А почему,—спросил судья,— почему бы вам не выйти замуж за этого человека, которому вы посвятили свою молодость?

— Да видите ли...— ответила Миггдс,— пожалуй, нехорошо это будет—воспользоваться его беспомощным состоянием. А потом, если мы станем мужем и женой, тогда то, что я сейчас делаю добровольно, я должна буду делать по обязанности.

— Но вы еще молоды и хороши собой...

— Время позднее,— сдержанно сказала Миггдс,— укладывайтесь лучше спать. Спокойной ночи, друзья! — И, закутавшись в одеяло, она легла рядом с креслом Джима, положила голову на скамеечку, подставленную ему под ноги, и затихла.

Огонь в очаге медленно угасал. Не говоря ни слова, мы разобрали свои одеяла, и скоро в длинной низкой комнате ничего не стало слышно, кроме стука дождя по крыше и тяжелого дыхания спящих.

Начинало светать, когда я проснулся от беспокойного сна. Буря стихла, звезды светили ярко, и в незакрытое ставнями окно, поднимаясь из-за величавых сосен, смотрела полная луна. С бесконечным состраданием коснулась она лучом жалкой фигуры в кресле и залила мерцающим потоком голову женщины, чьи волосы, словно в трогательной старой легенде, окутывали ноги того, кто

был дорог ей. Луна наделила поэтичностью даже неуклюжего Юбу Билла, который, опираясь на локоть и тараща по сторонам глаза, лежал, исполненный терпения, между больным и своими пассажирами. Потом я опять задремал и проснулся, когда уже было утро и Юба Билл, стоя надо мной, кричал так, что в ушах звенело:

— Отчаливаем!

На столе нас ждал кофе, но Миггдс нигде не было видно. Мы бродили около дома и долго еще мешкали с отъездом, хотя лошади уже были запряжены. Миггдс не появлялась. Она, видимо, хотела избежать прощания и предоставила нам удалиться тем же порядком, каким мы появились. Мы помогли нашим спутницам залезть в дилижанс, вернулись в дом и торжественно попрощались с Джимом, усаживая его в прежней позе после каждого рукопожатия. Потом оглядели в последний раз длинную низкую комнату, скамеечку, на которой вчера сидела Миггдс, и не спеша заняли места в дилижансе. Бич щелкнул, и мы тронулись в путь!

Но как только перед нами показался широкий тракт, Билл ловкой рукой на всем ходу осадил шестерку лошадей, и дилижанс круто остановился. На пригорке у самой дороги стояла Миггдс, волосы ее развевались по ветру, глаза сверкали, в руке белел носовой платок, ослепительная улыбка слала нам последнее прости. Мы замахали шляпами ей в ответ. А потом Юба Билл, словно испугавшись этого обольстительного видения, яростно взмахнул кнутом, и мы дружно откинулись на сиденья.

До самого Норт-Форка никто из нас не проронил ни слова. Дилижанс остановился у «Индепенденс-Хауза». Во главе с судьей мы вошли в бар и в строгом молчании расположились у стойки.

— Полны ли ваши стаканы, джентльмены? — спросил судья, торжественно снимая свой белый цилиндр.

Стаканы были полны.

— Итак, за здоровье Миггдс, да благословит ее бог!

Быть может, бог и благословил ее. Кто знает?

КОМПАНЬОН ТЕННЕССИ

Вряд ли кому-нибудь из нас было известно его настоящее имя. Впрочем, это обстоятельство не причиняло нам ни малейших неудобств в общении с ним, так как в 1854 году почти всех обитателей Сэнди-Бара окрестили заново. Прозвища давались или по какой-нибудь особенности в одежде, как это было с «Нанковым Джеком», или в насмешку над каким-нибудь чудачеством, как с «Содовым Биллом», который валил в хлеб свой насущный несуразное количество соды, или же из-за простой обмолвки, чему служит доказательством «Железный Пират» — тихий, безобидный человек, обязанный своей мрачной кличкой тому, что он неправильно произносил термин «железный пирит». Кто знает, может быть, так закладывались основы примитивной геральдики? Впрочем, я склонен объяснять пристрастие к прозвищам тем фактом, что в то время настоящее имя человека можно было узнать только с его собственных слов, никем и ничем не подтвержденных.

— Так тебя, говоришь, зовут Клиффорд? — с бесконечным презрением обратился Бостон к одному скромному новичку.— Такими Клиффордами в преисподней хоть пруд пруди! — И тут же представил нам несчастного, которого действительно звали Клиффорд, под именем «Болтуна Чарли». Эта кличка, рожденная минутным вдохновением нечестивца Бостона, так и пристала к Клиффорду на всю жизнь.

Но вернемся к Компаньону Теннесси, которого мы только и знали под этим именем, выражавшим его отно-

шение к другому лицу. То, что он существует сам по себе как личность, и довольно яркая, стало нам ясно гораздо позже. В 1853 году он отправился из Покер-Флета в Сан-Франциско подыскать себе жену, но дальше Стоктона не уехал. Там его пленила одна молодая особа, прислуживавшая за столиками в ресторане, куда он ходил обедать. Однажды утром он сказал ей что-то такое, что заставило ее улыбнуться отнюдь не сурово, не без некоторого кокетства опрокинуть блюдо с гренками прямо на его серьезную, простоватую физиономию, обращенную к ней, и скрыться на кухне. Он проследовал туда же и через несколько минут вернулся, увенчанный опять-таки гренками и лаврами победы. Неделю спустя судья сочетал их браком, и молодожены приехали в Покер-Флет. Я сознаю, что этот эпизод можно было бы разукрасить, но предпочитаю изложить его так, как он излагался в Сэнди-Баре — на заявках и в салунах, где всякая сентиментальность умеряется сильно развитым чувством юмора.

О супружеском счастье этой пары мало что известно, ибо сам Теннесси, который жил тогда у своего компаньона, вскоре обратился к новобрачной с какими-то словами, на которые она, как говорят, улыбнулась отнюдь не сурово и целомудренно скрылась, на этот раз в Мэрисвилл, куда за ней последовал и Теннесси и где они зажили вдвоем без помощи судьи. Компаньон Теннесси отнесся к потере жены, как относился ко всему в жизни,— просто и серьезно. Но когда Теннесси в один прекрасный день вернулся из Мэрисвилла без жены своего компаньона — она улыбнулась еще кому-то и скрылась с ним,— Компаньон Теннесси, ко всеобщему изумлению, первый пожал ему руку и дружески приветствовал его. Люди, собравшиеся в каньоне поглазеть на поединок, естественно, вознегодовали. Их негодование могло бы перейти в едкие насмешки, но взгляд Компаньона Теннесси ясно говорил, что он не способен оценить юмор. В самом деле, это был человек серьезный, склонный всегда становиться на путь практических мероприятий, что в случае каких-либо недоразумений с ним грозило неприятностями.

Между тем в Сэнди-Баре о Теннесси сложилось неблагоприятное мнение. Все знали, что он нечисто играет, подозревали его и в воровстве. Все это в равной степени набрасывало тень и на Компаньона Теннесси: про-

должение их дружбы после вышеизложенных событий можно было объяснить только сообщничеством в преступлениях. Наконец виновность Теннесси стала совершенно явной. Однажды он нагнал на дороге человека, который шел в поселок Рыжая Собака. Впоследствии этот человек рассказывал, что Теннесси развлекал его в пути разными анекдотами и воспоминаниями и вдруг ни с того ни с сего закончил беседу следующими словами:

— А теперь, молодой человек, потрудитесь отдать мне ваш револьвер, нож и деньги. Чего доброго, попадете в беду с таким арсеналом, а на деньги ваши в Рыжей Собаке могут позариться какие-нибудь мошенники. Сдается, вы говорили, что проживаете в Сан-Франциско? Постараюсь вас навестить там.

Надо сказать, что у Теннесси было недюжинное чувство юмора, которое не покидало его даже тогда, когда он занимался серьезными делами.

Это был его последний подвиг. Рыжая Собака и Сэнди-Бар объединились против грабителя. На Теннесси устроили облаву, как на медведя-гризли. Видя, что сети опутывают его все туже и туже, он сделал отчаянную попытку прорваться сквозь поселок, разрядив револьвер в толпу перед салуном «Аркадия», и скрылся в Медвежьем каньоне. Но в конце каньона путь ему преградил человек на серой лошади. С минуту они молча смотрели друг на друга. Оба были бесстрашны, хладнокровны, уверены в себе; оба прекрасные образчики цивилизации, которых в семнадцатом веке назвали бы героическими личностями, а в девятнадцатом — попросту головорезами.

— Покажи свою игру—чья будет взятка,—спокойно сказал Теннесси.

— Два козыря и туз,—не менее спокойно ответил незнакомец, показывая два револьвера и охотничий нож.

— Моя карта бита,— сказал Теннесси. Отпустив эту игрецкую шуточку, он швырнул в сторону бесполезный револьвер и под конвоем своего поимщика отправился обратно.

Был жаркий вечер. Прохладный ветерок, поднимавшийся обычно с заходом солнца из-за гор, поросших густым чапаралем, на этот раз миновал Сэнди-Бар. В уз-

ком каньоне стоял душный запах смолы; с отмелей, заваленных сплавным лесом, тянуло гнилью. Лихорадочная суматоха и жаркие страсти, бушевавшие в тот день в поселке, еще не стихли. Вдоль речного берега, не отражаясь в мутной воде, сновали огоньки. За темными стволами сосен ярко светилось окно чердака над почтовой конторой, и сквозь незанавешенное стекло зевакам, собравшимся внизу, были видны те, кто решал участь Теннесси. А вверху, надо всем этим, вырисовываясь на темном небосводе, поднималась Сьерра, далекая и равнодушная, увенчанная еще более далекими и равнодушными звездами.

Суд над Теннесси велся настолько беспристрастно, насколько это соответствовало стремлению судьи и присяжных хоть как-нибудь оправдать в приговоре недостаточную юридическую обоснованность ареста и обвинительного заключения. Закон Сэнди-Бара разил неумолимо, но не мстил. Азарт и ярость, порожденные охотой на преступника, улеглись; заполучив Теннесси в свои руки, эти люди готовы были терпеливо выслушать любую речь в его защиту, заранее уверенные, что она будет недостаточно убедительна. Не сомневаясь в виновности подсудимого, они охотно давали ему право использовать в своих интересах любое колебание мнений. Уверенность в том, что преступник заслуживает петли, позволяла предоставить ему такие возможности защищаться, каких этот отчаянный смельчак, по-видимому, и не требовал. Судья, вероятно, был озабочен больше, чем подсудимый, который, не выказывая ни малейшего интереса к ходу дела, испытывал мрачное удовольствие при мысли о том, какую ответственность он налагает на других.

«Я в вашей игре не участвую»,— таков был его неизменный, но беззлобный ответ на все вопросы. Судья — он же и поимщик Теннесси — на минуту почувствовал смутное сожаление, что не застрелил его на месте в то утро, однако поборол в себе эту человеческую слабость, как недостойную слуги закона. Тем не менее, когда послышался стук в дверь и выяснилось, что в пользу подсудимого хочет выступить Компаньон Теннесси, его сразу впустили. Присяжные помоложе, начинавшие изнывать от этой внушительной процедуры, в глубине души, может быть, приветствовали появление в зале суда нового

лица, которое отнюдь не отличалось внушительностью. Приземистый, с квадратным, неестественно красным от загара лицом, в мешковатой парусиновой куртке и забрызганных красной глиной штанах, Компаньон Теннесси при любых обстоятельствах мог показаться фигурой весьма странной, а сейчас он был просто смешон. Когда он нагнулся поставить на пол тяжелый ковровый саквояж, полустертые буквы и надписи на заплатах, которыми пестрели его штаны, сразу уяснили присутствующим, что этот материал первоначально предназначался для менее возвышенных целей. Но Компаньон Теннесси, как ни в чем не бывало, с весьма степенным видом прошел вперед, учтиво поздоровался со всеми за руку, вытер свое серьезное, озабоченное лицо красным носовым платком, чуть уступавшим в яркости цвету его кожи, оперся могучей рукой о стол и обратился к судье со следующими словами.

— Я проходил мимо,— начал он извиняющимся тоном,— дай, думаю, зайду послушаю, как обернется дело Теннесси... моего компаньона. Вечер-то какой душный! Что-то я не припомню такой жары в Сэнди-Баре.

Он немного помолчал и, так как никто не проявил желания предаться вместе с ним метеорологическим воспоминаниям, снова прибег к помощи носового платка и старательно вытер лицо.

— Вы имеете что-нибудь сказать о подсудимом? — спросил наконец судья.

— Вот, вот! — обрадовался он.— Я ведь компаньон Теннесси, я знаю его почти четыре года, насквозь знаю, как облупленного, и в беде и в счастье с ним был. Не по душе мне некоторые его повадки, что греха таить! Но нет в нем ничего такого, чего бы я не знал, и все его проделки мне известны. И когда вы спрашиваете меня напрямик, как мужчина мужчину: «Знаете ли вы что-нибудь о своем компаньоне?»,— то я говорю тоже напрямик, как мужчина мужчине: «Неужто человек может не знать своего компаньона?»

— И это все, что вы хотели сказать? — нетерпеливо перебил его судья, видимо, опасаясь, что чувство юмора настроит суд на более гуманный лад.

— Все,— ответил Компаньон Теннесси.—Мне против него не пристало говорить. А если рассудить, как было

дело... Теннесси понадобились деньги, дозарезу понадобились, а одолжаться у своего старого компаньона он не хочет. Так что же Теннесси делает? Подкарауливает какого-то чужака и разделывается с этим чужаком по-своему. А вы подкарауливаете Теннесси и тоже разделываетесь с ним по-своему. Положение у вас равное. И вот я, как человек рассудительный, спрашиваю вас, джентльмены, а вы тоже люди рассудительные,— так это или не так?

— Подсудимый,— прервал его судья,— есть у вас вопросы к этому человеку?

— Что вы, что вы! — засуетился Компаньон Теннесси.— Я сам по себе пришел. А суть дела вот в чем: Теннесси ни с кем не посчитался — чужаку это дорого обошлось и нашему поселку тоже. Как же будет по-честному? Одни скажут — так, другие — эдак. Вот у меня здесь золота на тысячу семьсот долларов и часы — почти все мое богатство. Вот давайте и разочтемся!—И не успели ему помешать, как он высыпал содержимое саквояжа на стол.

Одно мгновение жизнь Компаньона Теннесси висела на волоске. Двое-трое вскочили со своих мест, несколько рук потянулось к припрятанному в карманах оружию, и предложение «вышвырнуть оскорбителя в окно» не было исполнено только благодаря тому, что судья предостерегающе поднял руку. Теннесси посмеивался. А компаньон его, по-видимому, не замечая общей суматохи, опять утерся платком.

Когда порядок был восстановлен и Компаньону Теннесси наконец весьма выразительно и красноречиво дали понять, что такое преступление не искупить деньгами, лицо его омрачилось и стало совсем багровым; те, кто стоял рядом с ним, заметили, как задрожала его заскорузлая рука, опиравшаяся о стол. Он начал убирать золото обратно в саквояж, но как-то нерешительно, точно еще не вполне поняв возвышенного чувства справедливости, владевшего трибуналом, и теряясь от мысли, что мало предложил. Потом он обратился к судье со словами: «Я сам по себе пришел, мой компаньон тут ни при чем»,— поклонился присяжным и шагнул к выходу, но судья остановил его:

— Если хотите что-нибудь сказать Теннесси, говорите сейчас.

Впервые за все время глаза подсудимого встретились с глазами его странного адвоката. Теннесси улыбнулся, показав свои белые зубы, и со словами: «Плохая карта, дружище!»—протянул ему руку. Компаньон Теннесси пожал ее, пробормотав: «Шел мимо, дай, думаю, загляну — послушаю, как тут дела обернутся»,— потом добавил, что «вечер душный», снова вытер лицо платком и, не сказав больше ни слова, удалился.

При жизни эти двое больше не встретились. Неслыханное оскорбление, нанесенное судье Линчу,— попытка дать взятку этому фанатичному, слабому, ограниченному, но неподкупному судье — окончательно устранила в сознании этой мифической личности всякие колебания относительно судьбы Теннесси. И на рассвете осужденный под надежным конвоем пошел ей навстречу к вершине Марли-Хилла.

Как произошла эта встреча, с каким хладнокровием вел себя Теннесси, как он отказался что-либо сказать, насколько исполнители приговора справились со своей задачей — все это с присовокуплением морали и предостережений на будущее всем злоумышленникам было в свое время изложено редактором «Глашатая Рыжей Собаки», который находился в числе зрителей на вершине Марли-Хилла, и я с удовольствием отсылаю читателя к его красноречивому отчету. Но прелесть летнего утра, сладостная гармония земли, воздуха и неба, пробуждающиеся к жизни вольные леса и горы, ликование обновленной природы и, самое главное, нерушимое спокойствие в вышине не попали на страницы газеты, будучи явлениями малопоучительными для общества. И все же, когда жалкое и безумное деяние свершилось и жизнь с ее надеждами и возможностями покинула тело, повисшее между небом и землей, птицы пели, цветы благоухали, солнце светило так же радостно, как всегда; и весьма возможно, что «Глашатай Рыжей Собаки» был прав.

Компаньона Теннесси не было в толпе, окружавшей зловещее дерево. Но когда люди стали расходиться, их внимание привлекла неподвижно стоявшая у дороги тележка, запряженная ослом. Подойдя ближе, все узнали почтенную Джинни и двуколку — собственность Компаньона Теннесси, на которой он свозил с участка отработанную породу; а подальше, под каштаном, вытирая

пот с лоснящегося лица, сидел и сам хозяин этого выезда. В ответ на чей-то вопрос он сказал, что приехал за покойным, «если не будет возражений». Он никого не торопит — он сегодня не работает и может подождать, покуда джентльмены не кончат своего дела.

— Если найдутся желающие присутствовать на похоронах,— добавил Компаньон Теннесси, как всегда просто и серьезно,— пусть приходят.

Возможно, тут заговорило чувство юмора, которым, как я уже отмечал, славился Сэнди-Бар, а возможно, и что-нибудь большее, но две трети зевак сразу приняли приглашение.

В полдень тело Теннесси передали его компаньону. Когда тележка подъехала к роковому дереву, мы увидели, что на ней стоит продолговатый ящик, очевидно, сколоченный из досок промывного желоба и наполовину набитый древесной корой и хвоей. Сама двуколка была украшена ивовыми ветками и благоухающими цветами каштана. Как только тело положили в ящик, Компаньон Теннесси прикрыл его просмоленным брезентом, с серьезным видом взобрался на узенькое сиденье и, поставив ноги на оглобли, стегнул ослицу. Двуколка двинулась с той благопристойной медлительностью, которая была свойственна Джинни даже при менее торжественных обстоятельствах. Провожающие — народ незлобивый — отчасти из любопытства, отчасти ради шутки потянулись кто впереди, кто сзади, кто по бокам. Но оттого ли, что мало-помалу дорога начала суживаться, оттого ли, что в них восторжествовало чувство благопристойности, все они постепенно выстроились парами позади этого убогого катафалка, с виду ничем не отличаясь от обычной похоронной процессии. Джек Фолинсби вначале пытался сделать вид, будто играет похоронный марш на воображаемом тромбоне, но, не встретив сочувствия и одобрения, быстро стушевался, что свидетельствовало об отсутствии в нем дара истинного юмориста, умеющего обходиться без аудитории.

Дорога проходила Медвежьим каньоном, который уже был укутан в траурные сумерки и тени. Вдоль нее, вытянувшись гуськом, зарыв мохнатые ноги в красную землю, как индейцы в мокасинах, стояли секвойи, и склоненные ветви их неуклюже посылали гробу свое благословение.

Заяц, с перепугу поднявшись на задние лапы и дрожа всем телом, следил за процессией из придорожных зарослей папоротника. Белки скакали по верхушкам деревьев, стараясь получше рассмотреть, что делается внизу; сойки, расправив крылья, неслись впереди них, точно форейторы. Наконец катафалк выехал на окраину Сэнди-Бара и поравнялся с одинокой хижиной Компаньона Теннесси.

Даже в более веселую минуту это место не могло бы порадовать глаз. Скучный ландшафт, убогое жилье, мерзость запустения вокруг — так вьют свои гнездышки все калифорнийские золотоискатели, а здесь на всем лежала печать какого-то особого уныния и заброшенности. В нескольких шагах от хижины стояла плохонькая изгородь, за которой в недолгие дни супружеского счастья Компаньона Теннесси был садик, теперь заросший папоротником. Подойдя ближе, мы с изумлением увидели, что кучка земли, показавшаяся нам издали свежевскопанной грядкой, была навалена у открытой могилы.

Двуколка остановилась у изгороди; отклонив предложения помочь ему, Компаньон Теннесси все с тем же спокойным достоинством взвалил самодельный гроб на плечи и сам опустил его в неглубокую могилу. Потом он прибил гвоздями доски, заменившие гробу крышку, стал на маленький холмик рядом с могилой, снял шляпу и неторопливо вытер платком лицо. Все поняли, что он готовится произнести речь, и, разместившись кто на пнях, кто прямо на каменистой земле, ждали, что будет дальше.

— Когда человек весь день бегал где вздумается,— медленно начал Компаньон Теннесси,— то что ему надо сделать? Да вернуться домой, конечно! А если сам он не может идти, то что должен сделать его лучший друг? Доставить его домой! Так вот и Теннесси бегал где вздумается, а теперь мы доставили его домой.— Он замолчал, поднял с земли кусочек кварца, задумчиво потер его о рукав и продолжал: — Мне не впервой нести Теннесси на спине. Сколько раз, бывало, я тащил его в хижину, когда он и пальцем шевельнуть не мог. Сколько раз мы с Джинни поджидали его на холме и везли домой, когда он и языком не ворочал и меня не узнавал. А вот сегодня это в последний раз.— Он снова замолчал и снова осторожно потер кусочек кварца о рукав.— И, знаете,

нелегко это его компаньону.— Он поднял с земли лопату с длинной ручкой.— А теперь, джентльмены, похоронный обряд окончен. За ваше беспокойство премного вам благодарен, и Теннесси тоже вас благодарит.

Отказавшись от нашей помощи, Компаньон Теннесси повернулся к нам спиной и стал засыпать могилу; после минутного колебания толпа начала постепенно расходиться. Поднявшись на холм, который закрывал Сэнди-Бар, люди оглядывались назад и уверяли, будто отсюда видно Компаньона Теннесси и будто он, кончив свое дело, сидит на могиле, поставив лопату между колен и закрыв лицо красным платком. Впрочем, другие говорили, что на таком расстоянии не отличить его лица от платка, и этот вопрос так и остался неразрешенным.

Лихорадочное волнение того дня улеглось, но Компаньона Теннесси не забыли. Тайное расследование отвело от него всякие подозрения в сообщничестве с Теннесси и оставило невыясненным только вопрос о состоянии его рассудка. Сэнди-Бар повадился захаживать к нему в хижину и одолевал его своими неуклюжими, но дружескими услугами. Однако с того дня железное здоровье и несокрушимая сила Компаньона Теннесси начали заметно сдавать, и, когда пошли дожди и на каменистой могильной насыпи стали пробиваться тонкие усики травы, он совсем слег.

Как-то ночью, в бурю, когда сосны у хижины раскачивались на ветру, проводя своими тонкими пальцами по крыше, а снизу доносился рев и плеск вздувшейся реки, Компаньон Теннесси поднял голову с подушки и сказал:

— Пора идти за Теннесси. Пойду запрягу Джинни.— Он хотел было встать с койки, но человек, приставленный к нему для ухода, удержал его. Сопротивляясь, он все еще продолжал бредить: — Ну, ну, Джинни, стой спокойно, старушка. Темно-то как! Гляди, где тут колея, и про него тоже не забывай. Ведь знаешь, напьется и рухнет поперек дороги. Держи вон к той самой сосне на горе. Стоп! Ну, что я говорил? Вот он, идет сюда — сам идет, трезвый, и лицо светится. Теннесси! Компаньон!

И тут они встретились.

ИДИЛЛИЯ КРАСНОГО УЩЕЛЬЯ

Сэнди был вдребезги пьян. Он лежал под кустом азалии в той же самой позе, в какой свалился несколько часов назад. Давно ли он лежал так, он не мог бы сказать, да и не интересовался этим; сколько он еще пролежит, было тоже неизвестно и совершенно неважно. Душа его была исполнена философского спокойствия, проистекавшего из его физического состояния.

Пьяница, в особенности тот пьяница, о котором идет речь, к сожалению, не был такой новинкой в Красном Ущелье, чтобы привлечь чье-нибудь внимание. Еще утром какой-то местный шутник воздвиг в головах Сэнди временное надгробие с перстом, указующим в сторону салуна Мак-Коркла, и надписью: «Виски Мак-Коркла убивает за сорок шагов».

Но это, мне кажется, был выпад личного характера, как и все остроты местных шутников. Кроме этого шутника, никто не потревожил Сэнди. Скитавшийся по склону горы мул, освобожденный от своих вьюков, ощипал всю растительность по соседству с ним и с любопытством обнюхал лежащую фигуру; бродячий пес лизнул пыльные сапоги Сэнди с той глубокой симпатией, которую собаки чувствуют к пьяницам, и, зажмурив один глаз от солнца, развалился у него в ногах с видом отъявленного гуляки — тонкая собачья лесть задремавшему пьянице.

Тени сосен медленно перемещались, пока не пересекли дорогу, и от их стволов через весь луг протянулись черные и желтые гигантские параллели. Клубы красной

пыли, поднимаясь из-под копыт мимо идущих упряжных лошадей, оседали грязным дождем на лежащей фигуре. Солнце спускалось все ниже и ниже, а Сэнди все не подавал признаков жизни. И тут отдых этого мыслителя, как случалось и с другими мыслителями, был нарушен вторжением не склонного к философии пола.

Мисс Мэри, как ее называла маленькая паства, только что отпущенная ею из бревенчатого школьного домика позади сосновой рощи, прогуливалась после обеда. Заметив на кусте азалии, через дорогу, цветущую ветку необычайной красоты, она решила сорвать ее и с кошачьей осторожностью, брезгливо отряхиваясь, перебралась через красную пыль. И тут она неожиданно наткнулась на Сэнди!

Конечно, как полагается женщине, она испустила легкий, короткий крик. Но, поддавшись сначала физической слабости, она вдруг необычайно осмелела и остановилась — по крайней мере в шести футах — от распростертого на земле чудовища, подобрав рукой белое платье, готовая к бегству. Однако из-под куста не слышно было ни звука, ни шороха. Маленькой ножкой она опрокинула сатирическое надгробие и прошептала: «Скоты!» — что в данную минуту относилось решительно ко всему мужскому населению Красного Ущелья. Ибо мисс Мэри по строгости своих понятий не могла справедливо оценить неуемную любезность, за которую калифорнийцы недаром восхваляют сами себя, и в качестве приезжей, быть может, вполне заслуженно, пользовалась репутацией «недотроги».

Она заметила, что косые лучи солнца припекают голову Сэнди, что было, по ее мнению, нездорово, а шляпа валяется рядом без всякой пользы. Для того чтобы подобрать шляпу и накрыть ею лицо Сэнди, потребовалась немалая отвага, в особенности потому, что он лежал с открытыми глазами. Однако мисс Мэри прикрыла его шляпой и успешно ретировалась. Оглядываясь назад, она слегка огорчилась, увидев, что шляпа опять сброшена, а Сэнди привстал и что-то бормочет.

Дело в том, что, несмотря на глубочайшее спокойствие, в котором пребывал его дух, Сэнди радовался благотворным и живительным солнечным лучам; он с детских лет терпеть не мог лежать в шляпе; по его мнению,

только самые отпетые, проклятые богом болваны носили шляпу; он считал своим священным правом обходиться без шляпы, когда ему, черт побери, заблагорассудится! Таково было его внутреннее убеждение. К несчастью, вслух оно было выражено невразумительно и свелось к повторению следующей формулы: «Подумаешь, солнце! В чем дело? Почему такое солнце?..»

Мисс Мэри остановилась и, набравшись храбрости, издали спросила, что ему нужно.

— Почему такое? В чем дело? — продолжал Сэнди весьма повышенным тоном.

— Встаньте, ужасный человек,— сказала мисс Мэри,— встаньте и идите домой!

Сэнди, пошатываясь, поднялся на ноги. В нем было шесть футов росту, и мисс Мэри затрепетала. Он прошел несколько шагов и остановился.

— Зачем домой? — вдруг спросил он с глубочайшей серьезностью.

— Ступайте и вымойтесь,— отвечала мисс Мэри, очень неодобрительно оглядывая его запачканную одежду.

К ее величайшему ужасу, Сэнди сорвал с себя куртку и фуфайку, швырнул их на землю, сбросил сапоги и с места в карьер помчался с горы вниз прямо к реке.

— Боже мой! Он утонет! — воскликнула мисс Мэри, потом, с чисто женской непоследовательностью, побежала в школу и заперлась там.

В этот вечер мисс Мэри, сидя за ужином со своей хозяйкой, женой кузнеца, вздумала спросить полушутя, пьет ли ее муж.

— Эбнер...— ответила, подумав, миссис Стиджер.— Дайте вспомнить. Эбнер не был пьян с последних выборов.

Мисс Мэри хотелось спросить, любит ли он в таких случаях спать на солнцепеке и не простужается ли от холодных ванн, но тут понадобилось бы объяснение, которого она не собиралась давать. Поэтому она ограничилась тем, что в ответ на слова краснощекой миссис Стиджер — настоящей розы Юго-Востока—широко раскрыла глаза и переменила тему разговора. На следующий день она писала в Бостон любимой подруге: «Я на-

хожу, что пьющая часть здешнего населения все-таки более приемлема; это, моя милая, относится, конечно, к мужчинам. Женщины, на мой взгляд, совершенно невыносимы».

Не прошло и недели, как мисс Мэри забыла этот эпизод, только с этих пор почти незаметно для себя самой изменила направление послеобеденных прогулок. Она заметила, однако, что на ее столе вместе с другими цветами появляется каждое утро свежесорванная ветка азалии. Ничего удивительного тут не было, потому что ее паства, зная, что она любит цветы, неизменно убирала ее стол жасмином, анемонами и лупином; но когда она спросила детей, все они в один голос ответили, что не знают, откуда эта азалия.

Спустя несколько дней во время урока Джонни Стиджер, чья парта стояла возле окна, вдруг закатился совершенно беспричинным, по-видимому, смехом, что грозило нарушить школьную дисциплину. Мисс Мэри только и могла от него добиться, что «кто-то заглядывает в окно». Разгневанная и негодующая, она сделала вылазку из своего улья, чтобы дать сражение непрошеному гостю. Завернув за угол школы, она сразу наткнулась на того самого пьяницу, теперь совершенно трезвого и стоявшего перед ней с неописуемо робким и виноватым видом.

Все это мисс Мэри тотчас же подметила и по-женски истолковала в свою пользу. Ее несколько смутило, что этот скот, невзирая на следы былой рассеянной жизни, обладал привлекательной внешностью; он походил на белокурого Самсона с шелковистой бородой цвета соломы, которой не касались еще ни бритва цирюльника, ни ножницы Далилы. Уничтожающая речь, готовая сорваться с ее острого язычка, замерла у нее на губах, и она ограничилась тем, что выслушала его бессвязное извинение, высокомерно подняв брови и подобрав юбки, словно боясь запачкаться. Когда мисс Мэри вернулась в класс, взгляд ее упал на ветку азалии, и вдруг ее словно озарило. И тут она засмеялась, засмеялись и дети, и все они неизвестно почему почувствовали себя очень счастливыми.

В один жаркий день вскоре после этого случилось так, что два маленьких коротконогих мальчика потерпе-

ли крушение на пороге школы, опрокинув ведро воды, которое они насилу дотащили с ручья, а мисс Мэри пожалела их и, подхватив ведро, отправилась к ручью сама. Под горой тропинку вдруг пересекла чья-то тень, и рука в синем рукаве мягко, но решительно освободила ее от ноши. Мисс Мэри почувствовала смущение и рассердилась.

— Было бы гораздо лучше, если бы вы носили побольше воды для себя,— сказала она язвительно синему рукаву.

Тот покорно молчал, и, пожалев о своих словах, мисс Мэри так кротко поблагодарила его у дверей школы, что он споткнулся. Дети засмеялись, а за ними засмеялась и мисс Мэри; она так смеялась, что ее бледные щеки слегка порозовели. На следующий день у дверей школы таинственным образом появился бочонок, который не менее таинственным образом наполнялся каждое утро свежей родниковой водой.

Эту высокомерную молодую особу не обходили вниманием и другие. Билл-сквернослов, возница слэмгаллионского дилижанса, прославленный местной прессой за галантность, с которой он неизменно предлагал дамам разделить с ним место на козлах, ни разу не посмел удостоить мисс Мэри такой чести, объясняя это тем, что привык «ругаться на подъемах», и уступал в ее полное распоряжение половину дилижанса. Игрок Джек Гемлин, путешествовавший с ней однажды в дилижансе и не промолвивший при этом ни слова, впоследствии швырнул графином в голову собутыльника, который дерзнул назвать ее имя в салуне. Разряженная в пух и прах мамаша одного из учеников, папаша которого остался неизвестным, частенько подолгу застаивалась возле храма гордой весталки, не отваживаясь войти под его священный кров и поклоняясь жрице на расстоянии.

Незаметно промелькнула над Красным Ущельем однообразная вереница сияющих в солнечном свете безоблачных дней, коротких сумерек и звездных ночей. Мисс Мэри полюбила гулять в тихих, тенистых лесах. Быть может, она верила вместе с миссис Стиджер, что смолистый аромат сосен «полезен для груди», да и в

самом деле она покашливала уже не так часто и походка у нее стала тверже; быть может, она усвоила вечный урок, который терпеливые сосны не устают повторять и внимательным и равнодушным. И вот в один прекрасный день она задумала устроить пикник на Оленьей горе и взяла с собой детей. Как легко они почувствовали себя вдали от пыльной дороги, от разбросанных в беспорядке домов, желтых канав, неумолчного грохота машин, дешевой роскоши лавок, блеска масляной краски, цветного стекла и лака, слегка прикрывающего варварство здешней жизни! Как приветливо расступились перед ними уходящие вдаль колоннады леса, когда они миновали последнюю груду развороченных камней и глины и последнюю неприглядную яму! С какой бесхитростной радостью дети, быть может, потому, что они еще не совсем оторвались от груди щедрой матери-природы, бросались ничком на ее темное лоно и оглашали воздух своим смехом; да и сама мисс Мэри, по-кошачьи опрятная, в броне безупречно чистых юбок, воротничков и рукавчиков, забыв обо всем, перепелкой прыгала впереди своего выводка, как вдруг, догоняя детей, смеясь и задыхаясь, с распустившейся косой и повисшей на ленте шляпой, она наскочила с разбегу на незадачливого Сэнди.

Последовали объяснения, извинения и не слишком связный разговор, который не стоит передавать здесь. Казалось, однако, что мисс Мэри уже успела свести знакомство с этим бывшим пьяницей. Достаточно сказать, что его тут же приняли в компанию и что дети, с той проницательностью, которой провидение одаряет беззащитных, признали в нем друга. Они играли его белокурой бородой и длинными шелковистыми усами и вообще позволяли себе вольности, что также свойственно беззащитным созданиям. А когда он развел костер под деревом и посвятил их в другие тайны леса, восторгу их не было границ. После двух таких неразумно счастливых и безмятежных часов мисс Мэри сидела на пригорке и плела венки из лавровых ветвей и жасмина, а он расположился у ног учительницы, мечтательно глядя ей в лицо, почти в той же самой позе, в какой она встретила его в день их знакомства. Сравнение это не слишком натянуто. Следовало опасаться, что легкомыс-

ленная и чувственная натура, прежде находившая забвение в вине, теперь точно так же опьянялась любовью.

Вероятно, Сэнди смутно сознавал это и сам. Я знаю, что он жаждал совершить какой-нибудь подвиг, убить гризли, снять скальп с индейца, пожертвовать жизнью ради этой бледной сероглазой учительницы. Мне очень хотелось бы показать его в героической ситуации, и руку мою удерживает только глубокое убеждение, что в такие минуты ничего подобного не случается. И я надеюсь, прекрасная читательница простит мне это упущение, вспомнив, что на самом деле в критический момент спасителем всегда является не герой вашего романа, а какой-нибудь малоинтересный незнакомец или вовсе не романтический полисмен.

Так они сидели, никем не тревожимые; над головой у них постукивали дятлы, снизу доносились звонкие голоса детей. О чем они говорили, не имеет значения. О чем они думали, возможно, не лишено было интереса, но осталось неизвестным. Дятлы узнали только, что мисс Мэри—сирота, что она покинула дом своего дяди и приехала в Калифорнию ради поправки здоровья и самостоятельного заработка, что Сэнди — тоже сирота, что он приехал в Калифорнию ради приключений, что он вел рассеянную жизнь, а теперь хочет исправиться, и прочее в том же роде, что, с точки зрения дятлов, должно было показаться сущими пустяками, на которые не стоило тратить время. В этих пустяках прошел весь день, а когда дети собрались снова вместе и Сэнди с понятной для мисс Мэри деликатностью тихо простился с ними на окраине поселка, этот день показался ей самым коротким в ее нелегкой жизни.

Долгое сухое лето подходило к концу, и учебный сезон в Красном Ущелье тоже кончался. Через день мисс Мэри должна была уехать, и Красное Ущелье прощалось с ней по меньшей мере на всю зиму. Она сидела одна в школе, облокотясь о стол, и, полузакрыв глаза, предавалась мечтам: в последнее время она обнаруживала склонность к такому времяпрепровождению, боюсь, даже в ущерб школьной дисциплине. На коленях у нее лежали грудой мох, папоротники и другие лесные суве-

ниры. Она была так занята ими и собственными мыслями, что не расслышала тихого стука в дверь, а может быть, в задумчивости приняла его за отдаленный стук дятлов. Когда наконец стук раздался более явственно, она вскочила, вся раскрасневшись, и открыла дверь. На пороге стояла женщина, смелый и даже вызывающий костюм которой странно противоречил ее робким и нерешительным манерам.

Мисс Мэри с первого взгляда узнала сомнительную мамашу своего бесфамильного ученика. Обманулась ли она в своих ожиданиях, или в ней заговорила щепетильность, но, холодно приглашая гостью войти, она бессознательно оправила воротнички и рукавчики и подобрала свои целомудренные юбки. Быть может, поэтому растерявшаяся гостья после минутного колебания оставила свой пышный зонтик за дверью раскрытым, воткнув его в пыль, и уселась на дальнем конце длинной скамьи. Она начала хриплым голосом:

— Мне сказали, будто вы завтра уезжаете во Фриско, и я не могла допустить, что вы уедете, а я не поблагодарю вас за вашу доброту к моему Томми.

Томми — хороший мальчик и заслуживает гораздо большего, чем то внимание, которое она могла уделить ему, сказала мисс Мэри.

— Премного благодарна вам, мисс! — воскликнула гостья, радостно вспыхивая даже сквозь слой румян, носивших в Красном Ущелье шутливое наименование «военной раскраски», и пытаясь в своем волнении придвинуть длинную скамью поближе к учительнице.— Премного благодарна вам за это, мисс! И хоть я ему мать, а все-таки скажу, что нет мальчика милее, послушнее и добрее моего. Может, мои слова немногого стоят, а все-таки нет учительницы лучше и добрей вас и с таким ангельским характером.

Мисс Мэри, которая чопорно сидела за своим столом, прислонивши линейку к плечу, широко раскрыла серые глаза, но ничего не сказала.

— Не годится таким, как я, хвалить вас, это я знаю,— продолжала гостья торопливо.— Не годилось мне и приходить сюда средь бела дня, а только я пришла

с просьбой не за себя, мисс, нет, а за моего милого мальчика.

Поощренная взглядом молоденькой учительницы, она сложила руки в сиреневых перчатках и, зажав их между колен, продолжала, понизив голос:

— Видите ли, мисс, у мальчика нет родных, кроме меня, а я не гожусь его воспитывать. В прошлом году я было думала отвезти его учиться во Фриско, а когда сказали, что сюда приедет учительница, я решила подождать, и как только я вас увидела, то поняла, что все будет хорошо, что мальчик может пожить со мной еще немножко. Ах, мисс, он вас так любит, если б вы только слышали, как он о вас говорит, у него это хорошо выходит, и если бы он сам вас попросил о том, о чем хочу попросить я, вы бы ему не отказали. Не удивительно,— продолжала она быстро, и в голосе ее странным образом сочетались гордость и смирение,— не удивительно, что он к вам так привязался, мисс, ведь отец его, когда я с ним познакомилась, был джентльмен, и мальчику рано ли, поздно ли, а придется меня забыть, об этом я уж и не горюю. Ведь я пришла просить вас, чтобы вы взяли моего Томми — лучше и добрей мальчика не сыщешь, бог его благослови,— чтоб вы взяли его... взяли его с собой.

Она встала со скамьи, схватила руку девушки и упала на колени.

— Денег у меня много, и я все отдам вам и мальчику. Поместите его в хорошую школу, где вам можно будет его навещать, и помогите ему забыть... забыть меня. Сделайте из него что хотите. Что бы вы с ним ни сделали, все будет лучше того, чему он может научиться от меня. Только увезите его от этой дурной жизни, от этого жестокого поселка, от стыда и позора в родном доме. Я знаю, вы увезете его, правда? Да, да, вы не можете, не должны отказывать мне! Вы воспитаете его таким же чистым и нежным, как вы сами, а когда он вырастет, пусть узнает от вас имя своего отца— много лет я не называла этого имени — имя Александра Мортона, которого здесь зовут Сэнди! Мисс Мэри! Не отнимайте вашей руки! Мисс Мэри, отвечайте же! Вы возьмете моего мальчика? Не отворачивайтесь от меня. Я знаю, не годится вам глядеть на таких.

как я. Мисс Мэри! Боже, смилуйся надо мной! Она уходит!

Мисс Мэри встала и в надвигающихся сумерках подошла к открытому окну. Она стояла, опираясь на подоконник, устремив глаза на последние отблески заката, угасавшие на западе. Они еще горели на ее чистом молодом лбу, на белом воротничке, на крепко стиснутых белых руках, но мало-помалу угасли. Просительница, все еще не вставая с колен, подползла ближе к ней.

— Я знаю, вам нужно подумать. Я буду ждать здесь всю ночь, я не могу уйти, пока вы мне не ответите. Не отказывайте мне сейчас! Вы не откажете, я вижу по вашему доброму лицу, такое лицо мне приснилось когда-то во сне. Я вижу по вашим глазам, мисс Мэри! Вы возьмете моего мальчика!

Последний красный луч скользнул выше, засиял в глазах мисс Мэри, дрогнул, побледнел и угас. Солнце село за Красным Ущельем. В тишине сумерек зазвучал нежный голос мисс Мэри:

— Я беру мальчика. Приведите его сегодня вечером.

Счастливая мать поднесла к губам край ее одежды. Она погрузила бы свое разгоряченное лицо в складки этой одежды, если бы посмела. Она поднялась с колен.

— А... этот человек... знает о ваших планах? — спросила вдруг мисс Мэри.

— Нет, да и какое ему дело? Он даже в лицо не знает мальчика.

— Ступайте к нему сейчас же, сегодня же, сию минуту! Скажите ему, что вы сделали. Скажите, что я беру его ребенка и что он не должен больше видеться... с сыном. Он не должен бывать там, где живет ребенок; куда бы я его ни увезла, он не смеет за ним ехать! Вот, а теперь идите, пожалуйста. Я устала... и у меня еще много дел!

Они вместе подошли к дверям. На пороге женщина обернулась.

— Спокойной ночи.

Она хотела упасть к ногам мисс Мэри. Но в ту же минуту молодая девушка протянула руки, на одно корот-

кое мгновение прижала грешницу к своей чистой груди, потом захлопнула и заперла за ней дверь.

На следующее утро Билл-сквернослов садился на козлы дилижанса с непривычным для него чувством величайшей ответственности: среди его пассажиров была учительница. Сворачивая на большую дорогу, он вдруг остановил лошадей, повинуясь приятному голосу, раздавшемуся из дилижанса, и почтительно ждал, пока Томми соскочит по приказу мисс Мэри.

— Не с этого куста, Томми, рядом.

Томми выхватил новый карманный ножик и, срезав ветку с невысокого куста азалии, вернулся с нею к мисс Мэри.

— Теперь все в порядке?

— Все в порядке.

И дверца дилижанса захлопнулась, положив конец идиллии Красного Ущелья.

БРАУН ИЗ КАЛАВЕРАСА

По сдержанному тону разговора и по тому, что из окон уингдэмского дилижанса не шел сигарный дым и не торчали подошвы сапог, было ясно, что среди пассажиров находится женщина. Зеваки на станциях подолгу застаивались перед окнами дилижанса, и их старания наскоро поправить воротничок и шляпу указывали на то, что пассажирка хороша собой. Все это мистер Джек Гемлин, восседавший на козлах рядом с кучером, отметил философски-цинической усмешкой. Не то чтобы он презирал женщин, но он не мог не видеть обманчивости их очарования, зов которого иногда отвлекает человечество от равно ненадежных прелестей покера; заметим кстати, что мистера Гемлина можно было считать олицетворением этой игры.

И потому, ставя узкий ботинок на колесо и спрыгивая вниз, он даже не взглянул на окно, из которого выбивался кончик зеленой вуали, и стал прогуливаться взад и вперед со свойственным людям его профессии скучающим и равнодушным видом, который почти заменяет благовоспитанность. Застегнутый на все пуговицы, сдержанный, он являл резкий контраст остальным пассажирам, их неумеренному волнению и лихорадочному беспокойству, и даже Билл Мастерс, питомец Гарварда, неряшливый, буйно-жизнерадостный, склонный ценить выше меры всякое варварство и беззаконие и уплетавший галеты с сыром, едва ли представлял собой романтическую фигуру рядом с этим одиноким ловцом удачи,

бледным, как греческая статуя, и гомерически спокойным.

Кучер скомандовал: «Все по местам!»—и мистер Гемлин вернулся к дилижансу. Он уже стал ногой на колесо, и его лицо очутилось на одном уровне с окном кареты, как вдруг он встретился взглядом с глазами, которые показались ему самыми прекрасными в мире. Он спокойно соскочил с колеса, сказал несколько слов одному из пассажиров внутри кареты, поменялся с ним билетами и занял его место. Мистер Гемлин не дозволял своим философским воззрениям влиять на решительность и быстроту своих действий.

Боюсь, что такое вторжение мистера Гемлина несколько стеснило остальных пассажиров, особенно тех, кто оказывал внимание даме. Один из них наклонился вперед и, по-видимому, сообщил ей кое-что о профессии мистера Гемлина, определив ее одним словом. Слышал ли это мистер Гемлин, узнал ли он в пассажире почтенного юриста, проигравшего ему на днях несколько тысяч долларов, не могу сказать. Его бледное лицо не изменило выражения; черные глаза, спокойные и наблюдательные, скользнув равнодушно по лицу почтенного джентльмена, остановились на несравненно более приятных чертах его соседки. Стоицизм индейца, унаследованный им, как говорили, от предков по женской линии, служил ему хорошую службу всю дорогу, пока дилижанс не заскрипел по речной гальке на Переправе Скотта и не остановился на время обеда у «Интернациональной» гостиницы. Почтенный юрист вместе с депутатом конгресса выпрыгнули и стали наготове, чтобы помочь выходящей из дилижанса богине, а полковник Старботтл из Сискью завладел ее зонтиком и шалью. При таком изобилии кавалеров дело не обошлось без некоторой заминки и суеты. В это время Джек Гемлин спокойно открыл противоположную дверцу, предложил даме руку с той решительностью и уверенностью, какую умеет ценить слабый и нерешительный пол, и в одно мгновение легко и грациозно помог ей стать на землю, а потом подняться на крыльцо. С козел послышалось фырканье, исходившее, надо полагать, от другого циника, кучера Юбы Билла.

— Глядите в оба, полковник, как бы вам чего не по-

терять! — с притворным участием заметил почтальон, смотря вслед полковнику Старботтлу, который угрюмо плелся в хвосте триумфальной процессии, направлявшейся в общий зал.

Мистер Гемлин не остался обедать. Лошадь его была уже оседлана и дожидалась хозяина. Он поскакал через брод, поднялся на осыпанный галькой косогор и умчался вдаль по пыльной уингдэмской дороге с чувством человека, который стряхивает с себя тяжелый сон. Обитатели запыленных придорожных домиков, прикрыв глаза рукой, смотрели ему вслед, узнавая всадника по лошади и размышляя о том, какая муха укусила Команча Джека. Их любопытство, впрочем, относилось главным образом к лошади, как и следовало ожидать в обществе, где резвость, показанная кобылой Француза Пита во время его бегства от шерифа округа Калаверас, совершенно заслонила собой судьбу всадника и настолько заняла умы, что прославленный беглец уже никого не интересовал.

Почувствовав, что Серый устал, Джек вернулся к действительности. Он придержал лошадь и, свернув на тропу, которой иногда пользовались для сокращения пути, поехал неторопливой рысью, небрежно опустив поводья. Мало-помалу характер пейзажа менялся и становился все более идиллическим. В просветах между стволами сосен и сикомор можно было заметить кое-какие культурные насаждения: крыльцо одного из домишек заплела цветущая лоза; возле другого женщина качала колыбельку под розовым кустом; немного дальше Гемлин встретил босоногих детишек, которые бродили по колено в воде ручья, заросшего ивняком, и своими шутками внушил им такое доверие, что они осмелели и начали карабкаться к нему на седло. Тогда мистеру Гемлину пришлось напустить на себя невероятную свирепость и спасаться бегством, отделавшись поцелуями и несколькими монетками. Въезжая в глубину леса, где уже не было и признаков жилья, он запел таким приятным тенором, исполненным такого покоряющего и страстного чувства, что, я готов ручаться, все малиновки и коноплянки замолчали, прислушиваясь к нему. Голос мистера Гемлина был необработан, слова песни были нелепы и сентиментальны — он научился им у негритянских

певцов, но в тоне и выражении звучало что-то несказанно трогательное. В самом деле это была удивительная картина: сентиментальный мошенник с колодой карт в кармане и револьвером на поясе, оглашающий темный лес жалобной песенкой о «могиле, где спит моя Нелли» с таким чувством, что у всякого слушателя навернулась бы слеза. Ястреб перепелятник, только что заклевавший шестую жертву, почуял в мистере Гемлине родную душу и воззрился на него в изумлении, готовый признать превосходство человека. Хищничал он куда искуснее, однако петь не умел.

Скоро мистер Гемлин снова очутился на большой дороге и перешел на прежний аллюр. На смену лесам и оврагам пришли канавы, кучи песку, оголенные косогоры, пни, гниющие стволы деревьев, предвещая близость цивилизации. Потом показалась колокольня; мистер Гемлин был дома. Еще несколько секунд, и он проскакал по единственной узенькой улице, терявшейся у подножия горы в хаосе вывороченных камней, канав и грудах промытого песка, и спешился перед блестевшими позолотой окнами салуна «Магнолия». Пройдя через длинную комнату бара, он толкнул дверь, обитую зеленым сукном, вошел в темный коридор, отпер своим ключом другую дверь и очутился в плохо освещенной комнате, обстановка которой, весьма изящная и ценная для здешних мест, была изрядно потрепана. Мозаичный столик посредине комнаты был усеян круглыми пятнами, не входившими в первоначальный замысел мастера. Вышивка на креслах выцвела, а зеленая бархатная кушетка, на которую бросился мистер Гемлин, была запачкана в ногах уингдэмской глиной.

Мистер Гемлин не пел в своей клетке. Он лежал неподвижно, глядя на яркую картину, где изображена была молодая особа с пышными формами. Ему пришло в голову, что такой женщины он никогда не видел, а если бы и увидел, то едва ли она ему понравилась бы.

Быть может, он думал о красоте другого типа. Но как раз в эту минуту кто-то постучался в дверь. Не вставая с кушетки, он потянул шнур, который, по-видимому, поднимал щеколду, потому что дверь распахнулась, и в комнату вошел человек.

Вошедший был широкоплечий, здоровый мужчина; его сильной фигуре не соответствовало выражение лица, красивого, но до странности бесхарактерного и к тому же одутловатого от пьянства. Надо полагать, он был пьян, так как пошатнулся, увидев мистера Гемлина, и сказал, заикаясь:

— Я думал, здесь Кэт...— И вид у него был смущенный и растерянный.

Мистер Гемлин ответил ему той же улыбкой, какой улыбался в уингдэмском дилижансе, и сел, вполне отдохнувший и готовый заняться делами.

— Ты, должно быть, не с дилижансом приехал,— продолжал посетитель.

— Нет,— ответил Гемлин,— я сошел на Переправе Скотта. Дилижанс придет не раньше, чем через полчаса. Ну как дела, Браун?

— Ни к черту! — сказал Браун, и лицо его неожиданно выразило безнадежность и отчаяние.— Я опять вдребезги проигрался, Джек,— продолжал он плачущим голосом, который до смешного не соответствовал его грузной фигуре.— Не одолжишь ли ты мне сотню до завтрашней промывки? Мне, видишь ли, нужно послать деньги моей старухе, а, кроме того, ты у меня выиграл в двадцать раз больше.

Вывод был, возможно, не совсем логичен, но Джек пренебрег этим и передал деньги своему гостю.

— Не завирайся насчет старух, Браун,— заметил он вскользь,— скажи лучше, что хочешь попытать счастья в фараон. Ты не женат, сам знаешь.

— В том-то и дело, что женат,— сказал Браун неожиданно серьезным тоном, как будто одно прикосновение золота к ладони прибавило ему важности.—У меня есть жена, да еще какая хорошая, я тебе говорю, в Штатах. Я ее уже три года не видел и уже год, как не писал ей. Вот поправятся дела, нападем на жилу, я привезу ее сюда.

— А как же Кэт? — спросил мистер Гемлин с прежней улыбкой.

Мистер Браун из Калавераса попытался прикрыть плутовским взглядом свое смущение — задача, с которой плохо справились его оплывшее лицо и затуманенный алкоголем мозг,— и сказал:

— Поди ты к дьяволу, Джек, надо же человеку немного поразвлечься, ты и сам знаешь! Брось, лучше давай сыграем по маленькой. Покажи-ка мне, как с моей сотней выиграть другую.

Мистер Гемлин с любопытством поглядел на своего бестолкового друга. Он, должно быть, увидел, что тому суждено проиграть эти деньги, и предпочел, чтоб они снова попали в карман к нему, а не к кому-нибудь другому. Он кивнул и пододвинул стул поближе к столу. В это время в дверь постучались.

— Это Кэт,— сказал мистер Браун. Мистер Гемлин поднял щеколду, и дверь открылась. И тут в первый раз за всю жизнь он совершенно растерялся и, смутившись, вскочил с места, и в первый раз за всю жизнь его бледные щеки залились горячей краской до самого лба. Перед ним стояла пассажирка, которой он помог сойти с дилижанса, а Браун, роняя карты, с истерическим смехом приветствовал ее:

— Моя старуха, разрази меня гром!

Говорят, будто бы миссис Браун ударилась в слезы и осыпала мужа упреками. Я видел ее в Мэрисвилле в 1857 году и не верю этим слухам. А на следующей неделе «Уингдэмская хроника» под заголовком «Трогательное свидание» сообщала: «На прошлой неделе в нашем городе произошло одно из тех прекрасных и трогательных событий, которые так часты в Калифорнии. Жена одного из выдающихся граждан Уингдэма, наскучив вырождающейся цивилизацией Востока и его неблагоприятным климатом, решила приехать к своему мужественному супругу на золотые берега Калифорнии. Не предупредив его о своем намерении, она отважилась на долгое путешествие и прибыла к нам на прошлой неделе. Радость супруга не поддается описанию. По слухам, встреча была невообразимо трогательная. Надеемся, что этот пример не останется без подражаний».

Благодаря влиянию миссис Браун, а быть может, более удачному ходу дел, финансовое положение мистера Брауна начало с этих пор непрерывно улучшаться. Недели через две по приезде жены он откупил у своих компаньонов прииск «Выпей и закуси» на деньги, будто бы выигранные в покер. Однако, если верить слухам, основанным на сообщении миссис Браун, что

муж ее зарекся подходить к карточному столу, деньги эти дал мистер Гемлин. Браун выстроил и отделал «Уингдэмскую гостиницу», которая благодаря популярности хорошенькой миссис Браун была всегда переполнена. Он был выбран депутатом в Собрание и пожертвовал некоторую сумму на церковь. Одну улицу в Уингдэме назвали его именем.

Было, однако, замечено, что по мере того, как богатство его и удача росли, сам он худел, бледнел и становился все мрачнее. По мере того, как успех его жены возрастал, он все чаще раздражался и выходил из себя. Самый влюбленный из мужей, он был ревнив до глупости. Если он не стеснял ее свободы, то потому только, шептали злые языки, что при первой и единственной попытке к этому миссис Браун устроила ему ужасающую сцену, и он присмирел. Почти все сплетни такого рода исходили от представительниц прекрасного пола, вытесненных ею из сердец уингдэмских рыцарей, которые, как и большинство рыцарей, преклонялись перед всякой силой, будь это мужская мощь или женская красота. В оправдание миссис Браун следует, однако, сказать, что со времени своего приезда она, сама того не подозревая, стала жрицей целого мифологического культа, быть может, не более возвышавшего ее женское достоинство, чем тот, которым прославилась старейшая греческая демократия. Думаю, что Браун это до некоторой степени сознавал. Но единственным его поверенным был Джек Гемлин, чья репутация, к несчастью, не позволяла ему сблизиться с этой четой и чьи визиты были поэтому весьма редки.

Был лунный летний вечер; миссис Браун, разрумянившаяся, большеглазая и хорошенькая, сидела на веранде, упиваясь свежим фимиамом горного ветерка и, надо опасаться, другим фимиамом, не таким свежим и гораздо менее невинным. Рядом с ней сидели полковник Старботтл и судья Бумпойнтер и последнее прибавление к ее свите — путешественник-иностранец. Она была настроена как нельзя лучше.

— Что видно на дороге? — спросил галантный полковник, который заметил, что в последние несколько минут внимание миссис Браун было занято чем-то посторонним.

— Пыль,— сказала миссис Браун со вздохом.— Стадо баранов сестрицы Анны[1], больше ничего.

Полковник, литературные познания которого не шли далее вчерашней газеты, понял это буквально.

— Это не бараны,—заметил он,—а верховой. Судья, ведь это Серый Джека Гемлина?

Судья не знал, и, так как миссис Браун нашла, что воздух становится слишком прохладным, они перешли в гостиную.

Мистер Браун был на конюшне, куда обыкновенно удалялся после обеда. Быть может, он хотел выказать этим неуважение к знакомым своей жены, быть может, ему, как другим слабым натурам, доставляло удовольствие проявлять свою власть над беззащитными животными. Он утешался, тренируя рыжую кобылу, которую мог бить и ласкать, сколько душе угодно, чего нельзя было проделывать с миссис Браун. Он заметил знакомую нам серую лошадь и, вглядевшись внимательно, узнал наездника. Браун приветствовал его сердечно и ласково, мистер Гемлин отвечал довольно сдержанно. Однако по настоятельной просьбе Брауна он прошел за ним по черной лестнице в узкий коридор, а оттуда в тесную комнатку, выходившую окнами на конный двор. Обставлена она была скудно: кровать, стол, пара стульев да стойка для ружей и хлыстов.

— Вот это и есть мой дом, Джек,— со вздохом сказал Браун, бросаясь на кровать и указывая приятелю на стул.— Ее комната в другом конце коридора. Вот уже больше полугода живем вместе, а встречаемся только за обедом. Нечего сказать, хорошенькое положеньице для главы дома! — заметил он с принужденным смехом.— Но все равно я рад тебя видеть, Джек, очень, очень рад!— И, встав с кровати, он еще раз пожал неподвижную руку мистера Гемлина.

— Я привел тебя сюда, потому что не хотел разговаривать на конюшне, хотя, по правде говоря, это всему городу известно. Не зажигай огня. Мы и при лунном свете можем поговорить. Клади ноги на подоконник и садись вот тут, рядом со мной. Виски вон в том кувшине.

---

[1] Из сказки Перро «Синяя борода».

Мистер Гемлин не воспользовался этим предложением. Браун из Калавераса повернулся лицом к стене и продолжал:

— Если б я не любил эту женщину, мне бы и горя мало. А то я ее люблю и давным-давно вижу, что она закусила удила, а остановить некому,— это вот меня и убивает! Но все равно я рад тебя видеть, очень, очень рад!

В темноте он нашел ощупью руку приятеля и еще раз пожал. Он хотел удержать ее, но Джек отнял руку, сунул за борт застегнутого сюртука и рассеянно спросил:

— И давно это началось?

— С тех самых пор, как она приехала, с того самого дня, как она вошла в «Магнолию». Я тогда был дураком, Джек; я и теперь дурак, но раньше я и сам не знал, как я ее люблю. А ее с тех пор точно подменили. И это еще не все, Джек; не затем я хотел тебя видеть, и я рад, что ты приехал. Не в том дело, что она меня больше не любит; не в том дело, что она флиртует со всеми, кто только под руку подвернется; может быть, я поставил на кон ее любовь и проиграл ее, как проиграл все остальное; может быть, некоторые женщины не могут не флиртовать, от этого еще нет большого вреда, разве только дуракам. А все-таки, Джек, думается мне, она любит другого. Не вставай, Джек, не надо, если тебе револьвер мешает, сними его. Вот уже больше полугода она кажется несчастной и одинокой и как будто неспокойна и боится чего-то. А иной раз я ловлю ее на том, что она смотрит на меня робко и с жалостью. И посылает кому-то письма. А с прошлой недели она начала собирать свои вещи — побрякушки и тряпки; думается мне, Джек, что она хочет уехать. Я бы все стерпел, кроме этого. Чтоб она уезжала крадучись, по-воровски...— Он уткнулся лицом в подушку, и несколько минут не было слышно ни звука, кроме тиканья часов на камине. Мистер Гемлин закурил сигару и подошел к открытому окну. Луна уже не светила в комнату, и кровать была в тени.

— Что мне делать, Джек?—сказал голос из темноты.

С подоконника ответили быстро и ясно:

— Узнай, кто он, и застрели на месте.

— Что ты, Джек!

— Он знал, на что идет!

— Разве этим ее вернешь?

Джек не ответил, но перешел от окна к двери.

— Не уходи пока, Джек, зажги свечу и садись к столу. Хоть то утешение, что ты со мной.

Джек сначала колебался, потом сел за стол. Он вытащил колоду карт из кармана и стасовал ее, глядя на кровать. Но Браун лежал лицом к стене. Мистер Гемлин стасовал карты, снял с колоды и положил одну карту на противоположный край стола, поближе к кровати, другую сдал себе. Первая была двойка, у него самого — король. Он стасовал и снял еще раз. Теперь у его воображаемого партнера была дама, а у Джека — четверка. Он повеселел, начиная третью сдачу. Она принесла его противнику двойку, а ему опять короля.

— Два из трех,— сказал Джек довольно громко.

— Что такое, Джек? — спросил Браун.

— Ничего.

Теперь Джек попробовал бросить кости; однако он все время выбрасывал шесть очков, а его противник — одно. Сила привычки бывает подчас стеснительна.

Тем временем магическое влияние мистера Гемлина или действие виски, а может быть, и то и другое вместе, принесло облегчение мистеру Брауну, и он уснул.

Мистер Гемлин подвинул свой стул к окну и стал смотреть на город Уингдэм, сейчас мирно спавший. Резкие очертания домов расплылись и смягчились, кричащие краски потускнели и стали нежнее в лунном свете, заливавшем все вокруг. В тишине ему слышно было, как журчит вода в канавах и шумят сосны за горой. Тогда он взглянул на небо, и как раз в это мгновение падающая звезда прорезала мерцающую синеву. За ней другая и третья. Это явление навело мистера Гемлина на мысль о новом способе гадания. Если за четверть часа упадет еще одна звезда... Он просидел с часами в руках вдвое больше назначенного времени, но явление не повторилось.

Часы пробили два, а Браун все еще спал.

Мистер Гемлин подошел к столу, достал из кармана письмо и прочел его при колеблющемся свете свечи. Там была только одна строчка, написанная карандашом, женской рукой.

«Будьте у корраля с коляской в три часа».

Спящий тревожно задвигался и проснулся.

— Ты здесь, Джек?

— Да.

— Не уходи пока, Джек. Я сейчас видел сон. Мне снилось старое время. Будто мы с Сюзанной опять венчаемся, а пастор будто бы — как ты думаешь, кто?— ты, Джек!

Игрок засмеялся и сел на кровать, все еще с письмом в руке.

— Хороший знак, верно? — спросил Браун.

— Ну, еще бы... Скажи-ка, старик, а не лучше ли тебе встать?

«Старик», повинуясь ласковому призыву, поднялся, ухватившись за протянутую руку Гемлина.

— Закурим?

Браун машинально взял предложенную ему сигару.

— Огня?

Джек скрутил письмо спиралью, зажег и протянул приятелю. Он держал письмо, пока оно не сгорело, и уронил остаток — огненную звезду — за окно. Он проследил, как она падает, потом повернулся к своему другу.

— Старик,— сказал он, положив руку на плечо Брауна,— через десять минут я буду в пути, исчезну, как эта искра. Мы больше не увидимся, но, пока я не уехал, прими совет от дурака: продай все, что у тебя есть, возьми жену и уезжай отсюда. Тебе здесь не место, и ей тоже. Скажи ей, что она должна уехать, заставь уехать, если не захочет. Не хнычь о том, что ты не праведник, а она не ангел. Не будь идиотом. Прощай!

Он вырвался из объятий Брауна и бросился вниз по лестнице с легкостью оленя. У конюшни он схватил за шиворот полусонного конюха.

— Оседлай мою лошадь в две минуты, а не то...— Умолчание было как нельзя более внушительно.

— Хозяйка сказала, что вы возьмете коляску,— пробормотал конюх.

— К черту коляску.

Лошадь была оседлана настолько быстро, насколько дрожащие руки конюха могли справиться с пряжками и ремнями.

— Что-нибудь случилось, мистер Гемлин? — спросил конюх, который, как и все слуги, восхищался огневым характером своего патрона и искренне желал ему добра.

— Прочь с дороги!

Конюх отскочил. Проклятие, скачок, стук копыт, и Джек очутился на дороге. Еще минута, и полусонные глаза конюха различили вдали только движущееся облако пыли, к которому звезда, оторвавшаяся от своих сестер, протянула огненную нить.

А рано утром люди, жившие далеко от Уингдэма, услышали голос, чистый, как голос полевого жаворонка. Те, кто спал, повернулись на своем грубом ложе, грезя о юности, любви и прошлых днях. Суровые мужчины, беспокойные искатели золота, поднявшиеся до света, бросили работу и, опираясь на кирку, слушали романтического бродягу, ехавшего легкой рысцой навстречу румяной заре.

БЛУДНЫЙ СЫН МИСТЕРА ТОМСОНА

Все мы знали, что мистер Томсон разыскивает своего сына — детище с весьма неважной репутацией. То, что он только ради этого и едет в Калифорнию, не было секретом для его спутников, а физические приметы, так же как и моральные несовершенства пропавшего без вести блудного отпрыска, стали известны нам благодаря откровенным излияниям родителя.

— Вы рассказывали о молодом человеке, которого повесили в Рыжей Собаке за кражу золотого песка из желоба? — спросил как-то мистер Томсон у одного палубного пассажира.— А какие у него были глаза, не запомнили?

— Черные,— ответил пассажир.

— Гм,— сказал мистер Томсон, перебирая что-то в уме,— у Чарлза были голубые.— И отошел в сторону.

Может статься, виной этому был его грубоватый тон, может, склонность западных жителей подшучивать над любым убеждением или чувством, которое им навязывается, но поиски мистера Томсона служили для пассажиров предметом насмешек. По рукам у них ходило состряпанное кем-то воззвание о пропавшем Чарлзе, адресованное «Всем тюремным надзирателям и сторожам». Каждый вспоминал о своих встречах с Чарлзом при самых прискорбных обстоятельствах. Однако следует отдать должное моим соотечественникам: издевательские шуточки стали утаивать от мистера Томсона, лишь только все узнали, какую солидную сумму он ассигновал тем, кто поможет ему найти сына. В присут-

ствии старика не говорилось ничего такого, что могло бы причинить боль отцовскому сердцу, а равным образом помешать возможному обогащению насмешников. Шутливое предложение мистера Брейси Тибетса образовать акционерное общество по «изысканию» пропавшего юнца пользовалось одно время среди нас большим успехом.

На взгляд поверхностного критика персона мистера Томсона, вероятно, не отличалась ни живописностью, ни приятными чертами характера. Жизнь его, рассказанная как-то за обедом им же самим, была при всей ее необычности построена на весьма практической основе. Прожив суровую, беспокойную юность, схоронив в зрелые годы впавшую в меланхолию жену и доведя сына до того, что тот убежал в матросы, мистер Томсон вдруг обратился к религии.

— Я подцепил это в Нью-Орлеане, в пятьдесят девятом году,— рассказывал он за обеденным столом таким тоном, будто речь шла о заразной болезни.— Вступил в тесные врата. Передайте мне бобы.

Очень возможно, что практические свойства характера помогали мистеру Томсону в его безнадежных поисках. В руках у него не было никаких нитей, ведущих к местонахождению сбежавшего сына, и никаких доказательств, что сын его еще жив. По туманным воспоминаниям о двенадцатилетнем мальчике он надеялся узнать взрослого мужчину.

И наконец мистеру Томсону повезло. Как это случилось, он никогда не рассказывал. Существуют, я полагаю, две версии этого события. Согласно первой, мистер Томсон пришел в больницу и узнал сына по духовному гимну, который больной распевал, вспомнив в бреду свое детство. Версия эта, дававшая повод для высоких чувствований, была весьма популярна, а в изложении его преподобия мистера Гашингтона, вернувшегося из поездки в Калифорнию, неизменно пленяла слушателей. Вторая много сложнее и, раз уж я решил придерживаться ее, заслуживает более подробного рассказа.

Случилось это после того, как мистер Томсон прекратил поиски среди живых и принялся за обследование кладбищ и тщательное изучение равнодушных «здесь

покоится такой-то». В то время он был частым посетителем Одинокой горы — вершины унылой и вдвойне мрачной от белых мраморных памятников, которыми Сан-Франциско, словно якорем, удерживал своих усопших граждан под тонким слоем зыбучих песков и укрывал от свирепого, упорного ветра, силившегося сдуть их с места. Этому ветру старик противопоставлял свою волю, столь же упорную, свое суровое лицо, свои седины и низко надвинутый на лоб высокий цилиндр с креповой повязкой — и проводил целые дни, читая вслух надписи на могилах. Обилие цитат из священного писания радовало его, и он любил сверять их со своей карманной Библией.

— Это из псалмов,— сказал он однажды могильщику, рывшему поблизости могилу. Тот промолчал. Нисколько не смутившись этим, мистер Томсон тут же спрыгнул к нему в яму и задал более практический вопрос.

— Вам не приходилось хоронить некоего Чарлза Томсона?

— Будь он проклят, ваш Томсон! — отрезал могильщик.

— Так оно, вероятно, и есть, если он был неверующий,— сказал старик, выбираясь наверх.

Это происшествие, видимо, задержало мистера Томсона на кладбище дольше обычного. Когда он повернулся лицом к городу, там уже зажигались огни, и яростный ветер, почти заметный на глаз по волнам тумана, гнал старика вперед или прятался в засаду и свирепо налетал на него из-за угла какой-нибудь безлюдной окраинной улицы. На одном из таких углов нечто иное, но столь же злобное и неразличимое в темноте, бросилось на мистера Томсона с бранью, с приставленным в упор пистолетом и с требованием денег. Покушение натолкнулось на железную волю и стальную хватку старика. Грабитель и его жертва упали на землю. Но старик тут же вскочил на ноги, держа в одной руке отобранный пистолет, а другой сжимая горло противника — молодого, рассвирепевшего, готового на все.

— Молодой человек,—проговорил мистер Томсон, почти не разжимая губ,— как вас зовут?

— Томсон!

Пальцы старика, не ослабляя своей хватки, сползли с шеи грабителя ближе к локтю.

— Пойдем, Чарлз Томсон,— сказал он и повел его в гостиницу. Что там произошло, так и осталось неизвестным, но на следующее утро все узнали, что мистер Томсон нашел своего сына.

К только что рассказанной неправдоподобной истории следует добавить, что ни в наружности, ни в поведении молодого человека не было ничего такого, что могло бы придать ей бо́льшую вероятность. Степенный, сдержанный, привлекательной внешности, преданный своему вновь обретенному отцу, он принял достаток и обязанности новой жизни с тем спокойным достоинством, которым общество в Сан-Франциско не могло само похвалиться и потому гнушалось. Кое-кто взирал на это свойство его натуры с презрением, усматривая в молодом человеке склонность к ханжеству; другие находили в нем черточки характера, унаследованные от отца, и предрекали ему такую же нелегкую старость. Все, однако, сходились на том, что степенность этого молодого человека нисколько не противоречит его умению устраивать свои денежные дела, за которое и отца и сына весьма уважали.

И тем не менее старик явно не нашел своего счастья. Может быть, потому, что, добившись цели, он лишился своей миссии; а может быть — и это кажется гораздо более вероятным,— в нем не проснулась любовь к вернувшемуся сыну. Покорность, которой он требовал, оказывалась ему беспрекословно, духовное перерождение сына — то, к чему устремлялись все его помыслы,—было полное; и все-таки ничто не радовало его. Обратив сына на путь истинный, он выполнил то, чего требовала от него религия, а удовлетворения не получил. Ища разгадки этому, старик перечитал притчу о блудном сыне, давно служившую ему руководством к действию, и обнаружил, что забыл о празднестве примирения. Оно должно было скрепить надлежащей торжественностью залог согласия между ним и сыном. И вот через год после появления Чарлза старик Томсон решил устроить пир.

— Пригласи всех, Чарлз,— сказал он сухо,— всех, кто знает, что я вывел тебя из свиного хлева беззакония и вертепа блудниц. Пусть едят, пьют и веселятся.

Может быть, старик преследовал иные цели, еще не вполне ясные ему самому. Его красивый дом, построенный на дюнах, казался подчас холодным и пустым. Он часто ловил себя на том, что старается подметить в строгом лице Чарлза черты маленького мальчика, который едва помнился ему, а за последнее время не выходил у него из ума. Он считал, что это признак надвигающейся старости и стариковских чудачеств. Однажды он увидел в своей чопорной гостиной ребенка служанки, случайно забежавшего туда, и ему захотелось взять его на руки, но ребенок убежал в страхе перед этой седой бородой. Не настало ли время созвать гостей и выбрать из цветника сан-францисских девиц невестку? А потом в доме появится ребенок — мальчик, которого он будет растить и холить с первых же дней его жизни и полюбит так, как не смог полюбить Чарлза.

Все мы были на этом пиру. Пожаловали Смиты, Джонсы, Брауны и Робинсоны, исполненные жизнерадостности, не сдерживаемой и признаком уважения к хозяину, что многим из нас кажется столь обворожительным. Празднество могло бы пройти бурно, если б этому не препятствовало общественное положение некоторых лиц. Нужно сказать, что мистер Брейси Тибетс, наделенный от природы даром подмечать все комическое, а сейчас, кроме того, подстрекаемый лукавыми глазками барышень Джонс, держался так странно, что привлек к себе внимание мистера Чарлза Томсона, который подошел к нему со словами:

— Вам, должно быть, нездоровится, мистер Тибетс. Позвольте мне проводить вас до кареты. Только попробуй сопротивляться, собака, я тебя живо в окно вышвырну. Будьте любезны, сюда, в комнате очень душно и тесно.

Вряд ли следует говорить, что общество слышало только часть этой беседы; остального мистер Тибетс не разглашал и впоследствии очень жалел, что внезапное нездоровье помешало ему быть свидетелем одного забавного происшествия, которое самая бойкая мисс Джонс

назвала «гвоздем программы» и о котором я спешу рассказать здесь.

Случилось это за ужином. Обдумывая то, что ему еще предстояло сделать, мистер Томсон, очевидно, не замечал бесцеремонности молодежи. Как только скатерть была убрана, он поднялся и строго постучал по столу. Хихиканье барышень Джонс подхватила вся их сторона. Чарлз Томсон, сидевший в конце стола, бросил на отца взгляд, озабоченный и нежный.

— Сейчас будет славословить господа бога!

— Прочтет молитву!

— Тише, тише, слово оратору! — слышалось со всех сторон.

— Сегодня исполнился год, братья и сестры во Христе,— сурово, медленно начал мистер Томсон,— сегодня исполнился год с тех пор, как сын мой, расточивший имение свое с блудницами (хихиканье сразу смолкло), вернулся из свиного хлева домой. Посмотрите на него теперь. Чарлз Томсон, встань! (Чарлз Томсон встал.) Прошел ровно год, и посмотрите на него теперь.

Чарлз Томсон, стоявший перед нами в праздничном костюме, бесспорно, был красивый блудный сын, раскаявшийся блудный сын, и он с грустной покорностью встретил суровый, холодный взгляд отца. Младшая мисс Смит бессознательно потянулась к нему от всей глубины своего глупого, чистого сердечка.

— Пятнадцать лет назад он ушел из моего дома,— говорил мистер Томсон,— и стал бродягой и мотом. Я сам, о братья мои во Христе, был полон греха, полон ненависти и злобы (старшая мисс Смит: «Аминь!»), но льщу себя надеждой, что гнев господен минует меня. Вот уже пять лет, как душа моя обрела покой, блаженство коего превыше человеческого разумения. Обрели ли душевный покой вы, друзья мои? (Девицы хором: «Нет, нет!» Кокс, мичман с правительственного шлюпа «Везерфилд»: «А с чем его кушают?») Стучите, и отверзется вам!

— И когда я понял свое заблуждение и оценил сокровище благодати,— продолжал мистер Томсон,— я решил приобщить к ней и своего сына. По морю и посуху искал я его и не падал духом. Я не стал ждать, когда он сам придет ко мне, хотя и мог так сделать, руковод-

ствуясь книгой, величайшей из всех книг. Я разыскал его в свином хлеву, среди... (Конец фразы покрыло шуршание юбок вставших из-за стола дам.) Благие деяния — вот мой девиз, братья во Христе. По делам их узнаете их, и вот оно, мое деяние.

Признанное всеми, узаконенное деяние, на которое ссылался мистер Томсон, побледнело и уставилось на веранду, где в толпе слуг, собравшихся у открытой двери поглазеть на гостей, вдруг поднялась суматоха. Шум не стихал. Человек, одетый в отрепье и, очевидно, пьяный, силой прорвался сквозь толпу и, пошатываясь, вошел в зал. Переход от тумана и темноты к залитой светом теплой комнате ошеломил, ослепил его. Он снял свою потрепанную шляпу, провел ею раз-другой по глазам, стараясь в то же время опереться, впрочем, без особого успеха, на спинку стула. Но вот его блуждающий взгляд остановился на побледневшем лице Чарлза Томсона, и с загоревшимися, словно у ребенка, глазами, засмеявшись визгливым, слабеньким смехом, он кинулся вперед, ухватился за край стола, опрокинул бокалы и буквально упал на грудь блудного сына.

— Чарли! Подлец ты этакий. Здравствуй, здравствуй, дружище!

— Тише, сядь, успокойся! — сказал Чарлз, стараясь поскорее вырваться из объятий непрошеного гостя.

— Нет, вы только полюбуйтесь на него! — Не слушая уговоров, незнакомец держал несчастного за плечи и с нескрываемым восхищением разглядывал его праздничный костюм. — Полюбуйтесь! Хорош красавчик? Ну, Чарли, я горжусь тобой.

— Вон из моего дома! — сказал мистер Томсон, поднявшись из-за стола и грозно блеснув серыми, холодными глазами. — Чарлз, как ты смеешь?

— Не кипятись, старикашка! Чарли, кто этот старый индюк? А?

— Тише, тише, вот выпей! — Дрожащими руками Чарлз Томсон налил стакан вина. — Выпей и уходи; завтра — в любое время, а сейчас уходи, уходи отсюда! — Но, не дав жалкому оборванцу выпить вино, старик, бледный от ярости, кинулся к нему. Приподняв его своими сильными руками и протащив сквозь круг испуганных гостей, он уже подошел к дверям, распахнутым слугами,

когда Чарлз Томсон, словно очнувшись от оцепенения, крикнул:

— Остановитесь!

Старик остановился. Сквозь открытую дверь в комнату влетал ледяной ветер и туман.

— Что это значит? — спросил он, злобно насупив брови.

— Ничего, только остановитесь, ради бога! Не сегодня, подождите до завтра. Не надо, умоляю вас, не надо!

Может быть, мистер Томсон почувствовал что-то в голосе молодого человека, может быть, соприкосновение с оборванцем, которого он сдерживал своими сильными руками, остановило его, но сердце старика вдруг сжалось от неясного, смутного страха.

— Кто... кто это? — хрипло прошептал он.

Чарлз молчал.

— Отойдите! — крикнул старик окружавшим его гостям.— Чарлз, иди сюда! Я приказываю, я... я прошу тебя, скажи, кто этот человек?

Только двое расслышали ответ, который беззвучно прошептал Чарлз Томсон:

— Ваш сын.

Утро, забрезжившее над унылыми дюнами, уже не застало гостей в парадных покоях мистера Томсона. Лампы все еще горели тусклым и холодным огнем в этом доме, покинутом всеми, кроме троих мужчин, которые сбились в кучку, словно ища тепла в нетопленном зале. Один из них забылся пьяным сном на диване; у ног его пристроился другой, известный раньше под именем Чарлза Томсона; а возле них, устремив свои серые глаза в одну точку, поставив локти на колени, закрыв уши руками, словно стараясь не слышать печального, настойчивого голоса, который, казалось, наполнял всю комнату, сидел измученный и сразу осунувшийся мистер Томсон.

— Видит бог, я не хотел обманывать вас. Имя, которое я назвал тогда, было первое, что пришло мне в голову, имя человека, которого я считал умершим, беспутного товарища моей постыдной жизни. А когда вы начали расспрашивать меня, я вспомнил то, что слышал от него самого, и решил смягчить ваше сердце и добить-

«СЧАСТЬЕ РЕВУЩЕГО СТАНА»

«КОМПАНЬОН ТЕННЕССИ»

ся свободы. У меня была только одна эта цель — свобода, клянусь вам! Но когда вы назвали себя и я увидел, что передо мной открывается новая жизнь, тогда, тогда... О, сэр! Покушаясь на ваш кошелек, я был голоден, безрассуден, не имел крова над головой, но на вашу любовь покусился человек беспомощный, отчаявшийся, познавший тоску!

Старик сидел неподвижно. Только что объявившийся блудный сын мирно похрапывал на своем роскошном ложе.

— У меня нет отца. Я никогда не знал другого дома, кроме вашего. Передо мной встало искушение. Мне было хорошо, так хорошо все это время!

Он встал и подошел к старику.

— Не бойтесь, я не стану оспаривать права вашего сына. Сегодня я уйду и никогда больше не вернусь сюда. Мир велик, сэр, а ваша доброта научила меня искать честный жизненный путь. Прощайте! Вы не хотите подать мне руку? Ну, что ж! Прощайте!

Он отошел от него. Но, дойдя до двери, вдруг вернулся и, взяв обеими руками седую голову, поцеловал ее раз и еще раз.

— Чарлз!

Ответа не было.

— Чарлз!

Старик поднялся и, шатаясь, подошел к порогу. Дверь была открыта. До него донесся шум просыпающегося большого города, навсегда поглотивший звуки шагов блудного сына.

ИЛИАДА СЭНДИ-БАРА

Около девяти часов утра на реке стало известно, что компаньоны с участка «Дружба» поссорились и на рассвете разошлись.

Шум перебранки и звук двух пистолетных выстрелов, последовавших один за другим, привлекли внимание их ближайшего соседа.

Выбежав из хижины, он разглядел сквозь серый туман, поднимавшийся с реки, высокую фигуру Скотта, одного из компаньонов, который спускался с горы к ущелью; минутой позже из хижины вышел второй компаньон, Йорк, и, пройдя в нескольких шагах от любопытного наблюдателя, свернул в противоположную сторону, к реке.

Позднее выяснилось, что часть ссоры произошла на глазах у одного серьезного и положительного китайца, рубившего лес перед хижиной.

Но Джон[1] держался спокойно, бесстрастно и отмалчивался.

— Моя рубила лес, моя не дралась,— таков был безмятежный ответ на все нетерпеливые расспросы.

— А что они все-таки *говорили*, Джон?

Джон не знал.

Полковник Старботтл бегло перечислил несколько общеизвестных эпитетов, которые люди невзыскательные могли бы счесть достаточным поводом для драки. Но Джон отверг их.

[1] Принятое в Калифорнии в описываемое время обращение к китайцу; китаец, в свою очередь, называл «Джоном» американца.

— И такую-то вот скотину,— с некоторым ожесточением сказал полковник,— кое-кто хочет допустить в суд, чтобы они показывали против нас, белых! Пшел вон, язычник!

Итак, причина ссоры осталась неразгаданной.

То, что два человека, дружелюбие и выдержка которых заслужили им в обществе, не отличающемся добродетелями, почетное прозвище «миротворцев», то, что эти крепко привязанные друг к другу люди вдруг поссорились и поссорились серьезно, вполне могло возбудить в поселке любопытство.

Те, кто подотошнее, посетили место недавней ссоры, оставленное теперь его прежними обитателями.

В опрятной хижине не было обнаружено ни беспорядка, ни следов драки. Грубо сколоченный стол был накрыт, должно быть, к завтраку; сковорода с лепешками все еще стояла на очаге, потухшие угли которого могли служить олицетворением страстей, бушевавших здесь какой-нибудь час назад.

Но глаза полковника Старботтла, хоть они и были у него несколько воспаленные и слезились, подметили более существенные детали. После осмотра хижины в дверной притолоке был обнаружен след пули, а в оконной раме, почти напротив, вторая вмятина. Полковник Старботтл обратил внимание присутствующих на тот факт, что одна вмятина точка в точку совпадала с калибром револьвера, принадлежавшего Скотту, а другая — с калибром пистолета, который был у Йорка.

— Вот они как стояли,— сказал полковник, занимая соответствующую позицию,— футах в трех друг от друга — и промахнулись!— В голосе полковника слышались горестные нотки, что произвело должное действие на его слушателей. Тонкий намек на неосуществленные здесь возможности поразил всех.

Однако Сэнди-Бару было суждено испытать еще большее разочарование.

Противники не виделись со времени ссоры, но в поселке ходили смутные слухи, будто оба они решили пристрелить один другого при первой же встрече. И поэтому Сэнди-Бар охватило волнение, не лишенное, я бы сказал, некоторой приятности, когда в десять часов утра Йорк вышел из салуна «Магнолия» на единствен-

ную в поселке длинную и беспорядочно раскинувшуюся улицу, в ту же самую минуту, как Скотт появился на пороге кузницы у перекрестка дорог. С первого же взгляда всем стало ясно, что избежать встречи они смогут только в том случае, если кто-нибудь из них отступит назад.

Двери и окна ближайших салунов мгновенно запестрели лицами. Над береговым откосом из-за прибрежных камней откуда ни возьмись возникли чьи-то головы. Пустой фургон, стоявший у дороги, вмиг наполнился зрителями, словно выскочившими из-под земли. На склоне холма поднялась беготня и суматоха. Мистер Джек Гемлин остановил лошадь посреди дороги и во весь рост встал в двуколке прямо на сиденье.

А тем временем оба предмета столь пристального внимания приближались друг к другу.

— Йорку солнце прямо в глаза! Скотт уложит его вон у того дерева. Выжидает, когда целиться,— послышалось из фургона.

Потом наступила тишина.

А река тем временем бежала и пела свое, ветер с обидным равнодушием шумел в верхушках деревьев. Полковник Старботтл почувствовал это и в минуту наивысшей сосредоточенности, не оглядываясь, помахал за спиной палкой, как бы одергивая природу, и сказал: — Тш-ш!

Противники сходились все ближе и ближе. Одному из них дорогу перебежала курица. Крылатое семечко, слетевшее с дерева, опустилось у ног другого. И не замечая этого иронического комментария природы, они шагали навстречу друг другу, насторожившись, напрягшись всем телом, наконец сблизились, обменялись взглядом и — разошлись в разные стороны.

Полковника Старботтла пришлось снять с фургона.

— Выдохся наш поселок,— мрачно проговорил он, позволив отвести себя под руки в «Магнолию».

Трудно сказать, в каких выражениях полковник излил бы в дальнейшем свои чувства, если б в эту минуту к их группе не присоединился Скотт.

— Вы ко мне изволили обращаться? — спросил он полковника, как бы невзначай опуская руку на плечо этого джентльмена.

Почувствовав некие мистические свойства этого прикосновения и необычную значительность взгляда своего собеседника, полковник удовольствовался тем, что с большим достоинством ответил:

— Нет, сэр!

Поведение Йорка, стоявшего неподалеку от салуна, было столь же примечательным и странным.

— Ведь дело было верное; почему же ты его не ухлопал? — спросил Джек Гемлин, когда Йорк подошел к его двуколке.

— Потому что я его ненавижу,— последовал ответ, слышный только Джеку.

Вопреки распространенному мнению Йорк не прошипел эти слова сквозь зубы, а произнес их совершенно обычным тоном. Но Джек Гемлин, знаток человеческой натуры, помогая Йорку залезть в двуколку, заметил, что руки у него были холодные, губы пересохшие, и выслушал этот парадокс с улыбкой.

Убедившись, что ссору между Йорком и Скоттом не уладить обычными местными способами, Сэнди-Бар перестал интересоваться ею. Но вскоре пронесся слух, будто участок «Дружба» стал предметом судебной тяжбы и оба компаньона, не жалея затрат, собираются доказывать свои права на него.

Поскольку было известно, что участок выработан и никакой ценности собой не представляет, а компаньоны, разбогатевшие на нем, собирались бросить его за каких-нибудь два-три дня до ссоры, поводом к тяжбе можно было счесть только беспричинную злобу.

Через некоторое время в этой простодушной Аркадии появились двое адвокатов из Сан-Франциско, которые вскоре завоевали почетное место в салуне и — что почти одно и то же — доверие здешней публики.

Прямым следствием этого предосудительного содружества были многочисленные вызовы в суд; и когда разбор дела об участке объявили к слушанию, все обитатели Сэнди-Бара пожаловали в здание суда если не по вызову, то просто из любопытства.

Ущелья и канавы на несколько миль в окружности обезлюдели.

Я не собираюсь описывать этот ставший знаменитым процесс. Достаточно сказать, что, по словам адвоката истца, он «имел из ряда вон выходящее значение, ибо коснулся прав, вытекающих из неустанного трудолюбия, с которым разрабатывались сокровища этого золотого дна»; а согласно простецкой терминологии полковника Старботтла, процесс этот был не чем иным, как «ерундой, которую джентльмены могли уладить в десять минут за стаканом виски, если бы они смотрели на вещи поделовому, или в десять секунд с помощью револьвера, если бы искали случая поразвлечься».

Дело выиграл Скотт, и Йорк немедленно подал апелляцию. Говорили, что он поклялся всадить все до последнего доллара в эту борьбу.

Таким образом, Сэнди-Бар начал привыкать к тому, что ссора прежних компаньонов перешла во вражду на всю жизнь, и забыл об их былой дружбе. Тех немногих, кто надеялся узнать на суде ее причину, постигло разочарование. В поселке, склонном вообще считать достоинства женского пола весьма спорными, среди прочих поводов для ссоры выставляли и тайное влияние женщины.

— Попомните мое слово, друзья,— сказал однажды полковник Старботтл, считавшийся в Сакраменто «джентльменом старой школы»,— в этой истории замешана какая-то прелестница.

В подтверждение своей теории галантный полковник рассказал несколько забавных происшествий, которые обычно любят рассказывать джентльмены старой школы, но из уважения к предрассудкам джентльменов более поздних школ я воздержусь и не стану передавать их здесь.

Однако из дальнейшего выяснится, что и эта теория оказалась ошибочной. Единственной женщиной, которая могла бы как-то повлиять на отношения друзей, была хорошенькая дочка старика Фолинсби из Поверти-Флета, в гостеприимном доме которого, не лишенном некоторого комфорта и изящества, редко встречающихся в этом мире несовершенной цивилизации, и Йорк и Скотт были частыми гостями. Впрочем, однажды вечером, спустя месяц после ссоры, Йорк заглянул в этот очаровательный приют и, увидев там Скотта, обратился к хорошенькой хозяйке с кратким вопросом:

— Вы любите этого человека?

В своем ответе молоденькая девушка воспользовалась теми самыми словами, пылкими и в то же время уклончивыми, которые в подобном случае пришли бы на ум большинству моих очаровательных читательниц.

Не сказав больше ни слова, Йорк вышел.

«Мисс Джо» испустила едва слышный вздох, лишь только дверь скрыла от нее кудри и широкие плечи Йорка, и, как следовало порядочной девушке, вернулась к своему оскорбленному гостю.

— И ты поверишь, милочка,— рассказывала она потом одной близкой приятельнице,— тот, другой, сверкнул на меня глазами, встал на дыбы, взял шляпу и тоже ушел; только я их обоих и видела.

Подобное крайнее пренебрежение к интересам и чувствам других людей характеризовало все поступки бывших компаньонов, когда дело шло об утолении их слепой злобы.

Когда Йорк купил участок ниже новой заявки Скотта и заставил его солидно потратиться на устройство спуска воды обходным путем, Скотт отомстил тем, что загородил реку плотиной, тем самым затопив заявку Йорка.

Не кто иной, как Скотт в соучастии с полковником Старботтлом первым начал кампанию против китайцев, закончившуюся тем, что Йорку пришлось расстаться со своими желтокожими рабочими; не кто иной, как Йорк провел в Сэнди-Бар проезжую дорогу и пустил по ней дилижанс, после чего мулы и караваны Скотта остались не у дел; не кто иной, как Скотт организовал Комитет бдительности, изгнавший из поселка приятеля Йорка Джека Гемлина; не кто иной, как Йорк стал выпускать газету «Вестник Сэнди-Бара», которая назвала это мероприятие «возмутительным беззаконием», а Скотта — «бандитом»; не кто иной, как Скотт во главе двадцати замаскированных молодчиков однажды ночью при луне спустил в желтую воду реки столь оскорбительные для него печатные формы и рассыпал типографский шрифт по пыльной дороге.

В отдаленных и более цивилизованных городах на все эти дела смотрели как на первые признаки прогресса и жизнеспособности поселка.

Передо мной лежит номер еженедельника «Пионер Поверти-Флета» от 12 августа 1856 года, в передовой статье которого под заголовком «Наши успехи» говорится: «Постройка новой пресвитерианской церкви на «С»-стрит в Сэнди-Баре закончена. Церковь выросла на том самом месте, где был раньше салун «Магнолия», сгоревший месяц тому назад при совершенно загадочных обстоятельствах. Храм, словно феникс, возникший из пепла «Магнолии», является даром эсквайра Г. Дж. Йорка из Сэнди-Бара, купившего участок и предоставившего строительные материалы. Тут же поблизости поднимаются и другие здания, и самое приметное из них — почти напротив церкви — салун «Солнечный Юг», который строит капитан Мэт Скотт. Капитан не пожалел затрат на оборудование этого салуна, обещающего стать приятнейшим местом отдохновения в старой Туолумне. На днях он приобрел для будущего салуна два первоклассных новых бильярда с пробковыми бортами. Наш старый приятель Горец Джимми будет продавать там спиртные напитки. Мы обращаем внимание наших читателей на объявления в следующем столбце. Навестив Джимми, гости нашего Сэнди-Бара не пожалеют об этом».

В местной хронике мне попалась следующая заметка: «Г. Дж. Йорк, эсквайр, предлагает вознаграждение в размере ста долларов за поимку лиц, утащивших в прошлое воскресенье во время вечерней службы ступеньки новой пресвитерианской церкви на «С»-стрит в Сэнди-Баре. Капитан Скотт также предлагает сотню долларов всякому, кто задержит злоумышленников, разбивших вечером следующего дня великолепные зеркальные стекла нового салуна. Ходят слухи о реорганизации Комитета бдительности в Сэнди-Баре».

Прошли долгие месяцы. Жестокое недреманное солнце Сэнди-Бара успело много раз зайти, оставляя позади себя неуемную ярость этих людей, когда в поселке начали поговаривать о посредничестве. В частности, священнослужитель той новой церкви, о которой я только что упоминал, чистосердечный, бесстрашный, но, видимо, не очень проницательный человек, с радостью воспользовался щедрым даром Йорка, чтобы попытаться примирить бывших компаньонов. Он произнес проникновенную проповедь на отвлеченную тему о греховности раздоров и

вражды вообще. Но в своих блестящих проповедях его преподобие мистер Доус обращался к идеальному приходу — к приходу, который состоял из людей, олицетворяющих собой только порок или же только добродетель, из людей единых помыслов, мыслящих логически, исполненных детской веры, сверхъестественной чистоты душевной и в то же время зрело оценивающих свои поступки.

Прихожане мистера Доуса в большинстве своем были люди самые обычные, не без хитрецы, но добродушные, наделенные всеми человеческими слабостями и более склонные к самооправданию, чем к самообвинению, и они преспокойно пропустили мимо ушей ту часть проповеди, которая касалась их самих, и, глядя на Йорка и Скотта, бросавших всем вызов своим присутствием в церкви, с чувством удовлетворения — боюсь, не совсем христианским — слушали, как тех «пробирают с песочком».

Если мистер Доус ожидал, что Йорк и Скотт обменяются рукопожатием после проповеди, то ему пришлось разочароваться. Но он не отступился от своей цели. С той спокойной отвагой и решительностью, которые заслужили ему уважение людей, склонных отождествлять благочестие с мягкотелостью, он атаковал Скотта в его собственном салуне. Что говорил там мистер Доус, осталось неизвестным; подозреваю, что это было повторением некоторых пунктов его проповеди. Как только он кончил, Скотт без всякой злобы посмотрел на него поверх посуды, стоявшей на стойке, и сказал далеко не так сурово, как можно было бы ожидать:

— Молодой человек, я ценю ваше красноречие, но когда вы будете знать Йорка и меня так же близко, как господа бога, вот тогда мы с вами побеседуем.

Итак, вражда разгоралась все больше и больше; и, как и во многих других случаях, более известных миру, личная неприязнь двух людей стала поводом к возникновению так называемых «принципов» и «убеждений».

Вскоре выяснилось, что убеждения эти соответствуют основным принципам, которые были сформулированы создателями американской конституции, как это подробно изъяснял государственный ум Икс (или, наоборот, являются той роковой пучиной, которая может погубить государственный корабль, как предостерегал красноречивый Игрек). Практическим результатом всего этого было

то, что Йорка и Скотта выдвинули в законодательные учреждения от двух враждующих партий Сэнди-Бара.

Неделю за неделей после этого плакаты крупными буквами взывали к избирателям Сэнди-Бара и соседних поселков: «Объединяйтесь!» Напрасно высокие придорожные сосны, к стволам которых прибили и этот и многие другие призывы, противились такому насилию и стонали, покачивая своими овеянными ветром сторожевыми башнями!

В один прекрасный день к рощице у входа в ущелье с барабанным боем, с яркими плакатами подошла процессия. Собрание открыл полковник Старботтл, чья поддержка почти обеспечивала Йорку победу на выборах, поскольку полковник считался опытным в делах этого рода и пользовался неопределенной репутацией «боевого коня». Речь в пользу своего друга полковник заключил провозглашением кое-каких бесспорных принципов вперемежку с анекдотами, настолько рискованными, что, кажется, даже сосны могли бы возмутиться и закидать его опадающими шишками. Но полковник рассмешил своих слушателей, смех помог Йорку завладеть всеобщим вниманием, и когда он поднялся на трибуну, его встретили приветственными криками. Ко всеобщему удивлению, оратор начал с того, что принялся всячески поносить своего соперника. Он распространялся не только о деяниях и проступках Скотта в Сэнди-Баре, но заговорил также о фактах, относившихся к началу его карьеры и до сих пор никому здесь не известных. К точности эпитетов и прямоте речи добавлялась сенсационность разоблачений. Толпа кричала, подбадривала его и была в полном восторге, но когда эта ошеломляющая филиппика подошла к концу, раздались единодушные возгласы: «Давай сюда Скотта!»

Полковник Старботтл попытался было бороться с этой вопиющей бестактностью, но тщетно. Руководствуясь то ли чувством элементарной справедливости, то ли более низменной потребностью поразвлечься, собрание стояло на своем, и Скотта привели, протолкнули вперед и заставили подняться на трибуну.

В ту минуту, когда его нечесаная шевелюра и всклокоченная борода появились над перилами, всем стало ясно, что он пьян. Однако не успел Скотт и слова ска-

зать, как собравшиеся почувствовали, что перед ними стоит подлинный оратор Сэнди-Бара, единственный человек, который способен завоевать их неустойчивые симпатии (может быть, потому, что он не гнушался взывать к ним). Уверенность в себе придала Скотту чувство достоинства, и подозреваю, что состояние, в котором он находился, пленяло его слушателей, видевших в этом признаки царственной свободы и широты натуры. Как бы там ни было, но стоило только этому нежданному-негаданному Гектору выбраться из канавы, как мармидоняне Йорка дрогнули.

— Все до последнего слова, джентльмены,— начал Скотт, наклоняясь над перилами,— все до последнего слова из того, что говорил этот человек,— сущая правда. Меня выгнали из Каиро; я на самом деле был связан с бандитской шайкой; я на самом деле дезертировал из армии; я бросил жену в Канзасе. Но числится за мной еще один неблаговидный поступок, которым он меня не попрекнул, должно быть, просто по забывчивости. Три года, джентльмены, я был компаньоном этого человека!

Собирался ли Скотт говорить дальше, не знаю: буря аплодисментов придала его успеху художественную полноту и завершенность и предрешила его избрание. Этой же осенью он отправился в Сакраменто, а Йорк уехал за границу; и впервые за долгие годы расстояние и новая обстановка, в которой они оба очутились, разъединили старых врагов.

Мало принеся нового зеленому лесу, серым скалам и желтой реке, но сильно раздвинув вехи, поставленные человеком, и населив поселок новыми лицами, над Сэнди-Баром пролетели три года. Два его обитателя, когда-то крепко с ним связанные, казалось, были совсем забыты.

— Вы уже никогда не вернетесь в Сэнди-Бар,— сказала мисс Фолинсби, «Лилия Поверти-Флета», встретившись с Йорком в Париже.— Ведь Сэнди-Бара больше нет. Теперь он называется Риверсайд, и новые кварталы выстроили выше по реке. Да, кстати, Джо говорит, что Скотт выиграл дело об участке «Дружба», живет теперь в старой своей хижине и почти всегда пьяный. Ах, простите,— добавила эта жизнерадостная особа, увидев, как

румянец залил бледные щеки Йорка.— Боже мой, я была уверена, что старая вражда кончилась! По-моему, давно пора.

Через три месяца после этого разговора в прекрасный летний вечер у веранды «Юнион-Отеля» в Сэнди-Баре остановился дилижанс из Поверти-Флета.

Один из пассажиров в хорошо сшитом костюме и с чисто выбритым лицом, по местным понятиям, «чужак», потребовал отдельный номер и рано удалился к себе. Но на следующее утро приезжий встал еще до восхода солнца и, вынув из саквояжа другую смену одежды, облачился в белые парусиновые брюки и белую парусиновую рубаху, а на голову надел соломенную шляпу. Одевшись, он завязал узлом красную шелковую косынку на шее и расправил ее по плечам. Превращение получилось полное. Когда он бесшумно спустился по лестнице и вышел на улицу, никто не сказал бы, что это все тот же щеголеватый незнакомец. Только несколько человек узнали Генри Йорка из Сэнди-Бара.

Неверный свет раннего утра и перемены, происшедшие в поселке, заставили Йорка немного помедлить, прежде чем он понял, где находится.

Сэнди-Бар, каким он его помнил, был расположен возле самой реки, а дома, стоявшие вокруг, были позднейшей стройки и более современные на вид. По дороге к реке ему попадались то новая школа, то церковь, которых раньше не было. Еще немного дальше — и появился салун «Солнечный Юг», превратившийся теперь в ресторан, хотя позолота на нем потускнела и штукатурка облупилась. Теперь уже Йорк знал, куда ему идти, и, быстро сбежав по косогору, перешагнул через канаву и остановился у нижней границы участка «Дружба».

Серый туман медленно поднимался над рекой, цепляясь за верхушки деревьев, всползая по горному склону, и, наконец, заплутавшись среди здешних каменных алтарей, был принесен в жертву восходящему солнцу.

Земля под ногами Йорка, которую он когда-то безжалостно исполосовал и изранил своими инструментами, успела покрыться зеленью за эти долгие годы и теперь улыбалась ему всепрощающей улыбкой, словно говоря, что в конце концов жизнь не так уж плоха.

Стайка птиц купалась в канаве, да так весело, будто

канава эта была новшеством, специально уготованным для них природой. Завидев Йорка, заяц юркнул в опрокинутый желоб для промывки золотого песка, будто желоб только с этой целью там и положили.

Йорк все еще не решался взглянуть прямо перед собой. Но солнце поднялось высоко, и лучи его уже золотили холм, на котором стояла хижина. Несмотря на все свое самообладание, Йорк почувствовал, как у него забилось сердце, лишь только он поднял на нее глаза. Окна и дверь хижины были закрыты, дым из ее глинобитной трубы не шел, но во всем остальном она нисколько не изменилась. За несколько шагов до нее Йорк подобрал с земли сломанный заступ, с улыбкой поднял его на плечо, медленно подошел к двери и постучался. Изнутри не донеслось ни звука. Улыбка замерла у Йорка на губах, и он порывисто толкнул дверь.

Какой-то человек вскочил с койки и сердито шагнул к Йорку навстречу, человек, воспаленные глаза которого вдруг с изумлением уставились на него, а руки, протянутые было вперед, поднялись предостерегающе, человек, который вдруг охнул, захрипел и в припадке стал валиться на пол.

Йорк вовремя подхватил его и вытащил на воздух, на солнце. Оба они упали, перевалившись друг через друга. Но Йорк тут же поднялся и сел, держа на коленях судорожно бившееся тело своего прежнего компаньона и вытирая пену с его подергивающихся губ. Постепенно судороги стали все реже и реже, потом вовсе прекратились, и Скотт затих у него на руках.

Йорк сидел неподвижно, вглядываясь в лицо своего компаньона. Доносившийся из лесу стук топора — еле слышный, призрачный звук — только и нарушал тишину. Высоко над ними кружил в небе ястреб. А потом послышались голоса, подошли двое мужчин.

— Драка?

Нет, припадок; не помогут ли они перенести больного в гостиницу?

И там занемогший компаньон Йорка лежал неделю, не зная ничего, кроме видений, навязанных болезнью и страхом. На восьмой день перед рассветом он очнулся, открыл глаза и, взглянув на Йорка, пожал ему руку, потом заговорил:

— Значит, и правда ты? А я думал, это виски надо мной измывается.

Вместо ответа Йорк взял его руки в свои и, облокотившись о край койки, с ласковой улыбкой стал шутя разводить их из стороны в сторону.

— Ведь ты был за границей? Ну, как Париж, понравился?

— Да ничего. А как тебе Сакраменто?

— Первый сорт.

И это было все, что они смогли сказать друг другу.

Вскоре Скотт снова открыл глаза.

— Ослаб я здорово.

— Ничего, скоро поправишься.

— Вряд ли.

Наступило долгое молчание; они слышали, как где-то рубят лес, как Сэнди-Бар просыпается и начинает свой новый день.

Потом Скотт медленно, с трудом повернулся к Йорку и сказал:

— Я ведь тогда чуть не убил тебя.

— И жалко, что не убил.

Они снова пожали друг другу руки, но пальцы Скотта заметно слабели. Он собирал всю свою волю для какого-то последнего усилия.

— Старик!

— Дружище!

— Ближе!

Йорк нагнулся над его бледнеющим лицом.

— Ты помнишь то утро?.. И все еще сердишься?

— Да.

Легкая усмешка мелькнула в уголке голубых глаз Скотта, когда он шепнул:

— Старик, а ведь ты *переложил* тогда соды в лепешки.

Говорят, что это были его последние слова.

И когда солнце, которое столько раз заходило, оставляя позади себя пустую злобу этих глупцов, снова взглянуло на них, теперь примирившихся, оно увидело, что холодная рука Скотта выпала из рук его бывшего компаньона, не ответив ему на горячее пожатие, и поняло, что вражде, родившейся в Сэнди-Баре, пришел конец.

ПОЭТ СЬЕРРА-ФЛЕТА

Энергичный редактор «Вестника Сьерры», стоя у наборной кассы и составляя очередной номер газеты к следующей неделе, не мог не слышать стукотни дятлов на крыше. Ему пришло в голову, что дятлы, должно быть, еще не научились видеть в этой примитивной постройке явление прогресса, и эта мысль так ему понравилась, что он тут же внес ее в передовицу, над которой трудился за двоих: как наборщик и как автор. Ибо редактор «Вестника» был также и наборщиком «Вестника», и хотя считалось, что влияние этой замечательной газеты распространяется на весь округ Калаверас и большую часть округа Туолумны, строжайшая экономия была одним из необходимых условий ее процветания.

От своего дела редактор был оторван появлением небольшой, скатанной в трубку рукописи, которая влетела в открытую дверь и упала к его ногам. Он подбежал к двери и выглянул на пропадавшую в кустах тропу, которая вела к проезжей дороге. Но таинственного репортера нигде не было видно. Заяц медленно заковылял прочь, золотисто-зеленая ящерица замерла на сосновом пне, и дятлы прекратили свою возню. Безлюдье в лесу было настолько полным, что редактор затруднился приписать эту выходку человеку. Скорее могло показаться, что у зайца какой-то виноватый вид, что дятлы недаром так многозначительно примолкли и что ящерица окаменела, терзаемая раскаянием.

Однако, рассмотрев рукопись, он сознался, что был несправедлив к беззащитной природе. Это были стихи,

плохие до крайности, и потому они, несомненно, являлись делом человеческих рук. Редактор отложил их в сторону. В эту минуту ему показалось, что за окном мелькнуло чье-то лицо. В негодовании выскочив за дверь, он обшарил кустарник вокруг дома, но поиски его остались по-прежнему бесплодными. Поэт — если только это был он — скрылся.

Несколько дней спустя редактора в его уединении потревожили голоса, звучавшие то просительно, то убеждающе. Подойдя к порогу, редактор изумился, увидев мистера Моргана Мак-Коркла, почтенного гражданина поселка Ангела и подписчика газеты, который отчасти силой, отчасти уговорами направлял какого-то нескладного юнца к дверям редакции. Достигнув наконец своей цели и благополучно усадив свою жертву на стул, Мак-Коркл снял шляпу, старательно вытер узкую полоску лба, отделявшую его черные брови от щетинистых волос, и, махнув рукой в сторону упиравшегося спутника, объяснил:

— Прирожденный поэт и дурак, каких свет не создавал!

Приняв улыбку редактора за согласие познакомиться с поэтом, мистер Мак-Коркл отфыркнулся и продолжал:

— А еще не хотел идти! Говорит: «Господин редактор не пожелает меня видеть». «Пожелает! — говорю.— Ты прирожденный поэт, а он прямо-таки гений, неужто вы не столкуетесь?» Вот я его и привел. Стой, стой, куда ты?

Прирожденный поэт, выказывая все признаки смущения, пустился было бежать. Но Мак-Коркл немедленно настиг его, схватил за полы длинного парусинового сюртука и усадил обратно на стул.

— И бежать тебе некуда. Пришел — так сиди, ведь ты прирожденный поэт, хоть и труслив, как заяц. Вот, полюбуйтесь на него!

Поэт отнюдь не являл собою привлекательного зрелища. В его бесхарактерном лице едва ли была хоть одна черта, достойная внимания, кроме глаз, влажных, робких и напоминавших глаза того животного, с которым сравнил его Мак-Коркл. Это было то самое лицо, которое редактор видел в окне.

— Четыре года я его знаю, с тех пор как он еще маль-

чишкой был,— продолжал Мак-Коркл громким шепотом.— Вот всегда он такой, убей меня бог. Рифмы для него ничего не стоят: раз, два— и готово. А ведь образования никакого и всю жизнь прожил в Миссури. Зато стихи из него так и прут. Еще сегодня утром спрашиваю его (а он живет вместе со мной). «Мильт,—спрашиваю,— завтрак готов?» А он вскочил да и выпалил без единой заминки: «И завтрак готов, и птицы поют на свободе, и утренней зарей сияет все в природе!» Когда человек сочиняет такие стихи, да еще по собственному почину, жаря в то же время оладьи, значит, он прирожденный поэт,— сказал мистер Мак-Коркл, торжественно понижая голос.

Наступило неловкое молчание. Мистер Мак-Коркл покровительственно улыбался своему протеже. Прирожденный поэт смотрел так, как будто снова собирался пришпорить — не Пегаса, а самого себя. Редактор спросил, чем может быть полезен.

— Конечно, можете,— ответил мистер Мак-Коркл,— вот именно можете. Мильт, где эти стихи?

Физиономия редактора вытянулась, когда поэт извлек из кармана свернутую трубкой рукопись. Однако он взял ее в руки и машинально просмотрел. Это был дубликат подброшенных в редакцию стихов. Ответ редактора был краток, но внушителен. Мне жаль, что я не могу передать точных его слов, но из них следовало, что никогда еще столбцы «Вестника» не были так переполнены. Материалы первостатейной важности, имеющие отношение к экономическому прогрессу Сьерры и затрагивающие вопросы престижа округов Калаверас и Туолумна, дожидались своей очереди. Пройдут недели, пожалуй, месяцы, прежде чем весь срочный материал будет напечатан и «Вестник» сможет помещать в своих столбцах материал менее ответственного содержания. К тому же, заметил редактор с сожалением, поэзия решительно не пользуется успехом в предгорьях Сьерры. Датч-Флет не читает даже Байрона и Мура, а в Грасс-Вели существует предубеждение против Теннисона. Однако редактор взирал на будущее с надеждой. Может быть, года через три-четыре, когда в стране наладится жизнь...

— А что стоит напечатать эту штуку? — спокойно прервал его Мак-Коркл.

— Долларов пятьдесят, пойдет как объявление,— с живейшей радостью отозвался редактор.

Мистер Мак-Коркл вложил требуемую сумму в руку редактора.

— Вот это самое я и говорил Мильту. «Мильт,— говорю я,— не жалей денег, ведь ты прирожденный поэт. Тебя ведь никто не просит писать, ты по своей воле за это дело взялся, значит, надо платить. Вот по этому самому господин редактор и не печатал твоих стихов».

— Какое же имя поставить под стихами? — спросил редактор.

— Мильтон.

Это было первое слово, которое вымолвил прирожденный поэт за все время разговора, и голос у него был такой приятный и музыкальный, что редактор посмотрел на него с любопытством и подумал: нет ли у него сестры?

— Мильтон. А дальше?

— Это его имя,— вмешался мистер Мак-Коркл.

Редактор намекнул, что уже имеется другой поэт того же имени.

— Так, значит, их могут спутать? Плохо дело,— заметил Мак-Коркл глубокомысленно.— Что ж, ставьте полностью: Мильтон Чеббок.

Редактор сделал пометку в рукописи.

— Я сейчас же пущу стихи в набор,— сказал он.

Этим он, кстати, давал понять, что аудиенция окончена. Поэт и меценат рука об руку направились к выходу.

— Смотрите в следующем номере,— сказал редактор с улыбкой, отвечая на робкий, умоляющий взгляд поэта, и дверь за ними захлопнулась.

Редактор сдержал свое слово. Он немедленно стал к наборной кассе и, развернув рукопись, принялся за дело. Дятлы на крыше снова застучали, и через несколько минут лес зажил своей прежней жизнью.

В пустой, похожей на сарай комнате не было слышно ни звука, кроме возни дятлов на крыше да звяканья наборной линейки в руках редактора, собиравшего литеры в строчки, а строчки — в плотный столбец. Каково бы ни было его мнение о рукописи, этого нельзя было заметить по его лицу, которое выражало только непроницаемое равнодушие, свойственное его профессии. И, быть мо-

жет, напрасно, потому что косые лучи заходящего солнца, которые к вечеру начали пронизывать прилегающий кустарник, нащупали и осветили засевшую под окном редактора фигуру — фигуру, сидевшую неподвижно уже не один час. У окна редактор работал бесстрастно и молчаливо, как сама судьба. А за окном сидел прирожденный поэт Сьерра-Флета и смотрел на редактора, словно дожидаясь его приговора.

Действие стихов на Сьерра-Флет оказалось разительным и беспримерным. Совершенная нескладица виршей, неслыханное убожество содержания, а главное то, что произведение это принадлежало местному жителю и было напечатано в местной газете, немедленно принесло автору стихов известность. В течение долгих месяцев округ Калаверас жаждал какой-нибудь сенсации; со времен последнего выступления Комитета бдительности ничто не нарушало тягостной скуки, порожденной застоем в делах и ростом цивилизации. В более благоприятные времена редакцию «Вестника» попросту разнесли бы в щепки, а редактора изгнали за пределы округа; теперь же на газету был такой спрос, что тираж разошелся в одну минуту. Короче говоря, стихи мистера Мильтона Чеббока были ниспосланы Сьерра-Флету самим провидением. Их читали на приисках у костров, в одиноких хижинах, в ярко освещенных барах и шумных салунах, их декламировали с козел дилижанса. Их распевали в Покер-Флете с припевом собственного сочинения, а Пиррова фаланга Захудалого Прииска, известная под именем «Веселых оленей Калавераса», исполняла на тему стихотворений какую-то языческую пляску. Некоторые неудачные и двусмысленные выражения в этих стихах породили множество вариантов и комментариев, к сожалению, отличавшихся скорее замысловатостью, чем изяществом мысли и слога.

Никогда еще ни один поэт не завоевывал известности среди своих сограждан с такой молниеносной быстротой. От уединенной хижины Мак-Коркла и незаметных кулинарных трудов он перешел на путь, озаренный сиянием славы. Имя «Чеббок» писалось мелом на некрашеных стенах, выдалбливалось киркой на срубах шахт. В барах

подавали напиток под названием «Успокоитель Чеббока» или «Увеселитель Чеббока». В течение нескольких недель грубый проект памятника Чеббоку, изготовленный из цирковых плакатов и опереточных афиш, можно было видеть у перевоза Килера — гений округа Калаверас на летящем во весь опор скакуне и в короткой юбочке венчает поэта лаврами. Поэта наперебой приглашали распить бутылочку и осыпали преувеличенными комплиментами. Встреча между полковником Старботтлом из Сискью и Мильтоном Чеббоком, организованная Бостоном из Ревущего Стана, по рассказам очевидцев, была неописуемо трогательна. Полковник обнял поэта дрожащими руками.

— Я не могу вернуться к своим избирателям, сэр, раньше чем эта рука, пожимавшая руку даровитого Прентиса и незабвенного По, не будет удостоена рукопожатия богоподобного Чеббока. Джентльмены, американская литература переживает новый расцвет. Да, пожалуйста, мне с сахаром.

Бостон же собственноручно написал поздравительные письма от Лонгфелло, Теннисона и Браунинга к мистеру Чеббоку, сдал их на почту в Сьерра-Флете и любезно согласился продиктовать ответы на них.

Доверчивость и непритворный восторг, которым встретили эти письма поэт и его покровитель, могли бы тронуть сердца угрюмых шутников Сьерра-Флета, если бы не вдруг проявленная обоими в равной мере слабость характера. Мистер Мак-Коркл нежился в лучах славы своего протеже и обращался с обитателями Сьерра-Флета покровительственно и надменно; а сам поэт, старательно напомаженный и завитой, в ярком галстуке и дешевых перстнях, фланировал перед единственной в Сьерра-Флете гостиницей. Легко себе представить, что это проявление слабости доставило величайшее удовольствие поселку, увеличило популярность поэта и осенило новой мыслью шутника Бостона.

В то время перед восхищенной публикой Сьерра-Флета подвизалась одна молодая особа, известная зрителям и коллегам под именем «Любимицы Калифорнии». Ее специальностью были мужские роли. В облике уличного мальчишки она была неотразима; исполняя негритянские танцы, она с молниеносной быстротой покоряла сердца золотоискателей. Задорная, хорошенькая брюнет-

ка, она сохранила репутацию неприступной добродетели, невзирая на достойный самого Юпитера золотой дождь, которым Сьерра-Флет неизменно встречал ее появление на сцене. Среди восторженной толпы ее поклонников выделялся Мильтон Чеббок. Он присутствовал на каждом представлении. Целыми днями он торчал у дверей «Юнион-Отеля», чтобы хоть мельком взглянуть на Любимицу Калифорнии. В скором времени он получил от нее записку, написанную изящнейшим женским почерком, имитация которого, по общему мнению, так удавалась Бостону. Поэту давали понять, что его поклонение замечено. Тот немедля обратился к Бостону с просьбой сочинить для него подходящий ответ. В конце концов Бостону для осуществления его юмористического замысла понадобилось привлечь к делу самое молодую актрису и заручиться ее согласием. Он посвятил ее в свой план, успех которого должен был прославить его в потомстве как юмориста. Черные глаза Любимицы Калифорнии блеснули одобрительно и коварно. Она поставила только одно условие, что сначала должна увидеть жертву — дань женской слабости, которую не могли искоренить даже долгие годы ношения брюк и сапог и исполнения негритянских танцев. Она должна была увидеть поэта во что бы то ни стало. И день встречи был назначен ровно через неделю.

Не следует думать, что в дни своей популярности мистер Чеббок забыл о своем поэтическом даровании. Каждое утро он уходил на несколько часов за город, «общался с природой», по выражению мистера Мак-Коркла, то есть бродил по горным тропам, валялся под деревьями, собирал душистые травы или яркие ягоды мансаниты. Все это он обычно относил редактору попозже вечером, к великому неудовольствию энергичного этого журналиста. Спокойный и малообщительный, он терпеливо просиживал до конца рабочего дня, наблюдая, как трудится редактор, а потом так же спокойно уходил. В этих визитах было что-то настолько смиренное и ненавязчивое, что у редактора не хватало духу прекратить их, и, научившись видеть в них неотъемлемую часть жизни леса, вроде стука дятлов, он часто забывал о присутствии поэта. Иногда, тронутый прекрасным выражением его влажных и робких глаз, редактор собирался серьезно по-

говорить с гостем о его дурацкой блажи, но, взглянув на напомаженные волосы и пышный галстук, каждый раз неизменно передумывал. Случай был, по-видимому, безнадежный.

Встреча между мистером Чеббоком и Любимицей Калифорнии состоялась в одном из номеров «Юнион-Отеля»; для соблюдения приличий при встрече присутствовал архиюморист Бостон. Этому джентльмену мы обязаны единственным достоверным отчетом о свидании. Как бы ни был молчалив мистер Чеббок в присутствии представителей своего пола, с прекрасной половиной человечества он оказался необычайно многословен, как и все поэты. Хотя Любимица Калифорнии привыкла к неумеренным похвалам, ее сильно смутили преувеличенные комплименты гостя. С особенным восторгом он распространялся о том, как она исполняет мужские роли и пляшет джигу. Наконец к ней вернулась привычная смелость и, ободренная присутствием Бостона, Любимица Калифорнии задорно спросила, в какой же роли она является предметом такого лестного восхищения: мальчика или девушки?

— Это прямо-таки его с ног сшибло,— говорил в восторге Бостон, рассказывая впоследствии об этой встрече.— И что же вы думаете, ведь этот чертов дурак попросил, чтобы она взяла его с собой... Захотел, видите ли, поступить в труппу.

План, кратко изложенный Бостоном, заключался в том, чтоб убедить мистера Чеббока выступить перед публикой Сьерра-Флета в костюме (уже придуманном и заготовленном самим юмористом) и продекламировать свои стихи вслед за выступлением Любимицы Калифорнии. По данному знаку публике полагалось встать с мест и забросать поэта разными неаппетитными предметами (предварительно заготовленными автором плана), затем несколько избранных лиц должны были ворваться на сцену, схватить поэта и, проведя по улицам во главе триумфальной процессии, вывести его далеко за пределы поселка со строгим наказом не возвращаться назад. В первую часть плана поэт был посвящен, а для второй исполнителей найти было нетрудно.

Наступил чреватый событиями вечер, и публика сплошной массой заполнила длинный, узкий зал. Лю-

бимнца Калифорнии никогда еще не была так весела, так беспечна, так очаровательна и задорна. Однако вознаградившие ее аплодисменты показались робкими и вялыми по сравнению с той иронической овацией, которая приветствовала появление на сцене прирожденного поэта. Затем воцарилось настороженное молчание, и поэт, подойдя к рампе, остановился, держа перед собой рукопись.

Он был мертвенно бледен: надо полагать, на лицах зрителей было написано, что именно ему предстоит, а может быть, тайное чутье говорило ему о близкой опасности. Он попытался заговорить, но голос изменил ему; он пошатнулся и неверными шагами направился за кулисы.

Боясь упустить свою добычу, Бостон дал знак и одним прыжком очутился на сцене. Но в ту же самую минуту из-за кулис выскочила легкая фигурка, дала пораженному юмористу такого пинка, что он кувырком полетел в оркестр, потом отколола антраша, сделала несколько пируэтов по сцене и, приблизясь к рампе, крикнула с тем неподражаемым видом, с той детской развязностью, которая приводила зрителей в такой восторг минуту назад:

— Эй, послушайте! Лежачего не бьют, знаете ли!

Взгляд, голос, быстрота движений, а больше всего прямая смелость маленькой женщины оказали свое действие. Ее выходку встретили взрывом сочувственных аплодисментов.

— Бегите, пока не поздно,— торопливо шепнула она, слегка повернув к поэту голову, но не меняя своей дерзкой и вызывающей позы.

Не успела она договорить, как поэт зашатался и упал в обморок. Тогда она отчаянным шепотом скомандовала за кулисы:

— Давайте занавес!

Зрители слегка зашевелились, протестуя, но в глубине залы показались широкие плечи Юбы Билла, высокая, статная фигура Генри Йорка из Сэнди-Бара и бледное, решительное лицо Джона Окхерста. Занавес опустился.

Любимица Калифорнии стала на колени перед лежащим в обмороке поэтом.

— Принесите воды! Бегите за доктором. Стойте! Убирайтесь прочь, все, все убирайтесь!

Она развязала пестрый галстук, расстегнула воротник рубашки. И вдруг разразилась истерическим хохотом.

— Мануэла!

К ней подбежала ее горничная-метиска.

— Помоги перенести его ко мне в уборную, скорей, а потом стань за дверью и никого не пускай. Если станут спрашивать, скажи, что он ушел. Слышишь? Он ушел!

Старуха сделала, как ей сказали. Через несколько минут публика разошлась. И еще до наступления утра из города скрылись Любимица Калифорнии, Мануэла, а с ними и поэт Сьерра-Флета.

Увы! С ними исчезла и добрая слава Любимицы Калифорнии. Только немногие из ее поклонников, притом сами далеко не пользовавшиеся безупречной репутацией, верили в то, что честь их любимой актрисы осталась незапятнанной: само собой разумеется, сделала глупость, но все это еще разъяснится. Большинство же, отдавая должное ее бесспорной смелости и отваге, сожалело, что все это потрачено впустую, на человека, не достойного ее внимания. Сделать своим избранником смешного, презренного бродягу, который даже за себя постоять не может, значило оскорбить весь поселок, не говоря уже о том, что это свидетельство глубокой развращенности натуры.

Полковник Старботтл лишний раз убедился, что имя женщины — ничтожество. Ему было известно много подобных случаев: он прекрасно помнил, сэр, как одна из самых богатых наследниц в Филадельфии, прелестная женщина, сэр, убей меня бог, бросила одного южанина, члена конгресса, и бежала с каким-то негром, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Полковник давно заметил, что у этого мерзавца есть что-то на уме. Он, конечно, не смеет осуждать эту даму, сэр, однако он заметил... И тут полковник начинал говорить намеками, настолько загадочно и невразумительно, что слушатели не могли понять, в чем дело.

Через несколько дней после исчезновения мистера Чеббока странные слухи дошли до Сьерра-Флета, а Бостон, который с тех пор, как его замысловатая шутка потерпела фиаско, впал в уныние, обычно свойственное великим юмористам, вдруг обнаружил, что его присутствие

необходимо в Сан-Франциско. Однако пока что среди обитателей Сьерра-Флета бродили самые смутные догадки и ничего не было известно наверное.

В один ясный вечер редактор «Вестника Сьерры», подняв глаза от наборной кассы, увидел стоящего на пороге мистера Моргана Мак-Коркла. Лицо достойного джентльмена выражало такое расстройство, что сразу же привлекло к себе сочувственное внимание редактора. Держа в руках распечатанное письмо, Мак-Коркл вышел на середину комнаты.

— Я всегда был известен как человек порядочный,— начал Мак-Коркл, запинаясь,— и потому мне хотелось бы, господин редактор, поместить опровержение на страницах вашей уважаемой газеты.

Господин редактор попросил его продолжать.

— Вы, может, не забыли, что около месяца назад я приводил сюда одного... ну, скажем, молодого человека, которого звали... ну, скажем, Мильтон, Мильтон Чеббок?

Господин редактор прекрасно это помнил.

— Это самое лицо я знал больше четырех лет; два года мы вместе работали на приисках. Не то чтоб я все время с ним виделся — он очень робел и прятался от всех и вообще был со странностями, как оно и полагается прирожденному поэту, так мне думалось. Вы, может, помните, ведь это я сказал, что он прирожденный поэт?

Редактор это помнил.

— Я его подобрал в Сент-Джо, лицо его мне понравилось, да и к тому же мне почему-то взбрело в башку, что он, верно, сбежал из дому, а я и сам человек семейный, у меня свои дети есть, а кроме того, мне показалось, что он ни дать ни взять прирожденный поэт.

— Ну? — сказал редактор.

— Я уже говорил, что теперь мне хотелось бы поместить опровержение на страницах вашей уважаемой газеты.

— Какое опровержение? — спросил редактор.

— Я сказал, если вы помните мои слова, что он прирожденный поэт.

— Да.

— Так вот, из этого письма видно, что я ошибся.

— Ну?

— Он оказался женщиной!

КАК САНТА КЛАУС ПРИШЕЛ В СИМПСОН-БАР

В долине реки Сакраменто шли дожди. Северный рукав выступил из берегов, а через Змеиный ручей нельзя было перебраться. Валуны, отмечавшие летом брод, скрылись под широкой пеленой воды, простиравшейся до самых предгорий. Дилижанс застрял у Грэнджера, последняя почта увязла в камышах, и верховой едва спасся вплавь. «Под водой,—с патриотической гордостью сообщал еженедельник «Лавина Сьерры»,— находится площадь, равная штату Массачусетс».

И в предгорьях стояла погода не лучше. Горная тропа была покрыта густым слоем грязи; путь загромождали фургоны, которые нельзя было сдвинуть с места ни физической силой, ни моральным воздействием; дорогу на Симпсон-Бар указывали загнанные упряжки и немилосердная брань. А дальше, отрезанный от мира и недоступный человеку, Симпсон-Бар ласточкиным гнездом лепился к каменистому фризу и острым капителям Столовой горы, содрогаясь под ураганным ветром. Был канун рождества 1862 года.

Над поселком спустилась ночь, и огоньки замерцали сквозь туман в окнах лачуг по сторонам дороги, вдоль которой теперь с шумом неслись беззаконные ручьи и гулял мародер-ветер. Большинство жителей, как всегда, собралось в лавке Томсона. Они теснились возле раскаленной докрасна печки и в молчании поплевывали на нее, что являлось принятой среди них формой общения, до известной степени заменявшей беседу. В самом деле, почти все способы увеселения в Симпсон-Баре давно уже были исчерпаны; наводнение приостановило работы в ущельях и на реке; денег на виски не было, что лишало

привлекательности самые запретные удовольствия. Даже мистеру Гемлину пришлось покинуть Симпсон-Бар с пятьюдесятью долларами в кармане — это было все, что он смог реализовать из тех крупных сумм, которые выиграл, успешно практикуясь в своей многотрудной профессии. «Если бы меня попросили,— говаривал он впоследствии,— если бы меня попросили указать хорошенькую деревушку, где отставному игроку, который не гонится за деньгами, можно без скуки поупражняться в своем ремесле, я назвал бы Симпсон-Бар; но для молодого человека, обремененного семейством, это занятие невыгодное». Так как семейство мистера Гемлина состояло преимущественно из совершеннолетних особ женского пола, это замечание приводится больше для того, чтобы продемонстрировать сатирическое направление его ума, нежели точный объем его семейных обязанностей.

Как бы то ни было, жертвы его насмешек проводили этот вечер в лавке, погрузившись в полную апатию, порожденную праздностью и скукой. Их нисколько не оживило даже неожиданное чмоканье копыт перед крыльцом. Один только Дик Буллен перестал прочищать свою трубку и поднял голову; никто другой не проявил интереса к вошедшему и ничем не показал, что узнает его.

Это была фигура, достаточно знакомая всему обществу и известная в Симпсон-Баре под именем Старика,— человек лет пятидесяти, с проседью и почти лысый, но со свежим, румяным лицом, которое выражало готовность сочувствовать чему угодно, впрочем, не слишком сильную, и могло, подобно хамелеону, принимать любой цвет или оттенок чужих настроений и чувств. Он, по-видимому, только что покинул какую-то веселую компанию и, не заметив сначала унылого настроения общества, шутливо хлопнул по плечу первого, кто подвернулся под руку, и развалился на свободном стуле.

— Ну и слышал я историю, ребята! Знаете Смайли, нашего Джима Смайли? Самый занятный парень во всем Симпсон-Баре! Ну так вот, Джим рассказал мне потешную историю насчет...

— Болван твой Смайли,— прервал его мрачный голос.

— Хорек вонючий,— прибавил другой похоронным тоном.

После таких решительных высказываний наступило молчание. Старик обвел всех быстрым взглядом. Выражение его лица сразу изменилось.

— Это-то верно,— помолчав сказал он в раздумье,— верно, что вроде как болван, да, пожалуй, и на хорька смахивает. Это, конечно.— Он помолчал с минуту, видимо, с грустью размышляя о непривлекательности и глупости всем опротивевшего Смайли.

— Скверная погода, а, ребята? — прибавил он, входя в русло общего настроения.— Все мы по уши в долгах, а денег в этом сезоне, должно быть, не увидим. А завтра рождество.

При этих словах среди присутствующих можно было заметить движение, но трудно было сказать, что оно выражало: одобрение или недовольство.

— Да,— продолжал Старик унылым тоном, который он бессознательно усвоил за последние минуты,— да, завтра рождество, а нынче сочельник. Вот, ребята, я и подумал, то есть мне мысль такая пришла, так, ни с того ни с сего, знаете ли, чтобы вы собрались сегодня у меня, повеселились бы, что ли, вместе. А теперь, я думаю, может, вы и не захотите? Не в настроении, может? — прибавил он, заискивающе и тревожно вглядываясь в лица товарищей.

— Не знаю, право,— ответил Том Флинн, несколько оживляясь.— Может, и придем. А как твоя жена, Старик? Что-то она скажет?

Старик замялся. Его супружеская жизнь была не из удачных, о чем знал весь Симпсон-Бар. Его первая жена, нежная, милая женщина, долго страдала втайне от ревнивых подозрений мужа, пока в один прекрасный день он не пригласил к себе весь Симпсон-Бар, чтобы уличить ее в неверности. Нагрянув всей компанией к Старику, они застали робкую малютку одну — она мирно занималась домашним хозяйством — и ретировались, пристыженные и сбитые с толку. Но чувствительной женщине нелегко было оправиться от потрясения, вызванного этой неслыханной обидой. С трудом восстановив душевное равновесие, она выпустила любовника из чулана, куда он был спрятан, и бежала с ним. В утешение покинутому супругу она оставила трехлетнего мальчика. Теперешняя жена Старика прежде служила у него кухар-

кой. Это была крупная женщина, преданная и весьма воинственная.

Старик еще не успел ответить, как Джо Диммик напрямик высказал мнение, что дом не чей-нибудь, а Старика и что на его месте (он поклялся всевышним) он приглашал бы кого вздумается, даже если бы это угрожало его вечному блаженству; никакие силы ада, заметил он далее, не могли бы воспрепятствовать его намерению.

Все это было изложено в сильных и энергичных выражениях и много теряет в неизбежном пересказе.

— Само собой, оно конечно. Это-то верно,— сказал Старик, сочувственно хмурясь.— Насчет этого беспокоиться нечего. Дом мой собственный, каждый гвоздик моими руками вколочен. Вы ее не бойтесь, ребята. Она, может, малость поругается сначала, по бабьему обычаю, а там, глядишь, и обойдется.

Втайне Старик надеялся, что в трудную минуту его поддержат виски и пример более храбрых приятелей.

Дик Буллен, оракул и вожак Симпсон-Бара, до сих пор молчал. Теперь он вынул трубку изо рта.

— А как поживает твой Джонни, Старик? По-моему, он что-то заскучал: я его видел на берегу, он швырял камнями в китайцев. И, сдается мне, без всякого удовольствия. Вчера их целая партия утонула — выше по реке,— я и вспомнил про Джонни, каково-то ему без них будет! Так если он захворал, может, мы помешаем?

Отец, явно растроганный не только чувствительной картиной предстоящих Джонни лишений, но и видимым вниманием оратора, поспешил его уверить, что Джонни лучше и что «ему полезно будет немножко развлечься». Дик встал, встряхнулся и со словами: «Я готов. Ступай вперед, Старик, мы за тобой»,— оказался впереди всех, с диким воплем бросился к двери и выскочил в темноту. Пробегая через переднюю комнату, он выхватил из огня пылающую головню. Это движение повторили все остальные. Толкая друг друга, они кинулись вслед за ним, и не успел удивленный хозяин понять, что задумали гости, как лавка опустела.

Ночь была темная, хоть глаз выколи. Первый же порыв ветра задул самодельные факелы, и только по красным головням, которые плясали и кружились во мраке, словно пьяные болотные огоньки, можно было догадать-

ся, где находятся люди. Дорога шла вверх по Сосновому ущелью, в конце которого широкий и низкий дом, крытый корой, притулился к горному склону. Это был дом Старика и вход в шахту, где он работал, когда приходила такая охота. Здесь компания задержалась на минуту из уважения к хозяину, который, пыхтя, догонял их.

— Может, вы здесь минуточку обождете, а я пойду взгляну, все ли в порядке,— сказал Старик спокойным тоном, который нисколько не выражал его чувств.

Это предложение было принято благосклонно, дверь отворилась и снова закрылась за хозяином, а компания, прячась под выступом кровли, ждала и слушала, прижавшись к стене.

Несколько минут ничего не было слышно, кроме звонкой капели, падавшей с крыши, да шороха и шума качающихся ветвей. Они забеспокоились и начали перешептываться, делясь друг с другом своими подозрениями.

— Должно быть, старуха проломила ему голову с первого удара!

— Заманила в шахту да и заперла там, пожалуй!

— Сбила с ног и сидит на нем верхом!

— А может, кипятит что-нибудь, обварить нас хочет; ребята, станьте-ка подальше от дверей!

Как раз в это время звякнула щеколда, дверь медленно отворилась, и чей-то голос сказал:

— Ну входите, чего мокнуть на дожде!

Голос не принадлежал ни Старику, ни его жене. Это был голос мальчика, слабый дискант, разбитый, с той неестественной хрипотцой, которую порождают только бродяжничество и умение с малых лет постоять за себя. Снизу вверх на них смотрело мальчишеское лицо — лицо, которое могло бы быть миловидным и даже тонким, если бы изнутри его не омрачало познание зла, а снаружи — грязь и жизненные лишения. Мальчик кутался в одеяло и, как видно, только что встал с постели.

— Входите,— повторил он,— и не шумите. Старик там, разговаривает с матерью,— продолжал он, указывая на комнату рядом, по-видимому, кухню, откуда слышался заискивающий голос Старика.— Пусти меня,— буркнул он недовольно Дику Буллену, который подхватил его вместе с одеялом, делая вид, будто хочет бросить его в огонь,— пусти, старый черт, слышишь?

Дик, сдерживая улыбку, опустил Джонни на пол, а все остальные, стараясь не шуметь, вошли и расселись вокруг длинного некрашеного стола в середине комнаты. Джонни важно подошел к шкафу, достал оттуда кое-какую провизию и выложил ее на стол.

— Вот виски. И сухари. И копченая селедка. И сыр.— По дороге к столу он откусил кусок сыру.— И сахар.— Он запихнул горсть сахару в рот маленькой, очень грязной рукой.—И табак. Есть еще сушеные яблоки, только я до них не охотник. От яблок живот пучит. Вот,— заключил он,— теперь валяйте ешьте и не бойтесь ничего. Я-то старухи не боюсь. Она мне неродная. Ну, всего.

Он шагнул на порог маленькой комнатки, чуть побольше чулана, где в темном углу стояла детская кровать. С минуту он стоял и глядел на гостей, закутавшись в одеяло, из-под которого виднелись босые ноги, потом кивнул им.

— Эй, Джонни! Ты не собираешься ли опять ложиться? — спросил Дик.

— Да, собираюсь,— решительно ответил Джонни.

— Что с тобой, старик?

— Болен.

— Чем же ты болен?

— У меня лихорадка. И цыпки на руках. И ревматизм,— ответил Джонни, скрываясь в чулане. После минутного молчания голос его послышался из темноты, должно быть, из-под одеяла: — И чирьи.

Наступило неловкое молчание. Гости поглядывали то друг на друга, то на огонь. Не помогло и соблазнительное угощение на столе; казалось, вот-вот ими овладеет то же уныние, что и в лавке Томсона, но вдруг из кухни донесся заискивающий голос Старика; он неосторожно заговорил громче:

— Конечно, это-то верно. Само собой, все они лентяи, пьяницы и бездельники, а этот Дик Буллен почище всех остальных. Хватило же смысла тащиться в гости, когда в доме больной и есть нечего. Я им так и сказал. «Буллен,— говорю,— ты либо пьян вдребезги, либо совсем дурак,— говорю,— что это тебе в голову взбрело? Стэйплс,— говорю,— будь же человеком, и не стыдно тебе поднимать дым коромыслом у меня в доме, когда все лежат больные?» Так вот нет же, взяли и пришли.

Чего и ждать от этого сброда, который шляется тут по Симпсон-Бару!

Компания разразилась хохотом. Был ли этот хохот слышен на кухне, или взбешенная супруга Старика истощила все другие способы выразить свое презрение и негодование, сказать трудно, но кухонная дверь вдруг сильно хлопнула. Через минуту вошел Старик в полном неведении причины общего веселья и кротко улыбнулся.

— Старухе вздумалось сбегать тут неподалеку, навестить миссис Мак-Фадден,— развязно объяснил он, садясь к столу.

Как ни странно, этот досадный случай пришелся кстати и разогнал неловкость, которую начинали чувствовать все гости, и вместе с хозяином вернулась свойственная им непосредственность. Я не собираюсь описывать застольное веселье этого вечера. Любознательный читатель должен удовлетвориться указанием, что разговоры отличались той же возвышенной содержательностью, той же осторожностью в выражениях, тем же тактом, тем же изысканным красноречием и той же логикой и связностью речи, какими отличаются подобные мужские сборища к концу вечера в более цивилизованных местностях и при более счастливых обстоятельствах. Рюмок не били, оттого что их вовсе не было; виски не лили без толку на пол и на стол, оттого что его и так не хватало.

Около полуночи веселье было прервано.

— Тсс,— сказал Дик Буллен, поднимая руку. Из чулана послышался ворчливый голос Джонни: «Ох, па!»

Старик поспешно встал и скрылся в чулане. Вскоре он появился снова.

— Опять у него ревматизм разыгрался,— объяснил он.— Надо бы растереть мальчишку.

Он взял со стола оплетенную бутыль и встряхнул ее. Она была пуста. Дик Буллен, сконфуженно улыбаясь, поставил на стол свою жестяную кружку, другие тоже. Старик обследовал содержимое кружек и сказал с надеждой в голосе:

— Пожалуй, хватит: ему ведь немного нужно. А вы все подождите минуту, я скоро вернусь.— И скрылся в чулане, захватив с собой виски и старую фланелевую рубашку. Дверь закрылась неплотно, и последовавший диалог был отчетливо слышен:

«ИЛИАДА СЭНДИ-БАРА»

«ФИДЛТАУНСКАЯ ИСТОРИЯ»

— Ну, сынок, где у тебя больше всего болит?

— Иногда повыше, вот здесь, иногда пониже, вот тут, а всего хуже вот где, отсюда и досюда. Потри здесь, па.

Молчание как будто указывало на то, что растирание идет вовсю. Потом Джонни сказал:

— Веселитесь там, па?

— Да, сынок.

— Ведь завтра рождество?

— Да, сынок. Ну, а теперь как тебе?

— Лучше. Потри немножко пониже. А что это за рождество все-таки? Зачем оно?

— Это уж такой день.

Такого исчерпывающего объяснения было, по-видимому, достаточно, потому что растирание продолжалось молча.

Скоро Джонни заговорил снова:

— Мать говорила, будто везде, кроме Симпсон-Бара, все дарят друг другу на рождество подарки, а потом как начала тебя ругать! Она говорит, есть такой человек, зовут его Санди Клас, понимаешь, не белый, а вроде китайца, он спускается по трубе в ночь под рождество и приносит подарки детям, мальчикам вроде меня. Кладет будто бы в башмаки! Вот ведь как она очки втирает! Полегче теперь, па, где же ты трешь, совсем не там болит. Врет, небось, лишь бы позлить нас с тобой? Не три здесь... Да что с тобой, па?

В торжественной тишине, окутавшей дом, ясно слышались вздохи ближних сосен и капель, падавшая с листьев. Голос Джонни тоже стал тише, когда он опять заговорил:

— Нечего тебе расстраиваться, ведь я теперь скоро поправлюсь. А что там гости делают?

Старик приоткрыл дверь и выглянул. Гости сидели довольно мирно, а на столе валялось несколько серебряных монет и тощий кошелек из оленьей кожи.

— Бьются об заклад, а может, хотят сыграть партию-другую. Все в порядке,— ответил он Джонни и снова принялся за растирание.

— Мне бы тоже хотелось перекинуться в картишки, выиграть хоть что-нибудь,— задумчиво сказал Джонни, помолчав немного.

Старик бегло повторил привычную, как видно, формулу, что пусть только Джонни подождет, вот попадется

отцу богатая жила, тогда у них будет уйма денег и т. д. и т. д.

— Да,— сказал Джонни,— только ничего тебе не попадется. И не все ли равно — тебе попадется или я выиграю? Лишь бы повезло. А вот насчет рождества — занятная штука, верно? Почему она называется «рождество?»

Может быть, из опасения, как бы не подслушали гости, а может быть, из смутного чувства неловкости Старик отвечал так тихо, что его не было слышно в соседней комнате.

— Да,— сказал Джонни, проявляя теперь меньше интереса к разговору,— я уж о нем слышал. Ну ладно, хватит, па. Как будто полегче стало. А теперь закутай меня получше одеялом. Вот так. Ну, а теперь,— прибавил он приглушенным шепотом,— посиди тут со мной, пока я не усну.— Он высвободил руку из-под одеяла и, уцепившись за отцовский рукав, улегся снова.

Несколько минут Старик терпеливо ждал. Потом его любопытство возбудила странная тишина; не отходя от постели, он осторожно приоткрыл дверь свободной рукой и заглянул в большую комнату. К его беспредельному удивлению, там было темно и пусто. Но как раз в это время головня, дотлевавшая на очаге, подломилась, и при свете взметнувшегося пламени он увидел у гаснущего очага фигуру Дика Буллена.

— Эй!

Дик вздрогнул, поднялся с места и нетвердыми шагами подошел к нему.

— Где ребята?— спросил Старик.

— Пошли немножко пройтись вверх по каньону. Скоро зайдут за мной. Я жду их с минуты на минуту. Ты что так уставился, Старик? — прибавил он с принужденным смехом.— Думаешь, я пьян?

Старику была бы простительна такая мысль, потому что глаза у Дика были влажные и лицо раскраснелось. Он сделал несколько шагов по комнате, подошел к очагу, зевнул, встряхнулся, застегнул куртку и засмеялся.

— Маловато было виски, Старик. А ты не вставай,— продолжал он, когда Старик сделал попытку высвободить рукав из пальцев Джонни.— Что за церемония! Сиди где сидишь, я сию минуту ухожу. Да вот и они.

В дверь негромко постучали. Дик Буллен быстро отпер, кивком простился с хозяином и скрылся.

Старик пошел бы за ним, если бы не ребенок, который и во сне бессознательно цеплялся за его рукав. Он легко мог бы высвободиться: рука была маленькая, слабая, исхудалая. Но, может быть, именно потому, что рука была маленькая, слабая и худая, он раздумал и, подтащив стул поближе к постели ребенка, опустил на нее голову. Как только он принял эту беззащитную позу, на нем сказались недавние возлияния. Комната светлела и темнела, появлялась и пропадала, наконец совсем исчезла из глаз — и он уснул.

Тем временем Дик Буллен, закрыв дверь, очутился лицом к лицу со своими товарищами.

— Ты готов? — спросил Стэйплс.

— Готов,— сказал Дик.— Который час?

— За полночь,—ответил тот.— Смотри, справишься ли? Ведь это чуть ли не пятьдесят миль туда и обратно.

— Знаю,— коротко ответил Дик.— А где кобыла?

— Билл и Джек ждут с ней на перекрестке.

— Пусть подождут еще минутку,— сказал Дик.

Он повернулся и тихо вошел в дом. В свете оплывающей свечи и гаснущего очага он увидел, что дверь в чулан открыта. Подойдя на цыпочках, он заглянул туда. Старик храпел на стуле, его плечи сползли вниз, длинные ноги беспомощно вытянулись, шляпа съехала на глаза. Рядом с ним, на узкой деревянной кроватке, спал Джонни, укутанный в одеяло так плотно, что виднелась только светлая полоска лба да влажные от пота вихры. Дик Буллен сделал шаг вперед, остановился в нерешимости и оглянулся через плечо на пустую комнату. Все было тихо. Вдруг, набравшись смелости, он расправил обеими руками свои огромные усы и наклонился над спящим мальчиком. Но как раз в это время коварный ветер, притаившийся в засаде, метнулся по трубе, раздул уголья и осветил комнату наглым блеском — и Дик бежал в смущении и страхе.

Товарищи уже дожидались его на перекрестке. Двое из них боролись в темноте с какой-то неясной, бесформенной массой, которая, когда Дик подошел ближе, приняла образ крупной чалой лошади.

Это была та самая кобыла. Ее нельзя было назвать

красавицей. Римский профиль, выпирающий круп, горбатая спина, крытая жесткой лукой мексиканского седла, и прямые, как палки, костлявые ноги с широкими бабками — и во всем этом ни тени грации. Полуслепые, но полные коварства белесые глаза, отвислая нижняя губа, нелепая масть — все в ней было сплошное безобразие и норовистость.

— Ну, ребята,— сказал Стэйплс, — станьте-ка подальше от копыт и не зевайте! Хватайся сразу за гриву да смотри не упусти правое стремя. Пошел!

Прыжок в седло, недолгая борьба, скачок коня, и люди шарахаются в стороны, копыта описывают в воздухе круг, еще два скачка на месте — земля дрожит, быстро звякают шпоры, и голос Дика доносится откуда-то из темноты:

— Все в порядке!

— Не возвращайся по нижней дороге, разве только если времени будет в обрез! Не натягивай поводья, когда будешь спускаться с горы. Мы будем у брода ровно в пять. Пошел, ого-го! Вперед!

Короткий плеск, искра, выбитая из камня на дороге, стук копыт по каменистой тропе за поселком — и Дик скрылся из вида.

Воспой же, о муза, поездку Ричарда Буллена! Воспой рыцарскую доблесть, благородную цель, смелый подвиг и схватку с бродягами, трудный путь и все опасности, каким подвергался цвет и гордость Симпсон-Бара! Увы, какая привередница, эта муза! Она не хочет и слышать о норовистом коне и дерзком всаднике в лохмотьях, мне приходится следовать за ними пешком, в прозе!

Был час ночи, и Дик только что доехал до Змеиной горы. За это время Ховита проявила все свои недостатки и выкинула все свои фокусы. Трижды она споткнулась. Дважды задирала она свой римский нос, натягивая поводья, и, не обращая внимания на удила и шпоры, с бешеной быстротой неслась напрямик. Дважды становилась она на дыбы и, встав, падала на спину, и проворный Дик дважды садился в седло невредимый, прежде чем она снова начинала брыкаться. А милей дальше, у подножия Змеиной горы, был Змеиный ручей. Дик знал, что именно там решится, может ли он выполнить то, что задумал,

и, свирепо стиснув зубы, дал шенкеля и перешел от обороны к энергичному наступлению. Разъяренная Ховита начала спускаться с горы. Тут хитроумный Ричард сделал вид, будто хочет сдержать ее, притворно бранясь и тревожно вскрикивая. Нечего и говорить, что Ховита немедленно понесла. Не стоит говорить и о скорости спуска — она занесена в анналы Симпсон-Бара. Достаточно сказать, что всего мгновение спустя, как показалось Дику, Ховита уже разбрызгивала грязь на топких берегах Змеиного ручья. Как и ожидал Дик, с разбегу она пронеслась далеко вперед и не смогла сразу остановиться, и Дик, натягивая поводья, очутился на середине быстро несущегося потока. Еще несколько минут вплавь и вброд, и Дик перевел дыхание на другом берегу.

Дорога от Змеиного ручья до Красной горы была довольно ровная. То ли Змеиный ручей охладил пыл Ховиты, то ли искусство наездника показало ей, что он хитрее, но Ховита больше не тратила энергии на пустые капризы. Один раз она брыкнулась, но только по привычке; один раз шарахнулась в сторону, но только потому, что завидела на перекрестке свежевыкрашенную часовню. Под ее звонкими копытами мелькали овраги, канавы, песчаные бугры, зеленеющие луговины. Она сильно вспотела, раза два кашлянула, но не ослабела и не сдала. К двум часам всадник миновал Красную гору и стал спускаться на равнину, десятью минутами позже возницу курьерского дилижанса настиг и обогнал «человек верхом на кляче»,— событие, вполне достойное упоминания. В половине третьего Дик привстал на стременах и громко закричал.

Сквозь разорванные облака блестели звезды, и среди равнины перед Диком встали две колокольни, флаг на шесте и неровный ряд черных строений. Дик звякнул шпорами, взмахнул риатой, и Ховита рванулась вперед. Минутой позже она проскакала по улице Татлевилла и остановилась перед деревянной верандой гостиницы «Всех Народов».

То, что произошло в ту ночь в Таглевилле, собственно говоря, не относится к нашему повествованию. Однако я могу кратко сообщить, что, сдав Ховиту сонному конюху, которого она сразу привела в чувство, лягнув хорошенько, Дик вместе с барменом отправились в обход спящего города. В салунах и игорных домах еще кое-где мерцали

огни, но, минуя эти дома, они останавливались перед запертыми лавками и настойчивым стуком и громкими криками поднимали хозяев с постели, заставляли отпирать лавки и показывать товар. Иногда их встречали бранью, но чаще внимательно и с интересом, и переговоры неизменно заканчивались выпивкой. Было уже три часа, когда эта увеселительная прогулка кончилась и Дик с небольшим прорезиненным мешком за плечами вернулся в гостиницу. Но здесь его подстерегала Красота — Красота, полная очарований, в пышной одежде, с обольстительными речами и с испанским акцентом. Напрасно повторяла она приглашение в «Эксцельсиор». Это приглашение было решительно отвергнуто сыном Сьерры; отказ смягчила улыбка и последняя золотая монета. Потом Дик вскочил в седло и помчался по пустынной улице и дальше — по еще более пустынной равнине, и скоро огни, черная линия домов, колокольни и флаг затерялись за его спиной и ушли в землю.

Буря рассеялась, воздух был живительный и холодный, стали видны очертания придорожных вех. В половине пятого Дик добрался только до часовни на перекрестке. Чтобы не подниматься в гору, он поехал окольной дорогой; в густой грязи этой дороги Ховита на каждом шагу увязала по самые щетки. Это была плохая подготовка к непрерывному подъему следующих пяти миль, но Ховита, подбирая под себя ноги, взяла этот подъем, как всегда, со слепой, безрассудной яростью, и через полчаса добралась до ровной дороги, которая вела к Змеиному ручью. Еще полчаса — и Дик будет у ручья. Он бросил поводья на шею лошади, свистнул ей и запел песню.

Вдруг Ховита шарахнулась в сторону с такой силой, что менее опытный наездник не усидел бы в седле. С насыпи спрыгнула какая-то фигура и повисла на поводу, а в то же время впереди на дороге выросли темные очертания коня и всадника.

— Руки вверх! — с бранью скомандовало это второе видение.

Дик почувствовал, что лошадь пошатнулась, задрожала и словно подалась под ним. Он понял, что это означает, и приготовился к самому худшему.

— Прочь с дороги, Джек Симпсон, я тебя узнал, окаянный грабитель. Прочь, не то...

Он не кончил фразы. Ховита могучим прыжком взвилась на дыбы, одним движением упрямой головы отбросила повисшую на поводьях фигуру и бешено ринулась вперед, на преграду. Проклятие, выстрел—и лошадь вместе с грабителем покатилась на дорогу, а через секунду Ховита была уже далеко от места встречи. Но правая рука наездника, пробитая пулей, беспомощно повисла вдоль тела.

Не замедляя бега Ховиты, он переложил поводья в левую руку, но через несколько минут ему пришлось остановиться и подтянуть подпругу, ослабевшую при падении. С больной рукой на это ушло немало времени. Погони он не боялся, но, взглянув на небо, заметил, что звезды на востоке уже гаснут, а отдаленные вершины утратили свою призрачную белизну и чернеют на более светлом фоне неба. Близился день. Весь поглощенный одной мыслью, он забыл о ноющей ране и снова, вскочив в седло, поскакал к Змеиному ручью. Но теперь дыхание Ховиты стало прерывистым. Дик шатался в седле, а небо все светлело и светлело.

Погоняй, Ричард, скачи, Ховита! Помедли, рассвет!

Когда он подъезжал к ручью, в ушах у него шумело. Была ли это слабость от потери крови или что-нибудь другое? Когда он съехал с холма, голова у него кружилась, в глазах темнело, и он не узнавал местности. Неужели он поехал не по той дороге, или это в самом деле Змеиный ручей?

Да, это был он. Но шумливый ручей, который он переплыл несколько часов назад, вздулся больше чем вдвое и теперь катился быстрой и неодолимой рекой, отделяя от него Змеиную гору. В первый раз за эту ночь сердце у него дрогнуло. Река, гора, светлеющая полоса на востоке поплыли перед его глазами. Он закрыл глаза, чтобы прийти в себя. В этот краткий миг по какой-то причуде воображения перед ним возник чуланчик в Симпсон-Баре и фигуры спящих отца и ребенка. Широко раскрыв глаза, он сбросил куртку, пистолет, сапоги и седло, привязал свою драгоценную ношу покрепче к плечам, стиснул голыми коленями бока Ховиты и с криком бросился в мутную, желтую воду. С противоположного берега тоже послышался крик, когда человека и лошадь, несколько

минут боровшихся с сильным течением, подхватило и понесло вниз среди крутящихся бревен и вырванных с корнем деревьев.

. . . . . .

Старик вздрогнул и проснулся. Огонь в очаге погас, свеча в большой комнате догорала, вспыхивая, и в дверь кто-то стучался. Он отпер дверь, но с испугом отступил перед насквозь промокшим полуголым человеком, который, пошатнувшись, ухватился за косяк.

— Дик?

— Тише! Он еще не проснулся?

— Нет. Но послушай, Дик...

— Молчи, старый дурень, дай мне виски, живей! — Старик побежал и вернулся с пустой бутылкой! Дик хотел было выругаться, но сил у него не хватило. Он зашатался, ухватился за ручку двери и сделал знак Старику.

— Там в мешке у меня есть кое-что для Джонни. Сними его. Я не могу.

Старик отвязал мешок и положил его перед измученным Диком.

— Развяжи, да поживее!

Старик дрожащими руками развязал веревку. В мешке были плохонькие игрушки, дешевые и довольно грубые,— разумеется, откуда было взяться изяществу!— но ярко раскрашенные и блестевшие фольгой. Одна из них была сломана, другая безнадежно попорчена водой, а на третьей—такая беда!—виднелось зловещее красное пятно.

— Не бог знает что, это верно,— сказал мрачно Дик,— но лучше этих мы не достали... Возьми их, Старик, и положи ему в чулок, да скажи... скажи, знаешь ли... Поддержи меня, Старик...— Старик успел подхватить его.— Скажи ему,— говорил Дик, слабо улыбаясь,— что приходил Санта Клаус.

Вот так, весь в грязи, оборванный, взлохмаченный и небритый, с повисшей беспомощно рукой, Санта Клаус пришел в Симпсон-Бар и свалился без чувств на первом пороге. А следом за ним явилась рождественская заря и тронула дальние вершины теплым светом неизреченной любви. Она так ласково смотрела на Симпсон-Бар, что вся гора, словно застигнутая врасплох за добрым делом, покраснела до небес.

РЫЦАРСКИЙ РОМАН В ЛОЩИНЕ МАДРОНЬО

Задвижка у калитки ранчо Фолинсби щелкнула два раза. В эту прекрасную ночь калитка была погружена в такую глубокую тень, что старик Фолинсби, сидевший на веранде, не мог разглядеть под соснами у входа в сад ничего, кроме высокой белой шляпы и развевающихся рядом лент. По этой ли причине, или же Фолинсби просто счел, что давно настала пора для более существенных разоблачений,— не знаю, но только, помешкав еще немного, он отложил в сторону трубку и медленно пошел по извилистой дорожке к калитке. Возле живой изгороди он остановился и прислушался.

Однако ничего интересного он не услышал. Шляпа говорила лентам, что ночь прекрасна, упомянув о том, как отчетливо вырисовываются очертания Сьерры на фоне темно-синего неба. Ленты, оказывается, любовались этой картиной всю дорогу домой; они спросили у шляпы, случалось ли ей видеть что-либо восхитительнее озаренных лунным сиянием горных вершин. Нет, не случалось, отвечала шляпа. Вспомнив чудесные ночи на юге Алабамы, она добавила, что этой ночи придают особое очарование еще и некоторые другие обстоятельства. Ленты никак не могли взять в толк, на что именно шляпа намекает. Затем наступила пауза, которой и воспользовался мистер Фолинсби, чтобы, сердито хрустя сапогами по гравию, подойти к калитке. Шляпа приподнялась и исчезла во мраке, и мистера Фолинсби встретило только отчасти простодушное, отчасти лукавое, но вполне очаровательное лицо дочери.

Позже в Лощине Мадроньо стало известно, что мисс Джо и старик Фолинсби обменялись резкими словами, что последний сопроводил имена некоего Кульпеппера Старботтла и его дяди полковника Старботтла весьма нелестными эпитетами и что ответ мисс Джо также не отличался сдержанностью. «Перед лицом отца отцова кровь бурлила и о родстве их душ глубоком говорила»,— процитировал кузнец величавые стихи Байрона. «Она видит, что старик блефует, и тоже ставки повышает» — таков был комментарий обучавшегося в колледже Билла Мастерса.

Между тем предмет этих дебатов медленно шел по дороге к тому месту, откуда открывался вид на особняк Фолинсби — длинное узкое белое строение, без особых претензий, но все же выгодно отличавшееся от соседних домов и обнаруживавшее некоторый вкус и изысканность, доказательством чему служили обвивавшие веранду виноградные лозы, стеклянные двери и белые кисейные занавески, которые днем защищали от свирепого калифорнийского солнца, а теперь серебрились в ласковом свете луны. Прислонившись к невысокой изгороди, Кульпеппер долго и задумчиво смотрел на дом. Вскоре в одном из окон призрачное лунное сияние сменилось вполне материальным светом, и девичья фигура со свечою в руке задернула белые занавески. Кульпеппер видел в ней весталку, стоящую пред священным алтарем, но боюсь, что для более прозаически настроенного наблюдателя это была всего лишь темноволосая девица, чьи лукавые черные глаза еще горели досадой на родителя. Как бы то ни было, когда фигура исчезла, он решительно вышел на залитую лунным светом большую дорогу. Здесь он снял свою оригинальную шляпу, чтобы стереть со лба пот, и луна ярко осветила его лицо.

Оно не было лишено привлекательности, хотя чрезмерная худоба, сухость и желтизна кожи не позволяли назвать его совсем уж приятным. Скулы выдавались вперед, а черные глаза глубоко ввалились. Зачесанные на косой пробор прямые черные волосы обрамляли высокий, но узкий лоб, касаясь впалых щек. Длинные черные усы подчеркивали резкие прямые линии рта. В общем, это было суровое, почти донкихотское лицо, которое, однако, по временам смягчалось такою ласковой и

даже трогательной улыбкой, что говорят, будто мисс Джо заявила, что, не задумываясь, вышла бы за ее обладателя, если бы только эта улыбка продержалась на его лице хотя бы до конца венчания.

— Я как-то сказала ему об этом,— добавила эта бессовестная молодая особа,— но он тотчас впал в мрачную меланхолию и с тех пор больше никогда не улыбался.

На полмили ниже ранчо Фолинсби освещенная луною дорога спускалась под гору и пересекала тропинку, проходившую через Лощину Мадроньо. То ли желая сократить путь к поселку, то ли по другой, менее практической причине, но Кульпеппер пошел по этой тропинке и через несколько минут очутился среди необыкновенно красивых деревьев, от которых долина получила свое название [1]. Даже в неверном ночном освещении сказочная красота этих фантастических растений поражала глаз. Их красные стволы — яркий румянец в лунном свете, темное кровавое пятно в глубокой тени — резко выделялись на фоне серебристо-зеленой листвы. Казалось, будто природа в минуту щедрости уловила и облекла в материальную форму причудливые воспоминания испанского переселенца, чтобы утешить его в горестном изгнании вдали от родной земли.

Войдя в рощу, Кульпеппер услышал громкие голоса. Обернувшись, он увидел, как из тени выступила фигура до такой степени причудливая и своеобразная, что ее можно было принять за нимфу здешних мест. Малиновое шелковое платье, отделанное кружевами, обнажало смуглые руки и плечи, а на голове красовался венок из жимолости. Вслед за нею показался мужчина. Кульпеппер вздрогнул. Дело в том, что он узнал в мужчине своего почтенного дядюшку полковника Старботтла, а в женщине даму, которая, выражаясь кратко, никак не может претендовать на знакомство с благовоспитанным читателем. Не задерживаясь на других, столь же удручающих подробностях, скажем только, что и тот и другая, очевидно, находились под влиянием винных паров.

Из их бурного объяснения Кульпеппер понял, что кто-то оскорбил даму на публичном балу, который она в тот вечер посетила, и что бывший ее кавалером полковник,

[1] Madroño *(исп.)*— земляничное дерево — дикое плодовое дерево с красной корой и блестящими листьями.

к ее досаде, не потребовал тут же на месте кровавого удовлетворения. Я весьма сожалею, что даже в наш либеральный век не могу воспроизвести тех метких и даже живописных выражений, в которых все это было изложено. Достаточно сказать, что в конце своей пламенной речи она с характерной женской непоследовательностью бросилась на бравого полковника и обрушила бы свое запоздалое мщение на его злополучную голову, если бы не проворное вмешательство Кульпеппера. Не встретив сочувствия и здесь, она бросилась на землю и закатила весьма неживописную истерику. Картина эта заключала в себе превосходный моральный урок — он содержался не только в нелепом поведении представительницы прекрасного пола, для которого нелепое поведение убийственно, но и в смехотворной озабоченности обоих мужчин. Кульпеппер, для которого каждая женщина была более или менее ангелом, испытывал огорчение и сострадание; полковник, который видел в женщине нечто более или менее непристойное, был чрезвычайно напуган и смущен. Впрочем, буря вскоре миновала, и сеньора Долорес, засунув свой маленький кинжал обратно в ножны, то есть за подвязку чулка, преспокойно покинула навсегда Лощину Мадроньо и, к счастью, также и страницы этой книги. Двое мужчин, оставшись одни, начали вполголоса о чем-то разговаривать. Утренняя заря застала их на прежнем месте. Полковник успел совершенно протрезвиться и стал таким же беспечным и самоуверенным, как всегда; впалые щеки Кульпеппера окрасил зловещий румянец, а темные глаза его загорелись недобрым огнем.

Наутро Лощина Мадроньо была полна слухов о неприятном приключении полковника. Рассказывали, будто его попросили увести свою даму с публичного бала в «Индепенденс-Отеле» и что после его отказа из залы вывели обоих. К сожалению, в 1854 году общественное мнение было далеко не единодушно в вопросе об уместности подобной меры, и возникли некоторые разногласия относительно добродетели других оставшихся в зале дам, однако же все признали, что истинный casus belli[1] был свойства политического.

[1] Повод к войне *(лат.)*.

— Что здесь, молебствие проклятых пуритан, что ли? — в ярости спросил полковник.

— Да уж, во всяком случае, не миссурийская танцулька,— весело отвечал распорядитель.

— Вы янки! — вскричал полковник, сопроводив это слово бранным эпитетом.

— А вы пограничный головорез. Ступайте вон! — последовал ответ.

Таков был, по крайней мере в общих чертах, рассказ очевидцев. Однако, поскольку в те простодушные времена за выражениями подобного рода следовали тотчас решительные действия, все ожидали шумной развязки.

Между тем ничего подобного не произошло. Полковник на следующий же день появился на улицах, и его обычная надменность несколько умерялась лишь присутствием сопровождавшего его племянника, всеобщего любимца, которое также умеряло дерзкое любопытство обывателей. Но Кульпеппер был заметно встревожен, что совсем не вязалось с его обычным невозмутимым спокойствием.

— Сеньору, как видно, не по душе, что старик потерпел афронт,— заметил участливый кузнец.

— А может, он сам неравнодушен к Долорес,— предположил скептически настроенный почтальон.

Через неделю после этого происшествия в одно ясное, солнечное утро мисс Джо Фолинсби вышла из своего сада на дорогу. Задвижка на этот раз не щелкнула, ибо она осторожно притворила за собой калитку. После минутного колебания, которое могло бы показаться неловким, если бы она, по обыкновению своего пола, не употребила это время на то, чтобы кокетливо завязать ленты от шляпы под своим украшенным ямочкой, но довольно выдающимся подбородком и натянуть на руку узкую перчатку, мисс Джо быстро пошла к поселку. Не удивительно, что проезжавший мимо возница загнал шестерку своих мулов в придорожную канаву, чуть не вывернув всю поклажу, лишь бы не запылить ее безукоризненно чистое платье; не удивительно, что курьерский дилижанс «Молния» замедлил свой ход, чтобы дать ей дорогу, а сам курьер, всю жизнь объяснявшийся с ближними одними только междометиями, восхищенно затаив дыхание, уставился ей вслед. Ибо она и в самом деле была хороша собой.

В краю, где прекрасный пол, следуя примеру юной Природы, склонен к чересчур пестрым и нарядным туалетам, простое и изящное платье мисс Джо немало способствовало если не нравственному, то, во всяком случае, физическому обаянию ее облика. Говорят, будто Бубновый Билли, работавший на своей заявке близ перекрестка, всякий раз, когда мимо него проходила мисс Фолинсби, извиняющимся тоном уверял своего компаньона, что «непременно должен написать письмо домой». Даже Билл Мастерс, который видел ее в Париже, где она удостоилась благосклонного внимания величайшего знатока женской красоты—покойного императора, сказал, что там она была восхитительна, но несравненно хуже, чем в Лощине Мадроньо.

Было еще очень рано, но солнце с калифорнийской расточительностью уже так сильно припекало соломенную шляпку и голубые ленты, что мисс Джо пришлось свернуть на тенистую боковую тропинку. Здесь она милостиво приняла робкие авансы бездомного желтого пса, но когда тот, ободренный успехом, решил навязать ей свое общество, угрожая безукоризненному подолу ее платья своей слюнявой мордой и пыльными лапами, мисс Джо отогнала его сначала несколькими сердитыми окриками, а потом камнем, который, к счастью, упал в пятидесяти футах от предназначенной ему цели. Доказав таким образом свою способность к самозащите, она с характерной женской непоследовательностью немного испугалась и, подобрав одной рукой свои юбки, а другою надвинув на глаза шляпу, обратилась в бегство. Пробежав ярдов сто, она остановилась и начала собирать листья папоротника и остатки полевых цветов, еще уцелевшие на сожженной солнцем земле, как вдруг, охваченная новой тревогой, принялась тщательно осматривать свои маленькие ножки в поисках колючек, жуков и змей, которые, как известно, вечно подкарауливают беспомощных женщин. Потом она сорвала несколько золотистых колосьев дикого овса и, повинуясь внезапному порыву вдохновения, воткнула их в свои черные волосы и, наконец, сама того не замечая, вышла на тропинку, ведущую к Лощине Мадроньо.

Здесь она в нерешительности остановилась. Перед нею извивалась узкая тропинка, терявшаяся в густых зарослях внизу под откосом. Солнце пекло очень сильно.

Она, наверное, очень далеко от дома. Почему бы ей не отдохнуть в тени? В ответ на этот свой вопрос мисс Джо тотчас направилась к зарослям. Тщательно осмотрев рощу и убедившись, что в ней нет ни единого человеческого существа, она облегченно вздохнула и присела под одним из самых больших деревьев. Мисс Джо любила мадроньо. Это—опрятное дерево, на его глянцевитые листья никогда не садится пыль, в его безупречной тени никогда не прячутся гусеницы или другие насекомые.

Она посмотрела вверх на переплетавшиеся в виде свода розовые ветви. Посмотрела вниз на изящные папоротники у своих ног. Возле самого корня дерева что-то блеснуло. Она подняла блестящую вещь и увидела, что это браслет. Мисс Джо внимательно оглядела его со всех сторон в поисках какой-нибудь надписи или вензеля, но ничего такого не нашла. Не в силах устоять против вполне естественного соблазна, она надела браслет на руку и принялась любоваться им на столь выигрышном фоне. Все это заняло ее внимание на несколько минут, и когда она снова подняла глаза, она увидела невдалеке Кульпеппера Старботтла.

Он стоял там, где при виде мисс Джо с инстинктивной деликатностью остановился. Он даже подумал, не следует ли ему уйти, чтобы ее не побеспокоить. Но какое-то очарование приковало его к месту. Поразительное свойство человеческой природы! Далеко на горизонте высились огромные, массивные и безмолвные уступы Сьерры. В каких-нибудь ста футах зияла широкая пропасть, гранитные откосы которой уходили на тысячу футов в глубину. По обеим ее сторонам стояли сосны, в чьих тесно сомкнутых рядах столетия переворотов и бурь не могли пробить ни единой бреши. И все это, казалось Кульпепперу, было создано премудрым провидением лишь для того, чтобы послужить достойной рамкой для хорошенькой девушки в желтом платье.

Хотя мисс Джо была совершенно уверена, что во время своей прогулки непременно встретит где-нибудь Кульпеппера, теперь, когда он так неожиданно появился перед нею, она была смущена и раздосадована. Надо сказать, что вид у него был мрачнее и серьезнее обыкновенного и гораздо более обыкновенного не вязался со свойственной этой легкомысленной девице дерзкой повадкой,

которая служила ей надежной защитой в обществе, где любое проявление чувства уже само по себе достаточно опасно.

Когда он подошел, она встала, но прежде чем она успела опомниться, он взял ее за руку и усадил рядом с собой. Мисс Джо совсем не этого ожидала, но разве можно предвидеть, с чего именно начнется объяснение в любви?

Что же сказал Кульпеппер? Боюсь, что ничего такого, чего не знал бы мудрый читатель и чего мисс Джо в общих чертах не слыхала из других уст уже и раньше. Но в его тоне звучала пламенная убежденность и неистовый пыл, которые для молодой девушки обладали восхитительной прелестью новизны. В самом деле, ведь что-нибудь да значит, если в девятнадцатом столетии за нею ухаживали со всею страстью и безумством шестнадцатого века; что-нибудь да значит, если слух ее, привыкший к грубому жаргону пограничных областей, ласкали речи этого худощавого и смуглого потомка странствующих рыцарей и кавалеров.

Я не знаю, было ли между ними что-нибудь еще. Достоверно известно только, что когда в один прекрасный момент мисс Джо уронила перчатку, Кульпеппер, обнаружив это и подняв ее, завладел сначала ее рукою, а потом и устами. Когда они поднялись, чтобы уходить, Кульпеппер обвил рукою ее талию, а ее черная головка, украшенная золотистыми колосьями, склонилась к грудному карману его сюртука. Но мне кажется, что даже и тогда ее воображение не было всецело занято им. Она извлекла некоторое удовлетворение из этого доказательства великолепного роста Кульпеппера и мысленно сравнила его с одним из своих прежних поклонников, неким лейтенантом Мак-Мерком, бравым, но низкорослым Гектором, который впоследствии пал жертвой небрежно составленных напитков, постоянно употребляемых в пограничном гарнизоне. Но даже отвечая на страстные взгляды Кульпеппера, ее быстрые глаза сумели разглядеть еще издали фигуру приближавшегося к ним человека. Мисс Джо мгновенно выскользнула из объятий Кульпеппера и, сложив за спиною руки, сказала:

— Вот идет этот ужасный человек!

Кульпеппер поднял глаза и увидел своего почтенного дядюшку, который, пыхтя и отдуваясь, карабкался на холм. Помрачнев, он обратился к мисс Джо:

— Вы не любите моего дядю?

— Я его ненавижу! — Мисс Джо вновь обрела свой острый язык.

Кульпеппер покраснел. Он охотно пустился бы в подробности родословной и подвигов полковника, но для этого уже не было времени. Он только грустно улыбнулся. От этой улыбки мисс Джо тотчас растаяла. Быстро протянув ему руку, она даже еще более дерзко, чем обычно, сказала:

— Не позволяйте этому человеку вовлечь вас в беду. Берегите себя, милый, смотрите, как бы с вами чего-нибудь не случилось.

Мисс Джо постаралась, чтобы ее речь прозвучала патетически. Судьба ее поклонников до сих пор была чревата всевозможными опасностями. Кульпеппер обернулся было к ней, но она уже исчезла в зарослях.

Полковник, задыхаясь, приблизился.

— Я ищу вас по всему городу, сэр, черт вас побери! Кто это был с вами?

— Дама. (Кульпеппер никогда не лгал, но был настоящим скромным рыцарем.)

— Будь они все прокляты! Послушай, Кульп, я напал на след молодчика, который велел в тот вечер вывести меня из зала.

— Кто же это? — равнодушно спросил Кульпеппер.

— Джек Фолинсби.

— Кто?

— Сын этого проклятого заступника негров, псалмопевца, пуританина-янки. Ну, в чем дело? Послушай, Кульп, надеюсь, ты не намерен отступиться от своей родни? Или отказаться от своего слова? Надеюсь, ты не намерен ползать у ног этой сволочи, словно побитая собака?

Кульпеппер молчал. Он был очень бледен. Потом он поднял глаза и спокойно промолвил:

— Нет.

Кульпеппер Старботтл послал вызов Джеку Фолинсби, и вызов был принят. Формальным поводом послу-

жило изгнание дяди Кульпеппера с публичного бала по приказу Фолинсби. Это, во всяком случае, было известно всем жителям Лощины Мадроньо, и в этом они могли поклясться, однако носились и другие весьма странные слухи, искусным толкователем которых был кузнец.

— Видите ли, джентльмены,— говорил он толпе, собравшейся вокруг его наковальни,— у меня нет никакой теории насчет этого дела, я только приведу вам некоторые факты. Кульпеппер и Джек встречаются совершенно случайно в салуне у Боба. Джек подходит к Кульпепперу и говорит: «На два слова». Кульпеппер кланяется и отходит в сторонку, вот так, а Джек стоит примерно тут. (Кузнец изображает положение сторон при помощи двух подков на своей наковальне.) Джек вытаскивает из кармана браслет и говорит: «Вам знаком этот браслет?» Кульпеппер отвечает: «Нет»,— так это холодно и спокойно. «Вы подарили его моей сестре». Кульпеппер говорит, с вашего позволения, опять все так же холодно: «Нет, не дарил». Джек говорит: «Вы лжете, черт вас побери!» — и хватается за пистолет. Кульпеппер бросается вперед, примерно вот сюда (снова ссылка на схему), и Джек стреляет. Пуля летит мимо. Чертовски любопытная вещь, джентльмены,— продолжал кузнец, неожиданно переходя в область отвлеченных рассуждений и задумчиво облокачиваясь на свою наковальню,— чертовски любопытная вещь, джентльмены, что пули так часто летят мимо. Мы с вами играючи разряжаем друг в друга свои пистолеты, в комнате полно народу, а пули летят мимо. Не пойму я этого, да и только.

— Не беда, Томпсон,— вмешался Билл Мастерс,— есть другой, лучший мир, где мы все поймем, а заодно и научимся лучше стрелять. Продолжайте свой рассказ.

— Ну так вот, один хватает Кульпеппера, другой хватает Джека, и их разнимают. Джек тогда и говорит, что видел у своей сестры браслет, который, как ему известно, полковник Старботтл подарил Долорес. Говорит, будто мисс Джо не хотела сказать, откуда он у нее, но призналась, что в тот день видела Кульпеппера. Но вот что самое удивительное. Что бы вы думали делает Кульпеппер? Он встает, берет все свои слова обратно

и утверждает, что да, он подарил ей этот браслет. Так вот, если хотите знать мое мнение, джентльмены, то он соврал. Не такой он человек, чтобы подарить порядочной девушке какую-нибудь вещь, принадлежащую этой Долорес. Впрочем, теперь-то уж это все равно, дело сделано и остается один-единственный выход.

В чем именно заключался этот единственный выход, когда-нибудь поведают летописи Лощины Мадроньо. Утро было светлое и ясное, в воздухе веяло прохладой по причине поднимавшегося с реки тумана. В шесть часов утра заранее условленное место — небольшая прогалина в роще мадроньо — было занято Кульпеппером Старботтлом, его секундантом полковником Старботтлом и доктором. Полковник находился в весьма возбужденном состоянии, хотя держался важно и с достоинством. Он объяснял доктору преимущества выбранного места, которое в этот час было совершенно скрыто от солнца, чьи лучи более или менее досаждают дуэлянтам. Доктор растянулся на траве и закурил сигару. Кульпеппер спокойно прислонился к дереву и задумчиво смотрел на реку. Как ни странно, казалось, что они просто собрались сюда на пикник. Это сходство еще больше усилилось, когда полковник вытащил из кармана бутылку и, предварительно к ней приложившись, предложил выпить остальным.

— Коктейль, сэр,— с достоинством пояснил он.— Джентльмен, сэр, никогда не должен выходить из дому без коктейля. Предохраняет от утренней простуды. Помню, в пятьдесят третьем году вышли мы в поход с Хэнком Бумпайрегером. Вообразите, сэр, он вынужден был надеть пальто; в нем его и застрелили. Факт.

Стук колес заглушил воспоминания полковника, и к месту дуэли подкатила коляска, в которой сидели Джек Фолинсби, Кэлхун Бунгстартер и Билл Мастерс. Джек весело спрыгнул на землю.

— Вот была потеха, когда я потихоньку улизнул из дому, чтоб старик не услышал,— начал он, словоохотливо адресуясь к присутствующим.

Кэлхун Бунгстартер тронул его за плечо, и юноша смутился. Это была его первая дуэль.

— Если вы готовы, джентльмены,— сказал мистер Бунгстартер,— то приступим к делу. Полагаю, что ника-

ких извинений не ожидается. Желательно как можно скорее переговорить об условиях, иначе нам могут помешать. По городу разнесся слух, что Комитет бдительности разыскивает наших друзей Старботтлов, и я, как их земляк, по-видимому, также имею честь быть включенным в ордер на арест.

Узнав о возможности помехи, все сразу прониклись серьезностью, которой до этой минуты им недоставало. Предварительные переговоры были скоро окончены, и противников расставили по местам. Затем воцарилась тишина.

Случайный зритель, который мог бы наблюдать эту картину с холма, думая, что здесь происходит пикник, истолковал бы нарушивший безмолвие звук как хлопанье пробок из двух откупоренных бутылок шампанского.

Кульпеппер выстрелил в воздух. Полковник Старботтл сквозь зубы пробормотал какое-то проклятие. Джек Фолинсби с досадой потребовал второго выстрела.

Противники снова стали друг против друга. Снова раздалась команда, и вслед за тем послышался звук, который можно было принять за одновременный выстрел из двух пистолетов. Однако через несколько секунд все были очень удивлены, увидев, что Кульпеппер медленно поднял свое неразряженное оружие и мирно выстрелил вверх. Затем, бросив свой пистолет на землю, отошел в сторонку и молча прислонился к дереву.

Джек Фолинсби пришел в бешенство. Полковник Старботтл разразился яростными проклятиями. Мистер Бунгстартер был явно шокирован их поведением.

— Право, джентльмены, если мистер Кульпеппер Старботтл отказывается стрелять, я не вижу никакой возможности продолжать дуэль.

Но полковник кипел от негодования, и Джек Фолинсби был равным образом непримирим. Последовало быстрое совещание, которое кончилось тем, что полковник Старботтл занял место своего племянника в качестве дуэлянта, а Билл Мастерс принял на себя обязанности секунданта вместо мистера Бунгстартера, который отказался от дальнейшего участия в этом деле.

Два ясно различимых выстрела грянули в лощине. Джек Фолинсби выронил свой дымящийся пистолет, шагнул вперед и тяжело рухнул навзничь.

В тот же миг возле него очутился доктор. Смятение еще усилилось тем, что послышался топот копыт и раздался голос кузнеца, предупреждавший, чтобы они спасались от надвигавшейся опасности. Поляна мгновенно опустела, и доктор, подняв голову, увидел только бледное лицо склонившегося над ним Кульпеппера.

— Можете ли вы спасти его?

— Трудно сказать. Подержите ему голову, пока я сбегаю к коляске.

Кульпеппер с нежностью обнял за шею лежавшего без чувств юношу. Доктор скоро возвратился с подкрепляющим средством.

— Благодарю вас, мистер Старботтл, больше ничего не нужно. Мой вам совет: поскорее уйти отсюда. Я позабочусь о Фолинсби. Вы слышите, что я говорю?

Рука Кульпеппера все еще обвивала шею его недавнего врага, но голова его поникла и упала на плечо раненого. Доктор посмотрел ему в лицо, наклонился и осторожно приподнял его за плечи. Он расстегнул ему сюртук и жилет. На рубашке была кровь, а на груди след пули. Он был смертельно ранен первым выстрелом.

кой, только чтобы внести свой вклад в общий тон разговора.

— Нет. Он сказал, что не сможет заняться участком Джонсона, не посовещавшись сперва с Английским банком,— глубокомысленно взвешивая каждое слово, ответил Билл.

Мистер Джонсон уже упоминался здесь: это был тот самый упившийся гуляка, которого выставил поутру бармен, и так как участок его заведомо не представлял никакого интереса для банкиров, то, естественно, внимание всех присутствующих устремилось к нему в надежде, что он как-то ответит на брошенный ему вызов. Он и ответил, нетвердыми шагами подойдя к стойке и невнятно пробормотав: «Спасибо, мне с сахаром»,— как если бы получил приглашение выпить. К чести Билла следует отметить, что он не только не попытался вывести Джонсона из заблуждения, но, напротив, с серьезным видом чокнулся с ним, произнеся: «Забьем еще один гвоздь в твой гроб...»— и после этого жизнерадостного тоста, к которому остальные игриво присовокупили: «...и чтобы у тебя все волосы на голове повылазили»,— он единым движением головы и локтя опрокинул в себя стаканчик и заметно воспрянул духом.

— Здорово, майор! — воскликнул Билл, отставляя стакан.— И ты тут?

Его слова предназначались мальчику, который при этом обращении застенчиво отступил боком к двери и стоял там, похлопывая шапкой по дверному косяку с напускным безразличием, которому явно противоречили хоть и потупленные, но озорные черные глаза и разгоревшиеся щеки. То ли благодаря малому росту, то ли благодаря хрупкости и ангелоподобному лицу, поражавшему доверчивостью выражения, но он никак не выглядел на свои четырнадцать лет, а казался вдвое младше.

Все в поселке Ангела знали его. Мальчик, которого Билл величал майором, а остальные по имени его приемного отца — Томом Айлингтоном, успел всем примелькаться и постоянно давал пищу для пересудов и критики. Его своенравие, леность и необъяснимое добродушие — качество сомнительное и ничем не оправданное в поселении пионеров, подобном Ангелу,— часто служили темой ожесточенных споров. Почтенное большинство полагало,

что мальчишке не миновать виселицы; меньшинство не столь почтенное забавлялось обществом Тома, нимало не заботясь о его будущем, а несколько обитателей поселка Ангела не усматривали в зловещем предсказании большинства ничего нового, ничего грозного.

— А мне есть что-нибудь, Билл? — заученным тоном задал вопрос мальчик, словно то была старая шутка, вполне понятная Биллу.

— Есть ли что-нибудь тебе!— протянул за ним Билл с преувеличенной строгостью, в равной мере понятной Томми.— Ничего! И помяни мое слово, ничего и не будет, покуда не перестанешь слоняться по барам и попусту тратить драгоценное время со всякими лодырями и бездельниками.— Это преувеличенно строгое нравоучение сопровождалось столь же преувеличенным жестом (Билл схватился за графин), перед которым Томми отступил с не изменившим ему и здесь добродушием. Билл шел за ним до самой двери.— Провалиться мне на месте, если он не потащился за этим бездельником Джонсоном,— добавил он, окидывая взглядом дорогу.

— А чего он ждет, Билл?— полюбопытствовал бармен.

— Да письма от тетки. Дождется он его, черта с два! Сдается мне, они надумали совсем сбыть с рук мальчишку.

— Он ведет здесь праздную и бесполезную жизнь,— вставил свое слово член местного самоуправления.

— Ну!— сказал Билл, который никому, кроме себя, не позволял ругать своего протеже.— Раз у просвещенных избирателей и в мыслях нет предложить ему местечко, о пользе говорить не приходится.

Пустив эту парфянскую стрелу и звякнув стаканом, дабы подчеркнуть свои воинственные намерения, Билл подмигнул бармену, с особой медлительностью натянул на руки огромные, бесформенные перчатки из оленьей кожи, в которых пальцы его казались чудовищно распухшими и как бы забинтованными, прошествовал большими шагами к двери, крикнул, ни на кого не глядя и всем своим видом выражая глубочайшее пренебрежение к тому, как воспримут его приглашение: «Трогаемся!»,— взгромоздился на козлы и флегматично пустил лошадей.

Пожалуй, Билл уехал весьма своевременно, так как разговор тотчас же принял оскорбительный для Тома и его родни характер. Совершенно недвусмысленно было высказано предположение, что вышеупомянутая тетка Тома и есть его родная мать; между тем как дядя отнюдь не состоит с ним в той степени близкого родства, которую требовательный вкус поселка Ангела признал бы в достаточной мере нравственной и благопристойной. Общественное мнение также склонялось к тому, что Айлингтон—приемный отец Тома, который регулярно получал некоторую сумму, предназначавшуюся якобы на содержание мальчика,— присваивает ее себе в качестве вознаграждения за умалчивание этих обстоятельств. «На чем, на чем, а на мальчишке он не разорится»,—заметил бармен, который, видимо, располагал точными сведениями о главной статье расходов Айлингтона. Но тут оживленная беседа сама собой прекратилась, ибо некоторые участники дебатов до того выдохлись, что бармену пришлось перейти от такого пустопорожнего занятия, как разговор, к исполнению своих прямых и весьма серьезных обязанностей.

Отъезд Билла был весьма своевременным еще и потому, что иначе внезапно одолевшая его жажда поучать усилилась бы при виде дальнейшего поведения его протеже. Ибо к этому времени Том, поддерживавший нетвердого на ногах Джонсона — тот все время порывался перебежать через залитую солнцем дорогу, но всякий раз останавливался на середине,— добрался наконец до примыкавшего к «Мэншн-Хаузу» корраля. У самого дальнего его конца стоял насос и желоб, из которого поили лошадей. Сюда-то и привел Том своего спутника, не обменявшись с ним по пути ни словом, но, очевидно, повинуясь какому-то установившемуся обычаю. С помощью мальчика Джонсон стянул с себя куртку и шейный платок, отогнул ворот рубашки и чинно подставил голову под насос. Не спеша и не менее чинно Том занял место у рукоятки. Некоторое время лишь плеск воды и мерное постукивание нарушали эту нелепо-торжественную тишину. Затем все стихло. Джонсон поднес руки к голове, с которой в три ручья стекала вода, критически ощупал ее, словно она не ему принадлежала, и поднял глаза на своего товарища.

— Оно свое дело сделает,— сказал Томми как бы в ответ на его взгляд.

— А не сделает,— сказал Джонсон упрямо и как бы снимая с себя всякую ответственность за дальнейшее,— а не сделает... нет, сделает! И все тут!

Если под словом «оно» разумелся описанный выше способ приведения в порядок внешности Джонсона, то «оно» свое дело сделало. Склонившаяся под струю голова казалась несоразмерно большой, неопределенного цвета волосы стояли дыбом, побагровевшее лицо было одутловато и бессмысленно, вытаращенные глаза налиты кровью. Голова, вынырнувшая из-под струи, уменьшилась в размере и обрела другую форму, волосы пригладились, стали прямыми и темными, лицо побледнело, щеки впали, глаза зажглись беспокойным огнем. Изможденный, нервический аскет, который отошел от насоса, ничем не напоминал склонившегося там минутой раньше Вакха. Хотя для Томми в этом не было ничего нового, он не удержался и заглянул в желоб, словно ожидая увидеть в его мелких глубинах хоть что-то от прежнего Джонсона.

Узкая полоска земли, поросшая ивой, ольхой и конским каштаном — всего лишь запыленный обтрепанный край зеленой мантии, окутывавшей высокий стан Столовой горы,— огибала угол корраля. Молчаливая пара быстро перебралась под эту ненадежную защиту от палящего солнца. Они прошли совсем немного, когда Джонсон, быстро шагавший впереди, вдруг замер на месте и повернулся к своему товарищу с вопросительным «Э?».

— Я ничего не говорил,—спокойно произнес Томми.

— А кто сказал, что говорил? — спросил Джонсон, хитро взглянув на Томми.— Ясное дело, ты не говорил, и я тоже не говорил. Никто не говорил. С чего тебе вздумалось, что ты говорил? — продолжал Джонсон, глядя испытующе в глаза Томми.

Улыбка, обычно светившаяся в этих глазах, быстро исчезла; мальчик подошел и взял своего товарища за локоть.

— Ясное дело, ты не говорил, Томми,— настойчиво повторил Джонсон.— Ты ведь не из тех мальчишек, которые рады дурачить такого, как я, разнесчастного пьяницу. Вот за что ты мне по нраву пришелся. Я это сра-

зу в тебе углядел. «Этот мальчишка не станет тебя дурачить, Джонсон,— сказал я сам себе.— Перед ним ты можешь выложить все свои богатства, когда даже бармену и тому нельзя доверять, вот как я сказал себе. Э?»

На сей раз Томми благоразумно пропустил мимо ушей вопрос Джонсона, и тот продолжал:

— Если я сейчас спрошу тебя про одну вещь, ты ведь не станешь меня дурачить, Томми?

— Конечно, нет,— сказал мальчик.

— А если я спрошу тебя,— с нарастающим беспокойством во взгляде и нервическим подергиванием рта продолжал Джонсон, как бы не слыша ответа,— а если я, к примеру, спрошу тебя, не заяц ли это только что пробежал мимо... э?.. Ты мне скажешь, как оно есть на самом деле? Ты ведь не станешь дурачить старика?

— Не стану,— сказал Томми,— но это и вправду был заяц.

— Ну, а если я спрошу тебя,— снова начал Джонсон,— была ли на нем, к примеру, зеленая шляпка с желтыми лентами, ты ведь не станешь меня дурачить и говорить «да»,—продолжал он с еще большей хитринкой,— если на нем ее вовсе не было.

— Конечно, не стану,— сказал Томми,— но в том-то и дело, что шляпка на нем была.

— Была?

— Была! — проговорил Томми решительно.— Зеленая шляпка с желтыми лентами и... и... и с красным помпончиком.

— Красного пом-пон-чика я что-то не приметил,— медленно и добросовестно выговаривая слова, произнес Джонсон, явно чувствуя облегчение.— Но я ничего не говорю, может, он и был. Э?

Томми посмотрел на своего спутника; землистый лоб его был покрыт крупными каплями пота, пот сбегал и по волосам; рука, которую держал Томми, вздрагивала и была липкой на ощупь, другая, свободная рука конвульсивно дергалась, словно была соединена с каким-то неисправным механизмом. Как бы не замечая этих угрожающих симптомов, Томми остановился и, усевшись на бревно, указал своему товарищу место рядом с собой. Тот послушно сел. Хоть это был и мелкий штрих, но никакой другой эпизод не мог бы так живо охарактеризо-

вать столь необычайное содружество и подчеркнуть превосходство беспечного, почти по-женски мягкого, но все же обладающего характером мальчика над упрямо-своевольным, дико возбужденным взрослым мужчиной.

— А разве это честно со стороны зайца,— помолчав, сказал Джонсон со смехом, который, отнюдь не будучи веселым и мелодичным, вспугнул ящерицу, созерцавшую эту пару, затаив дух от любопытства,— разве это честно со стороны зайца — напялить на себя шляпку? Я спрашиваю, честно, э?

— Ну,— сказал Томми с железной невозмутимостью,— иногда они надевают шляпки, а иногда нет, как придется. Животные — большие чудаки.— И здесь Томми принялся с воодушевлением расписывать, пренебрегая, однако, правдивостью и достоверностью,— как я должен с прискорбием заметить,— нравы калифорнийской фауны, пока Джонсон не прервал его.

— И змеи тоже, э, Томми?— спросил он, с отсутствующим видом уставившись в землю.

— И змеи тоже,— подтвердил Томми. — Но они не кусаются, во всяком случае те, которых ты видишь. Постой! Не двигайся, дядя Бен! Не двигайся! Вот они и уползли. И теперь тебе пора глотнуть свою порцию.

Джонсон вскочил с места, словно собираясь вспрыгнуть на бревно, но Томми успел поймать его рукой за локоть; в то же время другой рукой он вытащил у него из кармана бутылку. Джонсон остановился и оглядел ее.

— Раз ты так считаешь, мой мальчик,— проговорил он запинаясь, между тем как пальцы его уже судорожно обхватили горлышко,— только скажи мне, когда хватит.

Он поднес бутылку к губам и под критическим взглядом Томми отхлебнул большой глоток.

— Хватит!— выпалил вдруг Томми.

Джонсон вздрогнул, краска бросилась ему в лицо, но он быстро водворил бутылку на место. Однако кровь, прихлынувшая к его щекам, так и осталась там, взгляд стал менее беспокойным, и рука теперь тверже опиралась на плечо товарища.

Путь их пролегал вдоль склона Столовой горы по извилистой тропке, ведущей сквозь глухие, непроходимые заросли; можно было бы предположить, что сюда еще

не ступала нога человека, если бы не банки из-под устричных консервов, жестянки, содержавшие когда-то сухие дрожжи, и пустые бутылки, занесенные прихлынувшей сюда первой волной пионеров. На шероховатом стволе гигантской сосны висели клочья серой шерсти, оставленные пробиравшимся здесь медведем гризли, и в странном контрасте с ними у подножия той же сосны валялась пустая бутылка из-под несравненного виски, лучшего создания спасительной цивилизации,—бутылка, увенчанная гербом республики, владеющей панацеей от всех бед. Головка гремучей змеи высунулась из табачного ящика со все еще яркими, кричащими наклейками, рекламирующими известную танцовщицу. А чуть подальше земля была изрыта и перекопана, навалены были одно на другое кое-как обтесанные бревна, неровной линией тянулся промывной желоб, высилась куча гравия и песка, рядом грубо сколоченная хижина; это был участок Джонсона. Хижина могла служить укрытием от дождя и холода — вот и все ее преимущества над окружающей ее первобытной природой. Как и в логовище животного, все в ней было подчинено этой цели, только логовища обычно еще удобны и живописны; даже птицы, которые заглядывали сюда в поисках пищи, должно быть, чувствовали свое превосходство над человеком в строительном искусстве. Хотя хижина была очень мала, в ней были горы грязи, хотя она была выстроена из свежесрубленного леса, воздух в ней был чудовищно затхлый. В тени она выглядела безнадежно унылой, но и посещавшее ее солнце словно отчаялось в своих мучительных, напрасных попытках смягчить ее грубые очертания или хотя бы позолотить ее загаром.

На участке, который в минуты трезвости разрабатывал Джонсон, было с полдюжины грубо выдолбленных в склоне горы отверстий; перед каждым из них громоздились обломки горной породы вперемешку с гравием. Все это никак не свидетельствовало о знании дела или планомерном замысле, зато говорило о ряде беспорядочных попыток, из которых ни одна не была доведена до конца. В описываемый день солнце так пекло, что маленькая хижина накалилась почти до температуры горения; сухая дранка на крыше начала коробиться, а свежие сос-

новые балки — плакать благовонными слезами; поэтому Томми использовал выдолбленные в скале «пещерки» не по прямому назначению, он ввел Джонсона в ту из них, которая была попросторнее, и сам со вздохом облегчения растянулся на каменном полу. Кое-где благодетельная влага скопилась в стоячие лужицы или же с однообразным успокоительным стуком капала со скалистого свода над головой. Снаружи все было залито режущим глаза солнечным светом — нестерпимым, прозрачным, добела раскаленным.

Некоторое время Томми и Джонсон лежали, приподнявшись на локтях, наслаждаясь тем, что им удалось скрыться от зноя.

— Что ты скажешь,— медленно начал Джонсон, не глядя на своего товарища и обращаясь с отсутствующим видом к расстилавшемуся перед ним пейзажу,— что ты скажешь, если я предложу тебе сейчас сыграть два кона в карты? Ставка — тысяча долларов.

— Не тысяча, а пять тысяч,— тоже в сторону пейзажа задумчиво проговорил Томми.— Тогда я согласен.

— Сколько там за мной? — спросил Джонсон после затянувшегося молчания.

— Сто семьдесят пять тысяч двести пятьдесят долларов,— ответил Томми деловито и с полной серьезностью.

— Что ж,— ответил Джонсон после раздумья, по глубине своей соразмерного значительности суммы,— выиграешь — считай за мной круглым счетом сто восемьдесят тысяч. А где карты-то?

Они оказались над самой их головой в старой жестяной коробке, засунутой в расщелину скалы. Колода была засаленная и потрепанная от долгого употребления. Сдавал Джонсон, хотя правая рука плохо подчинялась ему и, сдав Томми карту, бесцельно повисала в воздухе, так что вновь призвать ее к повиновению удавалось только в результате огромного нервного усилия. При этой явной неспособности справиться даже с простой раздачей карт Джонсон все же ухитрился тайком вытянуть валета из-под низа колоды. Но проделал это так неумело, с такой постыдной неуклюжестью, что даже Томми должен был кашлянуть и отвести глаза в сторону, чтобы скрыть смущение. Возможно, по этой причине сей юный джентльмен также принужден был справедливости ради доба-

вить себе лишнюю карту сверх того законного числа, которое было у него на руках.

Тем не менее игра шла вяло, без всякого одушевления. Выиграл Джонсон. Вооружившись огрызком карандаша, он увековечил этот факт и сумму, выведя дрожащей рукой каракули, расползшиеся по всей странице его записной книжки. Потом, после долгой паузы, он медленно извлек что-то из кармана и протянул Томми. На вид это был камень бурого цвета.

— А что бы ты сказал,— растягивая слова, спросил Джонсон, и в его взгляде снова мелькнула неприкрытая хитринка,— а что бы ты сказал, Томми, случись тебе подобрать такой камешек?

— Не знаю,— ответил Томми.

— А может, ты сказал бы, что это золото или серебро?

— Нет,— не задумываясь, ответил Томми.

— А может, ты сказал бы, что это ртуть? А может, будь у тебя друг и знай он место, где ее хоть десять тонн в день грузи, да притом что каждая тонна тянет на две тысячи долларов, так, может, ты сказал бы, что этому твоему другу подфартило да еще как подфартило? Если бы, конечно, ты так выражался, Томми.

— Ну, а ты-то,— проговорил мальчик, переходя к сути дела с полной непосредственностью,— ты-то знаешь, где она есть? Ты напал на залежь, дядя Бен?

Джонсон опасливо огляделся по сторонам.

— В том-то и дело, Томми. Ее там пропасть сколько. Но ты не думай, вся она в земле захоронена, а наверху только и есть, что этот образец да родной его брат у агента во Фриско. Агент явится сюда через денек-другой, чтобы взять пробу на участке. Я послал за ним. Э?

Горящие, беспокойные глаза Джонсона впились в лицо Томми, но мальчик не проявил не удивления, ни интереса. Нельзя было предположить, что он помнит ироническую и, как казалось тогда, бессмысленную фразу Билла, подтверждающую рассказ Джонсона в этой его части.

— Никто про это не знает,— продолжал Джонсон взволнованным шепотом,— никто про это не знает, только ты да агент во Фриско. Парни, те, что работают тут поблизости, идут себе мимо и видят: копается в земле

старик, и хоть бы что блеснуло где, кварца захудалого — и того не видно; а парни, что околачиваются в «Мэншн-Хаузе», видят: таскается старый бездельник по барам — и говорят: «Спета его песенка»,— а что к чему, им и невдомек. Или, может, они что пронюхали, э?— засомневался вдруг Джонсон, и взгляд его стал острым и подозрительным.

Томми посмотрел на него, покачал головой, запустил камнем в пробежавшего мимо зайца, но ничего не ответил.

— Когда ты первый раз попался мне на глаза, Томми,— продолжал Джонсон, судя по всему, успокоившись,— в тот первый раз, когда ты подошел и по своей воле стал качать мне воду, хотя ты меня до того и знать не знал; «Джонсон, Джонсон,— сказал я себе тогда,— вот на этого мальчишку ты можешь положиться. Этот мальчишка тебя не одурачит... Уж он-то сама прямота и честность — сама прямота и честность», Томми, так я и сказал себе тогда.

Он немного помолчал, а потом продолжал доверительным шепотом:

«Тебе нужен капитал, Джонсон,— сказал я себе,— капитал, чтобы вести разработки. И еще тебе нужен компаньон. За капиталом дело не станет, его можно раздобыть, а твой компаньон, Джонсон, твой компаньон — вот он тут. И зовут его Томми Айлингтон». Так я и сказал себе тогда слово в слово.

Он замолк и вытер о колени мокрые ладони.

— Скоро шесть месяцев, как ты уже мой компаньон. И с тех пор, Томми, я не сделал ни одного удара киркой, не промыл ни одной горсти земли, не выбрал ни одной лопаты без того, чтобы не вспомнить про тебя. И каждый раз я приговаривал: «Все поровну». И когда я написал моему агенту, я написал и от моего компаньона, не его это дело знать, взрослый он человек или мальчишка!

Джонсон придвинулся к Томми, как бы желая ласково потрепать его по плечу, но в его столь явной привязанности к мальчику присутствовал своеобразный элемент благоговейной сдержанности и даже страха, что-то мешавшее ему излиться до конца, безнадежное ощущение разделяющего их барьера, который ему никогда не пре-

одолеть. Должно быть, он смутно чувствовал порой, что обращенный к нему критический взгляд Томми светился пониманием и насмешливым добродушием, даже какой-то женственной мягкостью, но никаких других чувств в нем не было. От замешательства Джонсон разнервничался еще больше, но, продолжая говорить, он изо всех сил пытался сохранить спокойствие, что при его подергивающихся губах и трясущихся пальцах производило впечатление жалкое и смешное.

— В моем деревянном ларе есть купчая, составленная, как оно и положено, по закону на половинную долю неподеленного участка, как возмещение двухсот пятидесяти тысяч карточного долга — моего тебе карточного долга, Томми, ты понял? — При этих словах во взгляде его промелькнуло выражение ни с чем не сравнимого лукавства.— И еще есть завещание.

— Завещание? — повторил за ним Томми с веселым недоумением.

Джонсон вдруг испугался.

— Э? Кто здесь говорил о завещании, Томми?—воскликнул он, спохватившись.

— Никто,— ответил Томми, не моргнув глазом.

Джонсон отер холодный пот со лба, отжал пальцами мокрые пряди волос и продолжал:

— Когда, бывает, меня скрутит, как сегодня, здешние парни говорят — да и ты, небось, говоришь, Томми,— что это виски. А это не так, Томми. Это отрава, ртутная отрава! Вот что со мной стряслось. У меня слюнотечение. Ртутное слюнотечение. Я слыхал про такое и раньше. И так как ты чего-чего только не читал, надо думать, и ты знаешь про это. Кто работает с киноварью, у того всегда бывает слюнотечение. Хоть так, хоть эдак — им его не миновать. Ртутное слюнотечение.

— А что ж ты будешь делать, дядя Бен?

— Когда приедет агент из Фриско и все закрутится с этими моими копями,— начал Джонсон, как бы размышляя вслух,— я поеду в Нью-Йорк. И вот приеду я в Нью-Йорк и скажу в гостинице бармену: «Отведи меня к самому что ни на есть лучшему доктору». И он отведет меня. И я скажу тому доктору: «Ртутное слюнотечение, вот уже год. Сколько выкладывать?» И он скажет: «Пятьсот долларов»,— и велит мне принимать по две пи-

люли перед сном и по стольку же порошков перед едой и чтобы я пришел к нему через неделю. И я прихожу к нему снова через неделю уже здоровый и выдаю ему в том расписку.

Воодушевленный вниманием, проявившимся во взгляде Томми, он продолжал:

— И вот я уже здоров. И иду к бармену и говорю: «Покажи мне самый что ни на есть большой и шикарный дом, который у вас тут продается». И он отвечает: «Дело известное, самый большой дом продает Джон Джейкоб Астор». «Отведи меня к нему»,— говорю я. И он ведет меня к Астору. «Сколько возьмете с меня за этот дом?» А тот смотрит на меня эдак пренебрежительно и говорит: «Убирайся, старик, ты, верно, рехнулся». И я двину ему разок в левый глаз, и он запросит у меня пардону, и я дам ему его цену. И я набью этот дом сверху донизу мебелью из красного дерева и съестными припасами, и мы с тобой станем там жить, ты да я, Томми, ты да я!

Солнце уже не освещало склон горы. По участку Джонсона поползли тени сосен, и в пещере стало совсем прохладно. В сгущавшихся сумерках видно было, как блестят глаза Джонсона.

— И вот настанет день,— продолжал он,— когда мы зададим с тобой пир, Томми. Мы позовем к себе губернаторов, и членов Конгресса, и самых важных джентльменов, и всех таких прочих. И среди них я позову одного человека, который высоко носит голову, человека, которого я когда-то знавал. А ему и невдомек, что я его знаю, он-то меня не помнит. И он входит и садится против меня, и я не свожу с него глаз. И очень он весело настроен, этот человек, и очень сам собой доволен, и вытирает он себе рот белым платком, и улыбается, и, глядя на меня, говорит: «Выпьем с вами вина, мистер Джонсон». И он наливает вина себе, а я себе, и мы встаем, и я швыряю стакан с вином прямо в это его окаянное ухмыляющееся лицо. И он подскакивает ко мне, а он не трус, этот человек, совсем не трус, но тут его хватают за руки, и он спрашивает меня: «Кто ты есть?» И я говорю: «Скэгс, будь ты проклят! Скэгс! Узнаешь?! Отдай мне мою жену и ребенка! Отдай мне деньги, которые ты у меня украл! Отдай мне доброе имя, которое ты у меня отнял!

Отдай мне здоровье, которое ты погубил! Отдай мне назад последние двенадцать лет моей жизни! Отдай мне все это, дьявол, и поживее, а не то я вырежу у тебя сердце». И, ясное дело, Томми, он того не может. И вот я вырезаю у него сердце, мой мальчик, я вырезаю у него сердце!

Животная ярость, сверкавшая в его взгляде, сменилась вдруг лукавством.

— И ты думаешь, они вздернут меня за это, Томми? Как бы не так! Я пойду к самому что ни на есть знаменитому адвокату и скажу: «Отравлен ртутью, понимаете, отравлен ртутью». И он подмигнет мне, и пойдет к судье, и скажет: «Этот бедняга за себя не отвечает: он отравлен ртутью». И позовет свидетелей, и вот приходишь ты, Томми, и говоришь им, как меня, бывало, скручивало; и доктор приходит и объясняет им, как мне было худо тогда; и тут присяжные, не сходя с места, все, как один, постановляют: «Оправдать по умопомешательству. Отравлен ртутью».

Дойдя до кульминационной точки своего рассказа, Джонсон пришел в такое возбуждение, что даже вскочил и, наверное, не удержался бы на ногах, если бы Томми не поддержал его и не вывел на воздух. Там, при свете куда более ярком, чем в пещере, сразу стало заметно, как изменилось его изжелта-бледное лицо — изменилось настолько, что Томми быстро подхватил его под руку и отвел, вернее, дотащил до убогой хижины. Когда они туда добрались, Томми уложил Джонсона на грубо сколоченный топчан, или ларь, и стал над ним, глядя с беспокойством на бьющегося в конвульсиях товарища... Потом он торопливо сказал:

— Послушай, дядя Бен, я иду в город—в город, понимаешь? За доктором. А ты ни за что не вставай и не двигайся, пока я не вернусь. Ты слышишь меня?— Джонсон судорожно кивнул.— Через два часа я вернусь.

Минутой позже Томми уже не было в хижине.

В течение часа Джонсон держал слово. Потом он вдруг сел и уставился в угол хижины. Постепенно на лице его появилась улыбка, он что-то забормотал, бормотание перешло в крик, крик — в проклятия, и все завершилось безудержными рыданиями. После чего он снова стих и спокойно улегся.

Джонсон лежал так неподвижно, что любой вошедший в хижину человек принял бы его за спящего или мертвого. Но когда осмелевшая в ненарушимой тишине белка перебралась из-под крыши в хижину, она вдруг замерла на балке прямо над ларем, увидев, что нога человека медленно и неуверенно опускается на пол и что взгляд у него не менее настороженный и внимательный, чем у нее самой. По-прежнему не было слышно ни звука, но обе ноги оказались вдруг на полу. В этот момент ларь скрипнул, и белка юркнула под карниз, а когда она снова выглянула оттуда, все было тихо, но человек исчез.

Часом позже двум погонщикам мулов повстречался на Плейсервиллской дороге человек; волосы у него были всклокочены, сверкающие глаза налиты кровью, одежда изодрана о колючий кустарник и перепачкана красной пылью. Они пошли за ним следом, но он вдруг обернулся и, набросившись на того из них, кто был ближе, выхватил у него пистолет и пустился бежать. Еще позже, когда солнце скрылось за Пейнским хребтом, на Дедвудском склоне начал похрустывать низкорослый кустарник под чьими-то крадущимися, но неутомимыми шагами. Должно быть, это было животное, неясный силуэт которого появлялся в сгущающейся темноте; он то возникал, то скрывался, неуклонно продвигаясь вперед. Да и кто еще, кроме животного, мог оглашать тишину таким бессмысленным, однообразным и несмолкающим криком? Однако когда звук приблизился и раздвинулись кусты чапараля, то показался человек, и человек этот был Джонсон.

Преследуемый сворой призрачных псов, которые с воем неслись за ним по пятам, настигая его неотступно и неутомимо, гонимый ударами воображаемого бича, со свистом обвивающегося вокруг его рук и ног; окруженный толпой гнусных призраков, с воплями подступающих к нему со всех сторон, он тем не менее все же различал один-единственный реальный звук — шум стремительной, бурливой реки. Река Станислав! Там, внизу, в тысяче футов от него, она катит свои желтоватые волны. Несмотря на всю зыбкость своего помраченного сознания, он цеплялся за эту единственную мысль — добраться до реки, омыться в ней, переплыть ее, если надо, чтобы навсегда положить преграду между собой и назойливыми

видениями, навсегда утопить в ее мутных глубинах толпящихся призраков, смыть ее желтыми водами всю грязь и позор прошлого. И вот он перепрыгивает с валуна на валун, с чернеющего пня на пень, перебегает от куста к кусту, прорываясь сквозь опутывающие его растения и проваливаясь в песчаные ямы, пока, скользя, спотыкаясь и падая, не добирается до берега реки, где снова падает, снова поднимается, шатаясь, делает несколько шагов вперед и наконец, вытянув руки, валится ничком на скалу, преграждающую путь быстрому течению. И там он лежит, будто мертвый.

Первые звездочки робко блеснули над Дедвудским склоном. Холодный ветер, налетевший невесть откуда, как только спряталось солнце, раздул их слабый блеск до яркого сияния; потом промчался по нагретым склонам холма и взбудоражил реку. Там, где лежал поверженный человек, река образовывала крутую излучину, и в сгустившихся сумерках казалось, что ее бурные воды вырываются из темноты и снова пропадают. Гниющий плавник, стволы упавших деревьев, обломки промывных желобов — отбросы и отходы, издалека согнанные сюда, на секунду оказывались в поле зрения и тут же исчезали. Вся грязь, накипь, мерзость, которую поставлял довольно большой округ приисков и поселков, все, что изрыгнула из себя эта грубая и вольная жизнь, на миг появившись, уносилось прочь в темноту и исчезало с глаз. Не удивительно, что, когда ветер волновал желтые воды реки, волны, как нечистые руки, вздымались к скале, где лежал упавший человек, словно им не терпелось сорвать его оттуда и умчать к морю.

Стояла тишина. В прозрачном воздухе звуки рожка были ясно слышны за милю. Звон шпор и смех на проезжей дороге по ту сторону Пейнского хребта звучал отчетливо и за рекой. Позвякивание упряжи и стук копыт уже задолго оповестили о приближении уингдэмского дилижанса; наконец, сверкнув фонарями, он проехал мимо в нескольких футах от скалы. На час снова воцарилась тишина. Вскоре полная луна взошла над кряжем и свысока посмотрела на реку. Сперва, точно белеющий череп, обозначилась вершина Дедвудской горы, а когда сползли вниз отбрасываемые Пейнским хребтом тени, то и склон горы с его уродливыми пнями, пропыленными расщели-

нами и местами обнажившейся породой предстал в своем черно-серебряном одеянии. Мягко прокравшись вниз, лунный свет скользнул по берегу, по скале и ярко заиграл на реке. Скала была пуста, человек исчез, но река все так же спешила к морю.

— А мне есть что-нибудь? — неделю спустя спросил Томми Айлингтон, когда к «Мэншн-Хаузу» подъехал дилижанс и Билл неторопливо вошел в бар.

Билл не ответил, но, повернувшись к вошедшему вместе с ним незнакомцу, пальцем указал ему на мальчика. Тот с деловым видом, не скрывая, однако, известной доли любопытства, критически оглядел Томми.

— А мне есть что-нибудь? — повторил Томми, немного смущенный молчанием и устремленным на него взглядом.

Билл не спеша подошел к стойке и, прислонившись к ней спиной, невозмутимо, но явно ликуя в душе, смотрел на Томми.

— Если,— сказал он,— если сто тысяч долларов наличными и полмиллиона в перспективе — это что-нибудь, то можешь считать, что есть, майор.

ЧАСТЬ II
ВОСТОК

Для поселка Ангела характерно, что известие об исчезновении Джонсона и об его завещании, по которому вся его собственность досталась Томми, взволновало публику куда меньше, чем ошеломляющая новость, что Джонсону, оказывается, было что оставлять. Открытие залежей киновари в Ангеле заслонило собой все сопутствующие этому факту частности и детали. Старатели с соседних приисков толпами стекались в поселок; на милю по обе стороны от участка Джонсона склоны горы были застолблены; заметное оживление наблюдалось и в торговле. Если верить захлебывающемуся красноречию «Еженедельных ведомостей», «над Ангелом взошла заря новой эры». «В прошлый четверг,— добавляла газета,—

выручка бара в «Мэншн-Хаузе» превысила пятьсот долларов».

Дальнейшая судьба Джонсона почти не вызывала сомнений. Последними его видели пассажиры императа уингдэмского ночного дилижанса: он лежал на скале у самой реки. А после того как Финн с Робинсонова парома признался, что дал три выстрела из револьвера по какому-то темному барахтавшемуся в воде предмету, принятому им за медведя, вопрос казался решенным. Как бы неточны ни были наблюдения Финна, точность его прицела не вызывала сомнений. Поскольку все считали, что, завладев пистолетом погонщика мулов, Джонсон мог взять да и уложить на месте первого же встречного, поступок паромщика в поселке признали допустимым и даже в своем роде справедливым.

Не менее характерно для поселка Ангела, что счастье, привалившее Томми Айлингтону, не вызвало ни зависти, ни возражений. Большинство полагало, что он с самого начала был полностью осведомлен о находке Джонсона и его отношение к последнему было целиком основано на корыстном расчете. Как ни странно, такой взгляд впервые пробудил у людей чувство подлинного уважения к Томми.

— Парень, видно, не дурак! Юба Билл это сразу понял,— сказал бармен.

И после того как мальчик вступил во владение участком Джонсона, кто же, как не Юба Билл, при поручительстве всех богатейших людей Калавераса, вызвался быть опекуном Томми! А когда мальчика отправили на Восток для завершения образования, кто же, как не Юба Билл, сопровождавший Томми до Сан-Франциско, отвел на палубе корабля своего питомца в сторонку и сказал:

— Всякий раз, как тебе понадобятся деньги, Томми, сверх тех, что тебе положены на содержание, пиши мне. Но послушайся моего совета,— здесь голос его внезапно охрип, что заметно смягчило суровость его тона,— и начисто забудь всех распроклятых старых, засекающихся на все четыре ноги бездельников, с которыми ты знался в Ангеле,— всех до одного, Томми, всех до одного! Итак, мой мальчик, береги себя, и... и... да благословит тебя бог! И будь я трижды неладен за то, что я такой перворазрядный и первоклассный осел!

И тот же Юба Билл спустя минуту после этой речи, раздвигая толпу воинственно выставленным вперед плечом и бросая на всех свирепые взгляды, пробился по заполненным людьми сходням, затеял ссору с кебменом, которого тут же скрутил и запихал в его собственный кеб, сам взялся за вожжи и бешено погнал лошадей к гостинице.

— Влетело мне в двадцать долларов,— сказал Юба Билл, излагая этот эпизод несколько позже в поселке Ангела,— двадцать долларов у судьи, на следующее же утро! Но можете не сомневаться, я показал им, как надо ездить, этим парням во Фриско, им было от чего рты разинуть! Я им там задал жару на Монтгомери-стрит за эти десять минут, уж будьте уверены!

Мало-помалу двух первооткрывателей Больших Киноварных залежей забыли в поселке Ангела, не помнили о них и в Калаверасе. Спустя пять лет даже имена их стерлись из памяти, спустя семь — переименован был и поселок, где они когда-то жили, спустя десять — город, в который превратился поселок, был полностью перенесен на склоны горы, и труба рудоплавильного завода, тускло мерцая, по ночам отбрасывала мертвенный свет туда, где когда-то стояла хижина Джонсона, а днем отравляла ядовитым дыханием воздух, пропитанный смолистым запахом сосен. «Мэншн-Хауз»—и тот был снесен, и уингдэмский дилижанс изменил проезжей дороге, выбрав более короткий путь через Ртутный город. И лишь Дедвудская гора, как и встарь, вонзала свой обнаженный гребень в ясное голубое небо и, как и встарь, у ее подножия неутомимая, неугомонная река Станислав, плещась и что-то нашептывая, бежала к морю.

Над Атлантикой лениво занималось знойное летнее утро. У ветра недоставало сил разогнать сгустившиеся над морем испарения, но сквозь колышущуюся туманную завесу просвечивало фиолетовое небо с проступившими уже на нем тускло-красными полосами, которые, все ярче пламенея, закрасили наконец звезды. Вскоре коричневые утесы Грейпорта порозовели, а вслед за тем расцветилась и вся пепельная полоса пустынного побережья, и один за другим стали гаснуть огни маяка. По-

том сотни невидимых прежде парусов выступили из неясной дали и устремились к берегу. Настало утро, и некоторые избранные представители грейпортского высшего общества, которые так еще и не ложились, нашли, что им время идти спать.

Солнце, все больше разгораясь, охватило пожаром и набегающие одна на другую красные крыши живописного дома у песчаной отмели, из открытых, с частыми переплетами окон и с освещенной веранды которого всю ночь лились на берег свет и музыка. Солнце сверкало по всей широкой стеклянной поверхности оранжереи, выходившей на изящную лужайку, где ночью в неподвижном воздухе под полной луной, смешиваясь, как бы застывали запахи моря и суши. Но солнечные лучи вызвали переполох на увешанной разноцветными фонариками длинной веранде и вспугнули группу дам и кавалеров, вышедших из гостиной полюбоваться на восход. Солнце было так беспощадно, так, можно сказать, правдиво, что, когда прекрасная и несравненная мисс Джилифлауэр, отъехав в карете от дома, посмотрела на свое отражение в овальном зеркале, она проворно опустила шторки и, откинув самые белоснежные во всем Грейпорте плечи на алые подушки, тут же заснула.

— На что мы все похожи! Роз, дорогая, ты выглядишь почти интеллектуальной,— сказала Бланш Мастермен.

— Надеюсь, что нет,— простодушно ответила Роз.— Восходы солнца такое испытание для нас! Посмотрите, как это освещение обесцветило волосы да и всю миссис Браун-Робинсон.

— Ангелы,— проговорил граф де Нюга, почтительным жестом указав на небо,— должно быть, не одобряют эту игру небес, которая пагубно отражается на их туалетах.

— Ну, в белом они ничем не рискуют, если только не позируют художникам в Венеции,— заметила Бланш.— А какой свежий вид у мистера Айлингтона! Право, это вовсе не лестно для нас.

— Думаю, солнце просто не видит во мне соперника,— скромно ответил молодой человек.— К тому же,— добавил он,— я долго жил под открытым небом и могу обходиться почти без сна.

— Это восхитительно! — мягким восторженным голосом воскликнула миссис Браун-Робинсон, в которой опасно сочетались пылкость и чувствительность шестнадцатилетней девочки и жизненный опыт женщины тридцати двух лет.— Нет, это просто восхитительно! Какие, наверное, восходы вы видели и в каких диких, романтичных краях! Как я завидую вам! Мой племянник, который учился с вами, часто пересказывал мне прелестные истории о ваших приключениях. Расскажите нам сейчас хоть одну! Ну пожалуйста! Но как, вероятно, наскучили вам и мы и вся эта искусственная жизнь здесь, такая ужасно, ужасно искусственная, не правда ли?—Переходя на доверительный шепот.— Ну разве может все это сравниться с теми днями, когда вы бродили по Великому Западу вместе с индейцами, бизонами и гризли? Вам ведь, конечно, попадались там гризли и бизоны?

— Ну, разумеется, дорогая,—с легким раздражением проговорила Бланш, набрасывая плащ на плечи и беря под руку свою спутницу.— В младенчестве его баюкал бизон, а гризли он гордо именует товарищем своих детских игр. Пойдемте, я вам все расскажу об этом. Как мило с вашей стороны,— добавила она вполголоса Айлингтону, когда он подсаживал ее в карету,— как это мило с вашей стороны быть похожим на всех этих диких животных и не сознавать своей силы. При вашем опыте и нашей доверчивости, подумать только, какие истории вы могли бы нам нарассказать! А вы, как я вижу, собираетесь на прогулку? Тогда спокойной ночи!

Узкая затянутая в перчатку ручка непринужденно протянулась к нему из окна кареты, которая тут же отъехала.

— Не упускает ли Айлингтон здесь свой шанс? — проговорил на веранде капитан Мервин.

— Быть может, он не в состоянии выдержать приложения в лице моей прелестной тетушки? Впрочем, он ведь гостит у отца Бланш, и, полагаю, они достаточно часто видят друг друга.

— А вы не находите, что это довольно рискованная ситуация?

— Для него — допускаю, хотя он умудрен жизнью и большой оригинал, но для нее — при ее-то опыте, когда она видела у своих ног всех сколько-нибудь стоящих

мужчин обоих полушарий, в том числе и вон того графа де Нюга, кто для нее вообще может быть опасен! Разумеется,— засмеялся он,— во мне говорит горечь. Но это — уже дело прошлое.

Неизвестно, слышал Айлингтон или нет, как они злословили, во всяком случае для него в этом не было ничего нового. Он с беспечным видом направился по дороге к морю. Там он побрел по песчаному берегу к скалам и, встретив на своем пути препятствие в виде садовой стены, без всякого труда, с мальчишеской ловкостью и сноровкой перемахнул через нее и, миновав открытую лужайку, продолжал путь к скалам. Высшее общество Грейпорта не привыкло рано вставать, и нарушитель границ чужих владений в вечернем костюме вызывал критические замечания лишь у болтающихся возле конюшен грумов и чистеньких горничных, расхаживающих по просторным верандам, которые грейпортская архитектура считала для себя обязательным обращать к морю.

Только один раз, вступив в пределы Клиффорд-Лодж — знаменитой резиденции Ренвика Мастермена,— он почувствовал на себе чей-то изучающий и недоверчивый взгляд, но скрюченная фигура быстро скрылась и не помешала его прогулке. Миновав аллею, ведущую к дому, Айлингтон, идя вдоль скал, добрался до мыска, на котором стояла незамысловатая беседка, уселся там и стал смотреть на море. И тотчас же на него снизошел бесконечный покой.

Не считая прибрежной полосы, где волны лениво лизали утесы, море пребывало в неподвижности; даже рябь не пробегала по его необозримой глади — оно лишь чуть заметно, ритмично и словно бы во сне вздымалось огромными, тяжелыми полотнищами. А над ним нависла светлая дымка, вобравшая в себя отвесные солнечные лучи. Айлингтон подумал, что вся изнеженность культуры, вся волшебная сила богатства, все чары утонченности, годами воздействовавшие на этот благословенный берег, излили свою милость и на океан—потому он и дышит сейчас таким глубоким спокойствием. Как он был избалован, заласкан, как его здесь лелеяли, как ему льстили и угождали! Неожиданно, по какому-то капризу памяти, перед взором Айлингтона возникли угрюмые

очертания Дедвудской горы и желтая река Станислав, бегущая мимо аскетических сосен, и тогда желто-зеленый бархат лужайки и изящная листва показались ему по контрасту деталями тропического пейзажа. Он поднял голову и в нескольких ярдах от себя увидел стройную, похожую на высокий стебель Бланш Мастермен, смотревшую на море.

Она сорвала где-то огромный веерообразный лист и держала его над головой как зонтик, пряча за ним копну светлых волос и серые глаза. Бланш сменила бальный туалет со шлейфом и множеством оборок на облегающее платье в античном духе — этот покрой был бы гибельным для женщины менее стройной, но необычайно украшал грейпортскую богиню, еще более подчеркивая изящные изгибы и плавные линии ее фигуры. Когда Айлингтон поднялся, она подошла к нему и открыто и непринужденно протянула ему руку. Заметила ли она его прежде, чем он ее, об этом я не берусь судить.

Они вместе сели на простую деревянную скамью, мисс Бланш повернулась к морю, прикрывая глаза листом.

— Я даже не знаю, как долго я здесь сижу,— сказал Айлингтон,— не знаю, спал я или мечтал. Такое чудесное утро, что просто грешно ложиться. А вы?

Из-за листа он услышал, что мисс Бланш, возвратившись домой, подверглась нападению отвратительного крылатого жука, которого, несмотря на все усилия, ни ей, ни ее горничной так и не удалось выдворить. Ее шпиц Один непрерывно скребся в дверь. И теперь у нее красные глаза от бессонной ночи. И с утра ей надо нанести визит. И море такое прелестное нынче.

— Какая бы причина ни привела вас сюда, я рад, что вы здесь,— сказал Айлингтон со своей неизменной прямотой.— Сегодня, как вам известно, я последний день в Грейпорте, и насколько же приятнее сказать друг другу до свидания под этим голубым небом, чем там, в доме, даже под прекрасными фресками вашего отца. Притом мне хочется сохранить вас в памяти как часть этого чудесного пейзажа, который принадлежит нам всем, а не среди чьей бы то ни было обстановки.

— Я знаю,— сказала Бланш с не меньшей прямотой,— что дома — один из пороков нашей цивилизации,

но мне еще не доводилось слышать, чтобы эта мысль была выражена с таким изяществом. Куда вы едете?

— Еще не знаю. Планы у меня самые разнообразные. Я могу поехать в Южную Америку и сделаться президентом одной из республик, все равно какой. Я богат, но в той части Америки, которая лежит за пределами Грейпорта, мужчина должен иметь какое-то занятие. Мои друзья считают, что мой капитал обязывает меня поставить перед собой великую цель. Но я родился бродягой и таким, наверное, и умру.

— Я никого не знаю в Южной Америке,— безразлично проговорила Бланш.— Правда, в прошлый сезон здесь были две девушки, но у себя дома они ходили без корсетов, и белые платья всегда так плохо на них сидели. Если вы поедете в Южную Америку, непременно напишите мне оттуда.

— Непременно. Скажите, а как называется этот цветок? Я сорвал его в вашей оранжерее. Он чем-то напомнил мне Калифорнию.

— Возможно, он оттуда. Папа купил его у какого-то полубезумного старика, который недавно здесь появился. Вы случайно не знаете его?

Айлингтон рассмеялся.

— Боюсь, что нет. Ну а я позволю себе преподнести вам этот цветок.

— Благодарю вас. Напомните мне перед вашим отъездом дать вам другой взамен, если вы хотите, конечно.

Они оба поднялись, как бы движимые единым порывом.

— До свидания.

Прохладная, как лепесток, ручка на мгновение задержалась в его руке.

— Вы очень меня обяжете, если за минуту до того, как нам расстаться, отведете от лица этот лист.

— Но у меня красные глаза. И я бог знает на что похожа.

И все же после долгой паузы лист опустился, и прекрасные серые, очень ясные и насмешливые глаза встретились с его глазами. Айлингтон отвел глаза первый. Когда он снова поднял их, ее уже не было.

— Мистер Хайлингтон, сэр!

Это был грум Чокер, англичанин, и он, видимо, бежал, так как сильно запыхался.

— Раз уж вы одни, сэр, прошу прощения, сэр, но там какой-то тип.

— Тип? Что ты этим хочешь сказать? Говори по-английски, нет, черт возьми, лучше не надо,— сказал Айлингтон с легким раздражением.

— Я говорю, какой-то тип, сэр. Прошу прощения, сэр,— не в обиду будь сказано,— но только он не джентльмен, сэр. В библиотеке, сэр.

Несмотря на владевшее им глубокое недовольство собой и неизвестно откуда взявшееся ощущение одиночества, разговор с грумом позабавил Айлингтона, и по дороге к дому он спросил:

— Почему же он не джентльмен?

— Какой джентльмен, прошу прощения, сэр, станет панибратничать с человеком в услужении, сэр? Берет меня за руки, сэр, когда я сижу там у ворот на запятках кареты, и оттягивает их вот так книзу, сэр, и говорит: «А ты их засунь лучше в карманы,— говорит.—Или ты агента дожидаешься, что так сложил руки,— говорит.— Держись крепче на поворотах,— говорит.— А не то не собрать тебе твоих драгоценных косточек»,— говорит. И спрашивает вас, сэр. Сюда, сэр.

Они вошли в дом. Айлингтон быстро пересек готический зал и открыл дверь в кабинет.

В кресле в самом центре комнаты сидел человек, погруженный, очевидно, в созерцание огромной негнущейся желтой шляпы с чудовищными полями, которая лежала перед ним на полу. Кисти рук его висели между колен, а одна нога была на особый лад подобрана под кресло. С первого же взгляда поза эта каким-то странным и необъяснимым образом навела Айлингтона на мысль о ко́злах. В ту же минуту он, протянув обе руки, ринулся через всю комнату с возгласом:

— Юба Билл!

Человек поднялся, схватил Айлингтона за плечи, крутанул его, крепко прижал к себе, с видом добродушного людоеда ощупал его ребра, изо всех сил потряс за руки, расхохотался и сказал с явным разочарованием:

— Как это ты узнал, а?

Очевидно, Юба предполагал, что в этой одежде он неузнаваем. И Айлингтон, поняв это, рассмеялся и ответил, что ему, должно быть, подсказал инстинкт.

— А ты-то,— сказал Билл, держа его на расстоянии вытянутой руки и критически разглядывая,— ты! Кто бы мог подумать! Эдакий был щенок, от земли не видно. Щенок, которого я не раз вытягивал на дороге кнутом, щенок, на котором и надето было всего-то ничего, и заделался таким щеголем!

Тут Айлингтон вздрогнул: он с каким-то нелепым ужасом вдруг вспомнил, что все еще во фраке.

— Заделался ресторанным лакеем, гарсоном,— сурово продолжал Юба Билл.— Эй, Альфонс, подать сюда гусиный паштет и омлет, черт тебя подери!

— Полно тебе, старина! — сказал Айлингтон, смеясь и пытаясь прикрыть рукой бородатый рот Билла.— Ну, а как ты? Что-то ты сам на себя не похож. Уж не болен ли ты, Билл?

И действительно, когда Билл повернулся к свету, оказалось, что глаза у него ввалились, а волосы и бороду густо посеребрила седина.

— Это все ваша сбруя,— сказал Билл озабоченно.— Стоит мне эдак взнуздать себя и замундштучить (он указал на золотую массивную цепь от часов), да еще нацепить на себя эту «утреннюю звезду» (он ткнул пальцем в булавку с огромным солитером, сидевшую как большущий волдырь на его манишке), как меня сразу к земле пригибает, Томми! А так со мной все в порядке, мой мальчик, все в порядке.

Однако он уклонился от проницательного взгляда Айлингтона и даже отвернулся от света.

— Тебе надо что-то сказать мне, Билл?— спросил Айлингтон прямо и почти резко.— Выкладывай!

Билл не ответил, но беспокойным движением потянулся к шляпе.

— Ведь не проделал бы ты три тысячи миль, даже не предупредив меня, только для того, чтобы поболтать со мной о старых временах? — сказал Айлингтон уже более мягким тоном.— Хотя для меня всегда удовольствие видеть тебя, но это не в твоем характере, Билл, ты сам это знаешь. И нам никто здесь не помешает,— добавил

он, как бы отвечая на взгляд Билла, обращенный к двери.— Я слушаю тебя, Билл.

— Тогда,— сказал Билл, придвигаясь вместе со своим стулом ближе к Айлингтону,— прежде всего ответь мне на один вопрос, Томми, честно и напрямик, честно и без утайки.

— Продолжай,— сказал Айлингтон с легкой улыбкой.

— Если я скажу тебе, Томми, вот сейчас, сию секунду скажу, что ты должен отправиться со мной, уехать из этих мест на месяц, на год, а может, на два, и, кто знает, может, навсегда, есть ли что-нибудь, что удерживало бы тебя здесь, что-нибудь, мой мальчик, от чего ты не мог бы уйти?

— Нет,— ответил Томми спокойно.— Я здесь всего лишь в гостях. И собирался сегодня уехать из Грейпорта.

— А если я скажу тебе, Томми, поедем со мной в Китай, в Японию или, может, в Южную Америку, ты поедешь?

— Да,— ответил Айлингтон с некоторой заминкой.

— А нет ли чего-нибудь,— сказал Билл, придвигаясь еще ближе к Айлингтону и понижая голос до конфиденциального шепота,— чего-нибудь вроде молодой женщины — ты понимаешь меня, Томми,— что удерживало бы тебя? Они здесь все хороши как на подбор. И молод человек или стар, Томми, всегда найдется на его голову женщина, которая ему либо кнут, либо узда.

Видимо, под влиянием горечи, которая отчетливо прозвучала в этом взволнованном изложении вполне абстрактной истины, Билл не заметил, что лицо молодого человека, когда он произнес «нет», слегка покраснело.

— Тогда слушай. Семь лет назад, Томми, я работал кучером одного из дилижансов на линии Голд-Хилл. И вот стою я как-то перед конторой почтовых дилижансов и ко мне подходит шериф и говорит: «Билл, здесь у меня один помешанный старик, мне поручено доставить его в дом умалишенных. Так-то он тихий и смирный, но пассажиры чего-то разворчались. Ты не против взять его к себе на козлы?» «Сажайте»,— говорю. Когда пришло мне время отправляться и я вышел и влез на козлы и уселся рядом с ним, я увидел, что этот человек, Томми, этот человек, который сидел там тихо и смирно, был Джонсон.

Он не узнал меня, мой мальчик,—продолжал Юба Билл, поднявшись и дружески положив руки на плечи Томми,— он не узнал меня. Он не помнил ничего—ни тебя, ни поселок Ангела, ни ртутные залежи, ни даже свое имя. Он сказал, что он Скэгс, но я-то знал, что он Джонсон. В эту минуту, Томми, меня щелчком можно было сбить с козел, и если бы в эту минуту все двадцать семь пассажиров дилижанса оказались в реке под обрывом, я так толком и не смог бы ничего объяснить компании, ничего! Шериф сказал,— торопливо продолжал Билл, как бы боясь, что молодой человек прервет его,—шериф сказал, что за три года до того его привели в лагерь Мэрфи, он был мокрый до нитки и уже тогда повредился в уме; за ним там приглядывали ребята из лагеря. Когда я сказал шерифу, что знаю его, он сдал его мне на руки, и я отвез его во Фриско, во Фриско, Томми, и устроил к самым лучшим врачам и платил за него. И он там имел все, что душе его угодно. Не смотри на меня так, мой мальчик, бога ради, не смотри на меня так!

— Билл, Билл,— с упреком проговорил Айлингтон, который встал и нетвердыми шагами подошел к окну.— Почему же ты скрыл это от меня?

— Почему? — воскликнул Билл в порыве негодования.— Почему? Да потому, что у меня есть голова на плечах. Тут живешь ты, и набираешься ума в своих колледжах, и выходишь в люди, и, может быть, от тебя им будет прок; а там старый бездельник, человек, от которого проку, что от покойника, которому давно пора на тот свет, и он сам бы признал это. Да только ты всегда любил его больше меня,— закончил Билл с горечью.

— Прости меня, Билл,— сказал молодой человек, схватив его обе руки.— Я знаю, что ты это сделал для моего блага. Но продолжай.

— Да мне вроде и нечего больше сказать, да и ни к чему все это, как я погляжу,— ворчливо проговорил Билл.— Врачи сказали, что его не вылечить, потому что у него болезнь, которая на их мудреном языке называется мономания: он все толковал про свою жену и дочь, которых кто-то давным-давно отнял у него, и все думал, как он отомстит этому кому-то. А пять месяцев назад он сбежал, я выследил его до Карзона, потом до Солт-Лейк-

Сити, до Чикаго, до Нью-Йорка и пришел по его следу сюда.

— Сюда!— повторил за ним Айлингтон.

— Сюда! Вот почему я сегодня здесь. Слабоумный он или в своем уме, отыскивает он тебя или гоняется за тем, другим человеком — все равно ты должен убраться отсюда. Незачем тебе его видеть. Мы с тобой, Томми, отчалим за море, а года через три-четыре он умрет или сгинет куда-нибудь. И тогда мы вернемся. А теперь идем!— И он поднялся.

— Билл,— тоже поднявшись и взяв своего друга за руку, сказал Айлингтон с прежней непоколебимой твердостью, которой он когда-то покорил сердце Билла,— где бы он ни был — здесь или в другом месте,—болен он или здоров, я буду искать его и отыщу. Все, что у меня есть, до последнего доллара, я отдам ему. И все, что я потратил, я тоже возвращу ему, все до последнего доллара. Я еще, слава богу, молод и могу работать. И если есть выход из этого невеселого положения, я его найду.

— Так я и знал,— сердито проворчал Билл, безуспешно пытаясь скрыть свое неподдельное восхищение этим спокойно стоявшим перед ним молодым человеком.— Так я и знал! Чего еще можно было ожидать от такого проклятого дурака, каким ты уродился! Ну, прощай тогда. Боже всемогущий! Кто это?

Не дойдя несколько шагов до распахнутой стеклянной двери, ведущей на веранду, он вдруг отпрянул назад с побелевшим, как мел, лицом и остановившимся взглядом. Айлингтон подбежал к двери и выглянул на веранду. Край белого платья мелькнул и исчез за поворотом. Когда Айлингтон вернулся, Билл уже рухнул в кресло.

— Думаю, это мисс Бланш Мастермен, больше некому. Но что с тобой, Билл?

— Ничего,— ответил Билл слабым голосом.— Не найдется ли у тебя под рукой виски?

Айлингтон достал графин и, наполнив стакан, протянул его Биллу. Билл залпом выпил и потом спросил:

— А кто это мисс Мастермен?

— Дочь мистера Мастермена, вернее, его приемная дочь, насколько мне известно.

— А как ее имя?

— Право, не знаю,— сказал Айлингтон недовольно, почему-то раздосадованный этими вопросами.

Юба Билл встал, подошел к открытой стеклянной двери, притворил ее, направился к другой двери, взглянул на Айлингтона, помедлил в нерешительности и возвратился к своему креслу.

— Вроде бы я никогда не говорил тебе, что я женат? — сказал он, подняв глаза на Айлингтона и безуспешно пытаясь изобразить залихватский смех.

— Нет,— ответил Айлингтон, огорченный не столько этими словами, сколько тоном, каким они были сказаны.

— А как же! — воскликнул Юба Билл.— Тому уже три года, Томми, три года!

Билл в упор смотрел на Айлингтона. И тот, понимая, что от него ждут каких-то слов, проговорил первое, что ему пришло в голову:

— А на ком же ты женился?

— То-то оно и есть!— сказал Билл.— Сам понять не могу: знаю только, что дьявол она — дьявол и есть; и мужей у нее было не меньше чем полдюжины.

Привыкнув, очевидно, к тому, что его супружеские злоключения всегда являются поводом для веселья в мужском обществе, и не заметив на сей раз и тени улыбки на серьезном лице молодого человека, он оставил свой залихватский тон и, придвинув стул поближе к Айлингтону, продолжал уже значительно спокойнее:

— Вот с чего это все пошло. Едем мы как-то почти порожняком вниз по Уотсонову склону, а дело к ночи, и тут курьер окликает меня и говорит: «Они тут совсем разбушевались. Останови-ка ты лучше». Я и остановил. И, гляжу, выпрыгивает из дилижанса женщина, а следом за ней несколько парней, и волокут они кого-то, кляня и ругая его на чем свет стоит. Потом оказалось, что это пьяный муж той женщины, и они собираются вышвырнуть его из дилижанса за то, что он оскорбил и ударил ее. И если бы не я, мой мальчик, бросили бы они его там прямо на дороге. Но я все уладил, я посадил ее к себе на козлы, и мы поехали дальше. В лице у нее ни кровинки,—к слову говоря, она из породы тех женщин, которые никогда не краснеют,—но чтобы плакать или хныкать, об этом и речи не было. Хотя каждая расплакалась бы на ее месте. Я еще тогда подивился. Высокая она

была, и светлые волосы вились у нее по плечам, длинные, как кнут из оленьей кожи, и цветом, как оленья кожа. А глаза такие, что прошибают тебя уже за пятьдесят ярдов; а руки и ноги на удивление маленькие. И когда она пришла в себя, ожила и развеселилась, то и хороша же она была, будь она проклята,— ох, и хороша!— Слегка покраснев и смутившись от своего неумеренного восторга, он остановился и закончил небрежным тоном: — В Мэрфи они сошли.

— И что же дальше? — спросил Айлингтон.

— Что дальше? Я часто видел ее потом, и когда она бывала одна, то всегда взбиралась ко мне на козлы. Она вроде бы душу отводила со мной, рассказывала, как муж напивается и обижает ее; его-то я мало видел, он все больше во Фриско жил. Но у нас все было чисто, Томми,— все было чисто у нас с ней. Ну вот, я и зачастил к ней туда. Но пришел день, когда я сказал себе: «Не дело это, Билл»,— и перевелся на другую линию. Ты знал Джексона Филтри? — спросил он вдруг ни с того ни с сего.

— Нет.

— А, может, слыхал про него?

— Да нет,— повторил Айлингтон нетерпеливо.

— Джексон Филтри водил курьерский дилижанс от Уайта до Саммита с переездом вброд через Северный Рукав. Как-то он и говорит: «Билл, паршивая там переправа через Северный Рукав». А я и говорю: «Должно быть, так и есть, Джексон». «Погубит меня когда-нибудь этот Северный Рукав, попомни мое слово, Билл». А я и спрашиваю: «Почему бы тебе не переезжать ниже по течению?» «Сам не знаю,— говорит он,— не могу, и все». И после, всякий раз, как мы встречались с ним, он повторял: «Видишь, еще не погубил меня этот Северный Рукав». Как-то заглянул я в Сакраменто, и подходит там ко мне Филтри и говорит: «Продал я свой курьерский из-за этого Северного Рукава, но он еще погубит меня, Билл, попомни мое слово». И смеется при этом. А через две недели после того нашли его тело ниже по течению — он пытался перебраться там, возвращаясь из Саммита. Люди говорят, глупости это все, а я говорю: судьба! На другой день, как я перешел на Плейсервиллскую линию, выходит эта женщина из гостиницы, что над конторой

дилижансов, и говорит, что муж ее лежит больной в Плейсервилле; так она сказала тогда; но это была судьба, Томми, судьба! Три месяца спустя муж ее принимает не в меру морфия от белой горячки и умирает. Поговаривали, что это ее рук дело, но это судьба. И спустя год я женился на ней. Судьба, Томми, судьба!

Прожили мы с ней три месяца — всего три месяца! — продолжал он, глубоко вздохнув.— Долгий ли это срок для счастливого человека? Бывали и раньше в моей жизни дни, когда круто мне приходилось. Но в эти три месяца такие выпадали дни, Томми, что, казалось, не будет им конца, дни, когда как в орлянку: то ли я ее порешу, то ли она меня прикончит. А теперь хватит об этом. Ты еще молод, Томми, и я не собираюсь рассказывать тебе о вещах, про которые я еще три года назад сказал бы, что все это вранье. А ведь я немало пожил на свете.

Когда он замолчал, повернув угрюмое лицо к окну и сжав на коленях руки, Айлингтон спросил, где же теперь его жена.

— Больше не спрашивай меня ни о чем, мой мальчик, ни о чем не спрашивай. Я сказал все, что мог.

И, сделав такое движение рукой, словно он отбрасывал от себя вожжи, Билл встал и подошел к окну.

— Теперь ты понимаешь, Томми, что небольшая кругосветная поездка мне в самую пору. Не можешь ты со мной ехать — дело твое. А я еду.

— Надеюсь, не раньше, чем вы позавтракаете,— произнес нежный голосок, и в комнату вошла Бланш Мастермен.— Отец никогда не простил бы мне, если бы я так отпустила друга мистера Айлингтона. Вы останетесь, правда? Ну, пожалуйста! И разрешите мне опереться на вашу руку, а когда мистеру Айлингтону наскучит стоять вот так, застыв на месте, он тоже пройдет в столовую и познакомит вас со всеми.

— Я совершенно очарована вашим другом,— сказала мисс Бланш, когда они стояли в гостиной, глядя вслед удаляющейся фигуре Билла, который, зажав в зубах короткую трубку, шагал по обсаженной кустарником аллее.— Но почему он задает такие странные вопросы? Ему непременно нужно было узнать девичью фамилию моей матери.

— Он честный малый,— сказал Айлингтон серьезно.

— Вы чем-то очень подавлены. Боюсь, вы вовсе не благодарны мне за то, что я удержала вас и вашего друга. Но не могли же вы уехать, не дождавшись отца!

Айлингтон улыбнулся ей невеселой улыбкой.

— И потом, я думаю, нам все же лучше расстаться здесь, под этими фресками, не правда ли? До свидания!

Она протянула ему узкую ручку.

— Там, у моря, когда у меня были красные глаза, вам не терпелось взглянуть на меня,— добавила она, вступая на опасный путь.

Айлингтон посмотрел на нее печальным взглядом.

Что-то блеснуло на ее длинных ресницах и, задержавшись на миг, скатилось по щеке.

— Бланш!

Теперь на ее щеки вернулся румянец, и она, наверное, отняла бы свою руку, если бы Айлингтон не завладел ею. У Бланш были некоторые основания опасаться, что и талия ее захвачена в плен. И все-таки она не удержалась и сказала:

— А вы уверены, что нет чего-нибудь вроде молодой женщины, что удерживало бы вас здесь?

— Бланш! — воскликнул Айлингтон с укором.

— Если джентльмены выкрикивают свои тайны у двери, открытой на веранду, а на этой самой веранде молодая девушка лежит и читает глупейший французский роман, должны ли они удивляться, что им она уделяет больше внимания, чем своей книге?

— Тогда вы знаете все, Бланш?

— Да,— сказала Бланш.— Постойте: «...чего еще можно ожидать от такого — гм! — дурака, каким ты уродился!» До свидания.— И прелестной невинной змейкой она выскользнула из его рук и скрылась.

Под мягкое шуршание волн, под звуки музыки и оживленных голосов над Грейпортом снова взошла желтая полная луна. Она смотрела на бесформенно громоздящиеся скалы, на обсаженные кустарником аллеи, на просторные лужайки, на пляж и мерцающую водную гладь. Особо она выделила белый парус у берега, стеклянный садовый шар на лужайке и, наконец, сверкнула на чем-то за-

жатом в зубах человека, который, стараясь слиться с низкой стеной, окружающей Клиффорд-Лодж, перелезал через нее. Потом, когда на залитую лунным светом дорожку вышли из тени густой листвы мужчина и женщина, человек этот соскочил со стены и застыл там, выжидая. Это был старик с обезумевшими глазами, чья дрожащая рука сжимала длинный острый нож, и вид его был не столько безжалостный, сколько жалкий, и внушал он не ужас, а сострадание. В следующую секунду нож был выбит у него из рук, и он уже барахтался, зажатый, как в тисках, в объятиях другого человека, который, очевидно, соскочил со стены вслед за ним.

— Будь ты проклят, Мастермен!— хрипло выкрикнул старик.— Выйди против меня на честный бой, и у меня еще хватит сил тебя убить!

— Но я-то Юба Билл,— сказал Билл спокойно,— и пора кончать это твое окаянство.

Старик бросил свирепый взгляд на Билла.

— Я знаю тебя. Ты один из друзей Мастермена! Будь ты проклят... Пусти меня, я должен вырезать у него сердце... Пусти! Где Мэри?.. Где моя жена?.. Вон она там!.. там... там! Мэри! — Он бы закричал, если бы Билл, проследив за его взглядом, не зажал ему рот могучей рукой. Отчетливо видные в лунном свете, Бланш и Айлингтон стояли рука об руку на садовой дорожке.

— Отдай мне мою жену! — прохрипел старик сквозь зажатый сильной ладонью рот.— Где она?

Бешенство вдруг зажглось во взгляде Юбы Билла.

— Где твоя жена? — повторил он за стариком, надвинувшись на него и прижав его к садовой стене.— Где твоя жена? — снова повторил он, приближая свое искаженное мрачной сардонической гримасой лицо и разъяренные глаза к испуганному лицу старика.— А где жена Джека Эдама? Где моя жена? Где она — эта женщина-дьявол, которая одного человека лишила разума, другого спровадила в ад его же собственной рукой, а меня навсегда сломила и погубила? Где! Где? Ты хочешь знать — где! В тюрьме она, в тюрьме, ты слышишь — брошена в тюрьму за убийство, Джонсон,— за убийство!

У старика перехватило дыхание, он как-то странно вытянулся, а потом вдруг обмяк и как безжизненное тело соскользнул к ногам Билла. Охваченный теперь уже

совсем другими чувствами, Билл опустился рядом с ним и, нежно приподняв его за плечи, прошептал:

— Джонсон, посмотри на меня, старина! Ради бога, взгляни на меня, это же я — Юба Билл! А вон там твоя дочь и Томми, ты же помнишь Томми, маленького Томми Айлингтона.

Глаза Джонсона медленно открылись. Он прошептал:

— Томми! Как же, Томми! Сядь ко мне, Томми! Но не садись так близко к воде. Разве ты не видишь, как она поднимается, как она манит меня, как шипит и закипает на скалах? Она подступает все ближе!.. Держи меня, Томми!.. Держи, не отпускай. Мы еще доживем до того дня, когда вырежем ему сердце, Томми, мы еще доживем... мы еще...

Голова его поникла, и стремительная река, видимая только ему одному, вырвалась к нему из темноты и унесла, но уже не в темноту, а сквозь нее к далекому, мирному, сияющему морю.

ТУОЛУМНСКАЯ РОЗА

ГЛАВА I

Время приближалось к двум часам ночи. В доме Робинсонов, где весь вечер шло веселье и танцы, погасли огни, и луна, поднявшись высоко в небо, посеребрила темные окна. Всадники, еще час назад пугавшие торжественный покой сосен смехом и песнями, ускакали кто куда. Один влюбленный кавалер направил своего коня на восток, другой — на запад, третий — на север, четвертый — на юг, а юная особа — предмет их поклонения, «Роза Туолумны», удалившись в свой будуар в доме на Чемисалском перевале, мирно укладывалась в постель.

Мне жаль, что я лишен возможности описать последовательно весь процесс. На двух креслах уже воздвиглись беспорядочные нагромождения чего-то белого и воздушного, предназначенного служить покровами, сама же юная особа, мгновение назад полускрытая шелковой завесой золотистых волос и слегка напоминавшая кукурузный початок, теперь уже была облачена в одно из тех длинных, бесформенных одеяний, которые уравнивают всех женщин, делая их похожими друг на друга, а ее округлые плечики и тонкая талия, еще час назад производившие столь роковое воздействие на души и умы обитателей Фор-Форкса, сделались недоступными для взора. Оставалось открытым личико — чрезвычайно привлекательное; да внизу из-под края одеяния высовывалась

ножка, безукоризненная по форме, хотя и не отличавшаяся миниатюрностью.

— Там, где я ступаю, цветы уже не поднимут головок, чтобы поглядеть мне вслед,— с восхитительной прямотой сказала она как-то одному из своих поклонников.

В этот вечер личико «Розы» выражало полное довольство и безмятежность. Она не спеша приблизилась к окну и, раздвинув шторы на самую-пресамую малость, заглянула в эту крохотную щелку. Неподвижная фигура всадника все еще маячила на дороге с тем чрезмерным упорством преклонения, вытерпеть которое может только заядлая кокетка или без памяти влюбленная женщина. «Роза» в эту минуту не принадлежала ни к той, ни к другой категории, и, постояв у окна не больше чем положено, она отвернулась, пробормотав довольно отчетливо, что это прежде всего нестерпимо смешно, и вернулась к своему туалетному столику, причем внимательный наблюдатель мог бы заметить, что ступает она уверенно и твердо, без изнеженных ужимок и не прихрамывая, как те, кто не привык разгуливать босиком. Да ведь и в самом деле всего лишь четыре года минуло с тех пор, как голенастая, словно жеребенок, босоногая девчонка в бесформенном ситцевом платьишке выпрыгнула из отцовского фургона, когда он остановился у Чемисалского перевала. И кое-какие дикие повадки «Розы» сохранились и после переселения и пересадки на культурную почву.

Стук в дверь застал ее врасплох. Она быстро юркнула в постель и из этого надежного убежища вопросила, слегка нахмурив брови:

— Кто там?

Из-за двери донеслось неуверенное бормотание.

— Это ты, па?

Бормотание стало утвердительным, настойчивым и задабривающим.

— Обожди минутку,— сказала «Роза». Она встала, отперла дверь, проворно улеглась обратно в постель и крикнула:

— Войди!

Дверь робко приотворилась. В образовавшуюся щель просунулась седеющая голова и широкие, чуть сутулые плечи, принадлежавшие мужчине довольно преклонного возраста; после некоторого колебания за плечами застен-

чиво последовала пара ног, обутых в ковровые шлепанцы. Когда появление призрака полностью завершилось, он тихонько притворил за собой дверь и остался возле порога, проявляя крайнюю неуверенность в себе и чрезвычайную даже для призрака боязнь вступать в разговор. Это вызвало со стороны «Розы» нетерпеливый и, боюсь, не слишком вразумительный протест.

— Ну же, па, тоже мне!

— Ты уже легла, Джинни,— неуверенно сказал мистер Макклоски, поглядывая на кресла и наваленные на них предметы со странной смесью опасливого мужского благоговения и отцовской гордости,— ты уже легла и разделась?

— Да, уже.

— Понятно,— сказал мистер Макклоски, присаживаясь на самый краешек кровати и мучительно стараясь запрятать ноги куда-нибудь подальше.— Понятно.— Помолчав, он потер ладонью короткую жесткую бороду, похожую на долго бывшую в употреблении сапожную щетку, и добавил: — Хорошо повеселилась, Джинни?

— Хорошо, па.

— Они все там были?

— Да, и Рэнс, и Йорк, и Райдер, и Джон.

— И Джон!— Мистер Макклоски постарался придать глазам, робко взиравшим на дочь, лукаво вопросительное выражение, но, встретив прямой взгляд широко открытых глаз, в котором не сквозило ни тени смущения, учащенно заморгал и покраснел до корней волос.

— Да, и Джон был,— сказала Джинни, ничуть не меняясь в лице и не отводя в сторону взгляда больших серых глаз.— И провожал меня домой.— Она умолкла, закинула руки за голову и поудобнее устроилась на подушке.— Он опять задал мне этот вопрос, па, и я сказала: «Да». Это совершится... довольно скоро. Мы поселимся в Фор-Форксе в его доме, а на следующую зиму переедем в Сакраменто. По-моему, это правильно, да, па? Как ты считаешь?— И она подкрепила свой вопрос легким пинком ноги под одеялом, выведя таким способом Макклоски из задумчивости.

— Да, конечно,— растерянно сказал мистер Макклоски, возвращаясь к действительности. Потом, ласково похлопав по одеялу, добавил: — Ты не могла бы сде-

лать лучшего выбора, Джинни. Ни одной девушке в Туолумне никогда не залететь так высоко, даже если очень повезет.— Он снова примолк, потом сказал: — Джинни...

— Да, па?

— Ты уже легла и разделась?..

— Ну да!

— А ты не могла бы,— продолжал мистер Макклоски, беспомощно оглядываясь на стулья и медленно почесывая подбородок,— а ты не могла бы одеться снова?

— Что такое, па?

— Ну, понимаешь, нацепить на себя все это обратно,— торопливо пояснил он.— Ну, может, не все, а хотя бы кое-что. А я помог бы тебе... Ну, может, подал чего, или, может, пряжку какую застегнул, или бантик завязал, или зашнуровал ботинок,— продолжал он, не сводя глаз с кресел и храбро стараясь не спасовать перед тем, что было на них навалено.

— Ты в своем уме, па? — вопросила Джинни, внезапно садясь на постели и величественно встряхивая своей золотистой головкой.

Мистер Макклоски нервно почесал бороду с того бока, где она имела наиболее изношенный вид — должно быть, от неоднократного повторения этой операции,— и увильнул от прямо поставленного вопроса.

— Джинни,— сказал он, нежно поглаживая одеяло.— Видишь ли ты, какое дело. Там у нас внизу один незнакомый человек... То есть он для тебя незнакомый, детка, но я-то его знаю издавна. Он тут уже целый час прохлаждается и будет прохлаждаться еще до четырех часов, до дилижанса. Так вот, мне бы хотелось, Джинни, голубка, чтобы ты спустилась вниз и вроде бы помогла мне принять его. Нет, нет, не выйдет, Джинни,— поспешно сказал он, поднимая руку, чтобы предупредить возражение,— не выйдет! Он не ляжет в постель. И не станет играть со мной в карты. И виски его не берет. Сколько я его знаю, второго такого неудобного гостя еще свет не родил...

— Зачем же тогда он тебе нужен? — решительно спросила мисс Джинни.

Мистер Макклоски опустил глаза.

— Видишь ли, он специально завернул сюда, чтобы

оказать мне большую услугу, иначе я не стал бы беспокоить тебя, Джинни. Ей-богу, не стал бы! А тут мне подумалось, что раз уж я никак не могу ничем его занять, так, может, ты спустишься вниз и управишься с ним — ведь ты всегда здорово умеешь с ними управляться.

Мисс Джинни пожала красивыми плечиками.

— Он молод или стар?

— Он еще совсем молодой, Джинни, но, между прочим, знает пропасть разных вещей.

— А чем он занимается?

— Да вроде ничем, по-моему. Получает доход с рудника в Фор-Форксе. Путешествует, ездит повсюду. Я что-то слыхал, Джинни, будто он поэт... Ну, знаешь, пишет эти самые стихи.— Мистер Макклоски сказал это не без тайного умысла. Он вдруг вспомнил, что его дочь частенько получает отпечатанные на бумажке чувствительные стишки, именуемые «стансами», с приложением других, не менее сахаринных предметов.

Мисс Джинни надула хорошенькие губки. Все эти возвышенные фантазии вызывали в ней легкое чувство сострадательного презрения, естественное в таком юном и обладающем превосходным здоровьем организме.

— Впрочем,— продолжал мистер Макклоски, задумчиво почесывая голову,— впрочем, я не советую тебе, Джинни, говорить ему что-нибудь насчет стихов. Я только что сам пробовал. Я подал ему виски в гостиную. Завел музыкальную шкатулку. А потом говорю этаким, знаешь, светским тоном: «Располагайся, как дома, и прочти мне что-нибудь из своих сочинений, что тебе самому больше по вкусу». А он, ты знаешь, взбеленился. Этот малый просто взбеленился, Джинни. Уж как только он меня не обзывал. Понимаешь, Джинни,— продолжал мистер Макклоски смущенно,— мы ведь с ним старые приятели.

Но его дочь со свойственной ей стремительностью уже приняла решение.

— Я спущусь вниз через несколько минут, па,— сказала она,— только не говори ему ничего — не говори, что я была уже в постели.

Лицо мистера Макклоски просияло.

— Ты всегда была хорошей, доброй девочкой, Джинни,— сказал он, опускаясь на одно колено, чтобы удоб-

нее запечатлеть торжественный поцелуй на ее лбу. Но Джинни схватила его за руки и на минуту удержала в плену.

— Па,— сказала она, заглядывая в его смущенно потупленные глаза ясным настойчивым взглядом,— все девушки были сегодня на танцах с кем-нибудь из своих родственниц. Мейм Робинсон появилась со своей тетушкой, Люси Рэнс — с мамой, Кэт Пирсон — с сестрой; все, кроме меня, пришли в сопровождении какой-нибудь дамы. Папочка, дорогой,—тут ее губы чуточку дрогнули,— как жаль, что мама умерла, когда я была совсем маленькой! Мне бы так хотелось, чтобы у нас в доме была женщина. Я-то не чувствую себя одинокой с тобой, папочка, милый, но как было бы хорошо, если бы у нас в семье был кто-то еще, когда придет время.... Когда мы с Джоном... ну, ты понимаешь...

Голос ее оборвался, но открытый взгляд был по-прежнему прикован к лицу отца. Мистер Макклоски, казалось, углубившийся в изучение рисунка на одеяле, сделал попытку успокоить дочь.

— Да все эти девицы с целым Ноевым ковчегом разных тетушек в придачу не стоят твоего мизинца, Джинни! И любая из них, не моргнув глазом, пожертвовала бы родной матерью, чтобы сделать такую партию, как ты. А что у тебя нет матери, так, может, голубка, тебе без нее даже лучше.— Тут мистер Макклоски порывисто встал и шагнул к двери. Но на пороге он обернулся и сказал, как прежде, просяще:— Не замешкайся, Джинни! — Потом улыбнулся, и его фигура скрылась за дверью головой вперед. Ковровые шлепанцы покинули комнату последними.

Когда мистер Макклоски спустился в гостиную, его беспокойного гостя там не оказалось. Графин стоял на столе непочатый: на полу валялось несколько книг; на диване — фотографии Сьерры; на ковре — диванная подушка, мексиканский плед и газета. Все это создавало впечатление, что гость пытался читать лежа. Стоявшая настежь дверь на веранду, ни разу за все существование дома еще не отворявшаяся, и развевающиеся кружевные шторы указывали направление, в котором скрылся беглец. Мистер Макклоски испустил вздох отчаяния. Он поглядел на роскошный ковер, купленный в

Сакраменто за баснословную цену, на мебель розового дерева, обитую малиновым атласом, равной которой не знала Туолумна за всю свою историю, перевел взгляд на картины в массивных рамах и наконец уставился на распахнутую дверь и на безрассудного юношу, который, презрев все вышеперечисленные соблазны, безмятежно курил сигару в саду на залитой лунным светом дорожке. По-видимому, гостиная, неизменно повергавшая в почтительнейший сыновний трепет молодых людей Туолумны, потерпела на сей раз фиаско.

Оставалось выяснить последнее: не утратила ли и «Роза» свой аромат.

«Ну, я надеюсь, Джинни управится с ним как-никак»,— подумал мистер Макклоски, отцовская вера которого была незыблема.

Он вышел на веранду. Но не успел он там появиться, как гость уже заметил его и тотчас направился к дому. Не дойдя двух-трех шагов до мистера Макклоски, он остановился.

— Слушай, ты, старое стопоходящее млекопитающее,— произнес он не очень громко, так, что его слова были слышны лишь тому, для кого они предназначались и чье лицо изображало заботу и участие.— Почему ты не ляжешь спать? Ведь я сказал: ступай, отвяжись от меня. Ну скажи мне ради всех дураков, ослов, болванов и идиотов на свете, чего ты тут околачиваешься? Или тебе непременно нужно свести меня с ума своим присутствием, как ты уже пытался свести меня с ума этой проклятой музыкальной шкатулкой, которую я зашвырнул вон за то дерево? До дилижанса еще добрых полтора часа; неужели ты думаешь, неужели ты хоть на секунду можешь себе вообразить, что я в состоянии терпеть твое присутствие столько времени? Ну, чего ты молчишь? Ты что, заснул? У тебя же не хватит, надеюсь, нахальства прибавить ко всем своим порокам еще и сомнамбулизм? Это уже верх подлости—навязывать свое общество под таким жалким предлогом!

Судорожный приступ кашля прервал это необычное вступление в беседу; элегантная фигура гостя прислонилась к столбику веранды; затем гость присел на перила и поглядел на хозяина вполуоборот. Нижняя часть его лица выражала привычную для него полупрезритель-

ную иронию, к которой сейчас примешивалось страдание, но лоб был чист и высок, а темные грустные глаза смотрели с легкой усмешкой, словно подшучивали над чрезмерно саркастической складкой рта и вспыльчивыми речами.

— Я уже было лег, Риджуэй,— сказал мистер Макклоски кротко,— но дочка моя Джинни только что вернулась домой с небольшой вечеринки у Робинсонов, и ей почему-то не хочется спать. Ну знаешь, как это бывает с девушками. Вот я и подумал, что мы могли бы этак мило поболтать втроем, чтобы скоротать время.

— Ну и лживый же ты, старый притворщик! Она же вернулась домой час назад,— сказал Риджуэй.— Даже этот свирепый малый, что ее сопровождал и с тех пор все еще торчит возле дома, может это засвидетельствовать. Ни минуты не сомневаюсь, что такой предприимчивый идиот, как ты, способен вытащить девушку из постели, чтобы мы могли взаимно нагонять друг на друга тоску.

Мистер Макклоски был, по-видимому, настолько поражен сверхъестественной проницательностью своего гостя, что не нашелся, что ответить. Усладив свой взор замешательством хозяина, Риджуэй спросил угрюмо:

— А чья она дочь, кстати?

— Нэнси.

— Твоей жены?

— Да. Но смотри, Риджуэй,— сказал Макклоски, умоляюще кладя руку на плечо Риджуэя,— ни слова об этом Джинни. Она считает, что ее мать умерла... Умерла в Миссури. Эй! Ты что?..

Услыхав последнее сообщение, мистер Риджуэй от ярости потерял равновесие и едва не свалился с веранды.

— Великий боже! Не хочешь ли ты сказать, что скрываешь от нее то, что в любой день, в любую минуту может достичь ее слуха? Что ты позволил ей вырасти в неведении того, что она давным-давно могла бы перестрадать и забыть? Что ты, как последний осел, как выживший из ума старый идиот, все эти годы собственными руками понемногу выковывал оружие, которым теперь может воспользоваться любой, чтобы поразить ее? Что ты...— Но тут голос Риджуэя прервался от внезап-

ного приступа кашля, столь сильного, что на его темных глазах выступили слезы, и он молча уставился на Макклоски, рука которого бесцельно теребила бороду.

— Но послушай,— сказал Макклоски,— ты взгляни на нее! Как она высоко держит голову, не склоняет ее ни перед кем! А через месяц она станет женой самого богатого парня в нашей округе, и, знаешь,— добавил он не без лукавства,— Джон Эш не из тех, кто позволит сказать худое слово о своей жене или о ее близких родственниках, уж ты мне поверь! Постой-ка, кажется, это она спускается с лестницы. Да, она идет сюда!

И она появилась. Едва ли пролет двери служил когда-либо рамой более восхитительному видению, чем то, которое предстало их взорам, когда, раздвинув шторы, «Роза» ступила на веранду. Она совершила свой туалет поспешно, и он был прост, но безошибочное женское чутье так ярко проявилось в нем, подчеркнув, оттенив и показав все с наилучшей стороны, что, любуясь стройными контурами ее фигуры, удлиненными линиями тонких рук и ног, округлыми линиями бедер и плеч, золотистыми косами, мягко струящимися вдоль тела, сиянием прозрачных серых глаз и даже нежным румянцем щек, вы не замечали, как все это вам преподносится.

Мистер Макклоски представил молодых людей друг другу без излишних церемоний. Когда Риджуэй кое-как освоился с мыслью о том, что уже пробило два часа ночи, а обращенная к нему щечка туолумнской богини младенчески свежа, и сама она в своей безыскусственной прелести похожа на Маргариту, хотя, быть может, никогда и не слыхала имени гетевской героини, он заговорил и, смею вас заверить, заговорил вполне вразумительно. Мисс Джинни, выросшая на воле, среди диких сыновей Енака[1] и привыкшая к тому, что превосходство сильного пола утверждалось в ее глазах простым фактом физической силы, ощутив теперь неизведанное ею прежде странное воздействие силы совсем иного порядка, исходившее от этого стройного, элегантного незнакомца, в первую минуту была испугана и держалась холодно

---

[1] Енак — упоминаемый в Библии родоначальник племени исполинов.

и отчужденно. Но, увидя, что это могучее воздействие, против которого все ее женские чары, казалось, были бессильны, не таит в себе зла, она, как истая женщина, впала в состояние восторженного обожания и уже готова была повергнуть к ногам нового кумира все свои бывшие фетиши. Больше того, она даже исповедалась в этом. Словом, через полчаса Риджуэй стал обладателем всех ее девичьих тайн и, боюсь, почти всех грез... за исключением одной. Когда мистер Макклоски увидел, что молодые люди столь дружески расположены друг к другу, он мирно погрузился в сон.

Время протекало приятно для обоих. Для мисс Джинни в этом таилось очарование новизны, и она открыто и невинно предавалась своей радости, в то время как ее собеседник вел себя более сдержанно, глубже прозревая неотвратимые последствия подобных ситуаций. Не думаю, однако, чтобы ухаживание сознательно входило в его намерение. Не думаю также, чтобы он при этом отдавал себе ясный отчет в своем поведении в настоящую минуту. Я убежден, что он содрогнулся бы при одной мысли о самой малейшей неверности по отношению к той единственной женщине, которой, как он считал, принадлежало его сердце. Однако, по свойству всех поэтов, он был больше верен идеалу, нежели его земному воплощению, а будучи по натуре жизнелюбив и ставя женщин на высокий пьедестал, в каждом новом личике он находил черты своего идеала. И это, по-видимому, было пагубным для женщин, ибо, влюбляясь всякий раз заново с необычайным пылом, он невольно вводил их в обман тем, что так разительно отличало его от записных волокит с их развязной манерой ухаживать. Эта непосредственность и свежесть чувств делали его неотразимым в глазах самых достойных женщин; все они были склонны проявлять о нем бескорыстную заботу, какую мы часто проявляем по отношению к тем, кто легко может сбиться с пути: он пробуждал в них весьма опасное сочетание материнского инстинкта и еще более нежной привязанности. Вероятно, именно эти его особенности заставили Джинни почувствовать, что этот юноша, словно малое дитя, нуждается в ее женской опеке, и когда ему пришло время прощаться, она даже заявила, что проводит его до перекрестка. Она

знает все здешние лесные дороги и тропинки как свои пять пальцев, с ней он не заблудится. Не от медведей и волков стремилась она его защитить, а главным образом, как мне кажется, от женских чар Мейм Робинсон и Люси Рэнс, на случай если эти дамы устроили где-нибудь засаду на беззащитного молодого поэта. При этом она мысленно не переставала благословлять провидение за то, что оно, так сказать, вверило ей его судьбу.

Ночь была восхитительна. Невысокая луна лениво плыла над заснеженным горным хребтом. Тихий воздух был напоен терпким ароматом, и таинственные фимиамы леса будоражили молодую кровь, заставляя ее сладко млеть в жилах. И можно ли удивляться тому, что двое юных существ медлили на залитой лунным светом дороге и как бы нехотя поднялись на холм, где им предстояло расстаться; а когда они достигли его вершины, беседа — их последнее спасительное прибежище — оборвалась.

Они были одни. Леса, поля, земля и небо — все, казалось, замерло в неподвижности и безмолвии. Они были мужчиной и женщиной, и для них была создана эта прекрасная благословенная земля, покоившаяся у их ног под сводом небесной лазури. И, почувствовав это, они порывисто повернулись друг к другу, и руки их встретились, и губы их слились в долгом поцелуе.

А затем откуда-то из таинственной дали приплыл звук голосов, и резкий стук подков, и скрип колес, и Джинни скользнула прочь — подобно серебристому лунному лучу — вниз с холма. Несколько мгновений ее фигурка еще мелькала среди деревьев, но вот она уже возле дома, вот прошмыгнула мимо спящего на веранде отца, стремительно поднялась к себе в спальню, заперла дверь, распахнула окно и, опустившись возле него на колени, прижалась пылающей щекой к руке и прислушалась. Вскоре до нее донесся дробный стук копыт на кремнистой дороге, но это был всего лишь одинокий всадник, чья темная фигура промелькнула и тут же скрылась во мраке. Быть может, при других обстоятельствах она бы узнала этого всадника, но сейчас ее зрение и слух напряженно ожидали другого. И... вот оно: танцующие огоньки фонарей, мелодичное позвя-

кивание упряжи, мерный шаг лошадей, заставивший ее сердце забиться в такт... Видение возникло и исчезло. Внезапно чувство безысходного одиночества охватило Джинни, и слезы прихлынули к ее глазам.

Она встала и огляделась вокруг. Узенькая кровать, туалетный стол, розы, которые она прикалывала к платью вечером, все еще свежие и благоухающие в маленькой вазочке,— все было на своем месте, но все стало каким-то другим. Вечер отодвинулся так далеко в прошлое, что розы, казалось, давно должны были увянуть. Она с трудом могла припомнить, когда надевала это платье, валявшееся на кресле. Джинни снова подошла к окну и опустилась на пол возле него, положив побледневшую щеку на руку, разметав по полу косы. Звезды медленно гасли в небе, и бледнел румянец на ее щеках, но ее невидящий взгляд по-прежнему был устремлен в даль, туда, где занималась заря.

А заря разгоралась, ее фиолетовые отблески окрасились в пурпур, и пурпур окрасился багрянцем и засверкал, отливая серебром, и, наконец, разлился расплавленным золотом. Неровная линия ограды, почти неприметная в бледном свете звезд, четко обозначилась в лучах восходящего солнца. Но что это движется там, за оградой? Джинни подняла голову, вгляделась. Это был человек; он пытался перелезть через ограду, но всякий раз срывался и падал. Внезапно она вскочила, вся розовая в лучах разгорающейся зари, и замерла на месте, стиснув руки на груди; кровь отхлынула у нее от лица; затем одним прыжком она очутилась у двери, в вихре развевающихся юбок и кос слетела с лестницы и выбежала в сад. В двух шагах от ограды она остановилась, и только тут из груди ее вырвался крик, крик матери при виде поверженного наземь дитяти, тигрицы — над раненым детенышем. Мгновение — и она перепрыгнула через ограду и, опустившись на колени возле Риджуэя, положила его неподвижную голову себе на грудь.

— О мой мальчик, мой бедный мальчик! Кто это сделал с тобой?

Да, в самом деле, кто? Одежда его была в грязи, жилет порван, и носовой платок, которым он тщетно пытался унять кровь, выпал из глубокой колотой раны под лопаткой.

— Риджуэй, мой бедный мальчик! Скажи же мне, как это произошло?

Риджуэй медленно поднял отяжелевшие, подернувшиеся синевой веки и поглядел на Джинни. Внезапно в глубине его темных глаз блеснуло лукавство, усмешка тронула губы, и он прошептал:

— Это все... ваш поцелуй, Джинни, дорогая! Я позабыл, как высоко котируется он в этих краях. Ничего, не огорчайтесь, Джинни! — Слабеющей рукой он поднес ее руку к своим побелевшим губам.— Ваш поцелуй этого стоил,— прошептал он и потерял сознание.

Джинни вскочила на ноги, дико озираясь по сторонам. Затем с внезапной решимостью наклонилась над бесчувственным телом и, собравшись с силами, словно ребенка, подняла Риджуэя с земли. Когда минутой позже ее отец, спавший на веранде, протер глаза, его взору предстала богиня, стройная и горделивая, направлявшаяся к дому с бесчувственным телом мужчины на руках. Голова его покоилась на ее груди — на той груди, к которой не прикасался еще ни один мужчина,— и, повинуясь властному повелению этой богини, отец встал, чтобы распахнуть перед нею дверь. А затем, когда безжизненное тело было положено на диван, богиня исчезла и перед мистером Макклоски снова стояла обыкновенная женщина, беспомощная и дрожащая, в отчаянии выкрикивающая снова и снова, что это она «убила его», что она «преступница, преступница!». И с этим возгласом Джинни пошатнулась и замертво упала возле своей ноши. А мистер Макклоски лишь беспомощно почесывал бороду и невразумительно бормотал, что Джинни-то как-никак с ним управилась.

ГЛАВА II

На следующий день еще до полудня по всему Фор-Форксу уже разнесся слух, что какой-то бандит напал на Риджуэя Дента возле Чемисалского перевала, ранил его и скрылся, заслышав приближение уингдэмского дилижанса. По-видимому, это сообщение было сделано с согласия Риджуэя, так как он его не опроверг, хотя и не добавил к нему никаких подробностей. Рана его была

серьезна, но не опасна. Когда первое волнение улеглось, обыватели, как это нередко случается в провинциальной среде, дружно пришли к выводу, что пострадавший сам виноват в своем несчастье тем, что он человек пришлый, и пусть, дескать, это послужит уроком ему и предостережением другим.

— Слыхали? Этого малого из Сан-Франциско кто-то пырнул ножом вчера ночью.— Таков примерно был тон соболезнований по его адресу. В общем, все сходились на том, что ни один уважающий себя бандит, которому дороги интересы Туолумнского округа, не мог, конечно, потерпеть присутствия в этих краях Риджуэя.

Проронив всего несколько слов в то достопамятное утро, Риджуэй в дальнейшем хранил по поводу происшедшего упорное молчание. Когда Джинни пыталась выудить у него приметы случившегося, которые помогли бы пролить свет на личность неизвестного преступника, в карих глазах Риджуэя вспыхивали задорные искорки, и это было единственным ответом на ее вопрос. Когда же подобные попытки пробовал позволить себе мистер Макклоски, молодой человек обрушивал на его голову довольно оскорбительные эпитеты, а также ночные туфли, чайные ложки и другие нетяжелые предметы, которые всегда могут оказаться у лежачего больного под рукой.

— Мне кажется, что он уже поправляется, Джинни,— сказал как-то мистер Макклоски.— Он запустил в меня сегодня подсвечником.

Примерно в это самое время мисс Джинни, взяв с отца торжественную клятву, что он ни словом не обмолвится Риджуэю о том, кто и как доставил его раненого в дом, сочла необходимым в своем обращении к нему величать его «мистер Дент» и извиняться за беспокойство всякий раз, когда те или иные домашние обязанности заставляли ее появляться у него в комнате. Примерно в это же время она стала особенно ревностно и пунктуально исполнять эти обязанности и уделять меньше внимания своему пациенту. Примерно в это же время питание его значительно улучшилось, а спрашивать, чего бы ему хотелось покушать, она стала значительно реже. Примерно в это же время она начала вести более рассеянный образ жизни, и в доме стали чаще появляться ее преж-

ние поклонники, с которыми она то отправлялась на танцы, то совершала прогулки верхом или пешком. И примерно в это же время, как только Риджуэя вынесли в кресле на веранду, она с загадочной усмешкой представила ему сестру своего нареченного — мисс Люси Эш, жгучую брюнетку и самую опасную пожирательницу сердец в Фор-Форксе. Затем в разгар своих светских развлечений она пришла к выводу, что ей давно пора нанести визит Робинсонам и погостить у них с недельку. Там она веселилась напропалую, веселилась так, что у нее даже ввалились глаза и щеки. Это оттого, что было очень весело и слишком много развлечений, объяснила она отцу.

— Понимаешь, папа, ведь после того, как мы с Джоном поженимся, у меня едва ли будет когда-нибудь возможность хорошенько повеселиться: ты же знаешь, какой он чудак. Вот я и хочу использовать оставшиеся дни как можно лучше,— сказала она с тем странным, невеселым смешком, который часто прорывался у нее в последнее время, и добавила вскользь:— А как дела у мистера Дента?

Отец ответил, что у мистера Дента дела идут очень хорошо, настолько хорошо, в сущности, что два дня назад он уже нашел возможным отбыть в Сан-Франциско.

— Он просил передать тебе привет, Джинни. «Самый нежный привет» — именно так он и сказал, слово в слово,— сообщил мистер Макклоски, опустив глаза на свои башмаки, словно требуя у них подтверждения.

Мисс Джинни была чрезвычайно рада узнать, что он так быстро оправился. Мисс Джинни заявила, что ничто на свете не могло бы ее обрадовать больше и это совершенно замечательно, если он достаточно окреп, чтобы вернуться к своим друзьям, которые, вероятно, очень его любят и сильно о нем тревожатся.

Разумеется, разумеется, он так и знал, что эта новость ее обрадует, сказал отец, и, поскольку гость уехал, ей даже не было нужды спешить домой.

Но она как будто ни на секунду не выражала желания погостить там еще, заметила мисс Джинни, и в голосе ее зазвенели металлические нотки. Впрочем, если ее присутствие в доме нежелательно, если ее родной отец только и мечтает, как бы от нее отделаться, если она

уже успела ему надоесть, хотя ей осталось провести под родительской кровлей считанные дни и она скоро покинет этот дом навсегда, если...

— Помилуй бог, помилуй бог, Джинни, что ты говоришь! — воскликнул мистер Макклоски, в полном отчаянии ухватив себя за бороду.— У меня и в мыслях не было ничего такого. Я думал, что ты...

— Ну так ты зря это думал, отец,— надменно перебила его Джинни.— Ты не понял моих намерений. Да и где тебе понять: ты же *мужчина!*

Мистер Макклоски, совершенно уничтоженный, вяло пытался протестовать, но его дочь, облегчив душу, по обычаю всех представительниц ее пола, путем перехода от абстрактных рассуждений на личности, великодушно простила его, подарив ему поцелуй.

Тем не менее после возвращения Джинни мистер Макклоски дня два-три неотступно следил за дочерью пытливым, встревоженным взором, а временами смущенно и робко следовал за ней из комнаты в комнату по пятам. Порой, когда она была погружена в хозяйственные заботы, он внезапно вырастал перед ней, пользуясь при этом каким-нибудь столь явно надуманным предлогом и напустив на себя столь фальшиво беззаботный вид, что Джинни становилось за него неловко. В последующие затем дни у него вошло в привычку бродить ночью по дому, и нередко можно было наблюдать, как он бесшумно шагает из угла в угол в прихожей, после того как Джинни уже удалилась к себе в спальню. Однажды его так и сморил сон, и Джинни, поднявшись рано, обнаружила, что отец прикорнул на коврике у двери ее спальни.

— Ты следишь за мной совсем как за малым ребенком, па,— сказала Джинни.

— Мне что-то послышалось, Джинни,— с виноватым видом отвечал отец.— Словно ты расстроена чем-то... Я слушал, слушал и уснул.

— Ну какой ты смешной, папочка! Сущий младенец! — сказала Джинни, избегая взгляда отца и задумчиво перебирая пальцами его седеющие волосы.—С чего это я буду расстраиваться? А ведь я тебя переросла!— неожиданно прибавила она и, приподнявшись на цыпочки, потянулась всем своим стройным телом. За-

тем быстрым движением обеих рук она погладила его по голове, словно умащивая ему волосы елеем, похлопала по спине и удалилась к себе в комнату. В результате этого и еще двух-трех столь же задушевных бесед в поведении мистера Макклоски произошла новая и еще более необъяснимая, если только это возможно, перемена: он сделался необычно и беспричинно весел, шутил с прислугой и без конца рассказывал Джинни всевозможные забавные истории, усердно хихикая и заливаясь смехом на протяжении всего рассказа, но полностью забывая к концу, в чем его соль. Любой предмет приводил ему на память различные смешные происшествия, не имевшие в действительности никакого отношения к этому предмету. Время от времени он затаскивал к себе в дом кого-нибудь из завзятых остряков в простодушной надежде завести его на манер музыкальной шкатулки для развлечения своей дочери. Он пытался даже что-то напевать, позволяя себе довольно большую свободу исполнения при удивительно малом разнообразии звуков. Он распевал песенку «Под венец спеши, девица», из которой знал примерно одну фразу, и то не точно, но которую считал каким-то образом очень подходящей к случаю. Однако вне стен своего дома и в отсутствие дочери он становился рассеян и молчалив. Его рассеянность особенно бросалась в глаза, когда он появлялся на кварцевом руднике.

— Если старик не возьмется за ум и не встряхнется малость,— говорил десятник,— он когда-нибудь сам угодит в дробилку. Это штука коварная, с ней держи ухо востро.

Как-то вечером мисс Джинни, услыхав, что кто-то робко скребется в ее дверь, догадалась, что это отец. Отворив дверь, она увидела его перед собой с саквояжем в руке, одетого по-дорожному.

— Я уезжаю с ночным дилижансом во Фриско, Джинни, детка. Может, по дороге заверну к Джону, а через недельку ворочусь. До свидания.

— До свидания, папа.

Он задержал ее руку в своей руке. Затем шагнул в комнату, оглянулся и плотно прикрыл дверь. Глаза его сверкнули неожиданным лукавством, и он многозначительно произнес:

— Бодрись и помалкивай, Джинни, голубка. И положись на меня, старика. Мужчины не похожи один на другого. Каждый действует по-своему. Одни, как все, а другие — не как все; у одних все просто, легко, а у других — не просто, не легко. А ты бодрись и помалкивай.— И, закончив на этом свои прорицания, сей дельфийский оракул приложил палец к губам и исчез.

В десять часов утра он был уже в Фор-Форксе. И через несколько минут стоял на пороге того здания, которое на страницах фор-форкского «Стража» именовалось «величественной резиденцией Джона Эша», а у местных сатириков получило название «Эш-ты-подиж-ты».

— У меня как раз выдался свободный часок, Джон,— сказал он, пожимая руку своему будущему зятю,— ну я и решил, что было бы неплохо и, как говорится, вполне натурально, если бы мы с тобой поболтали немного по душам, не касаясь деловых вопросов, а провели бы часок в сугубо частной, так сказать, беседе.— Это вступление, являвшееся результатом тщательной подготовки и затверженное наизусть, показалось, по-видимому, мистеру Макклоски настолько подходящим к случаю, что он повторил его снова от слова до слова после того, как Джон Эш провел его к себе в кабинет, где мистер Макклоски поставил свой саквояжик посредине комнаты, сам уселся подле и стал упорно смотреть в сторону, тщательно избегая встречаться глазами с хозяином. Джон Эш, красивый брюнет, родом из Кентукки, склонный приписывать глубокое значение даже самым незначительным фактам, с рыцарской учтивостью ожидал продолжения речи своего гостя. Будучи начисто лишен чувства юмора, он воспринимал мистера Макклоски как явление, требующее к себе самого серьезного отношения, а некоторые его особенности объяснял собственным недостатком опыта в общении с людьми такого сорта.

— Порода что-то пустая пошла нынче,— заметил мистер Макклоски довольно беспечным тоном.

Джон Эш отвечал, что он уже отметил этот факт в докладах, полученных с дробилки.

Мистер Макклоски почесал бороду и уставился на свой саквояж, словно ища у него сочувствия и поддержки.

— Ты не считаешь, что у тебя могут быть неприятности с кем-нибудь из тех ребят, которых ты отшил от Джинни?

Джон Эш несколько высокомерно заметил, что он как-то над этим не задумывался.

— Я видел, как Рэнс торчал возле вашего дома в тот вечер, когда я провожал Джинни домой, но он держался на почтительном от меня расстоянии,— свысока добавил он.

— Понятно,— сказал мистер Макклоски, странно блеснув глазами. Помолчав, он взял новый разбег, оттолкнувшись от своего саквояжа.

— Как мужчина мужчине, Джон, и как будущий тесть будущему зятю, я хочу сказать тебе несколько слов насчет одного дела. Это будет, я считаю, честно и правильно. Вот затем я сюда и пришел. Это насчет моей дочки, насчет Джинни.

Лицо Джона Эша просияло, к явному замешательству мистера Макклоски.

— Пожалуй, следовало бы сказать насчет ее мамаши, но поскольку эта особа совсем тебе неизвестна, я, понятно, и сказал — насчет Джинни.

Джон Эш благосклонно кивнул. Мистер Макклоски покосился на саквояж и продолжал:

— Шестнадцать лет назад в штате Миссури я женился на миссис Макклоски. Она в то время именовала себя вдовой — вдовой с маленьким ребенком. Я говорю «именовала себя», потому что впоследствии я узнал, что никакой вдовой она не была, и замужем не была, и кто отец ребенка — это, можно сказать, никому не известно. Так вот, ребенок этот — Джинни, моя дочка.

Не отрывая глаз от саквояжа и словно не замечая побагровевшего лица и сурово сдвинутых бровей своего собеседника, мистер Макклоски продолжал:

— Пошли разные мелкие дрязги, и жизнь в нашем домике в Миссури стала не очень-то приятной. Склонность бить посуду и размахивать ножом — раз; орать песни, когда под хмельком, а это случалось с ней частенько,— два; привычка к грубым и непечатным выраже-

ниям и употреблению бранных слов, стоило кому-нибудь заглянуть в дом,— три... Все это, понимаешь, вроде как указывало...— тут мистер Макклоски остановился в некоторой нерешительности и с запинкой добавил,— указывало на то, что миссис Макклоски вроде бы не рождена для супружеских уз в их священном, так сказать, значении.

— Проклятие! Почему же вы не...— вскричал Джон Эш, в бешенстве вскакивая со стула.

— Через два года,— продолжал мистер Макклоски, упорно не сводя глаз с саквояжа,— я заявил, что буду требовать развода. Но в это самое время в наш город занесло каким-то ветром бродячий цирк и вместе с ним одного малого, который скакал на трех лошадях зараз. Ну, а у миссис Макклоски всегда была тяга к разного рода физическим упражнениям, и она удрала из города с этим самым парнем, бросив на меня Джинни. Тогда я написал ей: пусть она оставит мне Джинни, и я буду считать, что мы квиты. Так она и сделала.

— Объясните мне,— задыхаясь, промолвил Эш,— вы сами научили вашу дочь утаить все это от меня, или она сделала это по собственному почину?

— Она ничего об этом не знает,— сказал мистер Макклоски.— Она думает, что я ее родной отец, а мать умерла.

— Значит, это ваши происки, сэр...

— Что-то не припомню, чтобы я навязывал кому-нибудь мою дочь в жены. Что-то не припомню, чтобы я позволил себе это в виде делового предложения или приятной шутки.

Джон Эш в ярости шагал из угла в угол. Глаза мистера Макклоски, оторвавшись от саквояжа, с интересом следили за ним.

— Где теперь эта женщина? — внезапно спросил Эш.

Взгляд мистера Макклоски снова уперся в саквояж.

— Она переехала в Канзас, из Канзаса — в Техас и из Техаса вроде перебралась в Калифорнию. Я посылал ей денег через одного приятеля, когда у нее были заминки с работой.

Джон Эш застонал.

— Она стала малость старовата и недостаточно тверда в ногах для лошадей, так теперь ходит по канату

и качается на трапеции. Я-то сам ни разу не был на ее представлении,— добросовестно разъяснил мистер Макклоски,— и не могу сказать, как это у нее получается. А на афишах она выглядит недурно. Тут у меня есть афишка,— сказал мистер Макклоски, поглядел на Эша и раскрыл свой саквояж.— Вот эта афишка; тут напечатано, что она будет выступать в Мэрисвилле в следующем месяце.— И мистер Макклоски не спеша развернул большую печатную афишу, щедро расцвеченную желтой и голубой краской.— Она, как видишь, называет себя так: «мадемуазель Дж. Миглавски, знаменитая воздушная акробатка из России».

Джон Эш вырвал у него из рук афишу.

— Надо полагать,— сказал он, глядя в лицо мистеру Макклоски,— вы не рассчитываете, что для меня после этого все останется по-старому?

Мистер Макклоски взял у него афишу, аккуратно сложил ее и спрятал обратно в саквояж.

— Я надеюсь, что ты ни словом не обмолвишься насчет этого Джинни, когда захочешь все с ней покончить,— спокойно проговорил он.— Она ведь ничего не знает. И я полагаю, что ты, как человек благородный, не можешь обидеть женщину.

— Но что же я ей скажу? Под каким предлогом могу я теперь пойти на попятную?

— Напиши ей. Скажи, что до тебя дошли какие-то слухи, не говори — какие, и это, дескать, заставляет тебя отказаться от нее. Можешь быть спокоен, Джинни никогда ни о чем тебя не спросит.

Джон Эш колебался. Он чувствовал себя глубоко оскорбленным. Ни один джентльмен и тем более ни один из Эшей не мог бы такого потерпеть. Это было немыслимо. Но в эту минуту он почему-то не чувствовал себя ни джентльменом, ни одним из Эшей. И знал, что ему не выдержать взгляда честных глаз Джинни. Но в конце концов... он же может написать ей.

— Так у вас здесь тоже, значит, пустая порода пошла, как у нас на кряже? Ну что ж, будем надеяться, что дела поправятся до дождей. Мое почтение.— И мистер Макклоски с серьезным выражением лица пожал рассеянно протянутую ему руку и удалился.

*

Когда неделей позже мистер Макклоски снова ступил на свою веранду, за стеклянной дверью гостиной он различил очертания мужской фигуры. Под его гостеприимным кровом это зрелище не было необычным, но все же он на секунду испытал легкое беспокойство и разочарование. Впрочем, разглядев, что обращенное к нему лицо ничуть не похоже на лицо Эша, он облегченно вздохнул, но тут же, узнав каштановую бородку и неистовый, горящий взгляд Генри Рэнса, снова ощутил тревогу, и даже настолько жгучую, что принялся теребить свою бороду, еще не переступив порога.

Джинни выбежала ему навстречу и с радостным восклицанием обняла его.

— Па,— торопливо зашептала она,— не обращай на него внимания!— Тут она тряхнула золотистыми косами в сторону Рэнса.— Он сейчас уйдет. И мне кажется, па, я была к нему несправедлива. Но с Джоном у нас теперь все кончено. Прочти это письмо, ты увидишь, как он оскорбил меня.— Губы у нее задрожали, и она прибавила:— Он, видно, на Риджуэя намекает, па, и мне кажется, что это он ранил тогда Риджуэя или, во всяком случае, знает, чьих это рук дело. Но смотри, никому ни слова!

Она запечатлела на его щеке лихорадочный поцелуй и скользнула обратно в гостиную, оставив мистера Макклоски растерянного и встревоженного, с письмом в руке. Он торопливо пробежал его глазами и увидел, что оно составлено почти в тех самых выражениях, какие он сам подсказал Джону. Внезапно он что-то вспомнил, и тревожное предчувствие охватило его. Он прислушался, испуганно охнул, схватил шляпу и выбежал из дома, но слишком поздно. Чьи-то легкие, стремительные шаги уже послышались на веранде, стеклянная дверь распахнулась, и с веселым, громким приветствием Риджуэй вступил в гостиную.

Тонкий слух Джинни раньше других уловил звук его шагов. Обостренные чувства Джинни за одно мгновение заставили ее испытать всю глубину радости, надежды, отчаяния, прежде чем нога Риджуэя переступила порог. Однако Джинни спокойно, с полным самообладанием обратила к Риджуэю свое побледневшее ли-

цо, когда он замер на месте, увидав, что она не одна. Краска ярости залила лицо Рэнса до самых корней волос; он вскочил. Глаза Риджуэя вспыхнули зловещим огнем, гневная, презрительная усмешка скривила его губы, над крепко сжатыми челюстями заиграли желваки.

И все же первым заговорил он.

— Прошу меня извинить за непрошеное вторжение,— произнес он с едва уловимой иронией, отчего бледные щеки Джинни окрасились негодующим румянцем,— однако я позволю себе, не испросив разрешения, покинуть ваш дом — единственное место, где этот человек может чувствовать себя в безопасности при встрече со мной.

С яростным восклицанием Рэнс бросился к нему. Но Джинни опередила его — величественная, грозная, она встала между ними.

— Вы не будете сводить свои счеты здесь,— сказала она Рэнсу.— Вы мой гость и под моей защитой, но не заставляйте меня напоминать вам, что я хозяйка дома.— С выражением полумольбы, полуприказа она повернулась к Риджуэю, но тот уже исчез, а вместе с ним и ее отец. Только Рэнс не двинулся с места; лицо его выражало плохо скрытое торжество.

Не взглянув на него, она направилась к двери. У порога она обернулась.

— Час назад вы попросили у меня ответа на один вопрос. Будьте сегодня в девять часов вечера у нас в саду, и я вам отвечу. Но прежде обещайте мне не приближаться к мистеру Денту. Дайте мне слово не искать встречи с ним, уклоняться от этой встречи, если даже он сам будет ее искать. Обещаете? Прекрасно.

Он хотел взять ее руку, но она отстранилась. И вот уже ее платье прошуршало в прихожей, с лестницы донесся легкий звук шагов, с громким стуком захлопнулась дверь спальни, и все стихло.

И в наступившей тишине день медленно склонился к вечеру и из глубины долины надвинулась ночь и распростерла свои темно-фиолетовые крыла над горами, всколыхнув неподвижный воздух и овеяв все легким ветерком, а следом за ней поднялась луна и укачала все живое в своей светлой, благословенной колыбели. Изумительно прекрасна была эта ночь, но Генри Рэнс,

нетерпеливо шагавший под большой сикоморой в глубине сада, не замечал ни красоты земли, ни красоты неба. Тысячи подозрений терзали его ревнивый ум, таинственность обстановки наполняла его суеверную душу страхом и сомнением.

— Это уловка,— бормотал он.— Она хотела уберечь от моей руки наглеца!

Но вот белая фигура скользнула вдоль кустов, росших у стены дома, приблизилась к ограде и остановилась, неподвижная, вся залитая лунным светом.

Это была Джинни. Но он не сразу узнал ее: белое покрывало, ниспадая с головы и плеч, окутывало ее фигуру. Он быстро шагнул к ней и торопливо прошептал:

— Отойдем отсюда, светит луна, нас могут увидеть.

— А почему бы нам не поговорить при свете луны, Генри Рэнс?— надменно возразила Джинни, уклоняясь от его протянутой руки. Она вздрогнула, словно на нее внезапно повеяло ледяным холодом, и порывисто шагнула к нему.— Выше голову! Дайте мне поглядеть на вас! Раньше я видела перед собой мужчину, теперь я хочу поглядеть на предателя!

Он отшатнулся, пораженный не столько ее словами, сколько исступленным выражением ее лица. Только сейчас он заметил лихорадочные пятна на ее ввалившихся щеках и неестественный блеск запавших глаз. Он не был трусом, но отступил в испуге.

— Вы нездоровы, Джинни,— сказал он.— Вам лучше вернуться домой. В другое время...

— Стойте! — хрипло воскликнула она.— Ни с места, или я позову на помощь! Посмейте только удалиться отсюда, вы, убийца, и я ославлю вас убийцей перед всем светом!

— Это был честный поединок,— проговорил он угрюмо.

— Вот как? Честный поединок — напасть из-за угла на безоружного, ничего не подозревающего человека? А пытаться бросить подозрение на другого — это тоже честно? А ввести меня в обман — это тоже честно? Вы трус и лжец, Генри Рэнс!

Глаза его загорелись злобным огнем, преступная рука скользнула за пазуху, и он шагнул к ней. Это не укрылось от ее глаз, но лишь сильнее распалило ее гнев.

— Что ж, убей! — вскрикнула она, сверкнув глазами, и широко раскинула руки в стороны.— Убей! Или ты трусишь перед женщиной, которая тебя не боится? Или твой нож наносит удары только в спину, только тем, кто этих ударов не ждет? Убей, я тебе повелеваю! Не можешь? Так гляди же! — Порывистым движением она сорвала с головы и плеч белую кружевную шаль, которая скрывала всю ее фигуру, и стала перед ним, вытянувшись во весь рост.— Взгляни! — страстно воскликнула она, указывая на свое белое платье и зловещие темные пятна запекшейся крови на плечах и груди.— Взгляни! Это платье было на мне в то утро, когда я нашла его здесь... здесь... истекающего кровью, раненного твоей трусливой рукой. Взгляни! Ты видишь? Это его кровь — кровь моего дорогого мальчика, моего возлюбленного! Одна капля этой крови — мертвой, запекшейся — драгоценней для меня всей живой, горячей крови, бегущей в жилах любого из мужчин. Видишь, я пришла сюда сегодня в этом платье, окропленном его кровью, и вызываю тебя: рази! Ну же, смелей, рази меня и через меня снова рази его, смешай мою кровь с его кровью. Убей же, я молю тебя! Убей меня! Сжалься надо мной и убей меня, заклинаю тебя богом! Убей, если ты мужчина! Взгляни! Здесь, на моем плече, покоилась его голова, к этой груди я прижимала его — к моей груди, которой никогда, богом клянусь, никогда не коснется никто... Ах!

Пошатнувшись, она прислонилась к ограде, и предмет, блеснувший в воздетой руке Рэнса, упал к ее ногам, ибо сверкнул огонь, прогремел выстрел, и Рэнс покатился на землю, а двое мужчин, перепрыгнув через его извивающееся тело, бросились к ней и подхватили ее на руки...

— Она в обмороке,— сказал мистер Макклоски.— Джинни, дорогая, девочка моя, скажи мне что-нибудь!

— А что это за пятна у нее на платье? — спросил Риджуэй, опустившись возле нее на колени и обратив к мистеру Макклоски бледное, без кровинки, испуганное лицо. При звуке его голоса легкий румянец проступил на щеках Джинни; она открыла глаза и улыбнулась.

— Это твоя кровь, мой мальчик,— сказала она,— но вглядись получше, может быть, ты увидишь и мою — она уже смешалась с твоей.

И, протянув руки, она обхватила его за шею и притянула к себе его голову и его губы к своим губам. Когда же Риджуэй поднялся с колен, ее глаза были закрыты, но уста еще хранили улыбку, словно воспоминание поцелуя.

Они отнесли ее в дом; она дышала, но была без сознания. В эту ночь топот копыт не смолкал на дороге, и все искусные врачеватели, вызванные со всех концов округи, собрались у ее ложа, покрыв расстояние в десятки миль. Рана, объявили они, не слишком опасна, но тяжелое потрясение, пережитое пациенткой, чья нервная система была, по-видимому, подточена каким-то загадочным душевным недугом, внушало им опасение. Прославленное медицинское светило Туолумны оказалось человеком молодым и довольно наблюдательным. Он терпеливо ждал случая, который пролил бы свет на эти таинственные обстоятельства. Скоро его проницательность была вознаграждена.

К утру больная пришла в себя и огляделась по сторонам. Потом поманила к себе отца и прошептала:

— Где он?

— Они увезли его, Джинни, голубка, на телеге. Он никогда больше тебя не тронет...— Мистер Макклоски умолк. Джинни приподнялась на локте и смотрела на него в упор, сурово сдвинув брови. Но тут два толчка в спину, полученных от молодого хирурга, и многозначительный кивок на дверь заставили мистера Макклоски ретироваться, бормоча что-то себе под нос.

— Откуда я мог знать, что «он» — это Риджуэй?— виновато проговорил он, возвращаясь обратно вместе с вышеупомянутым лицом. Хирург, считавший в эту минуту пульс пациентки, улыбнулся и подумал, что теперь... при соответствующем уходе... доза укрепляющих может быть уменьшена... и пациентку, по-видимому, можно спокойно оставить... в надежных руках. Дальнейшее назначение он сообщит мистеру Макклоски... внизу, в гостиной.

Полчаса спустя мистер Макклоски с хитрым видом и предостерегающим покашливанием вошел в комнату

больной. И был несколько разочарован, увидав, что Риджуэй стоит себе как ни в чем не бывало у окна, а его дочь мирно дремлет. Он был еще более сбит с толку, заметив после ухода Риджуэя, что на губах его дочери играет задумчивая улыбка.

— Ты о ком-то вспоминаешь, Джинни? — осторожно спросил он.

— Да, папа.— Серые глаза, не моргнув, встретили его взгляд.— Я вспоминаю о бедном Джоне Эше.

Здоровье ее быстро шло на поправку. Если в момент душевных страданий физические силы коварно оставили ее, то теперь, когда недуг поразил тело, природа, казалось, решила сжалиться над своей любимицей.

Превосходное здоровье, которое было одним из главных ее очарований и источником многих бед, теперь сослужило ей хорошую службу. Целительный смолистый воздух сосновых лесов был подобен бальзаму, и все чудодейственные силы высокогорного климата Сьерры, казалось, пришли ей — словно раненой серне — на помощь. Через две недели она уже поднялась на ноги. Когда месяц спустя Риджуэй, возвратившись из поездки в Сан-Франциско, спрыгнул с подножки дилижанса в четыре часа пополуночи, «Туолумнская роза» уже встречала его на дороге, и ее румяные щечки были свежи, как окропленные росой лепестки,—так же свежи, как в то утро, когда она впервые подставила их ему для поцелуя.

Охваченные единым стремлением, они направили свои юные, легкие шаги к вершине невысокого холма, о котором оба хранили воспоминание, ставшее теперь для них священным. Там, на самой вершине, их, мне кажется, постигло некоторое разочарование. Аромат зарождающейся любви подобен аромату раскрывающегося цветка — он слабеет, когда цветок расцвел. Джинни подумалось, что эта ночь уже не так прекрасна, как «та», Риджуэю — что долгий путь притупил его восприятие. Но у них хватило прямоты признаться в этом. И в самом признании они нашли своеобразную усладу и стали перебирать все подробности, напоминая друг другу то, что ускользнуло из памяти, и лишь изредка с сожалением обращаясь мыслями к тем пустым, зря потраченным

дням, когда они еще не знали друг друга, и так, беседуя, вернулись домой рука об руку.

Мистер Макклоски нетерпеливо поджидал их на веранде. Когда мисс Джинни поднялась наверх, чтобы поправить подозрительно съехавший на бок воротничок, мистер Макклоски отвел Риджуэя в сторону. В одной руке он держал театральную афишу, в другой — развернутую газету.

— Я всегда говорил,— с расстановкой произнес он, словно продолжая только что прерванную беседу,— я всегда говорил, что скакать на трех лошадях зараз — это, пожалуй, для нее многовато. Похоже, что я был прав. Если верить тому, что тут написано, так она, как видно, пыталась на прошлой неделе проделать эту штуку в Мэрисвилле и свернула себе шею.

ФИДЛТАУНСКАЯ ИСТОРИЯ

В 1858 году она считалась в Фидлтауне очень хорошенькой женщиной. У нее были пышные светло-каштановые волосы, бездонные бархатные глаза, прекрасная фигура, ослепительный цвет лица, и она отличалась своеобразной ленивой грацией, которую принимали за признак изящного воспитания. Она всегда одевалась к лицу и по последней дошедшей до Фидлтауна моде. В ее внешности было лишь два недостатка: один глаз у нее, если внимательно присмотреться, слегка косил, и на левой щеке виднелся небольшой шрам, оставленный каплей серной кислоты — к счастью, единственной достигшей цели из целой склянки, выплеснутой в ее хорошенькое личико некоей ревнивой особой. Но человек, заглянувший ей в глаза достаточно глубоко, чтобы обнаружить этот изъян, обычно уже терял способность относиться к нему критически, и даже шрам на щеке, по мнению некоторых, лишь придавал пикантность ее улыбке. Молодой редактор фидлтаунской газеты «Эвеланш» говорил в кругу друзей, что этот шрам — просто лишняя ямочка на щеке, только поглубже. А полковник Старботтл сказал, что этот шрам напоминает ему «мушек, которые дамы времен королевы Анны для красоты сажали себе на щеки, а еще более того самую, черт побери, красивую женщину, сэр, которую мне, черт побери, приходилось в жизни встречать. Это была креолка из Нового Орлеана. И у той женщины был шрам — от глаза до самого, черт побери, подбородка. И та женщина до того была, черт побери, хороша, что кружила голову, сэр, сводила с

ума, за нее, черт побери, ты готов был хоть душу заложить самому сатане. Как-то раз я ей сказал: «Селеста, откуда у тебя, черт побери, этот роскошный шрам?» А она отвечает: «Солнышко, я бы в этом не призналась ни одному белому, но тебе я скажу — я сама себе сделала этот шрам, нарочно, черт меня побери». Это были ее доподлинные слова, сэр, и если вы думаете, что я, черт побери, лгу, то я готов побиться об заклад на любую, черт побери, сумму, которую вы назовете, и я вам это, черт побери, докажу».

Почти все мужчины Фидлтауна были в нее влюблены. Из них примерно половина пребывала в уверенности, что им отвечают взаимностью. Единственное исключение, пожалуй, составлял ее муж. Лишь он один вслух выражал сомнение в ее чувствах.

Имя джентльмена, выделявшегося столь незавидным образом, было Третерик. Чтобы жениться на сей фидлтаунской очаровательнице, он развелся с весьма достойной женщиной. *Она* тоже развелась с мужем, но, как намекали в городе, для нее это мероприятие было лишено прелести новизны и, возможно, связано с меньшими жертвами. Я вовсе не хочу этим сказать, что ей были чужды тонкие чувства или что она была лишена способности придавать им самое возвышенное выражение. Один ее близкий друг заявил (по поводу ее второго развода): «Холодный свет еще не понял Клару»,— а полковник Старботтл с присущей ему прямотой заметил, что за вычетом единственной женщины из прихода Опелузас в штате Луизиана у Клары больше души, чем у всех у них, вместе взятых.

Мало кто мог без слез читать напечатанную в «Эвеланше» элегию «Бедная страдалица», под которой стояла подпись: «Леди Клара», а первая строчка звучала так: «Отчего кипарис не колышет ветвями над моим сокрушенным челом?» И мало кто при этом не возмущался газетой «Датч-Флет Интеллидженсер», которая с неизменной грубостью и с жалкими потугами на остроумие советовала искать ответ на столь серьезный вопрос в том грустном факте, что кипарисы в Фидлтауне не растут.

Собственно говоря, именно эта склонность облекать свои чувства в стихотворную форму и поверять их холод-

ному свету через посредство газет и привлекла в свое время внимание Третерика. Несколько элегий, посвященных впечатлениям чувствительной души от калифорнийских пейзажей и смутным устремлениям в бесконечность, порождаемым в поэтической груди вынужденным знакомством с бессердечным калифорнийским обществом, побудили мистера Третерика, который в то время занимался перевозками на запряженном шестеркой мулов фургоне из Найтс-Ферри в Стоктон, разыскать незнакомую поэтессу. Мистер Третерик сам ощущал в своей душе какое-то смутное томление; возможно также, что мысли о суетности его занятий — он поставлял в старательские поселки табак и виски,— усугубленные картинами унылой, пыльной равнины, через которую лежал его путь, затронули в нем какую-то струну, звучавшую в унисон с излияниями этой чувствительной души. Как бы то ни было, после недолгого ухаживания, продолжавшегося ровно столько времени, сколько его понадобилось на выполнение некоторых юридических формальностей, мистер Третерик женился на Кларе и привез молодую в Фидлтаун, или в «Фидельтаун», как предпочитала его называть в своих сочинениях миссис Т.

Счастье не сопутствовало этому браку. В скором времени мистер Третерик обнаружил, что чувство, вспыхнувшее в его груди во время поездок из Стоктона в Найтс-Ферри, значительно отличалось от эмоций, порожденных в его супруге созерцанием калифорнийского пейзажа и собственной души. Не отличаясь логическим образом мышления, он стал бить жену — в ответ на что она столь же непоследовательно сочла себя свободной от уз супружеской верности. Тогда мистер Третерик начал пить, а миссис Третерик принялась регулярно сотрудничать на страницах «Эвеланша». Именно к этому времени относится открытие полковника Старботтла, обнаружившего в стихах миссис Третерик сходство с гением Сафо, на что он указал гражданам Фидлтауна в большой критической статье за подписью «А. С.», также опубликованной в «Эвеланше» и широко цитирующей как миссис Т., так и древнегреческую поэтессу. Поскольку в типографии «Эвеланша» не оказалось греческого шрифта, редактору пришлось пойти на воспроизведение левкадийских строф обычными римскими буква-

ми — к невыразимому негодованию полковника Старботтла и великому восторгу жителей Фидлтауна, усмотревших в этом тексте подражание языку индейцев племени чоктав, с которым, как предполагалось, полковник Старботтл, одно время живший на индейской территории, был хорошо знаком. Более того, на следующей неделе «Интеллидженсер» поместил какую-то рифмованную бессмыслицу, якобы написанную в ответ на стихотворение миссис Т. женой индейского вождя, и сопроводил ее восторженным критическим разбором за подписью «А. С. С.».

Сия неуместная веселость повлекла за собой результат, о котором в одном из последующих номеров «Эвеланша» появилось следующее краткое сообщение: «В прошлый понедельник перед салуном «Эврика» произошло весьма прискорбное столкновение между досточтимым мистером Джексоном Флешем, редактором «Датч-Флет Интеллидженсера», и уважаемым жителем нашего города полковником Старботтлом. Обе стороны сделали по выстрелу, не нанеся вреда друг другу, но сообщают, что заряд дроби из двустволки полковника угодил в икры проходившему мимо китайцу. Впредь пусть держится подальше от белых, когда у тех в руках огнестрельное оружие. Причина стычки неизвестна, хотя ходят слухи, что в деле замешана дама. Хорошо осведомленные лица указывают на известную своей красотой и талантом поэтессу, творения которой неоднократно украшали наши страницы».

Между тем Третерик в этой сложной ситуации не предпринимал никаких действий, чем заслужил полное одобрение у окрестных старателей. Один из них, склонный к философским обобщениям, заметил по этому поводу: «А что ему лезть на рожон? Если полковник убьет Флеша, так тому и надо. Если Флеш убьет полковника, Третерику тоже не станет хуже. Так или иначе, а он в выигрыше». И вдруг в самый разгар всей этой истории миссис Третерик сбежала из дома в чем была и укрылась в фидлгаунской гостинице. Она прожила там несколько недель, в течение которых, надо признать, вела себя со всей подобающей скромностью.

Однажды солнечным весенним утром миссис Третерик, никем не сопровождаемая, вышла из гостиницы и направилась по узкой улице к темневшей на окраине Фидлтауна сосновой роще. Немногочисленные в столь ранний час зеваки толпились на другом конце улицы вокруг отбывавшего в Уингдаун дилижанса, и миссис Третерик достигла окраины городка, не замеченная любопытными взорами. Затем она свернула на дорогу, которая шла через небольшой перелесок. Здесь начинался самый фешенебельный район города — дома были построены с претензией и стояли далеко друг от друга, магазинов не было вовсе. И здесь к ней подошел полковник Старботтл.

Хотя сей доблестный муж и сохранял присущее ему достоинство осанки — его сюртук был, как всегда, застегнут на все пуговицы, сапоги начищены до блеска и на согнутой руке небрежно покачивалась трость,— ему было явно не по себе. Однако, ободренный благосклонной улыбкой и быстрым взглядом опасных глаз миссис Третерик, полковник, смущенно покашливая и вышагивая с несколько преувеличенной спесью, двинулся с ней рядом.

— Путь свободен,— сказал полковник.— Третерик загулял в Датч-Флете, и в доме только китаец, а его вам опасаться нечего. Я,— продолжал полковник, раздувая грудь и рискуя таким образом лишиться нескольких пуговиц,— я сам позабочусь о том, чтобы вам не воспрепятствовали забрать свое имущество.

— Вы очень любезны и так бескорыстны,— пролепетала его дама.— Так отрадно встретить в этом жестокосердном обществе человека, наделенного душой, человека, способного на понимание и сочувствие!

Миссис Третерик опустила глаза, которые, однако, к тому времени уже успели произвести на ее собеседника свое безотказное действие.

— Да, конечно, разумеется,— отозвался полковник, нервно озираясь.— Да-да, разумеется.

Убедившись же, что их никто не видит и не слышит, он стал уверять миссис Третерик, что всю жизнь страдал из-за того, что наделен чересчур богатой душой. Многие женщины — будучи джентльменом, он, естественно, воздержится от упоминания имен,— многие красивые

женщины искали его общества, но, поскольку они были лишены, абсолютно лишены, мадам, вышеупомянутой души, он не мог отвечать на их чувства. Когда же встречаются две созвучные натуры—равно презирающие жалкие помехи, воздвигаемые низменными и вульгарными людьми, и условности, которыми пронизано лицемерное общество,— когда две души сливаются в поэтической гармонии, тогда...— но тут язык полковника, до сего момента изъяснявшегося с известной бойкостью, которой, возможно, способствовало утреннее возлияние, отяжелел, стал заплетаться и понес что-то совершенно нечленораздельное. Но миссис Третерик, видимо, слышала подобные высказывания и раньше и могла без труда восполнить пробелы. Во всяком случае, всю остальную дорогу до дома обращенная к полковнику щечка рдела румянцем стыдливой радости и девического волнения.

Это был очень приятный домик, новенький, выкрашенный в теплые тона и ярко выделявшийся на фоне темных сосен, сомкнутым строем окружавших расчищенный и обнесенный изгородью участок, посреди которого он стоял. Кругом царило полное безмолвие. Казалось, что в этом залитом солнцем домике никто еще не живет, что отсюда только что ушли плотники и маляры. В дальнем углу участка невозмутимо копался китаец — никаких других людей не было видно. Путь, как выразился полковник, действительно был свободен. Миссис Третерик на секунду задержалась в калитке. Полковник хотел было последовать за ней, но она остановила его жестом.

— Приезжайте за мной часа через два — у меня все будет готово,— сказала она, улыбаясь и протягивая ему руку. Полковник схватил ее и пожал с большим жаром. Возможно, что он ощутил легкое ответное пожатие, ибо удалился, выпятив грудь и браво чеканя шаг, насколько это позволяли его широконосые сапоги на толстом каблуке. Когда он ушел, миссис Третерик открыла дверь, мгновение постояла в пустой прихожей, прислушиваясь, и затем быстро взбежала по лестнице в свою бывшую спальню.

Здесь ничто не изменилось с того вечера, когда она отсюда ушла. На туалетном столике стояла короб-

ка из-под шляпки—она помнила, что оставила ее на этом самом месте. На каминной полке лежала забытая ею при бегстве перчатка. Два нижних ящика бюро были приоткрыты — она забыла их задвинуть,— а на мраморной крышке лежала булавка для шали и запачканная манжета. Не знаю, что они ей напомнили, но она вдруг побледнела, задрожала и, взявшись за ручку двери, с бьющимся сердцем прислушалась. Она подошла к зеркалу и со страхом и любопытством раздвинула русые волосы над розовым ушком, где обнаружилась глубокая полузажившая рана. Она долго ее рассматривала, поворачивая головку так и сяк, и от этих манипуляций ее бархатные глаза стали косить гораздо заметнее. Потом она с беззаботным, легкомысленным смешком отвернулась от зеркала и подбежала к шкафу, где висели ее драгоценные платья. Она с беспокойством их перебрала и, не найдя на обычном месте любимого платья из черного шелка, чуть не лишилась чувств от ужаса, но тут же обнаружила его на сундуке, куда сама его бросила в спешке. Тут она, чуть ли не впервые в жизни, от всей души возблагодарила творца, который заботится о беззащитных. Потом, хотя надо было спешить, она не смогла удержаться от искушения приложить к надетому на ней платью бледно-лиловую ленту. Глядя в зеркало, она вдруг услышала у себя за спиной детский голос. Она замерла, а голос повторил:

— Это мама?

Миссис Третерик круто обернулась. В дверях стояла девочка лет шести или семи. Ее платьице, видимо, когда-то было нарядным, но сейчас износилось и запачкалось, а спадавшая на лоб копна ярко-рыжих волос придавала ее лицу серьезно-комическое выражение. При всем том она была премиленькой, и за ее детской робостью проглядывала самостоятельность, присущая детям, которых часто предоставляют самим себе. Под мышкой она держала тряпичную куклу, наверно, сделанную ею самой и ненамного меньше ее размером. У куклы была цилиндрическая голова, на которой углем были нарисованы глаза, нос и рот. Большой платок, видимо, принадлежавший взрослой женщине, спадал с плеч девочки и волочился по полу.

Это зрелище отнюдь не вызвало у миссис Третерик восторга. Возможно, что ей не хватало чувства юмора. Во всяком случае, когда девочка, все еще стоя в дверях, повторила свой вопрос: «Это мама?» — она резко ответила: «Нет!» — и устремила на нее суровый взгляд.

Девочка отступила на шаг. Расстояние добавило ей смелости, и она сказала:

— Тогда уходи, чего ты не уходишь?

Но внимание миссис Третерик было приковано к платку. Резким движением она сдернула его с плеч девочки и сердито крикнула:

— Как ты смеешь брать мои вещи, скверная девчонка?

— Это твой? Тогда ты моя мама, правда! Ты мама! — ликующе воскликнула девочка и, не дав миссис Третерик времени отступить, бросила на пол куклу, ухватилась обеими руками за юбку женщины и стала скакать от радости.

— Как тебя зовут, девочка? — холодно спросила миссис Третерик, отцепляя от своего платья не очень чистые лапки.

— Кэрри. Каролина.

— Каролина?

— Да, Каролина Третерик.

— Чья же ты дочка? — еще более холодным тоном вопросила миссис Третерик, чувствуя, как в душе у нее вдруг поднимается страх.

— Твоя, — с веселым смехом сказала девочка. — Я твоя дочка. А ты моя мама — моя новая мама, а моя старая мама уехала и больше не вернется. Я теперь не живу с моей старой мамой. Я живу с тобой и папой.

— И давно ты здесь живешь? — резко продолжала миссис Третерик.

— Наверно, три дня, — подумав, ответила Кэрри.

— Наверно? А точно ты разве не знаешь? — рассердилась миссис Третерик. — И откуда же ты приехала?

У Кэрри задрожали губы — допрос велся в самом суровом тоне. Сглотнув от усилия, она все же подавила слезы и ответила:

— Папа... папа привез меня от мисс Симмонс из Сакраменто на той неделе.

— На той неделе! А ты только что сказала, что живешь здесь три дня,— сурово уличила ее миссис Третерик.

— Ну да, то есть месяц,— беспомощно поправилась Кэрри, окончательно запутавшись.

— Ну что ты болтаешь? — крикнула миссис Третерик, которую так и подмывало хорошенько встряхнуть стоящую перед ней фигурку и таким образом исторгнуть из нее правду.

Но тут головка девочки вдруг зарылась в складки платья миссис Третерик, словно она пыталась навеки погасить пламенеющий на ней пожар.

— Ну, ну, перестань хныкать,—огорошенно проговорила миссис Третерик, отнимая платье от влажной мордочки.— Вытри глаза и беги играть, а ко мне больше не приставай. Погоди,— сказала она вслед уходящей Кэрри,— а где твой папа?

— Он тоже уехал. Он заболел. Его уже нет,— девочка замялась,— два... три дня.

— Кто же за тобой смотрит? — спросила миссис Третерик, с любопытством разглядывая ребенка.

— Джон-китаец. Одеваюсь я сама, а Джон готовит еду и убирает кровати.

— Ну ладно, иди и веди себя хорошо, а ко мне не приставай,— скомандовала миссис Третерик, вспомнив о цели своего прихода.— Постой, куда ты идешь?— спросила она, увидев, что девочка стала подниматься по лестнице, волоча за ногу куклу.

— Иду наверх играть, и вести себя хорошо, и не приставать к маме.

— Никакая я тебе не мама! — крикнула миссис Третерик, быстро вошла в спальню и захлопнула за собой дверь.

Вытащив из стенного шкафа большой сундук, она стала поспешно укладываться. Движения ее были резкие и раздраженные. Она порвала свое лучшее платье, дернув его с крючка, и два раза укололась о скрытые в складках булавки. И все это время она мысленно изливала негодование по поводу только что сделанного ею открытия. Теперь ей все ясно, говорила она себе. Третерик привез дочь от первой жены — дочь, к которой он раньше не проявлял ни малейшего интереса,— лишь для того, что-

бы ее оскорбить — заполнить ее место. Без сомнения, скоро последует и сама первая жена, а может быть, появится третья. Рыжие волосы — не каштановые, а *рыжие!* — без сомнения, девчонка — эта Каролина — похожа на мать; да, уж хорошенькой ту, наверно, никак не назовешь! А может быть, все это было обдумано заранее, и эту рыжую девчонку — вылитую мать — держали поблизости в Сакраменто, чтобы за ней всегда можно было послать в случае необходимости. Она вспомнила поездки мужа в Сакраменто якобы по делам. Может быть, и мамаша уже туда явилась, хотя нет, она уехала. Тем не менее возмущенной миссис Третерик доставляло удовольствие думать, что та в Сакраменто. Она испытывала какое-то едва осознанное удовлетворение, раздувая в себе гнев. Ни с одной женщиной на свете не поступали так бесчеловечно! Ей представилось, как, одинокая и покинутая, она сидит на закате в печальной, но тем не менее изящной позе среди развалин античного храма, а ее муж уезжает в роскошной карете, запряженной четверкой, и рядом с ним женщина с рыжими волосами. Сидя на упакованном сундуке, она сочинила первые строки преунылого стихотворения, описывающего ее муки: нищая и покинутая, она встречает мужа с «другой», разодетой в шелка и увешанной бриллиантами. Воображение рисовало ей, как она с горя заболевает чахоткой и лежит на смертном одре, изможденная, но все еще обворожительная, все еще вызывающая восхищение во взорах редактора «Эвеланша» и полковника Старботтла. Да, кстати, где же полковник Старботтл, почему он не едет? У него она по крайней мере находит понимание. Он... Тут она опять засмеялась своим легким, беспечным смехом, но вдруг на ее лицо набежала тень.

Что делает наверху эта рыжая обезьянка? Почему ее совсем не слышно? Она бесшумно отворила дверь и прислушалась. Ей показалось, что в хоре шорохов, скрипов и потрескиваний, наполнявших пустой дом, сверху доносилось тоненькое пение. Она вспомнила, что там был чердак, куда складывали всякий ненужный хлам. Немного стыдясь самой себя, она тихонько поднялась по лестнице, приоткрыла дверь и заглянула на чердак.

Косой солнечный луч, проникавший через единственное окошко и заполненный танцующими пылинками, тянулся во всю длину чердака, едва освещая его унылую пустоту. В этом скудном свете она увидела пламенеющую головку, как бы увенчанную оранжевым ореолом. Девочка сидела на полу, держа между колен свою куклу-переростка, и что-то ей говорила. Вслушавшись, миссис Третерик поняла, что она повторяет разговор, происшедший у них полчаса тому назад, сурово допрашивая куклу, сколько времени она тут живет и вообще как измеряется время. Она очень удачно подражала тону миссис Третерик и почти слово в слово воспроизвела весь их разговор — с одним лишь исключением: сообщив кукле под конец, что она ей вовсе не мать, она трогательно добавила, что если та «будет хорошо себя вести — совсем хорошо», то она, так и быть, станет ее мамой и будет ее очень-очень любить.

Я уже отметил, что миссис Третерик не хватало чувства юмора. Возможно, именно по этой причине вся эта сцена произвела на нее весьма тягостное впечатление, а при заключительных словах девочки ее щеки жарко вспыхнули. Во всем этом было что-то невыразимо печальное: пустой, заброшенный чердак, полутьма, чудовищная кукла, сами размеры которой придавали какую-то горестную значимость ее безмолвию, маленькая фигурка, одна, на пыльном полу — все это не могло не задеть чувствительные струны в душе миссис Третерик. Она невольно стала прикидывать, нельзя ли использовать эту сцену для поэтического обобщения, и подумала, что получилась бы неплохая баллада, если бы комната была еще темнее, а ребенок еще более одинок — скажем, если бы девочка сидела у гроба матери, а за окном тоскливо завывал ветер. Вдруг она услышала внизу шаги и узнала поступь полковника Старботтла.

Она сбежала по лестнице и, встретив его в прихожей, немедленно поведала изумленному полковнику — во всех подробностях и не пренебрегая преувеличениями — о сделанном ею открытии и совершенной по отношению к ней чудовищной несправедливости.

— И не говорите мне, что все это не было подстроено заранее — я в этом абсолютно убеждена,— почти кричала она.— И подумайте, как бесчеловечно этот низ-

кий человек поступил со своим собственным ребенком,— добавила она.— Оставить ее здесь совсем одну!

— Черт знает что,— машинально проговорил полковник.

По правде говоря, он совершенно не мог взять в толк, чего она так разволновалась, и, боюсь, показал это с большей очевидностью, чем ему бы хотелось. Он бормотал какие-то бессвязные слова, раздувая грудь, напуская на себя суровый, потом мужественный, потом нежный вид, но все же не мог скрыть своего недоумения. На какой-то миг миссис Третерик даже усомнилась, действительно ли существуют совершенно родственные души, и сердце ее тоскливо сжалось.

— Не уговаривайте меня! — с неожиданным ожесточением произнесла миссис Третерик в ответ на какое-то нечленораздельное замечание полковника, отнимая руку, которую тот, исполненный самого горячего сочувствия, сжимал с большим пылом.— Не уговаривайте меня — я знаю, что сделаю. Можете присылать за моим сундуком, но я останусь здесь и предъявлю этому человеку доказательство его подлости. Пусть-ка попробует отрицать свои гнусные замыслы.

Не знаю, счел ли полковник присутствие собственной дочери Третерика в его собственном доме убедительным доказательством его неверности и коварства. Во всяком случае, он смутно осознал, что из-за неожиданно возникшего препятствия безграничное томление его чувствительной души не разрешится долгожданной гармонией. Но прежде чем он успел что-нибудь сказать, на лестничной площадке появилась Кэрри и устремила на полковника и миссис Третерик робкий и одновременно критический взгляд.

— Вот она,— патетически произнесла миссис Третерик.

— А,— отозвался полковник и вдруг заговорил приторно-сладким и нарочито-шутливым тоном, который совершенно не вязался с его обликом.

— Какая хорошенькая девочка! Как ты поживаешь, хорошенькая девочка? Ничего, да? Не так уж плохо, да, хорошенькая девочка?

Полковник совсем было собрался выпятить грудь и помахать тростью, но вовремя сообразил, что на ребенка

шести-семи лет это, пожалуй, не произведет должного впечатления. Кэрри же не отвечала на его дружественные речи и привела галантного полковника в еще большее замешательство, подбежав к миссис Третерик и спрятавшись от него в складках ее платья. Но полковник не признал себя побежденным. Отступив на шаг, он выразил всей своей позой почтительное восхищение и заявил, что эта картина напоминает ему мадонну с младенцем. Миссис Третерик польщенно заулыбалась и не стала, как раньше, отрывать Кэрри от своего платья. Несколько секунд все молчали, испытывая неловкость, затем миссис Третерик указала ему глазами на ребенка и проговорила вполголоса:

— Вам лучше уйти. Сюда больше не надо приходить — ждите меня вечером в гостинице.

Она протянула полковнику руку, он галантно над ней склонился, приподнял шляпу и ушел.

— Как, Кэрри,—смущенным голосом и вся вспыхнув спросила миссис Третерик, обращаясь к огненным кудрям, едва видневшимся в складках ее платья,— ты будешь себя хорошо вести, если я позволю тебе посидеть со мной?

— И называть тебя мамой?— спросила Кэрри, поднимая голову.

— И называть меня мамой,— согласилась миссис Третерик и смущенно усмехнулась.

— Да,— решительно отозвалась Кэрри.

Они вместе вошли в спальню. Кэрри сразу заметила сундук.

— Ты опять уезжаешь, мама? — спросила она, бросая на нее быстрый, тревожный взгляд и крепче вцепляясь в ее платье.

— Н-нет,— отозвалась миссис Третерик, глядя в окно.

— Ты просто играешь,— весело предположила Кэрри.— Давай я тоже буду играть.

Миссис Т. согласилась. Кэрри побежала в соседнюю комнату и через минуту притащила оттуда маленький сундучок, в который с самым серьезным видом принялась укладывать свои платья. Миссис Т. заметила, что их не так-то много. Она задала девочке вопрос, потом другой и за каких-нибудь полчаса выяснила всю ее предысто-

рию. Для этого миссис Третерик пришлось взять девочку на колени — надо было создать обстановку, располагающую к откровенности. Но и когда миссис Третерик как будто уже утратила интерес к сообщениям Кэрри, они продолжали сидеть в той же позе: Кэрри беззаботно что-то щебетала, а миссис Третерик рассеянно гладила ее огненные кудри.

— Ты не так меня держишь, мама,— наконец сказала Кэрри, ерзая у нее на коленях.

— А как тебя надо держать? — спросила миссис Третерик, отчасти забавляясь, отчасти смущаясь требовательностью ребенка.

— Вот так,— сказала Кэрри, сворачиваясь клубочком, прижавшись щекой к ее груди и обняв ее рукой за шею,— вот так очень хорошо.

Она еще немного повозилась, как укладывающийся спать зверек, закрыла глаза и уснула.

Некоторое время миссис Третерик неподвижно сидела в этой неудобной позе, едва осмеливаясь дышать. Затем — то ли вследствие таинственной симпатии, порожденной прикосновением, то ли бог знает еще почему — ей пришла в голову странная фантазия. Началось с того, что она вспомнила давнюю боль, давний кошмар, который она решительным усилием воли выкинула из памяти и не вспоминала все эти годы. Она вспомнила изнуряющую тошноту и недоверие к людям, гнетущий страх, ожидание того, что необходимо было предотвратить,— что и *было* предотвращено ценой страданий и страха. Она подумала о существе, которое могло бы появиться на свет,— она не осмеливалась сказать себе: «которому она не дала появиться на свет» — какое оно было бы? С тех пор прошло шесть лет: если бы ребенок родился, он был бы сейчас примерно в возрасте Кэрри. Покойно обнимавшие девочку руки задрожали и крепко ее стиснули. И вдруг в душе миссис Третерик что-то перевернулось, не то вздох, не то рыдание вырвалось из ее груди, и она стала прижимать тельце спящего ребенка к груди, к животу, словно хотела схоронить его в могиле, вырытой там несколько лет назад. Затем потрясший ее шквал утих, и за ним последовал — конечно же! — дождь.

Несколько капель упали на волосы Кэрри, и она беспокойно пошевелилась во сне. Но миссис Третерик успо-

коила ее, тихонько покачивая,— как легко ей это было теперь! И они долго еще сидели совершенно тихо и неподвижно, как бы слившись с окружающим безмолвием, медленно угасающим солнечным светом и общим духом одиночества и запустения,— но одиночества, в котором не было безнадежности, сопутствующей старости, упадку или отчаянию.

Полковник Старботтл напрасно прождал в гостинице всю ночь. А когда на следующее утро мистер Третерик вернулся в свои покинутые пенаты, в доме не было ни живой души, и лишь пылинки танцевали в солнечных лучах.

Когда в Фидлтауне стало доподлинно известно, что миссис Третерик убежала, захватив с собой ребенка мистера Третерика, это известие вызвало большое возбуждение и массу разноречивых толков. «Датч-Флет Интеллидженсер» писал о «насильственном похищении» ребенка с той же прямотой и, боюсь, с той же предубежденностью, с какой ранее высказывался о поэтических сочинениях похитительницы. Все женское население города и наиболее неуязвимые представители сильного пола целиком разделяли точку зрения «Интеллидженсера». Остальные же не брались судить, кто тут прав, кто виноват: само то, что миссис Третерик отряхнула желтую пыль Фидлтауна со своих очаровательных ножек, было для них ударом. Они оплакивали не столько проступок похитительницы, сколько потерю ее как таковой. Они отказывались признавать в Третерике оскорбленного мужа и безутешного отца и даже открыто выражали сомнение в искренности его горя. Они заняли позицию иронического сочувствия по отношению к полковнику Старботтлу, одолевая этого достойного джентльмена неуместными изъявлениями соболезнования в пивных, салунах и прочих столь же малоподходящих для прочувствованных бесед местах.

— Она всегда была резвой кобылкой, полковник,— высказался один из сочувствующих, весьма убедительно изобразив на физиономии искреннее огорчение и живое участие,— так что ничего удивительного, что она сбежала сама и увела с собой жеребеночка, но как она могла

сбросить вас — *вас!* — я просто в толк взять не могу. Говорят, вы всю ночь напролет ждали ее в гостинице, и патрулировали коридоры, и бегали вверх-вниз по лестницам, и высматривали ее у подъезда — и все зря!

Другая добрая и участливая душа тоже не преминула пролить бальзам и вино на раны полковника.

— Ребята рассказывают, будто миссис Третерик попросила вас помочь ей переправить сундук вместе с ребенком на омнибусную станцию, и будто там парень, с которым она уехала, поблагодарил вас и дал за труды два доллара и сказал, что вы ему нравитесь и что, если понадобится, он опять обратится к вам за услугами,— так вы говорите, это все неправда? Надо же, пойду тогда скажу ребятам, что это неправда. Хорошо, что я вас спросил, а то чего только люди не придумают!

К счастью, китаец, слуга Третерика, который был единственным свидетелем ее побега, спас репутацию миссис Третерик, заявив, что с ней не было никого, кроме девочки. Он рассказал, что по ее приказанию остановил дилижанс, идущий на Сакраменто, и купил билет ей и девочке до Сан-Франциско. Правда, показания А Фе не имели юридической силы, но ему все поверили. Даже те, которые сомневались в способности этого язычника осознать всю святость Истины, признавали, что для него не было никакого смысла лгать. Однако в этом, как явствует из нижеследующего эпизода сей правдивой хроники, они заблуждались.

Примерно через шесть месяцев после побега миссис Третерик А Фе, работавшего на участке Третерика, окликнули два прохожих китайца. Это были обычные кули, занятые на приисках. Как всегда, они странствовали, сложив свои пожитки в корзины и подвесив их на длинные шесты. Между А Фе и его братьями-монголоидами завязалась оживленная беседа, отличавшаяся той шумной многословностью и кажущейся враждебностью интонаций, которая всегда так смешит и одновременно раздражает представителя цивилизованной европейской расы, не понимающего в ней ни единого слова. Во всяком случае, именно так отнеслись к их языческому лопотанию мистер Третерик, сидевший на веранде дома, и полковник Старботтл, проходивший мимо. Доблестный полковник просто отшвырнул их со своей дороги, а раз-

драженный Третерик, выругавшись, запустил в них камнем, после чего они поспешно разошлись. Но до этого они успели передать А Фе исписанный иероглифами листок желтой рисовой бумаги и небольшой сверток. Открыв последний в полумраке и уединении кухни, А Фе обнаружил там свежевыстиранный, выглаженный и сложенный детский фартучек. В углу был вышит вензель «К. Т.». А Фе засунул фартук себе за пазуху и с улыбкой бесхитростного удовлетворения принялся мыть посуду.

Два дня спустя А Фе сделал своему хозяину следующее заявление:

— Мине не любит Фидлтаун. Мине очень болен. Мине уходит.

Мистер Третерик в ярости назвал место, куда тот может катиться. А Фе посмотрел на него невозмутимым взглядом и удалился.

Однако, прежде чем покинуть Фидлтаун, он случайно встретил полковника Старботтла и сказал ему несколько маловнятных фраз, которые, видимо, сильно заинтересовали этого джентльмена. В заключение беседы полковник вручил ему письмо и золотую монету стоимостью в двадцать долларов. «Если принесешь ответ, получишь еще столько же, ясно?» А Фе кивнул. Столь же случайное и точно так же завершившееся интервью состоялось у него еще с одним джентльменом, который, как я подозреваю, был не кем иным, как молодым редактором «Эвеланша». Однако должен с прискорбием известить читателя, что, едва отойдя от города, А Фе преспокойно сломал печати на обоих письмах и, безуспешно попытавшись прочесть их вверх ногами и боком, в конце концов порвал их на аккуратные квадратики и в таком виде за незначительное вознаграждение передал своему единоплеменнику, которого встретил в пути. Нравственные мучения полковника Старботтла, обнаружившего, что счет из прачечной, доставленный ему вместе с выстиранным бельем, написан на чистой стороне одного такого квадратика, а затем узнавшего, что остальные части его письма тем же способом распространяются по городу из китайской прачечной некоего Фунг Ти, по описаниям очевидцев, являли собой душераздирающее зрелище. Однако я

убежден, что более возвышенные натуры, способные подняться над дешевым юмором этого забавного вероломства, увидят справедливое возмездие в тех невзгодах, которые сопутствовали китайцу в его паломничестве.

По пути в Сакраменто его дважды скидывал с верха омнибуса весьма цивилизованный, но сильно подвыпивший джентльмен, убеждения которого не позволяли ему ехать вместе с представителем расы, известной своим порочным пристрастием к курению опиума. В Хэнгтауне его избил прохожий — просто из христианского усердия. В Датч-Флете у него украли пожитки. В Сакраменто его арестовали по подозрению в том, что он на самом деле кто-то другой, а потом выпустили с суровым внушением, по-видимому, за то, что он таковым не оказался и, следовательно, препятствовал отправлению правосудия. В Сан-Франциско его забросали камнями школьники, но в конце концов, старательно избегая храмов прогресса и просвещения, он, относительно целый и невредимый, добрался до китайского квартала, где ему уже ни от кого не приходилось опасаться обид, кроме как от полисменов, и притом в строгих рамках законности.

На следующий день он поступил на работу в прачечную Чи Фука, и в пятницу хозяин послал его разносить чистое белье заказчикам.

Забрав корзину, А Фе направился по исхлестанной ветром горбатой калифорнийской улочке. День стоял пасмурный — один из тех унылых, серых дней, когда даже наделенному самым живым воображением жителю Сан-Франциско кажется, что это время года лишь по ошибке было названо летом. Ни на земле, ни на небе не было ни тепла, ни красок, ни света, ни тени — все приобрело однообразный, бесцветный тон. Ветер яростно метался по улицам, а серые дома были исполнены какого-то унылого безразличия. Когда А Фе добрался до вершины холма, на который взбегала улица, Миссионерский хребет уже скрылся в тучах и сырой ветер с моря пронизал его до костей. Он опустил на землю корзину, чтобы немного отдохнуть, и возможно, что его недоразвитый ум и языческие понятия помешали ему оценить сей «благословенный климат», как у нас его обычно называют, и он показался ему недостаточно мягким, приятным и ласковым, а может быть, он в сознании А Фе ассоциировался с его

преследователями-школьниками, которые, вырываясь как раз в это время из своего учебного заточения, бывали особенно агрессивны. Так или иначе, но он поспешил дальше и, завернув за угол, наконец остановился перед небольшим домиком.

Это был обычный для Сан-Франциско коттедж. За узкой полоской холодного зеленого кустарника виднелась пустая веранда, по которой гулял ветер, а над ней унылый балкон, где тоже никто не сидел. А Фе позвонил; появилась служанка, окинула взглядом его корзину и неохотно впустила его в дом, словно он был каким-то необходимым домашним животным. А Фе беззвучно поднялся по лестнице, вошел в открытую дверь гостиной, опустил корзину на пол и остановился на пороге.

У окна, через которое проникал холодный серый свет, с ребенком на коленях сидела женщина. Она вяло поднялась и подошла к А Фе. Он сразу узнал миссис Третерик, но ни один мускул на его лице не дрогнул, и в его раскосых глазах ничего не отразилось, когда он невозмутимо встретился с ней взглядом. Она, очевидно, его не узнала и принялась считать белье. Но девочка, вглядевшись в него внимательно, вдруг радостно вскрикнула:

— Это же Джон! Мама, это наш Джон, который был у нас в Фидлтауне!

Глаза и зубы А Фе мгновенно просияли. Девочка захлопала в ладоши и ухватилась за его блузу. Тогда он коротко проговорил:

— Мине Джон, А Фе — все равно. Мине тебя знает. Здравствуй.

Миссис Третерик, нервно вздрогнув, уронила белье и всмотрелась в А Фе. Но если старая привязанность обострила зрение Кэрри, то равнодушному взгляду миссис Третерик он и теперь казался неотличимым от прочих своих соплеменников. Он только напомнил ей об испытанных невзгодах. Охваченная смутным предчувствием новой опасности, она спросила его, когда он уехал из Фидлтауна.

— Давно. Мине не любит Фидлтаун, не любит Третерик. Любит Сан-Фиско. Любит стирать. Любит Кэрри.

Лаконичные высказывания А Фе пришлись по душе миссис Третерик. Она не стала задумываться, насколько впечатление прямоты и искренности объяснялось его не-

достаточным знанием английского языка. Она только сказала: «Не говори никому, что меня видел»,— и достала из кармана кошелек.

Не заглядывая в него, А Фе увидел, что он почти пуст. Не осматриваясь, увидел, что комната обставлена бедно. Безразлично уставившись в пространство, разглядел, что и миссис Третерик и Кэрри одеты плохо. Однако должен сообщить читателю, что длинные пальцы А Фе без промедления и весьма цепко ухватили протянутую ему миссис Третерик монету в полдоллара.

После этого он стал шарить у себя за пазухой, производя при этом весьма странные телодвижения. Через несколько мгновений он извлек откуда-то из глубины детский фартук, который положил на корзину, проговорив:

— Прошлый раз забыла.

И возобновил свои телодвижения. Наконец в результате длительных усилий он извлек — по-видимому, из правого уха — нечто тщательно завернутое в папиросную бумагу. Он осторожно развернул бумагу, и на ладони у него оказались две золотые монеты по двадцать долларов, которые он и вручил миссис Третерик.

— Твоя оставила на бюро в Фидлтауне, мине нашел. Мине принес. Все порядке.

— Но я не оставляла денег на бюро, Джон!— воскликнула миссис Третерик.— Тут какая-то ошибка. Это чьи-то еще деньги. Забери их, Джон.

А Фе нахмурился, отступил от протянутой руки миссис Третерик и поспешно наклонился над корзиной.

— Мине не возьмет. Нет-нет. Мине поймает полисмен и скажет — проклятый вор — украл сорок долларов — идти в тюрьму. Мине не возьмет. Твоя забыла деньги на бюро в Фидлтауне. Мине принес. Обратно не беру.

Миссис Третерик заколебалась. Она уезжала в такой спешке, что действительно могла забыть деньги. Во всяком случае, она не имела права подвергать опасности этого честного китайца, отказываясь от них. Посему она сказала:

— Хорошо, Джон, я оставлю их у себя. А ты приходи к нам в гости, ко мне,— тут ее впервые в жизни осенило, что мужчина может захотеть увидеть не ее, а кого-нибудь другого,— и к Кэрри.

Лицо А Фе посветлело. Он даже издал короткий чревовещательский смешок, не шевеля губами. Затем он вскинул на плечо корзину, осторожно притворил за собой дверь и бесшумно спустился по лестнице. Однако, оказавшись в передней, он странным образом не сумел открыть дверь наружу и, повозившись минуту с замком, стал оглядываться, кто бы ему мог помочь. Но служанка, которая его впустила, не подозревая о его затруднениях и вообще забыв о его существовании, скрывалась где-то в глубине дома.

И тут произошел таинственный и прискорбный инцидент, о котором я просто поведаю читателю, не пытаясь его объяснить. На столе в прихожей лежал шарф, видимо, принадлежавший вышеупомянутой служанке. Пока А Фе одной рукой крутил замок, другая его рука опиралась на стол. И вдруг словно по собственной воле шарф стал подползать к руке А Фе, а затем медленным змееподобным движением вползать ему в рукав. Вскоре он полностью исчез где-то в глубине его блузы. Не выказав ни малейшего интереса или беспокойства по этому поводу, А Фе продолжал возиться с замком. Минуту спустя покрывавшая стол скатерть красной камчи под действием той же таинственной силы медленно собралась под пальцы А Фе и, извиваясь, скрылась тем же маршрутом. Не знаю, какие бы еще последовали таинственные происшествия, но в это время А Фе наконец раскрыл секрет замка и отворил дверь — одновременно со звуком шагов на лестнице, ведущей в кухню. А Фе не проявил никакой поспешности, но неторопливо взвалил на плечи корзину, старательно притворил за собой дверь и двинулся в густой туман, который к тому времени окутал небо и землю.

Миссис Третерик смотрела ему вслед из окна, пока он не скрылся в серой мгле. Измученная одиночеством последних месяцев, она была переполнена к нему горячей благодарностью и, если и заметила, что грудь его несколько раздалась, а живот выпятился, то, наверное, приписала это распиравшим его благородным чувствам и сознанию исполненного долга, не подозревая о скрытых под блузой шарфе и скатерти. Ибо миссис Третерик оставалась верной своей поэтически-чувствительной натуре. Когда туман сгустился в сумерки, она привлекла к себе Кэр-

ри и, не вслушиваясь в ее болтовню, погрузилась в сентиментальные и приятные воспоминания, которые были в ее теперешнем положении и горьки и опасны. Неожиданное появление А Фе как бы перекинуло мостик в прошлое. Она мысленно повторяла проделанный с тех пор печальный путь, заново переживая все его огорчения, трудности и разочарования, и не приходится удивляться порыву Кэрри, которая вдруг на полуслове прекратила свою болтовню, обняла ее ручонками за шею и стала уговаривать перестать плакать.

Упаси бог, чтобы этим самым пером, предназначенным лишь для утверждения нравственных устоев, я попытался изложить взгляды самой миссис Третерик на события этих месяцев, ее жалкие оправдания, нелогичные выводы, избитые извинения и неубедительные резоны. Но как бы то ни было, ей, по-видимому, пришлось несладко. Ее незначительные средства вскоре иссякли. В Сакраменто она убедилась, что стихи, может быть, и пробуждают благороднейшие чувства в человеческой душе и удостаиваются высочайших похвал редакторов на страницах их изданий, но отнюдь не могут обеспечить сносное существование для нее и Кэрри. Тогда она попытала счастья на подмостках сцены, но потерпела здесь полное фиаско. Возможно, что она представляла себе человеческие страсти несколько иначе, чем публика Сакраменто, но, во всяком случае, ее очарование, оказывавшее столь могучее действие на небольшом расстоянии, много теряло в огнях рампы. У нее нашлось сколько угодно закулисных почитателей, но у широкой аудитории она не заслужила популярности. Тогда она вспомнила, что у нее неплохой голос — не очень сильное и не очень хорошо поставленное, но чистое и трогательное контральто,— и ей удалось получить место в церковном хоре. Там она продержалась три месяца, значительно поправив свои денежные дела и, по слухам, доставив немало приятных минут сидящим в последних рядах джентльменам, которые неотрывно любовались ею во время исполнения псалмов.

Как сейчас вижу ее в церкви. Косые лучи света, проникавшие на хоры, нежно высвечивали ее очаровательную головку с зачесанной наверх массой светло-каштановых волос, оттеняя черные дуги бровей и бахрому рес-

ниц над глазами генуэзского бархата. Было очень приятно смотреть, как открывается и закрывается ее маленький ротик, обнажая ровные, белые зубы, и как под вашим взглядом ее атласная щечка загорается тщеславным румянцем. Ибо миссис Третерик всегда очаровательно розовела под восхищенными взглядами и, как большинство хорошеньких женщин, вся собиралась, словно пришпоренная лошадь.

А затем, естественно, начались неприятности. Исполнительница партии сопрано, отличавшаяся даже бо́льшей беспристрастностью суждений, нежели свойственно ее полу, поведала мне, что миссис Третерик ведет себя просто бесстыдно; что она бог знает что о себе понимает; что если она считает остальных хористов своими рабами, то пусть посмеет сказать об этом ей, сопрано, прямо в глаза; что ее перемигивание с басом на пасхальное воскресенье привлекло к себе внимание всех прихожан и что она сама заметила, как доктор Коуп дважды в течение службы поглядел на хоры; что ее, сопрано, друзья не хотели, чтобы она пела в одном хоре с особой, которая выступала на подмостках, но она не стала их слушать. Однако она узнала от верных людей, что миссис Третерик убежала от мужа и что эта рыжая девочка, которая иногда приходит в церковь, не ее родная дочь. Тенор, отозвав меня за орган, доверительно сообщил мне, что миссис Третерик часто затягивает заключительную ноту, стремясь обратить на себя внимание молящихся и тем обнаруживая шаткость своих моральных устоев; что его мужское достоинство — в будни он служил клерком в галантерейном магазине и пользовался большой популярностью у покупательниц, а по воскресеньям усердно пел в хоре, издавая звуки, по всей видимости, бровями,— что его мужское достоинство, сэр, не позволяет ему этого больше терпеть. Один лишь бас, приземистый немец с густым голосом, обладание которым его, казалось, только обременяло и даже удручало, вступился за миссис Третерик и заявил, что все они ей завидуют, потому что она такая «красотка». Все эти взаимные неудовольствия завершились открытой ссорой, во время которой миссис Третерик выражалась столь точно и красочно, что сопрано в конце концов разразилась истерическими рыданиями и покинула поле битвы, ведомая под руку мужем и те-

нором. Отсутствие обычной партии сопрано было, как и предполагалось, замечено прихожанами, и происшествие стало достоянием гласности. Миссис Третерик отправилась домой, торжествуя победу, но, оказавшись у себя в комнате, с отчаянием оповестила Кэрри, что они теперь нищие, что она — ее мать — только что отняла кусок хлеба у своей ненаглядной дочурки, и в заключение разразилась слезами раскаяния. Это были не прежние легкие слезы поэтического умиления и грусти, а жгучие слезы подлинного горя. Но тут служанка объявила о приходе ризничего — члена церковного музыкального комитета, который явился с официальным визитом. Миссис Третерик вытерла свои длинные ресницы, приколола к платью новую ленточку и пошла в гостиную. Она пробыла там два часа, что могло бы показаться подозрительным, если бы ризничий не был женат и не имел взрослых дочерей. Вернувшись к себе, миссис Третерик, напевая, повертелась перед зеркалом и выбранила Кэрри. Место в хоре осталось за ней.

Но ненадолго. В скором времени силы ее врагов получили могучее подкрепление в лице жены ризничего. Эта дама нанесла визиты нескольким наиболее влиятельным членам музыкального комитета и супруге доктора Коупа. В результате на очередном заседании комитета было решено, что голос миссис Третерик недостаточно силен для просторного здания церкви, и ей предложили уйти. Она повиновалась. К тому времени, когда на нее неожиданно свалились сокровища А Фе, она была без работы уже два месяца и ее скудные средства почти полностью иссякли.

Серый туман сгустился в черноту ночи, вспыхнули мерцающие огни уличных фонарей, а миссис Третерик, погруженная в свои невеселые воспоминания, все еще недвижно сидела у окна. Она даже не заметила, как Кэрри соскользнула с ее колен и вышла из комнаты, и лишь когда девочка вбежала с еще влажной вечерней газетой в руках, миссис Третерик очнулась и обратилась мыслями к настоящему. За последнее время она усвоила привычку проглядывать отдел объявлений в слабой надежде найти себе какое-нибудь подходящее занятие — какое именно, она себе не представляла,— и Кэрри заметила эту привычку.

Миссис Третерик машинально закрыла ставни, зажгла свет и развернула газету. Ее взор упал на следующее сообщение:

«Фидлтаун, 7-е. Вчера вечером скончался от белой горячки старожил города мистер Джеймс Третерик. Мистер Третерик был склонен к злоупотреблению спиртными напитками — как говорят, вследствие неудачно сложившейся семейной жизни».

Миссис Третерик не вздрогнула. Она спокойно перевернула страницу и взглянула на Кэрри. Девочка сосредоточенно рассматривала книжку. Миссис Третерик ничего не сказала, но весь вечер была непривычно молчалива и холодна. Когда Кэрри уже легла спать, миссис Третерик вдруг упала на колени рядом с ее кроваткой и, взяв в ладони огненную головку девочки, спросила:

— Хочешь, чтоб у тебя был новый папа, детка?

— Нет,— ответила Кэрри после секундного размышления.

— Но если будет папа, мама сможет лучше о тебе заботиться — любить тебя, покупать тебе красивые платьица, дать тебе хорошее воспитание.

Кэрри посмотрела на нее сонными глазами.

— А тебе он нужен, мама?

Миссис Третерик вдруг покраснела до корней волос и, резко сказав: «Спи!»— отошла от кроватки.

Но около полуночи две белые руки крепко обвили ребенка и привлекли его к груди, которая судорожно вздымалась и опускалась, разрываемая рыданиями.

— Не плачь, мама,— прошептала Кэрри, смутно припомнив вечерний разговор.— Не плачь. Пусть будет новый папа, но только если он будет тебя очень любить — очень-очень!

Месяц спустя, ко всеобщему изумлению, миссис Третерик вышла замуж. Счастливым избранником оказался некто полковник Старботтл, недавно избранный от округа Калаверас в законодательное собрание штата. Не надеясь живописать это событие более изящным слогом, нежели корреспондент «Сакраменто Глоуб», я позволю себе привести некоторые из его изысканных периодов: «Безжалостные стрелы лукавого бога настигли еще одно-

го из наших славных солонов. Последней «жертвой» пал досточтимый А. Старботтл из графства Калаверас, пораженный чарами прелестной вдовы, в прошлом служительницы Мельпомены. Последнее время она пела в хоре одной из наиболее модных церквей Сан-Франциско, высоко оплачивавшей заслуги этой пленительной святой Цецилии».

«Датч-Флет Интеллидженсер», однако, позволил себе высказаться по этому поводу в юмористически-развязном тоне, который характерен для независимой прессы: «Новый демократический воитель от Калавераса недавно предложил законодательному собранию небольшой билль, в котором настаивает на замене фамилии Третерик на Старботтл. В Сан-Франциско этот документ называют свидетельством о браке. Со времени кончины мистера Третерика прошел всего месяц, но, видимо, мужественный полковник не боится привидений».

Справедливость требует признать, что полковнику стоило немалого труда добиться руки миссис Третерик. Мало того, что ему пришлось преодолевать естественную застенчивость дамы своего сердца,—на его пути еще встал соперник. Это был состоятельный гробовщик из Сакраменто, который влюбился в миссис Третерик, увидев ее в театре и в церкви, поскольку по роду занятий был лишен повседневного и непринужденного общения с прекрасным полом и вообще встречался с дамами лишь в самой официальной обстановке. Сей джентльмен нажил неплохое состояние во время весьма кстати разразившейся в Сан-Франциско жестокой эпидемии, и полковник считал его опасным соперником. К счастью, однако, похоронных дел мастеру пришлось снаряжать в последний путь некоего сенатора, коллегу полковника, от чьей меткой пули на поединке чести тот и пал; и гробовщик, то ли из соображений личной своей безопасности, то ли, мудро рассудив, как полезны для него и впредь будут услуги полковника, уступил ему дорогу.

Медовый месяц продолжался недолго и был оборван весьма прискорбным инцидентом. На время свадебного путешествия Кэрри поручили заботам сестры полковника. Вернувшись домой в Сан-Франциско, миссис Старботтл заявила, что она сейчас же пойдет к миссис Кульпеппер за девочкой. Полковник, и до этого проявлявший

признаки некоторого беспокойства, которое он старался подавить многократными возлияниями, застегнул сюртук на все пуговицы и, несколько раз пройдясь нетвердой поступью взад и вперед по комнате, вдруг заговорил самым внушительным тоном, на какой был способен.

— Я медлил,—произнес полковник с напыщенностью, усугублявшейся скрытым страхом и нарастающей неразборчивостью речи,— я медлил, в смысле, я не спешил с сообщением, которое мой долг повелевает вам сделать. Я не хотел затмевать сияние вжаимного счастья, глушить расцветающее чувство, омрачать шупружеский небошклон неприятными ижвештиями. Но теперь мне придетша это шделать, черт побери, мэм, никуда не денешьша. Ребенка увезли.

— Увезли? — переспросила миссис Старботтл.

В тоне ее голоса, во внезапно сузившихся зрачках было нечто такое, отчего полковник чуть не протрезвел и частично выпустил воздух из груди.

— Счас я вшё объяшню,— заторопился он, успокаивающе подняв руку,— вшё объяшню. То горештное шобытие, которое шделало вожмошным наше шаштье, которое ошвободило вас от брачных уз — ошвободило и ребенка— понимаете?— ребенка тоже. Как только Третерик умер, ваши права на ребенка умерли тоже. Таков жакон. Чей это ребенок? Третерика? Третерик умер. Ребенок не нужен покойнику. Жа каким чертом ребенок покойнику? Это ваш ребенок? Нет. Чей же тогда? Ребенок принадлежит швоей матери. Понятно?

— Где она? — вся побелев, спросила миссис Старботтл очень тихим голосом.

— Я объяшню. Ребенок принадлежит швоей матери. Таков жакон. Я юришт, жаконодатель, американский гражданин. Как юришт, жаконодатель и американский гражданин, я обяжан любой ценой вернуть ребенка штрадающей матери — любой ценой.

— Где она? — повторила миссис Старботтл, впившись глазами в лицо полковника.

— Поехала к матери. Летит ш попутным ветром в объятия штрадающей родительницы. Ражве неправильно?

Миссис Старботтл словно онемела. Полковник чувствовал, что его грудь опадает все ниже, но, опершись о кресло, устремил на нее взор, в котором попытался сочетать рыцарскую галантность с судейской твердостью.

— Ваши чувштва, мэм, делают чешть вашему полу, но подумайте шами. Подумайте, каково бедной матери, подумайте, каково мне! — Полковник помолчал, прижав к глазам белоснежный платок, потом небрежно сунул его в нагрудный карман и нежно улыбнулся сидевшей перед ним женщине.— Зачем нам, чтоб черная тень омрачала шастье двух любящих шердец? Это хорошая девочка, шлавная девочка, но *чужая* девочка. Девочки нет, Клара, но не в ней же шастье. У тебя ведь ешть я, дорогая!

Миссис Старботтл вскочила на ноги.

— Вы! — вскричала она голосом, от которого зазвенела люстра.— Вы, за которого я вышла лишь для того, чтоб моя крошка ни в чем не нуждалась. Вы! Пес, которому я свистнула, чтоб он охранял меня от мужчин! *Вы!*

Захлебнувшись гневом, она метнулась мимо него в комнату, где раньше жила Кэрри, потом — опять мимо него — пронеслась в свою спальню, затем вернулась и, грозно выпрямившись, предстала перед ним; ее лицо пылало, дуги бровей распрямились, губы сжались в тонкую линию, челюсть выпятилась вперед, и вся голова как-то по-змеиному сплющилась.

— Слушайте, вы! — проговорила она сиплым фальцетом.— Слушайте, что я вам скажу. Если вы хотите меня когда-нибудь еще увидеть, отыщите ребенка. Если вы хотите, чтоб я когда-нибудь стала с вами разговаривать, разрешила вам к себе прикоснуться,— верните девочку. Ибо я буду там, где она,— слышите? Ищите меня там, куда вы отправили ее!

И, тряхнув руками, словно сбросив с них воображаемые оковы, она опять метнулась мимо него в свою спальню, захлопнула за собой дверь и повернула в ней ключ. Полковник Старботтл, вовсе не отличавшийся трусостью, оцепенел от страха при виде этой взбешенной фурии и, отшатнувшись, когда она в последний раз пронеслась мимо него, потерял свое неустойчивое равновесие и беспомощно опрокинулся на диван. После нескольких не-

удачных попыток подняться он так и остался на нем лежать, время от времени издавая негодующие, но не совсем вразумительные проклятия, и в конце концов, изнуренный эмоциями и побежденный неумеренными возлияниями, заснул.

Тем временем миссис Старботтл с лихорадочной поспешностью укладывала вещи и подсчитывала свои ценности — как ей уже однажды пришлось делать на протяжении этой необычайной хроники. Возможно, что она тоже вспомнила прошлое, ибо вдруг остановилась посреди комнаты и прижала к горящим щекам руки, словно увидев в дверях маленькую фигурку и услышав детский голос: «Это мама?» При этом воспоминании ее сердце сжалось от боли, и она прогнала его резким страстным жестом, смахнув рукой с глаз слезу. Но через некоторое время ей попалась среди вещей детская сандалия с оборванным ремешком. При виде нее она вскрикнула — впервые за все время,— прижала сандалию к груди и стала покрывать ее поцелуями и качать, как женщины качают младенцев. Потом она подошла к окну, чтобы лучше ее рассмотреть сквозь слезы, которые теперь уже градом катились у нее из глаз. Тут у нее начался внезапный приступ кашля, который она никак не могла остановить, даже прижав к воспаленным губам носовой платок. И вдруг она вся ослабела, и ей показалось, что окно уплывает от нее, а пол уходит из-под ног; неверными шагами она добралась до постели и упала на нее ничком, все еще прижимая к груди сандалию, а ко рту носовой платок. Ее лицо страшно побледнело, под глазами обозначились черные круги, а на губах появилась красная капля; такое же пятно было на носовом платке и на белом покрывале постели.

Поднявшийся ветер сотрясал оконные рамы и развевал занавеси, как белые одежды на призраке. Потом он утих, и по крышам стал стлаться серый туман, сглаживая выбитые ветром шероховатости и накидывая на все покров полумрака и бесконечной умиротворенности. Миссис Старботтл неподвижно лежала на кровати — все еще очень красивая женщина, несмотря на постигшие ее горести. А с другой стороны запертой двери спокойно храпел на своем временном ложе доблестный молодожен.

За неделю до рождества 1870 года в Генуе, небольшом городке в штате Нью-Йорк, бушевала жестокая метель, с особой выразительностью подчеркивая горькую иронию названия, данного ему основателями в честь изнеженной итальянской столицы. Она намела сугробы за каждым кустом, забором и телеграфным столбом, кружила снежные вихри среди нелепых деревянных дорических колонн почты и гостиницы, билась в холодные зеленые ставни лучших домов города и посыпала белой пылью темные угловатые фигуры пробиравшихся по улицам прохожих. В мутном небе маячили силуэты четырех основных церквей города, хотя их безобразные шпили были милосердно скрыты от взоров низко нависшими тучами. Стоявшая неподалеку от железнодорожной станции методическая часовня, к главному входу которой вел пирамидообразный ряд ступеней, сильно напоминала гигантский локомотив с решеткой впереди и, казалось, только и ждала, когда к ней прицепят еще несколько домов, чтобы отправиться на поиски более гостеприимного места.

А на возвышающемся над главной улицей унылом Парнасе откровенно протянул свои голые кирпичные стены и вознес свой купол знаменитый институт Краммера для благородных девиц. Это полезное учреждение—гордость Генуи—не пыталось скрывать свое лицо. Любой посетитель на его пороге или хорошенькая рожица, выглянувшая в окошко, великолепно просматривались с любого места города.

Свисток четырехчасового экспресса в этот день не привлек на станцию обычной толпы зевак. С поезда сошел лишь один пассажир, которого единственный дожидавшийся у вокзала извозчик увез в направлении «Отеля Генуя». Затем поезд отправился дальше по назначению, как и все экспрессы, глубоко безразличный к человеческим делам и человеческому любопытству, единственную багажную тележку поставили на место, и начальник станции запер двери и пошел домой.

Однако свисток локомотива заставил виновато встрепенуться трех воспитанниц института Краммера, которые тайком лакомились сластями в кондитерской миссис Филлипс на окраине городка. Ибо даже образцовые правила института не могли полностью обуздать физическую и

духовную природу его питомиц; они соблюдали в обществе похвальную умеренность в пище, но втихомолку объедались вкуснейшими изделиями местной кондитерши; они с отменным прилежанием посещали церковь, но во время службы беззастенчиво флиртовали с местными кавалерами; они усердно поглощали разнообразные полезные сведения на уроках, а в перерывах зачитывались самыми низкопробными романами. В результате получались вполне здоровые, нормальные и в высшей степени привлекательные молодые особы, которые делали честь этому достойному учебному заведению. Даже миссис Филлипс, которой они задолжали значительные суммы, зараженная их юной жизнерадостностью, неоднократно заявляла, что молодеет в обществе «этих козочек», и не раз их выгораживала, бессовестно кривя душой.

— Девочки, четыре часа! Если мы опоздаем на пятичасовую молитву, нас хватятся,—воскликнула, поднимаясь с места, самая высокая из этих беспечных дев, наделенная орлиным носом и уверенной манерой вожака.— Ты взяла книжки, Эдди?— Эдди отвернула полу накидки, где обнаружились три разнузданно-пухлых романа.— А пакет, Кэрри?— Кэрри показала подозрительного вида пакет — видимо, с изделиями миссис Филлипс,— едва помещавшийся в кармане ее пальто.— Ну ладно, тогда пошли. Запишите на мой счет,— сказала она хозяйке заведения, направляясь к дверям.— Я заплачу, когда мне пришлют деньги за следующие три месяца.

— Дай я заплачу, Кэт,— возразила Кэрри, вынимая кошелек,— моя очередь.

— Ни в коем случае,— заявила Кэт, высокомерно поднимая черные брови.— Мне нет дела, что у тебя богатые родственники в Калифорнии, которые тебе без конца шлют деньги. Ни за что! Пошли, девочки,— марш!

Когда они открыли дверь, порыв ветра чуть не сбил их с ног. Добросердечная миссис Филлипс перепугалась.

— Господи боже мой, да куда же вы пойдете в такую вьюгу! Давайте лучше я пошлю в институт сказать, что вы здесь, и положу вас спать у себя в гостиной.

Но ее последние слова потонули в дружном визге девушек, которые, взявшись за руки, сбежали с крыльца в метель и тут же затерялись в снежном вихре.

Короткий декабрьский день, не увидевший даже закатного багрянца, быстро угасал. Было уже почти темно, да к тому же еще густо мел снег. Некоторое время молодость, жизнерадостность и даже сама неопытность поддерживали в тройке проказниц бодрое настроение, но, неразумно решив пойти прямиком через поле, они быстро устали, смех стал звучать все реже, а на карие глаза Кэрри навернулись слезы. К тому времени, когда они снова выбрались на дорогу, силы их были на исходе.

— Пошли назад,— предложила Кэрри.

— Нам это поле ни за что еще раз не перейти,— отозвалась Эдди.

— Тогда давайте зайдем в первый же дом,— сказала Кэрри.

— Первым будет дом сквайра Робинсона,— проговорила Эдди, вглядываясь в быстро сгущающуюся мглу. И она метнула на Кэрри лукавый взгляд, от которого та, несмотря на всю свою усталость и страх, густо покраснела.

— Ну да, ну да,— с мрачной иронией отозвалась Кэт,— конечно, давайте зайдем в дом сквайра Робинсона, отчего же нет? Они нас пригласят к чаю, а потом твой драгоценный Гарри отвезет нас в институт и передаст официальные извинения миссис Робинсон и просьбу снисходительно отнестись к нашему проступку. Нет уж,— с внезапным приливом энергии заключила Кэт,— вы как хотите, а я вернусь тем же путем, каким ушла,— через окно — и никак иначе!

Затем она, как коршун, набросилась на Кэрри, которая явно собиралась усесться в сугроб и удариться в слезы, и решительно ее встряхнула: — Смотри еще не засни! Стойте, помолчите все. Что это?

Это был звон колокольчиков. Из темноты показались сани, в которых сидел всего один человек.

— Присядьте, девочки. Если это кто-нибудь знакомый, мы пропали.

Но страхи были напрасны—совершенно им незнакомый, но очень располагающий голос осведомился, не нужно ли им чем-нибудь помочь. Голос принадлежал человеку, закутанному в дорогую котиковую шубу, на голове у него была котиковая шапка, а лицо полузакрыто воротником из того же меха; видны были только длинные усы и живые темные глаза.

— Это сын Санта Клауса,— прошептала Эдди.

Приглушенно хихикая, девушки забрались в сани. К ним вернулось их прежнее веселое настроение.

— Куда вас отвезти?—спокойно спросил незнакомец.

Девушки торопливо посовещались шепотом, затем Кэт решительно сказала:

— В институт.

В гору они ехали молча, но когда перед ними замаячило длинное аскетическое здание, незнакомец вдруг натянул вожжи.

— Вы знаете дорогу лучше меня. Где вам лучше войти?

— Через заднее окно,— со сногсшибательной откровенностью выпалила Кэт.

— Ясно,— невозмутимо отозвался незнакомец и, выйдя из саней, снял с лошадей колокольчики.

— Так мы сможем подъехать совсем близко,— объяснил он.

— Он определенно сын Санта Клауса,— прошептала Эдди,— может, спросим, как поживает его батюшка?

— Тише,—цыкнула на нее Кэт,—по-моему, он ангел.

И с очаровательной женской непоследовательностью, которая, однако, была прекрасно понята ее товарками, добавила:

— А мы на что похожи — три страшилища!

Осторожно объехав забор, они наконец остановились у темной стены. Незнакомец помог пассажиркам выйти из саней. От снега еще исходил рассеянный свет, и, по очереди опираясь на его руку, каждая из его юных попутчиц чувствовала на себе внимательный, хотя и чрезвычайно почтительный взгляд. Сохраняя полную серьезность, он помог им открыть окно и затем скромно отошел к саням, чтобы не смущать их своим присутствием, пока они—не без труда и некоторого ущерба приличиям — забирались в окно. Затем он подошел ближе.

— Спасибо! Доброй ночи!— прошептали три голоса. Одна фигурка задержалась у окна. Незнакомец перегнулся через подоконник.

— Вы позволите мне зажечь здесь сигару? А то снаружи кто-нибудь может заметить огонь.

Свет спички весьма выгодно обрисовал Кэт в раме окна. Спичка медленно догорела у него в руке. Кэт лукаво

усмехнулась. Эта проницательная молодая особа прекрасно разгадала его жалкую уловку. Недаром же она была первой ученицей в классе, и недаром обожающие ее родители три года платили за ее обучение!

На следующее утро метель прошла и солнце весело освещало восточную классную комнату, где шел урок декламации. Сидевшая у самого окна мисс Кэт вдруг театральным жестом прижала руку к сердцу и, изобразив страшное волнение, упала на плечо своей соседки Кэрри.

— Это он! — проговорила она трагическим шепотом.

— Кто? — простодушно спросила Кэрри, которая никогда не могла разобраться, говорит Кэт всерьез или шутит.

— Как кто! Тот человек, который спас нас вчера вечером. Он только что подъехал. Помолчи минутку, дай мне немного успокоиться. Ну вот, мне уже лучше,— сказала бессовестная лицемерка, с изнемогающим видом проведя рукой по лбу.

— Интересно, что ему здесь нужно? — с любопытством спросила Кэрри.

— Откуда мне знать?— ответила Кэт, вдруг впадая в мрачный цинизм.— Может, хочет определить в институт своих пятерых дочерей. А может, подучить свою молодую жену и предостеречь ее, чтоб она не была такая, как мы.

— Он вовсе не показался мне старым, и непохоже, чтобы он был женат,— задумчиво отозвалась Эдди.

— Это все притворство, несчастная,— презрительно воскликнула Кэт,— мужчины — ужасные обманщики! Видно, такая уж моя судьба!

— Но почему же, Кэт?— озабоченно возразила Кэрри.

— Тише, мисс Уокер что-то нам говорит,— смеясь остановила ее Кэт.

— Прошу внимания,— произнес медленный бесстрастный голос.— Мисс Кэрри Третерик просят пройти в приемную.

Тем временем мистер Джек Принс, как он представился достопочтенному мистеру Краммеру, вручив ему визитную карточку и разнообразные письма и рекомендации, расхаживал по довольно мрачному залу, официально

именуемому «приемной» и известному среди воспитанниц как «чистилище». Его наблюдательный взор уже отметил разнообразные элементы строгой обстановки — от похожего на покрытую черным лаком огромную вафлю плоского парового радиатора, обогревавшего один конец комнаты, до монументального бюста доктора Краммера, безнадежно студившего другой; от молитвы «Отче наш», начертанной бывшим преподавателем чистописания с таким изобилием каллиграфических завитушек, что они в значительной степени умаляли действие сего серьезного сочинения на молодые умы, до трех видов Генуи с институтского холма, которые были запечатлены с натуры учителем рисования и которые никто никогда не узнавал; от двух раскрашенных текстов из Библии, выполненных готическим шрифтом в столь мрачно-холодном духе, что он замораживал всякий живой интерес, до большой фотографии выпускного класса, на которой даже самые хорошенькие девушки напоминали цветом лица эфиопок и, по-видимому, сидели друг у друга на головах и плечах; он рассеянно перелистал школьные проспекты, «Проповеди» доктора Краммера, «Поэмы» Генри Кирка Уайта, «Сборники псалмов», «Жизнь замечательных женщин», представил себе в своем весьма живом воображении, сколько в этом зале, наверно, произошло встреч и прощаний, и задумался, почему при всем том в нем не осталось ни следа человеческого тепла,—в общем, боюсь, что он уже почти забыл о цели своего визита, когда отворилась дверь и перед ним предстала Кэрри Третерик.

Хотя он узнал в ней одну из своих вчерашних пассажирок и она даже показалась ему красивее, чем прошлым вечером, он тем не менее ощутил какое-то беспричинное разочарование. У нее были пышные вьющиеся волосы цвета червонного золота, необыкновенно нежная кожа, напоминавшая лепестки цветов, и глаза цвета морской травы под водой. В общем, ее внешность не давала никаких поводов к разочарованию.

Хотя и не наделенная его способностью ощущать производимое впечатление, Кэрри почему-то тоже почувствовала неловкость. Перед ней был, как выразилось бы большинство представительниц ее пола, «приятный муж-

чина», то есть отвечающий обычным требованиям, предъявляемым к одежде, манерам и внешности. Но все же в нем явно чувствовалось что-то необычное: никого, хоть сколько-нибудь на него похожего, Кэрри еще не приходилось встречать, и поскольку оригинальность одних привлекает, а других отпугивает, он ей не особенно понравился.

— Я не смею надеяться,— непринужденно заговорил он,— что вы меня вспомните. Мы встречались одиннадцать лет тому назад, и вы тогда были совсем маленькой девочкой. Я даже не могу похвастаться, что между нами существовали хотя бы те дружеские отношения, которые возможны между шестилетним ребенком и двадцатидвухлетним молодым человеком. Я тогда не любил детей. Но я очень хорошо знал вашу мать. Когда она увезла вас в Сан-Франциско, я был редактором газеты «Эвеланш» в Фидлтауне.

— Вы хотите сказать, мою мачеху — она ведь не была моей родной матерью,— поспешно перебила его Кэрри.

Мистер Принс бросил на нее испытующий взгляд.

— Да, я хочу сказать, вашу мачеху,— серьезно подтвердил он.— Я не имею удовольствия быть знакомым с вашей матушкой.

— Конечно, нет, *мама* вот уже двенадцать лет как не бывала в Калифорнии.

Нарочитое ударение на слове *мама* неприятно поразило мистера Принса.

— Поскольку я сейчас приехал к вам по поручению вашей мачехи,— продолжал он, слегка усмехнувшись,— прошу вас на минуту мысленно вернуться к событиям тех лет. После смерти вашего отца ваша мать — я хочу сказать, мачеха — признала, что по справедливости, а также по закону права на вас принадлежат вашей родной матери, первой жене мистера Третерика, и передала ей вас на воспитание, хотя она была к вам очень привязана и ей было совсем не легко с вами расстаться.

— Мачеха вышла замуж через месяц после смерти отца и тут же отослала меня домой,— вызывающе заявила Кэрри, слегка тряхнув головой.

Мистер Принс улыбнулся столь располагающей и как будто даже сочувственной улыбкой, что Кэрри почув-

ствовала к нему больше расположения, и продолжал, словно не заметив ее последних слов:

— Осуществив этот акт элементарной справедливости, ваша мачеха обязалась нести расходы по вашему воспитанию до тех пор, пока вам не исполнится восемнадцать лет, когда вам будет предложено самой выбрать, кто из них двоих будет вашей опекуншей и с кем вы захотите жить. Как я понимаю, вы знаете об этом соглашении и оно даже было заключено с вашего согласия.

— Я тогда была совсем ребенком,— сказала Кэрри.

— Совершенно верно,— с той же улыбкой отозвался мистер Принс,—но, по-моему, его условия не были обременительными ни для вас, ни для вашей матушки и могут представить для вас затруднение разве что в тот момент, когда вам надо будет сделать окончательный выбор. Это должно произойти в день вашего восемнадцатилетия — то есть двадцатого числа сего месяца.

Кэрри молчала.

— Не думайте только, что я приехал затем, чтобы выслушать ваше решение — даже если вы его уже приняли. Я просто хочу сообщить вам, что ваша мачеха, миссис Старботтл, завтра приедет сюда и несколько дней проживет в гостинице. Если вы захотите ее увидеть, прежде чем принять окончательное решение, она будет очень рада с вами встретиться. Но она отнюдь не намерена как-нибудь влиять на ваш выбор.

— А мама знает о ее приезде?—торопливо спросила Кэрри.

— Не знаю,— с глубокой серьезностью ответил Принс.—Мне только известно, что, если вы захотите увидеться с миссис Старботтл, вам надо получить на это разрешение вашей матушки. Миссис Старботтл будет свято соблюдать этот пункт соглашения, заключенного десять лет назад. Но у нее очень слабое здоровье, и перемена места и деревенская тишина могут пойти ей на пользу.

Мистер Принс устремил на девушку свои живые, проницательные глаза и, чуть ли не затаив дыхание, ждал ее ответа.

— Мама должна приехать сегодня или завтра,—поднимая на него глаза, сказала она.

— Вот как! — отозвался мистер Принс с ласковой усталой улыбкой.

— А полковник Старботтл тоже здесь? — помолчав, спросила Кэрри.

— Полковник Старботтл умер — ваша мачеха опять вдова.

— Умер,— повторила Кэрри.

— Да,— подтвердил мистер Принс,— вашей мачехе выпало на долю пережить все свои привязанности.

Кэрри не поняла, что он этим хотел сказать. В ответ на ее недоуменный взгляд мистер Принс ободряюще улыбнулся.

Вдруг Кэрри начала тихонько плакать.

Мистер Принс подошел и участливо к ней наклонился. Его глаза посветлели, а концы усов как-то странно опустились.

— Мне кажется,— проговорил он,— что вы все принимаете слишком близко к сердцу. У вас еще есть время подумать. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Надеюсь, вы вчера не простудились?

Лицо Кэрри просияло улыбкой.

— Мы, наверно, показались вам ужасными чудачками. Извините, что мы доставили вам столько беспокойства.

— Вовсе нет. Возможно, что я и счел бы несколько предосудительным помогать трем молодым особам вылезать из школьного окна поздно вечером,— добавил он елейным тоном,— но я был искренне рад возможности помочь им влезть обратно.

В дверях раздался громкий звонок, и мистер Принс поднялся со словами:

— Советую вам не спешить и хорошенько подумать, прежде чем принять решение.

Но Кэрри прислушивалась к голосам, которые раздавались из прихожей. Через мгновение дверь распахнулась и служанка объявила:

— Миссис Третерик и мистер Робинсон!

Четырехчасовой экспресс только что негодующе возвестил, что его опять вынудили остановиться в Генуе, когда мистер Принс въехал в город и направил лошадь

к гостинице. Он был утомлен и недоволен человечеством: проехав десяток миль мимо безликих деревенек, одиноких ферм и аляповатых вилл, против которых восставал его изысканный вкус, этот джентльмен пришел в весьма дурное расположение духа. Он предпочел бы даже не встречаться с немногословным хозяином гостиницы, но тот поймал его на дороге.

— В гостиной вас ждет дама,— сообщил он.

Мистер Принс взбежал по лестнице и вошел в гостиную. Навстречу ему бросилась миссис Старботтл.

Минувшие десять лет произвели в ней самые плачевные перемены. Она исхудала наполовину; округлые плечи стали острыми, пышная грудь—впалой, когда-то полные руки иссохли, и золотые браслеты чуть не соскользнули с ее истонченных запястий, когда ее длинные, худые пальцы судорожно сжали руки Джека. На ее щеках играл лихорадочный румянец; где-то во впадинах этих щек были похоронены знаменитые ямочки далекого прошлого, но их могилы были давно забыты; ее лучистые глаза все еще были красивы, хотя и запали глубоко в глазницах; рисунок ее рта еще был изящен, хотя губы чаще и больше прежнего приоткрывались над ее ровными зубами — даже когда она ничего не говорила, а только дышала. Ее золотистые волосы были по-прежнему пышны, только стали более шелковистыми, тонкими и воздушными, но даже их масса не могла скрыть углублений на пронизанных голубыми венами висках.

— Клара! — укоризненно сказал Джек.

— Прости меня, пожалуйста, Джек,— проговорила она, падая в кресло, но все еще не отпуская его руку,— прости меня, дорогой, но я не могла больше ждать. Я бы умерла, Джек, я бы не пережила еще день ожидания. Потерпи уж — осталось совсем недолго — позволь мне остаться. Может быть, я ее и не увижу, может быть, мне не придется с ней поговорить, но так отрадно сознавать, что наконец-то она близко, что я дышу одним воздухом с моей голубкой,— мне от одного этого уже лучше, честное слово, Джек. Ты ее сегодня видел? Как она выглядит? Что она сказала? Расскажи мне, Джек, расскажи мне все подробно. Она хорошенькая? Говорят, она хорошенькая! Она выросла? Ты ее узнал? Она придет, Джек? Может быть, она уже приходила? Может быть...— Она

поднялась, дрожа от волнения, и смотрела на дверь.— Может быть, она здесь? Почему ты молчишь, Джек? Скажи мне правду!

Устремленные на нее проницательные глаза светились невыразимой нежностью, которую никто, пожалуй, кроме нее, не ожидал бы в них увидеть.

— Клара,— мягко заговорил он,— успокойся, пожалуйста. Ты вся дрожишь — ты слишком устала и переволновалась за дорогу. Да, я видел Кэрри — она здорова и очень хорошенькая. Больше я тебе пока ничего не скажу.

Его ласковая твердость, как всегда, оказала свое действие: она успокоилась и затихла. Поглаживая ее худую руку, он спросил:

— Кэрри тебе когда-нибудь писала?

— Два раза — благодарила за какие-то подарки. Так, обычные письма, какие их учат писать в школе,— добавила она, отвечая на вопрос в его глазах.

— А она знала о твоих затруднениях — о твоей бедности, о том, какие жертвы тебе приходилось приносить, чтобы платить за ее учение, о том, как тебе пришлось заложить свои платья и драгоценности, о том...

— Нет, нет, что ты! — торопливо воскликнула Клара,— откуда ей знать! У меня нет такого лютого врага, чтобы он ей все это рассказал.

— Но если бы она — или миссис Третерик — были об этом осведомлены? Если бы Кэрри знала, что ты бедна, и считала, что ты не сможешь как следует ее обеспечить,— это могло бы повлиять на ее решение. Девушки очень ценят положение, которое дают деньги. Может быть, у нее богатые подруги... или поклонники.

При этих словах у миссис Старботтл огорченно дрогнули брови.

— Но, Джек,— воскликнула она, хватая его за руку,— когда ты нашел меня в Сакраменто, больную и беспомощную, когда ты — господь бог тебе этого не забудет!— предложил отвезти меня на восток, ты сказал, что что-то знаешь, что у тебя есть какой-то план, который даст нам с Кэрри возможность жить безбедно.

— Да-да,— торопливо подтвердил Джек,— но сначала тебе нужно поправиться. А теперь, когда ты успокоилась, я расскажу тебе про свой визит в школу.

И мистер Джек Принс стал излагать содержание уже описанного мной интервью, столь искусно подбирая самые светлые краски, что мне становится стыдно за свое собственное сухое повествование. Не скрыв ни единого факта, не пропустив ни одной подробности, он тем не менее умудрился набросить на сей прозаический разговор покров поэтической дымки, окружить героиню романтическим ореолом, который, может быть, и не был целиком создан его воображением, но, боюсь, все же говорил о незаурядном даровании, придававшем десять лет тому назад газете «Эвеланш» такую поучительность и занимательность. И лишь заметив, как пылают щеки и вздымается грудь поглощенной его рассказом слушательницы, Принс почувствовал угрызения совести.

— Господи, помоги ей и прости мне мою ложь,— пробормотал он сквозь стиснутые зубы,— но не могу же я сказать ей правду.

Поздно вечером, склонив на подушку свою усталую голову, миссис Старботтл попыталась представить себе Кэрри мирно спящей в большом доме на холме, и сознание, что она так близко, согревало душу этой одинокой легковерной женщины. На самом же деле Кэрри в это время сидела полураздетая на краю постели, надув свои хорошенькие губки и наматывая на палец золотистый локон, а перед ней, сверкая черными глазами и вскинув породистый нос, как разгневанное привидение, стояла завернутая в длинное белое покрывало мисс Кэт Ван Корлир. В этот вечер Кэрри поведала мисс Кэт свою историю и свои затруднения и убедилась, что та «ей вовсе не друг», поскольку Кэт принялась негодующе обличать «неблагодарность» Кэрри и без всякого зазрения совести защищать притязания миссис Старботтл.

— Если хоть половина из того, что ты мне рассказала, правда, то твоя мать и эти Робинсоны не только сделали из тебя трусиху, но еще вбили тебе в голову дурацкие претензии. Подумаешь, положение в обществе! Послушайте, мисс! Наше семейство уходит корнями к первым поселенцам, не то что Третерики, но, если бы они поступили со мной подобным образом, а потом еще захотели, чтобы я отвернулась от своего лучшего

друга, я бы сказала им, что я о них думаю. — При этих словах Кэт щелкнула пальцами, нахмурила черные брови и окинула комнату свирепым взглядом, словно выискивая в ней столь недостойного представителя семейства Ван Корлир.

— Ты потому так говоришь, что тебе понравился этот мистер Принс,— сказала Кэрри.

Тут мисс Кэт, как она позднее выразилась на низменном жаргоне тех лет, который проник даже в девственные стены института Краммера, «задала ей жару».

Сначала она, тряхнув головой, перебросила свои длинные черные волосы через одно плечо, затем, опустив один из концов покрывала, отчего оно стало напоминать тунику весталки, сделала к Кэрри несколько решительных шагов в нарочито классической манере.

— Если даже и так, то что из этого? Что из того, если я знаю цену настоящему джентльмену? Что из того, если я убеждена, что на тысячу шаблонных, посредственных, безликих дубликатов своих дедов, вроде мистера Гарри Робинсона, не найдется и одного настоящего, независимого и своеобразного джентльмена, как твой Принс! Ложитесь спать, мисс. Молите бога, чтобы ваше сердце исполнилось благодарности и раскаяния, и хвалите небо за то, что оно послало вам такого друга, как Кэт Ван Корлир.

И, оборвав на столь драматической ноте свой монолог, она величественно покинула сцену, однако тут же вернулась, белой молнией метнулась через комнату, поцеловала Кэрри в лоб и с той же быстротой удалилась.

Следующий день тянулся для Джека Принса невыносимо долго. В глубине души он был убежден, что Кэрри не придет, и ему стоило немалого труда скрывать эту убежденность от миссис Старботтл, делать вид, что он разделяет ее надежду. Пытаясь ее отвлечь, он предложил покататься в санях по окрестностям, но она боялась, как бы Кэрри не пришла в ее отсутствие; кроме того, он не мог не признать, что ее силы заметно сдавали. Когда он глядел в ее огромные, пугающие своей прозрачностью глаза, грустное сознание, которое он гнал от себя день за днем, возвращалось все настойчивее. Он начал сомневаться в правиль-

ности и разумности своих поступков, перебирая в уме весь свой разговор с Кэрри, и почти убедил себя, что он сам виноват в его неблагоприятном исходе. Но миссис Старботтл проявляла удивительное терпение и была полна надежды, заставляя его усомниться в справедливости своих выводов. Когда у нее хватало на это сил, она сидела, обложенная подушками, у окна, откуда ей была видна школа, а также вход в гостиницу. В остальное время она, лежа в постели, развертывала перед Джеком лучезарные перспективы будущего и рисовала ему план загородного домика, в котором они будут жить с Кэрри. Джек не мог понять, что она нашла в Генуе и почему хочет здесь поселиться, но обратил внимание, что картины будущего рисовались ей исключительно в мирных, идиллических тонах. Она считала, что скоро поправится, уверяла даже, что ей уже значительно лучше, но соглашалась, что окончательно окрепнет еще нескоро. Ее слабый голос, толкующий о выздоровлении, в конце концов выгонял Джека в бар, где он заказывал виски, которого не пил, зажигал сигары, которых не курил, разговаривал с незнакомыми людьми, не слыша, что они говорят, и вообще вел себя, как присуще вести себя нашему сильному полу в дни испытаний и сомнений.

К концу дня небо нахмурилось и поднялся резкий, леденящий ветер. С наступлением темноты пошел слабый снег. Миссис Старботтл была по-прежнему спокойна и полна надежды. Когда Джек перекатил ее кресло от окна к камину, она объяснила ему, что, поскольку идут последние дни полугодия, Кэрри, видимо, днем загружена занятиями и может уйти только вечером. Она почти весь вечер просидела у камина, расчесывая свои шелковистые волосы и по мере сил прихорашиваясь перед предстоящим визитом.

— Не дай бог, девочка еще испугается, Джек,— извиняющимся голосом и с искрой былого кокетства сказала она.

К десяти часам Джек настолько устал от напряжения, что обрадовался, когда слуга доложил, что внизу его ждет доктор, который хочет с ним поговорить. Войдя в мрачную, плохо освещенную гостиную, он увидел у камина закутанную женскую фигуру. Решив, что

произошла какая-то ошибка, он хотел уже было повернуться и выйти, когда знакомый голос, оставивший у него самые приятные воспоминания, произнес:

— Вы не ошиблись — я и есть доктор.

Незнакомка отбросила капюшон, открыв взору Принса блестящие черные волосы и смелые черные глаза Кэт Ван Корлир.

— Не задавайте вопросов. Я — доктор, и вот мой рецепт,— сказала она, указывая на всхлипывающую Кэрри, испуганно съежившуюся в углу.— Лекарство надо принять немедленно.

— Значит, миссис Третерик разрешила?

— Дождешься от нее — если я не ошибаюсь в чувствах этой достойной дамы,— вызывающе бросила Кэт.

— Как же вы тогда ушли? — серьезным голосом спросил Джек.

— Через окно.

Оставив Кэрри в объятиях ее мачехи, мистер Принс вернулся в гостиную.

— Ну и как?— спросила Кэт.

— Она останется ночевать — вы, надеюсь, тоже.

— Так как мне двадцатого не исполняется восемнадцать лет и я не становлюсь сама себе хозяйкой и так как у меня нет больной мачехи, то я не останусь.

— Тогда разрешите проводить вас и благополучно водворить в окно.

Час спустя, когда мистер Принс вернулся, выполнив свою миссию, Кэрри сидела на скамеечке у ног миссис Старботтл. Ее голова лежала на коленях мачехи: вдоволь наплакавшись, она уснула. Миссис Старботтл приложила палец к губам:

— Я же говорила, что она придет. Благослови тебя бог, Джек, и спокойной ночи.

На следующее утро к мистеру Принсу явились негодующая миссис Третерик, огорченный директор института преподобный Эйзе Краммер и сияющий респектабельностью мистер Джоэль Робинсон-старший. Встреча протекала весьма бурно и завершилась требованием немедленно вернуть Кэрри.

— Мы ни в коем случае не намерены мириться с этим вмешательством,— заявила миссис Третерик, модно одетая дама с невыразительным лицом.— До истече-

ния срока нашего соглашения осталось еще несколько дней, и при создавшемся положении мы не считаем себя вправе освободить миссис Старботтл от налагаемых им обязательств.

— До окончания полугодия мы требуем от мисс Третерик безусловного соблюдения дисциплины и правил института,— вторил ей доктор Краммер.

— Вся эта затея имеет целью лишь повредить мисс Третерик и скомпрометировать ее в глазах общества,— добавил мистер Робинсон.

Напрасно мистер Принс говорил им, что здоровье миссис Старботтл быстро ухудшается, что она ничего не знала о задуманном Кэрри побеге, что девушкой, несомненно, руководили вполне естественные и простительные побуждения и что и он и миссис Старботтл готовы согласиться с ее решением, каково бы оно ни было. В конце концов он заявил тоном, исполненным необычайного спокойствия, хотя лицо его гневно вспыхнуло, а в глазах появился угрожающий блеск:

— И еще. В качестве душеприказчика покойного мистера Третерика я должен уведомить вас об одном обстоятельстве, которое дает мне полное основание отказываться от выполнения ваших требований. Через несколько месяцев после смерти мистера Третерика его слуга китаец сообщил нам, что он оставил завещание, которое и было обнаружено среди его бумаг. Ввиду того, что завещанное состояние — в основном земельная собственность, которая в то время почти ничего не стоила,— оценивалось в слишком незначительную сумму, душеприказчики мистера Третерика не стали вводить наследников во владение или даже доказывать законность завещания и вообще как-нибудь заявлять о его существовании. Однако за последние два-три года стоимость завещанной земли неизмеримо возросла. Условия завещания весьма просты и не могут быть оспорены. Все состояние мистера Третерика должно быть поделено поровну между Кэрри и ее мачехой при обязательном условии, что миссис Старботтл будет назначена ее опекуншей, возьмет на себя заботу о ее образовании и во всех остальных отношениях будет выступать in loco parentis [1].

[1] В качестве родителей (*лат.*).

— Во сколько оценивается состояние?—осведомился мистер Робинсон.

— Точно сказать не могу, но примерно около полумиллиона долларов,— ответил мистер Принс.

— В таком случае, как друг мисс Третерик, я должен признать ее поведение не только благородным, но и вполне разумным,— заявил мистер Робинсон.

— Я не считаю себя вправе оспаривать волю покойного мужа или как-либо препятствовать ее выполнению,— добавила миссис Третерик, и на этом интервью закончилось.

Когда Джек сообщил эту новость миссис Старботтл, она прижала его руку к лихорадочно горящим губам.

— Мое счастье и без того безмерно, Джек, но скажи: почему ты держал это в тайне от нее?

Джек улыбнулся и ничего не ответил.

В течение следующей недели все юридические формальности были выполнены, и Кэрри возвратилась под крыло своей мачехи. По просьбе миссис Старботтл, Джек приобрел небольшой домик на окраине города, где они и поселились в ожидании весны и выздоровления миссис Старботтл. Однако весна в тот год запаздывала, а здоровье миссис Старботтл не улучшалось.

Но, переполненная счастьем, она не проявляла нетерпения. Ей нравилось наблюдать, как на деревьях за окном набухают почки — для жительницы Калифорнии это было непривычное зрелище,— и расспрашивать Кэрри, как называются эти деревья и когда они полностью распустятся. Она загадывала уже на это лето, которое почему-то упорно не наступало, долгие прогулки с Кэрри в тени деревьев, чьи серые прозрачные шеренги виднелись на вершине холма. Она даже собиралась написать о них стихи и само желание их писать считала свидетельством возвращающегося здоровья; у Кэрри или Джека, кажется, до сих пор сохранилась написанная ею песенка, такая радостная, немудрящая и чистая, точно ее навеял щебет малиновки за окном — как оно, возможно, и было на самом деле.

И вдруг небеса послали им такой мягкий день, исполненный такой удивительной нежности, мечтательной красоты и трепетания невидимых крыл, такой полноты пробуждающейся и радостной жизни, не подвластной ни человеку, ни закону, что домочадцы сочли возможным вынести миссис Старботтл в садик и положить ее в ярких лучах солнца, которое, подобно венчальному факелу, озаряло ликующие окна и двери домов. Там она и лежала на кушетке в благостной умиротворенности.

Сидевшая подле нее Кэрри задремала, устав радоваться солнцу и теплу, и исхудавшая рука миссис Старботтл лежала у нее на голове, словно благословляя ее. Вскоре миссис Старботтл подозвала к себе Джека.

— Кто это сейчас приходил? — слабым голосом спросила она.

— Мисс Ван Корлир,— ответил Джек не столько ее словам, сколько взгляду ее огромных, ввалившихся глаз.

— Джек,— сказала она, секунду помолчав,— посиди около меня немного, родной. Если я порой казалась тебе холодной, злой или ветреной, так это лишь потому, милый, что я слишком тебя любила и не хотела портить твою жизнь, связав ее со своей. Я всегда любила тебя, дорогой, даже тогда, когда казалась совсем тебя недостойной. Все это позади, но в последнее время у меня была мечта, глупая женская мечта, что ты найдешь *в ней* то, чего не хватало во мне,— она бросила любовный взгляд на спящую около нее девушку,— что ты сможешь полюбить ее, как любил меня. Но я вижу, что и этому не бывать,— так ведь, Джек?— И она вгляделась в него грустным испытующим взглядом. Джек пожал ей руку, но ничего не сказал. Помолчав несколько мгновений, она продолжала.— Может быть, ты и сделал правильный выбор. Она славная девушка, Джек, добрая девушка, только немного резкая.

И с этой последней вспышкой женской слабости ее обессиленный дух перестал бороться и угас навеки. Когда к ней подошли через несколько секунд, сидевшая у нее на груди птичка вспорхнула и улетела, а рука, которую они подняли с головы Кэрри, безжизненно упала на кушетку.

МОНТЕ-ФЛЕТСКАЯ ПАСТОРАЛЬ

КАК СТАРИК ПЛАНКЕТ ЕЗДИЛ ДОМОЙ

Все мы очень его любили. Даже после того как он окончательно запутал дела компании «Дружба», не нашлось человека, который не посочувствовал бы ему, хотя многие из нас сами были пайщиками и оказались в числе потерпевших. Помню, кузнец так разошелся, что заявил:

— А тех, кто взвалил старику на плечи такую ответственность, надо попросту линчевать!

Но кузнец пайщиком не был, и к его словам отнеслись как к вполне извинительному чудачеству отзывчивой и широкой натуры, на которое, принимая во внимание могучее телосложение кузнеца, приходилось смотреть сквозь пальцы. Так по крайней мере сказал кто-то из нас. Однако все мы жалели, что несчастье расстроит заветную мечту старика «съездить домой». Как-никак, он собирался «домой» уже десять лет. Сборы начались через полгода после его появления в Монте-Флете. Это тянулось из года в год: он поедет, как только пройдут первые дожди. Поедет сразу же после дождливого сезона. Поедет, как только кончит рубить лес на Оленьей горе, как только откроет золотую жилу на холме Эврика, как только можно будет выгонять скот на Даус-Флет, как только компания «Дружба» выплатит первые дивиденды, как только проведут выборы, как только придет ответ от жены. Но годы проходили, ве-

сенние дожди начинались и кончались, лес на Оленьей горе вырубили дочиста, выгон на Даус-Флете поблек и высох, холм Эврика расстался со своим золотом и разорил владельца, первые дивиденды компании «Дружба» выплатили из имущества пайщиков, в Монте-Флете были выбраны новые представители власти, жена писала и все звала его, а старик Планкет по-прежнему оставался в поселке.

Впрочем, справедливости ради следует уточнить, что попытки к отъезду предпринимались. Пять лет назад старик Планкет распрощался с Монте-Хиллом, обменявшись со всеми горячими рукопожатиями. Но дальше ближайшего городка он так и не двинулся. Там ему всучили гнедую кобылу в обмен на буланого жеребца, на котором он уехал, и эта сделка не замедлила открыть его пылкому воображению необъятные, заманчивые просторы будущих спекуляций.

Спустя несколько дней Эбнер Дин получил письмо, в котором старик Планкет сообщал, что едет в Висалию покупать лошадей.

«Я весьма удовлетворен,— писал он со свойственной его письмам высокопарностью,— я весьма удовлетворен тем обстоятельством, что мы наконец-то добрались до истинных богатств Калифорнии. Когда-нибудь весь мир будет взирать на Даус-Флет как на коннозаводческий центр. Ввиду серьезности предприятия я отложил свой отъезд на месяц». Прошло целых два месяца, прежде чем старик вернулся к нам с пустыми карманами. Через полгода он уже скопил денег на поездку в Восточные штаты и на этот раз доехал до самого Сан-Франциско.

У меня сохранилось письмо, полученное через два-три дня после его приезда в Сан-Франциско, и я позволю себе привести оттуда несколько строк: «Как вы уже знаете, друг мой, я всегда считал, что искусство игры в покер, который несправедливо приравнивают к азартным играм, пока что переживает в Калифорнии свой младенческий возраст. Я не раз задумывался над тем, нельзя ли изобрести совершенную систему, следуя которой умный человек сумеет извлекать из покера постоянную прибыль? Эту систему я пока что не могу вам открыть, но я не уеду из города, не доведя ее до со-

вершенства». Очевидно, Планкет достиг своей цели, ибо он вернулся в Монте-Флет с двумя долларами и тридцатью пятью центами в кармане — это было все, что осталось от его капитала после применения усовершенствованной системы игры в покер.

Съездить домой ему удалось только в 1868 году. Он отправился сухим путем, через весь материк, заявив, что этот путь представляет бо́льшие возможности для открытия неизведанных богатств страны. Последнее его письмо было получено из Вирджиния-Сити. В отлучке он находился три года. И вот, по прошествии этих трех лет, однажды жарким летним вечером наш старик Планкет, убеленный пылью и годами, вылез из уингдэмского дилижанса. В том, как он поздоровался со всеми, чувствовалась некоторая сдержанность, несвойственная ему, прежде такому разговорчивому; нам, впрочем, эта новая черта в его характере как-то не очень понравилась.

Первые дни Планкет помалкивал о своей поездке и только запальчиво повторял, что он «всегда собирался съездить домой — вот и съездил». Потом он стал разговорчивее, в весьма критических тонах отзывался о нравах и обычаях Нью-Йорка и Бостона, осуждал изменения в общественной жизни, происшедшие там за время его отсутствия, и, помнится, особенно нападал на то, что казалось ему «распущенностью, которая неизбежно сопутствует высшим ступеням цивилизации». Дальше — больше: последовали смутные намеки на развращенность высших кругов общества Восточных штатов, и, наконец, покрывало с Нью-Йорка было сорвано, а неприглядная картина тамошнего беспутства описана такими яркими красками, что я до сих пор содрогаюсь при одном воспоминании об этих рассказах. Как выяснилось из них, злоупотребление спиртными напитками вошло в обычай у самых блистательных дам города; безнравственность, которой он даже не решался дать точное название, губила изысканнейших представителей обоего пола; скаредность и алчность были самые распространенные пороки богачей.

— Я всегда говорил,— продолжал старик Планкет,— что разврат гнездится там, где царствует роскошь и властвуют деньги и где капитал идет на все что

угодно, только не на разработку естественных богатств нашей страны. Благодарю вас, мне, пожалуйста, не разбавляйте!

Весьма возможно, что кое-что из этих прискорбных сведений просочилось в местную печать. Мне вспоминается передовая статья в газете «Страж Монте-Флета» под заглавием «Восток выдохся», в которой весьма пространно описывался ужасающий упадок нравов Нью-Йорка и Новой Англии, а Калифорния рекомендовалась как место, где можно обрести спасение в непосредственной близости к природе. «Может быть, нам следует добавить,— писал «Страж»,— что состоятельным людям, приезжающим с Востока, самые блестящие возможности предоставляет округ Калаверас».

Под конец Планкет заговорил о своей семье. Дочь, которую он оставил ребенком, выросла красавицей; сын уже перерос отца, и когда они вздумали в шутку помериться силами, «этот мошенник»,— притворно ворчливый голос рассказчика прерывался от чувства отцовской гордости,— дважды положил своего любящего родителя на обе лопатки. Но самое значительное место в его рассказах отводилось дочери. Поощренный, по всей вероятности, явным интересом, который проявляло мужское население Монте-Флета к женской красоте, он долго распространялся о достоинствах и прелестях своей дочки и, наконец, на погибель слушателям показал фотографию очень хорошенькой девушки. Описание первой встречи с ней было настолько своеобразно, что я попытаюсь передать его здесь дословно, хотя речь Планкета не отличалась той обдуманностью выражений и тем изяществом слога, которые характеризовали его эпистолярный стиль.

— Понимаете ли, братцы, в чем дело,—говорил он,— по моему мнению, человек должен узнавать свою кровь и плоть чутьем. Десять лет прошло, как я не виделся с моей Мелинди, а она была тогда семилетней крошкой—вот такая маленькая. И по приезде в Нью-Йорк, как вы думаете, что я сделал? Заявился прямо домой, как в таких случаях полагается, и спросил жену и дочь? Нет, сэр! Я переоделся разносчиком — да, сэр, разносчиком! — и позвонил к ним. Слуга открывает дверь, а я — соображаете, в чем дело? — предлагаю показать

хозяйкам кое-что из галантереи. Вдруг слышу сверху, с лестницы, чей-то голос: «Ничего не нужно, гоните его прочь!» — «Тонкие кружева, сударыня, контрабандный товар»,— а сам смотрю наверх. А оттуда отвечают: «Убирайся вон, мошенник». Я, братцы, сразу узнал голос жены, вернее верного, тут и чутья не нужно, и говорю: «Может, барышни себе что-нибудь выберут?» А жена: «Ты разве не слышал, что тебе было сказано?»— И прямо на меня и выскочила. Ну, тут я живо убрался. Ведь вот, братцы, мы с моей старухой уже десять лет не виделись, а стоило только ей налететь на меня, и я давай бог ноги!

Планкет произносил эту речь у стойки — его обычное местонахождение,— но при последних словах он повернулся боком к слушателям и окинул их грозным взором, который возымел свое действие. Те, кто проявлял некоторые признаки скептицизма или отсутствие интереса, сразу же сделали вид, что слушают его рассказ с увлечением и любопытством.

— Ну-с, дня два я слонялся вокруг да около и, наконец, узнал, что на следующей неделе рождение Мелинди и гостей будет тьма-тьмущая. Такой прием закатили, я вам скажу, просто чудо! Цветов — полно, весь дом сияет огнями, слуги так и бегают взад и вперед, угощенье, прохладительные напитки, закуски...

— Дядя Джо!

— Ну?

— А откуда у них такие деньги?

Планкет смерил вопрошающего суровым взглядом.

— Я всегда говорил,— медленно ответил он,— что как только соберусь домой, то непременно пошлю наперед чек на десять тысяч долларов. Я всегда так говорил. А? Что? Ведь говорил, что поеду домой — вот и съездил, так ведь? Ну?

Была ли его логика необычайно убедительной, взяло ли верх желание дослушать рассказ до конца, но Планкета больше не перебивали. К нему быстро вернулось хорошее расположение духа, и, посмеиваясь себе под нос, он принялся рассказывать дальше.

— Пошел я в самый большой ювелирный магазин, купил бриллиантовые серьги, сунул их в карман и отправился домой. Открывает мне дверь молодчик, на

вид этакая, понимаете ли, помесь лакея с проповедником, и спрашивает: «Как прикажете доложить?» Я говорю: «Скисикс». Провел он меня в гостиную, и через несколько минут вплывает туда моя жена. «Простите, говорит, я что-то не припомню такой фамилии». Держится вежливо, потому что я нацепил на себя рыжий парик и бакенбарды. «Из Калифорнии, приятель вашего мужа, сударыня, привез подарок вашей дочке, мисс...» — будто забыл, как ее зовут. Вдруг слышу чей-то голос: «Нас, папаша, на эту удочку не поймаешь!»— И выходит моя Мелинди.—«Тоже, нашел как обманывать, забыл, видите ли, имя родной дочери! Ну, здравствуй, старина!» И с этими словами срывает она с меня парик, бакенбарды и кидается мне на шею. Чутье, сэр, вот что значит чутье!

Поощренный взрывом смеха, которым было встречено описание дочерних чувств Мелинди, старик Планкет повторил ее слова уже с некоторым добавлением и захохотал громче всех, а потом весь вечер снова принимался довольно бессвязно рассказывать эту историю с самого начала.

И так в разное время, в разных местах — а преимущественно в салунах — рассказывал нам монте-флетский Улисс о своих странствованиях. В этих рассказах встречались кое-какие несообразности, слишком много внимания в них уделялось деталям, иногда менялись и персонажи и место действия, раз или два повествование получило совершенно другой конец. Однако тот факт, что Планкет ездил навестить жену и детей, оставался неизменным.

Разумеется, среди таких скептиков, как скептики Монте-Флета,— в обществе, привыкшем загораться надеждой, которая редко осуществлялась в действительности, в обществе, где, пользуясь местным выражением, чаще, чем в других приисковых поселках, «копали золото, а натыкались на обманку»,—россказням старика Планкета не очень-то верили. Исключение составлял только один человек — Генри Йорк из Сэнди-Бара. Это он был самым внимательным слушателем Планкета; это его тощий кошелек сплошь и рядом финансировал безрассудные спекуляции Планкета; это ему чаще, чем другим, приходилось выслушивать описание чар Мелинди; это

он взял у старика ее фотографию, и он же, сидя однажды вечером у себя в хижине перед очагом, до тех пор целовал эту фотографию, пока его приятное, добродушное лицо не покраснело до корней волос.

Монте-Флет утопал в пыли. Долгий засушливый сезон всюду оставил свои следы; умирающее лето устлало землю слоем красного праха по колено глубиной, и его предсмертный вздох поднял красные клубы пыли над дорогами. Запорошенные этой пылью тополя и ольховник вдоль реки словно заржавели, и казалось, что корни их, вместо того чтобы уходить в землю, растут прямо из воздуха; камни в руслах пересохших ручьев белели, точно кости, разбросанные по долине смерти. Заходящее в пыли солнце окрашивало склоны гор тусклым медным светом; над вулканами далекого побережья то и дело появлялось зловещее неровное сияние; из горевшего на холме леса тянуло едким смолистым дымом, от которого у жителей Монте-Флета слезились глаза и перехватывало дыхание; свирепый ветер, гнавший перед собой все, что попадалось ему на пути, — в том числе и лето, вялое, как опавший лист,— бушевал вдоль отрогов Сьерры, заставляя людей прятаться по хижинам, и грозил им в окна посиневшим кулаком.

В такие вечера — ведь пыль до некоторой степени тормозила движение колесницы прогресса в Монте-Флете — многие обитатели поселка волей-неволей собирались в сверкающем позолотой баре отеля «Мокелумне», поплевывали на раскаленную печь, спасавшую их, бедных овечек, от холодного ветра, и ждали, когда начнутся дожди.

В ожидании этого явления природы были испробованы все известные в Монте-Флете способы скоротать время, но поскольку они не отличались разнообразием и сводились главным образом к общедоступным шуткам, именующимся «разыгрыванием», за последнее время даже эта забава приняла форму солидного делового занятия. Томми Рой, убивший целых два часа на то, чтобы вырыть около своей двери яму, куда за вечер случайно попало несколько его приятелей, сидел

с разочарованным и скучающим видом; четверо солидных граждан, под видом грабителей остановивших на дороге в Уингдэм окружного казначея, уже на следующее утро потеряли вкус к своей проделке; единственные в Монте-Флете врач и адвокат, участвовавшие в коварном заговоре против шерифа округа Калаверас, которому подсунули на подпись приговор о высылке из здешних мест медведя гризли, представленного властям под псевдонимом майора Урсуса[1], ходили с видом усталым и отрешенным от всего земного. Даже редактор монте-флетского «Стража», написавший в то утро для развлечения подписчиков из Восточных штатов блистательный отчет о битве с каким-то индейским племенем,— даже он казался сумрачным и истомленным. И, наконец, когда Эбнер Дин, только что вернувшийся из Сан-Франциско, вошел в бар и ему задали, как водится, совершенно невинные на первый взгляд вопросы, на которые он ответил, не подозревая ловушки, и был втянут в беседу, навлекшую позор и унижение на его голову, никого это не развеселило, а сам Эбнер, хоть и оказался потерпевшим, сумел сохранить невозмутимость. Повернувшись как ни в чем не бывало к своим мучителям, он сказал:

— У меня найдется кое-что посмешнее. Старика Планкета все знают?

Присутствующие, как по команде, разом плюнули на печку и утвердительно кивнули.

— Помните, он три года назад ездил домой?

Двое-трое сняли ноги со спинок стульев, а один человек ответил:

— Да.

— И хорошо погостил там?

Все неуверенно покосились на того, кто сказал «да», а он, вынужденный принять на себя тяжелое бремя и ответственность, через силу улыбнулся, сказал «да» еще раз и перевел дух.

— Повидался с женой и дочкой,— а дочка у него красавица? — продолжал осторожно расспрашивать Эбнер Дин.

— Да,— упрямо ответил все тот же человек.

---

[1] Ursus major *(лат.)*— большой медведь.

— Может быть, вы и фотографию ее видели? — На этот раз голос Эбнера Дина прозвучал более уверенно.

Упрямец с беспомощным видом огляделся по сторонам, ища поддержки. Двое-трое соседей, только что поощрявшие его взглядами, теперь без зазрения совести стали равнодушно смотреть в другую сторону. Генри Йорк слегка покраснел и потупил свои карие глаза. Человек, говоривший «да», замялся, а потом с деланной улыбкой, которая должна была показать всем, что ему отлично известна цель этого допроса и он сам, будучи в прекрасном настроении, тоже решил пошутить, снова сказал «да».

— Послал домой — дайте-ка вспомнить... десять тысяч долларов,— так ведь, кажется? — продолжал Эбнер Дин.

— Да,— упорствовал тот с прежней улыбкой.

— Все правильно,— спокойно заключил Эбнер.— Но дело-то в том, что он и не думал ездить домой, и духу его там не было.

Все уставились на Эбнера с неподдельным удивлением и любопытством, а он продолжал свой рассказ нарочито спокойно и лениво.

— Так вот, слушайте. Я повстречал во Фриско одного человека, который все эти три года прожил вместе с Планкетом в Соноре. Ваш старик разводил там то ли овец, то ли рогатый скот, то ли спекулировал, причем без единого цента в кармане. А отсюда следует, что этот ваш Планкет с сорок девятого года ни шагу не сделал на восток от Скалистых гор.

Взрыв смеха, на который Эбнер Дин был вправе рассчитывать, действительно раздался, но в этом смехе слышались презрительные, злые нотки. Слушатели негодовали. Впервые они почувствовали, что надо знать меру и в шутках. Надувательство, которое тянулось полгода и набрасывало тень на прозорливость обитателей Монте-Флета, заслуживало сурового наказания. Планкету, конечно, никто не верил, но мысль о том, что в соседних поселках могли поверить, будто они поверили ему, наполняла их сердца горечью и злобой. Адвокат посоветовал притянуть Планкета к суду за вымогательство; врач, оказывается, давно уже замечал у старика признаки затемнения рассудка и теперь заявил, что не

мешало бы посадить его в сумасшедший дом. Четверо видных коммерсантов потребовали в интересах местной торговли принять по отношению к обманщику решительные меры. В самый разгар этих горячих и сердитых споров дверь медленно отворилась, и в бар, пошатываясь, вошел старик Планкет.

За последние полгода он сильно изменился. Волосы у него стали какие-то желтовато-пыльные, точно трава на склонах Хэвитри-Хилла, лицо покрывала восковая бледность, под глазами появились лиловые мешки; грязная, потрепанная куртка носила спереди следы завтраков, наскоро поглощаемых прямо у стойки, а сзади была покрыта пухом и волосами, свидетельствуя о многих ночах, проведенных ее обладателем как придется и где придется. Подчиняясь странному закону, который гласит, что чем грязнее и неопрятнее у человека одежда, тем труднее ему расстаться с ней даже на ту часть суток, когда она меньше всего бывает нужна, платье старика Планкета постепенно превратилось в нечто похожее на кору или нарост, в возникновении которых его, собственно, нельзя было полностью обвинить.

И все-таки, войдя в комнату, он, видимо, решил отдать дань существующим требованиям чистоплотности и благообразия: застегнул куртку, чтобы прикрыть грязную рубашку, и неловким движением, точно у него были когти, а не пальцы, поскреб бороду с застрявшими в ней крошками. Потом слабая улыбка исчезла с его губ, рука, машинально теребившая пуговицу, беспомощно опустилась. Он заметил, что все глаза, за исключением одной пары, были устремлены на него. Обостренная подозрительность сразу подсказала ему, что здесь произошло. Его злосчастная тайна стала достоянием всех, она словно носилась в воздухе. Хватаясь за последнюю соломинку, старик с отчаянием взглянул на Генри Йорка, но тот сидел весь красный и смотрел в окно.

Все молчали. Бармен, не говоря ни слова, поставил на стойку графин и стакан. Старик взял с тарелки сухарь и принялся грызть его с подчеркнуто равнодушным видом, медленно потягивая виски, а когда алкоголь придал ему сил и усыпил его настороженность, он круто повернулся лицом к присутствующим и сказал с вызывающей развязностью:

— Что-то мне кажется, не видать нам дождей до самого рождества.

Все продолжали хранить молчание.

— Такая же осень была в пятьдесят втором году, потом в шестидесятом. Засуха проходит через определенные промежутки времени. Я и раньше это говорил и сейчас скажу. Все равно как про поездку домой. Мои слова всегда сбываются,— добавил он с отчаянной отвагой.

— А вот один человек уверяет, что ты и не ездил домой,— лениво и спокойно сказал Эбнер Дин.— Все три года, говорит, просидел в Соноре. С женой и с дочерью, говорит, не виделся с сорок девятого года. Шесть месяцев, говорит, дурачил весь поселок. Вот так-то!

Наступила мертвая тишина. Потом чей-то голос сказал, сказал не менее спокойно:

— Этот человек лжет.

Так ответил не старик, а кто-то другой. Все повернулись к Генри Йорку, который медленно встал, выпрямился во весь свой шестифутовый рост, смахнул с груди пепел, насыпавшийся из трубки, и, неторопливо подойдя к Планкету, повернулся лицом к остальным.

— Этого человека здесь нет,— невозмутимо проговорил Эбнер Дин, небрежным движением кладя руку на пояс, где у него висел револьвер.— Этого человека здесь нет, но если потребуется подтвердить его слова, что же, я готов.

Все вскочили со своих мест, когда двое мужчин, внешне самые спокойные в комнате, двинулись друг к другу. Адвокат стал между ними.

— Тут, видимо, какое-то недоразумение. Йорк, ты, наверно, знаешь, что старик ездил домой?

— Да.

— А откуда ты это знаешь?

Йорк устремил на адвоката ясный, правдивый, смелый взгляд своих карих глаз и, не сморгнув, впервые в жизни сказал чистейшую ложь:

— Я сам его там видел.

Ответ был исчерпывающий. Все знали, что в те годы, когда старика не было в Монте-Флете, Йорк ездил в Восточные штаты. Диалог между Йорком и адвокатом

отвлек внимание присутствующих от Планкета, который, побледнев и еле переводя дух, смотрел на своего неожиданного спасителя. Но вот он снова повернулся к остальным, и в его взгляде было что-то такое, от чего ближайшие его соседи подались назад и даже самые отчаянные смельчаки и сорвиголовы почувствовали волнение. Врач, сам не зная почему, предостерегающе поднял руку, когда Планкет шагнул вперед и, не сводя глаз с раскаленной докрасна печки, не переставая както странно улыбаться, заговорил:

— Да, да, Йорк, конечно, ты меня там видел. А кто говорит, что не видел? Это сущая правда; я же собирался съездить домой—вот и съездил. Разве не так? Ей-богу, ездил! Кто говорит, что я вру? Кто говорит, будто мне это приснилось? Ну что же ты молчишь, Йорк? Ведь это сущая правда. Сказал, что видел меня, так повтори это еще раз! Ну, говори! Говори! Ведь это правда? Вот опять, опять начинается! О господи — опять! Помогите! — и, с пронзительным воплем упав на пол, несчастный забился в припадке.

Очнувшись, старик увидел, что лежит в хижине Йорка. Мерцающий огонь горевших в очаге сосновых веток освещал бревенчатые стены, падал на фотографию в искусном обрамлении из еловых шишек, повешенную над связкой хвороста, которая служила старику ложем. На фотографии была изображена молоденькая девушка. На ней первой остановились глаза Планкета; щеки его залило краской смущения, он вздрогнул и быстро осмотрелся по сторонам. Но взгляд его встретился только с взглядом Йорка — ясным, недоверчивым, терпеливым,— и он снова потупился.

— Скажи, старик,—заговорил Йорк вовсе не сурово, но с тем же холодком, который мгновением раньше проскользнул в его взгляде,— скажи, неужели и это ложь? — и он показал на портрет.

Планкет молча закрыл глаза. Два часа назад такой вопрос толкнул бы его на какую-нибудь хитрость или похвальбу. Но теперь разоблачение, слышавшееся в этом вопросе, и самый тон Йорка успокоили несчастного старика. Теперь даже его затуманенному мозгу стало ясно, что Йорк лгал в салуне. Теперь он знал наверное, что не ездил домой и что еще не лишился рассудка,

как это ему представилось вначале. Он почувствовал огромное облегчение, а вслед за облегчением к нему вернулось его обычное легкомыслие и сумасбродство. Он хмыкнул, улыбнулся и вдруг захохотал во все горло.

Йорк отнял руку, лежавшую на руке старика.

— А здорово мы их провели, Йорки? Хе-хе-хе! Таких шуток в нашем поселке еще никто не разыгрывал! Я всегда говорил, что надо их когда-нибудь одурачить — вот и дурачил целые полгода. Скажешь, плохо получилось? Ты смотрел на Эбнера, когда он рассказывал про того человека, который видел меня в Соноре? Ну и потеха — как в театре! Ох, сил моих нет! — И, хлопнув себя по ляжке, он так оглушительно захохотал, что чуть не свалился со своего ложа. Но смех его был не совсем искренний.

— Это ее фотография? — тихо спросил Йорк после небольшой паузы.

— Дочери? Да нет! Это одна певичка из Сан-Франциско, хе-хе-хе! Я купил ее карточку в книжной лавке за четверть доллара. У меня тогда и в мыслях не было, что они пойдут на эту удочку, а ведь пошли! Ну и одурачил их старик! Здорово одурачил, а? — говорил он, с любопытством присматриваясь к Йорку.

— Да, меня он тоже одурачил,— сказал Йорк, глядя старику прямо в глаза.

— Да, да, конечно,— торопливо перебил его Планкет,— но ты, Йорк, прекрасно вышел из положения да еще других обставил. Мы с тобой подцепили их на удочку. Нам теперь надо держаться друг за дружку. Ты молодец, Йорки, молодец. Когда ты сказал, что мы с тобой встречались в Нью-Йорке, я, вот ей-богу, и на самом деле...

— Что «на самом деле»? — спросил Йорк, не повышая голоса, так как старик вдруг запнулся, побледнел и блуждающим взглядом обвел комнату.

— А?

— Ты говорил: когда я сказал, что мы с тобой виделись в Нью-Йорке, ты и на самом деле...

— Ложь! — злобно крикнул старик.— Я ничего такого не говорил. Думаешь поймать меня на слове? А?— Руки у него задрожали. Бормоча что-то себе под нос, он встал со своего ложа и подошел к очагу.

— Дай виски, и хватит болтать. Хочешь не хочешь, а придется тебе разориться на угощение. И тем, в салуне, тоже не мешало бы. Я бы их заставил, только вот скрутило меня.

Йорк поставил на стол бутылку виски и оловянную кружку, подошел к двери и, повернувшись к своему гостю спиной, стал смотреть на улицу. Ночь была ясная, лунная, и все же знакомые места никогда еще не казались Йорку такими унылыми. Безлюдная, уходящая вдаль широкая дорога на Уингдэм никогда еще не казалась ему такой однообразной. Она была так похожа на прожитую им жизнь и на те дни, которые еще предстоит прожить, так похожа на жизнь старика, который тоже вечно куда-то стремился и не достигал своей цели. Йорк подошел к Планкету и, положив ему руку на плечо, сказал:

— Ответь мне на один вопрос, только по-честному, без утайки.

Спиртное, видимо, согрело вялую кровь старика и умерило его злобу, потому что лицо, смотревшее сейчас на Йорка, смягчилось и стало более серьезным.

— Спрашивай, друг!

— Есть у тебя жена и... и дочь?

— Есть, как перед богом!

Несколько минут оба молчали и смотрели на огонь. Потом, медленно потирая руками колени, Планкет заговорил.

— Если уж выкладывать начистоту, то жена у меня не бог весть какая,— осторожно начал он.— Малость она грубовата, и не хватает ей, так сказать, калифорнийской широты взглядов, а все это, вместе взятое,— сочетание неважное. Откровенно говоря, хуже и не придумаешь. Язык у нее всегда наготове, как револьвер у Эбнера Дина, с той только разницей, что она, по ее собственному выражению, кидается на людей из принципа, а следовательно, ни охнуть, ни вздохнуть тебе не дает. Да, да, дружище. Восток выдохся, это и губит ее,— набралась в Нью-Йорке и Бостоне разных идей, вот и довела и себя и меня бог знает до чего. Идеи идеями, а на людей не кидайся. С такими наклонностями надо бы держаться подальше от принципов, все равно как от огнестрельного оружия.

— А дочь? — спросил Йорк.

Старик закрыл лицо руками и повалился головой на стол.

— Не говори о ней, не спрашивай меня сейчас!

Не отнимая правой руки от лица, он стал шарить по карманам в поисках платка, но так ничего и не нашел. По этой ли или по другой причине, но ему удалось подавить слезы, и когда он поднял голову, глаза у него были совершенно сухие. Тут к нему вернулся дар слова.

— Дочка у меня красавица, писаная красавица. Ты, друг, сам ее увидишь, обязательно увидишь и тогда скажешь, прав был отец или нет. Теперь у меня все налажено. Дня через два я усовершенствую свой метод обогащения руды. Здешние плавильные заводы рвут меня на части.— Второпях он вытащил из кармана пачку бумаг, уронил их и, подбирая с пола свои драгоценные документы, бормотал: — Я хочу выписать сюда семью. Не пройдет и месяца, как вот эти бумажки принесут мне тысяч десять долларов. Я не я буду, а к рождеству они приедут сюда, и ты сядешь с нами за праздничный стол, Йорк, вот помяни мое слово, дружище!

Виски окончательно развязало язык старику. Он продолжал бессвязно лепетать о своем грандиозном проекте, приукрашивая его подробностями и по временам даже говоря о нем, как о чем-то завершенном. Все это продолжалось до тех пор, пока луна не поднялась высоко в небе, и тогда Йорк снова уложил его. Он еще долго бормотал что-то непонятное, потом забылся тяжелым сном. Убедившись, что старик спит, Йорк осторожно снял со стены портрет в рамке из еловых шишек, бросил его на тлеющие угли и сел перед очагом.

Шишки вспыхнули сразу; вслед за ними загорелось и изображение той, которая каждый вечер очаровывала театральную публику Сан-Франциско, загорелось и исчезло... как собственно и подобает таким вещам. Мало-помалу исчезла и насмешливая улыбка на губах Йорка. А потом кучка углей вдруг рассыпалась, и внезапная вспышка огня осветила сложенный вдвое лист бумаги, вероятно, выпавший вместе с другими у старика из кармана. Когда Йорк машинально поднял его, оттуда выскользнула фотография молоденькой девушки. На обо-

роте ее корявым почерком было написано: «Папе от Мелинди».

Фотография была плохонькая, но — боже мой! — даже изощренная лесть самого высокого искусства не могла бы приукрасить угловатость фигуры этой девушки, ее вульгарное самодовольство, дешевый наряд, лишенные мысли, грубоватые черты лица. Йорк не стал разглядывать карточку. Он взялся за письмо, думая найти утешение хотя бы в нем.

Письмо пестрело ошибками, знаки препинания в нем отсутствовали, почерк был неразборчивый, тон раздражительный, эгоистичный. Боюсь, что даже несчастья той, кто его писала, не отличались оригинальностью. Это была неприкрашенная повесть о нищете, сомнениях, мелких уловках, сделках с совестью, убогих горестях, еще более убогих желаниях, о несчастье, которое унижает человека, о печали, которая вызывает к себе только жалость. Но тем не менее сквозившая в письме потребность в близости этого недостойного человека, которому оно было адресовано, и привязанность к нему казались искренними, хотя в основе всего этого лежал скорее инстинкт, чем осознанное чувство.

Йорк бережно сложил письмо, сунул его старику под подушку и снова сел к очагу. Улыбка, от которой резче проступили складки в уголках его рта, прикрытого усами, постепенно перебралась в ясные карие глаза и там потухла. Но в глазах она задержалась дольше всего и,— хоть это и покажется странным тому, кто мало знает Йорка,— оставила после себя слезу.

Он долго сидел у очага, сгорбившись, опустив голову на руки. Ветер, воевавший с парусиновой крышей, вдруг приподнял ее с одного конца. Полоска света, скользнув в комнату, сверкающим лезвием легла на плечо Йорка. И возведенный в рыцарское достоинство этим прикосновением, скромный, честный Генри Йорк встал с места, встал бодрый, воодушевленный высокой целью и уверенный в своих силах.

Наконец пришли дожди. Склоны гор явно начинали зеленеть, а уходившая вдаль белая дорога на Уингдэм, насколько хватал глаз, терялась среди луж и

озер. Русла пересохших ручьев, протянувшиеся по равнине, точно белые кости какого-то допотопного ящера, снова наполнились водой; вода зажурчала по долине, принося с собой радость старателям и порождая вполне простительные преувеличения на страницах монтефлетского «Стража».

«Впервые в истории нашего округа мы добились такой крупной выработки. Наш почтенный собрат по перу из «Хилсайдского маяка», иронизирующий по поводу того факта (?), что достойнейшие граждане Монте-Флета покидают затопленный поселок в «утлых челнах», будет рад услышать следующую новость: уважаемый всеми нами наш согражданин мистер Генри Йорк, уехавший сейчас на Восток навестить родных, вывез на таком вот «утлом челне» скромную сумму в пятьдесят тысяч долларов, полученную за золото, намытое им в течение одной недели. Мы склонны думать,— продолжала эта жизнерадостная газета,— что у Хилсайда нет оснований опасаться подобных «бедствий» в наступающем сезоне, просто «Маяк» ратует за постройку железной дороги».

Некоторые газеты ударились в поэзию. Телеграфист из Симсона передал в сакраментскую «Вселенную» следующую телеграмму: «Весь день с утра и до поздней ночи отягощенные облака изливали на землю свою влагу». Одна газета в Сан-Франциско разразилась стихами, подав их в виде передовой статьи: «Ликуйте! Легкий дождь шумит и скачет по холмам, и в каждой капле дождевой он радость шлет лугам. Ликуйте!» — и так далее.

И в самом деле, дождь принес радость всем, только не Планкету. Каким-то совершенно непонятным, таинственным образом дождь помешал усовершенствованию нового метода обогащения руды и отдалил рождение этого новшества еще на целый год. Неудача снова привела Планкета на его обычное место в салуне, где он и проводил время, повествуя равнодушной аудитории о Востоке и о своей семье.

Планкету не мешали говорить. Ходили слухи, что неизвестное лицо или лица внесли хозяину салуна некоторую сумму денег на удовлетворение скромных потребностей старика. К его чудачеству — так снисходительно истолковывали в Монте-Флете одержимость этого чело-

века—относились настолько терпимо, что даже принимали его приглашение отобедать с ним в семейном кругу в первый день рождества, а такого приглашения удостаивался каждый, с кем ему приходилось выпивать или беседовать. Но в один прекрасный день он удивил всех, вбежав в салун с письмом в руках. Там было написано следующее:

«Готовьтесь принять семью в первый день рождества в новом коттедже на Хэвитри-Хилле. Приглашайте гостей.

Генри Йорк».

Письмо молча передавали из рук в руки. Старик обводил всех взглядом, в котором сквозили то надежды, то страх. Врач многозначительно поднял брови.

— Явное надувательство,— тихо сказал он.— Чего другого, а хитрости у таких хватает. Они на это мастера. Только довести свой замысел до конца он не сможет. Смотрите, что сейчас будет.

— Слушай, старик,— сказал он громко и внушительно.— Это же обман, надувательство! Ну-ка, признавайся, да гляди мне прямо в глаза. Провести нас вздумал?

Планкет с минуту смотрел на него в упор и наконец потупился. Потом сказал, улыбнувшись бессильной улыбкой:

— Где мне с вами тягаться, друзья! Доктор верно говорит. Игра проиграна. Можете теперь со старика подковы содрать.— Пошатываясь, дрожа всем телом, слабо посмеиваясь, он занял свое обычное место у стойки и погрузился в молчание. Но уже на следующий день все было забыто, и снова началась болтовня о предстоящем празднестве.

Пробежали дни, недели, наступил первый день рождества — яркий, солнечный, согретый южным ветром, веселящий сердце пробивающейся повсюду молодой травкой. И в этот день в салуне вдруг поднялась суматоха. Эбнер Дин подбежал к дремавшему на стуле Планкету и принялся тормошить его.

— Старик, проснись! Йорк приехал, жена с дочерью дожидаются тебя в коттедже на Хэвитри-Хилле! Пой-

дем, старик! Ну-ка, друзья, поможем ему! — И несколько пар сильных рук с готовностью подняли старика, торжественно пронесли его сначала по улице, потом вверх по крутому склону горы и опустили, вырывающегося, оторопелого, у порога маленького коттеджа. В ту же самую минуту навстречу ему кинулись две женщины, но Генри Йорк остановил их.

Старик еле стоял на ногах. Дрожа всем телом, он сделал над собой мучительное усилие и выпрямился во весь рост. Взгляд его застыл, щеки посерели, голос прозвучал глухо:

— Все это обман, ложь! Они не родные мне, они чужие! Это не моя жена, не моя дочь. Моя дочь — красавица! Слышите вы? Красавица! Она в Нью-Йорке у матери, я привезу ее сюда. Я говорил, что поеду домой, и я ездил домой — слышите? Я ездил домой! Стыдно издеваться над стариком! Пустите меня! Уберите отсюда этих женщин. Пустите меня. Я поеду домой... домой!

Он судорожно взмахнул руками, рванулся в сторону, упал боком на ступеньки и скатился наземь. Его кинулись поднимать, но помощь опоздала: старик Планкет отправился домой.

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ МИСТЕРА ДЖОНА ОКХЕРСТА

Он всегда считал, что в это дело вмешалась сама судьба. И правда, ничто так не противоречило его образу жизни, как прогулка в тот летний день по городской площади в семь часов утра. В это время года, да, пожалуй, и не только в это, в Сакраменто редко когда можно было увидеть его бледное лицо раньше двух часов дня. Потому-то, разбирая впоследствии этот случай в свете многих сюрпризов, которые преподносила ему жизнь, он со свойственной его профессии склонностью пофилософствовать и решил, что в это дело вмешалась судьба.

Все же я, как беспристрастный повествователь, считаю своим долгом сказать, что появление мистера Окхерста в том месте, о котором идет речь, объяснялось весьма просто. Ровно в половине седьмого, когда в банке было уже двадцать тысяч долларов, мистер Окхерст встал из-за игорного стола, уступив место надежному помощнику, и скромно удалился, не привлекая к себе взглядов молчаливых, сосредоточенных игроков, склонившихся над столом. Но, войдя в свою роскошную спальню на другом конце коридора, он несколько удивился, увидев, что солнце льется в незакрытое по недосмотру окно. Редкостная прелесть утра, а может быть, новизна какой-то мысли поразила его, и он не стал опускать оконную штору, а, взяв

со стола шляпу и спустившись по отдельной лестнице, которая вела прямо к нему в номер, вышел на улицу.

Люди, ходившие по городу в этот ранний час, принадлежали к тому классу, которого мистер Окхерст совершенно не знал. Это были молочники и торговцы, разносившие свой товар, мелкие лавочники, открывавшие свои лавки, горничные, подметавшие ступеньки подъездов; изредка попадались и дети. Мистер Окхерст разглядывал их с любопытством, хоть и холодным, но лишенным той брезгливости, с которой он обычно посматривал на более привилегированных представителей рода человеческого из круга его знакомых. Я даже склонен думать, что ему вовсе не были неприятны восхищенные взгляды, которыми скромные женщины провожали его красивое лицо и фигуру, приметные даже в этой стране, где красивые мужчины не редкость. Этот прожженный авантюрист, гордившийся своим обособленным положением в обществе, вероятно, ответил бы ледяным равнодушием на внимание какой-нибудь изящной дамы, но восхищенный взгляд увязавшейся за ним одетой в лохмотья девчушки вызвал слабый румянец на его матово-бледном лице. В конце концов он отделался от нее, дав ей, однако, возможность убедиться в том, в чем рано или поздно убеждались многие из любвеобильных и проницательных представительниц женского пола, а именно: что мистер Окхерст — человек щедрый. Девочка заметила также то, чего, вероятно, до сих пор не замечала ни одна женщина: темные глаза этого прекрасного джентльмена на самом деле были серые со светло-карей искоркой.

Внимание мистера Окхерста привлек маленький садик перед белым коттеджем, стоявшим в переулке. В садике росли розы, гелиотроп и вербена — цветы, которые ему часто приходилось видеть собранными в букеты — форму весьма разорительную, хоть и более портативную. Но какой букет мог идти в сравнение с этой прелестью! Может быть, причиной тому была свежая роса, покрывавшая цветы, может, мистеру Окхерсту они нравились именно несорванными, кто знает! Во всяком случае, он оценил их не как будущее подношение очаровательной и высокоталантливой мисс Этелинде, выступавшей в варьете, по ее словам, исключительно ради мистера Окхерста;

не как douceur[1] мисс Монморесси, с которой ему предстояло ужинать в тот вечер,— он восхищался ими совершенно бескорыстно, и, может быть, эти цветы были для него просто цветами. Полюбовавшись садиком, мистер Окхерст зашагал дальше, на площадь, увидел под тополем скамейку и, смахнув с нее пыль носовым платком, сел.

Утро было чудесное, и, прислушиваясь к шелесту листвы, к легкому шороху ветвей, можно было подумать, будто деревья возвращаются к жизни, со вздохом расправляя свои онемевшие члены. Сьерра, совсем однотонная на фоне неба, вздымалась в такой дали отсюда, в такой дали, что даже солнце, отчаявшись добраться до нее, с безрассудной расточительностью заливало светом окрестность, заставляя все кругом по контрасту переливаться и сверкать белизной в его лучах. В совершенно несвойственном ему порыве мистер Окхерст снял шляпу и, откинувшись на спинку скамьи, поднял лицо к небу. Стайка птиц, весьма критически посматривавших на него с ветвей над самой скамейкой, принялась горячо обсуждать возможность каких-либо недобрых намерений у этого человека. Видя, что он сидит тихо, двое-трое смельчаков стали прыгать у самых его ног, пока их не спугнул скрип колес, катившихся по усыпанной гравием дорожке.

Повернув голову в ту сторону, мистер Окхерст увидел человека, который медленно приближался к нему, толкая перед собой весьма странного вида экипаж с полулежащей в нем женщиной. Сам не зная почему, мистер Окхерст сейчас же подумал, что коляска эта — изобретение и собственноручная работа того, кто ее вез; на эту мысль его натолкнула отчасти необычность экипажа, отчасти сила и ловкость лежавшей на его спинке рабочей руки, а может быть, гордость и самодовольство, которое чувствовалось в том, как этот человек управлял своим изделием.

Потом мистер Окхерст увидел еще кое-что — лицо мужчины было ему знакомо. Безошибочная память на лица тех, кто представал перед ним на поле его деятельности, сразу же подсказала: «Фриско, салун

---

[1] Знак нежного внимания *(франц.)*.

«Полька». Проиграл недельный заработок. Кажется, долларов семьдесят; ставил на красное. Больше не появлялся». Однако спокойный взгляд и бесстрастное лицо мистера Окхерста не выдали этих мыслей, когда он посмотрел на незнакомца, а тот, напротив, вспыхнул, смутился и, невольно замедлив шаги, остановил коляску с ее очаровательной пассажиркой около Окхерста.

Учитывая ту роль, которую эта дама займет в моем правдивом повествовании, вряд ли будет справедливо давать ее портрет сейчас, если даже допустить, что такая задача мне под силу. В обществе высказывали на этот счет довольно противоречивые мнения. Покойный полковник Старботтл, из богатого опыта которого в отношениях с прекрасным полом я и раньше черпал много полезных сведений, к сожалению, умалял ее очарование: «Калека, желтая, что твой лимон, а глаза красные, как у кролика. Совсем чахлая. Уж эти мне одухотворенные натуры! Кожа да кости!»

С другой стороны, представительницы ее пола удостаивали эту даму весьма лестных в своей пренебрежительности отзывов. Мисс Селестина Хауард, вторая прима-балерина варьете, в дальнейшем дала ей прозвище, построенное на аллитерации: «горбоносая гадюка». Мадемуазель Бримборьон, со своей стороны, припоминала, что она не раз говорила «мистеру Джеку»: «Эта женщина будет вас погубить».

Но мистер Окхерст, чьи впечатления нам важнее всего, увидел тогда перед собой только бледную, худенькую женщину с глубоко запавшими глазами, долгие страдания, одиночество и девическая застенчивость которой возвышали ее над сопутствовавшим ей человеком. Неиспорченность чувствовалась даже в складках ее свежего платья, в полных вкуса и изящества мелочах туалета, и мистер Окхерст почему-то решил, что фасон этого платья она придумала сама и сама сшила его, подобно тому как и коляска эта была, очевидно, работы сопровождавшего ее человека. Рука женщины, пожалуй, чересчур худая, но изящная, узкая в кисти и с тонкими пальцами, лежала на бортике коляски рядом с сильной рабочей рукой ее спутника.

Коляска наткнулась на какое-то препятствие, и мистер Окхерст встал, чтобы помочь. Пока они приход-

нимали колесо над обочиной тротуара, женщине пришлось опереться о его плечо, и на мгновение ее тонкая рука задержалась там, легкая и прохладная, как снежинка, и потом — так ему показалось,— как снежинка, растаяла. Наступило молчание, потом завязался разговор, и дама время от времени застенчиво вставляла в него словечко.

Оказалось, что они муж и жена. Что ревматизм лишил ее способности двигаться. Что последние два года она была прикована к постели, пока ее мужу — он мастер по столярному делу — не пришла в голову мысль сделать эту коляску. Он вывозит ее на прогулку каждое утро до работы — это у него единственные свободные часы, и рано утром на них не так... не так смотрят. Они обращались ко многим докторам, и все безуспешно. Им советовали ехать на серные воды, а это очень дорого. Мистер Декер — муж — скопил на поездку восемьдесят долларов, но в Сан-Франциско его обокрали, мистер Декер такой беспечный! (Догадливому читателю, конечно, не нужно разъяснять, что все это рассказывает дама.) Больше им уже не удавалось скопить такую сумму, и они оставили мысль о поездке. Как это ужасно, когда у вас крадут деньги! Ведь правда?

Муж стоял багровый, но лицо мистера Окхерста сохраняло спокойствие и невозмутимость; с полной серьезностью подтвердив справедливость ее слов, он пошел рядом с коляской до того садика, который недавно так приглянулся ему. Здесь мистер Окхерст попросил их остановиться и, подойдя к домику, огорошил его владельца предложением неслыханно высокой платы за право нарвать цветов по своему выбору. Вернувшись вскоре с охапкой роз, гелиотропа и вербены, он бросил их на колени больной. Она с детским восторгом нагнулась над цветами, а мистер Окхерст воспользовался этим и отвел мужа в сторону.

— Может быть,— начал он тихо и без тени раздражения в голосе,— может быть, вы хорошо сделали, что солгали ей. Теперь скажите, что вор пойман и вы получили деньги обратно.— Мистер Окхерст незаметно сунул в широкую ладонь растерявшегося мистера Декера четыре золотых монеты по двадцати долларов каждая.— Так и скажите или выдумайте что-нибудь еще,

только не говорите правды. Дайте слово, что не скажете!

Слово было дано. Мистер Окхерст спокойно вернулся к маленькой коляске. Больная все еще с увлечением перебирала цветы, и когда она взглянула на мистера Окхерста, ее блеклые щеки словно переняли у роз их яркие краски, а глаза — росистую свежесть. Но мистер Окхерст приподнял шляпу и, не дав времени поблагодарить себя, удалился.

К величайшему моему сожалению, я должен сказать, что мистер Декер не сдержал слова. В тот же вечер в простоте душевной и в порыве самопожертвования он, как все любящие мужья, возложил на семейный алтарь не только самого себя, но и своего друга и благодетеля. Однако справедливость требует добавить, что мистер Декер с жаром говорил о великодушии мистера Окхерста и, что очень характерно для людей его положения, восторгался загадочной славой игрока и присущим ему умением швырять деньги.

— А теперь, Элси, милочка, скажи, что ты прощаешь меня,— закончил мистер Декер, опускаясь на одно колено рядом с кушеткой, на которой лежала жена.— Ведь я хотел сделать лучше. Ведь только ради тебя, дорогая, я рискнул тогда во Фриско всеми деньгами. Рассчитывал на большой выигрыш, думал, что хватит на поездку, да еще останется тебе на новое платье.

Миссис Декер улыбнулась и погладила мужа по руке.

— Прощаю, Джо, милый,— сказала она, все еще улыбаясь и устремив рассеянный взгляд на потолок.— Правда, тебя следовало бы высечь за ложь и за то, что ты заставил меня наговорить таких вещей, скверный мальчишка. Ну, хорошо, довольно об этом. Если ты будешь теперь паинькой и дашь мне эти розы, так и быть, я тебя прощаю.

Она взяла розы, поднесла к лицу и вскоре проговорила:

— Джо!

— Что, милочка?

— Ты думаешь, этот... мистер — как там его, Джек Окхерст,— вернул бы тебе деньги, не наговори я такого вздора?

— Да.

— Если бы он даже не видел меня?

Мистер Декер взглянул на жену. Розы закрывали ей все лицо, оставляя на виду только глаза, в которых поблескивал опасный огонек.

— Нет! Это все ты, Элси, только ради тебя он и решился на такой поступок.

— Ради несчастной калеки?

— Ради очаровательной, прелестной, хорошенькой Элси — моей маленькой женушки! Ну, разве он мог устоять?

Прижимая розы к лицу, миссис Декер другой рукой ласково обняла мужа за шею. Потом принялась бормотать сквозь цветы нечто чрезвычайно глупое: «Милый мой дурашка, Джо. Медвежонок мой косолапый». Но, право, будучи повествователем, строго придерживающимся одних лишь фактов, я не считаю нужным приводить здесь дальнейшие слова этой маленькой женщины и умолкаю из уважения к чувствам моих незамужних читательниц.

Тем не менее, выехав следующим утром на площадь, миссис Декер проявила легкую, но мало объяснимую нервозность и вскоре попросила мужа отвезти ее домой. Она чрезвычайно удивилась, встретив на обратном пути мистера Окхерста, и, не узнав его сразу, даже спросила мужа, правда ли, что это вчерашний незнакомец. Ее обращение с ним представляло разительный контраст с дружеским приветствием, которым встретил его муж.

Мистер Окхерст не преминул заметить это. «Муж все ей рассказал, и она рассердилась на меня»,— подумал он, роковым образом упуская из виду половину тех причин, на которых основывается поведение женщин, а эту ошибку совершают даже самые мудрые критики из мужского сословия.

Мистер Окхерст задержался около них только для того, чтобы спросить у мужа, где он работает, а потом с достоинством приподнял шляпу и, не взглянув на даму, удалился. Простодушного мастера изумила очаровательная непоследовательность жены, ибо после столь натянутой и неприятной встречи она вдруг пришла в хорошее расположение духа.

— А ты сурово с ним обошлась. Пожалуй, чересчур

сурово, а, Элси? — сказал он укоризненно.— Как бы он не догадался, что я нарушил свое обещание.

— Да?.. Ты думаешь? — равнодушно проговорила Элси.

Мистер Декер обошел коляску и стал лицом к жене.

— Ты сейчас совсем как важная дама, Элси! Будто разъезжаешь по Бродвею в собственном экипаже,— сказал он.— И какая веселая да хорошенькая! Я тебя никогда такой не видел!

Через несколько дней владелец серных источников в Сан-Изабеле получил следующее письмо, написанное хорошо знакомым ему изящным почерком мистера Окхерста:

«Дорогой Стив!

Я обдумал твое предложение купить пай Николса и решил согласиться. Но мне кажется, что затраты оправдают себя только в том случае, если ты позаботишься об удобствах, имея в виду самую чистую публику, то есть *моих* клиентов. Необходимо расширить главный корпус и построить еще два-три коттеджа. Посылаю тебе строителя, пусть сразу же принимается за работу. С ним едет его больная жена, отнесись к ним так, как если бы это был кто-нибудь из наших.

Возможно, что после скачек я сам к вам приеду посмотреть, как идут дела; но игры в этом сезоне вести не буду. Всегда готовый к услугам

Джон Окхерст».

Критику вызвало только последнее сообщение.

— Я понимаю,— сказал собрат мистера Окхерста по профессии, мистер Гемлин, которому было показано письмо,— я понимаю, почему Джек выкладывает такие деньги на строительство — это дело верное и со временем даст хорошие барыши, если он будет наезжать сюда почаще. Но почему не вести игру в этом сезоне и упускать случай вернуть часть денег, пущенных в оборот,— вот это для меня загадка. Любопытно,— добавил он в глубоком раздумье,— что там у него на уме?

Последний сезон был весьма удачным для мистера Окхерста и, следовательно, весьма разорительным для нескольких членов законодательных органов, судей, полковников и некоторых других лиц, имеющих удовольствие, правда, быстротечное, пользоваться по ночам обществом мистера Окхерста. Несмотря на это, жизнь в Сакраменто стала для него теперь пресной. За последнее время он пристрастился к ранним прогулкам, и это казалось его друзьям мужского и женского пола настолько необычным и странным, что они сгорали от любопытства. Кое-кто из последних даже посылал за ним соглядатаев, но в результате слежки удалось выяснить лишь то, что мистер Окхерст приходит на площадь, садится ненадолго на одну и ту же скамью и, ни с кем не повидавшись, возвращается обратно. Таким образом, версия о причастности к этому делу женщины отпала сама собой. Несколько суеверных джентльменов одной с ним профессии считали, что мистер Окхерст проделывает все это «на счастье». Кое-кто попрактичнее уверял, будто он обдумывает там картежные комбинации.

После скачек в Мэрисвилле мистер Окхерст уехал в Сан-Франциско; потом вернулся обратно, но через несколько дней его уже видели в Сан-Хосе, Санта-Круце и Окленде. По словам тех, кто встречался с ним в этих местах, мистер Окхерст был чем-то обеспокоен и нервничал вопреки своей обычной флегматичности и выдержке. Полковник Старботтл особенно подчеркивал тот факт, что в клубе в Сан-Франциско Джек отказался метать банк.

— Рука нетвердая, сэр, верьте моему слову, отвыкает от работы, пропади оно пропадом!

Из Сан-Хосе мистер Окхерст выехал по направлению к Орегону на лошадях, в дорогом экипаже, но, добравшись до Стоктона, внезапно свернул в сторону и спустя четыре часа появился уже верхом в каньоне около санизабелских горячих серных источников.

Сан-Изабел лежал в очаровательной треугольной долине у подножия трех пологих гор, густо поросших сосняком, путаницей земляничных деревьев и манзанита. Сквозь листву виднелись примостившиеся у горных склонов строения и длинная веранда отеля; там и сям белели маленькие, словно игрушечные, коттеджи.

Мистер Окхерст не принадлежал к числу любителей природы, но этот вид вызвал у него то же необычное и приятное ощущение, как и первая утренняя прогулка в Сакраменто. Навстречу ему стали попадаться коляски с нарядно одетыми женщинами, и в холодном калифорнийском пейзаже появилось что-то человечески теплое и яркое. Потом снова открылась вся длинная веранда отеля, блиставшая туалетами разодетых дам. Мистер Окхерст, будучи хорошим наездником калифорнийской выучки, подлетел к отелю галопом, круто осадил коня на расстоянии одного фута от веранды и преспокойно возник из облака пыли, скрывшего его в ту минуту, когда он спешивался.

Какое бы волнение ни испытывал сейчас мистер Окхерст, обычная выдержка помогла ему, лишь только он ступил на веранду. Вооружившись многолетней привычкой, он встретил устремленные на него в упор взгляды с тем же холодным равнодушием, с каким всегда встречал плохо скрываемое презрение мужчин и пугливое восхищение женщин. Только один человек вышел к нему навстречу. Как ни странно, это был Дик Гамильтон, может быть, единственный из всех присутствующих, кто по своему рождению, воспитанию и положению в обществе мог удовлетворить самых придирчивых критиков. К счастью для Окхерста, Гамильтон был также крупным банкиром и вообще личностью весьма влиятельной.

— А вы знаете, с кем вы сейчас говорили? — с испуганным видом спросил его молодой Паркер.

— Да,— вызывающе ответил Гамильтон.— Это человек, которому на прошлой неделе вы проиграли тысячу долларов. Я же встречался с ним *только* в гостиных.

— Но ведь он, кажется, профессиональный игрок?— осведомилась младшая мисс Смит.

— Совершенно верно,— подтвердил Гамильтон,— но мне бы очень хотелось, милая барышня, чтобы все вели такую честную и открытую игру, как этот наш друг, и так же стойко сносили ее превратности.

К счастью, мистер Окхерст не слышал этого разговора, ибо он уже прогуливался по верхнему залу с видом безразличным, но в то же время настороженным. И вдруг позади него раздались чьи-то легкие шаги,

знакомый голос назвал его по имени, и вся кровь прилила ему к сердцу. Мистер Окхерст обернулся — перед ним стояла она.

Но какая перемена! Если несколько страниц назад я не решался описать калеку с глубоко запавшими глазами, жену ремесленника, одетую не по моде, то что же мне делать теперь с изящной, статной и элегантной женщиной, в которую миссис Декер превратилась за эти два месяца? Клянусь честью, она была хороша собой.

Без сомнения, мы с вами, уважаемая сударыня, сразу бы обнаружили, что эти очаровательные ямочки не отвечают требованиям истинной красоты, и для лица, которое хочет казаться простодушно-веселым, обозначены слишком резко; что в еле заметных линиях около вырезанных ноздрей есть что-то жестокое и эгоистичное; что наивно-милый, удивленный взгляд может быть обращен и к тарелке супа и к рассыпающемуся в любезностях соседу за столом; что эти щечки загораются румянцем и бледнеют не из симпатии к вам, а лишь в ответ на ее собственные ощущения. Но ведь мы с вами, уважаемая сударыня, не влюблены в эту женщину, а мистер Окхерст влюблен. Боюсь, что бедняга даже в складках ее парижского туалета узрел ту же неиспорченность, которая сквозила когда-то в простеньком самодельном платье. А потом это восхитительное открытие, что она может ходить, что у нее очаровательные ножки в крохотных туфельках работы французского мастера, с огромными синими бантами, с клеймом на узенькой подошве: Rue такая-то, Paris.

Вспыхнув, он бросился ей навстречу, протянул ей руки. Но она заложила свои за спину, быстро огляделась по сторонам и стала перед мистером Окхерстом, посматривая на него не то лукаво, не то с дерзким восхищением, что совершенно не походило на ее прежнюю сдержанность.

— Я было не хотела подавать вам руку. Вы прошли по веранде и даже не заговорили со мной, а я побежала за вами, как, должно быть, случалось бегать не одной бедняжке.

Мистер Окхерст пробормотал, что она так изменилась!

— Тем более, вы должны были узнать меня. Я изменилась? А кто тому виной, сэр! Вы сотворили меня заново. Вы встретили беспомощную, больную, нищую калеку, у которой было одно-единственное платье, ею же самой сшитое, и вы дали ей жизнь, здоровье, силы и деньги. Все это дело ваших рук, и вы это знаете, сэр. Как вам нравится ваше собственное творение?— Она прихватила с обеих сторон подол платья и сделала шутливый реверанс. Потом, словно сжалившись над ним, протянула ему обе руки.

Я боюсь, что эти слова покажутся моим прекрасным читательницам бесстыдными и неженственными, но мистеру Окхерсту они понравились. И не потому, что он привык к откровенному восхищению женщин; то восхищение шло из-за театральных кулис, а не из монастыря, с которым он всегда мысленно связывал миссис Декер. Выслушав такие слова от пуританки, от недужной праведницы, все еще окруженной ореолом страданий, от женщины, которая держала у себя на туалетном столике библию, три раза на дню посещала церковь и нежно любила своего мужа,— выслушав от нее такие слова, мистер Окхерст признал себя сраженным. Он все еще не выпускал ее рук, а она продолжала:

— Почему вы не приехали раньше? Что вы делали в Мэрисвилле, в Сан-Хосе, в Окленде? Видите, я следила за вами. Я узнала вас, когда вы ехали каньоном. Я прочла ваше письмо к Джозефу и стала ждать вас. Почему же вы мне не написали? Когда-нибудь еще напишете! Добрый вечер, мистер Гамильтон!

Она отняла у него свои руки, дав, однако, Гамильтону время сойти с лестницы и почти поравняться с ними обоими. Он с вежливой сдержанностью приподнял шляпу, дружески кивнул Окхерсту и прошел мимо. Когда Гамильтон удалился, миссис Декер подняла глаза на мистера Окхерста.

— Когда-нибудь я попрошу вас о большом одолжении!

Мистер Окхерст умолял сделать это сейчас же.

— Нет, сначала вы должны узнать меня поближе. А тогда я попрошу вас... убить этого человека.

Она рассмеялась — какой приятный, звенящий смех, какие ямочки на щеках, пожалуй, чуть резкие в уголках

рта, какая невинность в этих карих глазках, какой очаровательный румянец,— и мистер Окхерст, смеявшийся редко, готов был тоже рассмеяться.

Словно ягненок предлагал волку совершить набег на соседнюю овчарню.

Как-то вечером, через несколько дней после этого разговора, миссис Декер вышла из круга своих горячих поклонников, извинилась, что покидает общество, и, со смехом отклонив предложение проводить себя, побежала с веранды к маленькому коттеджу по ту сторону дороги — одному из творений ее супруга. Возможно, что от спешки, непривычной для выздоравливающей, дыхание у нее было прерывистое и частое, и когда она входила в свой будуар, то раз или два прижала руку к груди. Она зажгла лампу и вздрогнула, увидев, что муж лежит на кушетке.

— Ты разгорячилась и чем-то взволнована, Элси?— сказал мистер Декер.— Ты плохо себя чувствуешь, дорогая?

Побледневшее лицо миссис Декер снова вспыхнуло.

— Нет,— ответила она.— Только здесь немножко болит,— и опять положила руку на корсаж.

— Чем я могу помочь тебе?— с нежной заботливостью спросил мистер Декер, вставая с кушетки.

— Сбегай в отель и принеси мне коньяку.

Мистер Декер побежал. Миссис Декер затворила дверь, заперла ее на задвижку и вынула из-за корсажа то, от чего у нее болела грудь. Это была сложенная вчетверо записочка, написанная, как мне ни грустно признать, рукой мистера Окхерста.

Миссис Декер впилась в его послание горящими глазами, щеки у нее пылали. Но вот на веранде послышались шаги. Она второпях сунула записку за корсаж и отперла дверь. Вошел муж; она поднесла рюмку к губам и сказала, что теперь ей стало легче.

— Ты опять пойдешь туда вечером? — робко спросил мистер Декер.

— Нет,— ответила миссис Декер, задумчиво опустив глаза.

— Я бы на твоем месте не ходил,— сказал мистер Декер со вздохом облегчения. После небольшой паузы он сел на кушетку, привлек к себе жену и заговорил:

— Знаешь, Элси, о чем я думал, когда ты вошла?

Миссис Декер запустила пальцы в его жесткую черную шевелюру и сказала, что понятия не имеет.

— Я думал о прежнем нашем житье-бытье, Элси; о тех денечках, когда я смастерил тебе коляску, сам возил тебя на прогулки и был и за лошадь и за кучера. Жили мы тогда бедно, и ты болела, Элси, но разве нам с тобой было плохо? Теперь у нас и деньги завелись, и дом есть, и тебя не узнать. Можно даже сказать, голубчик, что ты теперь стала какая-то другая, будто совсем новая. В том-то и беда... Я мог смастерить тебе коляску; я мог выстроить тебе новый дом, Элси, а дальше — стоп. Ты теперь совсем другая, ты окрепла, похорошела,— новый человек, да и только. Но я-то тут ни при чем, Элси!

Он замолчал. Ласково приложив одну руку ему ко лбу, другую поднеся к своей груди, словно желая удостовериться, что прежняя боль все еще там, все еще не утихла, она проговорила нежно и успокаивающе:

— Нет, милый, всем этим я обязана тебе.

Мистер Декер грустно покачал головой.

— Нет, Элси. Была у меня такая возможность, да я ее упустил. Теперь дело сделано, и я тут ни при чем.

Миссис Декер устремила на мужа взор, исполненный простодушного удивления. Он нежно поцеловал ее и заговорил чуть веселее:

— Я вот еще о чем думал, Элси... Может быть, ты слишком часто видаешься с этим мистером Гамильтоном? Ничего дурного тут нет ни с твоей, ни с его стороны. Но могут пойти разговоры. Ты ведь здесь одна-единственная, Элси,— сказал он, любовно глядя на жену,— о ком не сплетничают, чьи поступки не судят вкривь и вкось.

Миссис Декер была очень рада, что он заговорил об этом. Сама она тоже так думает, но ей не хочется быть невежливой с мистером Гамильтоном, он такой джентльмен — чего доброго, наживешь в нем опасного врага.

— Кроме того, он всегда обращался со мной, как с дамой своего круга,— горделиво добавила миссис Декер, вызвав этими словами ласковую улыбку мужа.— Но у меня есть один план. Мистер Гамильтон не останется здесь после моего отъезда. Что, если мне собрать-

ся на несколько дней в Сан-Франциско навестить маму. Он уедет отсюда до того, как я вернусь.

Мистер Декер пришел в восторг от такого замысла.

— Конечно, конечно,— сказал он,— завтра же и поезжай. Джек Окхерст тоже едет в Сан-Франциско, он о тебе позаботится в дороге.

Миссис Декер сочла, что это будет неблагоразумно.

— Мистер Окхерст наш друг, Джозеф, но ты ведь знаешь, какая у него репутация.— Она даже сомневалась, стоит ли ей уезжать в один день с ним, но мистер Декер поцелуем прогнал все ее сомнения. Она мило согласилась с ним. Немногие женщины умели так очаровательно проявлять покорность, как миссис Декер.

В Сан-Франциско миссис Декер пробыла неделю. Она вернулась оттуда немного похудевшая и бледненькая. По ее словам, это объяснялось обилием впечатлений и тем, что ей пришлось много ходить.

— Меня по целым дням не бывало дома. Мама тебе это подтвердит,— говорила мужу миссис Декер.— И я всюду ходила одна. Я теперь стала такая самостоятельная! — весело добавила она.— Мне уже не нужно провожатых, Джо, я могу обходиться даже без тебя— вот какая я теперь храбрая!

Но поездка, по-видимому, не оправдала ее расчетов. Мистер Гамильтон никуда не уехал, он по-прежнему жил в Сан-Изабеле и в тот же вечер навестил их.

— У меня зародился один план, голубчик Джо,— сказала миссис Декер, когда их гость ушел.— У бедного мистера Окхерста такой скверный номер в отеле. Что, если ты предложишь ему перебраться к нам, когда он приедет из Сан-Франциско? Мы отдадим ему свободную комнату. Я надеюсь,— добавила она лукаво,— что мистер Гамильтон тогда не будет таким частым гостем у нас.

Муж рассмеялся, назвал ее маленькой кокеткой, потрепал по щечке и согласился.

— Удивительный народ эти женщины,— доверительно сказал он несколько дней спустя в одну из своих бесед с мистером Окхерстом.— У них нет своего плана, так они берут первый попавшийся и строят здание по собственному вкусу, совсем другое, чем было задумано. Но, черт побери, кто из нас поручится, что у них не

пошли в ход наши масштабы и расчеты? Удивительное дело, правда?

На следующей неделе мистер Окхерст обосновался в коттедже Декеров. Все знали, что с мужем его связывают деловые отношения, а репутация жены была выше всяких подозрений. В самом деле, немногие могли похвалиться такой доброй славой. Миссис Декер считалась домоседкой, женщиной благоразумной и набожной. Живя в стране, где существа прекрасного пола пользуются большой свободой и независимостью, она не выезжала и не выходила на прогулки без мужа; в те дни, когда жаргонные словечки и двусмысленности были в таком ходу, речь ее отличалась сдержанностью и точностью выражений; несмотря на широко вошедшую в моду показную роскошь, она не носила ни бриллиантов, ни других драгоценностей; никогда не позволяла себе ни малейшей вольности на людях, не поощряла распущенности, царившей в калифорнийском обществе; осуждала господствовавшие в те времена неверие и скептицизм в вопросах религии. Из всех, кто был в тот вечер в гостиной отеля, немногие, вероятно, забудут, какой достойный и внушительный отпор дала она мистеру Гамильтону, пустившемуся в рассуждения об одной недавно вышедшей книге, исполненной крайнего материализма, а кое у кого останется в памяти и недоуменная мина мистера Гамильтона, сменившаяся иронической серьезностью, когда он мало-помалу вежливо сдался в споре. И уж, во всяком случае, надолго запомнится все это мистеру Окхерсту, который с того вечера испытывал неловкость и раздражение в присутствии друга и — если только это слово можно применить к его характеру — даже побаивался мистера Гамильтона.

Именно в то время мистер Окхерст стал изменять своим привычкам. Его уже редко, а то и вовсе нельзя было встретить в игорных домах, в салунах, в обществе прежних друзей. На туалетном столике в Сакраменто накапливались груды розовых и белых записочек, написанных неровным почерком. В Сан-Франциско прошел слух, что мистер Окхерст страдает пороком сердца и врачи предписали ему полный покой. Он стал больше читать, подолгу гулял, распродал своих рысаков, посещал церковные службы.

В памяти у меня живо сохранилось его первое появление в церкви. Мистер Окхерст явился туда не вместе с Декерами и не сел на их скамью, а вошел, как только началась служба, и скромно занял место в одном из задних рядов. Таинственным образом его присутствие стало немедленно известно молящимся, и некоторые любопытные прихожане настолько забылись, что стали оглядываться назад и словно обращали к нему те возгласы, которые полагаются по ходу богослужения.

Еще задолго до конца службы всем стало ясно, что слова «несчастные грешники» относятся не к кому иному, как к мистеру Окхерсту. Те же таинственные силы возымели действие и на проповедника, который не преминул намекнуть на профессию и образ жизни мистера Окхерста в своей проповеди об архитектуре Соломонова храма, и намеки эти были настолько прозрачны, хоть и притянуты за уши, что даже самый юный из нас исполнился негодования. Но, к счастью, все это прошло мимо ушей Джека,— по-моему, он вовсе их не слышал. Его красивое матово-бледное лицо — правда, несколько изнуренное и задумчивое — было непроницаемо. Только раз, во время пения гимна, когда в хоре голосов вдруг послышалось чье-то контральто, в темных глазах мистера Окхерста проскользнула тоскливая нежность, такая горячая и вместе с тем безнадежная, что те, кто наблюдал за ним, чуть не прослезились. Но наряду с этим я живо вспоминаю, как мистер Окхерст поднялся принять благословение, всем своим видом и наглухо застегнутым сюртуком напоминая дуэлянта в десяти шагах от противника. Когда служба кончилась, он удалился так же тихо, как и вошел, не услышав, к счастью, толков по поводу своего опрометчивого поступка. Его появление в церкви расценивалось всеми как дерзость, на которую он пошел просто ради озорства или, может быть, на пари. Некоторые считали, что причетник совершил оплошность, не выгнав этого человека, как только стало известно, кто он такой; один почтенный прихожанин заявил, что если нельзя водить сюда жену и дочь, не подвергая их таким дурным влияниям, то придется искать другую церковь. Кто-то приписал случай с мистером Окхерстом усилению неких радикальных тенденций, имевших место в англиканской

церкви,— тенденций, кои, как это ни прискорбно, начинают, по-видимому, оказывать свое влияние и на самого пастора. Его преподобие Сойер, хрупкая, болезненная жена которого родила ему одиннадцать человек детей и пала жертвой честолюбивого замысла довести счет потомства до дюжины, утверждал, будто присутствие в церкви мистера Окхерста, славившегося своими бесчисленными любовными похождениями, оскорбляет память усопшей, чего он, будучи мужчиной, не потерпит.

Приблизительно в это же время, сопоставив себя с людьми самыми обычными, в обществе которых ему до сих пор почти не приходилось вращаться, мистер Окхерст понял, что в его лице, фигуре и манерах есть нечто такое, что выделяет его среди других и если не говорит прямо о его прежней профессии, то, во всяком случае, выдает в нем оригинала и настраивает на подозрительный лад. Под влиянием этой мысли он сбрил свои длинные шелковистые усы и взял себе за правило каждое утро прилизывать щеткой кудрявые волосы. Он зашел даже настолько далеко, что старался добиться некоторой небрежности в костюме и обул свои изящные маленькие ноги с высоким подъемом в тяжелые башмаки не по размеру. Рассказывают, будто он явился однажды к своему портному в Сакраменто и заказал костюм — «такой, как у всех». Портной, прекрасно знавший, как трудно угодить на мистера Окхерста, не понял, что ему нужно.

— Мне нужно,— свирепо сказал мистер Окхерст,— что-нибудь *респектабельное*, понимаете, что-нибудь такое, что совсем не в моем вкусе.

Но как ни старался мистер Окхерст спрятать свою статную фигуру под простой, непритязательной одеждой, в его манерах, в посадке прекрасной головы, в мужественной красоте осанки, в абсолютно безупречном владении телом, в спокойствии, не столько выработанном, сколько дарованном ему самой природой,— во всем этом было что-то такое, что сразу выделяло его из тысячи, где бы и с кем бы он ни появлялся. Факт этот, должно быть, впервые предстал перед мистером Окхерстом со всей ясностью, когда он, ободренный советом и помощью мистера Гамильтона, а также и по собственной склонности стал маклером в Сан-Франциско. Еще

до того, как послышались протесты против включения его в биржевой комитет — насколько я помню, особенно усердствовал Уот-Сэндерс, считавшийся изобретателем системы вытеснения мелких акционеров и бывший, по слухам, виновником финансового краха и самоубийства Бригса из Туолумны,— до того, как респектабельность официально восстала против беззакония, орлиный облик и повадки мистера Окхерста уже успели не только всполошить голубков, но привели в смятение и ястребов, круживших под ним со своей добычей.

— Черт его побери! Он способен и к нам протянуть свои когти! — сказал Джо Филдинг.

До закрытия короткого летнего сезона на серных водах в Сан-Изабеле оставалось несколько дней. Наиболее изысканная публика уже начинала понемногу разъезжаться, а те, кто еще не успел уехать, волей-неволей переходили в низший разряд. Мистер Окхерст был мрачен: кое-кто намекал, что даже прочно установившаяся репутация миссис Декер не спасла ее от сплетен, вызванных его присутствием здесь. К чести миссис Декер следует сказать, что все испытания последних недель она переносила с видом кроткой, бледноликой мученицы и в своем обращении с клеветниками проявляла мягкость и всепрощающую доброту — качества натуры, которая ищет опору не в дешевой лести, а в высоком принципе и пренебрегает ради него благосклонностью общества.

— Обо мне и о мистере Окхерсте ходят сплетни,— сказала она одной своей приятельнице,— но господь бог и мой муж лучше всех могут ответить на эту клевету. Никто не посмеет сказать, что муж мой отвернулся от друга в трудную для него минуту только потому, что они поменялись местами: друг стал беден, а он богат.

Так в обществе впервые узнали, что Джек разорился; то, что Декеры приобрели за последнее время солидную недвижимость в Сан-Франциско, было уже известно.

Спустя несколько дней в Сан-Изабеле произошло событие, весьма неприятно нарушившее мир и благодать, всегда царившие в жизни курорта. Это случилось за обедом; все увидели, что мистер Окхерст и мистер Гамиль-

тон, занимавшие отдельный столик, взволнованные чем-то, разом поднялись со своих мест. Выйдя в холл, они, словно по обоюдному согласию, свернули в маленькую буфетную, где в эту минуту никого не было, и притворили за собой дверь. Мистер Гамильтон посмотрел на своего друга и с полушутливой-полусерьезной улыбкой сказал:

— Если нам суждено поссориться, Джек Окхерст— это нам-то с вами! — не будем выставлять себя в смешном свете, давайте подождем более серьезного повода, чем эта...

Я не знаю, какой именно эпитет он хотел употребить. Конец фразы остался недоговоренным или же пропал втуне, ибо в эту минуту мистер Окхерст поднял стакан и выплеснул его содержимое в лицо Гамильтону.

Казалось, что эти два человека, стоявшие друг против друга, поменялись характерами. Мистер Окхерст дрожал от волнения: опуская стакан на стол, он еле держал его в руках. Мистер Гамильтон стоял, выпрямившись, капли вина стекали с его посеревшего лица. После короткого молчания он сказал ледяным тоном:

— Пусть будет так! Но помните: наша ссора началась здесь. Если я паду от вашей руки, вы не воспользуетесь этим, чтобы обелить *ее* в глазах общества; если же вы падете от моей, да не сочтут вас мучеником. Очень жалею, что так вышло, но ничего не поделаешь. Теперь чем скорее, тем лучше!

Он горделиво вскинул голову, прикрыл веками свои холодные стальные глаза, словно пряча рапиру в ножны, поклонился и спокойно вышел из комнаты.

Они сошлись спустя двенадцать часов в небольшой ложбине у дороги на Стоктон, в двух милях от Сан-Изабела. Принимая из рук полковника Старботтла пистолет, мистер Окхерст сказал ему вполголоса:

— Каков бы ни был исход, я не вернусь в отель. У меня в номере оставлены мои распоряжения. Зайдите туда...— Голос его дрогнул; к великому изумлению секунданта, мистер Окхерст отвернулся, пряча набежавшие на глаза слезы.

— Сколько раз мне приходилось бывать с Джеком в таких переделках,— рассказывал потом полковник Старботтл,— и никогда он так не раскисал. А тут, клянусь

богом, пока он не занял позиции, я готов был подумать. что у него душа в пятки ушла!

Выстрелы раздались почти одновременно. Правая рука мистера Окхерста повисла, и пистолет выпал бы из парализованных пальцев, если бы не его поразительное умение владеть своими нервами и мускулами; он не разжимал руки до тех пор, пока не ухитрился переложить пистолет в другую, не меняя позиции. Потом наступила тишина, казавшаяся нескончаемой; смутно различимые в сумерках фигуры приблизились к тому месту, где все еще лениво стлался дымок; потом прерывающийся хриплый голос полковника Старботтла у него над ухом:

— Тяжело ранен... легкое навылет... удирайте!

Джек недоумевающе поднял на секунданта свои темные глаза, видимо, не слыша его; он словно вслушивался в чей-то другой, далекий голос. После минутного колебания он шагнул в ту сторону, где стояли люди. Потом снова остановился, увидев, что они расходятся, а навстречу ему спешит врач.

— Он хочет поговорить с вами. Я знаю, вам нельзя медлить, но,— врач понизил голос,— мой долг сказать, что у него времени совсем не осталось.

Выражение такой горькой безнадежности исказило обычно бесстрастное лицо мистера Окхерста, что врач отшатнулся от него.

— Вы ранены! — сказал он, взглянув на бессильно повисшую руку.

— Пустяки, царапина,— быстро проговорил Джек. Потом добавил с холодной усмешкой: — Мне сегодня не везет. Но пойдемте! Посмотрим, что ему нужно.

Шагая быстро, спеша что есть сил, он обогнал врача и в мгновение ока очутился возле умирающего, который, как почти все умирающие, лежал спокойно и тихо в кругу суетящихся людей. В лице мистера Окхерста такого спокойствия не было, когда он опустился на колени и взял его за руку.

— Я хочу поговорить с этим джентльменом наедине,— сказал Гамильтон, и в его голосе послышались прежние повелительные нотки. Лишь только секунданты и врач отошли, он поднял глаза на Окхерста.— Мне нужно кое-что сказать вам, Джек.

Мистер Гамильтон был бледен, но все же не так, как мистер Окхерст, склонивший над ним свое лицо, полное муки, сомнений и предчувствия неминуемой беды,— лицо, столь усталое и жалкое в той жажде конца, которая чувствовалась в нем, что состраданием к этому человеку сквозь смертную истому проникся даже умирающий, и циническая усмешка замерла у него на губах.

— Простите меня, Джек, за то, что вам придется услышать,— прошептал он еле внятно.— Я говорю это не со зла, а просто потому, что сказать надо. Я бы не выполнил своего долга... я не могу умереть спокойно, пока вы не узнаете всего. Это скверная история, с какой бы стороны на нее ни посмотреть. Но теперь уже ничего не поделаешь. Мне следовало бы умереть от пули Декера, а не от вашей.

Джек вспыхнул и сделал движение, чтобы встать, но Гамильтон удержал его.

— Слушайте! У меня в кармане два письма. Возьмите их, вот они. Почерк вам знаком. Но дайте слово, что вы прочтете их только тогда, когда будете в полной безопасности. Дайте мне слово!

Джек безмолвствовал, он держал письма в руке, точно это были раскаленные угли.

— Дайте слово! — прошептал Гамильтон.

— Зачем? — холодно спросил Окхерст, отпуская руку своего друга.

— Затем,— с горькой улыбкой сказал умирающий,— затем, что, прочтя их, вы вернетесь сюда, где вас ждет... тюрьма... и... смерть!

Это были его последние слова. Он слабо пожал Джеку пальцы. Потом его рука разжалась, и он поник бездыханный.

Было уже около десяти часов вечера, и миссис Декер в томной позе лежала с книжкой на кушетке, в то время как ее муж спорил о политике в баре отеля.

Вечер стоял теплый, стеклянная дверь на балкон была приотворена. Вдруг миссис Декер услышала на балконе чьи-то шаги и, вздрогнув, подняла глаза от книж-

ки. Вслед за тем дверь распахнулась, и в комнату вошел человек.

Миссис Декер с испуганным криком поднялась с кушетки.

— Боже мой, Джек, вы сошли с ума! Он вышел ненадолго, может вернуться каждую минуту. Приходите через час... завтра... в любое время, когда я выпровожу его отсюда, но сейчас уходите, милый, уходите!

Мистер Окхерст подошел к двери, запер ее на задвижку и, не говоря ни слова, повернулся к миссис Декер. Лицо у него было осунувшееся, правый рукав висел пустой, на забинтованной руке сквозь повязку проступала кровь.

И все же голос миссис Декер прозвучал твердо, когда она снова обратилась к нему:

— Джек, что произошло? Как вы очутились здесь?

Мистер Окхерст расстегнул сюртук и бросил к ее ногам два письма.

— Я пришел вернуть ваши послания к любовнику и убить вас... и себя,— сказал он так тихо, что слов его почти нельзя было разобрать.

Среди многих добродетелей этой достойнейшей женщины насчитывалось и беспримерное мужество. Миссис Декер не упала в обморок, даже не вскрикнула. Она медленно опустилась на кушетку, сложила руки на коленях и спокойно проговорила:

— Ну что ж, убейте!

Если б она отпрянула от него, проявила страх или раскаяние, попыталась прибегнуть к уверткам и объяснениям, мистер Окхерст счел бы все это доказательством ее виновности. Но ничто так не пленяет мужественную натуру, как мужество в других; только перед отчаянием склоняется отчаявшийся. Проницательность мистера Окхерста была не настолько остра, чтобы отличить мужество от нравственной чистоты. Даже ярость не помешала ему оценить бесстрашие больной женщины.

— Ну что ж, убейте! — повторила она с улыбкой.— Вы дали мне жизнь, здоровье, счастье, Джек. Вы дали мне любовь. Ну что ж, берите свои дары обратно. Убейте меня! Я готова.

Как и при первой встрече в отеле, она с бесконечной грацией и покорностью протянула ему руки. Джек под-

нял голову, как безумный, посмотрел ей в глаза, упал на колени и поднес край ее платья к своим дрожащим губам. Миссис Декер была слишком умна, чтобы не почувствовать себя победительницей, но в ней слишком сильна была женщина, чтобы она не захотела до конца вкусить сладость своей победы. Она поднялась с кушетки, словно не в силах сдержать гнев и чувство обиды, и величественным жестом указала на дверь. Мистер Окхерст тоже встал, бросил на нее один-единственный взгляд и, не сказав ни слова, ушел. Навсегда.

Оставшись одна, миссис Декер затворила балконную дверь, заперла ее на задвижку и, подойдя к камину, до тех пор держала оба письма над свечой, пока они не превратились в пепел.

Да не подумает читатель, что во время этой неприятной операции миссис Декер сохраняла полное спокойствие. Рука ее дрожала, а так как не все человеческое было ей чуждо, она в течение нескольких секунд (может быть, минут) чувствовала себя совсем скверно, и уголки ее нежного рта опустились. Вернувшегося мужа она встретила с неподдельной радостью и так доверчиво прильнула к его широкой груди, что простодушный малый был растроган до слез.

— Я узнал сейчас ужасную новость, Элси,— сказал мистер Декер после взаимного обмена нежностями.

— Не хочу я слушать твои ужасные новости, милый, я сегодня плохо себя чувствую,— умоляющим голосом проговорила миссис Декер.

— Но это касается мистера Окхерста и Гамильтона.

— Ну, я прошу тебя!

Мистер Декер не мог устоять перед грацией этих молящих белоснежных рук, перед этими нежными губками и заключил ее в свои объятия.

Вдруг он спросил:

— Что это?

Мистер Декер показывал ей на грудь. В том месте, где мистер Окхерст коснулся ее белого платья, осталось пятнышко крови.

Ах, пустяки! Она хотела затворить окно и порезала себе палец; рама такая тугая! Если бы мистер Декер не забывал затворять ставни перед уходом, ничего бы не случилось. Это было сказано с такой неподдельной оби-

дой и выразительностью, что мистер Декер был просто подавлен угрызениями совести. Но миссис Декер простила его с той грацией, о которой уже упоминалось на этих страницах, и теперь, с позволения читателя, мы оставим эту пару, окруженную ореолом согласия и супружеского счастья, и вернемся к мистеру Окхерсту.

Впрочем, придется опустить две недели. По истечении этого времени мистер Окхерст появился в своем доме в Сакраменто и, как и встарь, занял обычное место за игорным столом.

— Как ваша рука, Джек? — неосторожно спросил его один игрок.

Вопрос сопровождался улыбкой, которая, однако, мгновенно исчезла, стоило только Джеку обратить свой спокойный взгляд на говорившего.

— Немного мешает сдавать, но стрелять я могу и левой.

Игра продолжалась в торжественной тишине, всегда отличавшей стол, за которым держал банк мистер Джон Окхерст.

МАЛЫШ СИЛЬВЕСТРА

Впервые он явил мне всю свою затейливую прелесть в одном маленьком приисковом поселке калифорнийской Сьерры.

Я приехал туда рано утром и все-таки разминулся с приятелем, ради которого предпринял это путешествие. Он ушел «на разведку» и, быть может, до вечера. Так сказали мне у реки. В какую сторону ушел он, было неизвестно, и дать ручательство, что я найду его, если пойду разыскивать, никто не мог. Сходились все на том, что лучше подождать.

Я огляделся: я стоял на берегу, и, видимо, единственными человеческими существами в этом мире были мои собеседники, да и те на глазах у меня исчезали, спускаясь под откос к сухому руслу.

Я подошел к самому краю берега.

— А где мне подождать?

Да где угодно! Могу, если желаю, сойти вниз на отмель, где они работают. Могу побыть в любой из опустевших хижин. А то, пожалуй, лучше на горе — в хибарке моего приятеля — и не так жарко. Заметил ли я три высокие сосны, а чуть правее над кустами — брезентовую крышу и трубу? Ну так это и есть дом моего друга Дика Сильвестра. Я мог бы привязать лошадь внизу и подождать в хижине до возвращения Дика. Там есть и книжки. За чтением время пройдет веселее. А можно повозиться с малышом...

— С кем?

Но их уже не было. Я наклонился над кручей и прокричал вслед исчезающим фигурам:

— Что вы сказали можно делать?

Звуки ответа медленно поднялись в неподвижном горячем воздухе:

— Вози-иться с малышо-ом...

Ленивое эхо подхватило их и пошло неторопливо перекидывать с одного холма на другой, пока Лысая гора напротив не пробормотала что-то несвязное про малыша, и тогда все стихло.

Должно быть, я ослышался. Приятель мой был холост, вокруг на сорок миль от поселка не было ни одной женщины; я никогда не замечал в нем пылкого пристрастия к детям — едва ли стал бы он ввозить издалека такую экзотическую роскошь. Должно быть, я ослышался.

Я повернул лошадь в гору. Медленно поднимались мы по узкой тропке. Поселок можно было бы принять за вышедший из-под раскопок въезд в Помпею — так тихи и заброшенны были его строения. Распахнутые двери открывали скудное убранство: грубо сколоченный сосновый стол с еще стоящей после завтрака нехитрой утварью, топчан с истрепанными, сбившимися в кучу одеялами... Золотистая ящерица — воплощение тишины и безлюдья — замерла на пороге одной хибары; в окно другой бесцеремонно заглянула белка. Дятел, как и обычно вызывая мысли о гробовщике, при виде нас остановил погребальный стук своего молоточка по гробообразной крыше одной из лачуг, где он был занят по специальности. Я уж готов был пожалеть, что отверг приглашение спуститься к отмели, но тут по темному каньону в лицо мне потянуло ветерком — шеренга сосен, замерших вдали, нагнула в знак приветствия вершины в мою сторону. Наверное, и конь мой догадался—только лачуги делают здесь тишину безлюдной и потому невыносимой,— прибавил шагу и рысцой вынес меня к опушке леса и трем соснам, которые были на аванпосте у Сильвестра.

Я расседлал коня в неглубокой лощине, размотал длинную риату[1] и, привязав его к деревцу, направился к хибарке. Но не прошел я и десяти шагов, как за спиной моей раздался быстрый топот: меня нагнал дрожащий от испуга бедный мой Помпосо. Я торопливо огля-

---

[1] Веревка, аркан *(исп.)*.

делся. Ветерок утих — до слуха долетел теперь лишь шелест чащи, больше похожий на глубокий вздох, чем на какой-нибудь членораздельный звук, да унылая песня цикад в душном каньоне. Напрасно искал я в траве гремучую змею. А Помпосо весь так и трепетал — от изогнутой шеи до бьющихся жилок на ляжках,— даже бока у него ходили от страха. Я успокоил его, как умел, а потом подошел к лесу и заглянул в его сумрачные недра. Взмах птичьего крыла, взметнувшаяся белка — все, что я увидел. Признаюсь, что, когда я во второй раз подходил к лачуге, в душе у меня суеверно шевельнулось смутное предчувствие. И если бы я встретил там прелестную малютку в пышной колыбели, порученную попечениям Титании и ее свиты, я, кажется, не стал бы удивляться: боюсь, что мне уж рисовалась Спящая красавица, чье пробуждение возродило бы эти пустынные места для бурной жизни и кипучей деятельности. Я поцеловал бы ее не задумываясь.

Но ничего этого в домике не оказалось. А были там свидетельства ума и тонкой артистичности моего друга. Очаг без единой соринки, звериные шкуры, так живописно раскинутые на полу и на том, что служило здесь мебелью; полосатое серапе[1] на деревянном топчане. Были тут иллюстрации из «Лондон-Ньюс», так остроумно заменившие ему обои; был тут повешенный над очагом портрет мистера Эмерсона — резьба по дереву — в оригинальной рамочке из перьев кукши; было несколько любимых книг, уложенных на подвесную полку, и был последний номер «Панча» на топчане. Милый Сильвестр! Мешок для муки иногда пустовал в этом доме, а знаменитый английский шутник чуть ли не каждую неделю отдавал ему свой установленный визит.

Я растянулся на топчане и попробовал было читать. Но интерес к библиотеке друга скоро у меня иссяк, и я просто лежал, глядя через открытую дверь на зеленые склоны. Ветерок задул снова, и в комнату повеяло приятною прохладой, неуловимо напоенной запахами леса. Тут сонное гудение шмелей над брезентовой крышей, далекие крики грачей на горе и усталость от

---

[1] Тонкое одеяло, употребляемое мексиканцами как род верхней одежды при верховой езде. *(Прим. автора.)*

раннего путешествия мало-помалу начали смыкать мне веки. Я натянул на себя серапе и, укрывшись от свежести горного ветерка, очень быстро уснул.

Не помню, долго ли я спал. Только во сне я, кажется, все время чувствовал, что никак не могу удержать на себе одеяло. Я просыпался раза два в отчаянной попытке ухватить его, а оно неизменно сползало опять с моих ног за топчан. Тут неожиданно мне стало ясно, что мои старания удержать его встречаются с противодействием какой-то другой силы. Я разжал руки и замер от ужаса, видя, как серапе мгновенно исчезает за топчаном. Тогда я сел и уже окончательно очнулся: из-за топчана стало появляться что-то вроде большой муфты. Наконец, оно совсем вылезло, таща за собой серапе. Теперь уже ясно было, что это такое: медвежонок, правда, совсем малюсенький, еще сосун, беспомощный комочек жира и меха, но самый что ни есть взаправдашний детеныш гризли. Он медленно поднял на меня удивленный взгляд своих глазенок. Я отроду не видел ничего потешнее. Плечи его были настолько ниже зада, передние лапы так непропорционально коротки, что при ходьбе все время отставали,— он то и дело зарывался своим острым добродушным носом и после этих неожиданных сальто-мортале поднимал голову, невероятно удивляясь. Комический эффект усиливался еще тем, что задняя нога его, каким-то образом попав в башмак Сильвестра, увязла в нем и, кажется, надолго. Поэтому он не пустился наутек — что было его первым побуждением,— а повернул в мою сторону. Затем, очевидно, поняв, что я одной породы с хозяином, остановился. Медленно встал на дыбки и, как рассерженный малыш, слегка махнул на меня передней лапкой, отороченной стальными крючочками. Я взял эту лапку и торжественно пожал. С этой минуты мы стали друзьями. Маленькое недоразумение с серапе было забыто.

Однако я благоразумно скрепил нашу дружбу галантной услугой. Заметив, куда он поглядывает, я без труда обнаружил на полке, чуть не под самым потолком, коробку с белыми кирпичиками сахару, который не переводится даже у самых бедных старателей. Он стал грызть сахар и позволил рассмотреть себя внимательнее. Весь он был какого-то матового темно-серого тона с вели-

колепными переливами, переходящего в черный на морде и лапах. Шерсть у него была необыкновенно длинная, густая и тонкая, как гагачий пух; все мягонькие утолщеньица под ней на вид и ощупь были совсем детские... Он был еще грудной, и почти человеческие ступни его были нежны, как у младенца. Кроме стальных голубых коготков, немного выдвинутых из мягких ножен, во всем его толстеньком теле не было ничего твердого. Как дитя Леды, он весь состоял из плавных линий. Когда вы погружали руку в его шерстку, по телу у вас разливалась сладкая истома. Если вы долго не спускали с него глаз, то вы хмелели; если вы начинали гладить его, вас охватывал безудержный восторг. А тот, кто тискал его, окончательно терял способность мыслить здраво.

Покончив с сахаром, он выкатился за порог, конфузливо и вызывающе поглядывая на меня, как будто приглашая следовать за ним. Я вышел. Фырканье и храп моего чуткого Помпосо сразу же объяснили мне недавнюю причину его страхов и вынудили свернуть в сторону. После минутного раздумья медвежонок решил следовать за мной (впрочем, перехватив один лукавый взгляд, я догадался, что он все великолепно понимает и даже несколько польщен смятением Помпосо). Когда он переваливался со мной рядом, походкой вызывая в памяти подвыпившего моряка, я вдруг заметил, что на шее его под густою шерстью спрятан кожаный ошейник, и во всю длину его стояло одно слово: «Малыш». Мне вспомнился загадочный совет старателей. Так вот с каким «малышом» предлагали мне «повозиться».

О том, как мы «возились», как Малыш давал мне скатывать себя с горы,— чтобы потом опять с довольным видом, пыхтя, карабкаться наверх,— как лазил он на молодое деревце, чтобы достать панаму (я насадил ее на верхний сук); как, завладев ею, решил, что не сойдет вообще на землю; как он, сойдя наконец, стал расхаживать на трех ногах (четвертою он прижимал к себе бесформенный комок, некогда бывший моей шляпой); как в довершение всего я потерял его и еле отыскал — на столе в чьей-то опустелой хижине, где он сидел, сжимая лапами бутылку патоки, в тщетной попытке извлечь из нее содержимое,— рассказами об этих и других событиях того перенасыщенного дня не стану утом-

лять вас, мой читатель. Скажу лишь, что к приходу Дика я порядком вымотался, а Малыш уснул, лежа в ногах топчана, как большой пушистый валик.

— Ну что, хорош? — спросил Дик (мы едва успели поздороваться).

— Прелесть. Где ты такого взял?

— Милях в пяти отсюда. Из-под убитой медведицы,— сказал он, закуривая.— Уложил ее в пятидесяти ярдах, исключительно удачный выстрел — даже не шелохнулась ни разу. Малышка выбрался, испуганный, но целый. Она, наверное, несла его в зубах, увидела меня и уронила: он не стоял еще, ему дня три было, не больше. Теперь вот поедает молоко, которое сюда везут агенты Эдемса раз в сутки, в семь часов утра. А говорят, он на меня похож! Ты не находишь? — обратился он ко мне вполне серьезно, погладил свой пшеничный ус и сделал «интересное лицо».

Я распрощался с Малышом на следующий день пораньше и не выходя из дому; потом, считаясь с чувствами Помпосо, проехал мимо, даже не взглянув на нового знакомца. Но накануне вечером я взял с Сильвестра клятву: если когда-нибудь он должен будет с Малышом расстаться — тот перейдет ко мне.

— Впрочем,— оговорился Дик,— надо тебе сказать, дружище, что о смерти думать мне еще рано, а, кроме смерти, не знаю, что может нас разлучить.

Через два месяца после такого разговора, перебирая утреннюю почту у себя в кабинете, в Сан-Франциско, я вдруг увидел на конверте знакомый почерк Сильвестра. Но на почтовом штемпеле стояло «Стоктон», и, охваченный смутным предчувствием, я сразу же распечатал письмо. Вот что стояло в нем:

«Фрэнк! Помнишь наш уговор относительно Малыша? Ну так считай, что на ближайшие полгода я, брат, умер или отправился туда, куда медведям хода нет,— на Восток. Я знаю, ты любишь Малыша, но уверен ли ты, вполне ли ты уверен, друг мой, что сумеешь заменить ему отца? Подумай хорошенько. Ты молод, беспечен; ты, конечно, желаешь ему добра, но способен ли ты стать хранителем, добрым гением и опекуном столь юного неискушенного создания? Можешь ли ты стать ментором этого

Телемаха? Вспомни о городских соблазнах. Обдумай все и поскорей сообщи свое решение. Я уже довез его до Стоктона, он сейчас во дворе гостиницы страшно скандалит и громыхает цепью, как сумасшедший. Телеграфируй немедленно.

Сильвестр».

«P. S. Конечно, он подрос и уже не такой покладистый, как раньше. На той неделе он немного резко обошелся со щенками Уотсона, а когда тот хотел было вмешаться — и ему досталось. Ты помнишь Уотсона? Неглупый человек, а в калифорнийской фауне совершеннейший невежда. Как там у вас на Монтгомери-стрит, условия жизни для медведей — насчет загонов и прочего?»

«P. P. S. Он выучился новым штукам. Ребята показали ему приемы бокса. Левой он бьет потрясающе.

С.».

Увы, желание стать собственником Малыша было во мне сильней всех доводов рассудка — я сразу же телеграфировал согласие. Когда я днем зашел к себе домой, хозяйка вышла мне навстречу с телеграммой. Это были две строчки от Сильвестра:

«По рукам. Малыш едет вечерним пароходом.

Замени ему отца.

С.».

В час ночи, значит, он уже будет здесь. Я ужаснулся своей опрометчивости. Я еще ничего не приготовил. Даже не сообщил хозяйке о приезде постояльца. Я думал все устроить не спеша, а теперь из-за бестактной торопливости Сильвестра на все оставалось полсуток.

Однако что-то надо делать, и притом немедленно. Я повернулся к миссис Браун. Я очень верил в ее материнские инстинкты. И еще больше, как это свойственно нашему полу, в доброе сердце хорошеньких женщин вообще. Однако, признаюсь, я струсил. Изобразив на лице улыбку, я пытался изложить суть дела с классической простотой и непринужденностью. И сказал даже:

— Если афинский шут у Шекспира, миссис Браун, полагал, что лев среди дам — это чудовищно, то что же тогда...

Тут я осекся — я сразу заметил, что миссис Браун

с невероятной, чисто женской проницательностью следит не за тем, что я говорю, а за тем, как я это говорю. Тогда, решив испробовать стиль делового лаконизма, я сунул в руку ей телеграмму и торопливо сказал:

— Надо немедленно принять меры. Это нелепо, но сегодня в час ночи он будет здесь. Тысяча извинений, дела, знаете ли,— не имел возможности сообщить заблаговременно...

Фразу я не кончил: не хватило воздуху и смелости.

Миссис Браун прочла телеграмму с очень серьезным лицом, подняла свои хорошенькие брови, перевернула бумажку и посмотрела, что на обороте, затем холодным, отчужденным тоном спросила, надо ли понимать так, что и мать тоже едет.

— Да нет!— воскликнул я с глубоким облегчением.— Ее ведь нет в живых. Сильвестр, приятель мой, приславший эту телеграмму, убил ее, когда Малышу не было и трех дней.

Тут миссис Браун так изменилась в лице, что я понял: спасти меня может только подробное объяснение. Торопливо и, боюсь, не совсем связно я рассказал ей все.

Миссис Браун смягчилась,— это вышло у нее так мило. Она сказала, что я напугал ее рассказами о львах. А я считаю, что мои описания бедного Малыша, пускай немного приукрашенные, тронули ее материнское сердце. Она даже слегка досадовала на Сильвестра за его, как она выразилась, бессердечие. Но все-таки меня томили опасения. С тех пор как мы с ним виделись, прошло два месяца, вскользь брошенное замечание Сильвестра о том, что «левой он бьет потрясающе», тревожило меня. Я посмотрел на милую, чуткую миссис Браун и, вспомнив о щенках Уотсона, пристыженно потупился.

Миссис Браун готова была ждать вместе со мной его приезда. Пробило час, но Малыша все не было. Потом пробило два, пробило три часа... Уже почти в четыре вдруг раздался страшный стук копыт, какая-то повозка с резким скрипом осадила у дверей. Я мигом отворил их и увидел незнакомого человека, а лошади в то же мгновение сделали попытку унестись вместе с фургоном.

У человека вид был, мягко говоря, расстроенный. Одежда была вся истрепанная и изорванная, брезентовая куртка на плече болталась, как пелерина ге-

рольда; одна рука была в повязке, лицо расцарапано, всклокоченная голова не покрыта. И в довершение картины, он, должно быть, поискал забвения всех горестей в вине. Качаясь во все стороны, не выпуская дверной ручки, он хрипло заявил, что в фургоне для меня кое-что есть. Едва он выговорил это, лошади опять рванулись.

Миссис Браун предположила, что они чем-то напуганы.

— Напуганы!—засмеялся незнакомец с горькой иронией.— Ну что-о вы! Лошади не напуганы. Пока доехали, только четыре раза понесли. Что-о вы! Никто не напуган. Полный порядок. Так я говорю, Билл? За борт упали только два разочка, в люк сбиты один раз. Это же ерунда. В Стоктоне двух в больницу положили. Это же ерунда. Шестьсот долларов — и все убытки покрыты.

Я был слишком подавлен, чтобы возражать, но сделал шаг к фургону. От удивления незнакомец чуть не протрезвел.

— Вы что, хотите взять его руками?— спросил он, смеривая меня взглядом с головы до пят.

Я не ответил и с невозмутимым видом, далеко не отражающим действительное положение вещей, пошел к фургону и позвал:

— Малыш!

— Ну если так... Что ж... Разрезай ремни, Билл, и отходи.

Ремни разрезали, и Малыш — неумолимый, наводящий ужас на людей Малыш — тихонько вывалился на землю, подкатился ко мне и стал тереться о меня своею глупой головой.

От изумления два его провожатых, кажется, лишились дара речи. Так и не проронив ни слова, пьяный незнакомец залез на козлы и тотчас же укатил.

А Малыш? Он, правда, вырос, но был худ, и было видно, что с ним плохо обращались. Его прекрасный мех, нечесаный, свалялся, а когти — те крючочки из блестящей стали — безжалостно обрезали под корешок. Глядел Малыш пугливо, беспокойно; прежнее глупенькое благодушие сменила осмотрительная настороженность. Должно быть, от общения с людьми он стал смышленнее, но нравственность его не стала выше.

Не без труда я охладил пыл миссис Браун (она уже готова была кутать его в одеяла и расстраивать ему желудок деликатесами своей кладовой) и успокоился, когда, свернувшись в круглый ком, он наконец уснул в углу у меня в комнате. Я бодрствовал и строил планы его жизни. В конце концов решил, что завтра же поеду с ним в Окленд, где у меня был маленький коттедж. Там я обычно проводил все воскресенья. Среди розовых видений семейного счастья я уснул.

Проснулся я, когда было уже совсем светло. Я тотчас посмотрел в тот угол, где лежал Малыш,— его там не было. Я вскочил с кровати и посмотрел, нет ли его под ней, обыскал чулан — тщетно. Дверь была, как и прежде, заперта, но вот окно закрыть я позабыл — на подоконнике были следы обрезанных когтей. Очевидно, он убежал этим ходом. Но куда? Окно выходит на балкон, другая дверь туда ведет из коридора... Значит, он еще в доме.

Рука моя потянулась к звонку, но я успел ее отдернуть. Если Малыш не заявляет о себе, стоит ли поднимать на ноги целый дом? Одевшись наскоро, я выскользнул из комнаты. Увидел я прежде всего сапог, лежащий на ступеньке. Сапог носил на себе явные следы зубов. Я обвел взглядом коридор; увы, сомнений не было: привычные ряды свежевычищенных сапог и ботинок перед дверями постояльцев исчезли. Еще через несколько ступеней я увидел другой сапог, но уже ваксу с него тщательно слизали. На третьем этаже было еще два или три жеваных сапога, но тут Малыш, по-видимому, потерял вкус к ваксе. Подальше начиналась лестница, ведущая через чердак к верхнему люку. Я поднялся и был теперь на плоской крыше, сообщавшейся с довольно длинным рядом крыш, вплоть до последней — крыши углового дома. На самой дальней, за трубой, что-то чернело. Это был беглый Малыш. Мех его густо покрывали пыль, глина, битое стекло. Малыш сидел и с виноватым, но счастливым видом грыз огромный кусок леденца с орехом. Мне показалось даже, что, увидев меня, он слегка похлопал себя по животику свободной лапой. Он знал, кого ищу я, взгляд его красноречиво говорил: «Ну, что туда попало, того не отнимешь».

Захватив его прямо с поличным, я погнал его к люку, потом на цыпочках спустился с ним по лестнице. Судьба

нас миловала — лестница была пуста; Малыш на мягких лапках шел совсем неслышно. Наверное, он чувствовал опасность положения: он перестал дышать (во всяком случае, грызть леденец, который еще был у него за щекою). Бесшумно крался он подле меня, и с его стиснутых челюстей капала патока. Он, кажется, решил скорее задохнуться, не издав ни звука, лишь бы меня не выдать...

Но только в комнате, где, тяжело переводя дух, бухнулся я на кушетку, мне стало ясно, как Малыш был близок к этому. Он судорожно и конфузливо глотнул два раза, пошел сам в угол и, свернувшись, лег там, как огромная «вишня в сиропе», полный раскаяния и липкой патоки.

Я запер Малыша и вышел к табльдоту. Тут обнаружилось, что постояльцев миссис Браун необычайно взволновали странные события прошедшей ночи и ужасные открытия этого дня. Во все дома квартала, как видно, через чердаки проникла воровская шайка. Внезапно испугавшись чего-то, грабители покинули наш дом, не успев ничего унести, и даже побросали обувь, забранную в коридорах. Но на углу, в кондитерской, произвели отчаянную попытку взломать кассу и разнесли стекла витрины вдребезги. Храбрая горничная из четвертого номера видела одного грабителя в маске. На четвереньках он пытался пролезть в люк, но после ее окрика: «Пошел отсюдова!» — сейчас же скрылся.

Я слушал все это, сгорая от смущения, боясь поднять глаза, чтобы не встретить испытующий лукавый взгляд миссис Браун. При первом же удобном случае я вышел из-за табльдота, взбежал по лестнице и скрылся от расспросов в своей комнате. Малыш все еще спал в углу. Рискованно было везти его теперь, не подождав, пока соседи разойдутся, и я подумывал, не лучше ли оставить его здесь до темноты, чтобы не так била в глаза его навязчивая самобытность, как вдруг из коридора осторожно постучали. Я отворил. Миссис Браун бесшумно проскользнула в комнату, тихонько притворила дверь и, прислонившись к ней спиной, не выпуская ручки, с конспиративным видом подала мне знак приблизиться. Потом приглушенно спросила:

— Краска для волос ядовита?

От удивления я не нашелся что ответить.

— А, полно, вы же знаете, о чем я говорю,— нетерпеливо сказала она.— Вот эта штука.— Она вдруг вытащила у себя из-за спины бутылку с такой пространной этикеткой на латыни, что ею можно было два или три раза спиралью обернуть бутылку сверху донизу.— Он говорит, это не краска, а состав для укрепления из растительных веществ.

— Кто говорит? — спросил я в отчаянии.

— Ну мистер Паркер, разумеется! — сказала она раздраженно, как будто двадцать раз уже произносила это имя.— Пожилой джентльмен из комнаты над вами. Но я хочу, чтобы вы сказали мне одно,— продолжала она со спокойной настойчивостью, словно ловила меня на желании увильнуть от прямого ответа,— если немножечко такого вот состава налить на блюдце и нечаянно оставить на столе, а кто-то из детей — какой-нибудь малыш или, допустим, кошка или другой какой звереныш — влезет в окно и выпьет эту жидкость (полное блюдце, заметьте, потому что на вкус она сладкая), может ли наступить отравление?

Я с беспокойством посмотрел на мирно спящего Малыша и с глубокой признательностью на миссис Браун и сказал, что, по-моему, нет.

— Вы понимаете,— произнесла она высокомерно, открывая дверь,— ведь если средство ядовито, надо немедленно принять все меры. Вы понимаете,— отбросила она высокомерный тон, в неистовом порыве заключив в объятия Малыша (он безмятежно спал в углу),— если от гадкого состава этот чудный цвет станет ярко-зеленым или пронзительно розовым, это убьет его мамочку — совершенно убьет!

И прежде, чем я мог заверить миссис Браун, что краски для волос не действуют, когда их принимают внутрь, она бросилась вон из комнаты.

Вечером я и Малыш с осторожностью дезертиров вышли из дома. Не доверяя легко возбудимой натуре благородного животного — лошади, я попросил одного дюжего ирландца доставить необычный мой багаж до переправы на ручной тележке. Но и тут Малыш готов был ехать, только если я шел рядом, а иногда даже садился внутрь.

— Мой бог,— сказала миссис Браун (закутавшись в большую шаль, она спустилась проводить нас),— мой бог, как все это торжественно, ну просто похороны бедняка!

Действительно, я шел в ту ночь возле тележки с чувством человека, отдающего последний долг какому-нибудь бедному товарищу; а когда ехал в ней, не сразу вспоминал, что я не подвергался сильному воздействию спиртных напитков и не пострадавший, едущий в больницу. Наконец мы прибыли на переправу. На пароме, кажется, никто не обнаружил Малыша, хотя какой-то пьяный подошел ко мне, чтоб прикурить сигару, но тут же выронил ее и в ужасе бежал в мужскую комнату, где его несуразные речи приняли, к счастью, за ранние признаки белой горячки.

Около полуночи добрался я до своего коттеджика на окраине Окленда и в приятном сознании, что все позади, вошел, запер дверь и спустил Малыша на пол прихожей (довольный тем, что собственность, которую я подвергаю риску, теперь уже не чья-то, а моя). Он вел себя хорошо в этот вечер; сделал одну попытку влезть на вешалку для головных уборов, ошибочно поняв, что она предназначена для его упражнений, сбил шляпы и уснул спокойно на половике.

Через неделю моцион на свежем воздухе (внутри большого, тщательно огороженного досками загона) восстановил его здоровье и силы, веселое расположение духа и почти всю былую красоту. Существование его оставалось тайной для соседей,— хотя замечено было, что лошади неизменно шарахались, проезжая с подветренной стороны моего дома, и что молочник и булочник просто из сил выбивались, развозя по утрам свой товар, и при этом позволяли себе весьма крепкие и неподобающие выражения.

В субботу я решил позвать кое-кого из друзей, чтобы продемонстрировать им Малыша, и даже написал несколько официальных приглашений. Рассказав вкратце о больших затратах и опасностях, связанных с его поимкой и обучением, я предложил вниманию приглашенных программу выступления «вундеркинда лесов Сьерры», составленную с профессиональным изобилием аллитераций и заглавных букв. Приводимая ниже

выдержка даст читателю некоторое представление о том, как Малыш успел в науках:

1. Он свернется в Клубок и будет с Невероятной Быстротой скатываться с Деревянного Настила, изображая Уход от Врага в глуши Родных Лесов.

2. Он поднимется по Колодезному Багру и достанет с самого верха Шляпу, то есть то, что останется от ее полей и тульи.

3. Он покажет Пантомиму, повествующую о делах Медведя Большого, Медведя Поменьше и Маленького Медвежонка — героев популярной детской сказки.

4. Он будет неистово потрясать Цепью, изображая, как в Медвежьих уголках Сьерры вселяет он Смятение и Ужас в сердце Одинокого Путника.

Настал день выступления, но за час до начала негодник исчез. Повар-китаец не знал, куда он девался. Я обшарил весь дом, а затем схватил шляпу и в отчаянии побежал по тропинке, которая через открытое поле шла к лесу. Нигде не было никаких следов Малыша Сильвестра. После целого часа бесплодных поисков я возвратился и увидел, что на веранде уже собрались мои гости. Я в нескольких словах рассказал им о постигшей меня неприятности, быть может, утрате, и попросил помочь.

— Как,— сказал один из гостей (испанец, гордившийся знанием английской грамматики), обращаясь к Баркеру, который, сидя на веранде, тщетно пытался переменить положение,— как это получается, что вы не отделяете себя от веранды нашего друга? И почему, о небо, она так липнет к вам, и вы так исказили себя? Ах,— продолжал он вдруг, с большим усилием отрывая ногу от веранды,— я и сам неотделим. Нет, тут что-то есть.

Там действительно что-то было. Все мои гости поднимались с трудом. Пол веранды был весь покрыт какой-то клейкой массой. Это была... патока!

Мне все стало ясно. Я бросился в сарай. Бочонок «золотистой патоки», купленный только накануне, лежал на полу пустой. По всему загону тянулись липкие следы, но Малыша по-прежнему не было.

— Смотрите, там, около кучи глины, шевелится земля! — воскликнул Баркер.

Действительно, в одном углу загона почва двигалась, как от землетрясения. Я осторожно приблизился. Только теперь я заметил, что земля здесь разрыта и в середине огромной, похожей на могилу ямы, пригнувшись, сидит Малыш Сильвестра и, не переставая копать, медленно, но верно исчезает из глаз в грудах земли и глины.

Зачем он это делал? То ли, мучимый совестью, хотел скрыться от моего укоризненного взгляда, то ли просто хотел обсушить свой измазанный патокой мех — этого я никогда уж не узнаю: увы, то был последний день, что мы с ним проводили вместе.

Мы поливали его из насоса два часа, но и потом с него еще стекала струйка жидкой патоки. Затем мы взяли его, туго завернули в одеяла и заперли в кладовой. Наутро его там не оказалось! Нижней части оконного переплета тоже не стало... Опыты с хрупким стеклом кондитерской, которые он так успешно проводил в первый же день своего приобщения к цивилизации, не пропали даром. Первая попытка сопоставить причину и следствие завершилась побегом.

Куда он убежал, где прячется, кто поймал его, если он не успел уйти в горы за Оклендом? Предложенное мной солидное вознаграждение плюс все старания опытных полисменов не помогли мне обнаружить это. Я уж не видел его больше с того дня до...

Видел ли я его? На днях я ехал в конке по Шестой авеню, как вдруг лошади заупрямились и под проклятия и окрики возницы рванулись прямо на тротуар. Перед конкой быстро выросла толпа вокруг двух дрессированных медведей с вожаком. Один из животных — худой, изможденный, какая-то пародия на мощь дикого гризли,— привлек к себе мое внимание. Я постарался, чтоб и он меня заметил. Он повернул ко мне невидящие, мутные глаза, ничем не показав, что перед ним знакомый. Я высунулся из окна и тихо позвал: «Малыш!»— Он не повел и ухом. Я закрыл окно. Конка уже тронулась, но в тот момент медведь вдруг обернулся и то ли намеренно, то ли случайно ударил своей огрубелой лапой прямо по стеклу.

— Стекло-то полтора доллара стоит...— сказал кондуктор,— так, пожалуй, все начнут возиться с медведями...

ЯЗЫЧНИК ВАНЬ ЛИ

Когда я распечатал письмо Хоп Сина, оттуда выпал исписанный иероглифами листок желтой бумаги, который мне, простаку, показался сначала ярлычком с пачки китайских хлопушек. Но в том же конверте лежала полоска рисовой бумаги чуть поменьше с выведенными тушью двумя иероглифами, и в этой полоске я тотчас же признал визитную карточку Хоп Сина. Его послание, переведенное потом слово в слово, гласило следующее:

«Двери моего дома всегда открыты для гостя. Налево, как войдешь, стоит чаша с рисом, направо — сладости.

Два изречения учителя:

Гостеприимство есть добродетель сына и мудрость предка.

Хозяин веселится в сердце своем после жатвы. Он устраивает пир.

Когда гость ходит по полю, где у тебя растут дыни, не следи за ним слишком пристально; невнимание часто бывает высшей формой вежливости.

Счастье, мир и благоденствие.

Хоп Син».

Должен признаться, что, несмотря на всю прелесть этих сентенций и этой вековой мудрости, несмотря на то, что последний афоризм был вполне в духе моего друга Хоп Сина, принадлежащего к числу самых мрачных

«МАЛЫШ СИЛЬВЕСТРА»

«ПО ПОЛЯМ И ПО ВОДЕ»

юмористов, именуемых китайскими философами, должен признаться, что по самому вольному переводу я совершенно не мог понять, каков прямой смысл этого письма. К счастью, в конверте оказалось третье вложение, написанное по-английски рукой самого Хоп Сина. Вот что я прочел:

«Не удостоите ли вы своим присутствием дом №... по Сакраменто-стрит в пятницу, в восемь часов вечера. Чай будет подан ровно в девять.

Хоп Син».

Записка разъяснила все. Мне предстояло посещение лавки Хоп Сина, где будет осмотр каких-нибудь китайских редкостей и уникумов, беседа в конторе, чашка чаю такого совершенства, какого не встретишь за пределами этой священной обители, сигары, а потом поездка в китайский театр или храм. Такова была излюбленная программа Хоп Сина, когда он принимал гостей в качестве доверенного лица или управляющего компании Нин Фу.

В пятницу, около восьми часов вечера, я вошел в лавку Хоп Сина. Там, как всегда, посетителя встречал восхитительный букет таинственных, чужеземных ароматов; там по-прежнему длинными рядами стояли причудливые чаши, вазы и кувшины — вещи, сочетающие гротескность и математическую точность пропорций, легкомыслие рисунков и тонкость линий и дисгармоническую пестроту красок, из которых каждая сама по себе была прекрасна и чиста. Бумажные змеи в виде громадных драконов и гигантских бабочек; бумажные змеи, так хитро устроенные, что, когда пускаешь их против ветра, они издают звук, похожий на ястребиный клекот; бумажные змеи таких размеров, что мальчику их не удержать, таких размеров, что становится понятно, почему этой игрушкой забавляются в Китае взрослые. Фарфоровые и бронзовые божки, настолько уродливые, что человек не чувствует к ним ни интереса, ни симпатии. Вазы со сладостями в обертках, исписанных нравоучениями из Конфуция. Шляпы, похожие на корзинки, и корзинки, похожие на шляпы. Шелка столь тонкие, что я даже не решаюсь

назвать то невообразимое количество квадратных ярдов такого шелка, которое можно пропустить сквозь кольцо с мизинца. Все эти и многие другие непостижимые уму вещи были мне хорошо знакомы. Я пробрался через слабо освещенную лавку и вошел в контору, или приемную, где меня поджидал Хоп Син.

Прежде чем приступить к описанию Хоп Сина, я прошу читателей выбросить из головы представление о китайце, которое могло создаться у них по пантомимам. Хоп Син не носил изящных фестончатых панталон с колокольчиками — мне не приходилось встречать китайцев в таких панталонах; он не имел привычки ходить, держа указательные пальцы под прямым углом к телу; я никогда не слышал от него загадочных слов «чинг-а-ринг-аринг-чо», ни разу, ни при каких обстоятельствах не видел его танцующим. Нет! Это был весьма солидный, учтивый и благообразный джентльмен. Лицо и голова Хоп Сина, за исключением того места на затылке, где у него росла длинная коса, отливали желтизной, точно глянцевитый атлас. Глаза были черные, блестящие, веки расходились под углом в пятнадцать градусов, нос прямой, изящной формы, рот маленький, зубы ровные и белые. Он носил темно-синюю шелковую блузу, а в холодные дни появлялся на улицах в короткой мерлушковой кофте. Штаны у Хоп Сина были из синей парчи, плотно облегавшей икры и щиколотки, и, глядя на них, невольно думалось, уж не забыл ли он утром надеть брюки. Но во всем его облике чувствовалось такое благородство, что друзья воздерживались от таких вопросов. Изысканная учтивость сочеталась в нем с врожденным чувством собственного достоинства. Он свободно объяснялся по-французски и по-английски. Короче говоря, среди торговцев христианской веры в Сан-Франциско вряд ли можно было найти равного этому купцу-язычнику.

В конторе сидели еще несколько человек: федеральный судья, редактор газеты, важный чиновник и крупный торговец. Когда мы напились чаю и отведали сладостей из горшочка, в котором, судя по его таинственному виду, среди других не поддающихся описанию деликатесов могла находиться и засахаренная мышь, Хоп Син поднялся и, с важностью поманив нас за собой,

стал спускаться по лестнице в подвал. Войдя туда, мы с удивлением увидели, что там горит яркий свет, а на цементном полу полукругом расставлены стулья. Хоп Син учтиво предложил нам сесть, после чего начал так:

— Я пригласил вас, чтобы показать вам представление, которого не случалось видеть ни одному иностранцу,— это самое меньшее, что о нем можно сказать. Вчера утром в Сан-Франциско приехал придворный фокусник Ван. До сих пор он показывал свое искусство только во дворце. Я попросил его развлечь сегодня вечером моих друзей. Ему не нужно ни подмостков, ни бутафории, ни помощников — ничего, кроме того, что вы здесь видите. Попрошу вас, джентльмены, осмотреть помещение.

Мы, разумеется, согласились. Это был самый обыкновенный подвал, какие есть во всех торговых складах Сан-Франциско, цементированный для предохранения товаров от сырости. Мы постучали тростями по полу, проверили стены, лишь бы доставить удовольствие гостеприимному хозяину. Никто из нас ничего не имел против того, чтобы стать жертвой ловкой мистификации. А я и подавно был готов поддаться обману, и если бы мне предложили потом разгадку всех этих чудес, я наотрез отказался бы слушать ее.

Мне доподлинно известно, что тогда Ван впервые давал сеанс на американской земле, но с тех пор моим читателям, должно быть, часто приходилось видеть подобные сеансы, и я не стану докучать им подробными описаниями. Для начала Ван, взмахнув веером, пустил по комнате кусочки папиросной бумаги, которые на наших глазах превратились в бабочек, продолжавших порхать до конца сеанса. Я до сих пор помню, как судья хотел поймать одну, опустившуюся ему на колено, и как она ускользнула от него, точно живая. Ван все помахивал и помахивал веером, и из цилиндра, который стоял перед ним, появлялись цыплята, апельсины, из рукавов у него струились ярд за ярдом шелка, и наконец весь подвал был завален предметами, возникавшими словно из-под земли, с потолка, прямо из воздуха! Он глотал ножи, рискуя на долгие годы расстроить себе пищеварение, вывертывал руки и ноги, свободно висел в воздухе без всякой видимой опоры.

Но самой поразительной загадкой был коронный номер его программы, которого мне никогда больше не пришлось видеть. Он и служит оправданием такого длинного предисловия и всего рассказа и является зерном, из которого родилась эта правдивая история.

Убрав с пола груду вещей, Ван расчистил пространство около пятнадцати квадратных футов и предложил нам еще раз осмотреть это место. Мы с полной серьезностью выполнили его просьбу; и на взгляд и на ощупь на цементном полу ничего не было. После этого Ван попросил одолжить ему носовой платок, и я дал свой, так как стоял ближе всех. Он взял его и положил на пол. Поверх платка он расстелил квадратный кусок шелка, а на шелк бросил большую шаль, которая покрыла почти все расчищенное пространство. Потом сел в углу этого прямоугольника и, печально покачиваясь из стороны в сторону, затянул какой-то монотонный напев.

Мы сидели молча и ждали, что будет дальше. Сквозь заунывное пение в подвал доносился грохот экипажей, проезжавших где-то у нас над головой, потом стали бить городские часы. Глубочайшее внимание и настороженность, таинственные блики, зловеще мерцающие на уродливой фигуре какого-то китайского божества в глубине подвала, еле уловимый запах опиума и пряностей, тягостная неизвестность ожидания — от всего этого по спине у нас пробегал холодок, и мы поглядывали друг на друга, обмениваясь неестественными, напряженными улыбками. Неприятное ощущение достигло предела, когда Хоп Син медленно поднялся с места и молча указал пальцем на середину шали.

Под шалью что-то лежало. Да, да, лежало что-то такое, чего там раньше не было. Сначала мы увидели только намек на какой-то контур, на какие-то смутные формы, но с каждой минутой они проступали все отчетливее и яснее. Ван продолжал петь, на лице у него выступил пот, а скрытый предмет все рос и рос, так что шаль приподнялась посредине на пять-шесть дюймов. Теперь под ней уже можно было угадать контуры крохотной, но пропорциональной человеческой фигурки с раскинутыми руками и ногами. Кое-кто из нас побледнел, всем стало не по себе, и, когда редактор нарушил тишину шуткой, она была принята восторженно, несмотря на

все ее убожество. Но вот пение оборвалось; стремительным и ловким движением рванув на себя шаль вместе с шелком, Ван открыл нашим глазам мирно спавшего на моем носовом платке крохотного китайчонка!

Аплодисменты и восторженные крики, раздавшиеся вслед за этим, должны были удовлетворить фокусника, хотя его аудитория не отличалась многочисленностью. Мы так шумели, что могли разбудить ребенка — хорошенького годовалого мальчика, похожего на купидона, вырезанного из сандалового дерева. Он исчез так же загадочно, как и появился. Когда Хоп Син с поклоном вернул мне носовой платок, я спросил его, не приходится ли фокусник отцом ребенку.

— No sabe [1]! — сказал невозмутимый Хоп Син, ограничившись распространенной в Калифорнии испанской формулой уклончивого ответа.

— Неужели он для каждого представления достает нового ребенка? — не унимался я.

— Может быть. Кто знает?

— А что будет с этим?

— Все, что пожелаете, джентльмены,— с учтивым поклоном ответил Хоп Син.— Он родился при вас, вы его восприемники.

В 1856 году сборища в калифорнийских домах отличались двумя характерными особенностями: гости сразу понимали намеки и на призыв к благотворительности отвечали щедростью, почти чрезмерной. Даже самые прижимистые и скупые заражались общим чувством. Я сложил свой носовой платок мешочком, бросил туда монету и молча протянул судье. Тот спокойно добавил золотой в двадцать долларов и передал соседу. Когда платок вернулся ко мне, там лежало больше ста долларов. Я завязал его и протянул Хоп Сину.

— Мальчику от его восприемников.

— А как мы его назовем? — спросил судья.

Тут посыпались, как из мешка, всякие «Эребусы», «Ноксы», «Плутосы», «Терракоты», «Антеи» и тому подобное. В конце концов мы обратились с тем же вопросом к хозяину.

---

[1] Не знаю! *(исп.)*.

— Почему не оставить ему его собственное имя,— спокойно сказал он,— Вань Ли? — И оставил.

Итак, в пятницу 5 марта 1856 года Вань Ли родился и попал в этот правдивый рассказ.

19 июля 1865 года последние полосы «Северной звезды» — единственной ежедневной газеты в Кламатском округе — только что были сданы в печать. Собравшись идти домой в три часа утра, я отложил в сторону корректуры и рукописи и вдруг увидел под ними письмо, которого раньше не заметил. Оно было довольно грязное, без марки, но я сразу узнал почерк моего друга Хоп Сина, быстро распечатал конверт и прочел следующее:

«Уважаемый сэр! Не знаю, понравится ли Вам податель сего, но если должность ученика в Вашей редакции заключается в выполнении чисто технической работы, я думаю, что он будет отвечать всем Вашим требованиям. Он расторопен, не лишен способностей, хорошо понимает по-английски, говорит несколько хуже и искупает все свои недостатки наблюдательностью и даром подражания. Нужно только раз показать ему, и он сделает, как показано, будь то дурной или добродетельный поступок. Но Вам, конечно, ясно, о ком я говорю. Вы один из его восприемников, ибо это не кто иной, как Вань Ли, считающийся сыном фокусника Вана, на представление которого я когда-то имел честь пригласить Вас. Впрочем, вы, может быть, уже забыли об этом.

Я посылаю его с партией кули в Стоктон, оттуда он доедет поездом до Вашего города. Пристроив мальчика, Вы окажете мне большую любезность и, может быть, спасете ему жизнь, так как на нее покушаются юные представители Вашей христианской и высокоцивилизованной расы, которые посещают лучшие школы Сан-Франциско.

У Вань Ли есть кое-какие не совсем обычные повадки и привычки; виной этому профессия Вана, с которой он был связан до тех пор, пока не подрос, и отцу уже нельзя было прятать его в цилиндр или вытаскивать из рукава. Деньги, пожертвованные Вами, пошли на его

образование; он одолел Троекнижие, но, я думаю, это не принесло ему особой пользы. Конфуция он знает слабо, а о Мэн-Цзы[1] не имеет ни малейшего понятия. Отец уделял ему мало внимания, и поэтому мальчик, может быть, слишком тесно общался с американскими детьми.

Я мог бы значительно раньше ответить на Ваше письмо почтой, но решил, что лучше будет послать с ответом самого Вань Ли.

Уважающий Вас *Хоп Син*».

Таков был долгожданный ответ Хоп Сина на мое послание. Но где «податель сего»? Каким образом письмо было доставлено? Я сейчас же вызвал выпускающего, наборщиков и посыльного, но толку от них не добился: они не видели, как письмо попало сюда, и не имели понятия, кто его принес. Через несколько дней ко мне зашел А Ри — китаец из прачечной.

— Твоя надо ученик? Есть ученик; моя нашел.

Он вернулся через несколько минут в сопровождении смышленого на вид китайчонка лет десяти, который мне так понравился, что я тут же его нанял. Договорившись об условиях, я спросил, как его зовут.

— Вань Ли,— ответил мальчик.

— Что? Так это тебя прислал Хоп Син? Что же ты раньше не пришел и как ты доставил письмо?

Вань Ли посмотрел на меня и рассмеялся.

— Моя кинул в окно.

Я ничего не понял. Он недоуменно посмотрел на меня, потом схватил письмо и сбежал вниз по лестнице. Через несколько секунд этот листок, к моему изумлению, влетел в окно, описал в воздухе два круга и, точно птица, тихо опустился на стол. Не успел я прийти в себя, как Вань Ли снова появился в комнате, с улыбкой посмотрел сначала на письмо, потом на меня, проговорил: «Вот так, Джон»,— и погрузился в сосредоточенное молчание. Я ничего не сказал, но расценил этот фокус как его первый шаг на служебном поприще.

К сожалению, следующая выходка Вань Ли не имела такого успеха. Один из наших постоянных разносчи-

---

[1] Мэн-Цзы — китайский философ IV века до нашей эры.

ков газет заболел; на его место пришлось назначить Вань Ли. Во избежание ошибок накануне вечером ему показали маршрут, а на рассвете нагрузили пачкой газет для подписчиков. Вань Ли вернулся через час в прекрасном настроении и с пустой сумкой. Он сказал, что разнес газеты по адресам.

Но увы! К восьми часам утра в редакцию стали стекаться возмущенные подписчики. Газеты они получили, но как? В виде тугого шара величиной с пушечное ядро, брошенного с размаху в окно спальни. Тем, кто уже встал с постели и расхаживал по комнате, газета угодила прямо в лицо с силой бейсбольного мяча; кое-кто получил номера по четвертушкам, заткнутым за оконные рамы, или обнаружил их в каминной трубе, пришпиленными к дверям, брошенными в окна чердака, пропущенными в виде длинных лент сквозь замочные скважины, в вентиляторах, в кружках, куда молочник наливал утром молоко.

Один подписчик, который некоторое время ждал у дверей редакции в расчете на личную беседу с Вань Ли (тот в это время сидел под замком у меня в спальне), рассказал мне со слезами ярости на глазах, что в пять часов утра его разбудили ужасные вопли под окном; вскочив в испуге с кровати, он был поражен неожиданным появлением «Северной звезды», туго скатанной и скрученной в виде дубинки или бумеранга, который влетел в окно, описал по комнате несколько дьявольских кругов, сшиб лампу, ударил ребенка по лицу, «съездил его (подписчика) по скуле», потом вылетел во двор и в изнеможении опустился на траву.

До самого вечера негодующие подписчики приносили в редакцию комки и клочья грязной бумаги, которые были не чем иным, как сегодняшним номером «Северной звезды». Великолепная передовая «Неиспользованные богатства Гумбольдского округа», которую я состряпал накануне вечером, намереваясь перевернуть торговый баланс будущего года и разорить гавани Сан-Франциско, погибла для читателей.

В течение следующих трех недель мы сочли за благо держать Вань Ли в типографии и поручали ему только техническую работу. Проявив поразительные способности и сметку, он даже заслужил расположение

наборщиков и выпускающего, которые сначала считали, что посвящение его в тайны их профессии чревато серьезными политическими последствиями. Вань Ли без всякого труда научился чисто набирать — тут ему помогла изумительная ловкость пальцев; по незнанию языка он работал механически, подтверждая типографскую аксиому, гласящую, что из наборщика, который следит за смыслом оригинала, не выйдет хорошего работника. Ничего не подозревая, он набирал длинные поношения против себя самого, которые наборщики вешали у его кассы на гвоздик в качестве оригинала, вместе с краткими изречениями, вроде: «Вань Ли — бесовское отродье», «Вань Ли — монгольский прохвост»,— и приносил все это мне на корректуру, радостно сверкая зубами, с довольным блеском в темных, как смородина, глазах.

Вскоре, однако, Вань Ли научился мстить своим коварным гонителям. Помню один случай, когда его месть чуть было не причинила мне серьезных неприятностей. Фамилия одного из наших выпускающих была Уэбстер. Вань Ли вскоре запомнил ее и научился узнавать в тексте. Дело было во время одной политической кампании; красноречивый и темпераментный полковник Старботтл из Сискью произнес блестящую речь, которую нам передал наш корреспондент. Заканчивая ее в весьма возвышенных тонах, полковник Старботтл сказал: «Я позволю себе повторить слова нашего божественного Уэбстера... [1]» — дальше следовала цитата — какая, я не помню. Случилось так, что Вань Ли попались на глаза уже просмотренные гранки, он увидел там фамилию своего главного недруга и, конечно, вообразил, что цитата принадлежит ему. Как только форма была готова, он воспользовался отсутствием Уэбстера и, выкинув цитату, вставил на ее место тонкую свинцовую пластинку того же размера, с вырезанными на ней иероглифами, из коих, как я имею основание думать, складывались фразы, содержавшие поношение всего рода Уэбстеров за тупость и наглость, и безудержные похвалы по адресу самого Вань Ли.

---

[1] Д. Уэбстер (1782—1852) — американский государственный деятель и оратор.

На следующий день в газете появилась полностью речь полковника Старботтла, из которой явствовало, что «наш божественный Уэбстер» раз в жизни выразил свои мысли на безукоризненном, но совершенно непонятном читателям китайском языке. Ярость полковника Старботтла не знала границ. Я до сих пор помню, как этот достойнейший человек вошел ко мне в кабинет и потребовал, чтобы мы поместили его опровержение.

— Но, дорогой сэр,— сказал я,— неужели вы решитесь дать свою подпись под заявлением, что мистер Уэбстер никогда ничего подобного не писал? Неужели вы возьмете на себя смелость отрицать, что всем известный эрудит мистер Уэбстер знал китайский язык? Может быть, вы хотите дать нашим читателям полный перевод этой фразы и поручиться честным словом джентльмена, что покойный мистер Уэбстер не выражал таких мыслей? Если вы настаиваете, сэр, я готов поместить ваше опровержение.

Полковник Старботтл не стал настаивать на своем требовании и вышел, преисполненный негодования.

Наш Уэбстер отнесся к этому происшествию гораздо хладнокровнее. К счастью, он не знал, что в течение двух следующих дней китайцы из прачечных, из ресторанов и с приисков, язвительно и не скрывая своего восторга, посматривали на двери редакции и что в заречную часть города потребовалось триста добавочных экземпляров «Звезды». Он видел только, как Вань Ли по нескольку раз в день вдруг начинал корчиться от смеха, и приводил его в чувство пинками. Через неделю после этого я вызвал Вань Ли к себе в кабинет.

— Вань,— сказал я серьезным тоном,— удовлетвори мою любознательность. Дай мне перевод тех китайских фраз, которые мой божественный, высокоодаренный соотечественник произнес в ходе одной политической кампании.

Вань Ли пристально посмотрел на меня, и вдруг в его черных глазах промелькнула еле уловимая усмешка. Потом он сказал не менее серьезным тоном:

— Мистел Уэбстел говолила: «Моя пузо болит от китайчонка. Моя тошнит от китайчонка»,— что, как мне думается, вполне соответствовало действительности.

Боюсь, что я подчеркиваю только одну сторону характера Вань Ли, к тому же не лучшую. Жизнь у него, как он сам мне рассказывал, была нелегкая. Детства он почти не видел: не помнил ни отца, ни матери. Воспитывал его фокусник Ван. Первые семь лет своей жизни он только и делал, что выскакивал из корзин, появлялся из шляп, карабкался по лестницам, ломал тело акробатическими упражнениями. Его окружала атмосфера плутовства и обмана; он привык смотреть на человека как на кругом одураченного простофилю. Короче говоря, умей Вань Ли размышлять, из него вышел бы скептик, будь он постарше, из него вышел бы циник, будь взрослым — философ. Пока что это был маленький бесенок, но бесенок добродушный (его нравственная природа еще крепко спала), бесенок, вырвавшийся на волю, способный ради развлечения и на хороший поступок. Я не знаю, была ли у него какая-нибудь духовная жизнь, но что касается суеверия, то он всюду таскал с собой уродливого фарфорового божка, которого то всячески поносил, то старался задобрить. У него хватало ума, чтобы не воровать и не лгать. Каких бы правил поведения он ни придерживался, они были созданы его собственным умом.

По натуре своей Вань Ли был мальчик впечатлительный, хотя добиться от него выражения каких-нибудь чувств мне казалось почти невозможным; впрочем, я думаю, что он привязывался к людям, которые хорошо к нему относились. Каким бы Вань Ли стал при более благоприятных обстоятельствах, то есть не находись он в полной зависимости от загруженного работой, живущего на убогое жалованье журналиста, сказать трудно; я знаю только, что редкая, скупая ласка, которую я уделял ему под влиянием минуты, принималась с благодарностью. Он был очень верен и терпелив — качества редкие в рядовом американском слуге; при мне держался «печально и учтиво», как Мальволио. Я вспоминаю только один-единственный случай, когда он проявил нетерпение, и то при особых обстоятельствах. Обычно я брал Вань Ли после работы к себе домой, рассчитывая, что, может быть, придется послать его в редакцию, если мою редакторскую голову осенит какая-нибудь новая счастливая мысль. Однажды вечером я что-то стро-

чил, задержавшись позднее того часа, когда обычно отпускал Вань Ли, и совершенно забыл, что он сидит на стуле у двери. И вдруг мне послышался голос, жалобно пробормотавший нечто вроде «чи-ли».

Я обернулся и сердито посмотрел на него.

— Что ты говоришь?

— Моя сказала: «чи-ли».

— Что это значит?— нетерпеливо спросил я.

— Твоя понимает «здлавствуй, Джон»?

— Да.

— Твоя понимает «площай, Джон»?

— Да.

— Ну вот, «чи-ли» — то же самый.

Я прекрасно понял его. «Чи-ли» значило примерно то же, что «спокойной ночи», а мальчику не терпелось уйти домой. Но склонность к озорству, которая, боюсь, была и во мне, подталкивала меня пропустить этот намек мимо ушей. Я сказал, что ничего не понимаю, и снова занялся своим делом. Через несколько минут я услышал, как деревянные башмаки Вань Ли жалобно застучали по полу. Я поднял глаза. Он стоял у двери.

— Твоя не понимает «чи-ли»?

— Нет,— строго ответил я.

— Твоя понимает «большой дулак»? «Чи-ли» — то же самый!

И, выпалив эту дерзость, он убежал. Однако на следующее утро он был по-прежнему кроток и терпелив, а я не напоминал ему про его вчерашнюю выходку. Решив, должно быть, пойти на мировую, он принялся чистить черной ваксой всю мою обувь — этого я никогда от него не требовал,— включая желтые домашние туфли из оленьей кожи и высоченные сапоги для верховой езды. Успокоение потревоженной совести заняло у него два часа.

Я уже говорил о честности Вань Ли, приписывая это качество скорее его природному уму, чем принципам, но теперь вспоминаю два исключения из этого правила. Мне захотелось достать свежих яиц, чтобы внести хоть какое-нибудь разнообразие в неудобоваримое меню прискового городка. Зная, что соотечественники Вань Ли большие любители разводить кур, я обратился к нему.

Он стал приносить мне яйца каждый день, но получать плату отказывался, уверяя, что хозяин не хочет продавать их,—поразительный пример бескорыстия, ибо яйцо стоило тогда полдоллара! Но вот однажды утром, во время завтрака, ко мне явился мой сосед Форстер и стал жаловаться на свою горькую судьбу: его куры за последнее время или совсем перестали нестись, или ходят в кустарник и кладут яйца там. Вань Ли слышал этот разговор и продолжал хранить кроткое молчание. Но как только сосед ушел, он повернулся ко мне, давясь от смеха:

— У Фолстела кулица — у Вань Ли кулица — то же самый.

Вторая его выходка была гораздо смелее и опаснее. В то время почту доставляли очень нерегулярно, и Вань Ли часто приходилось слышать мои жалобы на запоздалую доставку писем и газет. Придя однажды в редакцию, я с удивлением увидел, что мой стол завален письмами, очевидно, только что полученными, которые все были адресованы другим лицам. Я повернулся к Вань Ли, взиравшему на них со спокойным и удовлетворенным видом, и потребовал объяснения. К моему ужасу, он указал на пустую почтовую сумку, которая валялась в углу, и ответил:

— Постальона сказала: «Нет письма, Джон, нет письма, Джон!» Постальона обманывает. Постальона плохая. Моя вчела достала письма — то же самый!

К счастью, было еще рано, почту не успели разнести. Мне пришлось спешно переговорить с почтмейстером. Дерзкую попытку Вань Ли ограбить почту Соединенных Штатов Америки удалось в конце концов загладить покупкой новой почтовой сумки, и только таким образом этот случай не получил огласки.

Если бы даже я не любил моего маленького слуги-язычника, одного чувства долга по отношению к Хоп Сину было достаточно, чтобы заставить меня взять Вань Ли в Сан-Франциско, куда я возвращался после двухлетней работы в «Северной звезде». Не думаю, чтобы он испытывал удовольствие от такой перемены. Я объяснял это страхом перед людными улицами (когда ему приходилось идти по моему поручению куда-нибудь через весь город, он выбирал окольную дорогу и шел

окраинами), нежеланием подчиняться дисциплине англо-китайской школы, куда я хотел его отдать, любовью к свободной, бродячей жизни на приисках, наконец просто упрямством! Но то, что здесь могли быть какие-то суеверные предчувствия, долгое время не приходило мне в голову.

И вот у меня появилась возможность, которой я давно ждал и на которую крепко надеялся,— возможность окружить Вань Ли мягким, смиряющим влиянием, создать ему жизнь, способную воспитать в нем добрые чувства, то, чего не могли насадить в его душе ни мои поверхностные заботы, ни моя редкая ласка. Вань Ли поступил в школу китайского миссионера, умного и доброго священника, который заинтересовался мальчиком и — больше того — поверил в него. Я поселил своего подопечного в семье одной вдовы — матери веселой, хорошенькой дочки, двумя годами младше его. И этот веселый, приветливый, жизнерадостный и невинный ребенок сумел затронуть в натуре мальчика такие глубины, о существовании которых никто и не подозревал. Этот ребенок пробудил в нем отзывчивость, которую до сих пор не могли пробудить ни поучения окружающих, ни богословские проповеди.

Эти несколько месяцев, обещавшие дать в будущем такие плоды и обманувшие наши ожидания, принесли, должно быть, много счастья Вань Ли. Он боготворил свою маленькую подругу почти суеверно, не меньше, чем фарфорового языческого божка, но относился к ней гораздо ровнее. Ему доставляло огромное удовольствие провожать ее в школу, нести ее книжки — услуга, всегда сопряженная с опасностью, которой были чреваты встречи с его маленькими арийскими братьями.

Он мастерил для нее замечательные игрушки, вырезал из моркови и репы крохотные розы и тюльпаны, из дынных семечек — цыплят, делал веера и змеев и с особым искусством кроил из бумаги платья для кукол. А она, в свою очередь, играла ему на рояле и пела, обучала его всяким милым и тонким штучкам, известным только девочкам, подарила желтую ленточку в косу (считая, что желтое лучше всего идет к цвету его лица), читала вслух, показывала ему, чем он выгодно отличается от других мальчиков, наперекор всем обычаям по-

вела его с собой в воскресную школу — и восторжествовала, как маленькая женщина. Мне хотелось бы добавить, что она обратила моего Вань Ли в христианскую веру и заставила отказаться от фарфоровых идолов, но я рассказываю правдивую историю, а девочке было довольно того, что она наделила его своей христианской добротой, не дав ему заметить, как он переменился. И так они жили тихо и мирно — маленькая христианка, носившая на круглой белой шейке золотой крестик, и смуглолицый маленький язычник, прятавший на груди уродливого фарфорового божка.

Из этого года, богатого событиями, два дня в Сан-Франциско запомнят надолго — те два дня, когда толпа его граждан напала на чужестранцев и убила их, невооруженных, беззащитных, только за то, что они чужаки, что они другой расы, что вера у них другая, цвет кожи другой, и работают они за любую плату, какую удается получить. Нашлись такие робкие общественные деятели, которые при виде всего этого решили, что настал конец света; нашлись и видные государственные мужи — я стыжусь назвать их здесь по именам,— которые начали подумывать, что раздел конституции, гарантирующий гражданские и религиозные свободы равно как гражданам страны, так и иностранцам, представляет собой ошибку. Но нашлись среди нас и смельчаки, которых нелегко было запугать, и в течение суток мы добились того, что робкие общественные деятели могли ломать руки в безопасности, а видные государственные мужи — высказывать свои сомнения, не причиняя другим вреда. И в разгар всех этих событий я получил от Хоп Сина записку с просьбой немедленно зайти к нему.

Его лавка была закрыта и охранялась от возможных нападений погромщиков сильным отрядом полиции. Хоп Син, невозмутимо спокойный, как всегда, отворил мне дверь, защищенную решеткой; но я заметил, что сегодня он еще серьезнее, чем обычно. Он молча взял меня за руку и провел к лестнице, по которой мы спустились в слабо освещенный подвал. На полу там лежало что-то, покрытое шалью. Когда я подошел, Хоп Син быстро сдернул ее и открыл моим глазам мертвого язычника Вань Ли!

Мертвого, уважаемые друзья, мертвого! Убитого на улицах Сан-Франциско в год от рождества христова 1869-й толпой мальчишек и учеников христианской школы, закидавших его камнями!

Благоговейно положив руку ему на грудь, я почувствовал там под шелковой блузой какие-то осколки. Я вопросительно посмотрел на Хоп Сина. Он нагнулся, расправил складки шелка и вынул из-под них что-то, улыбнувшись горькой улыбкой, которую мне впервые пришлось увидеть на лице этого почтенного язычника.

Это был фарфоровый божок Вань Ли, разбитый камнем, брошенным рукой христианского изувера!

ОЧЕРКИ, ЛЕГЕНДЫ, ПАРОДИИ

НОЧЬ В УИНГДЭМЕ

Весь день я тупо трясся в почтовой карете, а когда в ночной тьме мы достигли аркадийской деревушки Уингдэм, почувствовал, что дальше ехать не в силах, и выбрался из кареты в крайне мрачном и диспепсическом расположении духа. Это последнее обстоятельство объяснялось тем, что я все еще испытывал гнетущее воздействие пирога с загадочной начинкой и подслащенного раствора углекислоты, который хозяин трактира «На полпути» величал «лимонадом с содовой». Даже проделки бравого почтальона, который знал по имени всех и вся и рассыпал с козел целый фейерверк писем, газет и свертков, ноги которого то и дело приходили в опасное соседство с колесами, когда он с полным хладнокровием соскакивал с подножки и снова на нее вскакивал, пока мы мчались во весь опор, который учтивостью, энергией и неизмеримой дорожной опытностью повергал нас, пассажиров, в завистливое молчание и который в настоящую минуту беседовал сразу с несколькими лицами, занимаясь в то же время еще каким-то делом,— даже это было не в силах заинтересовать меня. И я мрачно стоял, судорожно сжимая свой плед и саквояж, и глядел вслед покатившейся карете: бравый почтальон висел, зацепившись ногой за козлы и прикуривая сигару от трубки бегущего рядом лакея. Потом я повернулся к входу в уингдэмскую гостиницу «Трезвость».

Возможно, дело было в погоде, а возможно, в пироге, но во всяком случае гостиница не произвела на меня благоприятного впечатления. А может быть, роковую роль сыграла вывеска, растянувшаяся во всю длину фа-

сада, с буквой под каждым окном, отчего постояльцы, выглядывавшие из них, имели чрезвычайно нелепый вид Да и слово «трезвость» всегда ассоциировалось для меня с сухарями и жиденьким чаем. Такую вывеску нельзя было назвать заманчивой. Впрочем, этой гостинице больше всего пошла бы вывеска «Полное воздержание», ибо ничто в ней не пьянило и не чаровало чувства. Ее зодчий, несомненно, был певцом уныния. Величиной она настолько превосходила остальные дома поселка, что уже не казалась уютным убежищем от тьмы и непогоды. Она была по-неприятному новой. В ней еще стоял запах лесной сырости, подперченный сосновым ароматом. Оскверненная, но не покорившаяся природа все еще исходила круглыми липкими слезками смолы на дверных и оконных наличниках. Мне пришло в голову, что жить здесь — все равно что жить под открытом небом. Когда я вошел, из длинного зала высыпали постояльцы и принялись жевать, курить и нюхать табак, очевидно, чтобы избавиться от какого-то неприятного вкуса во рту. Троечетверо поспешили устроиться у камина и, закинув ноги на стул соседа, с безмолвной покорностью отдались ощущению тяжести в желудке. Памятуя о давешнем пироге, я отклонил приглашение хозяина поужинать, однако послушно побрел за ним в гостиную. Содержатель гостиницы был великолепным и весьма бородатым образчиком животной натуры. Он напомнил мне не то персонаж, не то строку из какой-то пьесы. И, сидя у огня, я молча пытался сообразить, что бы такое это могло быть, и уже пробирался прихотливыми тропинками памяти в запутанное прошлое, когда в дверях показалась худенькая невысокая женщина и, тяжело опираясь о косяк, позвала усталым голосом:

— Муженек!

Хозяин повернулся к ней, и тут-то перед моим мысленным взором вспыхнуло искомое воспоминание, одна строчка белых стихов. Она гласила: «Две души с единой мыслью, два сердца, что бьются, как одно».

Да, это были Ингомар и Партения [1], его жена. Я тут же придумал трагедии новый финал. Ингомар увез Пар-

---

[1] Главные действующие лица немецкой пьесы «Варвар Ингомар», которая пользовалась в Америке большим успехом.

тению обратно в горы и открыл гостиницу для германцев, обитавших там в значительном числе. Бедняжка Партения преждевременно увяла, выполняя всю черную работу «без прислуги». Она обзавелась двумя «юными варварами»: сыном и дочерью. Она поблекла, но все еще была красива.

Я сидел и беседовал с Ингомаром, который, казалось, чувствовал себя здесь отлично и поведал мне несколько историй в германском духе, одинаково подобающих и этой глуши и этому дому. Как он, Ингомар, убил медведя, настоящее страшилище, и шкура этого, значит, медведя висит теперь над его кроватью. Как он, Ингомар, убил с десяток оленей, а Партения расшила и украсила шкуры —«одежке этой и сносу нет». Как он, Ингомар, убил с десяток «краснокожих», а его самого чуть было не скальпировали. Все это излагалось с простодушием, сугубо извинительным в варваре, хотя грек, кривя губы, и объявил бы это «враньем». И, вспомнив истомленную Партению, я впервые подумал, что ей, пожалуй, следовало бы выйти за старика грека. Тогда бы она по крайней мере хорошо одевалась. Тогда бы она не расхаживала в шерстяном платье, хранящем ароматы всех обедов за минувший год. Тогда бы ей не пришлось прислуживать непричесанной за столом. Тогда бы двое детей не цеплялись грязными ручонками за ее подол, изо дня в день низводя ее все ниже и ниже. Наверное, столь бессердечные и непристойные мысли внушил мне пирог, так что я поднялся и сообщил Ингомару о своем намерении лечь спать. В сопровождении грозного варвара и пылающей сальной свечки я поднялся на второй этаж в отведенную мне комнату. Это был единственный отдельный номер на всю гостиницу, сообщил он мне, и предназначался для супружеских пар, но так как им еще ни разу никто не воспользовался, то он и был пока меблирован лишь наполовину. И действительно, одна стена была обита сукном, а другая зияла щелями. По комнате гулял ветер, неизменно обрушивающийся на Уингдэм каждую ночь. Оконная рама была явно мала для вмещавшего ее проема и отчаянно стучала. Все в этом помещении наводило уныние и тоску. Перед тем как распрощаться со мной на ночь, Ингомар притащил пресловутую медвежью шкуру и, бросив ее на мрачный одр, воз-

вышавшийся в углу, высказал предположение, что уж теперь-то я не замерзну, а засим пожелал мне спокойного сна. Я разделся, причем свечу задуло в самой середине этой церемонии, забрался под шкуру и попытался уснуть.

Но это мне не удалось. Я слышал, как ветер разгуливал по горному склону, как он раскачивал ветви меланхолических сосен, а затем врывался в дом и стучал во все двери. Иногда сквозняки разметывали мои волосы по подушке, нашептывая что-то невнятное. Смолистые бревенчатые стены, казалось, вот-вот пустят ростки, и даже под шкуру забиралась промозглая сырость. Я чувствовал себя, как Робинзон Крузо, когда он устраивался на ветках своего дерева и втаскивал за собой лестницу, или как младенец из детской песенки [1]. После получасового бодрствования я уже горько сожалел, что остался ночевать в Уингдэме; через три четверти часа я раскаялся в том, что лег спать, а проворочавшись еще пятнадцать минут, встал и оделся. Я помнил, что в большой комнате топился камин. Может быть, он и теперь еще топится? Я открыл дверь и ощупью пробрался по коридору, где слышался храп германцев и свист ночного ветра. Не то спустившись, не то свалившись с лестницы, я наконец добрался до большой комнаты и увидел, что огонь в камине еще горит. Я пододвинул к нему стул, помешал головни носком башмака и, когда они вспыхнули ярче, с удивлением обнаружил, что рядом сидит Партения, покачивая на руках младенца весьма блеклого вида.

Я спросил, почему она полуночничает.

По средам она всегда дожидается прибытия почтовой кареты, а тогда будит мужа и устраивает пассажиров.

А она не устает?

Немножко. Но Эбнер (варвара, оказывается, крестили Эбнером) обещал будущей весной нанять ей прислугу, если дела пойдут хорошо.

Много ли у них постояльцев?

Столуется у них человек сорок, да еще приезжие; этих

---

[1] Имеется в виду английская колыбельная песня «Спи, мой маленький, на верхушке дерева».

они пускают столько, сколько по силам обслужить ей и мужу. Но у него-то и кроме того хватает работы.

Какой же?

Ну, он дрова рубит и присматривает за фургонами торговцев.

Давно ли она замужем?

Десятый год. Двое у нее умерло: девочка и мальчик. А трое ничего, живут. Сам он из Иллинойса. А она из Бостона. Училась там. (В «Бостонской высшей женской школе»— геометрия, алгебра, немножко латыни и греческого.) Родители умерли. Приехала в Иллинойс одна, школьной учительницей. Познакомилась с ним... да-да... брак по любви. («Две души» и проч. и проч.) Поженились и уехали в Канзас. А оттуда через прерии в Калифорнию. Всегда подальше от цивилизованных мест. Ему так нравится.

Иногда ей хочется уехать на родину. Из-за детей. Чтобы дать им образование. Она сама их немножко учит, но времени из-за работы не хватает. Надеется, что мальчик пойдет в отца: станет таким же здоровым и сильным. Боится, как бы девочка не пошла в нее. Ей часто приходило в голову, что она не годится в жены пионеру.

Почему?

А она слабая; ей приходилось видеть в Канзасе, что жены его приятелей успевают сделать куда больше работы. Только он-то никогда не ворчал на нее и не жаловался: он очень добрый. («Две души» и проч.)

Я смотрел, как она сидит, задумчиво опустив голову на руку, а другой устало поддерживая жалкого, изможденного младенца,— грязная, неряшливая, измученная, а огненные блики играют на ее лице, уже поблекшем и немолодом, но все еще тонком и одухотворенном, подмечал в ее неопрятном облике черты, говорившие о хорошем рождении и воспитании, и никак не мог восхититься добротой варвара. Заметив мое сочувствие, она осмелела и рассказала, как мало-помалу поборола в себе то, что считала слабостями, привитыми ей воспитанием, но в конце концов обнаружила, что и это не помогает ей справляться с трудностями новой для нее жизни. Рассказала, как, очутившись в пограничной глуши, навлекла на себя ненависть соседок, объявивших ее «гордячкой» и «образованной», и как из-за этого приятели стали смотреть косо

на ее возлюбленного супруга. Рассказала, как он, отчасти повинуясь бродяжническому инстинкту, а отчасти по другим причинам, отправился с ней в Калифорнию. Она описала это невыразимо тягостное путешествие, оставившее после себя самые грустные и унылые воспоминания — только бесконечная однообразная равнина, а на ней небольшая пирамида, сложенная из камней: детская могилка. Она рассказала, как заметила, что маленький Уилли тает с каждым днем. Как сказала об этом Эбнеру, но он, мужчина, конечно, ничего не понимал в детях и только отмахнулся от ее тревог: у него ведь хватало забот со стадом. И вот, когда они проехали Суитуотер, она как-то вечером шла рядом с фургоном, глядела на небо на западе и вдруг услышала, как тихий голосок позвал: «Мама!» Она заглянула в фургон, но Уилли крепко спал, и ей не захотелось его будить. Только еще через несколько минут тот же голосок опять позвал: «Мама!» Тогда она забралась в фургон, наклонилась над ним, почувствовала на лице его дыхание, нежно укрыла его и снова устало зашагала рядом, моля бога о его выздоровлении. И вот она поглядела на небо и снова услышала, как тот же голос сказал: «Мама!» И тут с неба скатилась большая яркая звезда и погасла. Она сразу поняла, что это значит, и бросилась в фургон — только для того, чтобы прижать к своей усталой груди заострившееся холодное личико.

При этих словах она закрыла глаза худыми красными руками и несколько мгновений хранила молчание. Вокруг дома завывал ветер и отчаянно ломился в дверь, а из соседней комнаты, где на своем ложе из шкур почивал Ингомар, доносилось мирное похрапывание.

Но, конечно, храбрость и сила ее мужа всегда служили ей надежной защитой от оскорблений и обид?

О да! Когда Ингомар с ней, она ничего не боится. Но только она очень нервная и один раз страшно перепугалась.

Как же это произошло?

Они только что приехали в Калифорнию. Тогда они держали трактир и торговали спиртным. Ингомар — человек очень общительный и пил со всеми посетителями, чтобы не прослыть гордецом, да и торговля так шла бой-

чее; только Ингомар пристрастился к спиртному, а голова-то у него была не очень крепкая. И вот как-то вечером в буфете собралась буйная компания; она зашла туда и попробовала увести мужа, но ей только пришлось терпеть грубые ухаживания пьяных весельчаков. А когда она наконец увела его к ним в спальню, где ждали испуганные дети, он сразу повалился на кровать в тяжелом оцепенении, так что она даже подумала, что ему в вино что-то подсыпали. И она просидела с ним рядом всю ночь, а под утро услышала в коридоре шаги и, посмотрев на дверь, увидела, как щеколда медленно заходила вверх-вниз, словно кто-то пытался ее открыть. Она стала будить мужа, трясти его за плечи, а он не просыпался. Дверь начала медленно подаваться в верхней своей части (снизу-то был еще засов), словно на нее кто-то навалился всем телом, и в щель просунулась рука. И тут она во мгновение ока пригвоздила эту руку к стене ножницами (своим единственным оружием). Но кончик сломался, и неизвестный страшно выругался и сбежал. А мужу она ничего не рассказала, потому что боялась, как бы он не убил этого человека; но только у них здесь как-то остановился проезжий, а она подавала ему кофе и увидела у него на тыльной стороне руки странный такой треугольный шрам.

Она все еще рассказывала, а ветер все еще выл, и Ингомар все еще храпел на своем ложе из шкур, как вдруг с дальнего конца незастроенной улицы донесся крик, застучали копыта, загремели колеса. Прибыла почтовая карета. Партения с блеклым младенцем на руках бросилась будить Ингомара, и сразу же передо мной возник бравый почтальон, назвал меня по имени и предложил хлебнуть из таинственной темной бутылки. Лошадей скоро напоили, бравый почтальон вручил пакеты, и, попрощавшись с Партенией, я забрался в карету и тут же уснул, чтобы увидеть во сне, как я приезжаю в гости к Партении и Ингомару и как меня усердно потчуют пирогом, что продолжалось, пока я не проснулся на следующее утро уже в Сакраменто. Иной раз мне кажется, что все это было кошмаром, навеянным тяжестью в желудке, но стоит мне побывать на этой трагедии и услышать благородные излияния относительно «двух душ» и прочее, как я сразу вспоминаю Уингдэм и бедняжку Партению.

НАВОДНЕНИЕ НА БОЛОТЕ

Уныло и мрачно прибрежное болото Дедлоу Марш после прилива. Топкая низинная поверхность, вялые черные омуты, извилистые течения, скользкими угрями ползущие к заливу,— вот что такое Дедлоу Марш. Мрачно торчат из гнилой воды метелки болотной осоки, источая резкий запах прели и водорослей. Вздумай вы предаться игре воображения, хотя унылое плоское однообразие топи отнюдь к этому не располагает,— неровная граница последнего прилива, отмеченная гниющими остатками всего того, что занесло и кинуло сюда море, навеет печальные мысли об иссякшей силе наступавшей воды и о неизбежности ее возвращения, и даже яркое сиянье солнца не сможет рассеять этих мрачных размышлений. И луговины, где земля потверже и трава погуще, кажется, подавлены той же мыслью и не торопятся зазеленеть всерьез, откладывая это до тех пор, пока не будут произведены осушительные работы. Невольно можно подумать, что ягоды клюквы были от природы сладкими, но испортились и безнадежно скисли от неумеренной каждодневной поливки холодной водой.

Голос Дедлоу Марш также печален и уныл. Заунывное уханье выпи, пронзительный свист кроншнепа, резкий крик взлетающей казарки, торопливое брюзжанье чирка, сварливое курлыканье вспугнутого журавля и однообразная жалобная песня ржанки — все это нельзя выразить словами. Да и вид этих пернатых не вселяет бодрости и не радует глаз. Грустно выглядит голубая

цапля; она стоит по колено в воде и простужается, совершенно не думая о последствиях, к которым приводят промокшие ноги. Под стать ей и мрачный кроншнеп и унылая ржанка, вместе с нею предается самоубийственным размышлениям и угрюмый бекас, и бесстрастный зимородок, этот Марий пернатого царства, созерцающий бескрайнюю пустыню, и черный ворон, все время летающий взад-вперед над болотом, видимо, не в силах решить, начался ли наконец отлив, и удрученный сознанием того, что, как он ни старайся, все равно не сможет дать ответа. Да, птицы Дедлоу Марш не радуют глаз; напротив, с первого взгляда ясно, что угрюмое болото плохо сказывается на них. Они только и ждут наступления перелетной поры: взрослые с чувством облегчения и удовлетворения, молодые и неопытные с надеждой на необыкновенные приключения. Но если болото Дедлоу Марш безрадостно во время отлива, то посмотрели бы вы на него, когда полный прилив неистовствует со всей силой: сырой, пронизывающий ветер несется с моря над холодной, сверкающей поверхностью затопленного болота, словно прилив в воздухе. Стальными отблесками отсвечивают течения и водовороты; огромные, обросшие раковинами стволы упавших деревьев снова поднимаются кверху, покачиваясь на воде и появляясь то тут, то там в своем печальном и бесцельном плавании, как легендарный Вечный Жид, пока с отливом морской воды они вновь не окажутся на том же самом месте.

Медленно проплывают лоснящиеся дикие утки, не оставляя на поверхности воды ни ряби, ни бороздники. Посмотрели бы вы на эту картину, когда туман, который пришел с приливом, застилает голубизну в высоте, подобно тому, как вода поглощает зелень внизу, а гребцы, заблудившиеся в тумане, все еще безнадежно работают веслами и вздрагивают, когда им кажется, что лодку хватают за киль лапы водяного, или отшатываются от густой травы, плывущей по воде, словно волосы утопленника, и по этим признакам они догадываются, что их отнесло на Дедлоу Марш и что им предстоит провести здесь ночь, мрачную ночь. Если вы видели все это, вы получили некоторое представление о Дедлоу Марш в часы прилива.

Мне вспоминается одна история, связанная с таким

приливом. Она неизменно возникает у меня в памяти, когда мне приходится подолгу охотиться на Дедлоу Марш. Этот случай был коротко описан в местных газетах, но я слышал этот рассказ во всех его красочных подробностях из уст главного действующего лица. Боюсь, что не сумею передать эту историю с той выразительностью и своеобразным колоритом, которые так присущи женскому повествованию, ибо рассказчиком была женщина. Постараюсь передать хотя бы суть дела.

Она жила на длинной песчаной косе, между огромным болотом Дедлоу Марш и довольно широкой рекой, которая в четырех милях оттуда впадает в небольшой залив Тихого океана. Жилищем ей служила бревенчатая хижина на толстых сваях, всего на несколько футов выше уровня болота. Стояла она милях в трех от ближайшего селения, расположенного на берегу реки. Муж этой женщины был лесоруб — выгодная профессия в округе, где занимаются главным образом обработкой древесины.

Была ранняя весна. При высоком приливе муж пустился сплавлять на другой берег залива обычную партию леса. Стоя на пороге хижины и провожая его, она заметила, что небо на юго-востоке зловеще нахмурилось. И ей вспомнилось, как муж говорил своим спутникам, что им нужно добраться до цели раньше, чем разразится шторм. В эту ночь началась такая страшная буря, какой она никогда в жизни не видывала. В лесу у реки повалило несколько деревьев, и ее хижина раскачивалась, как колыбель ее ребенка.

Несмотря на шторм, бушевавший за окнами, она знала, что ей непогода не страшна, потому что человек, которому она вверила свою судьбу, сам, своими собственными сильными руками сколотил их жилище, да он и не оставил бы ее одну, если бы ей угрожала опасность. Уверенная в этом и занятая домашними хлопотами и заботами о больном ребенке, она не думала о погоде и надеялась только, что муж благополучно добрался со своими бревнами до отдаленной Утопии. Но еще днем, выйдя покормить кур и присмотреть за коровой, она обратила внимание на то, что вода поднялась до самой ограды садика и рев прибоя на южном берегу отчетливо доносится за несколько миль. Тогда ей подумалось, что хорошо бы с кем-нибудь посоветоваться, и, если бы не буря, рас-

стояние и размытая дорога, она взяла бы ребенка и пошла к Рикменам, своим ближайшим соседям. Но ведь муж мог вернуться в бурю, промокший до костей, некому было бы о нем позаботиться, да к тому же ей не хотелось лишний раз подвергать риску здоровье и без того простуженного ребенка.

В этот вечер, как она потом говорила, ей почему-то совсем не хотелось спать или хотя бы прилечь. Буря немного утихла, но она все «сидела и сидела» и даже пробовала читать. Не знаю, что читала бедная женщина — священное писание или какой-нибудь вовсе не благочестивый журнал, скорее последнее,— только вскоре она почувствовала, что строчки плывут у нее перед глазами и получается путаница. Она бросила чтение и обратилась к более дорогой для нее книге, которая лежала рядом, в колыбели, с незапятнанным, белым, нетронутым титульным листом, и попыталась мысленным взором проникнуть в ее таинственное будущее. Так сидела она, покачивая колыбель, и все думала обо всем и обо всех, а спать ей так и не хотелось.

Было почти двенадцать часов, когда она наконец, не раздеваясь, легла. Долго ли она спала, она не помнит, но проснулась она оттого, что у нее перехватило дыхание: оказалось, что она стоит посреди комнаты, дрожа всем телом, прижимая к груди ребенка, и «что-то говорит». Ребенок плакал и всхлипывал, она прошлась по комнате, чтобы успокоить его, как вдруг услышала легкое царапанье в дверь. Она с опаской приоткрыла ее и обрадовалась, когда увидела, что это только Пит, их старый пес. Он медленно вполз в комнату, оставляя позади себя лужи воды. Ей хотелось выглянуть наружу; не то чтобы у нее теплилась надежда на возвращение мужа, а просто посмотреть, что там происходит. Но ветер так бешено рванул дверь, что она ее еле-еле удержала. Потом она немного посидела, потом походила по комнате, потом прилегла. Кровать стояла у самой стены, и раза два или три ей послышалось, как что-то скребется по доскам хижины, словно ветки дерева. Затем послышалось какое-то бульканье, совсем такой же звук, «какой делает маленький, когда глотает».Она приподнялась и села на кровати. Только теперь она заметила, как что-то медленно ползет от задней двери к середине комнаты. Это

что-то, сначала не шире ее мизинца, расползалось и расползалось, пока наконец не покрыло весь пол хижины. Это была вода.

Женщина бросилась к передней двери и распахнула ее — ничего, кроме воды; подбежала к задней двери и распахнула ее — ничего, кроме воды; распахнула окно — ничего, кроме воды. Она вспомнила, как однажды муж говорил ей, что морской прилив неопасен, потому что он наступает и отступает в свой срок и люди могут предвидеть его движение, и что он предпочитает жить у залива, а не у реки, которая в любой момент может выйти из берегов. Но прилив ли это? Она снова подбежала к задней двери и бросила в воду щепку. Щепка медленно поплыла в сторону залива. Потом женщина зачерпнула рукой воды и попробовала глоток. Вода была пресная, ни капельки соли. Значит, это река, а не прилив!

И в эту страшную минуту, благодарение господу, она не потеряла сознания и не упала. Казалось, какая-то высшая сила поддержала ее и не дала упасть. Страх как рукой сняло, и она перестала дрожать. С этой минуты, несмотря на все испытания ужасной ночи, она ни разу не потеряла самообладания.

Она выдвинула кровать на середину комнаты, поставила на нее стол, а сверху—колыбель. Вода уже доходила ей до щиколоток и выше, а домик уже раза два покачнуло так, что распахнулись дверцы чулана. Потом она опять услышала, как что-то скребется и толкается в стену хижины. Выглянув в окно, она увидела, что это было вырванное с корнями большое дерево, прежде оно лежало на дороге к пастбищу. Теперь оно приплыло к самому дому. К счастью, дерево плыло не так быстро, как текла вода; его длинные корни волочились по земле. Если бы оно со всего размаху налетело на хижину, никакие гвозди и болты, вбитые в сваи, не смогли бы выдержать этого удара. Пес вскочил на ствол и прильнул всем телом к его сучковатой поверхности. Примостившись у самых корней, он дрожал и жалобно скулил. В душе женщины блеснул луч надежды. Она сдернула с постели теплое одеяло, завернула в него ребенка и пробралась по воде к двери. Когда дерево опять ударилось о стену с такой силой, что домик покачнулся и затрещал, она вскочила на ствол. С божьей помощью ей удалось удержаться на

его скользком стволе, и, обхватив одной рукой корни, она другой крепче прижала к груди стонущего ребенка. У крыльца что-то затрещало, и вся передняя стена дома, из которого она только что вышла, накренилась вперед и рухнула, как коровы становятся на колени перед тем, как лечь; и в ту же минуту огромное мамонтовое дерево повернулось и уплыло, унося в темноту свой живой груз.

Несмотря на волнение и грозящую опасность, несмотря на то, что ребенок все плакал и ей приходилось его успокаивать, несмотря на ветер, свистящий в лицо, на неустойчивость положения на скользком стволе, она нашла в себе силы бросить последний взгляд на свое покинутое и размытое жилище. Она теперь удивляется, какие глупые мысли приходили ей тогда в голову. Например, она подумала, что напрасно не переоделась сама и не надела на ребенка его лучшее платье, потом стала молиться о том, чтобы домик ее сохранился и мужу было где отдохнуть, когда он вернется,— а как он узнает, что с ней и с ребенком? При этой мысли она чуть не потеряла сознание. Но ей некогда было предаваться отчаянию: когда длинные корни ее ковчега наталкивались на преграду, весь ствол делал пол-оборота, и она дважды погружалась в черную воду. Ее все время беспокоил пес: он с воем метался взад и вперед по стволу, пока при новом толчке не соскользнул в воду. Некоторое время он плыл рядом, и женщина даже пыталась помочь бедному животному вскарабкаться на дерево, но пес был такой «глупый» и так бился в воде, что все попытки спасти его оказались тщетными, и вскоре она навсегда потеряла его из виду. Теперь женщина с ребенком осталась совсем одна. Огонь, который еще несколько минут горел в опустевшей хижине, вдруг погас. Она уже не знала, куда плывет. Вдали показались смутные очертания белых дюн на косе, и она поняла, что дерево плывет по течению реки. Прилив заметно слабел; она, очевидно, очутилась в том месте, где течение разлившейся реки сталкивалось с поднимавшимися морскими водами, и теперь ей грозила опасность с отливом быть унесенной в открытое море или оказаться затертой плавающими бревнами. Если же опасность эта ее минует и река снесет ее в залив, у нее была надежда зацепиться за кустарник у самого устья и

здесь переждать до света. Иногда ей казалось, что она слышит, как доносятся с реки голоса и крики людей, мычание коров и блеяние овец. Потом опять наступала тишина, и она слышала только звон в ушах да биение своего сердца. К этому времени она стала чувствовать, что продрогла до мозга костей и так оцепенела от неловкого положения, что едва может двигаться. Ребенок плакал, когда она давала ему грудь, и она поняла, что у нее пропало молоко. Это ее так испугало, что она закрылась платком и в первый раз горько заплакала.

Когда она снова подняла голову, гул прибоя слышался уже позади. Она догадалась,что дерево опять повернулось. Набрав в рот воды, чтобы промочить горло, она почувствовала, что вода соленая, как ее слезы. Но это ее обрадовало: она поняла, что плывет по спадающей воде морского прилива Потом ветер стих и кругом воцарилась глубокая, гнетущая тишина. Не слышалось даже журчания воды по бокам огромного шероховатого дерева, все было объято мраком и безмолвием. Она заговорила с ребенком, чтобы услышать собственный голос и убедиться, что она не потеряла дар речи. Странная мысль не оставляла ее: она думала о том, как, должно быть, ужасна была та ночь, когда Ноев ковчег плыл над Араратом, а все живое было погребено на дне безмолвной водной пустыни. Она думала и о моряках, цепляющихся за обломки разбитого корабля, и о несчастных женщинах, привязанных к плотам и погибших в пучине жестокого моря. Она хотела поблагодарить бога за свое чудесное спасение и оторвала взгляд от ребенка, который тревожно спал на ее груди. Вдруг на юге блеснул яркий свет, вспыхнул, и замерцал, и снова вспыхнул. Сердце у нее забилось под холодной щечкой ребенка. Это был маяк у входа в залив. Не успела она прийти в себя от удивления, как дерево зацепилось за дно, покачнулось потом еще немного протащилось вперед и остановилось. Она опустила руку в воду и почувствовала, как вода, тихо журча, течет мимо. Дерево лежало на земле. Судя по положению маяка и гулу прибоя, оно остановилось на Дедлоу Марш.

Если бы не ребенок, который был совсем простужен и кашлял, если бы в ее груди не иссяк нежный источник, она считала бы себя окончательно спасенной. Но теперь все представлялось ей в самом печальном и мрачном све-

«ПОЕЗДКА В ОДИНОЧЕСТВЕ»

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПО КВИТАНЦИИ»

те. Вода быстро убывала. Оглашая воздух пронзительным криком, над ее головой взвилась огромная стая черных казарок. Потом, кружась с печальным свистом, прилетели ржанки и серым облаком бесстрашно опустились на ствол. Цапля с негодующим криком покружилась над ее головой, потом окунула свои длинные ноги в воду всего в нескольких ярдах от нее. Но самым необычайным оказался прилет хорошенькой белой птицы, чуть побольше голубя и похожей на пеликана. Но это был не пеликан. Птичка все время делала круги над ее головой и наконец села на один из корней дерева у ее плеча. Женщина протянула руку и погладила птицу по изящной белой шейке, но та и не шелохнулась. Птица сидела долго, и женщина подумала, что хорошо бы приподнять ребенка и показать ему птичку. Но когда она захотела его приподнять, она почувствовала, что он совсем холодный. Заглянула ему в лицо и, видя, что глаза его с коротенькими ресницами закрыты и обведены синими кругами, она громко вскрикнула, птица испугалась и улетела, а женщина потеряла сознание.

Да, это было самое худшее, по крайней мере для нее. Когда она очнулась, солнце стояло высоко в небе, а вокруг расстилалось болото с низкой стоячей водой. Кругом слышались неясные звуки гортанной речи. Ослабевшая и изнемогающая, спасенная мать лежала возле костра, разведенного на болоте. Неподалеку сидела, раскачиваясь из стороны в сторону, старая индианка и напевала индейскую колыбельную. Первая мысль матери была о ребенке, но она не успела еще выговорить ни слова, когда к ней подошла молодая индианка, как видно, тоже мать, и, догадываясь о ее желании, поднесла ее ребенка, бледненького, но живого. Он лежал, туго спеленатый, точь-в-точь в такой же забавной колыбельке, сплетенной из ивовых прутьев, в какой спал ребенок молодой индианки. Мать засмеялась и заплакала. А когда обе индианки, старая и молодая, с улыбкой, открывавшей большие белые зубы, и сверкая черными глазами, сказали ей: «Будет скоро здоров беленький мауитча» и «Муж скоро придет»,— ей от радости захотелось расцеловать их смуглые лица. А случилось все вот как: индианки расхаживали по болоту и собирали в корзинки болотную ягоду. Вдруг старшая заметила неподалеку трепещущую по

ветру юбку. Соблазненная возможностью раздобыть себе новый наряд, она подошла ближе и тут-то заметила белую женщину с ребенком. Можете не сомневаться, что индианка получила юбку. Но когда пришел наконец он, постаревший от тревоги, казалось, на целый десяток лет, и бросился к ней, она опять потеряла сознание, и им пришлось на руках отнести ее в челнок. Представьте себе, что он ничего не знал о наводнении, а услышал о нем впервые от индейцев в Утопии и по описанию понял, что несчастная — его жена.

А когда снова наступил прилив, он пригнал старое дерево, хоть оно и не стоило такого труда, заложил его в качестве фундамента для нового дома и назвал это жилище «ковчегом Мэри». Но легко догадаться, что новый дом был построен выше уровня последнего наводнения. Вот и все. Пожалуй, не так уж много, если вспомнить о зловещих возможностях Дедлоу Марш.

Но если вам когда-нибудь придется блуждать по нему во время отлива или пробираться в лодке по разлившейся высокой воде, или, еще хуже, заблудиться в тумане, как это не раз случалось со мной, тогда вы по-настоящему поймете, как страшно было Мэри и какое это счастье — жить там, куда не достигнет даже самая высокая вода.

ПО ПОЛЯМ И ПО ВОДЕ

Путевые заметки

ЧАСТЬ I

В ПОЛЯХ

Октябрьский день клонился к вечеру, когда я вдруг, к неудовольствию своему, обнаружил, что долина Сакраменто начинает производить на меня весьма неприятное действие. Выехал я с восходом солнца, и постепенно от движения по бесконечной, угнетающе однообразной плоской местности у меня появилось такое чувство, словно мое путешествие — вовсе не деловая поездка под небом Калифорнии, этим наичистейшим изо всех явлений природы, а просто вызванный скверным пищеварением тягучий дурной сон. Иссохшие бурые поля, зияющие трещины на пыльной дороге, отчетливые контуры далеких холмов, медленно проходящие стада — все это стояло у меня перед глазами, словно одна и та же сияющая неизменным блеском картинка в стереоскопе. Быстрое, энергичное движение могло бы, вероятно, разогнать это чувство, но моя лошадь, повинуясь какому-то непонятному инстинкту, давно уже оставила всякие честолюбивые стремления и упорно шла мелкой рысцой.

Стояла осень, ничем, однако, не похожая на то время года, которое понимает под этим словом читатель с побережья Атлантики. Резко очерченные контуры далеких холмов служили как бы прообразом внезапного перехода

от дождей к засухе. В этой сухой атмосфере растительность гибла так быстро, что не успевала покрыться чахоточным румянцем, который медленно разливается по ландшафту Восточных штатов, а может быть, чрезмерно практичная природа пренебрегла здесь столь жалкими уловками. Она просто обращала к вам зловещую маску Гиппократа, заостренные и искаженные черты которой извечно знаменуют смерть.

Подобное зрелище порождало лишь самые болезненные фантазии. Суровое голубое небо было безоблачно, и в трезвой сухости атмосферы закат солнца совершался без всякой пышности. Потом потемнело и поднялся ветер, который все усиливался, по мере того как в долине сгущались тени. Я пришпорил лошадь, и скоро впереди обозначилась полоса ольхи, окаймлявшая русло потока. Через полчаса настойчивых понуканий я достиг корраля, за которым стоял дом, такой приземистый и низкий, что вначале он показался мне наполовину врытым в землю. Он и впрямь настолько гармонировал с бескрайнею пустыней вокруг, что когда я взглянул на него второй раз, мне пришло в голову, что это какой-то чудовищный корнеплод, растущий прямо из почвы. В стенах, кое-как обшитых досками, не было ниш и углублений, где в солнечный день могли бы притаиться праздно блуждающие тени. Не было ни выступов, ни углов, за которыми по ночам мог бы петь, завывать, свистеть и невнятно бормотать ветер. Одна лишь деревянная полка, на которой стоял вызывающий зябкую дрожь оловянный таз и лежал брусок мыла. Незавешенные окна рдели в лучах заката, словно налитые кровью, воспаленные немигающие глаза. Тропинка со следами скота вела прямо к двери, наглухо запертой от напора бешеного ветра.

Опасаясь, как бы меня не приняли за эту бесцеремонную стихию, я обошел дом, который посредством узкого дощатого помоста соединялся с постройкой меньших размеров. Здесь стоял суровый седой старик. Вопросительным взглядом ответив на мое приветствие, он молча провел меня в главную комнату. При моем входе четверо молодых людей, лениво развалившихся у очага, слегка изменили свои позы, не выказав, однако, никаких иных признаков удивления или любопытства. Из темного угла с ворчанием вылезла охотничья собака, которую старик

тотчас заставил замолчать, отпихнув ногою обратно в темноту.

Мне почему-то сразу показалось, что никто из лежавших возле очага давно уже не произносил ни слова и не шевелил ни единым мускулом. Я сел и коротко изложил свое дело.

Я землемер топографической службы правительства Соединенных Штатов. Приехал по делу о ранчо Эспириту Санто. Мне поручено проверить границы округа, чтобы привести их в точное соответствие с границами частных владений. Старое размежевание оспаривает некий мистер Трайен, который претендует на прилежащие..

— Не претендует, а имеет законные права на землю,— перебил меня старик.

— Да, да... законные права на землю... Стало быть, вы и есть мистер Трайен?

Я проговорил это машинально, еще занятый мыслями о пограничных и межевых знаках, и поглядел ему прямо в лицо. Лицо это было суровым и жестким. Оно напомнило мне результат своеобразной операции, известной в горном деле под названием «грунтовой промывки», когда обнажаются более жесткие очертания подпочвенного слоя, а прежние плавные изгибы и мягкие линии оказываются стертыми могучей грубой силой.

Когда он, не стесняясь в выражениях, неистово и яростно, словно ветер, бушевавший на дворе, пустился в подробную передачу спора, в голосе его была сухость, подобная той, что господствовала в атмосфере долины. Он сообщил мне — хотя я уже знал это и раньше,— что пограничная линия старинного испанского владения идет по ручью, о котором небрежным языком испанской грамоты говорилось, что он начинается у valda, или у подножия холма, и что ее точное положение издавна составляет предмет тяжбы. Я слушал и отвечал довольно безучастно, ибо внимание мое все еще было поглощено ветром, с безудержною силой сотрясавшим стены дома, а также странной физиономией старика, черты которой повторялись в лице каждого из молчаливых молодых людей, сидевших у очага. Он все еще продолжал свой рассказ, а ветер все еще продолжал свои завывания, когда до моего слуха вдруг донесся вопрос, обращенный к неподвижно покоившимся фигурам:

— Ну-ка, кто из вас завтра возьмется проводить приезжего вверх по ручью к Альтаскару?

Компания выказала явные признаки неудовольствия, но никакого вразумительного ответа не последовало.

— Ты, что ли, поедешь, Кэрг?

— А кто поведет стадо в Земляничную прерию?

Это, по-видимому, означало отказ, и старик обратился к другому подающему надежды молодцу, который выщипывал мех из разостланной на полу грязной медвежьей шкуры с таким выражением, словно это были чьи-то волосы.

— Ну, а тебе, Том, что мешает поехать?

— Мать рано утром собирается в лавку к Брауну, и мне, наверно, опять придется тащить туда ее с малышом.

Презрение к сыновнему долгу, навязанному явно обманным путем, выразившееся на лице несчастного юноши, было одним из изысканнейших зрелищ, какие мне когда-либо приходилось видеть.

— А ты, Уайз?

Уайз не удостоил его словесным ответом, в качестве аргумента выразительно подняв ногу в рваном залатанном сапоге.

— Я же велел тебе взять у Брауна новые сапоги, когда ты в последний раз ездил вниз по реке.

— Сказал, что без расписки не даст. Да и с ней-то, говорит, получить с тебя деньги — все равно, что здоровый зуб вырвать.

Этот намек на скупость старика вызвал мрачную усмешку, и Уайз, бывший, по-видимому, признанным остряком в семействе, с достоинством погрузился в прежнее молчание.

— Ну, Джо, у тебя сапоги новые, а бабы с ребятами тебе не надоедают, стало быть, ты и поедешь,— сказал Трайен с нервным подергиванием, которое должно было изображать улыбку, но никак не вязалось с горько опущенными углами его рта.

Джо вздернул мохнатые брови и отрывисто сказал:

— Нет седла.

— Куда девалось твое седло?

— Да вот Кэрг,— отвечал Джо, бросая на брата взгляд, каким мог бы смотреть на свою жертву Каин.

— Врешь! — весело возразил Кэрг.

Трайен вскочил, схватил стул и принялся размахивать им у себя над головой, яростно глядя на жесткие лица молодых людей, которые встречали его взгляд с полнейшей невозмутимостью. Но это длилось всего лишь мгновение. Рука его скоро опустилась, а лицо приняло выражение безнадежной обреченности. Старик позволил мне взять стул у него из рук, но в ту минуту, когда я пытался успокоить его уверением, что не нуждаюсь ни в каком проводнике, неугомонный Уайз снова поднял голос:

— Вот идет Джордж! Почему бы не попросить его? Он поедет и, если вы не очень разборчивы, познакомит вас с дочерью дона Фернандо.

Вслед за взрывом смеха, вызванным этой шуткой, заключавшей, очевидно, понятный всему семейству намек (обычное свойство сельского юмора), на помосте послышались легкие шаги и в комнату вошел юноша. При виде постороннего лица он остановился, покраснел, потом застенчиво поклонился, снова покраснел, выдвинул из угла ящик, уселся, сложил руки и устремил на меня открытый взгляд прекрасных голубых глаз.

Быть может, я был заранее подготовлен к тому романтическому впечатлению, которое он на меня произвел, и потому попросил его быть моим проводником. Он охотно согласился, но какие-то домашние дела заставили его снова уйти.

Огонь ярко горел в очаге, и, не сопротивляясь более охватившему меня настроению, я молча смотрел на языки пламени, прислушиваясь к порывам ветра, которые беспрестанно потрясали здание. Кроме единственного стула, приобретшего в моих глазах особое значение, я обнаружил в углу расшатанный стол, а на нем чернильницу и ржавое перо, находящееся в том жалком состоянии, каким всегда отличаются перья в сельских тавернах и на фермах. Другой угол был занят изрядным количеством винтовок и двуствольных ружей; рядом лежало с полдюжины седел и чепраков, издававших слабый запах конюшни. Обстановку завершали несколько оленьих и медвежьих шкур. Сидя в кругу молчаливого семейства, среди царящего в доме сумрака и воя ветра за стеной, я с трудом мог поверить, что когда-либо мне было ведомо

иное существование. Разъезжая по делам службы, я часто наблюдал еще более дикие нравы, но мне редко доводилось встречать людей, чья грубость и равнодушие к ближнему могли бы внушить чувство такого одиночества и бесприютности. Я как-то съежился и ушел в себя, серьезно опасаясь — как и всякий бы, наверно, на моем месте,— что это — общее для всего человечества правило, из коего я составляю единственное и в какой-то мере ненужное исключение.

Мне стало немного легче, когда лаконичное приглашение к ужину, провозглашенное подслеповатой девушкой, вывело семейство из неподвижности. По темному помосту мы перешли в другую комнату с низким потолком. Во всю ее длину тянулся стол, за дальним концом которого ужинала подслеповатая женщина, одновременно кормившая подслеповатого младенца. Так как никому не пришло в голову представить меня хозяйке, а она не обратила на меня ни малейшего внимания, я сел за стол, не беспокоя и не отрывая ее от трапезы. Трайен прочитал молитву, после чего все семейство принялось за ветчину, картофель и сушеные яблоки.

Все ели с завидным аппетитом. Приятное бульканье обличало присутствие «источника веселья». Разговор по большей части касался трудов прошедшего дня; толковали о том, куда мог деваться пропавший из стада скот. Ужин, однако, настолько отличался в лучшую сторону от предшествовавшего пиршества умов, что, когда я случайно обмолвился о деле, ради которого приехал, чем вызвал новый приступ ярости у старшего Трайена, все тотчас выказали непритворный интерес. Помнится, старик горько сетовал на систему землепользования, распространенную среди «слизняков», как он изволил величать уроженцев Калифорнии. Поскольку подобные взгляды нередко разделяют и в более высоких кругах, нелишне будет их здесь воспроизвести.

— Они владеют лучшими пастбищами, какие только есть на белом свете. А где на них бумаги? Может, это пожалования? Недурные пожалования, и почти все получены после того, как эти края перешли к американцам. Американцы просто дураки, что позволяют им владеть этой землей. А чем за нее заплачено? Американской кровью и американскими деньгами.

Выходит, раз они здешние, то и должны владеть этой землей? А по какому праву? Может, они тут что усовершенствовали? Ихние желтокожие только и знают, что в земле ковыряться—за скотиной как следует присмотреть не могут, потому что намного глупее негров, а сами они сидят себе дома да покуривают. Понаделали золотых да серебряных подсвечников да распятий, наплодили разных католических миссий, попов, идолов и прочей дребедени. У нас в Миссури такого не позволяли!

При упоминании об усовершенствованиях я поднял глаза и встретил полунасмешливый-полусмущенный взгляд Джорджа. Это не осталось незамеченным, и я тотчас имел удовольствие убедиться, что остальные члены семейства составили против нас наступательный союз.

— Это противно природе и богу,—добавил Трайен.— Бог не для того заложил в горы золото, чтоб из него делали языческие подсвечники и распятия. Вот почему он и послал сюда американцев. Природа создала здешний климат не для лентяев и лежебок. Не для того дает она шесть солнечных месяцев в году, чтоб им тут только спать да курить.

Сколько времени он еще распространялся на эту тему и какими примерами ее иллюстрировал, я не знаю, ибо при первой же возможности улизнул в главную комнату. Вскоре за мной последовал Джордж. Он подозвал меня к открытой двери, которая вела в комнату поменьше, и указал на кровать.

— Ложитесь здесь,— сказал он.— Здесь вам будет удобнее, а завтра я разбужу вас пораньше.

Я поблагодарил его и хотел было задать ему несколько беспокоивших меня вопросов, но он застенчиво прокрался к двери и исчез.

После его ухода комнату, казалось, омрачила какая-то тень. «Ребята» один за другим возвращались и плюхались на свои прежние места. В огонь подбросили большое полено, и огромный очаг запылал подобно кузнечному горну, но пламя, по-видимому, не могло ни растопить, ни смягчить ни единой черты на жестких лицах, которые оно освещало. Не прошло и получаса, как шкуры, служившие днем креслами, приступили к выполнению своей ночной роли постелей, и на каждой растянулся во всю длину ее владелец. Мистер Трайен не возвращался,

Джорджа тоже не было. Я нервничал и никак не мог уснуть. Постепенно огонь угас, и на стенах сгустились тени. Не было слышно ни звука, кроме воя ветра и храпения спящих. Наконец мне стало совсем невмоготу. Я схватил шляпу, отворил дверь и выбежал во тьму ночи.

От яростной борьбы с ветром, бушевавшим с неистовством урагана, кровь живее побежала у меня по жилам, и ясные лики знакомых звезд у меня над головой принесли мне блаженное чувство облегчения. Я бежал сам не зная куда, и, когда я остановился, прямоугольные очертания дома уже скрылись за ольшаником. Передо мною простиралась необъятная равнина, словно безбрежное море, выутюженное штормовым ветром. Вскоре я заметил впереди небольшую возвышенность, и вот уже шаги мои замедлились на подъеме к вершине индейского могильного кургана — настоящего острова среди моря. С его высоты я мог лучше рассмотреть простирающуюся вокруг равнину, но даже и здесь я не нашел покоя. Нелепые рассуждения Трайена о свойствах здешнего климата все еще звучали у меня в ушах, когда, руководимый светом звезд, я возвращался к дому.

Однако, поднявшись на помост, я почувствовал, что освежился и пришел в себя. Дверь низкого строения была открыта. Старик сидел за столом, перелистывая Библию с таким выражением, будто отыскивал там пророчества о погибели «слизняков». Я хотел было войти, но тут мое внимание привлекла фигура человека, закутанного в одеяло и спящего на помосте у стены дома. Широкая грудь, поднимавшаяся от здорового сонного дыхания, и открытое честное лицо были мне знакомы. Это был Джордж, уступивший свою постель чужеземцу. Мне хотелось разбудить его, но он спал так спокойно и мирно, что я, исполненный благоговения, тихонько ушел. Я лег в постель, и приятное воспоминание о его прекрасном лице и безмятежно спокойной позе навеяло на меня крепкий и сладкий сон.

Наутро мой мирный сон и столь отрадная для меня тишина были нарушены веселым голосом Джорджа, который стоял возле моей постели, выразительно помахивая риатой, словно желал вызвать перед моими сонными глазами картины ожидающих нас дневных трудов. Я посмотрел вокруг. Ветер стих, как по волшебству, и в

окна лился теплый солнечный свет. Пригоршня холодной воды из оловянного таза тотчас меня освежила. Было еще рано, но семья успела позавтракать и разбрестись, а фургон, ползущий по извилистой дороге вдали, свидетельствовал, что несчастный Том уже «потащил» своих родственников в лавку. Я чувствовал себя гораздо бодрее — ведь на свете мало печалей, которые молодость не могла бы оставить далеко позади, освежившись здоровым ночным сном. После плотного завтрака, приготовленного Джорджем, мы быстро сели на лошадей и пустились вскачь по равнине.

Мы ехали вдоль полосы ольхи, окаймляющей берега ручья, который сейчас пересох от летнего зноя, но зимою, по словам Джорджа, разливается и выходит из берегов. У меня до сих пор живо стоит перед глазами эта утренняя поездка: силуэты далеких гор на фоне синего со стальным отливом неба, прозрачный сухой воздух, вьющаяся впереди дорога, оживляющая всю эту картину ладная фигура Джорджа, мелодичный звон его шпор и живописные взмахи риаты. Он ехал на сильной чалой лошади местной породы, с дико пылающим взглядом, не знающей устали в пути и неукротимой по натуре. Увы, красоту ее форм скрадывала длинная бахрома испанского седла, под которой пропадают все конские стати! Повод свободно свисал с жесткого мундштука, который может зажать, а в случае надобности и раздробить управляемую им челюсть.

Снова встают передо мною бескрайние просторы залитой солнцем равнины. Но что случилось с Чу-Чу? Неужто это она, степенная кобылица американских кровей, позабыв деревянные настилы и мощенные булыжником улицы, опьянев от восторга, вскидывает подо мною своими стройными белыми ногами? Джордж со смехом кричит мне из облака пыли:

— Отпустите поводья! Разве вы не знаете, что она это любит?

Чу-Чу, видно, и в самом деле это любит, и уж не знаю — укус ли туземного тарантула или чувство соперничества с чалой возвратили ее в состояние туземного варварства, но только кровь в ней заговорила, и многолетняя рабская покорность мгновенно исчезла в мелодическом стуке копыт. Ручей расширяется и переходит

в глубокий овраг. Мы ныряем в него и поднимаемся на противоположную сторону, сопровождаемые облаком тончайшей пыли. Скот мирно пасется на равнине, там разбредясь в разные стороны, здесь сбившись в огромные беспокойные стада. Джордж взмахивает риатой, словно желая заключить их всех в широкую петлю лассо, и говорит:

— Это наши!

— Сколько их всего, Джордж?

— Не знаю.

— Ну хоть примерно?

— Тысячи три наберется,— подумав, отвечает он.— Точно мы и сами не знаем. Тут у нас пять человек приставлено для загона.

— А какая им цена?

— Долларов тридцать за голову.

Я произвожу беглый подсчет и с удивлением смотрю на смеющегося Джорджа. Быть может, в этом взгляде выражается воспоминание о скудности домашнего обихода Трайенов, ибо Джордж отводит глаза и, словно извиняясь, говорит:

— Я уговаривал старика продать кое-что и построить новый дом, а он говорит, что нам еще не время оседать на месте. Надо будет двигаться дальше. Потому он такую лачугу и построил: боится, как бы мы еще не лишились прав на эти земли. А тогда нам придется переселяться дальше на запад.

Внезапно его острый глаз замечает какой-то непорядок в стаде, мимо которого мы проезжаем, и он с громким криком направляет свою лошадь в самую гущу. Я следую за ним, или, вернее, Чу-Чу бросается за чалой, и в мгновение ока мы уже оказываемся в самой мешанине рогов и копыт.

— Торо! — восклицает Джордж с увлечением истого вакеро[1], и стадо расступается перед взвившейся риатой.

Я ощущаю жаркое дыхание животных, и пена с их морд падает на трепещущие бока Чу-Чу. Эти дикие адские твари ничуть не похожи на быка, чей образ принял Юпитер, домогаясь благосклонности богини, или на коров, мирно пасущихся в низинах Девоншира. Тощие и голодные, словно шекспировский Кассий, они приучены

[1] Пастух, ковбой *(исп.)*.

к скудной пище, к изнурительному климату, к шестимесячной засухе и привыкли бороться с бешеным ветром и слепящей пылью.

— Клеймо не наше, он из чужого стада,— говорит Джордж, указывая на рисунок, в котором мой ученый глаз узнает астрологический знак Венеры, выжженный на боку животного, за которым он гнался.

Стадо с глухим ревом смыкается вокруг нас, и Джордж, опять вынужденный прибегнуть к повелительному «торо!», размахивая риатой, заставляет быков разойтись.

Когда мы вырываемся на свободу и с облегчением вздыхаем, я решаюсь спросить Джорджа, нападают ли быки на людей.

— На всадников — никогда, а на пеших случается. И, знаете, не со злости, а просто из любопытства. Они думают, что человек и лошадь — одно, и когда увидят пешехода, то гонятся за ним, бросают на землю и топчут копытами, чтобы узнать, что это такое. Однако,— добавил Джордж,— вот уже нижняя гряда холмов, здесь корраль Альтаскара, а белое здание, которое виднеется подальше, это его каса[1].

Выбеленная стена окружала двор, на котором стояло глинобитное строение, обожженное солнечными лучами многих летних месяцев. Оставив лошадей на попечение пеонов, лениво гревшихся на солнце во дворе, мы взошли на низкую галерею, окутанную глубокою тенью, где на нас повеяло сладостной прохладой, которая по контрасту с ослепительным светом и зноем на дворе была благодатна, как внезапное погружение в холодную воду. Посередине большого зала с низким потолком сидел старик. Из-под черного шелкового платка, которым была повязана его голова, выбивались редкие седые пряди, оттенявшие темно-желтое лицо. Благоухающий дымок его *сигарито* курился, словно ладан, в церковном сумраке дома.

Когда сеньор Альтаскар с достоинством благовоспитанного человека поднялся, чтобы нас приветствовать, Джордж подошел к нему с такою краской в лице и с такой нежною почтительностью, что преданность этого простодушного юноши глубоко меня тронула. По правде го-

---

[1] Дом *(исп.)*.

воря, глаза мои все еще были ослеплены ярким сиянием солнца, и потому я в первую минуту не заметил белоснежных зубов и черных глаз Пепиты, которая при нашем появлении выскользнула в коридор. Излагать подробности дела, согласно коему старый сеньор лишался большей части земель, которые мы только что проезжали, было далеко не приятно, и я начал говорить с большим смущением. Однако он выслушал меня хладнокровно — ни один мускул не дрогнул на его темном лице, а дым, все так же ровно поднимавшийся с его губ, показывал, что и дыхание его не участилось. Когда я кончил, он спокойно предложил проводить нас к пограничной линии. Джордж тем временем куда-то исчез, но доносившийся из коридора подозрительный разговор на ломаном испанском и английском языке выдавал его близкое присутствие. Когда он вернулся с несколько рассеянным видом, старик, единственный изо всех нас сохранивший полное самообладание, надвинул на свой черный шелковый платок безобразное жесткое сомбреро, излюбленное коренными жителями Калифорнии. Накинув на плечи серапе, он дал нам понять, что готов ехать. В испанских ранчо всегда имеются оседланные лошади, и через полчаса после нашего приезда мы уже снова скакали по залитой ослепительным солнцем прерии.

Увы, на этот раз не так весело, как прежде. Нам с Джорджем было не по себе, а Альтаскар держался сдержанно и сурово. Чтобы нарушить мрачное молчание и хоть немного его утешить, я намекнул, что дело можно обжаловать в высших инстанциях, но старик небрежно отверг этот целительный бальзам. Пожав плечами, он сентенциозным тоном произнес:

— Que bueno? [1]. Ваши суды всегда правы.

Индейский курган, который я обнаружил прошлой ночью, служил исходной точкой новой пограничной линии, и здесь мы остановились.

К нашему удивлению, нас уже ожидал старик Трайен. В первый раз за все время старого испанца, казалось, охватило волнение, и на его желтых щеках выступил румянец. Желая как можно скорее прекратить эту сцену, я указал пограничные межевые знаки со всей точностью, какую позволяла мне память.

---

[1] Что толку? *(исп.)*

— Завтра приедут мои помощники, чтобы провести границу от этого начального пункта, и, надеюсь, джентльмены, больше никаких недоразумений не будет.

Сеньор Альтаскар спешился и рвал пучки сухой травы. Мы с Джорджем обменялись взглядами. Но вот он выпрямился и, подойдя поближе к Джозефу Трайену, дрожащим от гнева голосом проговорил:

— Я, Фернандо Хесус Мария Альтаскар, по обычаю моих предков, ввожу тебя во владение моей землей.

С этими словами он разбросал пучки травы на все четыре стороны.

— Я не знаю ваших судов, ваших судей и ваших corregidores [1]. Возьми llano [2]! Возьми и это вместе с ней! Пусть засуха поразит твоих быков и языки их повиснут до земли, длинные, как языки ваших лживых законников! Пусть эта земля будет проклятием и мучением твоей старости, каким ты и твои соплеменники сделали ее для меня!

Мы стали между главными действующими лицами этой сцены, которой лишь гнев Альтаскара придавал трагический характер. Тем временем Трайен смиренно, но с плохо скрытым торжеством прервал его речь:

— Пускай его проклинает. Эти проклятья падут на его же голову скорее, чем он вернет скот, которого лишился по своей гордости и лени. Господь бог всегда на стороне праведных, против клеветников и ругателей.

Альтаскар только наполовину понял слова миссурийца, но и этого было достаточно, чтобы заставить его в ярости разразиться замысловатыми испанскими поношениями:

— Осквернитель святых даров! Не открывай, не открывай, говорю я, передо мною свои лживые, иудины уста! Ты, ублюдок с душою койота! Кар-р-р-рамба!

Выговорив эту гневную инвективу с таким исступлением, что все согласные звуки прогремели, словно раскаты отдаленного грома, он вцепился в гриву лошади, как будто это были седые волосы его противника, вскочил в седло и ускакал.

Джордж повернулся ко мне.

---

[1] Губернатор *(исп.)*.
[2] Степь, равнина, земля *(исп.)*.

— Вы не переночуете сегодня у нас?

Я подумал об унылых стенах его дома, о безмолвных фигурах у очага, о яростном вое ветра и замялся.

— Ну, тогда прощайте!

— Прощайте, Джордж!

Мы еще раз пожали друг другу руки и расстались.

Отъехав немного, я остановился и посмотрел назад. В этот день ветер поднялся раньше обыкновенного и уже гулял по равнине, вздымая перед собою облако пыли, из которого временами вырисовывалась живописная фигура. Таким и осталось мое последнее смутное воспоминание о Джордже Трайене.

ЧАСТЬ II

НА ВОДЕ

Я снова посетил долину Сакраменто спустя три месяца после межевания ранчо Эспириту Санто. Но постигшее ее ужасное бедствие изгладило память об этом событии так же бесследно, как оно, по всей вероятности, стерло с лица земли поставленные мною межевые знаки. Великое наводнение 1861 — 1862 годов достигло наивысшей точки, когда я, повинуясь какому-то неопределенному тоскливому чувству, взял свой саквояж и отплыл в затопленную долину.

Из ярко освещенных окон каюты парохода «Голден-Сити» нельзя было разглядеть ничего, кроме сгущавшегося над водою мрака. Единственным звуком был монотонный шум дождя, который за последние две недели стал уже настолько привычным, что не привлекал внимания моих соотечественников, которые с чисто американской степенностью молча сидели вокруг печки. Некоторые, ехавшие на помощь друзьям или родственникам, озабоченно вели сдержанную беседу на одну и ту же, поглощавшую все помыслы тему. Другие, подобно мне, побуждаемые одним лишь любопытством, жадно прислушивались к каждой новой подробности. Однако, подобно всем людям, склонный усматривать предчувствие в простом стечении обстоятельств, я смутно сознавал, что мною руководит нечто большее, чем простое любопытство.

Стук дождевых капель, глухой рокот волн и свинцовое небо приветствовали нас на следующее утро, когда мы подошли к наполовину затопленной дамбе Сакраменто. Здесь, однако, совершенно новое явление — лодочники, предлагавшие развезти нас по гостиницам,— представляло собою соблазн, противостоять которому было невозможно. Я отдал себя во власть некоего Джо, одетого в прорезиненный костюм, с которого ручьями стекала вода, и, завернувшись в блестящий плащ из того же материала, который, очевидно, давал столько же тепла, сколько английский пластырь, уселся на корме его лодки. Большая часть пассажиров не без некоторой внутренней борьбы рассталась с пароходом, который был единственным связующим звеном между нами и обитаемой твердой землею, но мы все же отчалили, обогнули дамбу и, борясь с сильным встречным течением, вошли в город.

Мы плыли вверх по ровной глади длинной улицы К., когда-то веселой и оживленной, а ныне являвшей собою картину мрачного и безмолвного запустения. Мутная вода, разлившаяся, по-видимому, до самого горизонта, медлительными реками растекалась по улицам. Природа, словно желая отомстить местным вкусам, нарушила правильные прямоугольники кварталов, нагромоздив на перекрестках перевернутые дома или просто груды развалин, запрудивших потоки. Лодки всевозможных видов въезжали в дома или выезжали из них через низкие сводчатые двери. Вода поднялась выше оград благоустроенных садов, залила нижние этажи гостиниц и частных домов, покрыв илом и бархатные ковры и грубые дощатые полы. И тишина, столь же выразительная, сколь и зрелище всеобщего запустения, царила в безмолвных улицах, уже не оглашавшихся более стуком колес или топотом ног пешеходов. Тихое журчание воды, изредка всплеск весел или предостерегающий окрик гребца были единственными признаками жизни.

Лениво развалясь на дне лодки, я смотрю на эти картины и слушаю эти звуки, к которым примешивается голос моего гондольера, напевающего песню в такт ударам своих весел. Без сомнения, импровизация его собрата на Лидо была бы, вероятно, романтичнее, но зато мой американский Джузеппе отличается искренностью и энергией и красочно описывает ужасы прошедшей недели,

а также благородные подвиги преданности и самопожертвования, причем иногда показывает даже балкон, с которого сняли какую-нибудь полураздетую и умирающую с голоду калифорнийскую Лауру или Бианку. Этот Джузеппе замечателен еще и тем, что отказывается от предложенной платы. Разве я не гражданин Сан-Франциско, города, который первым откликнулся на призыв о помощи из Сакраменто? А он, Джузеппе, разве не член Общества Говарда? Нет! Джузеппе беден, но он не возьмет у меня денег. Но если я уж непременно должен их потратить, то на это есть Общество Говарда, а также голодные, раздетые женщины и дети в здании Сельскохозяйственной биржи.

Я благодарю великодушного гондольера, и мы едем к бирже. В этом мрачном, унылом здании, которое кажется еще более жутким от воспоминаний о недавнем изобилии и роскоши, плата, предназначавшаяся Джузеппе, пополняется скромною лептой приезжего. Джузеппе говорит мне о спасательном паровом катере, который отходит в затопленные области. Усвоив преподанный им урок, я тут же решаюсь обратить свое любопытство на пользу ближнему, и меня принимают в число команды, отправляющейся на помощь страждущим. Джузеппе берет мой саквояж и расстается со мною только тогда, когда я уже стою на скользкой палубе спасательного катера № 3.

Час спустя я сижу в рубке лоцмана и смотрю на то, что еще недавно было руслом мирной реки. Но теперь берега ее обозначены лишь выступающими из воды верхушками ив, омываемых волнами огромного внутреннего моря. Заливные луга, обычно утучняемые регулярным половодьем и усеянные цветущими ранчо, стерты с лица земли. Местность изменилась до неузнаваемости. Симметрично уходящие к горизонту пунктирные линии показывают, где находились фруктовые сады, погребенные под мутным ледяным потоком. Местами виднеются крыши домов, и кое-где дым, вьющийся из труб полузатопленных жилищ, свидетельствует о присутствии неустрашимых обитателей. Коровы и овцы согнаны на индейские курганы, где они ожидают той же участи, которая уже постигла их собратьев, чьи мертвые тела проплывают мимо нас или кружатся

в водоворотах вместе с обломками сараев и амбаров. Фургоны выброшены на мель всюду, куда только могло их отнести течением. Протирая запотевшее стекло, я не вижу ничего, кроме воды. Она хлещет на палубу из низких густых облаков, бьется в окна, капает с ветвей деревьев, шипит под колесами, пенится, бурлит и просачивается везде и всюду, вихрясь на порогах, и, наконец разливаясь, образует огромные глубокие заводи, наводящие ужас своим загадочным спокойствием.

День, угасая, переходит в ночь, и однообразие этой необыкновенной картины становится все более тягостным. Я пробираюсь в машинное отделение, где сидит несколько полузахлебнувшихся страдальцев, которых мы успели подобрать с наспех сколоченных плотов, и зрелище их горя вытесняет мысли об уроне, нанесенном всей округе. Позже мы встречаем пакетбот, идущий в Сан-Франциско, и переправляем на него часть наших пассажиров. От находящихся на пакетботе мы узнаем, что река Сакраменто входит в свое русло только в пятидесяти милях выше перекатов, о чем сообщили отправленные в глубь страны суда. Великодушные путешественники собирают пожертвования в пользу потерпевших, и мы расстаемся, от души желая друг другу доброго пути. И когда сигнальные огни пакетбота уже удаляются от нас, мы все еще слышим знакомые приветственные звуки американского «ура», от которого уже не так мрачно кажется все кругом.

Наш катер меняет свой курс и, минуя исчезнувшие берега, выходит на затопленную равнину. Раз или два возле нас возникают какие-то черные глыбы. Это проплывающие мимо развалины домов. В северной части горизонта появляется небольшой просвет, и звезды указывают нам путь по водной пустыне. Достигнув мелководья, мы решаем рассадить команду по лодкам и разъехаться в разные стороны по затопленной прерии. Я заимствую у какого-то матроса непромокаемую куртку, и благодаря этому наряду мне не без некоторых колебаний позволяют спуститься в одну из лодок. Мы берем курс на север. Еще совсем темно, хотя просвет в тучах расширился.

Было, наверное, около трех часов утра. Мы выгребали из водоворота, образовавшегося вокруг купы топо-

лей. Вдали яркой одинокой звездой сиял сигнальный огонь нашего катера. Вдруг тишину нарушил крик рулевого:

— Огонь впереди!

Все взоры обращаются в эту сторону. Через несколько секунд впереди появляется мерцающий огонек. Он горит ровным светом, потом снова исчезает, как будто его заслоняет какой-то темный предмет, плывущий прямо на нас.

— Табань! Пароход!

— Стоп! Какой еще пароход, черт побери! — отзывается рулевой.— Это дом, да к тому же большущий.

Это действительно большой дом, огромной черной глыбой вырисовывающийся в свете звезд. Когда он проплывает мимо, мы видим, что свет исходит от единственной свечи, горящей в окне. Меня вдруг охватывает какое-то воспоминание, и я с бьющимся сердцем прислушиваюсь.

— Там кто-то есть, ей-богу! Весла на воду, ребята, держись рядом! Эй, там, полегче! Дверь заперта. Полезай в окно. Нет, вот другая дверь!

Через минуту мы уже шлепаем по полу, на несколько дюймов залитому водой. Перед нами большая комната, в дальнем конце которой сидит закутанный в одеяло старик. В одной руке он держит свечу, а в другой книгу, чтением которой он, по-видимому, поглощен. Я бросаюсь к нему с возгласом:

— Джозеф Трайен!

Старик не двигается. Мы подходим ближе. Я тихонько кладу ему руку на плечо и говорю:

— Посмотрите на меня, старина! Где ваша семья? Где ребята, где Джордж? Здесь ли они? В безопасности ли?

Он медленно поднимает голову, смотрит на меня, и под его взглядом мы невольно отступаем. Это спокойный, невозмутимый взгляд, в нем нет ни страха, ни гнева, ни страдания, и все же от него кровь стынет у нас в жилах. Старик снова склоняется над книгой и больше не обращает на нас никакого внимания. Мои спутники смотрят на меня с состраданием и молчат. Я делаю новую попытку.

— Джозеф Трайен, неужели вы меня не узнаете? Я землемер, приезжал межевать ваше ранчо — Эспириту Санто. Посмотрите на меня, старина!

Старик вздрагивает, плотнее заворачивается в одеяло и начинает бормотать:

— Землемер, приезжал межевать ваше ранчо — Эспириту Санто...

Он без конца повторяет эти слова, словно хочет выучить их наизусть.

Я в отчаянии смотрю на своих спутников. Вдруг он испуганно хватает меня за руку и говорит:

— Тише!

Все умолкают.

— Слушайте! — Он обнимает меня за шею и шепчет прямо в ухо: — Я переезжаю!

— Переезжаете?

— Т-сс! Не говорите так громко. Переезжаю. Ай, что это? Слышите? Вот! Прислушайтесь!

Мы прислушиваемся и слышим, как под полом журчит и хлюпает вода.

— Это они... Это он их подослал! Старый Альтаскар. Они тут всю ночь сидят. Сперва я услышал их голоса в ручье, когда они пришли сказать старику, чтоб он переселился выше на гору. Они подходили все ближе и ближе. Они шептали из-под двери. Я видел на пороге их глаза, злые, жестокие глаза. Ах, почему они не уходят?

Я прошу гребцов обыскать весь дом, посмотреть, нет ли где-нибудь следов остальных членов семьи. Трайен тем временем принимает прежнюю позу. Он так напоминает мне фигуру, которую я видел в ту ветреную ночь, что меня охватывает какое-то суеверное чувство. Когда люди возвращаются, я вкратце рассказываю им все, что знаю о старике, который между тем продолжает бормотать:

— Почему же они не уходят? Они угнали весь скот... все, все погибло... остались только шкуры да копыта...— И он в отчаянии стонет.

— Ниже по течению есть другие лодки. Лачуга не могла уплыть далеко, и, может, семью успели спасти,— с надеждой говорит рулевой.

Мы берем старика на руки и переносим в лодку. Он

совершенно беспомощен, но все еще сжимает в правой руке Библию, хотя ее укрепляющее дух слово недоступно его помутившемуся разуму. Съежившись, он сидит на корме. Мы медленно гребем к катеру. Между тем бледный луч, пробивающийся на горизонте, возвещает приближение дня.

Я так устал от пережитых волнений, что, как только мы добрались до катера и я убедился, что Джозеф Трайен удобно устроен, я завернулся в одеяло, прикорнул возле парового котла и тотчас же уснул. Но и во сне передо мною маячил образ старика, а беспокойство за Джорджа то и дело всплывало где-то в глубине моего сознания. Около восьми часов утра я был разбужен машинистом, который сказал мне, что недавно подобрали одного из сыновей старика и что он на палубе.

— Это не Джордж Трайен? — быстро спросил я.

— Не знаю уж, который, да только он славный малый,— отвечает машинист, улыбаясь какому-то приятному воспоминанию.— Он тут на баке.

Я спешу на нос и нахожу там не Джорджа, а неугомонного Уайза, который сидит на бухте каната, немного более грязный и оборванный, чем при нашей первой встрече.

Он с нескрываемым восхищением рассматривает разложенную перед ним сухую одежду. Мне невольно приходит в голову, что обстоятельства, быть может, несколько уменьшили его природную веселость. Но он успокаивает меня, с места в карьер обращаясь ко мне:

— Вот денечки-то, а? Как, по-вашему, куда девались межевые знаки, которые вы там понатыкали? Ах, ты!

Последовавшая за этим восклицанием пауза выражает его восторг, вызванный парой высоких сапог, которые он с трудом натягивает на ноги.

— Значит, это вы вытащили старика из лачуги? Он совсем спятил. И дернуло же его остаться там, вместо того чтобы удрать со старухой! Он меня не узнал: принял за Джорджа.

Приводя этот разительный пример родительской забывчивости, Уайз, видимо, и сам не знает, смеяться ему или плакать. Воспользовавшись охватившей его борьбою противоположных чувств, я справляюсь о Джордже.

— Почем я знаю, где он! Если б он смотрел за скотом, а не гонял по прерии, вытаскивая из воды баб да ребятишек, он бы мог хоть что-нибудь спасти. Бьюсь об заклад, что он потерял все до последней шкуры. Послушай,— обратился он к проходившему мимо матросу,— когда нам дадут какой-нибудь жратвы? Я так проголодался, что готов ободрать и проглотить целую лошадь. Вот пообсохнет маленько, пойду-ка я в живодеры. Тут на одних шкурах, рогах да на сале вон сколько заработать можно.

Мне оставалось только дивиться его неукротимой энергии, которая в более мягком климате могла бы принести такие прекрасные плоды.

— Что вы теперь будете делать, Уайз? — спрашиваю я его.

— Делать-то сейчас и вовсе нечего,— отвечает практический молодой человек.— Наверно, придется обождать, покуда все не уладится. Земля немногого стоит и еще не скоро войдет в цену. Хотел бы я знать, где теперь старик будет забивать новые вехи.

— Меня беспокоит ваш отец, Уайз, да и Джордж тоже.

— Мы со стариком отправимся к Майлзу. Том еще на прошлой неделе отвез туда старуху с ребятишками. Ну, а Джордж, наверно, уже там или у Альтаскара.

Я спросил, сильно ли пострадал Альтаскар.

— Он-то, должно быть, немного скота потерял. Джордж наверняка помог ему загнать стада на холмы. А его каса вон как высоко стоит. Бьюсь об заклад, что там воды и вовсе не было. Да...— Уайз призадумался, а потом с восхищением добавил: — Эти слизняки совсем не так глупы, как мы про них думаем. Голову даю на отсечение, что во всей ихней Калифорнии ни одного из них не затопило.

Появление «жратвы» прервало эту восторженную тираду.

— Я поеду дальше и постараюсь отыскать Джорджа,— говорю я.

Изумленный подобным чудачеством, Уайз с минуту таращит на меня глаза, но вдруг его осеняет.

— Вряд ли вы на этом деле много заработаете. Какой, бишь, там процент — или у вас компания на паях?

Я отвечаю, что мною руководит одно только любопытство, отчего сразу же падаю в его глазах. Несмотря на его уверения, что Джордж цел и невредим, я ухожу с каким-то тягостным чувством.

Люди, которых мы время от времени подбирали, с похвалой отзывались о мужестве и самоотверженности Джорджа, который выручил и спас очень много народу. Но мне не хотелось возвращаться, не повидавшись с ним, и вскоре я решил отправиться на лодке к valda — нижней террасе предгорья — и навестить Альтаскара. Быстро закончив сборы, я простился с Уайзом и пошел последний раз взглянуть на старого Трайена, который спокойно и безучастно сидел возле топки. Вслед за тем наша лодка, управляемая сильными, умелыми руками, отчалила от катера.

Снова пошел дождь, и поднялся резкий ветер. Мы взяли курс на запад и вскоре, судя по сильному течению, вошли в русло ручья Эспириту Санто. По временам мы встречали развалины амбаров и полузатопленные ветлы, увешанные сельскохозяйственными орудиями.

Наконец мы выходим в огромное безмолвное море. Это llano Эспириту Санто. Вокруг меня свищет ветер, разводя в пресном мелководье бутафорскую зыбь, и я мысленно возвращаюсь к тому октябрьскому дню, когда я ехал по этой бесконечной равнине, глядя на резкие очертания далеких холмов, которые теперь скрыты низкими облаками. Люди гребут молча, и теперь, когда нервное напряжение спало, я снова ощущаю тоскливое уныние, владевшее мною тогда. По мере того как мы удаляемся от берега ручья, становится все мельче, и, машинально опустив руку за борт, я нащупываю верхушки кустов чимизаля, из чего заключаю, что вода пошла на убыль. К северу от линии ольшаника виднеется черный курган, возле которого бурлит встречное течение. Чтобы обойти его, мы поворачиваем вправо, и я узнаю этот курган. Поравнявшись с ним, я прошу гребцов остановиться.

Близ вершины кургана стоит столб, на котором выведены буквы L. E. S.[1], а пониже привязана затейливая риата. Это риата Джорджа. Она перерезана каким-то

[1] Llano Espiritu Santo — земля Эспириту Санто.

острым инструментом, а рыхлая песчаная почва холма истоптана лошадиными копытами. К столбу пристал клок конского волоса. Все это может служить памятным знаком, но никак не руководящей нитью.

Ветер все крепчал. Мы продолжаем упорно продвигаться вперед, сменяя друг друга на веслах и все чаще отталкиваясь шестами на мелководье, но valda, или терраса, все еще далеко впереди. Я по памяти угадываю направление излучин ручья и время от времени простым землемерским способом определяю расстояния, и моя команда проникается безграничной верой в мои способности. Ночь застает нас на нашем полном препятствий пути. Впрочем, положение не так опасно, как кажется, и я стараюсь подбодрить гребцов, из которых многие еще новички в такого рода судоходстве, уверяя их, что впереди нас ждет надежный приют. Наше плавание продолжается таким образом до восьми часов, когда мы высаживаемся на сушу возле ивняка. Несколько сот ярдов мы шлепаем по вязкой грязи, пока наконец не выходим на сухую дорогу, и тут перед нами, подобно снежной насыпи, вырастают белые стены усадьбы Альтаскара. Во дворе движутся огни, но дом погружен в свой обычный могильный покой.

Я вошел во двор, один из пеонов узнал меня, и в коридоре меня встретил Альтаскар.

Я так ослабел от усталости, что мог только попросить его оказать гостеприимство людям, которые тащились вслед за мной. Альтаскар взглянул на мою руку, в которой я все еще сжимал обрывок риаты. Я начал, запинаясь, говорить ему о Джордже и о своих опасениях, но он с необычной даже для него мягкостью ласково положил мне руку на плечо.

— Росо а росо [1], сеньор, не теперь. Вы устали, вы голодны и замерзли. Вам нужен отдых.

Он проводил нас в маленькую комнату и налил моим спутникам французского коньяку. Они выпили и улеглись перед очагом в большом зале. В эту ночь в доме царила особенно глубокая тишина, и мне даже почудилось, что шаги в коридоре звучат мягче и легче обыкновенного. Лицо старого испанца было еще более суровым и непро-

---

[1] Немного погодя *(исп.)*.

ницаемым, чем прежде, и казалось, будто эти древние стены вместе с их престарелым владельцем укрыли нас не только от завывающей бури, но и от всего мира.

Прежде чем я успел повторить свой вопрос, Альтаскар удалился. Через несколько минут перед нами появились два дымящихся блюда с chupa[1] и горячий кофе, и мои спутники жадно набросились на еду. Я выпил кофе, но усталость и волнение совсем заглушили во мне чувство голода.

Я печально сидел у очага, когда хозяин возвратился.

— Вы ели?

— Да,— отвечал я, желая ему угодить.

— Bueno[2]. Ешь, когда можешь,— еда и аппетит не всегда ходят вместе.

Он произнес это с простотой, с какой большая часть его соплеменников, начиная от Санчо Пансы, повторяет поговорки, будто это не присловье, а их собственное наблюдение, и, подняв с полу риату, почти с нежностью принялся ее рассматривать.

— Это моя работа, сеньор.

— Я думал, что она наведет меня на его след, дон Альтаскар,— сказал я.— Если б я только мог его найти...

— Он здесь.

— Здесь! И... — «невредим?» — хотел я добавить, но промолчал. Словно электрическая искра внезапно озарила мое сознание, и я понял, что означает непроницаемая суровость старика, приглушенные шаги, могильная тишина в доме. В моих руках была, наконец, разгадка перерезанной риаты.

Альтаскар взял меня за руку, и, пройдя по коридору, мы вошли в мрачное, темное помещение. Несколько высоких тонких свечей горели в подсвечниках на подоконнике.

В алькове стояла широкая кровать. Покрывало, наволочки и простыни были обшиты кружевами с той пышной роскошью, которую даже самые скромные люди этого удивительного племени расточают на этот единственный предмет своего домашнего обихода. Я подошел к крова-

---

[1] Съедобный плод *(исп.)*.
[2] Хорошо *(исп.)*.

ти и увидел Джорджа таким, каким уже видел его однажды,— он был погружен в мирный сон. Но на этот раз он принес свою величайшую жертву, и его великодушное сердце перестало биться навеки.

— Он был честен и храбр,— сказал старик и отвернулся.

В комнате находился еще кто-то. Стройная, изящная женская фигура была окутана тяжелой шалью, длинные черные волосы падали на руки, закрывавшие склоненное лицо. Я сделал вид, что не заметил ее, и удалился, оставив любящую наедине с любимым.

Когда мы снова очутились перед пылающим огнем, от которого по стенам комнаты перебегали причудливые тени, Альтаскар рассказал мне, как утром увидел плывущую по прерии лошадь Джорджа Трайена и как потом, немного подальше, нашел его похолодевшее мертвое тело без всяких следов ран или ушибов. По-видимому, он изнемог, перебираясь вброд через ручей, и добрался до кургана только для того, чтобы умереть там за отсутствием помощи, которую он так щедро расточал другим. Из последних сил он успел еще отпустить на волю свою лошадь. Рассказ был дополнен множеством людей, собравшихся в тот вечер в зале, по большей части женщинами и детьми, обязанными своим спасением самоотверженности и энергии того, кто лежал наверху холодный и бездыханный.

Его похоронили на индейском кургане — этом единственном и странном вечнозеленом бугре, который несчастные аборигены насыпали среди пыльной равнины. Небольшая плита из песчаника с буквами «Д. Т.» служит ему памятником и в то же время пограничною вехой нового межевания ранчо Эспириту Санто.

ПОЕЗДКА В ОДИНОЧЕСТВЕ

Садясь в слэмгаллионский дилижанс, я заметил, что ночь темна, дорога пустынна и что я единственный пассажир. Пусть читатель поверит, что я сообщаю об этом обстоятельстве без всякой задней мысли. Долгие годы чтения романов заранее научили меня, чего следует ожидать искушенному читателю от такого сообщения. Рассказчик, который неосмотрительно искушает судьбу таким прозрачным вступлением, с первой же страницы подвергаясь опасности быть ограбленным или убитым, повстречаться с вырвавшимся на свободу умалишенным или познакомиться с дамой своего сердца, вполне заслуживает разоблачения. Могу сказать по совести, что ничего этого со мной не случилось. Дорога из Уингдэма в Слэмгаллион не знает других бандитов, кроме содержателей гостиниц, имеющих патент от правительства; умалишенные не настолько лишились рассудка, чтобы по собственной воле разъезжать в калифорнийских дилижансах, и даже моя любезная Лаура, как она ни мила и ни терпелива, вряд ли смогла бы произвести на меня впечатление в таких удручающих обстоятельствах.

Я стоял с пледом и саквояжем в руках, нерешительно оглядывая экипаж. Даже в темноте красная пыль Уингдэма была заметна на империале и боках дилижанса; красная глина Слэмгаллиона прочно облепила его колеса. Я отворил дверцу; дилижанс тревожно заскрипел, и из темной бездны, словно призрачные руки, протянулись ко мне повисшие ремни, приглашая меня войти и покончить разом со всеми мучениями.

Не могу умолчать о следующем обстоятельстве, которое показалось мне загадочным и даже страшным. Человек, стоявший на крыльце и, как я думаю, не имевший никакого отношения к конторе дилижансов, не торопясь сошел со ступенек, приблизился к экипажу, дернул за ручку, открыл дверцу, плюнул в глубину дилижанса и вернулся к порогу гостиницы все так же неторопливо и важно. Не успел он вернуться на место, как второй субъект, тоже, как видно, посторонний, спокойно сойдя по ступенькам, подошел к карете сзади, приподнял подножку, невозмутимо сплюнул на заднюю ось, потом медленно и задумчиво возвратился в гостиницу. Третий зритель утомленно отделился от ионической колонны портика, подошел к козлам, с минуту созерцал сиденье, неторопливо плюнул на него, затем вернулся к своей колонне. В этом обряде крещения плевками было столько загадочного, что волосы встали у меня дыбом.

Возможно, что я был в подавленном настроении. Сотни досадных мелочей, вплоть до упорного стремления клерка в конторе дилижансов переврать мою фамилию в подорожной, не располагали к веселью. Обитатели гостиницы «Эврика» не представляли ничего интересного как собеседники. Среди них господствовало мнение, разделяемое многими простаками, будто серьезность в обращении с незнакомыми людьми свидетельствует о высоком благородстве и значительности общественного положения собеседников. В силу этого принципа при моем появлении всякие шутки за ужином прекратились и общий разговор перешел на более безопасную и благопристойную почву: перечислялись тяжелые случаи дифтерита, свирепствовавшего в то время в Уингдэме. Выйдя из столовой со странным чувством, будто я наелся одной горчицы и чайных листьев, я остановился на минуту в дверях гостиной. Фортепьяно, по-видимому, находившееся в родстве с обеденным колокольчиком, бренчало под чьими-то робкими и неуверенными пальцами. На белой стене тень резкого старушечьего профиля склонилась над тенью симметрических локонов: «Мария, Мария, не верь похвалам. Тот полон коварства, кто хвалит в глаза». Дальше я не слушал. Опасаясь, что непритворное восхищение женской красо-

той сочтут коварством, я вышел, воздержавшись от непрошеного комплимента, который чуть было не сорвался с моих губ и не опозорил весь дом.

Вспоминая обо всех этих тягостных впечатлениях, я стоял в нерешительности перед дверцами дилижанса. Кучер, садившийся на козлы, попал в полосу света, падавшую из открытых дверей гостиницы. У него был скучающий вид, что считается в Уингдэме хорошим тоном. Удостоверившись, что моя подорожная и квитанция к ней в порядке, он больше не обращал на меня внимания. Я с тоской посмотрел на козлы, но кучер не ответил на этот немой призыв. Тогда, швырнув саквояж прямо в зияющую бездну, я отважно нырнул вслед за ним и не успел еще усесться, как дилижанс застонал — неподатливые рессоры закряхтели, пружины взвизгнули, хрипло запротестовали оси,— и мы двинулись вперед. Вернее, дверь гостиницы поплыла назад, звуки фортепьяно постепенно утихли, и ночь со своими тенями торжественно двинулась нам навстречу.

Мало сказать, что было темно,— это не дает представления о той непроглядной тьме, которая обволакивала дилижанс. Деревья по краям дороги были едва видны во мраке и казались пятнами тьмы, только более густыми; я узнавал о них по особенному влажному запаху, который медленно вливался в окно дилижанса, когда мы проезжали мимо. Мы ехали не спеша, настолько медленно, что, высовываясь в окно, я не один раз улавливал ароматное дыхание изумленной коровы, которая улеглась пережевывать жвачку посредине дороги и была нами безжалостно потревожена. Движение кареты в темноте направлялось скорее каким-то таинственным инстинктом, чем человеческой волей, и это придавало нашему путешествию неизъяснимое очарование безопасности, которое легко могло нарушить минутное колебание или нерешимость кучера.

Я имел слабость надеяться на отдых в пустом дилижансе, чего мне так часто недоставало, когда дилижанс бывал битком набит. Это оказалось чистейшей фантазией. Вытянув ноги, я убедился, что сиденье, неудобное для нескольких пассажиров, было так же неудобно и для одного. Наконец, продев руки в ремни путем ряда гимнастических упражнений, я принял относительно удобную

позу, но только для того, чтобы почувствовать другие, более утонченные пытки. Рессоры дилижанса, то поднимаясь, то опускаясь, ритмически звенели, и это мучительно приковывало мое внимание. Мало-помалу этот звон превратился в эхо, бессмысленно повторявшее слова таинственной особы в гостиной отеля. «Тот — полон — коварства,— кто — хвалит в глаза. Тот — полон — коварства,— кто — хвалит в глаза». От неровностей дороги это изречение то повторялось быстрей, то невыносимо растягивалось.

Бесполезно было серьезно обсуждать эту аксиому. Бесполезно было и опровергать ее с негодованием. Бесполезно приводить примеры, когда похвала в лицо приносила славу хвалителю и предмету похвалы; бесполезно проливать чувствительные слезы над скромными талантами и героями, которых поддержали и ободрили громкие похвалы; бесполезно спорить с таинственной особой, представляя себе, как она воспитывает хилое поколение на черствых, затверженных наизусть аксиомах,— все это не могло помешать монотонному повторению фразы. Оставалось только уступить, и я уже готов был малодушно покориться на время, как мы иной раз по необходимости покоряемся кошмару, порожденному ночною тьмой, когда до моего сознания дошла неприятная мысль, неотвязно докучавшая мне последние несколько минут. Отчего кучер сидит так тихо?

Да и сидит ли он на своем месте? Почему не предположить, что он лежит на дороге связанный, с заткнутым ртом, а замаскированный разбойник, так тихо свершивший свое черное дело, везет меня неизвестно куда. Тут нет ничего невозможного. Что это за фантазия приходит в голову от тряски? Целая повесть! Что пользы обуздывать себя — особенно в этом тряском экипаже, — вот эта повесть: я маркиз, французский маркиз, французский потому, что английские лорды не пользуются такой популярностью, да и местность больше подходит для романтических приключений,— маркиз потому, что демократический читатель страх как любит героев-аристократов. Моя фамилия кончается на «линьи». Я еду из Парижа в Сен-Жермен, в свое загородное поместье. Ночь темна, я начинаю дремать, приказываю Андре, моему честному вознице, не беспокоить меня, засыпаю, и мне грезится

небесное создание. Наконец карета останавливается перед замком. Здесь так темно, что, выходя из кареты, я не узнаю в лицо лакея, который держит дверцы. Но что за беда? Peste![1]. Я едва держусь на ногах, так хочется спать. Та же темнота скрывает от меня знакомую с давних пор бесстыдную наготу статуй на террасе; но вот и дверь, она открывается и быстро захлопывается за мной. Я в западне, передо мной тот самый разбойник, который тихонько заткнул рот бедняге Андре и привез карету сюда. Как отважному французскому маркизу, мне остается только воскликнуть parbleu![2],— выхватить рапиру и умереть, доблестно сражаясь! Через неделю-другую меня находят у заброшенного кабачка близ заставы, с треугольным отверстием в измятом жабо и вывернутыми наизнанку карманами. Впрочем, нет, я передумал: меня спасают, спасает небесное создание, которое я видел во сне,— приемная дочь разбойника, на самом же деле дочь одного из моих близких друзей.

Выглянув опять из окна в тщетной надежде разглядеть кучера, я сделал открытие, что мои глаза мало-помалу привыкают к темноте. Я различал далекий горизонт, отделявшийся от более светлого неба линией черных, как индийская тушь, лесов.

Редкие звезды скорбно сияли над этой картиной. Меня снова поразила беспредельная глубина терпеливой печали на их ясном челе, и я надеюсь, что тот легкомысленный вандал, который первым сказал, что они «подмигивают», не заболеет меланхолией, вглядываясь в их полные упрека очи. Меня поразило таинственное очарование пространства, в котором каждая отдельная звезда в созвездии кажется отрезанной от всех остальных, как бы много их ни было, и самая маленькая звездочка таит в себе одиночество пустыни. Это спокойствие и чувство отрешенности от мира сообщились и мне, и я задремал в своем темном вертепе. Когда я проснулся, всходила полная луна. Из окна кареты она казалась нереальной, как на театральной декорации. Это была луна из «Нормы», то незабвенное светило, которое восходит на глазах у затаившей дыхание публики под торжественное анданте

---

[1] Проклятье! *(франц.)*
[2] Черт возьми! *(франц.)*

хора перед началом арии «Casta diva» — та самая «непостоянная» луна, которая потом застывает неподвижной на небе, словно повинуясь распорядку, установленному на небесах Иисусом Навином. Опять мимо меня вереницей проходят друиды в белых одеждах, опять я вижу, как с таинственного дуба срезают сказочную омелу, и опять мурашки пробегают по моей спине с первыми нотами речитатива. Рессоры звенят, словно отбивают такт, в дилижансе темно, как в театральной ложе, и все это придает дешевое очарование пейзажу. Но и это шаг вперед сравнительно с тем, что было раньше, и мне жаль расставаться с моей новой иллюзией.

Мои опасения насчет кучера рассеялись вместе с восходом луны. Заслышав знакомый мне звук, я уверился, что кучер на месте, и не лишился возможности отправлять хотя бы самую важную из своих функций. Частые и обильные плевки убедили меня в том, что рот его не заткнут разбойничьим кляпом, и успокоили мой встревоженный слух. С души моей скатилась тяжесть, и, ободренный присутствием кроткой Дианы, оставившей почти все свое великолепие за окном моего вертепа, как и в те времена, когда ей случалось навещать Эндимиона, я оглядел пустой дилижанс. На переднем сиденье валялась женская шпилька. Я поднял ее с любопытством, которое, однако, скоро остыло. Она не благоухала чуть слышно розами и даже не пахла помадой. В ее прямых линиях не было ни излома, ни изгиба, который изобличал бы характер ее обладательницы. Я попытался вообразить, что она принадлежала «Марии». Я представил себе, что, придерживая симметрические локоны девушки, она могла слышать нежности, которые нашептывались ей на ухо, что и вызвало гнев престарелой особы. Но все напрасно. Шпилька была непокорна и неподатлива в своей непреклонной прямизне и наконец равнодушно выскользнула из моих рук.

Я уже не раз засыпал и просыпался на пороге забвения, ударившись о какой-нибудь острый угол и чувствуя, что невольно стремлюсь принять шарообразную форму, менее восприимчивую к толчкам, уподобившись смиренному насекомому, памятному мне с детских лет, когда вдруг заметил, что слитые в одно целое тени пейзажа начали отделяться друг от друга в свете луны, под-

нявшейся высоко в небе. Деревья, отделившись одно от другого, группами и рядами потянулись перед окном дилижанса. Резкие очертания далеких гор выступили как при дневном свете, почти не смягченные сухой и холодной калифорнийской ночью.

Я стал соображать, который теперь час, и только было подумал, что Фауст напрасно воссылал свои предсмертные мольбы, если кони ночи передвигались не скорее наших, как вдруг мой кучер в припадке неожиданной энергии защелкал кнутом так, словно китайские шутихи посыпались градом с козел. Дилижанс рванулся вперед, и когда я с трудом выбрался из-под сиденья, длинное белое здание, непонятным образом возникшее передо мной, тянулось мимо окон. Это, верно, Слэмгаллион! Выходя из дилижанса, я обратился к кучеру:

— Я думал, вы меняете лошадей по дороге.

— Да я и переменил, два часа назад.

— Странно. Я этого не заметил.

— Спали, должно быть, сэр. Славно вздремнули, надеюсь? Нигде так не выспишься, как в пустом дилижансе,— чудесное место, сэр!

ДЫНЬКА

Не думаю, что даже самый благосклонный читатель поверит, будто хоть один крестный отец по доброй воле решился наречь младенца «Дынькой», а посему признаюсь: у меня есть все основания заключить, что это не имя, но лишь прозвище мальчугана, которого я когда-то знавал. Если у него и было другое имя, мне оно осталось неизвестным.

Не раз я пытался понять, откуда взялось столь странное наименование. Голову мальчугана покрывал легкий пушок, какой бывает на едва вылупившихся цыплятах, сквозь него просвечивала кожа; быть может, именно эта просвечивающая под пухом голова напомнила чьему-то живому воображению сочный и сладкий плод. Чтобы родители, прочувствовав поэзию осенних плодов, дали это имя ребенку, родившемуся в августе,— такое объяснение было бы естественно разве лишь где-нибудь на Востоке. Всего вероятнее, что попросту он с младенчества любил полакомиться дыней, ведь Фантазия — редкая гостья в Подворье Мак-Джинниса. На моем горизонте он явился как Дынька. О его приближении возвещали пронзительные ребячьи выкрики: «Э-э, Дынька!», или веселые: «Здорово, Дынька!», или повелительные: «Эй ты, Дынька!»

В Подворье Мак-Джинниса выразились, я думаю, демократические склонности некоего упрямого и радикально настроенного землевладельца. Это был всего лишь тесный участок меж двух весьма благородных улиц, но он не желал покориться обстоятельствам, упорно похвалял-

ся своей неопрятностью и зачастую изъяснялся не слишком литературным языком. Комната моя помещалась в нижнем этаже и выходила на задворки, откуда в окно сочился тусклый свет. Подоконник был так низок, что, будь я хоть немного расположен стать лунатиком, эта склонность в столь благоприятных условиях непременно расцвела бы пышным цветом, и я стал бы ночами бродить, как привидение, по всему Подворью. Мои догадки о происхождении нашего жилища были не совсем безосновательны, ибо благодаря своему окну я однажды смутно, словно через закопченное стекло, увидел Прошлое. Рано поутру свет мне заслонила тень некоего кельта. То была личность в бушлате, с короткой трубкой в зубах, обросшая жесткой бородой. Опершись на тяжелую трость, незнакомец сосредоточенно взирал на наш двор, подобно герою старинной драмы, посетившему край своего далекого детства. Поскольку красотами зодчества Подворье не блещет, я решил, что это сам Мак-Джиннис явился взглянуть на свои владения. Он как будто подтвердил мою мысль, заботливо отшвырнув ногой подальше с дороги разбитую бутылку. Но затем он удалился, и больше его в Подворье не видели. Возможно, квартирную плату собирал не он сам, а его поверенный,— если ее вообще удавалось собирать.

Не считая Дыньки, к рассказу о котором все это служит лишь вступлением, даже самый жизнерадостный и неунывающий человек не нашел бы в Подворье Мак-Джинниса ничего интересного. Как и всюду в подобных дворах, здесь вечно шла стирка, но почти не видно было ничего выстиранного и чистого. Вечно что-нибудь моталось на бельевой веревке — и вечно по двору моталось что-нибудь такое, чему самое подходящее место было бы на той же веревке. Под моим окном росла чахлая герань — растение, которым человечество охотнее всего обманывает себя, пытаясь украсить свою жизнь. За ее пропыленными листьями я и увидел Дыньку впервые.

Ему было лет семь. Он казался старше, оттого что волосы его серебрились, почти как у достойного патриарха, определить же его рост было затруднительно из-за одежды, принадлежавшей, вероятно, стройному юноше лет девятнадцати. Весь костюм Дыньки состоял из пары штанов, державшихся на единственной лямке. Каким об-

разом он ухитрялся в этом чересчур просторном наряде совершать чудеса акробатики, коими я имел удовольствие любоваться, сказать вам не умею. Но он с неизменным успехом делал «мостик» и еще разными способами пытался вывихнуть руки и ноги. В любой час можно было видеть, как он повисает на веревке для белья, либо его серебрящаяся, как у почтенного старца, голова появлялась над крышей какого-нибудь сарая. Дынька знал наизусть все окрестные заборы: какой они вышины, как на них взобраться и велика ли опасность, что по другую сторону тебя схватят. Было у него и более тихое и мирное развлечение, а именно: с дикими воплями он таскал за собою на веревке старый ржавый котелок, спеша залить воображаемый пожар.

Дынька был человек не слишком компанейский. Иногда его навещали сверстники, но под конец они всегда принимались его дразнить, и вообще их визиты вернее назвать грабительскими набегами, ибо привлекали их в Подворье несметные залежи пустых бутылок и прочего хлама. Однажды, истомясь в одиночестве, Дынька завел во двор слепого арфиста. Два часа кряду злополучный музыкант терзал струны и не дождался в награду ни единой монетки; снова и снова он обходил двор, не подозревая, в какую трущобу попал, а Дынька, сидя на соседнем заборе, с безмятежным удовлетворением глядел на него. Дынька не знал, что такое голос совести, вот почему среди аристократических соседей пошла о нем дурная слава. Благочестивые и состоятельные родители строго-настрого запретили своим чадам с ним водиться. Естественно, этот запрет окружил Дыньку особым ореолом. Из окна каждой детской Дыньку провожали восхищенные взоры. Младенцы манили его пальчиком. Из-за оград богатых особняков его, шепелявя, приглашали к чаю, сервированному в игрушечной посуде. На него явно смотрели как на некое высшее существо, свободное и духом и телом, которое взрослые по своей ограниченности ни понять, ни подчинить не в силах. Однажды по соседству поднялась необычная суматоха. Выглянув в окно, я увидел, что на крышу конюшни взгромоздился Дынька, в руках у него толстая веревка, а на веревке раскачивается над землею некий Томми, отпрыск соседнего богатого семейства. Тщетно женская половина этого семейства, со-

бравшись на задворках, увещевала Дыньку, тщетно потрясал кулаком несчастный отец. Недосягаемый для их гнева Дынька удвоил усилия и наконец втащил Томми на крышу. А затем ко всеобщему стыду выяснилось, что Томми состоял в тайном сговоре с Дынькой. Он отвечал родителям блаженной улыбкой, словно радуясь, что «достиг высот своей недоброй славы» [1]. Задолго до того, как прибыла лестница для его спасения, он поклялся Дыньке в верности и (я вынужден с прискорбием заметить), подстрекаемый упомянутым дерзким мальчишкой, стал насмехаться над кровными родичами, что ждали его внизу. В конце концов его сняли с крыши. Дынька же, разумеется, улизнул. Однако после этого случая Томми держали взаперти, приятели только и могли перекликаться через окно: «Эй, Дынька!», «Здорово, Томми!» — но практически отныне Томми был для Дыньки потерян. Я присматривался к Дыньке, пытаясь обнаружить признаки печали, но напрасно: свое горе (если таковое имело место) он бесследно схоронил в пышных складках своего единственного одеяния.

Примерно в ту же пору мне представился случай познакомиться с Дынькой поближе. Я взялся заполнить провал в литературе Тихоокеанского побережья. Поскольку провал оказался весьма обширен и, как мне сообщили, для Тихоокеанского побережья крайне тягостен, я каждодневно два часа трудился, стремясь его заполнить. Система прежде всего, а потому день за днем в один и тот же час, возвратясь со службы, я удалялся от суетного мира и, запершись у себя в комнате, отдавался трудам. Я извлекал из портфеля и перечитывал написанное накануне. Тут мне приходили в голову некоторые изменения, и я переписывал эти страницы наново. Попутно надлежало обратиться к какому-нибудь справочнику, который неизменно оказывался чрезвычайно интересным и увлекательным. Как правило, он наводил меня на мысли об ином, лучшем способе «заполнить провал». Я тщательно обдумывал этот способ, испытывал его, но под конец неизменно возвращался к прежнему плану. К этому времени я убеждался, что для поддержания угасающих сил требуется выкурить сигару. Пока я ее раскуривал,

---

[1] Мильтон «Потерянный рай», II, 6.

мне приходило на ум, что полезно было бы сосредоточиться и поразмыслить в тиши, а я всегда стараюсь следовать голосу благоразумия. И тут в конце концов заявлял о себе Дынька, который, как уже упоминалось, часто сиживал у моего окна; правда, наша беседа обычно бывала немногословна: «Здрасте, мистер!» «А-а, Дынька!» Но присущая нам обоим тяга к праздности рождала глубокое взаимопонимание, которое не нуждалось в словах. Время проходило в безмолвном единении душ, порою его разнообразили акробатические трюки перед самым моим окном или где-нибудь поодаль, но непременно на виду (и гимнаст неизменно косился в мою сторону), а там наступал час обеда, и я ощущал настоятельную необходимость заполнить пустоту в моем собственном организме. Неожиданный случай содействовал нашему сближению.

Один мой друг-мореплаватель возвратился из тропиков и привез мне в подарок гроздь бананов. Бананы были еще не совсем спелые, и я вывесил их за окно дозревать на солнце, которое бесцеремонно вторгалось в Подворье Мак-Джинниса. По комнате распространился таинственный аромат, в нем смешались запахи корабля и неведомого берега, томительно напоминая о далеких тропиках. Но и эта моя радость оказалась непрочной и мимолетной: бананам не суждено было дозреть.

Однажды я возвращался домой, и, когда свернул с упоминавшейся ранее благородной улицы, мне повстречался маленький мальчик, который уплетал банан. В этом не было ничего необычайного, но ближе к нашему Подворью мне повстречался еще один маленький мальчик, и он тоже уплетал банан. Третий маленький мальчик, увлеченный тем же занятием, заставил меня призадуматься над таким странным совпадением. Предоставляю проницательному читателю определить, насколько связаны были эти случайные встречи с овладевшим мною горестным чувством утраты. Я вошел к себе в комнату — и обнаружил, что гроздь бананов исчезла.

Только один человек знал о ее существовании, только он один постоянно являлся под мое окно, только он один способен был совершить чудеса акробатики, чтобы до нее добраться, и — я краснею, но должен назвать его — это был Дынька. Дынька-грабитель, Дынька, у которого мальчишки постарше отняли его бесчестную добычу, или,

может быть, он беззаботно и щедро поделился ею с кем попало, а теперь, конечно, сбежал и отсиживается где-нибудь на крыше.

Я закурил сигару, пододвинул стул к окну и попытался утешиться созерцанием герани. Через несколько минут мимо, на уровне подоконника, промелькнуло что-то белое. Сомнений не было, это мелькнула голова, покрытая белым пухом, которая теперь в моих глазах олицетворяла лишь закоснелый порок. Это был Дынька, белый, как лунь, лицемер.

Он притворился, будто не замечает меня, и, конечно, постарался бы незаметно скрыться, если бы неодолимые чары, что вновь влекут убийцу к месту преступления, не притягивали его к моему окну. Я невозмутимо курил и молча смотрел на него. Он несколько раз прошелся взад и вперед по двору, во взгляде его и во всей осанке сквозили суровость и воинственный вызов — это он старался показать, что на душе у него легко и совесть чиста.

Раза два он останавливался, засовывал руки в карманы до самых плеч и, растопырив руки, любовался шириной своих необъятных штанов. Потом принялся насвистывать. В ту пору молодое поколение стало увлекаться песней о Джоне Брауне, и Дынька на редкость удачно ее исполнял. Но в этот день он свистал сквозь зубы, пронзительно и фальшиво. Наконец наши взгляды встретились. Дынька дрогнул, но тотчас оправился, подошел к изгороди и несколько минут стоял на руках; босые ноги его болтались в воздухе. Потом он обернулся ко мне и сделал попытку завязать разговор.

— Там цирк,— начал он, прислонясь спиной к изгороди и обхватив руками колья.— Во-он там! — Он показал в ту сторону ногой.— И кони. И дядьки на конях скачут. А один даже на шестерых... на шестерых враз... без седла, во как! — и помолчал, дожидаясь ответа.

Но и весть о столь искусном наезднике не тронула меня. Я упорно смотрел Дыньке в глаза, и он задрожал и съежился в своем просторном одеянии. Надо было решаться на какой-то другой отчаянный шаг (разговор всегда был для Дыньки поступком отчаянно смелым). Он начал сызнова, на сей раз более хитро:

— А ты Рыжика знаешь?

Мне смутно припомнился обладатель этого благо-

звучного имени — мальчуган с огненными волосами, товарищ игр Дыньки и вечный его супостат. Но я промолчал.

— Рыжик — плохой мальчишка. Он один раз полицейского убил. У него в башмаке ножик. Я его сегодня видал, он на твое окошко глядел.

Тут я решил, что пора положить этому конец. Я поднялся и сказал сурово:

— Дынька, твои замечания неуместны и к делу не относятся. Бананы взял ты. Твои намеки на Рыжика, даже если бы я склонен был принять их на веру, не меняют существа вопроса. Бананы взял ты. По законам штата Калифорния это — уголовно наказуемое преступление. Я не намерен сейчас обсуждать, в коей мере к самому этому деянию или к его последствиям причастен Рыжик. Но оно имело место. И твое теперешнее поведение со всей очевидностью показывает также, кто был его безрассудным зачинщиком.

Когда я закончил это вступление к обвинительной речи, Дынька исчез,— именно этого я и ожидал.

Больше он не появлялся. Об угрызениях совести, которые я испытал, думая о роли, которую сыграл я в этом, боюсь, полном и окончательном его исчезновении, он, увы, наверно, никогда не узнает, разве что на глаза ему попадутся эти страницы. Ибо с тех пор я его больше ни разу не видал.

И теперь мне уж не узнать, сбежал ли он в дальнее плавание и объявится ли когда-нибудь в обличье старого-престарого морского волка, или окончательно похоронил себя в своих широченных штанах. Я усердно читал газеты, надеясь напасть на его след. Я отправился в полицию в тщетной надежде обнаружить его среди заблудившихся детей. Но о нем не было ни слуху, ни духу. Порою в душе моей мелькают странные опасения: быть может, эта почтенная голова, покрытая редким белым пухом, и вправду принадлежала старцу, и он мирно отправился к праотцам, преждевременно достигнув преклонного возраста. Подчас я начинаю даже подозревать, не почудился ли он мне. Быть может, сама судьба таинственно ниспослала мне его, чтобы я мог заполнить провал, о котором упоминал ранее? В надежде на это я и написал прочитанные вами страницы.

ЧУДАК

Право, не знаю, как герой этого жизнеописания сумел завоевать столь прочную привязанность моего семейства. Он вовсе не располагал к себе, этот пес. Он не мог похвастать ни рождением, ни воспитанием. Его родословная была окутана непроницаемой тайной. Быть может, у него и были братья и сестры, но, сколь ни обширен круг моих знакомств среди собачьего рода-племени, больше ни в одной собаке я не встречал странностей, поражавших в Чудаке. Туловище у него было длинное-предлинное, задние лапы так далеко отстояли от передних, словно Природа собиралась поместить между ними еще одну пару ног, а потом — весьма неразумно — позволила отговорить себя от этого намерения. Особенность эта очень докучала нам в холодные вечера: чтобы впустить Чудака в дом, приходилось так долго держать дверь открытой, что успели бы войти две или даже три собаки обыкновенной длины. Лапы у него были кривые, вывернутые наружу, и в часы отдыха его излюбленная поза напоминала первую позицию танцора. Прибавьте к этому блестящие глаза, уши, словно взятые взаймы у какой-то другой собаки, востренький носик, влезавший не хуже отмычки в любую щель,— и вот перед вами Чудак во всей его красе.

Я склонен думать, что общую любовь он завоевал прежде всего своим спокойным бесстыдством. Явился он в наш дом точь-в-точь как старый член семьи, который после недолгой отлучки возвращается к родному очагу и давним милым привычкам. Если верить учению пифагорий-

цев о переселении душ, возможно, так оно и было, но я не припомню, чтобы кто-либо из моих покойных родственников при жизни любил зарывать кости в землю (хотя после смерти это, пожалуй, и может служить развлечением), а у Чудака это была настоящая страсть. Впервые мы обнаружили его в одной из комнат наверху — он свернулся клубком на ковре и, в отличие от всех нас, не проявил ни малейшего смущения. С этой минуты он стал признанным членом нашего семейства, преспокойно завладел правами и вольностями, каких не часто добивались куда более умные и достойные его сородичи,— и мы покорно на все это согласились. Так, если оказывалось, что он уютно расположился в бельевой корзине или вдруг сама собою приходила в движение какая-нибудь принадлежность туалета, мы только говорили: «А, это Чудак!» — и вздыхали с облегчением: хорошо, что не что-нибудь похуже.

Еще два слова о его страсти. Нельзя сказать, чтобы он зарывал кости в землю из бережливости, ибо он неизменно забывал, где именно зарыл свое сокровище, и потом перекапывал без толку весь сад; но хотя фиалкам и маргариткам усердие новоявленного садовника вовсе не шло на пользу, мы и не думали его наказывать. Он сделался для нас неким воплощением Рока: на Чудака можно роптать, можно принимать его с философским спокойствием, но от него не уйдешь. Он не блистал ни умом, ни красотой, но обладал известным благородством чувств. Когда он проделывал единственный свой фокус (он умел служить, стоя на задних лапах, причем поразительно напоминал пингвина), в награду за такой подвиг люди сторонние и несведущие предлагали ему печенье или сухарик, а Чудаку они были вовсе не по вкусу. Но он старательно делал вид, что весьма благодарен и рад, прикидывался даже, что глотает предложенное лакомство, а потом незаметно избавлялся от него, спрятав в какое-нибудь укромное местечко, чаще всего в калоши гостя.

Если тому не препятствовала учтивость, Чудак выказывал свою приязнь или неприязнь честно и открыто. Все его существо восстало против трамвая. Когда по нашей улице прокладывали трамвайную линию, Чудак с вызовом встречал каждый новый рельс, а затем всей

мощью своих легких противился каждому вагону. Живо помню, как в первый день он встретил первый пущенный на пробу вагон: он просто разрывался от лая, он гавкал так яростно, что всякий раз сила отдачи отбрасывала его на несколько шагов, и так он пятился по рельсам вдоль всей улицы. Но ведь Чудак — не единственный, кто противился новшествам, а потом дожил до того, что стал свидетелем их процветания или даже упадка.... Но я забегаю вперед. Еще раньше он воспротивился, когда проводили газ, но хоть и потратил целый день на перебранку с рабочими (даже забыл зарыть кости, которые так и высохли понапрасну на солнцепеке), газ все-таки провели. Столь же безуспешно восставал он и против водопровода в Спринг Вэли, а когда стали выравнивать соседний участок, между Чудаком и подрядчиком разгорелась ожесточенная и затяжная распря.

Во всех странностях Чудака, несомненно, проявлялся определенный характер и воплощалась некая идея. Мы всем семейством долго это обсуждали и дали ему второе имя: Чудак-консерватор, чтобы хоть в малой мере отдать должное неколебимой силе его духа. Но хотя Чудак был тверд и знал, чего хочет, путь его был усыпан не одними розами. Порою и шипы впивались в его чувствительную душу. Когда кто-нибудь брал на фортепьяно меланхолический аккорд, Чудак воспринимал это весьма болезненно и отзывался протестующим воем. Если за это его удаляли на задний двор и затем вновь оскорбляли его слух музыкой, он вытягивался во всю длину (а это что-нибудь да значит) и издавал такой вой, что в гостиной все равно было слышно. Но к Чудаку мы притерпелись, а музыку все очень любили и потому игру не прекращали.

Однажды рано утром Чудак вышел из дому в отличном настроении с неизменной костью в зубах, видимо, как всегда, намереваясь ее закопать. Назавтра его подобрали на рельсах бездыханного — должно быть, его переехал первый утренний трамвай.

МИССИЯ ДОЛОРЕС

Миссии Долорес суждено быть «последним вздохом» старых калифорнийцев. Когда последний испанец смиренно уступит дорогу суетливому янки, он — в моем представлении,— как мавританский король, поднимется на гору с высящейся на ней миссией и в последний раз окинет прощальным взглядом холмистый городок. Он еще долго будет цепко держаться за Пасифик-стрит. И долго еще будет закапываться в каменную грудь Телеграфной горы, пока современная техника не снесет ее до основания. И будет наведываться в трущобы Валехо-стрит, столь ярко свидетельствующие о вымирании народа; но рано или поздно ему придется дать дорогу Прогрессу, и миссия будет последним достоянием, которое выскользнет из его бессильных рук.

В тот ясный денек я смотрел на древнюю часовню, на ее выщербленные стены, так резко контрастирующие с праздничным весенним небом, на ее подагрически скрюченные колонны с отваливающейся, словно рваные бинты, штукатуркой, на ее подслеповатые окна, на разрушающиеся порталы, на белые пятна проказы, проступающие на глинобитных стенах,— и я понял, что жалкой старушке нищенке уже недолго сидеть у дороги, прося Христа ради милостыню. На всей окрестности уже лежит печать обреченности. Гудки локомотивов резко диссонируют с вечерним благовестом. Епископальная церковь в стиле бревенчатой готики с массивными контрфорсами из орегонской сосны кажется издевкой над седой стариной, уже и сейчас вытесняя ее фальшивой подделкой. Увы, перед вторжением города бессильны оказались расположившиеся у стен миссии сель-

ские пристройки, птичники и огороды. И они исчезают. Вместе со смешными глинобитными домишками, крытыми черепицей и похожими на стопки коричных палочек, с двориками, обнесенными изгородями, в которых благоговейно хранится несколько воловьих рогов и обрывков шкур. И я напрасно высматриваю здесь некогда дикого мексиканца, от былого великолепия которого только и остался, что красный кушак под курткой. Недостает мне и черноволосых женщин с отвислыми, дряблыми грудями, одетых в платье, ни фасоном, ни материей не соответствующее сезону, закутанных в шали, являющие безжалостную карикатуру на поэтические испанские мантильи. Всюду проглядывают черты чуждой национальности. У самой часовни выросли железнодорожные мастерские, продымившие всю округу. Гортанный говор вытеснил плавные и шипящие звуки; мне недостает напевных речитативных модуляций в веселых выкриках кучеров дилижансов. «Все на борт!» — кричали они в те добрые старые времена, когда дилижансы ежечасно отправлялись к миссии и такое путешествие было увеселительной прогулкой. У самых ворот храма, на месте тех, «что продавали жертвенных голубок», расположились со своим богомерзким товаром продавцы заводных пауков. Я не вижу сегодня даже старого падре — последнего представителя миссионеров, потомка доброго Хуниперо[1]; вместо него некий белокурый кельт читает заповеди из Вульгаты, обильно насыщенные раскатистым «р». Добрый пастырь, помяни в своих молитвах чужеземца и еретика!

Я отворяю маленькую калитку и проникаю на кладбище. Здесь не заметно никаких перемен, хотя могилы, пожалуй, теснятся плотнее. Ива, растущая за низкой темной оградой, в полном расцвете весны просунула сюда свои пушистые ветви; высокая сочная трава над каждым могильным холмом свидетельствует о поразительной жизненной силе породившей ее земли. Здесь уютнее, чем на вершине горы, где не стихает раздор и смута океанских ветров. Миссионерские холмы бережно охраняют маленькое кладбище — скромное и непритязательное. Здесь сильно чувствуется иноземный дух;

[1] Серра Хуниперо — францисканский монах, один из первых миссионеров в Калифорнии.

тут и обязательные гирлянды из иммортелей, навевающие погребальное настроение; и дешевые оловянные медальончики, украшенные тремя слезинками, похожими на знак трефовой масти; несообразность таких украшений окупается немудреной простотой надписей. На детских могилках здесь стоят ангелы-хранители с серьезными и важными лицами, и тут же, сзади, в стеклянных ящичках собраны игрушки малышей; здесь обычное множество ужасающих стихов собственного сочинения прихожан; но один стишок — на могиле моряка — поражает трогательностью высказанной надежды на спасение милостью «Лорда Верховного адмирала Христа». Над могилами иноземцев надписей значительно меньше, но зато в них заметна, я бы сказал, бо́льшая чувствительность и проникновенность. Я невольно думаю, что слишком многие из моих соотечественников пытаются воспользоваться надгробной надписью, чтобы в этом последнем жесте по отношению к умершему выразить все чувства, в которых они отказывали ему при жизни. Но при виде блеклых иммортелей, украшающих надгробную плиту, я понимаю, что тайна воскресения запечатлена в этих невыразительных символах, и только любовь, которой нас учит его Новый Завет, увековечена в письменах. Впрочем, «все это куда лучше умеют делать во Франции».

. . . . . .

Пока я бесцельно бродил вокруг миссии, солнце мало-помалу спускалось по бурой стене церкви, и стало холодно и сыро. Яркая зелень травы поблекла, и от стены протянулись бронзовые отсветы. Ивы склонились долу, словно сбрасывая свой пушистый наряд, и смотрят унылым олицетворением разбитой веры и обманутых надежд. Запах иммортелей смешивается с запахом ладана, струящимся из открытых окон. А в самой часовне варварская позолота и пурпур в безжалостном свете сумерек выглядят холодно и безвкусно. Сейчас часовня и впрямь кажется ветхой и безобразной. И мнится мне, что если души предков вздумают посетить тот уголок земли, где они когда-то жили и трудились, вряд ли будут они с высот иного мира сетовать о неотвратимых переменах и оплакивать день, когда миссия Долорес окончит свое существование.

ДОМА, В КОТОРЫХ Я ЖИЛ

I

Однажды мы выбрали квартиру только потому, что там был балкон-фонарь, искупавший в наших глазах все недостатки и неудобства этого жилища. Когда дымили трубы; когда усыхали или набухали двери, так что их никакими силами нельзя было открыть, или когда, наоборот, они сами, словно по волшебству, распахивались; когда в дождливую погоду на потолке появлялись подозрительные пятна,— во всех этих неприятностях нам служил утешением балкон-фонарь. Вид из него был действительно великолепный. Беспокойная, вечно меняющаяся водная гладь расстилалась перед нами, блестя на солнце, темнея в тени скал или разбиваясь игрушечными волнами на крошечном берегу внизу, а вдали четко вырисовывались Алкатрац, Лайм-Пойнт, Форт-Пойнт и Сауселито.

Хотя поначалу балкон-фонарь был отведен мне в неприкосновенную собственность и я расположился в нем со своей работой, мало-помалу, следуя некоему закону природы, он превратился в место отдыха для всей семьи. В один прекрасный день туда были водворены кресло-качалка и корзинка с рукоделием. Затем на балкон вторгся наш малыш и забаррикадировался мотками цветных ниток и размотавшейся шерстью так, что только дружной атакой всего семейства его удалось извлечь из засады и, плачущего, взять в плен. Всякий вступавший

на балкон начинал испытывать действие его волшебных чар. О серьезной работе нечего было и думать. Подплывавший пароход, блики на воде, окутавшее вершину горы облако неизменно отвлекали внимание. Читали вы или писали, за стеклами фонаря всегда оказывалось что-нибудь интересное. Зрелища, открывавшиеся с балкона, были, к несчастью, не всегда приятными, но независимо от этого обрамление широкого окна сообщало всему одинаковую значительность и живописность.

Окружавший ландшафт нельзя было назвать сельским, хотя по соседству с нами жилых домов почти не было. Кирпич и цемент не успели окончательно завладеть землей, где, судя по всему, еще совсем недавно зеленели дубравы. С одной стороны горизонт загораживал вытрезвительный дом — сам по себе довольно мрачный и служащий по-своему красноречивым назиданием как последнее пристанище на некоем пути. Восторженные члены моего семейства, откровенно рассчитывавшие увидеть там в окнах шумных обитателей в разных стадиях опьянения, запечатленных покойным У. Е. Бертоном, были крайне разочарованы. Упомянутое заведение не обнаруживало своих тайн. Местная больница, также видневшаяся с нашего балкона, являла собой куда более оживленное зрелище. В определенные часы дня мы видели, как выздоравливающие выходили на прогулку. Картина эта была особенно удручающей из-за полного отсутствия какого бы то ни было общения между ними. Каждый был окутан непроницаемой атмосферой собственных страданий. Они ходили порознь и никогда не разговаривали. Мне случалось наблюдать из окна, как несколько больных, прислонившись к стене, грелись на солнышке меньше чем в полуметре друг от друга и совершенно не замечали друг друга. Если бы они по крайней мере ссорились или дрались,— все было бы лучше, чем эта чудовищная апатия.

Переулок, на который выходил фонарь, радушно манил людей с большой оживленной улицы, но сам внезапно приводил доверчивого пешехода к крутому обрыву. По воскресеньям, когда главная улица была запружена толпами, устремлявшимися к северу, на побережье,

мы с нашего балкона могли развлекаться, наблюдая злополучных пешеходов, соблазнившихся переулком в надежде сократить путь. Забавно, как все они, без исключения, дойдя до обрыва, взглядывали вверх на балкон и, прежде чем с невозмутимым видом повернуть обратно, принимались беспечно насвистывать, делая вид, что они нисколько не озадачены. Один решительный молодой человек, завлеченный предательским взглядом прелестных глаз в окне напротив, предпочел спуститься по крутому откосу, рискуя свернуть себе шею и нанести непоправимый ущерб воскресному костюму, нежели вернуться вспять.

Собаки, козы и лошади представляли фауну нашей округи. Живя почти в природных условиях и пользуясь полной свободой, они тем не менее сохранили нежную привязанность к человеку и его жилищу. Разгоряченные скакуны устраивали импровизированные скачки на тротуарах и превращали улицу в миниатюрное Корсо; собаки затевали во дворах свары, а спустившаяся с холма позади нашего дома коза мирно щипала герань моей жены, росшую в горшках на окне бельэтажа.

— Какой сильный град был сегодня ночью! — заметил наш новый сосед, только что переехавший в дом рядом с нами. Он был в таком восторге от вида и находил столько гигиенических преимуществ в этой местности, что мне было жаль его разочаровывать. Поэтому я ничего не сказал ему о том, что это были просто козы, которые, карабкаясь на холм, используют его дом в качестве трамплина.

Климат у нас был поразительно здоровый. Люди, свалившиеся с дамбы, замечали, что их раны мгновенно заживают на свежем морском бризе. Вентиляция не оставляла желать лучшего. Вы открывали окно фонаря, и целительный сквозняк молниеносно уносил скопившуюся за ночь духоту вместе с занавесками, дверными петлями и оконными ставнями. Благодаря этой особенности несколько моих рассказов сделались достоянием всей округи и получили такое широкое распространение, какого в другом месте я не смог бы добиться за целые годы. Те же целительные ветры повинны, конечно, и в том, что некоторые предметы туалета, развешанные на веревке у нас во дворе, каким-то таин-

ственным образом попадали к одному бедному, но честному соседу. Однако, несмотря на все эти преимущества, через несколько месяцев я решил переехать. О том, насколько это было удачно, я расскажу в следующей главе.

II

«Дом с прекрасным садом и пышной растительностью в фешенебельном квартале»,— насколько я помню, примерно в таких выражениях было составлено объявление, на котором однажды я остановил свой выбор. Нужно добавить, что это случилось в ту пору, когда у меня еще было мало опыта в подобных делах и я с полным доверием относился к объявлениям. Со временем я узнал, что правдивейшие люди, описывая свою собственность, выказывают склонность к преувеличениям, словно самим выбором предмета уже подразумевается, что их слова не вполне соответствуют истине. Но это я постиг много позже, когда, явившись по одному весьма заманчивому объявлению, я очутился в том самом доме, который я тогда занимал и откуда тысячи всевозможных неудобств побуждали меня съехать.

В вышеупомянутом «прекрасном саду» весьма небольших размеров было разбито несколько цветочных клумб необыкновенно причудливой формы. Меня сразу же поразило их удивительное сходство с бараньими котлетами, подаваемыми обычно к столу в отелях и ресторанах. Сходство еще усиливалось большим количеством петрушки, произраставшей на клумбах. Одна грядка в особенности заставила меня вспомнить, и не без удовольствия, о пироге, известном в моем детстве под названием «боливар». Владелец дома, обладавший, по-видимому, довольно оригинальными эстетическими представлениями, огородил одну из клумб разноцветными морскими раковинами; в дождливую погоду клумба напоминала аквариум и, что особенно приятно, позволяла вести наблюдения в области ботаники и конхиологии одновременно. Тогда мне пришло в голову, что *дельфиниум*, росший тут в неимоверном количестве, обязан своим внедрением в нашем саду той же самой идее объединения двух наук. Тем не менее было весьма при-

ятно прогуливаться после обеда по усыпанным гравием дорожкам (спотыкаясь иной раз на валуны, вызывавшие в памяти высохшее русло довольно извилистого горного потока), то куря сигару, то вдыхая крепкий запах укропа, а то порой останавливаясь, чтобы сорвать цветок мальвы, в изобилии украшавшей наш сад. Плодовитость этого растения приводила нас в ужас: сначала в порыве садоводческого энтузиазма жена посеяла самые разнообразные цветы, но, кроме мальвы, решительно ничего не взошло, и хотя я, движимый тем же похвальным рвением и обзаведясь «Сельским садоводством Даунинга» и всякими садовыми инструментами, проработал несколько часов в саду, усилия мои оказались столь же бесплодными.

«Пышная растительность» состояла из нескольких низкорослых деревцов. Одна очень молодая плакучая ива была такой слабой и хилой и так честно заслуживала свое название, что ее пришлось подвязать к стене дома — иначе она просто легла бы на землю. Присутствием сей лакримозы, быть может, и объяснялась сырость в этой части дома. Добавьте к этому несколько на редкость несимпатичных деревьев, известных, кажется, под названием мальва древовидная, усеянных какими-то невзрачными цветочками, которые вечно осыпались, да два или три карликовых дуба довольно зловещего вида, с шероховатыми листьями — и вы получите представление о том, что наша горничная-ирландка не без основания именовала «пылесадник».

Фешенебельность нашей округи несколько страдала от близкого и малоблаготворного соседства с Подворьем Мак-Джинниса. Это был какой-то мрачный закоулок, где обитали люди, стоявшие, очевидно, на примитивной ступени развития, не порабощенные цивилизацией и проводившие большую часть времени, сидя на пороге своих домов. Многое из того, что, в согласии с укоренившимся предрассудком, все другие люди делают, совершая свой туалет в одиночку, производилось здесь открыто, без страха и упрека, на виду у всех. В начале каждой недели двор заволакивало густым мыльным паром, поднимавшимся из многочисленных корыт. Через день-два после этого двор превращался в выставку всевозможного разноцветного белья, развевающегося на ве-

ревках, подобно гирляндам флажков на мачте корабля, и хлопающего на ветру, как беспорядочные ружейные выстрелы. Было совершенно очевидно, что двор оказывал дурное влияние на всю округу. Один оптимистически настроенный землевладелец выстроил на углу нашей улицы очаровательный домик, в котором и поселился; и хотя он часто появлялся на балконе в ярком малиновом халате, придававшем ему сходство с тропической птицей в роскошном оперении, подражателей у него так и не нашлось, соседи халатами не обзавелись, и он только заслужил оскорбительные прозвища от мальчишек. Кончилось тем, что он съехал. И, проходя как-то мимо его дома, я заметил прибитое к коринфской колонне у подъезда и резко бросающееся в глаза объявление: «Сдаются комнаты с пансионом». Подворье Мак-Джинниса торжествовало победу. Между его обитателями и прислугой особняка тут же завязались сношения, и некоторые юнцы, живущие в пансионе, стали обмениваться игривыми и не слишком утонченными шуточками с молодыми девицами Подворья. Мы поняли, что на фешенебельность приходится махнуть рукой.

Однако время от времени у нас выдавались минуты ничем не омраченного счастья. Когда сумерки смягчали корявые очертания дубов и превращали кусты в темные бесформенные массы, было необыкновенно романтично сидеть у окна и вдыхать поднимавшийся из сада слабый и грустный запах укропа. Быть может, это дешевое удовольствие в значительной степени увеличивалось еще и оттого, что скромное растение неизменно вызывало в моей памяти одну картину, краски которой давно поблекли от времени. Нередко я сидел так по вечерам, закрыв глаза, пока передо мной не всплывали очертания класса и парт в сельской школе, и я слышал запах укропа, тайком припрятанного в парте, и снова в безмолвном восторге созерцал прелестное создание с круглыми красными щечками и длинными черными косами, чей взгляд не раз заставлял пылать мои щеки, подпираемые воротничком невиданных размеров, какие я в ту пору моего детства с гордостью носил. Я нарочно рассказываю об этом маленьком преимуществе, не упомянутом в объявлении и не включенном в квартирную плату, дабы читатель не упрекнул меня в пристрастном жела-

нии все видеть в дурном свете. Пусть биржевой маклер, ныне занимающий этот дом и производящий впечатление человека, которого с пеленок звали не иначе, как «мистер», тоже им воспользуется и вспомнит, что и он был когда-то мальчиком!

III

Вскоре после того как я поселился в «Счастливой долине», я был поражен полным несоответствием между названием и местностью. Правда, калифорнийцы щедры на эпитеты, но даже для них это звучало уже как насмешка. Однако сначала я поверил названию, решив, что это плод чьей-нибудь не слишком тонкой, но превыспренней фантазии, точно так же, как улицам в этой округе были даны женские имена человеком, явно связанным с «Дарами дружбы» и «Подношениями любви».

Наш дом на Лаура-Матильда-стрит несколько напоминал игрушечное швейцарское шале — столь распространенный здесь архитектурный стиль, что, идя по улице, вы так и слышали запах свежего клея и сосновой стружки. Редкие деревца казались вынутыми из овальных рождественских коробок, в которых продаются кукольные деревни; и даже в людях, сидевших у окон, была какая-то неподвижность, словно они были ненастоящие, игрушечные. Соседскую собачонку мои домочадцы называли «Бусинка»,— настолько казалось очевидным, что ее выдули из стекла. Может быть, я и преувеличил в своем описании изящную миниатюрность нашей долины, но она была такая чистенькая и аккуратная, что от этого все предметы как будто становились меньше, сжимались и делались карликовыми. И мы сами постепенно мельчали, наш кругозор сужался, и весь сложный мир вокруг нас стал укладываться в прямоугольные контуры Матильда-стрит.

Пожалуй, обманчивый эффект объяснялся тем, что долина имела искусственное происхождение. Лаура-Матильда-стрит была проложена по насыпанной земле. И суша, еще не вполне отвоеванная, постоянно страдала от набегов своего извечного недруга. Не успели мы

переехать в наш новый дом, как обнаружили старого жильца, не отказавшегося полностью от своих прав, о чьем присутствии свидетельствовала сырость, выступавшая на стенах подвала, чье влажное дыхание выстуживало нашу столовую, а по ночам пронизывало смертельным холодом весь дом. Никакие патентованные замки не могли помешать его вторжению, его нельзя было изгнать никаким законным или явочным порядком. Зимой его присутствие было особенно заметно; он подрывал корни деревьев, он булькал под полом кухни, он покрывал нездоровой плесенью стены веранды. Летом он становился невидимым, но влияние его на округу не прекращалось. То он покалывал в пояснице, то находил старые больные места и особенно любил добираться до суставов, то в спортивном азарте наносил обитателям швейцарского шале удар под ложечку. Он заманивал в игру маленьких детей, но эти игры кончались обычно скарлатиной, дифтеритом, коклюшем и корью. Порой он преследовал здоровых и крепких людей и изматывал их до того, что им приходилось слечь в постель. Но растительность он содержал в отличном порядке и особенно любил мох и плесень, умудряясь покрывать ими даже дранку, штукатурку и голые камни. Как я уже сказал, он по большей части оставался невидимым, но однажды утром, вскоре после нашего переезда, я увидел с холма его серые, распластанные над долиной крылья, напоминающие сказочного вампира, который, насосавшись за ночь здоровой крови спящих на земле людей, медлит после обильной трапезы. Тогда-то я догадался, что имя ему Малярия и что он гнездится в ужасной долине зловещих миазмов, названной столь незаслуженно Счастливой долиной!

В будни мы слышали приятное гудение литейных цехов, а иногда ветер доносил легкий запах с ближних газовых заводов. На нашей улице обычно бывало тихо, но достаточно было затеять футбольный матч, как все жильцы высовывались в окна, выходящие на улицу, и неосторожный прохожий, по какой бы стороне улицы он ни шел, рисковал заработать синяк под глазом. От каждого проезжающего экипажа наши полы сотрясались и на обеденном столе звенела посуда. Хотя мы были сравнительно защищены от преобладающих вет-

ров, но иногда залетные вихри, заблудившись, нечаянно врывались на нашу улицу и, найдя свободное поле деятельности, издавали ликующий клич и с остервенением принимались за бельевые веревки и дымовые трубы, резвясь до полного изнеможения. Помню поразительную картину, как однажды порывом ветра занесло на нашу улицу шарманщика и как его проволокло по улице, несмотря на все его тщетные попытки ухватиться хоть за какую-нибудь стену, и наконец вышвырнуло с другого конца улицы, а он все это время продолжал крутить шарманку, безуспешно пытаясь служить своему грешному призванию. Но все это были редкие исключения, нарушающие наше тихое и мирное житье. Соседи мало общались друг с другом, хотя и соприкасались весьма тесно. Из окна спальни я мог отчетливо различить, какими яствами уставлен обеденный стол моего соседа, а он, в свою очередь, мог беспрепятственно разглядывать тайны моего туалета. Однако этот «низменный порок — любопытство» сдерживался неписаным законом, и свобода наших наблюдений ограничивалась своего рода примитивными рыцарскими условностями. Однажды изобретательный юнец навел театральный бинокль на хорошенькую девушку, спальня которой была центром внимания соседских глаз. В ответ на это все женатые и холостые мужчины, не обладавшие оперными биноклями, незамедлительно и единодушно осудили его за то, что он столь не по-джентльменски воспользовался своим преимуществом, и подобный случай никогда уже не повторялся.

Этим кратким очерком я хочу закончить перечень домов, из которых я съезжал. С тех пор я переменил еще много квартир, но все они мало чем отличались от тех трех, которые я пытался обрисовать в этих записках. Я остановился на них, как на самых типичных. Пусть читатель вспомнит мой опыт, прежде чем опрометчиво ринуться в тот или иной дом. Мой опыт обошелся мне недешево. В сорняке перемен я искал восхитительный цветок постоянства. Извозчики разбогатели за мой счет. Агенты по найму жилищ были чрезвычайно рады знакомству со мной. А домовладельцы вставали, издали приветствуя меня. Сила привычки до сих пор заставляет меня изучать все объявления на улицах,

а читая газеты, я прежде всего проглядываю отделы объявлений, и никакие военные корреспонденции не способны отвлечь от них мое внимание. Но, повторяю, пусть никто не подумает, что я научился обнаруживать с первого взгляда все скрытые недостатки жилища. Мои ковры приобретали самые разные очертания — от параллелепипеда до шестиугольника. Много мебели так и застряло на старых квартирах. Моим бренным членам приходилось довольствоваться голым полом, а иной раз неожиданно падать с неустойчивого ложа. Мне случалось обедать в гостиной и спать в кухне. Но результат всех моих испытаний и перенесенных бедствий сводится к тому, что сейчас я накануне еще *одного переселения*.

РЕБЯЧИЙ ПЕС

Поднимая глаза от бумаги, я вижу: на крыльце дома напротив лежит пес.

Случайный прохожий, человек сторонний, уж конечно, подумает, что пес стережет хозяйское крыльцо, что это, так сказать, пес с положением в обществе. Не раз я видел, как гости на ходу дружески похлопывали его, воображая, что отдают этим долг вежливости хозяину дома, а пес, утверждая их в этом заблуждении, лицемерно вилял хвостом и извивался всем телом. Но это с его стороны одно притворство и обман. У него нет ни хозяина, ни жилья. Он пария, отверженный; короче говоря, он — ребячий пес.

Далеко не всем известно, что эти слова означают: неисправимый и никому не нужный бродяга. Только тот, кому знакомы разбойничья природа и хищные повадки мальчишек в больших городах, может вполне оценить, что это значит. Для уважающей себя собаки это крайняя степень падения, ниже скатиться по общественной лестнице уже некуда. Поводырь слепца или спутник точильщика стоят много выше. Они по крайней мере обязаны хранить верность лишь одному хозяину.

Но ребячий пес — это раб всей окрестной детворы, им помыкает на улице любой самый крохотный пострелёнок, он служит верой и правдой не одному какому-то мальчишке, а всей ребячьей стихии. Он непременный участник всех мальчишеских затей и забав, и когда озорники очищают чужие сады и огороды, бьют стекла и

развлекаются прочими столь же невинными способами, он тут как тут. Таким образом, в нем, точно в зеркале, отражаются грехи множества хозяев, но у него нет ни единой добродетели, какими, возможно, обладает каждый из них в отдельности.

О вечном неудачнике, впавшем в крайнюю нищету, мы говорим, что у него «собачья жизнь», но жизнь ребячьего пса и того безрадостней. Он всегда замешан во все дурные проделки и проступки, и если ему не хватает житейского опыта, то он же оказывается и козлом отпущения. Меж тем при дележе добычи на его долю никогда ничего не остается.

Если нет под рукою лучшей потехи, его же сотоварищи принимаются за него; я видел даже, как он, покорно снося свой позор, бегал по улице и гремел привязанным к хвосту чайником.

Хвост и уши у него, по прихоти нечестивой шайки, к которой он принадлежит, давным-давно обрублены; а если в нем есть хоть искра воинственного пыла, его неизменно стравливают с псами куда больше и сильнее, и он бьется с ними не на жизнь, а на смерть. Его держат впроголодь, поминутно унижают; недобрая слава его приятелей бросает тень и на него, поэтому со стороны ему никто не посочувствует; раз уж он оказался на положении ребячьего пса, он бессилен изменить свою участь.

Нередко бессердечные сотоварищи продают его в рабство. Помню, однажды и ко мне постучались два юнца, из молодых да ранние, и предложили купить собаку, которую они привели на веревке. Запросили они на удивление недорого — если память мне не изменяет, всего только пятьдесят центов. Вообразив, что злосчастное животное лишь недавно попало в столь дурные руки, я хотел избавить его от грозящей ему постыдной доли ребячьего пса и уже готов был согласиться на эту сделку, да заметил, что пес и его хозяева понимающе переглянулись. Я тотчас прекратил все переговоры и отослал юных мошенников и их четвероногого сообщника с глаз долой.

Сомнений не было: мне привели старого, бывалого, закоренелого ребячьего пса, и, уж конечно, при первом удобном случае он сбежал бы от меня к своей

шайке. Позднее я узнал, что именно так он поступил, когда его приобрел один мой добросердечный, но неискушенный сосед; а всего лишь несколько дней тому назад я видел, как те же два невинных ангелочка пытались продать его в квартале по соседству, ибо на нашей улице они его продавали и выручали за него деньги уже раз пять или шесть.

Но, спросят меня, если жизнь ребячьего пса так несчастлива, почему же собаки избирают такую незавидную участь, почему не отказываются от столь мало приятной роли? Признаться, я и сам нередко ломал голову над этой загадкой. Долго я не мог понять, возникло ли это нечестивое сообщество как плод влияния собаки на мальчишку или наоборот и кто из них натура слабая и податливая. Ныне я убежден, что поначалу, вне всякого сомнения, пес подпал под влияние мальчишек — хитрые и злонамеренные озорники еще малым щенком совратили его со стези собачьей добродетели. Подрастая, он перенял повадки своих беспутных приятелей — и уже сам рад сбить их с пути; он охотно соблазняет невинных детей, сманивает их с уроков и, таким образом, вымещает на всем мальчишечьем народе собственное падение. За ним водятся и еще дурные привычки, и вот по всем этим причинам я почитаю своим долгом предостеречь родителей и воспитателей от опасности, которую навлекает на их чадо дружба с ребячьим псом.

Этот четвероногий злоумышленник ловок и хитер. Для начала он старается соблазнить юный ум вольной волей и резвыми шалостями—всем, что олицетворяет сам. Он подстерегает у калитки совсем еще крохотного малыша и начинает прыгать и скакать, стараясь выманить его за священные пределы садовой ограды. Он пускается в погоню за воображаемой дичью, несется во всю прыть, а потом, обежав целый квартал, возвращается, часто дыша, и всем своим видом словно говорит:

— Вот как это просто делается!

И если злосчастный младенец поддастся соблазну мелькнувшей перед его взором свободы и шагнет за калитку — все кончено, его нравственные устои рухнули. Отныне его душой и телом завладел ребячий пес. И сразу же коварная скотина вовлекает малыша в нечестивый круг своих беспутных хозяев.

Иной злополучный мальчонка совсем уж мал — тогда под конец он заблудится и попадет в полицию. Если я вижу, что посреди улицы одиноко стоит безмерно растерянный и изумленный мальчуган, я уж знаю: где-нибудь за углом притаился ребячий пес. Когда я читаю объявления о потерявшихся детях, к перечню примет я всегда мысленно прибавляю: «В последний раз его видели в обществе ребячьего пса».

И не одних только малышей сбивает с толку ребячий пес. Не раз я видел, как он терпеливо высматривает идущих в школу мальчиков постарше и разными хитроумными уловками подстрекает их сбежать с уроков. Не раз я видел, как он лежал у школьного порога, дожидаясь последнего звонка, чтобы сманить детей бог весть куда, подальше от дома.

Многих доверчивых мальчиков он завел на причалы и в гавани, прикидываясь искусным пловцом; других завлек на охоту, притворяясь умелым следопытом, но и это был только обман.

Бессовестный, лживый и лицемерный, он завоевал немало ребячьих сердец тем, что отзывался на любую кличку, он всюду следовал за ними по пятам, пока они не попадали в беду, и покидал их в ту самую минуту, когда они больше всего нуждались в его помощи. Не раз я видел, как он отнимал у маленького школьника завтрак, будто бы ненароком повалив беднягу наземь; и видел, как мальчишки постарше, в свою очередь, отнимали у него беззаконную добычу и сами ею пользовались. Сперва он был лишь орудием в их руках, но понемногу стал соучастником; жертва бессчетных обманов, он сам научился обманывать; в лучшем случае он просто бродяга, который служит бродягам.

И все же я с невольной жалостью смотрю, как в долгий летний день он лежит на чужом крыльце и наслаждается, урвав украдкой толику отдыха и покоя. Ведь по улицам уже разносится пронзительный свист, мальчишки расходятся из школы, метко брошенная искусной рукой картофелина бьет пса по голове, и вот он, вздрогнув, проснулся и от сладких грез возращается к суровой действительности, к горестному сознанию, что он ныне и вовеки — ребячий пес.

В ОЖИДАНИИ ПАРОХОДА

(Идиллия морской косы)

Примерно в часе езды от центра города есть мыс; его берега круто обрываются к морю, и внизу о прибрежные камни непрестанно расшибаются океанские волны. На песке стоит несколько коттеджей, словно выброшенные на берег только что отхлынувшей огромной волной. Маленькие клочки возделанной земли позади каждого домика огорожены бамбуком, обломками мачт и рей, принесенными морем досками. Каждый садик с несколькими кочнами капусты и ботвой репы скорее напоминает аквариум, из которого спустили воду, и вы бы нисколько не удивились, увидев, как где-нибудь по соседству окучивает картошку водяной или наяда доит моржа.

Когда-то неподалеку от поселка возвышался громадный семафорный столб, простиравший над горизонтом свои длинные руки. Впоследствии на его месте построили наблюдательную станцию, соединенную электрическим нервом с сердцем большого торгового города. Отсюда подавались сигналы подходившим судам, и отсюда же сообщали об их прибытии на биржу. И вот пока мы тут с вами сидим в ожидании парохода, позвольте мне рассказать вам одну историю.

Не так давно один простой рабочий, трудясь с утра до ночи на приисках, скопил денег и выписал к себе жену с двумя детьми. За месяц до ожидаемого прибытия парохода он приехал в Сан-Франциско: ведь сам он, чтобы добраться сюда с запада, пересек весь мате-

рик и мало что знал о кораблях, о море и о штормах. Он нашел в городе работу, а когда подошел срок, стал ежедневно наведываться в пароходную контору. Прошел месяц, а пароход не пришел. Не пришел он и еще через неделю, через две недели, через три, через месяц, через год...

Человек с грубым лицом, резкие черты которого смягчало выражение бесконечного терпения, сделавшийся постоянным посетителем пароходной конторы, исчез. Однажды к вечеру он появился на наблюдательной станции, как раз в ту минуту, когда заходящее солнце возвестило дежурному об окончании его трудового дня. Незнакомец стал расспрашивать о работе станции, и в его вопросах было столько детского простодушия, что дежурный задержался и принялся рассказывать ему обо всем. После того, как тайна сигнализации и телеграфной связи была ему открыта, посетитель задал еще один вопрос:

— А если пароход задерживается, сколько времени вы продолжаете его ждать?

Дежурный не мог сказать этого точно: все зависело от обстоятельств.

— Ну а все-таки — год?

— Да, год, а иногда бывало, что пароходы приходили через два года после того, как их уже никто не ждал.

Посетитель положил свою загрубевшую ладонь на руку собеседника и, поблагодарив его за «беспокойствие», вышел.

А пароход все не приходил. Прибывали стройные клиперы, проплывали в Золотые Ворота торговые суда с развевающимися по ветру флажками, и нередко окрестные холмы оглашались залпом, возвещавшим о прибытии океанского парохода. Тогда на палубах парохода во время выгрузки пассажиров можно было видеть это терпеливое все с тем же выражением покорности лицо, и только в глазах появился какой-то неестественный блеск и тревога. Быть может, он еще как-то смутно надеялся, что те, кого он ждал, все еще могли приехать с одним из этих пароходов — пересечь это неведомое и непонятное пространство не одним, так другим путем. Но он порасспросил капитанов и матросов; и эта последняя надежда тоже исчезла. Когда человек с изнуренным тревогой лицом и горящими глазами снова появился на наблюда-

тельной станции, дежурный оказался слишком занят и не мог уделить времени, чтобы отвечать на его несуразные вопросы. Тогда он ушел. В сумерках видели, что он отправился к скалам, там он просидел всю ночь, вперив взор в море.

Когда он окончательно потерял рассудок — а доктора утверждали, что именно от этого глаза его сделались такими горящими и тревожными,— за ним стал присматривать один мастер, знавший про его горе. Потакая его прихоти, ему позволяли приходить по ночам на станцию и сидеть до утра, поджидая пароход, на котором ехали «она и дети». Он был уверен, что пароход непременно придет ночью. Эта вера и еще сознание того, что он сменяет уставшего за день работника станции, доставляли ему удовлетворение. Каждую ночь он приходил сменять дежурного.

Прошло два года. Корабли приходили и уходили. Он провожал отправляющиеся в дальнее плавание суда и встречал их по возвращении. Его знали только те, кто часто бывал в этом уединенном уголке. И когда он исчез со своего обычного наблюдательного поста, прошел день или два, прежде чем его хватились. Однажды в воскресенье группа гуляющих карабкалась по скалам; их внимание привлек лай собаки, бежавшей впереди. Подойдя ближе, они увидели лежащего на камнях бедно одетого человека: он был мертв. В его кармане нашли кое-какие бумаги, главным образом вырезки из разных газет с описаниями давних мореходных происшествий; лицо его было обращено к далекому морю.

РАЗВАЛИНЫ САН-ФРАНЦИСКО

В конце девятнадцатого столетия Сан-Франциско в результате землетрясения был полностью разрушен и исчез с лица земли. Хотя очевидно, что все побережье должно было испытать подземный толчок, катастрофа имела узколокальный характер, и даже городок Окленд остался цел и невредим. Знаменитый немецкий геолог Шваппельфюрт, пытаясь объяснить это поразительное явление, утверждает, что «существуют вещи, которые земля не приемлет». К подобному заявлению следует отнестись с некоторой осторожностью, поскольку оно выходит из сферы компетенции геологической науки.

Историки расходятся в установлении точной даты катастрофы. Небезызвестный новозеландец Тулу Криш, привлекший к себе внимание ученого мира замечательными гипотезами относительно развалин собора Святого Павла, которые можно видеть с Лондонского моста, полагает, что землетрясение произошло в лето господне 1880-е. А так как доподлинно известно, что основание города относится к 1850 году, то приходится только поражаться, что к моменту катастрофы, то есть всего только за тридцать лет, город разросся и достиг столь огромных размеров. Но мы отнюдь не собираемся оспаривать предположений пользующегося заслуженной славой философа-маори. Нас интересуют раскопки, которые производятся в настоящее время по распоряжению гавайского правительства на месте исчезнувшего города.

Всем известно, каким образом был обнаружен город. В течение многих лет залив Сан-Франциско славился своими превосходными устрицами. Утверждают, что в один прекрасный день землечерпалка извлекла огромный колокол, причем было установлено, что это колокол со здания муниципалитета, вслед за чем был обнаружен и его купол. Местом этим сейчас же заинтересовалось правительство. Залив Сан-Франциско был немедленно осушен с помощью сифонов новейшего изобретения, и глубоко погруженный в грязь город после многовекового погребения вновь увидел свет. Здания муниципалитета, почтамта, монетного двора и таможни были опознаны очень быстро по огромным откормленным полипам, облепившим их стены. Вскоре после этого был обнаружен первый скелет, принадлежащий биржевому маклеру; предполагают, что его положение в верхней страте наносного слоя, так близко к поверхности, объясняется его поразительной способностью вздувать акции, которыми он запасся, пытаясь спастись. В верхней страте было также найдено много скелетов женщин, окруженных своеобразными металлическими сетками или клетями, которые, очевидно, принято было носить в ту эпоху. Алексис фон Паффер в своей превосходной работе, посвященной раскопкам Сан-Франциско, утверждает, что несчастные создания оказались в верхней страте благодаря этим металлическим каркасам, растягивавшим их юбки на манер парашютов, что и не позволило пострадавшим погрузиться вниз во время затопления города. И без того ужасное бедствие, когда вода хлынула в город, говорит фон Паффер, усугубил тот факт, что в эту трудную минуту произошло насильственное разделение полов. Поддерживаемая своеобразными платьями, женская половина населения в ту же минуту всплыла на поверхность. Какой же ужас должен был испытать тонущий супруг, когда, подняв взоры, он видел свою супругу, взмывающую кверху, и сознавал, что он лишен возможности погибнуть вместе с нею. К чести мужской половины населения следует сказать, что лишь немногие ее представители воспользовались легкостью поведения своих жен при случившихся ужасных обстоятельствах. Был найден только один скелет, держащийся за лодыжки другого,— смерть настигла

их, когда они оба прокладывали себе путь в высшие сферы.

В течение многих лет Калифорния испытывала легкие подземные толчки, в большей или меньшей степени ощутимые, но все же недостаточные, чтобы возбудить беспокойство. Может быть, завладевшая жителями всепоглощающая страсть к золоту — металлу, считавшемуся, судя по всему, особенно ценным в те времена и практически служившему средством денежного обмена,— сделала жителей Сан-Франциско беспечными во всех других отношениях. Все указывает на то, что бедствие оказалось совершенно непредвиденным.

Вот как красноречиво повествует об этом Шваппельфюрт:

«Утро, в которое разразилась чудовищная катастрофа, застало, по-видимому, вечно неугомонную толпу делателей золота за обычными каждодневными занятиями. Пышно и богато разодетые женщины фланировали по улицам и жеманно потупляли глаза в ответ на почтительные приветствия франтов, изящно приподнимавших свои необыкновенные цилиндрические головные уборы, образец которых и поныне хранится в музее в Гонолулу. Биржевые маклеры толпились у своих храмов. Торговцы раскладывали товары. Праздные молодые люди, или *подонки*,— термин, каковым обозначались представители привилегированного аристократического сословия, которые не должны были трудиться и из числа которых избирались по большей части правящие органы,— торчали на перекрестках или в дверях капищ, где совершались возлияния, и равнодушно разглядывали гуляющих. Вдруг город содрогнулся от первого слабого толчка. Кипучая жизнь этого неугомонного микрокосма сразу замерла. Торговец, выставлявший товар, дабы показать его лицом, остановился, и бойкое словцо профессионального зазывалы замерло у него на устах. Стакан, подносимый к губам в злачном заведении, задержался на полдороге; гуляющие на улицах остановились как вкопанные. Следующий толчок — и город начал опускаться; несколько заядлых пьяниц еще успели осушить свои стаканы. Люди толпой хлынули на улицы, с ужасом чувствуя, что земля уходит у них из-под ног, но все еще не понимая размеров бедствия. Воды залива сначала отхлынули от эпицентра

катаклизма, образовав нечто вроде воронки, края которой возвышались над городом на несколько тысяч футов. Еще один толчок — и вода опустилась до прежнего уровня. Воды залива плавно сомкнулись над городом, оставив его на глубине девяти тысяч футов; на месте города колыхалась спокойная тихоокеанская зыбь».

«Как ни страшна была катастрофа, — пишет в заключение Шваппельфюрт,— для людей, оказавшихся ее непосредственными жертвами, нельзя не поражаться ее классическому совершенству, стройному разделению на три законченных периода и редчайшему сочетанию глубины замысла с безупречностью исполнения!»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПО КВИТАНЦИИ

Так как после создания нового Благотворительного общества улицы очищены от нищих и профессиональное нищенство сулит перейти в разряд забытых ремесел, я попытался — в защиту репутации этой благородной профессии — припомнить иные черты и свойства отдельных известных мне членов этой корпорации, которых мне так недостает. Я сознаюсь, что к этому меня побуждает скорбь об упадке этой профессии, ибо я убежден, что лицезрение нужды — притворной или истинной — служит к совершенствованию человеческого рода точно так же, как вымышленные перипетии драмы облагораживают душу, хотя мы прекрасно знаем, что актеры живут выдуманной жизнью. Я, пожалуй, могу со всей откровенностью признаться, что вознаградить мошенника, искусно замаскированного и великолепно играющего роль, побуждает меня то же чувство, которое заставляет меня потратить доллар, дабы лицезреть притворные треволнения бедняги Триплета в исполнении Чарлза Уитли. Ни в том, ни в другом случае меня не беспокоит обман. Моя монета служит наградой за убедительную игру; а моральную ответственность я возлагаю на исполнителя.

Основной тип нищего, который я оплакиваю и который исчез бесследно, вероятно, знаком многим читателям. Это смуглая, черноглазая, чуждого племени женщина с хилым ребенком на руках. Младенец представлял собой особенно интересный патологической феномен: на лице его уже проступала гиппократова маска, и у вас не было никаких сомнений в том, что он не протянет и нескольких часов, а вместе с тем он оставался неизменным в течение всех трех лет, что я встречал эту женщину.

Женщина никогда не просила милостыни. Она всегда молчала. Ее появление было безмолвно, таинственно и неожиданно. Мольба ее выражалась только в драматической позе с младенцем у груди да иной раз еще в протянутой руке и выразительном взгляде. Обычно она стояла в моих дверях, безмолвная и терпеливая, и, если я ее не замечал, она пыталась привлечь мое внимание легким покашливанием младенца, на которого, как я всегда догадывался, возлагалась определенная роль в этой маленькой пантомиме и который обычно подчинялся какому-то тайному знаку материнской руки. Отказывать в милостыне, ссылаться на занятость или притворяться, что я ее не замечаю, было бесполезно. Женщина не двигалась с места, ее поза говорила о скрытой способности выдержать все и о таком опыте долготерпения, которые всегда внушали мне благоговение и убеждали в бесполезности каких бы то ни было попыток от нее отделаться. Ее глаза, укоризненно устремленные на меня, со всей прямотой говорили: «Ну что ж, продолжайте заниматься сочинительством притворных чувств и страстей, расписывайте вымышленные страдания ваших бестелесных героев, плетите паутину вашей изощренной философии, но только взгляните сюда, сэр: вот где истинная нужда! Вот где подлинное страдание!» Признаюсь, что такой искусный подход действовал на меня безотказно. После трехминутной осады крепость обычно сдавалась на ее милость без единого выстрела с той и с другой стороны. Она брала мое подаяние и исчезала так же безмолвно и таинственно, как и появлялась. Счастье мое, что она не сознавала своей власти надо мной. Пойми эта ужасная женщина свою истинную силу, я, пожалуй, залез бы в неоплатные долги или подделал бы чек, лишь бы избавиться от ее гнетущего присутствия. Я не уверен, что меня поймут, но я не способен выразить мою мысль яснее: дело в том, что, когда эта женщина обращалась к вам при посторонних, вы читали в ее глазах непоколебимую уверенность в вашей личной ответственности за ее нужду; и, хотя это неизменно порождало в вас смешанное чувство нелепости и ужаса, на зрителей оно действовало подавляюще. И вот, так как она уже месяц не появлялась, я думаю, что она нашла прибежище в сан-францисском Благотворительном обществе, ибо

я не представляю себе такого милосердия, хотя бы и пользующегося надежной защитой солидных чеков и проницательных чиновников, которое устояло бы перед ее молчаливым укором. Я бы охотно наведался в Благотворительное общество, и навел бы справки о ней, и постарался бы узнать, поправляется ли или умер ее младенец, но я боюсь, что она взглянет на меня с таким безмолвным упреком, настолько бесспорно лично обращенным ко мне, что Общество немедленно поручит ее мне, под мою персональную ответственность.

Другим, наиболее знакомым мне типом нищего была продавщица печатных баллад. Ее товар был такой устаревший, никчемный и неходкий, что он никого не мог ввести в обман относительно истинных целей поставщицы, столь прозрачно прикрывавшей свое попрошайничество— по примеру иных более самолюбивых представителей этой профессии — предложением некоего эквивалента за подачку. Эту нищенку, престарелую женщину в порыжевшем чепце, я невольно, в злую для себя минуту, сам посадил себе на шею. В нашу первую с ней встречу, рассеянно листая баллады, я наткнулся на шедевр, озаглавленный «Пламенный зуав», и был потрясен поистине патриотической и чисто американской манерой, с которой «зуав» в различных стансах рифмовался со словами «удав», «рукав», «неправ» и «канав». Но как только я, обрадованный, приобрел эту поэму, мне стало очевидно, что мой поступок был неверно истолкован бедняжкой, которая с этой минуты не переставала меня преследовать. Может быть, за всю свою горемычную жизнь ей ни разу не удалось продать ни одной баллады. И после этой первой и единственной сделки она усмотрела во мне Покупателя, придавшего новый, высший, смысл всей ее деятельности. С тех пор она стала регулярно наведываться ко мне, с доверительным видом шепча: «Еще одну песенку сегодня!»—словно ее товар был предметом первой необходимости. Я ни разу не купил больше ни одной баллады, но это обстоятельство уже не могло подорвать ее веры в мой литературный вкус, и мое воздержание от столь захватывающей духовной пищи, по-видимому, объяснялось ею благородным нежеланием лишать этой пищи других алчущих. В конце концов она исчезла в недрах сан-

французского Благотворительного общества, которое, надо думать, надлежащим образом использовало ее дарования. Это была маленькая старушка кельтского происхождения, предрасположенная к меланхолии, и уж ей-то, во всяком случае, пришлось прочитать бо́льшую часть своих баллад — это было ясно написано на ее лице.

Еще я помню одного очень жалкого попрошайку, три-четыре года тщетно пытавшегося вернуться к родным в Иллинойс, где его ждали любящие друзья и богадельня со всеми удобствами. Для достижения этого благополучия бедняге, по его словам, недоставало всего лишь нескольких долларов, чтобы набрать сумму, нужную для покупки палубного билета. Эти-то последние доллары достать было, как видно, труднее всего, и он — воплощенная противоположность Летучего Голландца, вечно носящегося по морям,— оставался навеки прикованным к суше. Он был из пионеров 49-го года и к тому же только что пострадал от взрыва в туннеле или от обвала в шахте, не помню в точности. Ввиду этого печального происшествия он вынужден был промывать свои раны и ушибы обильным количеством виски, и от этого, как он сообщил мне, его одежда и исторгала столь сладостный аромат.

Хотя описываемый мною тип и принадлежал к тому же классу попрошаек, его все же не следует смешивать ни со злополучным старателем, который не мог без денежного вспомоществования вернуться на свои разработки, ни с несчастным итальянцем, печально протягивавшим вам замусоленный и не поддающийся прочтению документ на иностранном языке, в котором, при вашем незнании языка, вы не могли не заподозрить простого прейскуранта. Этот прейскурант должен был, по мнению его предъявителя, служить оправданием его попрошайничества. Когда какой-нибудь иностранец протягивал мне, ни слова не говоря, развернутый лист бумаги, носящий явные следы хранения под сальной подкладкой картуза, я всегда отделывался четвертаком, избавив себя от расспросов. С другой стороны, я замечал, что такие документы, писанные по-нашему, всегда отличались превосходной каллиграфией, множеством орфографических ошибок и были, казалось, выполнены одной и той же рукой. Может быть, нищета накладывает свой особый и всегда неизменный отпечаток на почерк?

Далее я вспоминаю несколько случайных, менее типичных нищих. Так в один прекрасный день самого необычайного вида ирландец в помятой шляпе, с подбитым глазом и прочими следами излишеств угостил меня жалостной историей о своих бедах и нуждах и в заключение протянул руку за обычной подачкой. Я сказал ему довольно сурово, что, дай я ему десять центов, он их непременно пропьет. «Будьте спокойны! Вы правы — так оно и будет!» — ни минуты не задумываясь, ответил он. А я был так ошеломлен столь неожиданной откровенностью, что тотчас же вручил ему десятипенсовик. Правдивость, повидимому, пережила в нем крушение всех прочих добродетелей; он напился, но, добросовестно следуя чувству долга, через несколько часов предстал передо мной в пьяном виде, чтобы засвидетельствовать, что никак не злоупотребил моей щедростью.

Несмотря на своеобразие всех памятных мне типов нищих, я не могу не сожалеть об исчезновении профессионального нищенства. Возможно, что это чувство вызвано пережитками детства, видевшего в каждом бродяге переодетого принца или волшебника и окружавшего представителей этой профессии ореолом таинственности и сказки. А может быть, это чувство подсказывается нам убеждением, что старомодный способ подавать милостыню и непосредственное соприкосновение с нуждой равно благотворны как для подающего, так и для принимающего и что всякий посредник между ними подобен перчатке, правда, предохраняющей от заразы, но зато лишающей прикосновения нашей руки тепла и сердечности.

Что говорить, откупиться от скучной и беспокойной необходимости разбираться в нуждах страждущего ближнего куда как приятно. Но когда я держу в руках эти квитанции, которые передало мне, как издателю, санфранцисское Благотворительное общество,— хотя надо иметь некоторое воображение, чтобы представить себе, что здравомыслящий нищий обратится за помощью в редакцию газеты,— когда я держу в руках эти пустые бумажки, я невольно думаю: а что, если в роковой для нас час, когда будет решаться наша судьба и мы будем взывать к Неизреченному Милосердию, нам тоже придется удовлетвориться квитанцией?

С БАЛКОНА

Каменный балкончик, служащий, по общепринятому ошибочному мнению, необходимой принадлежностью моего окна, был для меня долгое время источником любопытнейших наблюдений. Правда, превратности нашего климата не позволяли мне пользоваться этим балкончиком чаще чем один или два раза в полгода, что не меняет, однако, моего признательного отношения к этой нелепой архитектурной детали. Он для меня все равно что полотняное пальто и нанковые брюки для здешнего обитателя, еще не утратившего памяти о восточном летнем пекле, роскошь про запас, на всякий возможный, но маловероятный случай. Поэтому меня и не удивляет неизменное пристрастие санфранцисканцев к упомянутому архитектурному излишеству, несмотря на то, что климатические условия совершенно не позволяют им пользоваться. Балкончики, на которых никто не сидит, веранды, по которым никто не прогуливается,—все это знаки робкого заискивания перед суровым климатом, который мы пытаемся умилостивить нашей показной доверчивостью. Несообразность этих балкончиков очевидна во всякое время суток, однако наиболее разительна она в сумерки, когда солнце уже зашло, когда сгущается темень, а суровость климата словно находит звуковое выражение в пронзительных, визгливых фабричных гудках. Представьте себе при этом фигуры двух-трех пешеходов, явно запаздывающих домой к обеду и предвкушающих в неприветливом воздухе суровый прием, который ждет их дома, и вы получите одну из привычных картин, наблюдаемых

с моего балкона, из-за которых само его существование и кажется таким бессмысленным.

Но вот, когда я облокачиваюсь на его перила нынешним вечером — редким по своей мягкости и красоте, и смотрю, как красный пепел моей сигары падает в темную бездну подо мной, я готов взять назад все сказанное в предыдущем абзаце, хотя мне и стоило труда выразить свою неприязнь, соблюдая правила вежливости. Я могу даже различить мелодию, доносящуюся с балкона музея на Маркет-стрит, хотя нужно заметить, что, как общее правило, музыка, исполняемая в музеях, зоологических парках и цирках, в высшей степени вульгарна и груба — может быть, вследствие связи с животным миром. Так мягок и ласков нынешний вечер, что я разглядел, как мелькают легкие платья на соседних балконах и верандах, а парадные окна гостиных в иных аристократических особняках по соседству, всегда строго охраняющие неприкосновенность жизни дома, сегодня вечером вдруг доверчиво распахнулись. Несколько парочек неторопливо прогуливаются по улице, и их шаги звучат приятной противоположностью обычному резкому деловому топоту, к которому вынуждают промозглые вечера даже самых нежных любовников. Погода сегодня так хороша, что лучам луны открылись не только ставни и парадные двери, но и более укромные уголки. Чепчик и шляпа, проследовавшие несколько минут тому назад под моим балконом, подозрительно близко склонились друг к другу. Я заключаю из этого, что мой друг издатель получит для ближайшего выпуска массу стихов, содержащих упоминание о луне с привычным эпитетом «серебряная», и что авторам виршей придется прибегнуть к слову «прекрасный» не по какой иной причине, как только ввиду явной нужды в рифме к словам «месяц ясный». Если же ни он, ни она не владеют искусством стихотворного самовыражения, теснящиеся в груди чувства найдут выход позже, за роялем, в романсах «Я брожу по берегу ручья» или «Под луной серебрится озерная гладь».

Не успел я вымолвить свое пророчество, как тут же удостоился услышать его исполнение. Из окошка номера тысяча двести седьмого гремит и сотрясает сонный туманный воздух одуряющая баллада «Все о тебе», а из тысяча сто одиннадцатого разливается в сопровождении

хора «Вечерняя звезда». Я подозреваю, что в предельной бессмысленности припева этого романса содержится нечто особенно прельщающее молодежь. Такие простые слова, как «вечерняя звезда», повторяются с идиотской интонацией несметное число раз, а эпитет «небе-есная» употребляется с упорным, надоедливым постоянством, просто слышать тошно. Во время пауз низкий голос выводит сольную партию: «Звез-з-да! Звез-з-да!» Сидя на балконе, я рисую себе обладателя этого голоса в виде невысокого коренастого молодого человека, с выражением суровой сдержанности стоящего несколько поодаль от прочих певцов, сложившего руки за спиной под фалдами. Иногда он наклоняется вперед, тщетно пытаясь прочесть ноты через плечо кого-нибудь из стоящих перед ним певцов, но прежде чем начать свою партию, неизменно возвращается к прежней строгой позе. Тем временем небесные объекты этого массового хорового поклонения смотрят вниз на землю со спокойствием и терпением, доступными им только ввиду их неизмеримой удаленности.

Замечу, что не одни только звезды служат темой этих «проклятых напевов». Одна весьма распространенная песня целиком обязана своей популярностью содержащемуся в ней малозначительному сообщению: «Не забыть мне тебя, матушка»,— которое уныло и настойчиво повторяется до тех пор, пока слушатели этому не поверят. Если и лучшие певческие ансамбли не свободны от всех этих пороков, то песни, исполняемые на иностранном языке, по крайней мере не оскорбляют здравый смысл ввиду непонятности текста.

Здесь следует в скобках заметить, что вышеприведенные песни можно найти среди нот на пюпитре любой девицы, только что выпущенной из пансиона. В той же папке можно найти и «Старое кресло» и «Дровосек, пощади это деревце!». К последней песне обычно прибегают, чтобы почтить присутствие дядюшки или холостяка-брата, просьбы которых, как правило, предваряются неодобрительной критикой оперной музыки и голословным замечанием: «Мы деградируем, сэр, деградируем» и «Никакая музыка не сравнится со старинными песнями». Иногда этот дядюшка или братец соглашается дребезжащим баритоном вторить «нашей крошке Мэри» и по вышеизложенным причинам особенно форсирует голос

в местах, отмеченных ремаркой «повторить». Когда песня, успешному исполнению которой он в значительной мере содействовал, спета, дядюшка скажет вам, что вы можете рассуждать о своих «ариях» и «романсах», но «что до музыки, сэр, что до музыки...», и тут он начнет что-то невнятно брюзжать. Вот такие-то джентльмены предлагают, чтобы повеселить и развлечь гостей, игры вроде «Китая» или «Бриттл-стрит».

Есть несколько любительских песенок весьма задиристого и игривого свойства, очень распространенных в здешних краях, от исполнения которых молодые девицы смущенно и робко отказываются. Среди таких песен выделяется некое любовное произведение, начинающееся словами «Во сне я бредил»; если этот романс исполняется молодой особой бойко и с соответствующей мимикой, он может довести томного воздыхателя до предельного безумия. Такие романсы по вкусу видавшим виды молодчикам, не скупящимся на «охи» и «ахи» в самых выразительных пассажах и завоевывающим притягательную репутацию разочарованных сумасбродов и скептиков.

Но вот музыка, послужившая поводом к вышеприведенным заметкам в скобках, смолкла, а вместе с нею стихло и вызванное ею легкое раздражение. Последняя песня пропета, рояль закрыт, в окнах погасли огни, и белые платья упорхнули с крылечек и балконов. Тишину нарушают только громыхание и стук экипажей, возвращающихся из театра и из концерта. Становящиеся в этот час более резкими, чем в любое иное время суток, эти звуки можно бы назвать ночными голосами города, и я представляю себе, что в людях, родившихся и выросших в городе, они вызывают приятные урбанистические ассоциации. Круглая полная луна постепенно затмевает городские огни, и они — один за другим — словно растворяются, поглощенные величественным светилом. На небе вырисовываются дальние холмы Миссии, но в один из прорывов между ними, как лазутчик, уже крадется морской туман, который только ждет благоприятного морского ветра, чтобы прорваться и приступом взять осажденный город. Несказанный покой спустился на город. В магическом свете луны дроболитейная башня утрачивает свои характерные очертания и истинные масштабы и превращается в минарет, с вышки которого незримый муэд-

зин призывает правоверных к молитве: «Молитва слаще сна!» Но что это? Шарканье ног по мостовой, приглушенный говор, бренчание каких-то дьявольских инструментов, откашливание и сморкание. О боги! Не может быть! Увы так оно и есть, так и есть — певцы серенад!

Вечное вам проклятие! Да постигнут вас все муки чистилища, Вильям, граф Пуату, Жирар де Борейль, Арно де Марвейль, Бертран де Борн и все прародители жонглеров, трубадуров, провансальцев, миннезингеров, менестрелей и прочих исполнителей любовных канцон и серенад! Да будут рассеяны и изничтожены все ваши современные потомки, изготовители любовных баллад, насаждающие в девятнадцатом веке бесстыдства средних веков и беспокоящие всю погруженную в сон округу срамными признаниями в любви и россказнями о беспутных подвигах! Падение и безнравственность идут по стопам этих жалких подражателей варварского века, когда имена честных женщин трепались по всем дорогам и ни одна скромная девушка не могла появиться на ристалище или турнире без того, чтобы перечень ее добродетелей, выкрикиваемый астматическими герольдами и подхваченный воплями наемных бандитов, не сделался достоянием толпы. Пропади они пропадом, все эти фальшивые горланы! К черту! Неужто ж я, без промаха бьющий по сладострастным котам, исполняющим у меня на крыше любовные песни, не попаду вон в того расфуфыренного воздыхателя?! А ну-ка! Вот апельсин, завалявшийся с прошлой недели. Он подгнил, он утратил сочность и аромат! А ну! Ловкий бросок! Попал, попал! Не найдется ли где у меня сослужившего службу сапога с отскочившим каблуком и с зияющей сбоку дырой? Вот бы пригодился! Послужи-ка еще разок! Так их! Так! Разбежались. Ну, теперь уйду на покой и я.

НАБЛЮДЕНИЯ ПЕШЕХОДА

Время, которое я трачу на дорогу до службы и обратно, всегда доставляло мне своеобразное духовное наслаждение, не доступное мне ни в какое иное время суток. Быть может, моцион способствует веселой игре воображения; но скорее всего дело тут в приятном сознании, что в эти минуты я свободен от каких бы то ни было серьезных занятий. Я пробовал как-то по примеру перипатетиков использовать это время для упражнений в арифметике — весьма полезной науке, в которой я всегда с прискорбием сознавал и сознаю свою отсталость,— но из арифметических выкладок на ходу ничего путного не вышло, и я отказался от этой мысли. Я убежден, что человечество лишает себя многих радостей из-за беспокойного стремления употребить с пользой минуты досуга, которые, к несчастью, подобно «лучезарным часам» доктора Уотса, таят в себе неисчерпаемые возможности праздничных развлечений. Мне от души жаль тех безумцев, которые даже в автомобилях, в омнибусах и на речных переправах не расстаются с учебниками и отказывают себе в столь необходимом отдыхе. Природа требует, чтобы истощенная земля оставалась на какое-то время под паром и не засевалась злаками, но покрывалась цветами. Попробуйте отказать ей в таком отдыхе, и это отразится на следующем же урожае. Надеюсь, после предложенной мной аксиомы читатель извинит меня, что я позволю себе злоупотребить его вниманием и поделиться несколькими наблюдениями, сделанными во время прогулок.

Мало кто из жителей Калифорнии умеет ходить не торопясь и с достоинством. Деловая привычка и общепринятый стиль, распространяющийся даже на людей, не обремененных никакими делами, сообщают каждому пешеходу беспокойную озабоченность. Лица, составляющие исключение из общего правила, впадают в другую крайность: они так подчеркнуто и нарочито прикидываются бездельниками, что это в такой же мере изобличает внутреннюю тревогу и беспокойство. Вы всегда отличите лениво плетущегося игрока от прогуливающегося джентльмена. Даже биржевых маклеров, которые толкутся в полдень на Монтгомери-стрит, вы ни за что не примете за праздных гуляк. Вглядитесь в них пристальнее, и под маской равнодушия вы увидите настороженность и озабоченность. Они не просто отдыхают. Они замерли в ожидании. Мне кажется, ничто так не характерно для нашей своеобразной цивилизации во всех ее проявлениях, как это полное отсутствие покоя. Калифорнийцы не могут оставаться спокойными даже тогда, когда они развлекаются. Если они идут в мюзик-холл, в оперу или на лекцию, они непременно спешат; возвращаются домой — опять спешат; стараясь сэкономить время, они предпочитают ездить на трамвае вместо того, чтобы ходить пешком. Сравните темп уличного движения на Бродвее в Нью-Йорке и на Монтгомери-стрит в Сан-Франциско, и вы поймете разницу между восточной и западной цивилизацией.

Многим пешеходам свойственна одна привычка, которую несколько лет тому назад высмеял «Панч»; однако она сумела устоять перед его едкой сатирой. Мы все имеем обыкновение останавливать на улице наших знакомых, и, хотя нам решительно нечего им сказать, мы непременно должны задержать их только для того, чтобы выразить им свою любовь. Джонс встречает своего приятеля Смита, которого всего несколько часов тому назад он встретил примерно в том же самом месте. За это время ни со Смитом, ни с Джонсом не произошло и не могло произойти ничего особенно важного, что могло бы, по мнению Джонса, заинтересовать связанного с ним дружескими узами Смита, и наоборот. Однако оба приятеля останавливаются и с жаром жмут друг другу руки.

— Ну как дела? — спрашивает Смит, надеясь в глубине души, а вдруг и в самом деле что-нибудь произошло.

— Да ничего, помаленьку,— весьма красноречиво отвечает Джонс, чувствуя, что Смит, как и он сам, не может сообщить ровно ничего сколько-нибудь интересного.

Следует пауза, во время которой оба джентльмена смотрят друг на друга с идиотской улыбкой и продолжают с чувством пожимать друг другу руки. Смит шумно втягивает воздух и смотрит направо; Джонс глубоко вздыхает и поворачивает голову налево. Следует еще одна пауза, оба джентльмена прекращают рукопожатие и беспокойно озираются кругом в надежде найти какой-нибудь предлог, чтобы расстаться. Наконец, Смит (сделав вид, что он забыл о чем-то чрезвычайно важном) восклицает:

— Ну, мне пора!

Красноречивый Джонс, как эхо, вторит Смиту. И джентльмены расстаются, чтобы на следующий же день возобновить эту жалкую комедию. Из сострадания к читателю я сократил в вышеупомянутом эпизоде обычное прощание, которое в умелых руках может затянуться до таких пределов, что вспомнить страшно. Оказываясь участником подобных ужасающих сцен, я иной раз так долго мялся, тщетно стараясь найти какие-то естественные слова (в то время как мой знакомый, судя по всему, тоже отыскивал в самых отдаленных извилинах своего мозга подходящую фразу), что наконец начинал мысленно призывать полисмена, который растащил бы нас в разные стороны. Поразительно, какую силу может в некоторых экстренных случаях приобрести самая бездарная острота, чтобы разъединить сцепившиеся частицы. Помню, я однажды надрывался от смеха (пусть даже истерического) из-за какой-то шутки, под прикрытием которой мне удалось ускользнуть, а через пять минут не мог найти в ней ничего смешного. Я бы советовал всякому, попавшему в столь же тягостное положение, не дожидаться, пока ему поневоле придется отступить перед наехавшим фургоном, но прибегнуть к шутке. Может пригодиться иностранное словечко; я не раз замечал, что «о-ревер», произнесенное вместо au revoir[1], помогало,

[1] До свидания *(Франц.)*.

как и следовало ожидать, разлучить двух любящих друзей.

Но все это мелочи в сравнении с мерзкой привычкой некоторых безмозглых юнцов. Как-то один модный франт радостно остановил меня на улице и принялся с жаром о чем-то разглагольствовать, пока (совершенно неожиданно) мимо нас не прошла некая молодая красотка, с которой мой приятель не преминул раскланяться. По странной случайности это повторялось несколько раз за одну неделю, и всякий раз, после того как молодая леди исчезала из его поля зрения, красноречие моего приятеля мгновенно истощалось. Тут я догадался, что этот гнусный обманщик использовал меня в качестве выгодного фона, дабы в наилучшем ракурсе представить свою фигуру перед проходящей красавицей. Когда я раскусил его трюк, я, конечно, постарался с помощью разных маневров держать своего приятеля спиной к молодой леди, чтобы самому раскланиваться с ней. С той поры я заметил, что у желторотых юнцов это самый распространенный обычай: завидев в нескольких шагах от себя леди, с которой они хотят раскланяться и обратить на себя ее внимание, они с наигранным радушием обращаются к идущему навстречу приятелю, и тогда эта леди при всем желании не может их не заметить. Чаще всего их можно встретить на углу Калифорния- и Монтгомери-стрит. Их легко узнать по тем взглядам, которые они бросают по сторонам во время самого, казалось бы, оживленного разговора.

Кстати, о взглядах: по тому, как люди при встрече отвечают на ваш взгляд или, наоборот, избегают его, можно судить об их происхождении и воспитании. Как мудро отметил непререкаемый авторитет, у джентльмена «неизменно спокойные глаза». Он смотрит на все немного свысока, что указывает на сознание собственной силы и способность к самосозерцанию. Однако это не мешает ему спокойно и с достоинством наблюдать окружающих. Он не стремится обратить на себя ваше внимание, но и не избегает этого. Люди самодовольные и снобы всегда стремятся привлечь к себе внимание, скромные и застенчивые, наоборот, стараются держаться в тени. Есть люди, которые, встретив ваш взгляд, мгновенно меняют выражение лица, что независимо от того, выиг-

рывает оно от этого или нет, свидетельствует о неприятной скрытности, словно они боятся как-нибудь выдать себя. Другие, напротив, смотрят вам в глаза без надобности вызывающе, и это обнаруживает в них не меньшую замкнутость. Выражение глаз обычно подтверждается и всем обликом. Характер людей очень ярко проявляется в том, как они держатся на улице. Вы можете быть уверены, что человек, идущий по самой середине тротуара, невозмутимо расталкивая других, возьмет последний кусок пирога за табльдотом и преспокойно выльет в свою чашку все сливки, прежде чем передать вам сливочник. Человек, который пробирается бочком, держась поближе к стенке и выбирая самые гладкие плиты, так же ухитряется идти и по жизни, уклоняясь от всех трудных обязанностей. Растяпа, который путается у вас под ногами и не дает пройти, так что идущий сзади налетает на вас и этим нарушается мерное движение пешеходов на расстоянии целого квартала, способен произвести такой же сумбур в общественной и политической жизни. Любопытный, сознательно замедляющий шаг, чтобы подслушать тайну, которую вы доверяете своему спутнику, уж наверное, проводит немало времени у замочных скважин и, быть может, даже вскрывает письма жены. Человек, громко разговаривающий на улице в расчете на то, чтобы его все слышали, при всех обстоятельствах оказывается эгоцентриком. Если язвительное замечание Яго «беспечный ветрогон во сне всегда выбалтывает тайны» в какой-то мере справедливо, что сказать о мечтателях, которые грезят на ходу? Я не раз встречал людей, смаковавших по дороге, как лакомый кусочек, речь, которую они готовились произнести, или вслух расточавших проклятия. Помню, передо мной шел вполне порядочный на вид пожилой джентльмен и вдруг ни с того ни с сего как буркнет: «Будь я проклят!»,— после чего он как ни в чем не бывало зашагал дальше. То ли вдруг он усомнился в спасении своей души, то ли просто был на что-то зол — я так никогда и не узнал.

До сих пор я не решался касаться, да и сейчас не знаю, стоит ли упоминать о представительницах прекрасного, не допускающего критики пола, чьи блестящие глазки и неумолкаемый лепет не могли не смягчить строгости моих суждений перипатетика. Не знаю, как мне вы-

разить свою благодарность за то, что мне позволено было лицезреть их яркие платья и очаровательные шляпки, которые, словно весенние цветы и птицы, оживили мрачные стогны города; и да не в обиду им будь сказано, удовольствие это нисколько не умалилось оттого, что для меня по крайней мере оно оказалось бесплатным. Я нередко шел по пятам — даже, боюсь, порой, наступая на пятки,— за какой-нибудь самой очаровательной представительницей прекрасного пола. И если когда-нибудь я недоумевал, почему две юные леди, завидев молодого человека приятной наружности, принимаются оживленно болтать; если мне иногда казалось, что зеркальные свойства всех больших магазинных витрин увеличивают интерес к выставленным в них шелкам и коленкорам; если такие же недостойные джентльмена подозрения мелькали у меня в связи с окнами дагерротипных мастерских; если порой мне случалось неправильно истолковать молниеносный взгляд, каким обмениваются при встрече две хорошенькие женщины — откровенный, испытующий и проницательный,— не то, что наши страстные взоры,— если когда-нибудь я позволил себе подобную или еще какую-нибудь дерзость, то только для того, чтобы признать свое полное поражение и несостоятельность и убедиться, что мужская мысль, превысившая в своем парении кольца Сатурна и сферы Сириуса, становится в тупик перед непроницаемой броней стального каркаса, в который одета самая простая школьница.

ПРОВОДЫ ПАРОХОДА

Я часто думал, глядя, как отчаливают пароходы, что благодаря одному остроумному калифорнийскому обычаю расставание с близкими — событие, в общем тягостное и печальное,— превращается у нас в приятное развлечение. Калифорнийцы обычно прощаются долго, со вкусом, до самой последней минуты, пока не уберут сходни. И прощальные речи, наставления, клятвы и объятия, ранящие нам сердце в интимной обстановке, вынесенные на широкую публику, оборачиваются увеселительным зрелищем. Воздушный поцелуй, посланный с палубы в разношерстную толпу на пристани, уже не терзает нашу душу мрачными предчувствиями, подсказанными нашим глупым суеверием. Залпы нежных эпитетов, сотрясающие и пароход и пристань, даже достигая цели, теряют силу и не причиняют глубоких ран. Муж, в последний раз заключающий в объятия жену на пороге каюты, оказываясь в центре внимания восторженных посторонних зрителей, недоступен никаким чувствам, кроме страха показаться смешным. Мать, расстающаяся со своим отпрыском, явит собой здесь образ римской матроны; возлюбленный, прощающийся со своей подругой, постесняется омрачить всеобщее веселье какими-нибудь безумными выходками. И то сказать, эта система растягивания прощальной процедуры вплоть до самого последнего момента, это перенесение интимных чувств и жестов на публичные подмостки — достойная черта стоического и демо-

кратического народа, она единит нас со смиреннейшим угольщиком или разносчиком апельсинов. Это возврат к той классической жизни на площади и смешению событий общественного и домашнего обихода, которые так облагораживают прямоносого афинянина.

Желание непременно присутствовать при отплытии парохода — страсть, настолько общераспространенная, что, помимо обычной толпы бездельников, к отплытию сходятся люди, пользующиеся предлогом самого дальнего знакомства с отъезжающим, лишь бы только принять участие в провожании. Люди, которых вы почти забыли, люди, с которыми вас только что познакомили, вдруг неожиданно предстают перед вами и с жаром жмут вам руки. Друг, с которым вы давным-давно рассорились, в последнюю минуту великодушно прощает вас, лишь бы только воспользоваться случаем и посмотреть, как вы будете «отчаливать». Ваш сапожник, ваш портной, ваш шляпник, к счастью, без каких бы то ни было задних мыслей и не сопровождаемые официальными лицами, с восторгом наносят вам прощальный визит. Вы с неимоверным трудом за минуту до подъема сходней отрываете своих родных и знакомых от чемоданов, на которых они прочно уселись, отчего вас неотступно преследовал смутный страх, что они так и уедут вместе с вами и вам же еще, чего доброго, придется оплачивать их проезд. Ваши друзья появляются в самое неподходящее время и в самом неожиданном месте, свисая с тросов, карабкаясь на лопасти колес и с опасностью для жизни протискиваясь в каютные иллюминаторы. Вы нервничаете, вы подавлены навалившейся на вас новой ответственностью.

Будь вы даже иностранцем, вы и то нашли бы на борту любое число людей, всегда готовых сердечно распрощаться с вами,— стоит им только мигнуть. Мой приятель уверял меня, что однажды долго и нежно прощался с целой компанией лично ему совершенно незнакомых джентльменов, которые, видимо, ошиблись каютой. Люди эти, имевшие явно какое-то отношение к пожарной команде, сойдя на пристань и обсудив между собой прощальную церемонию, видимо, остались недовольны моим другом и подвергли его меткой бомбардировке апельсинами и яблоками, сопровождавшейся отборной бранью,

загнав в чрезвычайно неудобную и рискованную позицию на штормовом мостике.

Но ведь и в самом деле всякому интересно осмотреть унылую, сырую каморку с крашеными деревянными стенами, которых не может оживить никакая обстановка и никакое общество, где наш друг обречен провести столько скучных дней и беспокойных ночей. Вид этих каморок, одному богу известно почему именуемых каютами, впрочем, разве что по созвучию со словом уют, полон незабываемых ассоциаций для каждого калифорнийца, не утратившего памяти о мрачных минутах, когда — во исполнение премудрого закона природы о вытеснении всяческого зла горшим — тоска по дому теряет остроту, сменяемая муками морской болезни и когда под конец оба эти страдания переходят в один мучительный кошмар, подробности которого он теперь узнает вокруг себя. Вот палубное кресло, которое мы выволакивали на воздух и в котором погружались в дремоту над замусленными страницами романа; вот сама палуба, к полудню покрывающаяся кожурой апельсинов и бананов, а по утрам — сырая от протирки соленой водой; сетка фальшборта, пахнущая в тропиках дегтем и усеянная с наружной стороны кристалликами соли; отвратительная смесь запахов — провизии из кладовых и масла из машинного отделения; молодая дама, с которой мы завели флирт и делились последним романом, испещренным заметками на полях; наш собственный сожитель; наша собственная скука; пассажир, никогда не страдающий морской болезнью; два главных события дня — завтрак и обед — и тоскливый перерыв между ними; человек, придирающийся к каждому пустяку и к каждому пассажиру; молодая дама, ведущая дневник; газета, издаваемая на борту, испещренная милыми шуточками и остротами, ни в каком ином месте не выносимыми; молодая дама, исполняющая романсы; богатый пассажир; пассажир — душа общества...

(Присядем на минутку и дадим успокоиться волнению, вызванному всеми этими воспоминаниями и миазмами пароходной атмосферы. Что же сталось с нашими пароходными знакомцами? Почему судьба их нам так безразлична? Почему мы так равнодушно покидаем их, забывая даже их имена и лица? Почему, если мы и узна-

ем их при встрече, то смотрим на них подозрительно, опасаясь, что за время совместного путешествия мы могли с обычной дорожной откровенностью поведать им наши тайные слабости или доверить не предназначавшиеся посторонним секреты? А вдруг и в самом деле?.. Подумать страшно... Да к тому же пассажир — душа общества теперь совсем не так уж забавен. И мы слышали голоса получше, чем у дамы, которая так хорошо пела. Обаяние нашего попутчика на суше как-то поблекло; то же случилось и с нашей очаровательной молодой попутчицей, с которой мы вместе читали романы, ставшей ныне женой почтенного шахтовладельца из Вирджинии.)

...пассажир, который так много путешествовал и который на короткой ноге со всеми пароходными офицерами; сами эти пароходные офицеры, пока что скромные и сдержанные, а потом приобретающие безраздельную власть над нашими душой и телом... Все это памятно чуть не каждому калифорнийцу, а теперь станет воспоминанием и для нашего друга. Впрочем, он, как и все мы, понимает, что опыт предыдущего путешествия пойдет ему на пользу, и напускает на себя вид самоуверенного бывалого мореплавателя.

Когда вы снова оказываетесь на пристани и слышите выкрики разносчика фруктов, вас удивляет, что принято думать, будто печаль разлуки и неизведанные опасности пути можно и должно скрашивать апельсинами и яблоками, хотя бы и по разорительно низким ценам. Может быть, эти фрукты являют собой последние дары плодоносной земли в мгновение, когда путешественник вверяет свою жизнь бесплодной пучине океана? Лопасти колес уже пришли в движение, отданы концы, но какой-то отважный торговец яблоками, взобравшись на груду чьих-то тюков, завершает сделку с одним из палубных пассажиров — и на расстоянии двадцати футов между покупателем и продавцом заканчивает в этих затруднительных условиях поставку яблок на борт. Взмахи платков, поспешные распоряжения, заглушаемые напутственными благословениями,— и пароход отчаливает. И вот, когда, повернувшись лицом к городу, вы торопливо окинете взглядом расходящуюся толпу, вы увидите на всех лицах отражение вашей собственной печали и прочитаете

разгадку одной из тайн, повергающих в недоумение калифорнийских патриотов. Перед вами раскинулся Сан-Франциско с его резкими, угловатыми очертаниями, с его свежими, бодрящими ветрами, его ярким, слепящим солнцем, его суетливой, энергичной толпой; а за вашей спиной медленно меркнет память об изменчивом, но родном небе; о резких сменах жары и холода, укрощаемых и смягчаемых человеком, об идиллических пейзажах, о близости и благости природы, об унаследованных добродетелях, об издавна проверенных традициях и обычаях, о старых друзьях и знакомых лицах — словом, о *доме!*

ЧЕРТ И МАКЛЕР

(Средневековая легенда)

Часы на колокольнях Сан-Франциско били десять. В эту минуту Черт, пролетавший над городом, спустился на крышу церкви возле перекрестка Буш и Монтгомери-стрит. Из этого явствует, что распространенное поверье, будто бы Черт недолюбливает церковные здания и исчезает, заслышав «Credo» или «Pater-noster» [1], давным-давно потеряло всякое основание. Современные скептики утверждают даже, будто бы он не прочь послушать проповедь, в особенности такую, в которой упоминается о нем и в которой до известной степени признаются его влияние и могущество.

Однако лично я склонен думать, что выбор такого места для отдыха зависел в значительной мере от его близости к людному перекрестку. Усевшись поудобнее, Черт занялся своей тростью, которая оказалась необыкновенного устройства удочкой, раздвигавшейся наподобие телескопа чуть ли не до бесконечности. Прицепив к ней лесу, он порылся в небольшом саквояже и, выбрав странного вида приманку, ловко закинул удочку в самую гущу живого потока, двигавшегося взад и вперед по Монтгомери-стрит.

Надо полагать, в тот вечер люди были настроены на добродетельный лад, а может быть, приманка показалась

[1] Католические молитвы.

им не слишком аппетитной. Напрасно Черт забрасывал удочку в водоворот перед зданием отеля «Оксиденталь» и водил ею взад и вперед в тени «Космополита»: за пять минут у него не клюнуло ни разу.

— Ай-ай,— сказал Черт,— что за чудеса, а ведь приманка самая ходкая! Будь это Бродвей или Бикон-стрит, на нее набросились бы целой стаей. Что ж, попробуем другую.

И, нацепив новую блесну из полного комплекта приманок, он изящным движением опять забросил удочку.

Несколько минут по всему казалось, что дело пойдет на лад. Леску все время дергало, рыбка брала приманку. Раза два наживку, по-видимому, заглотали и унесли в верхние этажи отелей, чтобы переварить на досуге. В такие минуты профессиональная ловкость, с какой Черт орудовал удочкой, привела бы в восторг самого Исаака Уолтона. Однако старания его не увенчались успехом: поклевка была, но добыча срывалась с крючка, и Черт вышел наконец из терпения:

— Слыхал я, каков народ в Сан-Франциско,— бормотал он.— Ну погоди, попадись только мне на удочку! — прибавил он злорадно, насаживая на крючок новую приманку.

На этот раз леску сильно задергало и завертело, и в конце концов, порядком натужившись, он вытащил на крышу церкви увесистого маклера фунтов на двести.

Жертва лежала, едва дыша, а Черт, как видно, нисколько не торопился снять ее с крючка; и, производя эту деликатную операцию, он не выказал той учтивости в манерах и ловкости в обращении, какими отличался обычно.

— Ну,— сказал он грубо, хватая маклера за пояс,— нечего хныкать и жаловаться. И не воображай, пожалуйста, что ты такая уж находка. Я был уверен,что поймаю тебя. Минутой позже, минутой раньше — не все ли равно!

— Не это меня огорчает, ваша милость,— захныкала несчастная жертва, дергая от боли головой,— а то, что я попался, как дурак, на такую пустяковую приманку. Что обо мне скажут там, внизу? Упустить то, что покрупнее, и попасться на такую дешевку,— прибавил он со стоном, глядя на муху, которую Черт заботливо расправ-

лял,— вот это самое— простите, ваша милость! — это меня и доконало!

— Да,— сказал Черт философически,— сколько мне ни попадалось, все твердят одно и то же; ты лучше скажи, с чего это вы стали так разборчивы. Вот одна из самых ходких моих приманок: доллар — зеленая спинка,— продолжал он, доставая из саквояжа изумрудного цвета насекомое.— Всегда считалось, что во время выборов она действует как нельзя верней, а теперь на нее ни разу не клюнуло. Быть может, вы с вашим проницательным умом, в котором не усомнится никто, вопреки этой маленькой неприятности,— прибавил Черт с изящным поклоном, вновь обретая свойственную ему учтивость,— объясните мне причину или предложите что-нибудь взамен.

Маклер с пренебрежительной улыбкой взглянул на содержимое саквояжа.

— Стара штука, ваша милость, все это давным-давно вышло из моды. Однако,— прибавил он, несколько оживляясь,— за известное вознаграждение я мог бы предложить кое-что — гм! — взамен этого хлама. Обещайте мне,— продолжал он деловито,— небольшой процент и кое-что наличными, и я к вашим услугам.

— Какие же ваши условия? — сказал Черт серьезно.

— Свобода и известный процент со всего, что вы поймаете,— и по рукам!

Черт задумчиво поглаживал хвост. Он был уверен, что маклер от него не уйдет,— риск был невелик.

— По рукам! — сказал он.

— Погодите минутку,— сказал хитрый маклер.— Это еще не все. Дайте мне вашу удочку и позвольте мне самому наживлять крючок. Это нужно делать умеючи. Даже и с таким опытом, как у вашей милости, можно ошибиться. Оставьте меня одного на полчаса, и если мои успехи вас не удовлетворят, я теряю свой капитал, то есть свободу.

Черт согласился на просьбу маклера и, отвесив ему поклон, исчез. Грациозно спустившись на Монтгомери-стрит, он завернул в магазин готового платья Мид и К° и, одевшись с головы до ног по моде, вышел оттуда, намереваясь весело провести время. Решившись забыть на время о своей профессии, он вмешался в поток человече-

ской жизни и со свойственной его натуре способностью веселиться без удержу развлекался этой суетой, толкотней и лихорадочной спешкой, находя в ней чисто эстетическое наслаждение, не омрачаемое деловыми заботами.

Что он делал в тот вечер, к рассказу не относится. Возвратимся к маклеру, которого мы оставили на крыше.

Уверившись, что Черт исчез, он осторожно вытянул из бокового кармана листок бумаги и нацепил его на крючок. Не успела удочка коснуться уличного потока, как маклер почувствовал, что у него клюет. Крючок был проглочен. Быстро вытащить жертву, снять ее с крючка и снова закинуть удочку было делом одной минуты. Опять клюнуло, и с тем же результатом. Клюнуло еще раз. И еще. Через несколько минут крыша была завалена трепещущими жертвами. Маклер и сам видел, что многие из них были его близкие друзья, а некоторые частенько посещали здание, на крыше которого очутились теперь в таком жалком положении. В том, что маклер ощущал немалое удовольствие, будучи орудием погибели своих коллег, не усомнится никто, мало-мальски знакомый с человеческой природой. Но тут удочку так дернуло, что маклеру пришлось пустить в ход всю свою силу и сноровку. Волшебная удочка сгибалась, словно хлыстик. Маклер держал ее, крепко упираясь ногами в зубцы карниза. Не раз удилище готово было вырваться у него из рук, но он снова и снова принимался вытаскивать туго натянутую лесу. Наконец, напрягая последние силы, он дотянул до крыши барахтавшуюся добычу. Словно вся преисподняя взвыла разом, когда маклер наконец вытянул к своим ногам самого Черта!

Они злобно уставились друг на друга. Маклер, должно быть, еще помнил, как неделикатно с ним обошлись, и не торопился вынуть крючок из челюсти своего врага. Покончив с крючком, маклер вежливо спросил Черта, доволен ли он. Сей джентльмен был погружен в созерцание приманки, которую только что вынул изо рта.

— Доволен и прощаю тебя,—сказал он в конце концов,— но как эта штука называется у вас на земле?

— Нагнитесь поближе,— ответил маклер, застегивая сюртук и собираясь откланяться. Черт подставил ухо.

— Это называется «спекуляция»!

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДРЕ ВИЦЕНТИО

(Сан-францисская легенда)

В одну прекрасную новогоднюю ночь лет сорок тому назад падре Вицентио, возвращаясь домой из миссии Долорес, медленно ехал по песчаному склону холма. Когда он взобрался на гребень холма над Миссионерской лощиной, его сияющую широкую физиономию можно было вполне перепутать с благосклонным ликом луны, восходящей над холмами: столь безмятежна была его улыбка и столь расплывчаты были его черты. Падре Вицентио был человек известный; его богослужения в миссии Сан-Хосе славились потоками истового красноречия и елея; его обожали простодушные туземцы, и влияние его личности на них было столь сильным, что даже дети их, как поговаривали, чудесным образом обретали внешнее сходство с ним.

Когда святой отец достиг самого пустынного отрезка дороги, он непроизвольно пришпорил своего мула, словно желая несколько ускорить торжественную поступь, которую послушное животное, сообразуясь с повадками хозяина, приобрело за долгую службу. Места эти пользовались дурной славой, в окрестностях городка не раз видели беглых матросов с китобойных судов, а в зарослях низкого дубняка, подступавших к самой дороге, вполне мог прятаться какой-нибудь отчаянный бродяга. Поговаривали также, что, кроме этих вполне материальных опасностей, сам дьявол, враждебность которого церкви хорошо известна, являлся по временам в округе в обличье призра-

ка некоего китобоя, нашедшего смерть во время веселой попойки от руки своего товарища, поскольку в руке этой был зажат китобойный гарпун. Многим приходилось видеть, как призрак этого несчастного моряка сидит на холме в сгущающихся сумерках, вооруженный излюбленным орудием китобоев и бухтой линя, и поглядывает, не идет ли по дороге какой-нибудь запоздалый путник, на котором он мог бы продемонстрировать свое мастерство. Рассказывали, что добрый отец Хосе-Мария из миссии Долорес дважды подвергался нападениям этого призрачного охотника — в первый раз, когда на возвратном пути из Сан-Франциско святой отец, задыхаясь от тяжелого подъема, достиг вершины холма, его вдруг оглушил вопль: «Кит на горизонте!»,—и гарпун, просвистев, вонзился в песок рядом с ним; а в другой раз гибель едва не настигла его, ибо дьявольский гарпун пронзил его серапе и с торжеством уволок на гору. Мнения относительно причин того особого внимания, которое дьявол оказывал отцу Хосе, резко разделились: одни говорили, что исключительное благочестие отца Хосе возбудило враждебность к нему нечистого, другие утверждали, что просто его склонность к ожирению сделала его в глазах китобоя-профессионала особо выгодной добычей.

Но даже если бы это привидение падре Вицентио счел возможным презреть как еретическую выдумку, все равно оставался еще демонический пастух-вакеро Консепсьон, чья ужасная риата была не менее грозной, чем гарпун китобоя. Рассказывают, что этот Консепсьон еще в бытность свою живым человеком, когда он был знаменитым пастухом и укротителем мустангов, погнался однажды за дьяволом, принявшим обличье быстроногого пегого жеребчика, и проскакал от Сан-Луиса-Обиспо до самого Сан-Франциско; он поклялся, что не прекратит погони, покуда не настигнет нечистого в образе лошади. Дьявол разрушил его планы, приняв свое собственное обличье, но не освободил несчастного вакеро от столь опрометчиво данной клятвы. По сию пору рыщет Консепсьон по побережью на своем призрачном коне и коротает долгие, унылые ночи этой вечной бесплодной погони, набрасывая лассо на случайных спутников и волоча их за своим необъезженным мустангом, а потом их находят полузадушенными где-нибудь у обочины.

Поэтому падре Вицентио внимательно вслушивался, не загремят ли вдали копыта страшного скакуна. Однако ничья поступь не нарушала тишину ночи, и даже копыта его собственного мула беззвучно увязали в песке. По временам заяц шарахался в сторону или перепелка взлетала с дороги, скрываясь в кустах. Печальный крик зуйка доносился с соседнего болота так тихо и прерывисто, что казался скорее воспоминанием о чем-то минувшем, чем отзвуком настоящего. И тут еще в довершение неприятностей по холмам пополз обычный для этих мест густой туман с моря и начал обволакивать священника. Пытаясь уклониться от его холодных объятий, падре Вицентио по неосторожности вогнал грубые шпоры в бока своего мула в ту самую минуту, когда животное это стало в нерешительности переминаться с ноги на ногу у края уступа. Возмутилось ли бедное животное этой новой выходкой хозяина или оно уже раньше предавалось невеселым мыслям о том, как тяжка доля аббатоносца,— выяснить не удалось; известно только, что мул вдруг взбрыкнул копытами, перекинув через голову достойного священнослужителя, а завершив это деяние, хладнокровно опустился на колени и кувыркнулся вслед за седоком.

Все дальше и дальше катился падре, а за ним и его неверный мул. К счастью, ложбина, в которую скатилась эта пара, была просто песчаной ямой, и песок, осев под их тяжестью, наполовину засыпал их, не причинив им, впрочем, никакого вреда. Несколько мгновений бедняга священник лежал недвижно, тщетно пытаясь собрать воедино свои разбросанные падением мысли. Вдруг чья-то рука непочтительно схватила его за ворот и, грубо тряхнув, помогла прийти в чувство. С трудом утвердившись наконец на ногах, падре обнаружил, что стоит лицом к лицу с незнакомцем.

В дымке заволакивавшего его тумана и в обстановке, которую вряд ли можно было назвать благоприятной, незнакомец являл собой фигуру неизъяснимо таинственную и похож был скорее всего на разбойника. Его длинный морской плащ опускался до пят, а поля его шляпы скрывали черты лица, и лишь глаза его сверкали в темных глазницах. С глубоким стоном падре выскользнул

из цепких рук незнакомца и снова опустился на мягкий песок.

— Черт подери! — сказал незнакомец сердито.— Да что, в этой жирной туше костей осталось не больше, чем в медузе, что ли? А ну, дай мне руку! Ра-зом взяли! — И он снова вытянул священника в вертикальное положение.— Ну, а теперь кто ты такой?

Падре невольно подумалось, что это ему пристало бы первым задать подобный вопрос; однако с какой-то странной смесью гордости и страха он начал перечислять свои разнообразные титулы, которые отнюдь не были ни короткими, ни малочисленными и сами по себе вполне могли бы внушить почтительный ужас простому смертному. Однако незнакомец весьма невежливо прервал это церемонное представление, заявив, что именно священника он и разыскивает, и предложил падре немедленно следовать за ним, ибо некое лицо, находящееся у порога смерти, испытывает нужду в духовном утешении.

— Подумать только,— сказал незнакомец,— споткнулся как раз о того, кого искал! Клянусь Бахусом! Вот это удача! А ну поторапливайся за мной, а то у нас времени нет!

И, как бывает с людьми уступчивыми, решительный и властный тон незнакомца совершенно подавил все сомнения, какие могли возникнуть при этом у доброго падре. К тому же он не смел отказать в духовном утешении умирающему; впрочем, дело было не только в этом; просьба эта несколько рассеяла суеверный страх, который уже начал внушать ему таинственный незнакомец. Однако, последовав за ним на почтительном расстоянии, падре не мог не отметить, похолодев от ужаса, что шаги незнакомца не оставляют следов на песке и что фигура его по временам словно бы растворяется, исчезая, в тумане, так что святому отцу приходилось останавливаться, ожидая, пока незнакомец не возникнет снова. Во время одной из таких остановок падре услышал, как вдали прозвонил колокол миссии, возвещавший полночь. И едва последний удар колокола замер вдали, перезвон этот подхватило и повторило множество колоколов, больших и маленьких, и воздух зазвенел от боя часов и курантов на многочисленных колокольнях. Старый свя-

щенник испуганно вскрикнул, и тогда незнакомец сердито спросил его, в чем дело.

— Колокола! Разве ты не слышал их звона? — задыхаясь, спросил падре Вицентио.

— Тьфу ты! — сказал незнакомец.— У тебя от этого падения и не такие склянки в ушах зазвенеть могут. Пошли!

Падре был даже рад принять объяснение, данное ему столь непочтительным образом. Однако ему было суждено стать свидетелем еще одного удивительного явления.

Когда они достигли вершины возвышенности, именуемой сейчас Русским холмом, у отца Вицентио снова вырвался изумленный возглас. Незнакомец обернулся к нему с нетерпеливым жестом, однако падре даже не замечал его сейчас. Зрелище, поразившее его взор, могло бы целиком завладеть вниманием и более впечатлительного человека, чем он. Туман еще не достиг подножия холма, и оттого видно было, что долины и склоны холмов у побережья усеяны сверкающими огнями большого города.

— Гляди! — воскликнул падре, простирая руку над раскинувшимися внизу долинами.— Гляди, разве ты не видишь прекрасных площадей и сверкающих огнями проспектов могучего столичного города? Разве ты не видишь, что там, внизу, точно еще одно звездное небо?

— Кончай травить, почтенный отец, и брось эти глупости,— сказал незнакомец, таща за собой ошеломленного священника.— Может, это звезды, которые вышибло из твоей пустой башки, когда ты упал. Будь другом, кончай поскорей со всеми этими видениями да сказками, а то время не терпит.

Падре, не говоря больше ни слова, покорно поплелся вслед своему провожатому. Он спускался теперь за незнакомцем по северному склону холма и в скором времени услышал шум прибоя, и вот они уже ступили на более плотный песок побережья. Незнакомец вдруг остановился, и падре увидел совсем рядом приготовленную для них лодку. Повинуясь приказу своего провожатого, падре вступил на корму лодки и, приглядевшись, заметил, что гребцы в лодке какой-то зыбкой бестелесностью неуловимо напоминают его провожатого; сходство это произвело на него еще более удручающее впечатление, когда падре обнаружил, что весла их, опускаясь на воду, не

производят никаких звуков. Незнакомец, сев на руль, бесшумно правил, а между тем туман, стлавшийся над морем и смыкавшийся вокруг лодки, словно бы отгородил их глухой стеной от грубых шумов окружающего мира. Они все дальше продвигались в эту сокровенную область, и падре напряженно вслушивался, желая уловить скрежет блоков и скрип снастей, однако ни звука не прорывалось сквозь плотную пелену безмолвия среди теплого дыхания клубящегося тумана. И только одно происшествие нарушило монотонность этого загадочного плавания. Одноглазый гребец, сидевший перед священником, поймав на себе взгляд этого набожного мужа, немедля ответил на него столь страшной улыбкой и подмигнул единственным своим глазом с такой сатанинской многозначительностью, что падре не удержался от благочестивого восклицания, отчего этот морской Коклес[1] завязил весло и повалился навзничь, высоко вскинув ноги и стукнувшись головой о дно лодки. Однако даже это происшествие не нарушило мрачной серьезности остальных членов ужасной команды.

Когда, по наблюдению падре, прошло около десяти минут, над носом их лодки вдруг проступили высокие очертания корабля. Не успел еще предостерегающий крик сорваться с губ священника и сам он не успел еще приготовиться к неизбежному столкновению, как лодка мягко и бесшумно прошла через дощатый корабельный борт, и святой отец обнаружил, что стоит на жилой палубе какого-то судна, напоминавшего старинную каравеллу. И шлюпка и команда ее исчезли. Остался только таинственный провожатый. При свете раскачивавшегося фонаря падре увидел, что он стоит возле висячей матросской койки, на которой, должно быть, и лежал тот умирающий, по чьему вызову падре был доставлен сюда столь таинственным способом. И когда падре, повинуясь знаку своего провожатого, подошел к ложу страдальца, тот с трудом поднял веки, а затем обратился к нему:

— Ты видишь перед собой, преподобный отец, беззащитного смертного, терзаемого не только последними страданиями плоти, но также сломленного и истерзанно-

[1] Гораций Коклес — полумифический римский герой, кривой на один глаз.

го жгучими страданиями души. Не имеет значения, когда и как стал я таким, каким ты видишь меня сейчас. Достанет и того, что жизнь моя была нечестивой и грешной и что единственная моя надежда на отпущение грехов в том, чтобы передать тебе тайну, которая очень важна для святой церкви, для ее мощи, богатства и власти над этими берегами. Однако раскрыть эту тайну и заслужить вечное спасение я могу при одном условии. Мне осталось жить всего пять минут. И за это время я должен получить последнее помазание святой церкви.

— А твоя тайна? — спросил святой отец.

— Она будет раскрыта потом,— ответил умирающий.— Начинай же, время мое истекает. Я жду помазания и отпущения грехов.

Падре колебался.

— А не мог бы ты сначала раскрыть свою тайну?

— Это невозможно! — сказал умирающий, и падре показалось, что в глазах его на мгновение сверкнуло торжество. Потом дыхание умирающего стало слабеть, и он нетерпеливо воскликнул:— Дай мне отпущение! Дай!

— Скажи мне хотя бы, с чем связана твоя тайна? — спросил падре вкрадчиво.

— Сначала отпусти мне грехи,— сказал умирающий.

Но падре все еще колебался и все препирался с умирающим, как вдруг прозвонил судовой колокол, незнакомец улыбнулся насмешливой, торжествующей улыбкой, и старинное судно вдруг рассыпалось на куски, канув в морскую бездну, поглотившую сразу и умирающего, и священника, и таинственного незнакомца.

Падре пришел в себя только к полудню и обнаружил, что сам он лежит в небольшой лощинке среди Миссионерских холмов, а его верный мул щиплет скудную траву в нескольких шагах от него. Падре кое-как добрался до дому, однако мудро воздержался от разглашения событий, изложенных выше, и только после того, как на побережье было найдено золото, рассказал он эту правдивую историю, утверждая при этом, будто тайна, которая была столь таинственным образом вырвана у него из рук, заключалась в том, что беглые матросы из экспедиции сэра Фрэнсиса Дрэйка обнаружили здесь золото еще задолго до наших дней.

ПРАВЫЙ ГЛАЗ КОМЕНДАНТА

Год господен 1797-й покидал калифорнийское побережье в порывах штормового юго-западного ветра. И хотя крохотный залив Сан-Карлос был прикрыт благословенным мысом Святой Троицы, волны кипели и неистовствовали; клочья пены трепыхались на обращенной к морю стене миссионерского сада; в воздухе носились песчинки и пузырьки пены, и, когда сеньор команданте Херменегильдо Сальватиерра выглянул из амбразуры оконца, проделанного в толстой стене караульного помещения крепости, он ощутил, как соленое дыхание далекого океана обжигает его иссушенные табаком щеки, возвращая им румянец.

Комендант, как уже было сказано выше, задумчиво глядел из окошка караульного помещения. Может, перед ним, как на гарнизонном смотру, проходили события уходящего года; но, как и в гарнизоне крепости, смотр этот не мог быть особенно долгим: истекший год, подобно тем, что предшествовали ему, был беден событиями — дни мелькали в приятной монотонности нехитрых обязанностей, не нарушаемой никакими событиями или трудностями. С регулярностью повторявшиеся пиршества и святые праздники, раз в полгода курьер из Сан-Диего, изредка заходившие сюда транспортные суда и еще реже иностранные — все это не нарушало раз заведенного порядка патриархальной жизни. И поскольку в жизни этой не было никаких достижений, не было в ней, естественно, и никаких неудач. Обильные урожаи и упорный труд удовлетворяли нужды крепости и миссии. Обита-

тели их были оторваны от всемирной семьи наций, и оттого войны, потрясавшие мир, затрагивали их меньше, чем прошлогоднее землетрясение; борьба, принесшая освобождение другим колониям на том краю континента, ничего не говорила их сердцу и уму. Короче говоря, крепость эта вкушала еще блаженство той славной поры, которую можно было бы назвать бабьим летом калифорнийской истории и которую по сию пору так часто окружают поэтическим ореолом,— тихой, праздной осени испанского владычества, вслед за которой вторглись штормовые зимние ветры мексиканской борьбы за независимость и будоражащая весна американского завоевания.

Комендант отвернулся от окна и подошел к огню, ярко пылавшему в глубине тесного камина, смахивавшего на простую печь. Стопа тетрадей с работами учеников здешней школы лежала на столе. Он, с отеческим любопытством пробегая глазами страницы, читал благозвучные округленные фразы библейского текста — первые благочестивые каракули учеников этой размещенной в крепости школы,— и с губ его срывались слова одобрения:

— «Авимелех отобрал ее у Авраама...» Ага, прекрасно, малышка! «Иаков послал за своим братом...» Клянусь телом Христовым, этот твой округлый нажим, Пакита, просто великолепен; надо непременно показать его губернатору!

Пелена законной гордости затуманила левый глаз коменданта; правый — увы! — еще двадцать лет назад был навеки закрыт индейской стрелой. Комендант осторожно потер глаз рукавом своей кожаной куртки и продолжал:

— «Сии суть сыны Измаиловы...»

Он запнулся, потому что во дворе послышались шаги, потом кто-то ступил на порог, и в комнате появился незнакомец. Верный инстинкту старого вояки, комендант, едва взглянув на пришельца, тут же бросил быстрый взгляд на стену, где висела или должна была висеть его надежная толедская шпага. Но шпаги на месте не оказалось, и, припомнив, что в последний раз он видел, как на верном клинке его катался верхом по галерее маленький сынишка лепешницы Батисты, комендант залил-

ся краской стыда и ограничился тем, что грозно взглянул на пришельца.

Однако незнакомец держался хоть, может быть, и без должного почтения, но вполне миролюбиво. Он был невооружен, одет в обыкновенный брезентовый плащ и высокие морские сапоги. Если не считать резкого запаха трески, в человеке этом мало что казалось примечательным. На своем скорее беглом, нежели изящном или правильном испанском языке он сообщил коменданту, что его зовут Пелег Скаддер. Он капитан шхуны «Генерал Корт», приписанной к порту Сэйлем, штат Массачусетс, и отправлявшейся с торговыми целями в южные моря, но загнанной непогодой в залив Сан-Карлос. Капитан просил разрешения укрыться от штормового ветра под прикрытием мыса Святой Троицы, только и всего. Вода ему не нужна, потому что он пополнил запасы в Бодеге. Он знает, как строго соблюдаются в испанском порту все правила в отношении иностранных судов, и он ничем не нарушит строгой дисциплины и доброго порядка, поддерживаемых в поселении. В голосе его прозвучала легкая нотка сарказма, когда он бросил взгляд на пустынный плац и на распахнутые, никем не охраняемые ворота крепости. Сказать по правде, часовой Фелипе Гомес благоразумно удалился под крышу еще в самом начале шторма и теперь крепко спал в коридоре.

Комендант пребывал в нерешительности. Портовые правила были строгими, но он привык здесь полагаться на полноту собственной власти, к тому же, кроме старого приказа, выпущенного десять лет назад в связи с заходом американского судна «Колумбия», не было прецедентов, которые могли бы подсказать ему тот или иной образ действий. Шторм разыгрался не на шутку, и чувство человечности побуждало его удовлетворить просьбу незнакомца. Воздавая должное коменданту, следует здесь отметить, что тот факт, что он все равно не смог бы практически настоять на своем запрете, никак не влиял сейчас на его решение. Он так же не задумываясь отказал бы в праве на стоянку семидесятичетырехпушечному военному фрегату, как сейчас любезно дал это право торговой шхуне янки. Он предупредил лишь, что не должно быть никакой связи между берегом и бортом судна. «Что же касается вас, сеньор капитан,— продолжал он,— то прошу

вас быть моим гостем. Эта крепость в вашем распоряжении на все время, пока вы соблаговолите почтить ее своим присутствием». И в соответствии с правилами старомодной учтивости он сделал вид, что собирается покинуть караульное помещение.

Капитан Пелег Скаддер усмехнулся при мысли об этом полуразвалившемся форте, о двух заплесневевших медных пушках, отлитых в Маниле еще столетие назад, о беспомощном, никудышном гарнизоне. У него мелькнула шальная мысль поймать коменданта на слове и воспользоваться его приглашением, мысль, рожденная многолетней коммерсантской привычкой, но, вовремя сообразив, сколь малые выгоды это ему сулит, он от нее отказался. Он лишь набрал немалую толику хозяйского табаку, пока комендант со всей серьезностью пододвигал к огню скамью и в честь гостя развязывал черный шелковый платок, стягивавший его седеющее чело.

Не подобает мне, серьезному повествователю, пишущему хронику наиболее знаменательных событий истории, излагать здесь то, что происходило между Сальватиеррой и его гостем. Я уже упомянул, что капитан Пелег Скаддер весьма бегло говорил по-испански, под влиянием же сильных напитков, поставленных на стол гостеприимным хозяином, он стал еще более разговорчив. Только представьте себе человека с запасом всяческих сведений за двадцать лет! Комендант впервые узнал от него об утрате Великобританией своих колоний; о французской революции; о великом Наполеоне, чьи подвиги Пелег, по всей вероятности, представил в более выгодном свете, нежели это понравилось бы вышестоящим начальникам коменданта Сальватиерры. Когда же пришла очередь Пелегу задавать вопросы, комендант ответил ему любезностью на любезность. Так мало-помалу капитан обогатил себя знанием всех сплетен из жизни миссии и крепости, всех незначительных событий этого идиллического существования, событий, о которых толкуют здесь за кружкой пива,— удачно ли идет обращение язычников в истинную веру или каковы успехи учеников здешней школы; капитан поинтересовался даже, при каких обстоятельствах сеньор комендант потерял правый глаз! Говорят, что на этой стадии разговора капитан Пелег из-

влек на свет божий всякие мелкие безделушки и новомодные пустяки и даже заставил своего гостеприимного хозяина принять некоторые из них в дар. Утверждают также, что под вредоносным влиянием капитана Пелега, а также нескольких стаканов доброго «агуардиенте» комендант отчасти предал забвению правила достоинства, приличествующие его высокому положению, в результате чего начал декламировать разные возвышенные испанские стихи и даже пропищал своим высоким голоском несколько мадригалов и всяких там безбожных канцонет любовного свойства; и в большинстве из них предметом была некая «малютка», владевшая его, коменданта, «и сердцем и душой». Все эти утверждения, недостойные, по всей вероятности, даже внимания серьезного летописца, должны быть восприняты с большой осторожностью и переданы здесь нами лишь как самые обыкновенные слухи. Что же касается того, будто комендант вытащил далее свой платок и, желая посвятить гостя в тайны искусства танца «семби какуа», стал недостойным образом прыгать и скакать по караульному помещению, то это утверждение можно считать опровергнутым. Для целей нашего повествования достаточно будет сообщить, что в полночь Пелег помог хозяину добраться до постели, многократно заверив его в своей вечной дружбе, после чего покинул крепость и поспешил на борт своего судна «Генерал Корт», ибо шторм уже стих. Когда наступил рассвет, судно скрылось за горизонтом.

Нам неизвестно, выполнил ли Пелег свой уговор с комендантом. Говорят, что святые отцы из миссии в ту ночь слышали на плацу громкое пение, словно язычники гнусаво распевали свои безбожные псалмы; говорят также, что запах соленой трески несколько дней неистребимо держался в поселении; что с полдюжины жестких мускатных орехов, негодных ни в приправу, ни на семя, оказались вдруг у жены пекаря и что несколько бушелей деревянных сапожных гвоздей, по виду предательски похожих на овес, но совершенно непригодных для фуражных надобностей, были обнаружены в конюшне у кузнеца. Однако, вспомнив, что торговцы-янки свято держат свое слово, что правила в испанских фортах очень строги и что соотечественники мои славятся тем, что никогда

не злоупотребляют доверчивостью людей простодушных, читатель, без сомнения, тут же отвергнет все вышеизложенное.

Рокот барабанов, возвещавших наступление первого дня 1798 года, пробудил коменданта. Солнце ярко светило на небе, и шторм прекратился. Комендант сел на постели и по привычке потер левый глаз. И тут, вспомнив о событиях предшествующей ночи, он вскочил со своего ложа и подбежал к окну. Судна в бухте не было. Словно пораженный вдруг внезапной мыслью, комендант снова протер теперь уже оба глаза. Не удовлетворившись этим, он прибег также к металлическому зеркалу, висевшему возле распятия. Нет, он не ошибался: на лице у него был отлично виден и второй глаз — правый,— совершенно такой же, как левый, если не считать его непригодности для целей созерцания.

Какова бы ни была истинная природа этого превращения, в Сан-Карлосе все считали, что произошло одно из тех редких чудес, ниспосылаемых свыше благочестивой католической пастве через посредство самого святого Карлоса в назидание язычникам. А то, что возлюбленный их комендант, земной защитник веры, был избран для этого проявления чудесной воли, казалось обитателям Сан-Карлоса вполне уместным и подобающим. Сам комендант воздерживался от объяснений; он не мог солгать — он не решался сказать правду. В конце концов если добрые люди Сан-Карлоса верят, что его правый глаз и впрямь обрел свою прежнюю силу, то благоразумно ли будет с его стороны рассеивать это заблуждение? Впервые в жизни комендант вступил на путь лицеприятия — впервые обратился к священному тексту, совратившему столь многих добрых, но неосмотрительных христиан, трактующему о том, чтобы «сделаться всем для всех». О несчастный Херменегильдо Сальватиерра!

И мало-помалу зловещий слух пополз по маленькому поселению! Правый глаз коменданта, хотя и был чудесного происхождения, оказывал губительное действие на тех, на кого был обращен. Ни один человек не мог встретить его взгляд, не моргая. Взгляд этот был холодным, твердым, безжалостным и неотступным. Больше того, он словно был наделен ужасающей пронзительностью — способностью проникать насквозь в невысказанные мыс-

ли того, на кого он был обращен. Солдаты гарнизона повиновались скорее этому взгляду, а не голосу своего коменданта и отвечали на его немой вопрос, а не на то, что выражал комендант словами. Слуги не могли избежать его неослабного, но всегда бесстрастного внимания. Ученики здешней школы ставили кляксы в тетрадях под его ужасающим надзором, а бедняжка Пакита, краса и гордость школы, утрачивала свой знаменитый нажим, когда покровитель ее стоял с ней рядом. Мало-помалу недоверие, подозрительность, взаимные обвинения и страх воцарились в Сан-Карлосе на месте доверия, спокойствия и дружелюбия. Куда бы ни обращался правый глаз коменданта, тень падала на землю вместе с его взглядом.

Да и сам Сальватиерра не был огражден от губительного воздействия своего чудесно приобретенного ока. Не подозревая о том, как оно влияет на окружающих, он только видел в теперешнем поведении своих ближних свидетельство правоты хитроумного Пелега, нашептывавшего ему кое о чем в ту достопамятную новогоднюю ночь. Даже вернейшие его приверженцы запинались, краснели и мялись, стоя перед ним. В ответ на самые безобидные его вопросы начинали сыпаться самообвинения и исповеди в мелких проступках и преступлениях, нелепые жалобы и мольбы о прощении. Даже дети, которых он любил, даже любимая его ученица Пакита — и те словно испытывали какое-то чувство вины. И результаты этого постоянного раздражения не замедлили сказаться. Первые полгода взгляд коменданта и звук его голоса еще противоречили друг другу. Речь его оставалась по-прежнему доброй, мягкой и задумчивой. Но постепенно голос его воспринял нечто от жесткости его взгляда, от его недоверчивости и бесстрастия, и когда год приблизился к своему завершению, стало ясно, что это комендант приспосабливал себя к глазу, а не глаз к коменданту.

Можно догадаться, что подобные перемены не ускользнули от недреманного ока святых отцов. И, конечно же, те из них, кто первым приписал возрождение правого глаза Сальватиерры вмешательству чуда и особой милости благословенного Святого Карлоса, теперь в открытую говорили о колдовстве и о происках Лузвеля-нечистого. И сеньору Херменегильдо Сальватиерре пришлось бы сейчас плохо, не будь он комендантом или находись он в

подчинении у местных властей. Однако преподобный отец-настоятель Мануэль де Кортес не имел над ним административной власти, а все духовные увещевания его оставались втуне. Смущенный и озадаченный, вернулся он после первой же беседы с комендантом, которому роковая власть его взгляда словно бы доставляла теперь мрачное удовлетворение. Под этим взглядом святой отец начинал противоречить самому себе, вскрывал ошибочность собственных же аргументов и даже, как утверждают, несколько раз впадал в несомненную ересь. Если теперь комендант вставал в церкви во время мессы и священник встречался с его скептическим, испытующим взглядом, служба неизбежно бывала испорчена. Похоже было, что даже святая церковь теряет свою власть, и вместе с этим исчезала последняя возможность влиять как-либо на народные симпатии и добрый порядок в поселении Сан-Карлос.

К исходу долгого и сухого лета низкие холмы, подступавшие к белым стенам крепости, все больше и больше напоминали своим цветом кожаную куртку коменданта и сама природа словно бы переняла его сухой и жесткий взгляд. Земля потрескалась от жажды; порча напала на сады и виноградники, а дождь, которого так долго ждали и о котором так горячо молили небо, все не выпадал. Небо, сухое и безжалостное, как правый глаз коменданта, не проронило ни капли. Ропот недовольства, разговоры о непокорстве среди индейцев достигали его слуха; он только крепче сжимал зубы, туже затягивал узел на своем черном платке да отыскал свою толедскую шпагу.

К исходу последнего дня 1798 года, в час вечерней молитвы комендант одиноко сидел в караульном помещении. Он больше не посещал службы святой церкви, а забирался в эти минуты в какой-нибудь укромный уголок, где и предавался молчаливому раздумью. Отсветы пламени играли на балках низкого потолка, оставляя согбенную фигуру коменданта во мраке. Погруженный в свои мысли, он почувствовал вдруг прикосновение маленькой ручки к своей руке и, опустив взгляд, увидел рядом со своим коленом фигурку Пакиты, его маленькой ученицы-индианки. «А, ты, малюточка,— сказал комендант, и в интонации, с которой произнес он уменьшитель-

ный эпитет, столь характерный для его родного языка, было нечто от прежней его доброты.— Что делаешь ты здесь, милочка? И разве ты не боишься того, кого все сторонятся и перед кем трепещут?»

«Нет,— с готовностью отозвалась маленькая индианка,— в темноте не боюсь. Я слышу ваш голос — он прежний; и чувствую вашу руку — она тоже прежняя; но я не вижу вашего глаза, сеньор команданте. Только его я и боюсь, а он, о сеньор, о отец мой,— произнесла девочка, простирая к нему ручонки,— он ведь, я знаю, не ваш собственный!»

Комендант вздрогнул и отвернулся. Потом, справившись с волнением, он грустно поцеловал Пакиту в лоб и велел ей уйти. А несколькими часами позже, когда тишина воцарилась в крепости, комендант добрался до своего ложа и мирно уснул.

Примерно в середине ночной вахты какая-то неясная фигура протиснулась через низкое сводчатое окно в комнату коменданта. Другие фигуры двигались в это время по плацу, и комендант мог бы увидеть их, если бы не спал столь безмятежным сном. Незнакомец бесшумно приблизился к ложу и прислушался к глубокому дыханию спящего. Потом индеец поднял руку, и что-то сверкнуло в отсветах огня; еще мгновение, и все недоумения, мучившие Херменегильдо Сальватиерру, были бы разрешены разом, однако внезапно дикарь вздрогнул и в ужасе попятился. Комендант Сальватиерра продолжал мирно спать, но правый глаз его, широко раскрытый и неподвижный, холодно и пристально смотрел на убийцу. Индеец в ужасе рухнул наземь, и звук его падения разбудил спящего.

Потребовалось лишь мгновение для того, чтобы комендант вскочил на ноги, схватил шпагу и обрушил град ударов на мятежных язычников, заполнивших к этому времени комнату. Помощь подоспела вовремя, и взбунтовавшиеся индейцы были вскоре оттеснены за стены крепости, однако в потасовке комендант получил удар по правому глазу, и теперь, подняв к лицу руку, комендант обнаружил, что глаз его исчез. Его так и не удалось найти, и никогда более, к огорчению или радости, не украшал он правую глазницу коменданта.

А с исчезновением глаза рассеялись и чары, тяготевшие над Сан-Карлосом. Дождь пролился на истомившуюся землю, вернув ей силы, мир и согласие между священнослужителем и воином были восстановлены, зеленая трава вновь заколыхалась на иссохших склонах, дети стали по-прежнему толпиться вокруг своего воинственного наставника; в церкви снова зазвучала «Te Deum» — хвала господу, и идиллическое спокойствие вновь благословило прекрасные долины Сан-Карлоса. А где-то вдали пробирался все дальше к югу «Генерал Корт» и его капитан Пелег Скаддер выменивал у индейцев меха на бусы и сбывал вождям стеклянные глаза, деревянные ноги и другие бостонские товары.

ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ ГВАРДЕЙЦЕВ

Соч. Александра Дюма

ГЛАВА I,

свидетельствующая о благородном происхождении клиентов провансальского трактирщика

Двадцать лет спустя провансальский трактирщик гигантского роста стоял, вглядываясь в облако пыли на большой дороге.

Облако пыли возвещало приближение путешественника. В это время года путешественники были редки на большой дороге между Парижем и Провансом.

Сердце трактирщика возликовало. Обернувшись к госпоже Перигор, своей супруге, и погладив свой белый фартук, он сказал:

— Сен-Дени! Поспеши накрыть скатерть. Добавь на стол бутылку шарльвуа. Этот путешественник, который скачет так быстро, судя по его скорости, должен быть монсеньером.

И в самом деле, когда путешественник в форме мушкетера подъехал к дверям гостиницы, видно было, что он не жалел своего коня. Бросив поводья трактирщику, он легко спрыгнул на землю. Это был молодой человек лет двадцати четырех, говоривший с едва заметным гасконским акцентом.

— Я голоден, morbleu [1]. Я желаю обедать!

[1] Черт возьми *(франц.)*.

Гигант-хозяин поклонился и провел его в уютную комнату, где стоял стол, уставленный роскошными яствами. Мушкетер тотчас принялся за дело. Дичь, рыба и pâtes[1] исчезали друг за другом. Перигор вздыхал при виде этого опустошения. Приезжий остановился только один раз.

— Вина!

Перигор принес вино. Приезжий выпил дюжину бутылок. Наконец он встал и собрался ехать. Обратясь к стоящему в ожидании хозяину, он сказал:

— Поставь на счет.

— На чье имя, ваша светлость? — с тревогой спросил Перигор.

— На имя его высокопреосвященства!

— Мазарини? — воскликнул трактирщик.

— Совершенно верно. Приведи мою лошадь! — И мушкетер, сев на своего любимого коня, ускакал.

Трактирщик медленно вернулся в гостиницу. Не успел он войти во двор, как топот копыт снова привлек его к воротам. Подъехал юный мушкетер, на редкость стройный и изящный.

— Parbleu, любезный Перигор, я умираю с голоду. Что у тебя есть на обед?

— Оленина, каплуны, жаворонки и голуби, ваше превосходительство,— отвечал услужливый хозяин, кланяясь до земли.

— Достаточно! — Юный мушкетер соскочил с седла и вошел в гостиницу. Усевшись за стол, вновь накрытый заботливым Перигором, он очистил его так же быстро, как и первый посетитель.

— Вина, мой славный Перигор,— сказал изящный юный мушкетер, как только смог произнести хоть слово.

Перигор принес три дюжины шарльвуа. Юноша осушил их одним глотком.

— Прощай, Перигор,— небрежно бросил он, махнув рукою, когда, предшествуемый изумленным хозяином, медленно двинулся к дверям.

— Но, ваша светлость, а как же счет? — сказал пораженный Перигор.

---

[1] Паштеты *(франц.)*.

— А, счет? Запиши.

— На чье имя?

— На имя королевы.

— Как, на имя ее величества?

— Совершенно верно. Adieu, мой добрый Перигор! — И изящный незнакомец уехал. Последовало молчание, в продолжение которого трактирщик жалобно глядел на свою супругу. Вдруг топот копыт заставил его вздрогнуть, и в дверях показался господин аристократической наружности.

— Ах,— приветливо сказал вельможа.— Уж не обманывают ли меня мои глаза? Нет, это радушный и щедрый Перигор. Послушай, Перигор. Я голоден. Я умираю. Я бы охотно пообедал.

Трактирщик снова уставил стол яствами.

И снова он был опустошен, как нивы Египта, обглоданные чудовищным нашествием саранчи. Приезжий поднял голову.

— Принеси мне еще курицу, любезный Перигор.

— Невозможно, ваше сиятельство, кладовая пуста.

— Ну тогда копченый окорок.

— Невозможно, ваша светлость, ветчины больше нет.

— В таком случае, вина!

Хозяин принес сто сорок четыре бутылки. Вельможа выпил их все подряд.

— Когда нечего есть, можно пить,— благодушно сказал аристократ-приезжий.

Трактирщик содрогнулся.

Гость встал и собрался ехать.

Трактирщик медленно подошел к нему со счетом, к которому украдкой приписал убытки, причиненные ему предыдущими незнакомцами.

— А, счет. Запиши.

— Записать? На чье имя?

— На имя короля,— сказал гость.

— Как, его величества?

— Разумеется. Будь здоров, Перигор!

Трактирщик застонал. Затем он вышел на улицу и снял свою вывеску. Затем сказал жене:

— Я простой человек и не разбираюсь в политике. Однако сдается мне, что государство в опасности. Его

преосвященство кардинал, его величество король и ее величество королева разорили меня в конец.

— Постой,— сказала госпожа Перигор,— мне пришла в голову одна мысль.

— А именно...

— Ступай сам в мушкетеры!

ГЛАВА II

Битва

Покинув Прованс, первый мушкетер отправился в Нанжи, где к нему присоединились тридцать три человека. Второй мушкетер, приехав в Нанжи одновременно с ним, стал во главе еще тридцати трех. Третий гость трактирщика из Прованса приехал в Нанжи и тоже успел собрать тридцать трех мушкетеров.

Первый незнакомец командовал войском его высокопреосвященства.

Второй — войском королевы.

Третий — войском короля.

Бой начался и яростно кипел в течение семи часов.

Первый мушкетер убил тридцать человек из войска королевы. Второй мушкетер убил тридцать человек из войска короля. Третий мушкетер убил тридцать человек из войска его высокопреосвященства.

Легко убедиться, что к этому времени число мушкетеров убавилось до четырех с каждой стороны.

Естественно, что три военачальника приблизились друг к другу.

Все трое разом вскричали:

— Арамис!

— Атос!

— Д'Артаньян!

И упали в объятия друг друга.

— Кажется, мы сражаемся друг с другом, дети мои,— мрачно произнес граф де Ла Фер.

— Как странно! — воскликнули Арамис и Д'Артаньян.

— Прекратим эту братоубийственную войну,— сказал Атос.

— Прекратим! — воскликнули все вместе.

— Но как быть с нашими армиями? — вопросил Д'Артаньян.

Арамис подмигнул. Они поняли друг друга.

— Армии урезать.

Они урезали всех. Арамис зарубил троих. Д'Артаньян — троих. Атос — троих.

Друзья снова обнялись.

— Совсем как в доброе старое время! — сказал Арамис.

— Как трогательно! — воскликнул серьезный и склонный к философии граф де Ла Фер.

Топот копыт заставил их высвободиться из объятий друг друга.

Приближалась гигантская фигура.

— Трактирщик из Прованса! — вскричали они, обнажая шпаги.

— Смерть Перигору! — заорал Д'Артаньян.

— Остановись! — сказал Атос.

Гигант был уже рядом. Он издал крик:

— Атос, Арамис, Д'Артаньян!

— Портос! — воскликнуло изумленное трио.

— Он самый.

Все снова заключили друг друга в объятия.

Граф де Ла Фер медленно воздел руки к небу.

— Да благословит вас бог! Да благословит вас бог, дети мои! Как бы мы ни расходились в мнениях относительно политики, мы все придерживаемся одного мнения относительно наших собственных достоинств. Где найдете вы человека лучше Арамиса?

— Лучше Портоса? — сказал Арамис.

— Лучше Д'Артаньяна? — сказал Портос.

— Лучше Атоса? — сказал Д'Артаньян.

ГЛАВА III,

в которой описывается, как король Франции лез по лестнице

Король сошел в сад. Осторожно пройдя по ступеням террасы, он приблизился к стене под окнами мадам. Слева находились два окна, скрытых вьющимся виноградом. Это были окна апартаментов Лавальер.

Король вздохнул.

— До этого окна около девятнадцати футов,— сказал король.— Если б у меня была лестница около девятнадцати футов длиной, она достала бы до этого окна. Это логично.

Вдруг король обо что-то споткнулся.

— Сен-Дени! — вскричал он, глядя себе под ноги. Это была лестница ровно девятнадцати футов длиной.

Король приставил ее к стене. При этом он нижним концом упер ее в живот человека, который лежал, спрятавшись под стеной. Человек не издал ни крика, ни стона. Король ничего не подозревал. Он стал взбираться по лестнице.

Лестница была коротка. Людовик Великий был невысок ростом. До окна не хватало двух футов.

— Господи! — сказал король.

Вдруг кто-то снизу приподнял лестницу на два фута. Это дало возможность королю прыгнуть в окно. В дальнем конце комнаты стояла молодая хромоногая девица с рыжими волосами. Она трепетала от страсти.

— Луиза!

— Король!

— О боже, мадемуазель!

— О боже, государь!

Но тихий стук в дверь помешал влюбленным. Король издал крик гнева, Луиза — крик отчаяния.

Дверь отворилась, и вошел Д'Артаньян.

— Добрый вечер, государь,— сказал мушкетер.

Король дернул сонетку. В дверях показался Портос.

— Добрый вечер, государь.

— Арестуйте мсье Д'Артаньяна.

Портос взглянул на Д'Артаньяна и не двинулся с места.

Король побагровел от гнева. Он снова дернул сонетку. Вошел Атос.

— Граф, арестуйте Портоса и Д'Артаньяна.

Граф де Ла Фер посмотрел на Портоса и Д'Артаньяна и любезно улыбнулся.

— Sacré![1] Где Арамис? — в бешенстве спросил король.

---

[1] Проклятье *(франц.)*.

— Здесь, государь! — И Арамис вошел в комнату.

— Арестуйте Атоса, Портоса и Д'Артаньяна.

Арамис поклонился и скрестил руки.

— Арестуйте сами себя!

Арамис не двинулся с места.

Король задрожал и побледнел.

— Разве я не король Франции?

— Без сомнения, государь, но ведь и мы тоже, каждый в отдельности, Портос, Арамис, Д'Артаньян и Атос.

— Ах! — сказал король.

— Да, государь.

— Что это значит?

— Это значит, ваше величество,— сказал Арамис, выступая вперед,— это значит, что вы, как женатый человек, ведете себя в высшей степени неприлично. Я аббат, и я восстаю против этого неприличия. Мои друзья Д'Артаньян, Атос и Портос, чистые сердцем юноши, равным образом ужасно шокированы. Посмотрите, как они покраснели, государь.

Атос, Портос и Д'Артаньян покраснели.

— Ах,— задумчиво сказал король.— Вы преподали мне урок. Вы честные и благородные молодые люди; ваш единственный порок — чрезмерная скромность. С этой минуты я произвожу всех вас в маршалы и герцоги, за исключением Арамиса.

— А меня, государь? — сказал Арамис.

— Вы будете архиепископом!

Четыре друга подняли глаза, после чего бросились в объятия друг друга. Чтобы поддержать компанию, король обнял Луизу Лавальер. Последовала пауза. Наконец Атос заговорил:

— Поклянитесь, дети мои, что после самих себя вы будете чтить короля Франции, и помните, что «Сорок лет спустя» мы встретимся снова.

МЭК-А-МЭК

Современный роман об индейцах. По Куперу

ГЛАВА I

Ясный октябрьский день клонился к вечеру. Последние лучи заходящего солнца отражались в одном из лесных озер, столь характерных для калифорнийской Сьерры. Справа среди стволов величественных сосен вился дым индейского селения, тогда как слева бревенчатая хижина судьи Томпкинса, осененная каштанами, завершала очаровательную картину.

Несмотря на то, что внешний вид хижины, скромный и непритязательный, вполне гармонировал с диким ландшафтом, внутреннее убранство жилища свидетельствовало об изысканном и утонченном вкусе его обитателей. Аквариум с золотыми рыбками стоял на мраморном круглом столе в одном конце комнаты, в то время как великолепное черное фортепьяно занимало другой. Пол был покрыт мягким гобеленовым ковром, а стены украшали картины кисти Ван Дейка, Рубенса, Тинторетто, Микеланджело, а также произведения более современных живописцев — Тэрнера, Кенсетта, Черча и Бирштадта. Несмотря на то, что судья Томпкинс выбрал себе для жилья окраину цивилизованного мира, он не мог совершенно отрешиться от привычек и вкусов своей прежней жизни. Сидя в роскошном кресле, он писал на бюро красного дерева, между

тем как его дочь, прелестная молодая девица семнадцати лет от роду, вышивала тамбурным швом, примостившись на софе у его ног. В большом просторном камине пылали ярким пламенем сосновые поленья.

Джиневра Октавия Томпкинс была единственной дочерью судьи Томпкинса. Мать ее много лет назад умерла в прериях. Дочь выросла в достатке, и на ее образование не жалели никаких средств. Она окончила одну из лучших частных школ и говорила по-французски с превосходным калифорнийским акцентом. Невыразимо прекрасная, она была одета в белое платье из *муар-антик*, отделанное тюлем. К ее иссиня-черным локонам был приколот тот самый скромный розовый бутон, которым все романтические героини неизменно украшают свои волосы.

Судья первым нарушил молчание.

— Джиневра, мне кажется, что поленья, которые питают этот огонь, подобраны весьма опрометчиво. Шипение, производимое смолой, обильно выделяющейся из оных, отнюдь не благоприятствует сочинению.

— Вы правы, отец, но мне казалось, что оно предпочтительнее, нежели беспрерывное потрескивание, которым, как правило, сопровождается сгорание более выдержанных фрагментов древесины.

Судья восхищенно воззрился на вдохновенные черты грациозной девицы, и музыкальные звуки голоса дочери заставили его забыть легкое раздражение, вызванное сырыми дровами. Он нежно гладил ее по головке, когда тень высокой фигуры, внезапно затмившая дверной проем, заставила его поднять голову.

ГЛАВА II

Достаточно было беглого взгляда, чтобы тотчас узнать в пришельце фигуру и черты надменного аборигена — невежественного и вольного сына лесов. Одеяло, небрежно, но элегантно накинутое на одно плечо, обнажало мощную грудь, украшенную множеством трехцентовых почтовых марок, которые он добыл, несколькими неделями раньше ограбив Трансконтинентальный почтовый дилижанс. Из-под увенчанной простым пером касторовой шля-

пы, выброшенной судьею Томпкинсом, которая покрывала его высоко поднятую голову, ниспадали на плечи длинные прямые пряди. Правая рука была непринужденно опущена, между тем как левая поддерживала пару панталон, с которыми плохо мирилась своевольная грация и свобода его нижних конечностей.

— Зачем,— приятным низким голосом проговорил индеец,— зачем Бледнолицый все еще идет по тропе Краснокожего? Зачем он преследует его, подобно тому, как О-Ки-Чоу, дикая кошка, гонится за скунсом Кей-Кей? Зачем ноги Рыжеволосого, белого вождя, топчут желуди горной дубравы Мэк-А-Мэка? Зачем,— повторил он спокойно, но твердо, забирая со стола серебряную ложку,— зачем вы хотите изгнать его из вигвамов его отцов? Его братья уже удалились на счастливые охотничьи угодья. Быть может, Бледнолицый будет искать его и там? — И, отворотив лицо от судьи, он, желая скрыть свое волнение, торопливо сунул к себе под одеяло серебряную корзиночку для печенья.

— Мэк-А-Мэк сказал свое слово,— проговорила Джиневра.— Теперь пусть он послушает. Разве желудь гор слаще употребляемых в пищу питательных бобов Бледнолицего рудокопа? Разве брат мой ценит съедобные качества улитки выше хрустящего и богатого жирами бекона? Восхитительны кузнечики, что резвятся на склоне холма, но разве они лучше сушеных яблок? Приятно журчание потока Киш-Киш, но разве оно благозвучнее, чем буль-буль, производимый старым бурбонским виски в старой глиняной фляге?

— Ах,— сказал индеец,— ах! Хорошо. Белая Крольчиха мудра. Слова ее падают, как снег на Тутуноло, окутывая каменное сердце Мэк-А-Мэка. Что скажет брат мой, Серый Суслик из Датч-Флета?

— Она сказала свое слово, Мэк-А-Мэк,— ответил судья, с любовью глядя на дочь.— Хорошо. Наш союз заключен. Нет, благодарю тебя, не надо танцевать Танец Снежных Перепонок, Танец Мокасинов, Танец Зеленой Кукурузы и Танец Договора. Я хотел бы остаться один. Странная печаль овладевает мною.

— Я ухожу,— молвил индеец.— Скажи своему великому вождю в Вашингтоне сахему Энди, что Краснокожий отступает перед поступью предприимчивого пионе-

ра. Не откажи в любезности уведомить его, что звезда империи на запад вершит победный путь, что вожди народа Пай-Ют все как один стоят за Реконструкцию и что по осени Кламатский округ соберет большинство голосов за республиканскую партию.

И, плотнее завернувшись в одеяло, Мэк-А-Мэк удалился.

ГЛАВА III

Джиневра Томпкинс стояла у дверей бревенчатого дома, глядя вслед удаляющемуся Трансконтинентальному почтовому дилижансу, который увозил ее отца в Вирджиния-Сити.

«Вполне может статься, что он никогда не вернется назад,— вздохнула молодая девушка, глядя на громыхающий по рытвинам экипаж и скачущих во весь опор коней.— Во всяком случае, с целыми костями. Вдруг он попадет в катастрофу! Мне вспомнилась жуткая легенда детских лет. Неужто это правда, что кучерам на этой линии отдан тайный приказ приканчивать пассажиров, изувеченных при катастрофе, во избежание утомительной тяжбы? Нет, нет. Но почему тогда этот груз у меня на душе?»

Она села за фортепьяно и легко коснулась пальцами клавиш. Затем звучным меццо-сопрано пропела первую строфу одной из самых популярных ирландских баллад.

Когда чарующие звуки ее восхитительного голоса замерли в воздухе, Джиневра бессильно уронила руки. Музыка не могла согнать таинственную тень с ее души. Она снова встала. Надев шляпу из белого крепа и аккуратно натянув на тонкие пальцы пару лимонно-желтых перчаток, она схватила зонтик и углубилась в чащу соснового леса.

ГЛАВА IV

Джиневра не успела пройти и нескольких миль, как усталость охватила ее хрупкие члены, и она вынуждена была присесть на ствол поваленной сосны, предварительно смахнув с него пыль носовым платком. Солнце как

раз садилось за горизонт, и картина являла собою роскошный образчик лесного великолепия.

— О, как прекрасна Природа! — молвила невинная девица, когда, грациозно откидываясь на корни дерева, она подбирала свои юбки и повязывала шею носовым платком. Однако размышления ее прервало глухое рычание. Она вскочила, и глазам ее предстало зрелище, при виде которого кровь от ужаса заледенела в жилах.

Единственным выходом из леса служила узкая, едва доступная для одного человека, стесненная деревьями и скалами тропинка, по которой она только что проследовала. По этой тропе пробирался чудовищный медведь гризли, за которым шли гуськом калифорнийский лев, дикая кошка и бизон. Шествие замыкал дикий испанский бык. Пасти первых трех животных были разинуты с жуткой выразительностью, рога последних двух столь же зловеще склонялись долу. Когда Джиневра приготовилась упасть в обморок, она услышала позади тихий голос:

— Пусть будет навеки проклята моя шкура, если мне еще когда-нибудь представится такой счастливый случай!

В ту же минуту сзади высунулся длинный блестящий ствол ружья и тихонько лег на ее плечо.

Джиневра содрогнулась.

— Ни с места, черт побери!

Джиневра застыла в неподвижности.

Выстрел из ружья гулко разнесся по лесу.

Раздался жуткий троекратный рев и глухой двукратный рык. Пять животных подпрыгнули в воздухе, и пять безжизненных туш рухнули на поляну. Меткая пуля сделала свое дело. Войдя в разинутую пасть гризли, она прошла сквозь его туловище лишь для того, чтобы, проникнув в глотки калифорнийского льва и дикой кошки, пронзить соответственно лоб быка и бизона и, наконец, расплющившись, отскочить от скалистого утеса.

Джиневра живо обернулась.

— О мой спаситель! — вскричала она, падая в объятия Натти Бампо, прославленного Покорителя Вершин озера Доннер.

ГЛАВА V

Месяц бодро всходил над озером Доннер. По безмятежному лону вод быстро скользила выдолбленная пирога, содержащая в себе Натти Бампо и Джиневру Томпкинс.

Оба молчали. Одна и та же мысль владела каждым, и, быть может, даже в ненарушимой тишине таилось сладостное единение душ. Джиневра прикусила ручку зонтика и покраснела. Натти Бампо взял в рот свежую щепотку табаку. Наконец, словно в полувысказанном раздумье, Джиневра проговорила:

— Мне кажется, что нежное сияние месяца и мирная рябь волн хотят преподать нам различные истины поучительного и нравственного свойства.

— Бьюсь об заклад, что так оно и есть, мисс,— серьезно сказал ее спутник.— Это все молитвы да псалмы, я слышу их с тех пор, как был мальчишкой.

«Благородное создание!— сказала про себя мисс Томпкинс, взглядывая на величавого Покорителя Вершин, который склонился над веслом, чтобы скрыть свое волнение.— Взращенный в этой дикой пустыне, он тем не менее проникся духом Великого Верховного Существа». Затем, взяв себя в руки, она произнесла вслух:

— Я думаю о том, как приятно было бы вечно скользить вот так по потоку жизни, рука об руку с человеком, близости которого алкает душа. Но что это я говорю? — И чувствительная девица закрыла лицо руками.

— Если вы насчет женитьбы, то я не против,— задумчиво промолвил он.

— О мой супруг! — заикаясь, пробормотала залившаяся румянцем девица и упала в его объятия.

Через десять минут влюбленная пара причалила к дому судьи Томпкинса.

ГЛАВА VI

Прошел год. Натти Бампо возвращался из Голд-Хилла, куда он ходил за провиантом. По дороге к озеру Доннер до ушей его донесся слух о восстании индейцев.

— Не сносить им свои подлые шкуры, если они посмеют тронуть мою Дженни! — пробормотал он сквозь сжатые зубы.

Было уже темно, когда он добрался до берега озера. Вокруг мерцающего костра он различил смутные силуэты пляшущих фигур. Они были в боевой раскраске. Среди них выделялся знаменитый Мэк-А-Мэк. Но почему пальцы Натти Бампо конвульсивно сжали ствол его ружья?

Вождь держал в руке длинные тугие завитки черных как вороново крыло волос. Сердце пионера болезненно сжалось, когда он узнал густые локоны Джиневры. Он мигом вскинул ружье, раздался пронзительный «вжик!», и труп Мэк-А-Мэка, перекувырнувшись в воздухе, упал на землю. Вышибить мозги у остальных индейцев, вырвать локоны из коченеющей руки Мэк-А-Мэка и стремглав ринуться к хижине судьи Томпкинса было делом одной минуты

Он настежь распахнул дверь. Но почему он остановился как вкопанный, с разинутым ртом и вылезающими из орбит глазными яблоками? Разве открывшееся перед ним зрелище столь чудовищно, что его невозможно вынести? Напротив, перед ним во всей своей неподражаемой красе стояла Джиневра Томпкинс, опираясь на руку отца.

— Значит, с вас не сняли скальп! — задыхаясь, проговорил ее возлюбленный.

— Отнюдь. Я без колебаний заявлю, что не сняли. Но что означает эта внезапность? — отозвалась Джиневра.

Бампо, не в силах произнести ни слова, в отчаянии извлек шелковистые локоны. Джиневра отворотила свое лицо.

— Да ведь это же ее шиньон! — воскликнул судья.

Бампо без чувств повалился на пол.

Знаменитый вождь и Покоритель Вершин никогда не оправился от обмана и отказался жениться на Джиневре, которая двадцать лет спустя умерла от разбитого сердца. Судья Томпкинс лишился своего состояния. Дилижанс два раза в неделю проезжает мимо опустевшей хижины на берегу озера Доннер. Так была отомщена смерть Мэк-А-Мэка.

МИЧМАН БРИЗИ

Соч. капитана Марриета, К. Ф.[1]

ГЛАВА I

Отец мой был лекарем в северной части страны. За много лет до описываемых здесь событий он овдовел, вышел в отставку из флота ее величества и приобрел небольшую практику в своем родном селении. Когда мне исполнилось семь лет, он стал посылать меня разносить лекарства пациентам. Будучи ребенком живого нрава, я иногда развлекался тем, что во время своих обходов перемешивал содержимое разных склянок.

Хотя у меня не было никаких оснований сомневаться, что в общем итоге этот метод действует благотворно, тем не менее, когда добавление крепкой ртутной примочки в отхаркивающую микстуру вызвало смерть страдавшего чахоткой приходского священника, отец счел необходимым лишить меня этой должности и отправить в школу.

Учитель Грубинс был тиран, и вскоре моя пылкая и своевольная натура восстала против его власти. Я начал лелеять планы отмщения. В этом мне помогал Том Трензель, мой школьный товарищ. Однажды Том предложил:

---

[1] Королевский флот.

— Давай взорвем его. У меня есть два фунта пороха!

— Нет, это слишком шумно,— возразил я.

С минуту помолчав, Том заговорил снова:

— А помнишь, Пилюлькинс, как ты уложил священника? Хорошо бы дать Грубинсу чего-нибудь такого, чтоб его наизнанку вывернуло.

Тут меня озарило вдохновение. Я отправился к сельскому аптекарю. Он меня знал,— я частенько покупал у него медный купорос. Мы наливали его в чернильницу Грубинсу, чтобы испортить ему перья и прожечь фалды сюртука, которыми он имел привычку их вытирать. Я смело спросил унцию хлороформа. Молодой аптекарь подмигнул и подал мне бутылку.

На переменке Грубинс обыкновенно накрывал лицо носовым платком, откидывался на спинку стула и погружался в дремоту. Улучив удобный момент, когда он уснул, я сдернул у него с лица платок и заменил его своим, пропитанным хлороформом. Через несколько минут он впал в бесчувственное состояние. Тогда мы с Томом быстро сбрили ему волосы, бороду и брови, намазали лицо смесью купороса и жженой пробки и удрали. На следующий день разразился страшный скандал. Отец всегда оправдывал меня тем, что Грубинс был пьян, но на этот раз почему-то счел удобным безотлагательно определить меня во флот ее величества.

ГЛАВА II

Официальное письмо с печатью Адмиралтейства, извещало меня о том, что мне надлежит без промедления явиться в Портсмут на военный корабль «Изрыгатель» под командованием капитана Ликтроса. Через несколько дней я предстал перед высоким суровым джентльменом, который медленно шагал взад-вперед на подветренной стороне юта. Когда я отдал ему честь, он строго посмотрел на меня и сказал:

— Ха-ха! Еще один молокосос. Служба катится к чертям. В кубрике — сплошь младенцы, в кают-компании — сплошь старые бабы. Помощник шкипера, позовите мистера Бушприта.

Мистер Бушприт, стюард, явился и отдал честь.

— Представьте мистера Бризи молодым джентльменам. Стойте! Где мистер Грог?

— На топе мачты, сэр.

— Где мистер Долговяз?

— На топе мачты, сэр.

— Мистер Бригс?

— Там же, сэр.

— А прочие юные джентльмены?

— Все на топе мачты, сэр.

— Ага! — мрачно улыбаясь, произнес капитан Ликтрос.— При таких обстоятельствах отправляйтесь-ка и вы на топ мачты, мистер Бризи.

ГЛАВА III

На топе мачты я познакомился с двумя мальчиками приблизительно моих лет. Один из них рассказал мне, что проводит здесь 332 дня в году.

— Во время шторма, когда старый хрен не в духе, мы и вовсе вниз не спускаемся,— добавил юный джентльмен лет девяти с кортиком почти таких же размеров, как он сам, которого мне представили под именем мистера Бригса.

— Кстати, Пилюлькинс,— продолжал он.— Каким образом случилось, что вы не приветствовали капитана по всей морской фооме?

— Но ведь я же отдал ему честь,— наивно возразил я.

— Да, но видите ли, этого недостаточно. В другое время это вполне сойдет. Но когда человек в первый раз вступает на борт корабля, капитан ожидает, что его будут приветствовать по всей морской форме. Эх вы, мелюзга!

Я не на шутку встревожился и попросил его объяснить, в чем дело.

— Понимаете, после того, как вы отдали ему честь, вы должны были слегка ткнуть его указательным пальцем в жилет и спросить: «Ну, как дела, ваше вашество?»

— Ну, как дела, ваше вашество? — повторил я.

— Вот-вот. Он бы тогда немного попятился, а вы повторили бы свое приветствие, заметив: «Ну, как дела, ваше королевское вашество?»— а потом деликатно осведомились бы об его супруге и семействе и попросили представить вас дочери канонира.

— Дочери канонира?

— Вот именно. Она ведь опекает нас, юных джентльменов. Смотрите же, постарайтесь не забыть.

Когда нас позвали вниз, на палубу, я решил, что настал удобный случай воспользоваться этим наставлением. Я подошел к капитану Ликтросу и, не пропустив ни звука, добросовестно повторил приветствие. Капитан побагровел и на минуту лишился дара речи. Наконец он, задыхаясь, пробормотал:

— Помощник шкипера!

— С вашего позволения, сэр,— дрожащим голосом произнес я,— я хотел бы, чтоб меня представили дочери канонира.

— Отлично, сэр! — вскричал капитан Ликтрос, потирая руки и в ярости буквально прыгая по палубе.— Черт вас побери! Разумеется, я вас представлю! Э-гей! Дочь канонира! Проклятье! Это уж слишком! Помощник шкипера!

Не успел я оглянуться, как меня схватили, потащили, привязали к восьмифунтовой пушке и выпороли.

ГЛАВА IV

Когда мы все вместе сидели в кубрике, выковыривая червяков из своих сухарей, Бригс утешил меня в моей незадаче, добавив, что «морское приветствие» как обычай в настоящее время более в почете, когда он нарушается, нежели когда соблюдается. Его остроумные шутки вызвали общее веселье, к которому присоединился и я, и через несколько минут мы все стали друзьями. Вдруг Грог повернулся ко мне.

— Мы только что обдумывали, каким образом конфисковать бочонок кларета, который эконом Бурдюк держит у себя под койкой. Старый скопидом полдня валяется пьяный, и нам туда никак не пробраться.

— Давайте залезем под его каюту, просверлим потолок и дно бочонка и выпустим весь кларет,— сказал Долговяз.

Предложение было встречено криками и рукоплесканиями. У Стружкинса, помощника плотника, достали полдюймовый бурав и сверло, и Грог, тщательно осмотрев балки под каютой, приступил к делу. В конце концов бурав скрылся из виду, но тут наверху возникло некоторое смятение. Грог поспешно вытащил бурав. С кончика сверла скатилось несколько ярко-красных капель.

— Ура! Пихай его обратно! — вскричал Долговяз.

Бурав вставили на прежнее место. На этот раз из каюты эконома послышался крик. Свет тотчас же погасили, и вся компания поспешно отступила в кубрик. Когда вахтенный просунул голову в дверь, он услышал громкий храп.

— Все в порядке, сэр,— ответил он на вопрос офицера с палубы.

На следующее утро мы узнали, что Бурдюк лежит в лазарете с опасной раной в мягкой части бедра и что бурав не достиг кларета.

ГЛАВА V

— Ну, Пилюлькинс, теперь ты понюхаешь пороху,— сказал Бригс, входя в кубрик и пристегивая к поясу огромную саблю.— Только что показался в виду французский корабль.

Мы вышли на палубу. Когда мы отдали честь, капитан Ликтрос оскалил зубы. Он ненавидел эконома.

— Сюда, юные джентльмены. Если вы сверлите буравом бочонки с французским кларетом, то там имеется отличный сорт. Смотрите за рулем, сэр,— добавил он, обращаясь к рулевому, который тоже скалил зубы.

Корабль уже изготовился к бою. Матросы в своем усердии высыпали из бочек кофе и наполнили их дробью. Вдруг французский корабль лег на борт, и ядро из длинной тридцатидвухфунтовой пушки пронеслось над водой. Оно убило рулевого и оторвало обе ноги Долговязу.

— Передайте эконому, что мы в расчете,— сказал умирающий мальчик, улыбаясь слабой улыбкой.

Кровавый бой кипел два часа. Помнится, когда мы пошли на абордаж, я убил французского адмирала. Наконец дым рассеялся, и, когда я обернулся в поисках Бригса, меня изрядно позабавило следующее невиданное зрелище: Бригс своей саблей пригвоздил французского капитана к мачте и теперь с жизнерадостностью, свойственной юности, просунув фалды капитанского сюртука у него между ног, тянул за них наподобие того, как дергают за веревочку марионеток. При каждом рывке француз дрыгал руками и ногами, и я не мог не присоединиться к общему веселью.

— Вы что тут делаете, дьяволенок вы этакий? — раздался за моей спиной сиплый голос. Оглянувшись, я увидел капитана Ликтроса, который пытался казаться суровым, но подергивание уголков рта выдавало его живое участие в сцене.

— Отправляйтесь на топ мачты, сэр,— сурово приказал он Бригсу.

— Слушаю, сэр,— отозвался мальчик, хладнокровно собираясь лезть на ванты.— Прощай, Джонни Лягушатник. Гм,— добавил он шепотом, предназначенным лишь для моих ушей,— нечего сказать, хорошее обращение с героями. Служба катится к чертям!

Я совершенно разделял его мнение.

ГЛАВА VI

Мы получили приказ отправляться в Вест-Индию. Хотя капитан Ликтрос все еще обходился со мною сурово и даже грубо, я знал, что в донесениях мое имя упоминалось в благоприятном духе.

Читатель, приходилось ли вам бывать на Ямайке? Если приходилось, то вы, конечно, помните негритянок, апельсины и «Тома из Порт-Ройяла» — желтую лихорадку. Пробыв две недели в форте, я заболел лихорадкой. Целый месяц я был в бреду. Во время приступов в моем расстроенном воображении теснились странные образы: мне грезилось, что над моей подушкой склоняет-

ся чье-то суровое лицо, грубая рука гладит меня по голове и ласковый голос говорит:

— Да благословит тебя бог, дитя мое! Неужто у него эта скверная лихорадка?

Потом это лицо снова принимает суровый облик капитана Ликтроса.

Когда я стал поправляться, мне вручили пакет с черной каймой. В нем заключалось известие о смерти моего отца и запечатанное письмо, которое он просил передать мне после его кончины. Я вскрыл его дрожащей рукой. Оно гласило:

«Мой милый мальчик. К сожалению, должен известить тебя о том, что ты, по всей вероятности, не мой сын. Твоя матушка, как это ни грустно, была женщиной весьма недостойного поведения. Кто твой отец, я, право, не знаю, но, может быть, достопочтенный Генри Ликтрос, капитан К. Ф., в состоянии объяснить тебе это. По независящим от меня обстоятельствам я должен был отложить это важное разоблачение.

Твой убитый горем родитель».

Итак, капитан Ликтрос — мой отец. Боже! Уж не сон ли это? Я вспомнил его суровое обращение, его пытливый взгляд, его плохо скрытую неловкость в моем присутствии. Я страстно желал обнять его. Шатаясь, я встал с постели и в своем более чем скудном одеянии ринулся на палубу, где капитан Ликтрос как раз был занят приемом жены и дочери губернатора. Дамы вскрикнули; младшая, прекрасная молодая девушка, густо покраснела. Не обращая на них никакого внимания, я упал к его ногам и, обнимая их, воскликнул:

— Отец мой!

— За борт его! — взревел капитан Ликтрос.

— Остановитесь,— взмолился нежный голос Клары Мейтленд, дочери губернатора.

— Обрить его наголо! Он помешался! — продолжал капитан Ликтрос, и голос его дрожал от гнева.

— Нет, позвольте мне ухаживать за ним и заботиться о нем,— сказала прелестная девушка, заливаясь краской.— Мама, можно, мы возьмем его с собой?

Мольбы дочери не остались тщетными. Тем временем я лишился чувств. Когда я пришел в себя, я был уже в доме губернатора Мейтленда.

ГЛАВА VII

Читатель догадается, что было дальше. Я страстно влюбился в Клару Мейтленд, которой доверил тайму моего рождения. Великодушная девушка утверждала, будто ей сразу бросилась в глаза изысканность моих манер. Мы обручились и решили ожидать дальнейших событий.

Через несколько дней меня навестил Бригс. Он рассказал мне, что эконом оскорбил весь кубрик и что все мичманы послали ему вызов.

— Не знаю, как мы можем устроить эту дуэль. Ведь нас шестеро против одного,— задумчиво добавил он.

— Очень просто,— ответил я.— Пусть все выстроятся в ряд и примут его огонь. Это даст ему шесть шансов против одного, и он должен быть совсем негодным стрелком, чтоб не попасть в кого-нибудь из вас. Потом вы все шестеро выстрелите в него залпом, и один из вас непременно в него угодит.

— Точно так.— С этими словами Бригс, ушел, но скоро вернулся и объявил, что эконом отказался.— Проклятый трус,— добавил он.

Однако неожиданное известие о тяжелой болезни капитана Ликтроса заставило отложить дуэль. Я поспешил к его постели, но было уже поздно — часом ранее он испустил дух.

Я решил возвратиться в Англию Я открыл тайну моего рождения и показал леди Мейтленд письмо моего покойного приемного отца. Она тотчас предложила мне жениться на ее дочери, прежде чем я вернусь на родину, дабы предъявить права на наследство.

Мы обвенчались и на следующий день уехали.

Без дальних проволочек я отправился в свое родное селение вместе с женой и моим другом Бригсом. Вообразите мое изумление и ужас, когда мой покойный приемный отец встретил меня у дверей своего дома.

— Значит, вы не умерли! — задыхаясь, пробормотал я.

— Нет, мой милый мальчик.

— А это письмо?

Мой отец — как я все еще должен его называть — взглянул на бумагу и объявил, что это подлог. Бригс разразился хохотом. Я обратился к нему и потребовал объяснений.

— Разве ты не видишь, молокосос, что это шутка, мичманская шутка!

— Однако...— начал я.

— Не будь дураком. Ты получил хорошую жену — и скажи спасибо.

Я взглянул на Клару и сказал спасибо. Миссис Мейтленд никогда не простила мне этого, но добродушный старик губернатор от всего сердца смеялся шутке и так хорошо употребил свое влияние, что скоро, любезный читатель, я стал адмиралом Бризи, К. О. Б. [1].

---

[1] Кавалер ордена Бани.

ДЖОН ДЖЕНКИНС, ИЛИ РАСКАЯВШИЙСЯ КУРИЛЬЩИК

Соч. Т. Ш. Артура

ГЛАВА I

— Одна сигара в день,— сказал судья Бумпойнтер.

— Одна сигара в день! — повторил Джон Дженкинс, с трепетом роняя под верстак выкуренную до половины сигару.

— Одна сигара в день — это три цента в день,— строго заметил судья Бумпойнтер.— А известно ли вам, сэр, сколько одна сигара в день, или три цента в день, составляют за год?

Мальчиком Джон Дженкинс ходил в сельскую школу и обладал большими способностями к арифметике. Он взял с верстака щепку, достал кусок мела и, преисполненный чувства собственного достоинства, произвел подробный расчет.

— Ровно 43 доллара и 80 центов,— ответил он, утирая пот со лба, в то время как лицо его пылало благородным восторгом.

— Итак, сэр, если бы вы каждый день откладывали по три цента, вместо того чтобы растрачивать их попусту, вы были бы теперь обладателем нового костюма, иллюстрированной Семейной Библии, постоянного места в церкви, полного собрания Отчетов бюро патентов, книги гимнов и годовой подписки на «Домашний журнал

Артура», что можно приобрести ровно за 43 доллара 80 центов, и,— добавил судья еще более сурово,— если вы сосчитаете високосный год, странным образом вами пропущенный, у вас будет *на три цента больше, сэр, на три цента больше!* Что можно на них купить, сэр?

— Сигару,— робко предложил Джон Дженкинс, но тотчас же снова залился румянцем и закрыл лицо руками.

— Нет, сэр,— сказал судья, и ласковая благодушная улыбка смягчила его суровые черты.— Если вы употребите их надлежащим образом, вы сможете купить на них то, чему нет цены. Опустите их в кружку миссионера, и — кто знает,— быть может, какой-либо язычник, который ныне праздно и легкомысленно прозябает в наготе и пороке, осознает свое жалкое состояние и через посредство этих трех центов изведает мучения нечестивых?

С этими словами судья удалился, оставив Джона Дженкинса погруженным в глубокое раздумье.

— Три цента в день,— бормотал он.— Через сорок лет я имел бы 438 долларов 10 центов и смог бы тогда жениться на Мэри. Ах, Мэри! — Юный плотник вздохнул и, вытащив из жилетного кармана дагерротип ценою в двадцать пять центов, долго и страстно пожирал глазами изображение молодой девицы в белом муслиновом платье с коралловым ожерельем на шее. Затем лицо его выразило твердую решимость, и, тщательно заперев дверь своей мастерской, он ушел.

Увы! Его похвальное решение запоздало. Мы легкомысленно играем с потоком счастья, который слишком часто губит нас в зародыше, отбрасывая мрачную тень несчастья на блестящий лексикон юности! В эту ночь от недокуренной сигары Джона Дженкинса занялась и сгорела дотла его мастерская вместе со всеми инструментами и материалом. Она не была застрахована.

ГЛАВА II

По наклонной плоскости

— Значит, ты все-таки хочешь выйти замуж за Джона Дженкинса? — спросил судья Бумпойнтер и игриво, с отеческой фамильярностью погладил золотистые локоны сельской красавицы Мэри Джонс.

— Хочу,— отвечала прелестная молодая девушка низким голосом, который своей приторною твердостью напоминал жженый сахар.— Хочу. Он обещал исправиться. После того как из-за пожара он лишился всего своего имущества...

— Последствие его гибельной привычки, хотя он против всякой логики упорно обвиняет в этом меня,— перебил ее судья.

— С тех самых пор,— продолжала молодая девица,— он старается отвыкнуть от этой привычки. Он сказал мне, что заменил сигары стеблями индейской ратании, внешней частью бобового растения, называемого курительным бобом, а также недокуренными фрагментами сигар, которые через редкие и неопределенные промежутки попадаются на дороге, каковые, по его словам, хотя и не отличаются крепостью, сравнительно недороги.— И, заливаясь румянцем от собственного красноречия, молодая девица спрятала свои локоны на плече судьи.

— Бедняжка! — пробормотал судья.— Осмелюсь ли сказать ей все? Однако я должен это сделать.

— Я буду верна ему, как молодая виноградная лоза, обвивающая замшелую руину,— продолжала молодая девушка с горячностью, приличествующей предмету.— Нет, нет, не журите меня, судья Бумпойнтер. Я твердо решилась выйти за Джона Дженкинса!

Судья был, видимо, тронут. Он сел за стол, торопливо написал несколько строк на клочке бумаги, сложил его и вручил нареченной невесте Джона Дженкинса.

— Мэри Джонс,—с многозначительной серьезностью произнес судья,— прими эту безделицу как свадебный подарок от того, кто уважает твое постоянство и верность. У подножия алтаря да послужит он напоминанием обо мне.— И, поспешно закрыв лицо носовым платком, этот суровый, железный человек покинул комнату.

Когда дверь за ним затворилась, Мэри развернула бумагу. Это была записка в мелочную лавочку на углу с просьбой выдать три ярда фланели, пачку иголок, четыре фунта мыла, один фунт крахмала и два коробка спичек.

«Благородный, внимательный человек!» — было все, что смогла воскликнуть Мэри Джонс, прежде чем, закрыв лицо руками, она разразилась потоком слез.

*

Весело звонят колокола в Кловердейле. Это свадьба.

— Как они прекрасны! — это восклицание звучит на всех устах, когда Мэри Джонс, стыдливо опираясь на руку Джона Дженкинса, вступает в церковь. Но невеста встревожена, а жених обнаруживает лихорадочное беспокойство. Пока они стоят в вестибюле, жених судорожно роется в жилетном кармане. Уж не кольцо ли он ищет? Нет. Он вынимает из кармана какое-то коричневое вещество, откусывает от него кусочек, торопливо кладет остаток на место и украдкой озирается вокруг. Его, конечно, никто не видел? Увы! Глаза двоих участников свадебной процессии увидели роковое деяние. Судья Бумпойнтер сурово покачал головой. Мэри Джонс вздохнула и молча вознесла молитвы к небу. Ее супруг жевал табак!

ГЛАВА III

и последняя

— Что? Опять хлеба? — прохрипел Джон Дженкинс. — Вечно ты клянчишь денег на хлеб. Проклятье! Ты хочешь в конец разорить меня своей расточительностью? — Произнося эти слова, он вытаскивал из кармана бутылку виски, трубку и пачку табаку. Осушив первую одним глотком, он швырнул ее прямо в голову своему старшему сыну, юноше двенадцати лет от роду. Метательный снаряд угодил ребенку прямо в висок и свалил его на землю бездыханным трупом. Миссис Дженкинс, в которой читатель едва ли узнает некогда веселую и прекрасную Мэри Джонс, взяла мертвое тело сына на руки и, осторожно уложив несчастного юношу на заднем дворе возле колодца, отягченным скорбью шагом возвратилась в дом. В другое время и в более светлые дни она бы разрыдалась по поводу этого происшествия. Но у нее давно уже не было слез.

— Отец, твое поведение весьма предосудительно!— сказал маленький Гаррисон, младший сын Дженкинса.— Как, по-твоему, куда ты попадешь после смерти?

— А! — взревел Джон Дженкинс.— Вот к чему приводит воспитание детей в либеральном духе, вот результат воскресных школ. Прочь, змея подколодная!

Бокал, брошенный все тою же родительскою дланью, уложил на месте юного Гаррисона. Тем временем остальные четверо детей в трепетном ожидании собрались вокруг стола. Неузнаваемо изменившийся и совершенно озверевший Джон Дженкинс усмехнулся, вытащил четыре трубки, набил их табаком, вручил по одной каждому из своих отпрысков и предложил им закурить.

— Это получше хлеба! — хриплым смехом засмеялся злодей.

Мэри Дженкинс, хотя по природе и терпеливая, теперь, однако, сочла своим долгом подать голос.

— Я много вынесла, Джон Дженкинс,— проговорила она.— Но я предпочла бы, чтобы дети не курили. Это неопрятная привычка, она пачкает их одежду. Я прошу этого, как особого одолжения.

Джон Дженкинс заколебался — его начали одолевать угрызения совести.

— Обещай мне это, Джон,— на коленях умоляла Мэри.

— Обещаю! — неохотно отвечал Джон.

— И ты будешь класть деньги в сберегательную кассу?

— Буду,— повторил ее супруг.— И курить тоже брошу.

— Похвально, Джон Дженкинс!—сказал судья Бумпойнтер, неожиданно появляясь из-за дверей, где он прятался во время вышеизложенной беседы.— Благородные слова, друг мой! Мужайся! Я позабочусь о том, чтобы детей прилично похоронили.

Муж и жена бросились друг другу в объятия. А судья Бумпойнтер при виде этого трогательного зрелища разразился рыданиями.

С этого дня Джон Дженкинс стал другим человеком.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ранние произведения Б. Гарта датируются по указателю Дж. Р. Стюарта (G. R. Stewart, «A Bibliography of the Writings of Bret Harte... 1857—1871», Berkeley, 1933). Сколько-нибудь полной библиографии произведений Б. Гарта, написанных после 1871 года, не имеется. Нет ни перечня журнальных публикаций, ни описания отдельных американских и английских изданий, нет и научного собрания сочинений. В настоящем шеститомнике избранных сочинений Гарта за основу приняты его сборники, выходившие с начала 70-х гг. XIX века — на языке подлинника — в известном немецком издательстве Бернгарда Таухница (Tauchnitz). Издания Таухница осуществлялись по договоренности издательства с автором и повторяли сборники Гарта, выходившие в Англии и в США.

«НЕСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК» («The Man of no Account»). Напечатано в 1860 г. в газете «Голден Ира». *Нестоящий человек* в данном случае ходовой термин, которым обозначались в первые годы калифорнийской иммиграции безденежные, маловлиятельные элементы в среде золотоискателей.

«МЛИСС» («Mliss»). Напечатано в том же году в «Голден Ира» под заглавием «Работа на Красной горе». Через три года Гарт попытался развернуть этот рассказ в повесть, но в дальнейшем вернулся к первому варианту, заменив лишь заглавие.

«СЧАСТЬЕ РЕВУЩЕГО СТАНА» («The Luck of Roaring Camp»). Напечатано в 1869 г. в редактируемом Гартом «Оверленд Монсли».

«ИЗГНАННИКИ ПОКЕР-ФЛЕТА» («The Outcasts of Pocker Flat»). Напечатано в 1869 г. в том же журнале.

«МИГГЛС» («Miggls»). Напечатано в 1869 г. в том же журнале. В рассказе впервые появляется популярный герой Гарта, кучер почтового дилижанса Юба Билл.

«КОМПАНЬОН ТЕННЕССИ» («Tennessee's Partner»). Напечатано в 1869 г. в том же журнале.

«ИДИЛЛИЯ КРАСНОГО УЩЕЛЬЯ» («The Idyl of Red Gulch»). Напечатано в 1869 г. в том же журнале.

«БРАУН ИЗ КАЛАВЕРАСА» («Brown of Calaveras»). Напечатано в 1870 г. в том же журнале. В рассказе впервые появляется популярный герой Гарта, игрок Джек Гемлин.

«БЛУДНЫЙ СЫН МИСТЕРА ТОМСОНА» («Mr. Tompson's Prodigal»). Напечатано в 1870 г. в том же журнале.

«ИЛИАДА СЭНДИ-БАРА» («The Iliad of Sandy Bar»). Напечатано в 1870 г. в том же журнале.

«ПОЭТ СЬЕРРА-ФЛЕТА» («The Poet of Sierra Flat»). Напечатано в 1871 г. в «Атлантик Монсли».

«КАК САНТА КЛАУС ПРИШЕЛ В СИМПСОН-БАР» («How Santa Claus came to Simpson Bar»). Напечатано в 1872 г. в том же журнале.

«РЫЦАРСКИЙ РОМАН В ЛОЩИНЕ МАДРОНЬО» («The Romance of Madroño Hollow»). Напечатано в 1872 г. в том же журнале.

«МУЖЬЯ МИССИС СКЭГС» («Mrs. Skaggs's Husbands»). Напечатано в 1872 г. в сборнике того же названия.

«ТУОЛУМНСКАЯ РОЗА» («The Rose of Tuolumne»). Напечатано в сборнике 1874 года «Идиллии предгорий» («Idylls of the Foot Hills»).

«ФИДЛТАУНСКАЯ ИСТОРИЯ» («An Episode of Fiddletown»). Из того же сборника.

«МОНТЕ-ФЛЕТСКАЯ ПАСТОРАЛЬ» («A Monte Flat Pastoral»). Из того же сборника.

«СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ МИСТЕРА ДЖОНА ОКХЕРСТА» («A Passage in the Life of Mr. John Oakhurst»). Из того же сборника. В критической литературе указывалось, что Окхерст, смерть которого ранее (в «Изгнанниках Покер-Флета») приурочивалась Гартом к 1850 году, теперь выступает в обстановке, относящейся к более позднему периоду.

«МАЛЫШ СИЛЬВЕСТРА» («Baby Sylvester»). Из того же сборника.

«ЯЗЫЧНИК ВАНЬ ЛИ» («Wan Lee, the Pagan»). Из того же сборника.

«НОЧЬ В УИНГДЭМЕ» («Night in Wingdam»). Очерк напечатан в 1860 г. в «Голден Ира».

«НАВОДНЕНИЕ НА БОЛОТЕ» («High Water Mark»). Очерк напечатан в 1861 г. там же.

«ПО ПОЛЯМ И ПО ВОДЕ» («Notes by Flood and Field»). Очерк напечатан в 1862 г. там же.

«ПОЕЗДКА В ОДИНОЧЕСТВЕ» («The Lonely Ride»). Очерк напечатан в 1863 г. там же.

«ДЫНЬКА» («Melons»). Напечатано в 1862 г. там же.

«ЧУДАК» («Boonder»). Напечатано в 1863 г. там же.

«МИССИЯ ДОЛОРЕС» («The Mission Dolores»). Напечатано в 1863 г. там же. *Миссия Долорес* — католическая часовня, заложенная в 1776 году, старейший архитектурный памятник Сан-Франциско.

«ДОМА, В КОТОРЫХ Я ЖИЛ» («Neighborhoods I have Moved from»). Напечатано в 1864 г. в журнале «Калифорниен».

«РЕБЯЧИЙ ПЕС» («A Boy's Dog»). Напечатано в 1864 г. там же.

«В ОЖИДАНИИ ПАРОХОДА» («Waiting for the Ship»). Напечатано в 1864 г. там же.

«РАЗВАЛИНЫ САН-ФРАНЦИСКО» («The Ruins of San Francisco»). Напечатано в 1865 г. там же. В журнальной публикации подзаголовок: «Взято из «Атлантик Монсли» от 10 апреля 2435 года».

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПО КВИТАНЦИИ» («Charitable Reminiscences»). Напечатано в 1865 г. там же.

«С БАЛКОНА» («From a Balcony»). Напечатано в 1865 г. там же.

«НАБЛЮДЕНИЯ ПЕШЕХОДА» («Sidewalkings»). Напечатано в 1865 г. там же.

«ПРОВОДЫ ПАРОХОДА» («Seeing the Steamer off»). Напечатано в 1865 г. там же.

Эти одиннадцать очерков Гарта, начинающиеся с «Дыньки», входят в цикл, названный им «Богемные очерки» («Bohemian Papers»). Все они посвящены Сан-Франциско и построены на автобиографическом материале.

«ЧЕРТ И МАКЛЕР» («The Devil and the Broker»). Напечатано в «Калифорниене» в 1864 г.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДРЕ ВИЦЕНТИО» («The Adventure of padre Vicentio»). Напечатано в 1865 г. там же.

«ПРАВЫЙ ГЛАЗ КОМЕНДАНТА» («The Right Eye of the Commander»). Напечатано в 1867 г. там же.

Эти три произведения входят в цикл, названный Гартом «Испанские и американские предания» («Spanish and American Legends»).

«ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ ГВАРДЕЙЦЕВ» («The Ninety-nine Guardsmen»). Напечатано в 1865 г. в «Калифорниене». Гарт пародирует «Трех мушкетеров» Александра Дюма-отца.

«МЭК-А-МЭК» («Muck-a-Muck»). Напечатано в 1865 г. там же. Гарт пародирует книжность изложения и неправдоподобие ситуаций в романах Фенимора Купера о Кожаном чулке. Он также обостряет пародию, перенося действие в современную ему Калифорнию.

«МИЧМАН БРИЗИ» («Mr. Midshipman Breezy»). Напечатано в 1865 г. там же. Гарт пародирует заглавие одного из известнейших романов английского писателя-мариниста первой половины XIX века Фредерика Марриета «Мичман Изи». Дальнейшие мотивы пародии имеют в виду и другие произведения Марриета.

«ДЖОН ДЖЕНКИНС» («John Jenkins»). Напечатано в 1865 г. там же. Т. С. Артур — второстепенный американский писатель, автор сенсационных повестей нравоучительного содержания, популярных в США в 50-х годах XIX века.

Эти четыре пародии Гарта входят в цикл, названный им «Романы в сжатом изложении» («Condensed novels»).

СОДЕРЖАНИЕ

А. Старцев. Брет Гарт и калифорнийские золотоискатели . 3

РАССКАЗЫ

Нестоящий человек. *Перевод Н. Волжиной* 51
Млисс. *Перевод Н. Дарузес* 56
Счастье Ревущего Стана. *Перевод Н. Волжиной* 83
Изгнанники Покер-Флета. *Перевод Н. Дарузес* 96
Миггле. *Перевод Н. Волжиной* 108
Компаньон Теннесси. *Перевод Н. Волжиной* 120
Идиллия Красного Ущелья. *Перевод Н. Дарузес* 130
Браун из Калавераса. *Перевод Н. Дарузес* 141
Блудный сын мистера Томсона. *Перевод Н. Волжиной* . . 153
Илиада Сэнди-Бара. *Перевод Н. Волжиной* 162
Поэт Сьерра-Флета. *Перевод Н. Дарузес* 175
Как Санта Клаус пришел в Симпсон-Бар. *Перевод Н. Дарузес* 186
Рыцарский роман в Лощине Мадроньо. *Перевод М. Беккер* 201
Мужья миссис Скэгс. *Перевод Л. Поляковой* 214
Туолумнская Роза. *Перевод Т. Озерской* 250
Фидлтаунская история. *Перевод Р. Бобровой* 278
Монте-флетская пастораль. *Перевод Н. Волжиной* 325
Случай из жизни мистера Джона Оккерста. *Перевод Н. Волжиной* 344
Малыш Сильвестра. *Перевод Е. Элькинд* 369
Язычник Вань Ли. *Перевод Н. Волжиной* 384

ОЧЕРКИ, ЛЕГЕНДЫ, ПАРОДИИ

Ночь в Уингдэме. *Перевод И. Гуровой* 403
Наводнение на болоте. *Перевод В. Лифшиц* 410
По полям и по воде. *Перевод М. Беккер* 419

Поездка в одиночестве. *Перевод Н. Дарузес* 444
Дынька. *Перевод Н. Галь* 451
Чудак. *Перевод Н. Галь* 458
Миссия Долорес. *Перевод М. Баранович* 461
Дома, в которых я жил. *Перевод А. Поливановой* 464
Ребячий пес. *Перевод Н. Галь* 474
В ожидании парохода. *Перевод А. Поливановой* 478
Развалины Сан-Франциско. *Перевод А. Поливановой* . . . 481
Благотворительность по квитанции. *Перевод М. Баранович* 485
С балкона. *Перевод М. Баранович* 490
Наблюдения пешехода. *Перевод А. Поливановой* 495
Проводы парохода. *Перевод М. Баранович* 501
Черт и маклер. *Перевод Н. Дарузес* 506
Приключения падре Вицентио. *Перевод Б. Носика* 510
Правый глаз коменданта. *Перевод Б. Носика* 517
Девяносто девять гвардейцев. *Перевод М. Беккер* 527
Мэк-а-Мэк. *Перевод М. Беккер* 534
Мичман Бризи. *Перевод М. Беккер* 541
Джон Дженкинс. *Перевод М. Беккер* 550

Библиографическая справка 555

Брет Гарт

Собрание сочинений в 6 томах.
Том I.

Редактор тома
И. Бернштейн.

Оформление художника
Д. Бисти.

Технический редактор
А. Шагарина

Подп. к печ. 30/V 1966 г. Тираж 230 000 экз. Изд. № 1126. Зак. 493.
Форм. бум. 84×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 17,5+5 вкл. иллюстраций.
Условных печ. л. 29,92. Уч.-изд. 30,93. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, улица «Правды», 24.

Индекс 70666